



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

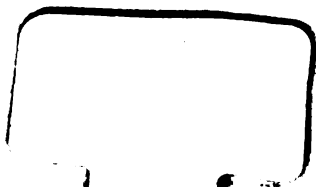
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Library of the University of Michigan
Bought with the income
of the
Ford - Messer
Bequest



R. F. FARRER



831.78

1343

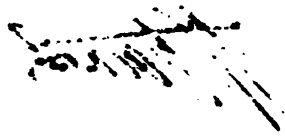
1888

v. 6

Handwritten signature

СОЧИНЕНІЯ

В. БЪЛНСКАГО.



Belinskiĭ, Vissarion Grigor'evich.

Сочинения
СОЧИНЕНИЯ

V. Belinskiĭ
В. БѢЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМЛЕ.

part 6
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

Издание второе.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. СЕР.

МОСКВА.

Продается у книгопродавца А. И. Глазунова.

1866.

ПЕЧАТАНО СЪ ИЗДАНИЕ 1860 ГОДА БЕЗЪ ПЕРЕМЪНЪ.

Въ Типографіи Грачева и К^о. у Пречистенскихъ Веротъ д. Милановой.

1842.

—

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ.

I.

КРИТИКА.

1*

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1844 ГОДУ.

Сокровища роднаго слова,
Замѣтать важныя умы,
Для лепетанія чужаго
Пренебрегли безумно мы.
Мы любимъ музъ чужихъ игрушки,
Чужихъ нарѣчій погремушки,
А не читаемъ книгъ своихъ.
Да гдѣ жь оны? давайте ихъ!
Конечно: съверные звуки
Ласкаютъ мой привычный слухъ;
Ихъ любить мой славянской духъ;
Ихъ музыкой сердечны муки
Усиплены; но дорожить
Одними ль звуками пѣть?
И гдѣ жь мы перья познанья
И мысли перья нашавъ?
Гдѣ повѣряемъ испытанья,
Гдѣ узнаемъ судьбу земли?
Не въ переводахъ одичалыхъ,
Не въ сочиненьяхъ запоздалыхъ,
Гдѣ русскій умъ и русскій духъ
Здѣмъ твердить и жемть за двухъ.
.....
Поэты наши переводятъ
Или молчатъ; одинъ журналъ
Исполненъ приторныхъ похвалъ,
Тотъ брани плоской; всѣ наводитъ
Зѣвоту скуки, чуть не сонъ—
Хорошъ российский Геліонъ!

Въ этихъ стихахъ Пушкина заключается самая рѣзкая характеристика русской литературы. Правда, многіе не безъ

основанія могутъ принять ихъ скорѣе за эпиграмму на русскую литературу, нежели за характеристику ея, потому что уже поэзія самого Пушкина не подходитъ подъ эту характеристику, а у насъ, кромѣ Пушкина, есть и еще нѣсколько явленій, достойныхъ болѣе или менѣе почетнаго упоминанія даже при его имени. Но если это не характеристика, то и не совсѣмъ эпиграмма. Эпиграмма есть плодъ презрѣнія или предубѣжденія къ предмету, на который она нападаетъ; а Пушкинъ, котораго поэзія — самый звучный и торжественный органъ русскаго духа и русскаго слова, не могъ презирать той литературы, которой посвятилъ всю жизнь свою. Впрочемъ, для оправданія великаго поэта въ подобномъ презрѣніи, довольно было бы и этихъ чудныхъ стиховъ, въ которыхъ съ такою задумчивостію, съ такимъ умиленіемъ высказывается самое родственное, самое кровное чувство любви къ родному слову:

. Свѣрные звуки
Ласкаютъ мой привычный слухъ;
Ихъ любить мой славянской духъ;
Ихъ музыкой сердечны руки
Усплены...

Между тѣмъ, любовь любовью, а истина прежде всего — даже прежде самой любви. Вамъ, конечно, не разъ случалось слышать отъ другихъ и самимъ предлагать вопросъ. «Что новаго у насъ въ литературѣ?» или «Нѣтъ ли чего-нибудь прочесть?» Скажите: какъ вы отвѣчали, или какъ вамъ отвѣчали на этотъ вопросъ?... Правда, у насъ выходитъ ежемѣсячно книгъ до тридцати: ими испещряются книгопродавческія объявленія, сужденіями о нихъ наполняются библиографическіе отдѣлы журналовъ; ихъ хвалятъ и бранятъ, о нихъ спорятъ и бранятся; а между тѣмъ все-таки —

Да гдѣ жъ онъ? Давайте ихъ!

Какъ хотите, а это презатруднительный вопросъ! Попробуемъ,

однакожь, отвѣтитъ за него, только не прямо, и не просто, и не отъ своего лица, а въ формѣ слѣдующаго разговора между двумя лицами — А и Б.

А. — «Такъ гдѣ жъ онѣ? Давайте ихъ!»

Б. — Извольте. Только ихъ такъ много, что ни мнѣ не перечесть, ни вамъ не унести съ собою. Начнемъ съ начала.

А. — Да, если вы вздумаете прочесть мнѣ весь каталогъ Смирдина, то конечно останетесь побѣдителемъ въ нашемъ спорѣ.

Б. — Нѣтъ: я буду говорить только о капитальныхъ явленіяхъ нашей литературы, которыхъ безсмертіе признано знаменитѣйшими авторитетами въ дѣлѣ эстетическаго вкуса и подтверждено «общимъ мнѣніемъ».

А. — Интересно; начинайте же именно съ начала русской литературы.

Б. — Ну, вотъ вамъ «Сатиры Кантемира»...

А. — Покорно благодарю; вѣдь я спрашивалъ васъ о книгахъ, которыя годятся не для одного украшенія библіотекъ, но и для чтенія...

Б. — Какъ! вы не признаете достоинства Кантемировыхъ сатиръ? Вспомните, какою славою пользовались онѣ въ свое время! Вспомните эту поэтическую надпись къ портрету знаменитаго сатирика:

Старинный слогъ его достоинствъ не умалить.

Порокъ! не подходи: сей взоръ тебя умалить!

Вспомните, что такъ основательно высказано Жуковскимъ въ его превосходной статьѣ «о Сатирахъ Кантемира»...

А. — Какъ же, какъ же! читалъ я и ее: статья точно превосходная; но ваша первая попытка занять меня чтеніемъ все-таки не удалась: я уже читалъ Кантемира, а перечитывать — страшусь и подумать, потому что я читаю не изъ одного любопытства, но и для удовольствія.

Б. — Вотъ Ломоносовъ — поэтъ, лирикъ, трагикъ, ораторъ, риторъ, ученый мужъ...

А. — И прибавьте — великій характеръ, явленіе, дѣлающее честь человѣческой природѣ и русскому имени; только не поэтъ, не лирикъ, не трагикъ и не ораторъ, потому что риторика — въ чемъ бы она ни была, въ стихахъ, или въ прозѣ, въ одѣ, или въ похвальному словѣ — не поэзія и не ораторство, а просто риторика, вещь, высоко-чтимая въ школахъ, любезная педантамъ, но скучная и непріятная для людей съ умомъ, душою и вкусомъ...

Б. — Помилуйте!

Онъ нашихъ странъ Малербъ, онъ Пиндару подобенъ!

А. — Не спорю: можетъ быть, онъ и Малербъ «нашихъ странъ», но отъ этого «нашимъ странамъ» отнюдь не легче, и это нисколько не мѣшаетъ «нашимъ странамъ» зѣвать отъ тяжелыхъ, прозаическихъ и риторическихъ стиховъ Ломоносова. Но между имъ и Пиндаромъ — такъ же мало общаго, какъ между олимпійскими играми и нашими иллюминаціями, — или олимпійскими ристаніями и нашими лебедянскими скачками; за это я постою и поспорю. Пиндаръ былъ поэтъ: вотъ уже и несходство съ Ломоносовымъ. Поэзія Пиндара выросла изъ почвы эллинскаго духа, изъ ядръ эллинской національности; такъ называемая поэзія Ломоносова выросла изъ варварскихъ схоластическихъ риторикъ духовныхъ училищъ XVII вѣка: вотъ и еще несходство...

Б. — Но Ломоносову удивлялся Державинъ, его превозносилъ Мерзляковъ, и нѣтъ ни одного сколько-нибудь извѣстнаго русскаго поэта, критика, литератора, который не видѣлъ бы въ Ломоносовѣ великаго лирика. Въ одной статьѣ «Вѣстника Европы» сказано: «Ломоносовъ дивное и великое свѣтило, коего лучезарнымъ сіяніемъ не налюбоваться въ сытость и позднѣйшему потомству».

А. — Я въ сытость уважаю статью «Вѣстника Европы», равно какъ и Державина и Мерзлякова; но сузу о поэтахъ по своимъ, а не по чужимъ мнѣнiямъ. Впрочемъ, если вамъ нужны авторитеты, — ссылаюсь на мнѣнiе Пушкина, который говоритъ, что «въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенiя» и что «самъ будучи первымъ нашимъ университетомъ, онъ былъ въ немъ, какъ и профессоръ поэзи и элоквенци, только исправнымъ чиновникомъ, а не поэтомъ, вдохновеннымъ свыше, не ораторомъ, мощно увлекающимъ». И если вы имѣете право раздѣлять мнѣнiе о Ломоносовѣ Державина, Мерзлякова и «Вѣстника Европы», то почему же мнѣ не имѣть права раздѣлять мнѣнiе Пушкина? Не правда ли?

Б. — Конечно; противъ этого не нашлись бы ничего сказать всѣ «ученые мужи». Итакъ, вы не хотите считать сочиненiй Ломоносова въ числѣ книгъ для чтенiя?

А. — Я этого не говорю о всѣхъ сочиненiяхъ Ломоносова; но ужъ конечно не буду читать ни его риторики, ни похвальныхъ словъ, ни торжественныхъ одъ, ни трагедiй, ни посланiй о пользѣ стекла и другихъ предметахъ, полезныхъ для фабрикъ, но не для искусства; да, не буду, тѣмъ болѣе, что я уже читалъ ихъ... Но я всегда посоветую всякому молодому человѣку прочесть ихъ, чтобъ ознакомиться съ интереснымъ историческимъ фактомъ литературы и языка русскаго. Что же касается до собственно-ученыхъ сочиненiй Ломоносова по части физики, химiи, навигацiи, русскаго стихосложенiя, — они всегда будутъ имѣть свою историческую важность и цѣну въ глазахъ людей, занимающихся этими предметамн, всегда будутъ капитальнымъ достоянiемъ исторiи ученой русскаго языка; но публикѣ литературной они всегда будутъ чужды, какъ поэзи и ораторскiя рѣчи Ломоносова.. Ломоносову воздвигнуть памятникъ, — и онъ вполне достоинъ этого; онъ великiй характеръ, примѣчательнѣйшiй человѣкъ; юности

съ особеннымъ вниманіемъ и особенною любовью должны изучать его жизнь, носить въ душѣ своей его величавый образъ; но, Бога ради, увольте ихъ отъ поэзіи и краснорѣчія Ломоносова.. Прошлаго года, кажется, изданъ былъ, однимъ «ученымъ» обществомъ, выборъ изъ поэтическихъ и ораторскихъ сочиненій Ломоносова, въ двухъ томахъ in-quarto, для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ, въ образецъ для школьныхъ опытовъ въ стихахъ и прозѣ. Что сказать объ этомъ? Я человѣкъ простой, не изъ «ученыхъ»; — можетъ, оно тамъ такъ и нужно — это не мое дѣло, какъ сказалъ городничій въ «Ревизорѣ» объ учителѣ уѣзднаго училища; но между публикою и школою такая же разница, какъ и между книгою и дѣйствительностію; что хорошо въ одной, то никуда не годится въ другой. .

Б. — Я понимаю, что вы хотите сказать. Итакъ, вотъ вамъ десять томовъ «Полнаго Собранія всѣхъ сочиненій въ стихахъ и прозѣ покойнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника, ордена св. Анны кавалера и Лейпцигскаго Ученаго Собранія члена, Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изданы въ удовольствіе любителей Россійской учености Николаемъ Новиковымъ», и пр. Я надѣюсь, что вы къ его стихамъ и прозѣ будете благосклоннѣе, чѣмъ къ стихамъ и прозѣ Ломоносова: поэзія Сумарокова менѣе школьна и болѣе жизненна, чѣмъ поэзія Ломоносова. Сумароковъ писалъ не однѣ оды и трагедіи, но и сатиры, комедіи, даже комическія статьи, въ которыхъ преслѣдовалъ невѣжество, дикость нравовъ, ябедничество, взяточничество, казнокрадство и прочіе смертные грѣхи полу-азиатской общественности

А. — И я согласенъ, что онъ принесъ своего рода пользу и сдѣлалъ частицу добра для общества; но не хочу кланяться грязному помелу, которымъ вывели улицу. Помело всегда помело, хотя оно и полезная вещь. Сатиры и комедіи Сумаро-

кова — помело, въ полезности котораго я не сомнѣваюсь, но которому все таки кланяться не стану. И сундальскія литографіи «какъ мыши kota погрѣбаютъ» и «какъ пришелъ Яковъ Ърна смакалъ» тоже принесли свою пользу черному народу: безъ нихъ, онъ не имѣлъ бы понятія о вещи, называемой «картинною»; но кто же будетъ говорить о сундальскихъ лубочныхъ литографіяхъ, какъ о произведеніяхъ искусства? Сумароковъ нападалъ на невѣжество — и самъ не больше другихъ зналъ, и бредилъ только своимъ «бѣднымъ рифмичествомъ», какъ выразился о немъ Ломоносовъ. Сумароковъ преслѣдовалъ дикость нравовъ, жаловался печатно, что въ Москвѣ «во время представленія «Семиры» грызутъ орѣхи, и когда представленіе въ пущемъ жарѣ своемъ, сѣкутъ поссорившихся между собою пьяныхъ кучеровъ, ко тревогѣ всего партера, ложъ и театра», — тотъ самый Сумароковъ избилъ палкою купца, который, видя его въ халатѣ, не сказалъ ему «ваше превосходительство!» Главная причина негодованія Сумарокова на общественное невѣжество состояла въ томъ, что оно имѣло обществу понимать его пресловутыя трагедіи; а подъячійхъ преслѣдовалъ онъ сколько потому, что имѣлъ до нихъ дѣла, столько и для остраго словца. Истинное негодованіе на притворчія и пошлость общества есть недугъ глубокой и благородной души, которая стоитъ выше своего общества и носитъ въ себѣ идеалъ другой, лучшей общественности. Судя по одному поступку Сумарокова съ купцомъ, нельзя думать, чтобъ сей пшнта былъ выше своего общества; а въ сочиненіяхъ его незамѣтно и малѣйшихъ слѣдовъ лучшаго идеала общественности. Онъ не страдалъ болѣзнями современнаго ему общества; онъ только досадовалъ и злился, что общество, не повинная его гениальныхъ твореній, не отдавало ему за нихъ должнаго почтенія, и вѣрило больше московскому подъячему, чѣмъ господину Волтеру и ему, господину Сумарокову... Если хотите видѣть страданіе высокой

души человѣка, непонимаемаго современностію, — читайте письма Ломоносова къ Шувалову...

Б. — Но Сумароковъ былъ первымъ драматургомъ въ Россіи, и его трагедіи даже обожатели Ломоносова, какъ Мерзляковъ, отдають преимущество?

А. — Я съ этимъ несогласенъ. Ломоносовъ и въ ошибкахъ своихъ поучительнѣе и выше этого бездарнаго писака. Оба они риторы въ своихъ стихахъ; но вѣдъ и риторика риторикѣ разны: риторика Корнеля, Расина и Вольтера всегда будетъ выше риторики Озерова, а риторика Ломоносова выше риторики Сумарокова. Ломоносовъ вездѣ уменъ, даже и въ риторическихъ стихахъ своихъ. Нѣтъ, по моему мнѣнію, Сумароковъ сдѣлалъ одно истинно важное дѣло, хотя и безъ всякаго особеннаго умысла: его пѣстическая тѣнь возникла передъ критическимъ окомъ С. Н. Глинки и вдохновила его «предъявить» пренятреспубликанскую книгу: «Очерки жизни и сочиненія Александра Петровича Сумарокова», пресловутую книгу, которая, говоря языкомъ ея почтеннаго сочинителя, «огромила руссійскій бытъ»... Вотъ за это спасибо Сумарокову: лучшаго онъ ничего не могъ сдѣлать...

Б. — Но чтѣ вы скажете о Княжнинѣ? Общее мнѣніе приписываетъ ему усовершенствованіе русскаго театра, рожденнаго Сумароковымъ...

А. — Да, общее мнѣніе всѣхъ «курсовъ и исторій русской литературы». Княжнинъ не напрасно занимаетъ въ нихъ свое мѣсто; только ему и не должно выходить изъ нихъ, благо онъ пригрѣлъ себя тепленькую коморку. Исторія литературы и сама литература — не всегда одно и то же. При возникновеніи литературы, начавшейся подражаніемъ, является множество маленькихъ героевъ, приобретающихъ себя безсмертіе. Грузинцевъ, авторъ пьесы «Петръ Великій», и г. Свѣчинъ, сочинитель «Александровъ» стоять Тредьяковскаго; но о нихъ

уже забыли — они поздно родились, поздно явились; а Тредьяковский никогда не будет забыт, потому что родился вовремя. Я не спорю, что Сумароковъ «отецъ россійскаго театра», и притомъ достойный отецъ достойнаго сына; но все-таки театръ нашъ не исключительно отъ него долженъ вести свою родословную: вспомните, что еще въ царствованіе Алексія Михайловича у насъ было нѣчто похожее на придворный театръ, гдѣ разыгрывались мистеріи, въ родѣ тѣхъ, которыми начались всѣ европейскіе театры. Что жъ? не прикажете ли и ихъ напечатать для пользы и удовольствія почтеннѣйшей публики? И Французы, въ исторіи своей литературы, упоминаютъ о «мистеріяхъ», равно какъ и о драмахъ Гарнъ и Гарди, предшественниковъ Корнеля; но они не разбираютъ ихъ, не излагаютъ ихъ содержанія, не разсуждаютъ о ихъ красотахъ или недостаткахъ, не рекомендуютъ ихъ вниманію публики, не включаютъ ихъ въ общій капиталъ своей литературы. Литературныя заслуги бывають внѣшнія и внутреннія: первыя важны для той минуты, въ которую явились; вторыя остаются навсегда. Иначе, ничьей жизни не достало бы перечесть и изучить иную литературу. Такъ и Княжнинъ, дѣлившій свои риторическія трагедіи и комедіи изъ дурно-переведенныхъ имъ лоскутковъ ветхой и дырявой мантии классической французской Мельпомены, оказалъ своего рода пользу и современному театру и современной литературѣ. За это ему честь и слава; но требовать, чтобъ его читали и это чтеніе называли «занятіемъ литературою» — просто нелѣпость. Даже и учащемуся юношеству нѣтъ никакой нужды давать читать такихъ писателей, какъ Сумароковъ и Княжнинъ, если это дѣлается не для предостереженія отъ покушенія или возможности писать такъ же дурно, какъ писали сіи пивты. Но это значило бы подражать Спартакцамъ, которые, для внушенія своему юношеству отвращенія отъ пьянства, заставляли рабовъ напиваться...

Б. — Вижу, что о Херасковѣ и Петровѣ нечего и говорить съ вами ..

А. — Тѣмъ болѣе, что о нихъ и неданты перестали говорить: это тяжба на-чисто проигранная. Сюда же должно отнести и Богдановича съ его тяжелою и неуклюжею «Душенькою», которая считалась въ свое время образцомъ легкости и граціозности, и возбуждала фуроръ.

В. — А Хемницеръ, Капнисть?

А. — Изъ нихъ можно кое-что помѣщать въ хрестоматіяхъ и другихъ подобныхъ сборникахъ, составляемыхъ для руководства при изученіи исторіи русской литературы. Первый написалъ пять-шесть порядочныхъ басенъ, изъ которыхъ «Метафизикъ» пользуется особеннымъ уваженіемъ и благоговѣніемъ людей, видящихъ въ подобныхъ произведеніяхъ что-то важное, и говорящихъ «творецъ Метафизика» точно такъ же, какъ другіе говорятъ «творецъ Макбета». Капнисть передвѣлялъ довольно удачно, въ духѣ своего времени, одну или двѣ оды Горация; элегіи же его особенно важны для хрестоматій, какъ живое свидѣтельство сентиментальнаго духа русской литературы того времени. О «Ябедѣ» его довольно сказать, что это произведение было благороднымъ порывомъ негодованія противъ одной изъ возмутительнѣйшихъ сторонъ современной ему дѣйствительности, и что, за это долго пользовалось оно огромною славой, несмотря на все свое поэтическое и даже литературное ничтожество. Замѣчательно, до чего простиралось незаслуженное удивленіе къ этому посредственному произведенію: Писаревъ, лучшій русскій водевилистъ и вообще человѣкъ замѣчательно даровитый въ сферѣ мелкой житейской литературы, сражался за «Ябеду» и въ стихахъ и въ прозѣ, и въ одномъ изъ своихъ лучшихъ произведеній, нападая на одного журналиста, повершилъ свои тяжкія обвиненія слѣдующею наивною выходкою:

Онъ Грибоедова хвалилъ—
И разругалъ Капниста!...

Въ-самомъ-дѣлѣ, тяжелое обвиненіе! О, доброе старое время!

Б. — Но мы, кажется, забѣжали впередъ; воротитесь. Думаю, вы будете не такъ исключительны и строги въ своемъ сужденіи о Державинѣ.

А. — Съ уваженіемъ отступаю при этомъ знаменитомъ имени, но не для того, чтобъ пасть передъ нимъ во прахъ и бессознательно воскурить ошміамъ громкихъ фразъ и возгласовъ, а для того, чтобъ лучше и полнѣе измѣрить глазами этотъ величавый образъ, и строже и тверже произнести свое сужденіе о немъ — потому именно, что глубоко уважаю его... Державинъ — первое дѣйствительное проявленіе русскаго духа въ сферѣ поэзіи, которой до него не было на Руси. Державинъ — это Илья Муромецъ нашей поэзіи. Тотъ тридцать лѣтъ сидѣлъ сиднемъ, не зная, что онъ богатырь; а этотъ сорокъ лѣтъ безмолвствовалъ, не зная, что онъ поэтъ; подобно Ильѣ Муромцу, Державинъ поздно ощутилъ свою силу, а ощутивъ, обнаружилъ ее въ исполнскихъ и безплодныхъ проявленіяхъ... Ни кого у насъ не хвалили такъ много и такъ безусловно, какъ Державина, и никто доселѣ не понялъ менѣе его. Невольно смиряясь передъ исполнскимъ именемъ, всѣ склонялись передъ нимъ, не замѣчая, что это только имя — не больше; поэтъ, а не поэзія... Его всѣ единодушно превозносятъ, всѣ оскорбляются малѣйшимъ сомнѣніемъ въ безукоризненности его поэтической славы, и между тѣмъ никто его не читаетъ, и всего менѣе тѣ, которые печатно кричатъ о немъ... По моему мнѣнію, эти люди, такъ бессознательно поступающіе, дѣйствуютъ очень разумно, и нисколько не противрѣчатъ самимъ себѣ. Я сравнилъ Державина съ древнимъ русскимъ богатыремъ, Ильею Муромцемъ, и, на основаніи этого сравненія, назвалъ поэзію Державина исполнскими, но

бесплодными проявленіями поэтической силы: для объясненія своей мысли, я долженъ продолжать эго сравненіе. Илья Муромецъ одинъ-одинехонекъ побиваетъ цѣлую татарскую рать — и чѣмъ же? — не кошемъ, не мечемъ, не палицею тяжкою, а Татаринномъ, котораго онъ схватилъ за ноги, да и давай имъ помахивать на всѣ четыре стороны, сардонически приговаривая:

А и кривокъ Татаринъ — не ломится,
А жловать, собака — не изорвется.

Кто не согласится, что подобный подвигъ поражаетъ умъ удивленіемъ? Но и кто же не согласится, что возбуждаемое имъ удивленіе — чувство чисто внѣшнее, холодное, и что оно — только удивленіе, а не тотъ божественный восторгъ, который возбуждается въ духъ чрезъ разумное проникновеніе въ глубокую сущность предмета? Но здѣсь не во что проникать: здѣсь только сила, лишенная всякаго содержанія, сила какъ сила — больше ничего. Совѣсь не такъ дѣйствуютъ на насъ ивнечскія сказанія римскаго народа о Гораціяхъ-Коклесахъ, Муціяхъ Сцеволахъ, или рыцарскія легенды о военномъ схиличествѣ за честь креста, гроба и имени Господня, о битвахъ за красоту, о неизмѣнности обѣтамъ, о безумномъ фанатическомъ обожаніи воображаемыхъ идеаловъ, какъ-будто дѣйствительныхъ существъ: они возбуждаютъ въ насъ не одно удивленіе, но и любовь, и восторгъ, и сознаніе. Съ любовію преклоняемся мы предъ безконечноію духа человѣческаго, предъ несокрушимою твердостію воли, торжествующей надъ ограниченными условіями немощной плоти; въ нихъ мы обожаемъ божественную способность человѣка уничтожаться, какъ въ жертвенномъ огнѣ на алтарѣ Бога, въ паосѣ къ безплотной и безсмертной идеѣ. . . И это оттого, что онѣ полны общечеловѣческаго содержанія, что мы ощущаемъ, чувствуемъ и проводимъ въ нихъ все, чѣмъ человѣкъ есть человѣкъ — чув-

ственное явленіе незримого и вѣчнаго духа... И вотъ этого-
 те содержанія въ поэзіи Державина такъ же мало, какъ и въ
 подвигѣ Ильи Муромца. Откуда было взять ему содержаніе
 для своей поэзіи? Къ намъ долетали неопредѣленные слухи и
 толки объ XVIII вѣкѣ Франціи, мы даже сами ѣздили знако-
 миться съ нимъ въ Парижъ... У насъ читали Вольтера и
 повторяли его остроты; но на Руссо смотрѣли только какъ на
 чувствительнаго мечтателя; существованія же Нѣнца Канта
 тогда никто и не подозрѣвалъ... Россія была на вѣки оторва-
 на отъ своего прошедшаго, да и притомъ такъ уже свыклась
 съ реформою, что и не могла ничего найти въ немъ для себя;
 настоящее ея было невѣрнымъ и косвеннымъ отраженіемъ чу-
 жаго: откуда же было возникнуть въ ней своеобразному со-
 зерпанію жизни, сумми тѣхъ общихъ для всѣхъ и каждаго
 понятій, посредствомъ которыхъ въ обществѣ сливаются во
 едино всѣ частности и личности, которыя составляютъ цвѣтъ,
 характеристику, душу общества, и какъ въ зеркалѣ, отражают-
 ся въ его поэзіи и литературѣ?... Ихъ не было, и не могло
 быть. И вотъ отчего поэзія Державина такъ чужда всякаго
 содержанія. Чтò могъ видѣть и слышать онъ въ своемъ дѣт-
 ствѣ, у себя дома? чему могъ онъ выучиться въ школѣ? чтò
 могъ ему дать опытъ его жизни въ юности и въ лѣтахъ му-
 жества? Можно ли дивиться, что, въ апогеѣ своей славы, пяти-
 десятилѣтній Державинъ смотрѣлъ на поэзію какъ на отдыхъ
 и забаву, а на канцелярскія бумаги, какъ на дѣло, считалъ
 себя не поэтомъ, а чиновникомъ? Повторяю: тутъ нечего было
 и думать о содержаніи для поэзіи—и поэзія Державина ос-
 талась безъ всякаго содержанія. Возьмемъ ли мы его такъ
 называемыя «анакреонтическія стихотворенія» — сколько въ
 нихъ превосходныхъ частности, удачныхъ стиховъ, поэтиче-
 скихъ образовъ, сколько огня и яркости; но вмѣстѣ съ тѣмъ,
 и какая во всемъ вялость: ни малѣйшаго признака, ни сла-

быхъ слѣдовъ мистини сердца, жизни чувства! Чувство любви онъ вездѣ берегъ въ его отвлеченной общности: оно всегда у него одно и то же, всегда неподвижно, оцѣпенѣло, никогда не переходитъ изъ мотива въ мотивъ, и потому лишено всего внутреннего, — блеститъ, но не грѣетъ . . . Возьмемъ ли его такъ называемыя философскія оды: онѣ иногда богаты сентенціями, въ родѣ описанія признаковъ, долженствующихъ составлять истиннаго вельможу, и всегда бѣдны мыслями, лишены созерцанія. Только одно созерцаніе сообщаетъ нѣкоторымъ его одамъ поэтическій колоритъ: это мысль о преходящности всего, о паденіи героевъ, царствъ и народовъ, смываемыхъ съ лица земли волнами всепоглощающаго океана времени. Да, дума Державина объ этомъ предметѣ иногда грустна и полна величія и поэзіи, и нигдѣ не выразилъ онъ ее съ такою полнотою и силою, какъ въ прекрасной «Одѣ на смерть Мещерскаго»:

Ничто отъ роковыхъ костей.
 Никая тварь не убѣгаетъ:
 Монархъ и узникъ—сидѣ червей,
 Гробницы злость стихій сѣдаетъ;
 Знаетъ время славу стертъ:
 Какъ въ море льются быстры воды,
 Такъ въ вѣчность льются дни и годы;
 Глощаетъ царства злчна смерть.
 Скользимъ мы бездны на краю,
 Въ которую стремглавъ свалился;
 Пріемлемъ съ жизнью смерть свою.
 На то, чтобъ умереть, родимся;
 Безъ жалости все смерть разитъ:
 И звѣзды ея сокрушатся,
 И солнцы ея потухнутъ,
 всѣмъ міракъ она грозитъ.

Тутъ есть поэзія; потому что есть мысль, не изъ головы выскочившая въ одно прекрасное утро, когда хозяинъ этой головы, сидя въ халатѣ, пилъ чай и курилъ трубку, но вышедшая изъ глубоко потрясенной натуры, въ страданіи рожденная изъ

судорожно сжавшагося сердца... Особенно яркою характеристикой вѣка дышитъ этотъ куплетъ:

Сынъ роскоши, прохлада и нѣтъ,
 Куда, Мещерскій, ты сокрылся?
 Оставилъ ты сей жизни брегъ;
 Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился:
 Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.
 Гдѣ жъ онъ?—онъ тамъ.—Гдѣ тамъ?—не знаемъ.
 Мы только плачемъ и зываемъ:
 «О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»

XVIII вѣкъ слишкомъ игралъ жизнію, слишкомъ легко смотрѣлъ на нее; роскошь, прохлады и нѣги были его стихіею: потому удивительно ли, что только смерть человѣка, а не причина и слѣдствіе ея заставляли призадумываться этихъ вѣтренныхъ, легкомысленныхъ дѣтей XVIII вѣка? На пиру грянулъ громъ — веселые гости смутились; передъ ними бездыханный трупъ «сына роскоши, прохлада и нѣтъ», слѣдовательно, по ихъ мнѣнію, человѣка, котораго смерть не должна бы посмѣть коснуться... Но и онъ мертвъ — кто же послѣ этого смѣетъ надѣяться на жизнь? эта мысль леденитъ кровь въ ихъ жилахъ, и изъ груди ихъ, сжатой страшнымъ призракомъ смерти, вырывается болѣзненный вопль: «О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!» Вотъ трагическая сторона XVIII вѣка, который больше всѣхъ золъ въ мірѣ боялся смерти, — и Державинъ бессознательно, но превосходно выразилъ эту мысль. Однакожъ она у него не вездѣ одинаково хорошо выражена, всегда вертится около самой себя, не двигаясь впередъ, подобно колесцу вентилятора, и оттого утомляетъ читателя однообразнымъ шумомъ своихъ оборотовъ. Кромѣ же этой мысли, я другихъ не знаю у Державина; а согласитесь, что странно представить себѣ поэзію, которая вся вращается на одной, и притомъ лишенной внутренняго движенія мысли... Что же до его тор-

жественныхъ одъ, — и въ нихъ есть смѣлые обороты, яркіе проблески Державинской поэзіи; но онѣ невообразимо длинны, а это очень невыгодное обстоятельство въ лирической и особенно — «торжественной» поэзіи: при длинотѣ, скука побѣдить всякую поэзію: потому, онѣ преисполнены враждебнаго для поэзіи элемента — риторики, натянуты, неестественны, дурно концепированы, а главное — лишены и тѣни какого бы то ни было содержанія. Притомъ же и событія, подавшія поводъ къ сочиненію этихъ одъ, были особенно важны только для своего времени: наше время совершенно къ нимъ холодно, потому что его интересы стали и пошире, и поглубже и человечѣче. Два стихотворенія Пушкина: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская Годовщина» совершенно уничтожаютъ всѣ многочисленныя торжественныя оды Державина.

Сверхъ «Оды на Смерть Мещерскаго» я высоко ставлю еще его «Водопадъ». Въ этой піесѣ съ особенною выпукlostію и рѣзкостію проявились всѣ достоинства и недостатки поэзіи Державина. Въ ней особенно замѣтенъ этотъ полетъ, составляющій характеристическую черту Державинской поэзіи; глубокая и торжественная дума лежитъ въ ея основаніи; смѣлость и оригинальность образовъ и картинъ доходитъ въ ней часто до высокаго, въ ней —

Стукъ слышенъ плетовъ по вѣтрамъ,
Визгъ пилъ и стоишь итѣковъ подземныхъ

.....
Утесы и скалы дремали,
Волнистой облака грядой
Тихонько мимо пробѣгали,
Изъ коней трепетно, блѣдна,
Проглаживала внизъ луна.

Духъ читателя настроенъ фантастически и ожидаетъ чудесъ —

Внимаетъ завыванію пествъ,
Резъ вѣтровъ, скрытъ деревьями дебелими,

Стенанье филинов и совъ,
 И вѣщій гласъ вдали животныхъ,
 И тихій порохъ вкругъ безплотныхъ.
 Онъ слышитъ: сокрушилась ель,
 Станица врановъ встрепенулась,
 Крепнистый холмъ далъ страшну пель,
 Гора съ богатствами упала;
 Грохочеть эхо по горамъ,
 Какъ громъ гремящій по гронамъ.

Но особенно люблю я «Водопадъ» за героя, котораго дивная судьба при жизни и дивная смерть среди степи, подъ походнымъ плащомъ, вдохновила Державина. Много величавыхъ образовъ украшаетъ блестящій вѣкъ Екатерины Великой; но Потемкинъ всѣхъ ихъ заслоняетъ въ глазахъ потомства своею колоссальною фигурою. Его и теперь все такъ же не понимаютъ, какъ не понимали тогда: видятъ счастливаго временщика, сына случая, гордаго вельможу, — и не видятъ сына судьбы, великаго человѣка, умомъ завоевавшего свое безмѣрное счастье, а гениемъ доказавшаго свои права на него. Потемкинъ — это одна изъ тѣхъ титанскихъ натуръ, которыхъ душа вѣчно пожирается ничѣмъ неудовлетворяемою жаждою дѣятельности, — для которыхъ перестать дѣйствовать, значитъ перестать жить, — которыхъ, завоевавъ землю, надо дѣлать высадку на луну или умирать. Колоссальный образъ Потемкина съ ногъ до головы облитъ поэзію; Державинъ понялъ это, — и «Водопадъ» самая высокая, самая поэтическая пѣсня его. Однакожъ, сиѣлая концепція этой пѣсни неудачна въ цѣломъ, и блеститъ только частностями; все сочиненіе растянута, лучшія мѣста прерываются риторикою; желаніе сказать какую-нибудь любимую мысль, которая не выходитъ изъ предыдущаго и не вяжется съ послѣдующимъ, привело множество лишнихъ стиховъ только для вѣтшной связи; безпрестанно загорающееся огнемъ поэзіи чувство читателя безпрестанно охлаждается

водою общихъ риторическихкихъ мѣстъ; прекрасные стихи смѣняются дурными, счастливые обороты — ничтожными выраженіями, — и въ цѣломъ, эта поэма только истомитъ и измучитъ читателя, а не усладитъ его полными, ясными восторгомъ...

Я особенно дорожу тѣми одами Державина, въ которыхъ выражена вельможная и барская жизнь на распахку — единственная, хотя и относительно поэтическая жизнь того времени. Поэзія всегда вѣрна исторіи, потому что исторія есть почва поэзіи. Я сказалъ, что вельможество было единственнымъ образованнымъ сословіемъ того времени, — и это не могло не отразиться въ поэзіи Державина, давъ ей, хоть и бѣдное и одностороннее, содержаніе. Такія оды его, какъ «къ Первому Сосѣду», «къ Второму Сосѣду», «Гостю» — принадлежатъ къ числу лучшихъ его одъ. Но еще интереснѣе тѣ изъ нихъ, которыя блещутъ картинами русской природы. Его русская осень гораздо лучше весны, а зима весело блеститъ яркою бѣлизною снѣговъ и пушистаго инея... Съѣдая чародѣйка, она машетъ восматымъ рукавомъ, сыпая снѣгъ, морозъ и иней, претворяя воды въ льды; въ поляхъ воютъ голодные волки; олень уходитъ на мшистыя тундры, медвѣдь ложится въ свое логовище... А румяная осень? —

Уже стада толнятся птицы,
Ковыль сребрится по степямъ,
Шумящи красно-желты листья
Разстлались всюду по тропамъ.
Въ опушкѣ заяцъ быстроногій,
Какъ колпикъ, посвѣдѣвъ, лежитъ,
Ловцы раздаются рога,
И выжлятъ лай и гулъ гремитъ;
Запаслися крестьянинъ хлѣбомъ,
Бѣтъ добры щи и пиво пьеть...

Да, Державинъ сочувствовалъ русской осенней и зимней при-

родъ, — и это сочувствіе, какъ наследіе, перешло отъ него къ Пушкину. Но что у Пушкина является апофеозомъ, то у Державина есть только элементъ, начало чего-то, зерно еще неразвившееся въ растеніе и цвѣтъ. Великою приносить Державину честь, что онъ въ одѣ, гдѣ говорится объ осадѣ Очакова и Потемкинѣ, дерзнулъ, вопреки всѣмъ понятіямъ того времени о благородной и украшенной природѣ въ искусствѣ, говорить о зайцахъ, о голодныхъ волкахъ, о медвѣдяхъ, о русскомъ мужикѣ и его добрыхъ щахъ и пивѣ, дерзнулъ назвать зиму сѣдою чародѣйкой, которая машетъ косматымъ рукавомъ: это показываетъ, что онъ одаренъ былъ сильными и самостоятельными элементами поэзіи, которыми, однакожь, нельзя было развиться во что-нибудь опредѣленное и суждено было остаться только элементами, по отсутствію содержанія, еще невыработаннаго общественною жизнію, по неизмѣннѣ литературнаго, поэтическаго, разговорнаго и всякаго языка, и по кривымъ понятіямъ объ искусствѣ — не только у насъ, но и въ самой Европѣ, гдѣ XVIII вѣкъ вообще былъ неблагоприятенъ поэзіи. Конечно, во всемъ этомъ Державинъ нисколько не виноватъ, я и не виню его: говорю только, что ему можно удивляться, его должно изучать, но что нѣтъ никакой возможности читать его для наслажденія поэзіею, и что его произведенія, будучи важнымъ фактомъ для эстетики, теперь составляютъ въ сферѣ поэзіи совершенно мертвый капиталъ. Возьмемъ даже его оду «Осень во время осады Очакова», тѣ самыя прекрасныя картины осени и зимы, о которыхъ я сейчасъ говорилъ. Онѣ преисполнены самыхъ прозаическихъ обмолвокъ, или блесокъ «облагороженной и украшенной природы»: послѣ щей и пива, у него крестьянникъ, подобно какому-нибудь монестрелю, «поетъ блаженство своихъ дней»; отъ хладнаго дыханія зимы «цѣлуетъ взоръ природы, небесный Марсъ оставляетъ громы, и ложится отдыхать въ туманы,

сельскія Нѣшны» (т. е. деревенскія дѣтны въ лантахъ, если не босикомъ) перестаютъ пѣть въ хоровахъ... Я ужь не говорю о томъ, что въ этой одѣ нѣтъ ни единства мысли, ни единства ощущенія; что она не составляетъ ничего общаго, переполнена риторикою, богата дурными стихами, неточными выраженіями, на которыхъ безпрестанно спотыкается восторженное чувство: это общая и необходимая принадлежность, существенное качество каждаго стихотворенія Державина. И насъ хотятъ заставить читать его, для услажденія себя поэзію!... Поэзія есть искусство, художество, изящная форма истинныхъ идей и вѣрныхъ (а не фальшивыхъ) ощущеній: поэтому, часто одно слово, одно неточное выраженіе портитъ все поэтическое произведеніе, разрушая цѣлость впечатлѣнія. Я въ дѣтствѣ зналъ Державина наизусть, и мнѣ трудно было изъ міра его напряжено-торжественной поэзіи, бѣдной содержаніемъ, лишенной всякой художественности, всякой виртуозности, перейти въ міръ поэзіи Пушкина, столь свѣтлой, легкой, прозрачной, опредѣленной, возвышенно-свободной, безъ напряженности, полной содержанія, и потому вызывающей изъ души читателя всѣ чувства, даже такіа, которыхъ возможности онъ и не подозрѣвалъ въ себѣ, заставляющей вглядываться и вдумываться въ природу, въ жизнь и во внутреннее, тайное святилище собственной души, — наконецъ, поэзіи столь гармонической и художественной. Для моего дѣтскаго воображенія поставленнаго Державинскою поэзію на ходули, поэзія Пушкина казалась слишкомъ простою, слишкомъ короткою и лишею всякаго полета, всякой возвышенности... Переходъ отъ Державина къ Жуковскому для меня былъ очень легокъ: я тотчасъ же очаровался этимъ мистическимъ міромъ втутренней, задушевной поэзіи, любилъ ее исключительно; но Державинъ все таки оставался, въ моемъ понятіи, идеаломъ истиннаго поэта. Только постепенное духовное раз-

вѣтіе въ домѣ Пушкинскои поэзіи могло оторвать меня отъ глубоко вкоренившихся впечатлѣній дѣтства и дознанія тайны, сущности и значенія истинной поэзіи. И эта сила дѣтскихъ впечатлѣній имѣетъ свою причину въ богатствѣ и негуществѣ поэтическихъ элементовъ, какими одаренъ былъ отъ природы Державинъ. Родись этотъ человекъ въ благопріятное для поэзіи время, — можетъ-быть, онъ былъ бы великимъ поэтомъ, и вѣкамъ завѣщалъ бы свои могучія и полетистыя вдохновенія; но судьба велѣла ему быть первою ступенью рождающейся въ народѣ поэзіи, — и вотъ едва прошло двадцать пять лѣтъ послѣ его смерти, а его уже никто не читаетъ, и только безотчетно, на вѣру и по преданіямъ, восторгаются имъ... Повторяю: я поставилъ бы долгомъ и обязанностію всякому юношѣ не только прочесть — даже изучить Державина, какъ великій фактъ въ исторіи русской литературы, языка и эстетическаго образованія общества; но никому не возьмусь совѣтовать читать Державина для эстетическаго наслажденія: я знаю напередъ, что мой совѣтъ пропалъ бы вступъ послѣ первой прочитанной оды, или послѣ первыхъ стиховъ ея. Воля ваша, я такъ же не умѣю представить женщину съ Державиннымъ въ рукахъ, какъ Пушкинъ не умѣлъ ее представить себѣ съ «Благонамѣреннымъ» въ рукахъ. Знаю, что со мною многіе согласятся, но съ насмѣшливою улыбкою, которая будетъ не очень любезна въ отношеніи къ дамамъ: но, правде, пора бы намъ оставить этотъ мусульманскій взглядъ на женщину, и въ справедливомъ смиреніи сознаться, что наши женщины едва ли не умнѣ нашихъ мужчинъ, хоть эти господа и превосходятъ ихъ въ учености. Кто первый, вопреки школьнымъ предрассудкамъ, живымъ, непосредственнымъ чувствомъ оцѣнилъ поэзію Жуковскаго? — женщины. Пока наши романистки подводили поэзію Пушкина подъ новую теорію и отставали ее отъ незаслуживавшихъ вниманія педагоговъ класси-

ковъ, — женщины наши уже заучили наизусть стихи Пушкина. Мнѣніе, что женщина годна только рожать и нянчить дѣтей, варить мужу щи и кашу, или пласать и сплетничать, да почитывать легонькіе пустячки — это истинно киргизъ-кайсацкое мнѣніе! Женщина имѣетъ равныя права и равное участіе съ мужчиной въ дарахъ высшей духовной жизни. — и если она во всѣхъ отношеніяхъ стоитъ ниже его на лѣстницѣ нравственнаго развитія, — этому причиною не ея натура, а злоупотребленіе грубой матеріальной силы мужчины, полугварварское, немного восточное устройство общества, и сахарное, аркадское воспитаніе, которое дается женщинѣ. . . Но вѣкъ идетъ, идеи движутся, и варварство начинаетъ колебаться: женщина уже сознаетъ свои права человѣческія, и блистательными подвигами доказываетъ гордому мужчине, что и она такъ же дочь неба, какъ и онъ сынъ неба. . . Кому неизвѣстны имена Бетины и Рахели, которыхъ глубокія натуры отъ всякаго прикосновенія къ нимъ жизни издавали изъ себя электрическія искры откровенія тайнъ духа? Кому неизвѣстно имя гениальной Жоржъ Зандъ? Недавно въ Англии вышла книга миссъ Джемсонъ — «Характеры Шекспировскихъ Женщинъ», изумившая ученую и философскую Германію силою и глубиною анализа сокровенной души женщины, вѣрнымъ и мощнымъ постиженіемъ величайшаго поэта въ мірѣ; вдохновеннымъ поэтическимъ и, въ тоже время, полнымъ мысли и опредѣлительности изложеніемъ. Недавно вышла въ Германіи книга «Мнеология Грековъ и Римлянъ» — плодъ глубочайшаго изученія древности, книга столь же глубоко философская, сколько и высоко поэтическая: авторъ этой книги — женщина, Тинетта Гомбергъ. . . У насъ еще такъ недавно начали появляться истинно ученые мужчины — слѣдовательно мамъ еще рано думать о своихъ Джемсонъ и Гомбергъ; но и наша литература можетъ по справедливости гордиться мно-

гнии женскими именами (если она уже гордится столь многими мужскими), изъ которыхъ особенно замѣчательны: графиня Сара Толстая и неизвѣстная дама, авторъ многихъ превосходныхъ повѣстей, подписывающаяся Зенендою Р — вою. Итакъ, если женщины понимаютъ глубоко Шекспира и Гомера, то я, право не вижу, почему бы онѣ не могли понимать Державина... А между тѣмъ, онѣ точно его не понимаютъ и никогда не будутъ читать, особенно вида, что и мужчины давно уже отказались отъ этого удовольствія...

Б. — Я понимаю вашъ взглядъ на Державина, и каковъ бы онъ ни былъ въ самомъ дѣлѣ, но я увѣренъ, что во многомъ не могутъ не согласиться съ вами самые ожесточенные поклонники старины. Но послѣ такого взгляда на Державина, я уже боюсь предложить вамъ Фонъ-Визина...

А. — Напрасно: этому писателю я не только всегда дамъ почетное мѣсто на полкѣ моего небогатаго русскими книгами шкапа, но и не откажусь подчасъ и перелистовать и перечестъ его, сколько для историческаго изученія, столько и для удовольствія. Вѣстѣ съ Державинимъ, Фонъ-Визинъ есть полное выраженіе екатерининскаго времени. Слѣбно, когда хотятъ дѣлать изъ него поэта и коняка; но, какъ писатель, онъ безцѣненъ. Что бы вы ни читали въ немъ, — комедіи ли его, забавное ли и злое посланіе его къ Шумилову, письма ли изъ за границы, исповѣдь ли, вопросы ли — вездѣ видите умнаго и остраго человѣка, тонкаго наблюдателя, живую исторію своего времени. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которые, ниѣя значеніе въ своей литературѣ, не совсѣмъ бы утратили его и въ переводѣ на иностранные языки. Что до его поэзіи, онъ невиненъ въ ней. Въ комедіяхъ его нѣтъ ничего идеальнаго, а слѣдовательно, и творческаго: характеры дураковъ въ нихъ — вѣрные и ловкіе списки съ карикатуръ тогдашней дѣйствительности;

характеры умныхъ и добродѣтельныхъ — риторическія сентенціи, образы безъ лицъ; юморъ его комедій довольно легокъ и мелокъ: онъ ищетъ больше ситшнаго и карикатурнаго, чѣмъ комическаго и характернаго. Но при всемъ томъ, «Недоросль» и «Бригадиръ», уже согнанные съ театра, никогда не будутъ изгнаны ни изъ исторіи русской литературы, ни изъ библиотекъ порядочныхъ людей. Небудучи комедіями въ художественномъ значеніи, онѣ — прекрасныя произведенія бельетрической литературы, драгоценныя лѣтописи общественности того времени. «Дворянскіе Выборы» были сколкою съ комедій Фонъ-Визина, и въ достоинствахъ и недостаткахъ, но склывать и изобрѣтать двѣ вещи розныя; притомъ же, все хорошо въ свое время, — и честь и слава уму и таланту Фонъ-Визина, что онъ угадалъ, что можно и что нужно было въ его время...

Б. — Вотъ мы съ вами и переговорили о цѣломъ періодѣ русской литературы. Конечно, надо согласиться, что немного потратимъ времени на прочтеніе всего, что произвелъ этотъ періодъ.

А. — Слѣдующій будетъ несравненно богаче: только необходимо надо строго опредѣлять степень этого богатства, относительно или безусловную цѣнность частныхъ, изъ которыхъ состоитъ его цѣнность. А то — чего добраго! — вообразимъ себя такими богачами, что положась, конечно на большее и уже прожитое богатство, и не увидимъ, какъ придется по міру идти.

Б. — Интересно мнѣ, что вы скажете о Карамзинѣ и Дмитріевѣ, начавшихъ собою второй періодъ нашей литературы. Вѣроятно, ихъ еще можно читать и перечитывать?...

А. — Прежде всего, надо замѣтить, что Карамзинъ не ровня Дмитріеву. Дмитріевъ написалъ очень небольшую книгу стиховъ, и надо чтобъ въ стихахъ такой книги было слишкомъ много поэзіи, чтобъ ее читали въ наше время. . . Но он

не читаютъ уже лѣтъ двадцать, а въ наше время нешнотіе даже знакомы съ ней, и то не лично, а по слухамъ, по рекомендаціи учителей словесности и по литературнымъ адресъ-календарямъ, извѣстнымъ подъ названіемъ «исторіи русской литературы»... И Дмитріевъ въ самомъ дѣлѣ — примѣчательное лицо въ исторіи русской литературы. Я очень любилъ его въ дѣтствѣ, и отъ души благодаренъ ему за пользу и удовольствіе, которыя принесли мнѣ его стихотворенія въ мои дѣтскіе годы. Впрочемъ, басни и сказки Дмитріева и теперь еще могутъ доставлять дѣтямъ пользу и удовольствіе; если же будутъ для нихъ вредны, то развѣ со стороны своей негармонической и непоэтической версификаціи; но его оды и пѣсни теперь не годятся ни для дѣтей, ни для стариковъ—нхъ время давно прошло! А въ свое время онѣ были прекрасны, распространяли въ обществѣ охоту къ чтенію, приучали публику къ благороднымъ наслажденіямъ ума, доставляли ей возвышенное удовольствіе. Но это все-таки не мѣшало Дмитріеву не быть поэтомъ, не имѣть ни фантазій, ни чувства: онѣ замѣнялись у него умомъ и ловкостію. Русская версификація въ стихахъ Дмитріева сдѣлала значительный шагъ впередъ: въ свое время они считались чрезвычайно гладкими и гармоническими. Вообще, стихи Дмитріева гораздо лучше стиховъ Карамзина. Дмитріева можно назвать сотрудникомъ и помощникомъ Карамзина въ дѣлѣ преобразованія русскаго языка и русской литературы: чтó Карамзинъ дѣлалъ въ отношеніи къ прозѣ, то Дмитріевъ дѣлалъ въ отношеніи къ стихотворству. Но проза тогда была важнѣе стиховъ, и потому заслуги Карамзина уничтожаютъ собою заслугу Дмитріева: между ними нѣтъ ни сравненія, ни параллели въ этомъ отношеніи. Карамзинъ первый родилъ въ обществѣ потребность чтенія, размножилъ читателей во всѣхъ классахъ общества, создалъ русскую публику; съ него перваго должно полагать начало русской лите-

ратуры не какъ школьнаго, «ученаго» занятія, но какъ предмета живаго интереса со стороны общества. Правда, этотъ живой интересъ былъ еще довольно апатиченъ, а ограниченное число читателей не могло назваться публикою; но что же и теперь у насъ за публика? а между тѣмъ, теперешняя публика и огромна и образована въ сравненіи съ тою публикою; безъ той публики не было бы и теперешней. Поэтому, дѣло Карамзина — великій подвигъ, вполне достойный того, чтобы наше время обезсмертило его монументомъ. Карамзинъ явился преобразователемъ языка и стилистики. Въ обществѣ бродили уже новыя идеи, для выраженія которыхъ не доставало въ русскомъ языкѣ ни словъ, ни оборотовъ. Карамзинъ улегитимировалъ своимъ талантомъ употребленіе вошедшихъ и входившихъ въ русскій языкъ словъ, и ввелъ совершенно новыя не только иностранныя, но и русскія слова, какъ наприимѣръ, «промышленность». Карамзина обвиняютъ въ растлѣніи чужестранными словами и оборотами, преимущественно галицизмами, дѣвственности русскаго языка. Но эти люди забываютъ, что тогда не было никакого русскаго языка, и что латино-славянская проза Ломоносова и Хераскова гораздо меньше была русскимъ языкомъ, чѣмъ проза не только Карамзина, но и самыхъ неловкихъ его подражателей, отчаянныхъ галломановъ. Карамзинъ началъ писать языкомъ общества, тѣмъ самымъ, которымъ всѣ говорили; но, разумеется, идеализировалъ его, потому что письменный языкъ — искусственный, какъ бы ни былъ онъ естественъ, простъ, живъ и свободенъ. Карамзинъ явился въ самое время съ своею реформою: тогда всѣ чувствовали ея необходимость, — большинство бессознательно, избранныки сознательно: доказательствомъ перваго служитъ общій восторгъ, съ какими были приняты первые опыты Карамзина; а доказательствомъ втораго можетъ служить Макаровъ, современникъ Карамзина, талантливый литераторъ, въ одно

время съ Карамзинишъ, и совершенно независимо отъ него, писавшій такую же прекрасною прозою. Несмотря на то, что духъ времени былъ за Карамзина, знаменитому реформатору нужна была большая сила характера, или большая расчетливость, чтобъ не смущаться толками и воплями литературныхъ старовѣровъ. Въ самомъ дѣлѣ, потребна была большая рѣшимость, чтобъ изъ міра натанутой эпошей въ родѣ «Кадма и Гармоніи» спуститься въ міръ любви и горестей какой-нибудь «Бѣдной Лизы», которая не имѣла чести быть даже простою дворянкою. Въ лицѣ Карамзина, русская литература въ первый разъ сошла на землю съ ходуль, на которыя поставилъ ее Ломоносовъ. Конечно, въ «Бѣдной Лизѣ» и другихъ чувствительныхъ повѣстяхъ не было ни слѣда, ни признака общечеловѣческихъ интересовъ; но въ нихъ есть интересы просто человѣческіе — интересы сердца и души. Въ повѣстяхъ Карамзина, русская публика въ первый разъ увидѣла на русскомъ языкѣ имена любви, дружбы, радости, разлуки, и пр. не какъ пустыя, отвлеченныя понятія и риторическія фигуры, но какъ слова, находящія себѣ отзвѣтъ въ душѣ читателя. Такъ какъ это было въ первый разъ, всѣ эти чувства, нѣжныя до слабости, утѣренныя до бѣдной безцвѣтности, сладкія до приторности, были приняты за глубокое проникновеніе въ духовную натуру человѣка. Карамзинъ засталъ XVIII вѣкъ на его исходѣ, и взялъ отъ него только наступешскую сладость чувствъ, мадригальную силу страстей. И хорошо, что это случилось такъ, а не иначе: еслибы его сочиненія были выраженіемъ болѣе глубокаго содержанія, или хотъ какого-нибудь содержанія — онѣ плодотворно дѣйствовали бы на немногія благодатныя натуры; масса не замѣтила бы ихъ, и Карамзинъ не создалъ бы публики, не приготовилъ бы возможности существованія русской литературы. Чувство и чувствительность — не одно и то же: можно быть чувствительнымъ, не имѣя чувства; но

нельзя не быть чувствительнымъ, будучи человекомъ съ чувствомъ. Чувствительность ниже чувства, потому что она болѣе зависитъ отъ организаціи, тогда какъ чувство болѣе относится къ духу. Чувствительность раздражительная, нѣжная, слезливая, приторная, есть признакъ или слабой и мелкой, или разстѣпной природы: такая чувствительность очень хорошо выражается словомъ «сентиментальность». Однакожь, будучи не совѣтъ завиднымъ качествомъ, и сентиментальность лучше одеревенѣлаго состоянія въ грубой корѣ животной естественности, — и потому, въ массѣ тогдашняго общества, прежде всего должно было пробудить сентиментальность, какъ первый выходъ изъ одеревенѣлости. Европейская сентиментальность, составлявшая одну изъ заднихъ сторонъ XVIII вѣка, и привитая Карамзинымъ къ русской литературѣ, была смягчающимъ средствомъ для современнаго ему общества, мало знакомаго съ грамотою. Многие нападаютъ на жидкость содержания въ «Письмахъ Русскаго Путешественника»: я такъ не вижу въ нихъ ровно никакого содержанія, и потому самому уважаю ихъ. Еслибы Карамзинъ сдѣлалъ изъ нихъ вѣрную картину нравственнаго состоянія Европы въ то время, а не знакомилъ бы съ одиными внѣшностями европейской цивилизаціи и дорожными случайностями, — его путешествіе почти ни на кого не подѣйствовало бы. Карамзинъ, въ своихъ письмахъ, вездѣ обнаруживаетъ симпатію къ реформѣ Петра и антипатію къ длиннородой старинѣ: чувство вѣрное, но мотивы его не довольно глубоки. Для Карамзина, европеизмъ состоялъ въ однихъ удобствахъ образованной жизни; больше онъ ничего не предвидѣлъ въ этомъ величайшемъ вопросѣ, въ которомъ заключается вся судьба человѣчества. Но потому-то путешествіе Карамзина и было такъ понятно для публики, такъ восхитило ее и произвело такое сильное и такое благотворное вліяніе на образъ мыслей тогдашняго общества. Вотъ, по моему

нѣнью, какъ должно смотрѣть на Карамзина. Едра ли кто больше его принесъ пользы русской литературѣ (замѣтите: не поэзіи, не искусству, не наукѣ, — а литературѣ) и едва ли кто менѣе можетъ быть читаемъ въ наше время, какъ онъ. Державина нельзя читать, но — должно изучать: о сочиненіяхъ Карамзина нельзя сказать и этого. Чуждыя всякаго содержанія, они не могутъ быть переведены ни на какой европейскій языкъ: что бы наша въ нихъ Европа, изъ чего бы поняла она въ нихъ, что онъ — великій писатель?... Чуждыя нашему времени по формѣ, т. е. по самому языку своему, составляющему торжество классной стилистики — кѣмъ они будутъ читаться въ наше время, если не людьми, для которыхъ «Бѣдная Лиза» можетъ быть первою прочитанною ими повѣстью? Между тѣмъ, безъ Карамзина исторія нашей литературы не имѣетъ смысла; имя его велико, заслуги безсмертны, но творенія его какъ важныя и необходимыя только для современной ему эпохи, дошедъ до своей апогеи, обвитыя лаврами побѣды, безмолвно и безтревожно покоятся теперь въ своей лучезарной славѣ...

Б. — Но вы говорите только о мелкихъ трудахъ Карамзина; а вѣдь онъ написалъ «Исторію Государства Россійскаго»...

А. — Не написалъ, а только хотѣлъ написать, но не успѣлъ кончить и предисловія. Государство Россійское началось съ тверца его — Петра Великаго, до появленія котораго оно было младенецъ, хотя и младенецъ-Алкидъ, душившій змѣй въ колыбели; но кто же пишетъ исторію младенца! О младенцествѣ великаго человѣка упоминается, и то мимоходомъ, только въ предисловіи или введеніи въ его исторію. Содержаніе исторіи составляетъ таинственная психея народа, дающая чувствовать свое животворное присутствіе во внѣшнихъ событіяхъ; но событія сами по себѣ еще не составляютъ исторіи, какъ бы красно ни были они рассказаны. Педанты нападали на Карамзина за промахи противъ лѣтописей, за мелочныя ошибки въ

фактах: негласное обвинение! Умъ цѣнителъ передъ огроменно-стью подвига, совершеннаго Карамзинымъ: онъ писалъ исторію, онъ же и разработывалъ рѣшительно-нетронутые матеріалы для нея. Чтò было сдѣлано до него по части исторической критики документовъ? — Ничего: Шлецеръ и другіе были заняты преимущественно вопросомъ о происхожденіи Руси, который и теперь еще не рѣшенъ. Даже текстъ Нестора и теперь еще не возстановленъ и не очищенъ; чтò сдѣлалъ для него Шлецеръ, тѣмъ и теперь еще пробавляются наши «ученые». Итакъ, Карамзинъ работалъ за десятерыхъ, — и его примѣчанія къ «Исторіи Государства Россійскаго» едва ли еще не драгоценнѣе самого текста... И при такомъ трудѣ нападать на мелкія фактическія ошибки! Не въ нихъ, а въ идеѣ все дѣло; и вотъ съ этой-то стороны еще никто и не взглянулъ на великое твореніе Карамзина. Правда, нѣкоторые очень основательно упрекали Карамзина, что онъ былъ незнакомъ съ идеями Гизо, Тьерри, Баранта и другихъ, послѣ него явившихся историковъ; но я, право, не вижу никакого отношенія русской исторіи къ исторіи образованія европейскихъ государствъ. У насъ даже написано по этимъ идеямъ начало «Исторіи Русскаго Народа»; но уже самое заглавіе этой исторіи, или заглавіе начала этой исторіи, показываетъ ея внутреннее достоинство, равно какъ и то, какъ далеко обогнала она въ идеяхъ исторію Карамзина: тамъ государство, которое только готовилось быть, но котораго еще не было; а тутъ народъ, который не сознавалъ еще своего существованія. Изъ баснословнаго періода Руси Карамзинъ сдѣлалъ эпическую поэму въ духѣ XVIII вѣка, и то, чего не достало бы на десять страничекъ, растянулъ на томы. Уставши отъ безплоднаго описанія періода междоусобій и ужасовъ татарщины, онъ думалъ отдохнуть, принимаясь за 6-й томъ. «Отсебѣ — говорятъ онъ — исторія наша пріемлетъ достоинство истинно государственной»; но кому, даже и прежде

Карамзина, не только послѣ его, не было извѣстно, что слова «патріархальность» и «государственность» не одно и то же? Что же касается до насъ, живущихъ послѣ Карамзина, — мы читали на этотъ счетъ превосходное политическое сочиненіе подъячаго XVII вѣка, Кошихина, и потому уже не можемъ довольствоваться понятіемъ Карамзина о «государственности». Нечего уже говорить о томъ, что Карамзинъ невѣрно смотрѣлъ на Грознаго и на другія историческія лица. Но если наше время все это можетъ понимать вѣрнѣе Карамзина, этимъ оно обязано все-таки Карамзину же, потому что, безъ его исторіи, мы не имѣли бы никакихъ данныхъ для сужденій. До сихъ поръ, ни одна попытка написать исторію Россіи не только не поврочала великаго творенія Карамзина, но даже и не заслужила чести быть упоминаемой при немъ... И мы до тѣхъ поръ не будемъ имѣть настоящей исторіи Россіи, пока исторія Карамзина не перестанетъ быть читаемою, а ее еще долго-долго будутъ читать... Что же касается до меня собственно, — я прочелъ уже ее, и даже не одинъ разъ: и потому теперь она не можетъ увеличить моей «библіотеки для чтенія» (не для справокъ), т. е. того, что я называю литературою и отвѣтомъ на вопросъ: «Да гдѣ жь онѣ? дайте ихъ?»

Б. — Я вамъ упомянулъ бы о Крыловѣ; но вѣдь вы и его читали...

А. — И никогда не перестану читать. Собраніе его басенъ есть капитальная книга русской литературы. Это нашъ единственный баснописецъ: по крайней мѣрѣ, другихъ я не знаю, да и знать не хочу, что бы имъ говорили о Хемницерѣ и Дмитріевѣ... Достоинство басенъ Крылова безусловно и не зависитъ ни отъ времени, ни отъ моды. Число читателей на Руси прогрессивно умножается и будетъ умножаться годъ отъ году, въ безконечность. Мѣсто, которое онѣ должны занимать между другими нашими поэтами, должно быть опредѣлено

вопросомъ: какое мѣсто занимаетъ басня въ кругу прочихъ родовъ поэзіи? Рѣшеніе этого вопроса очень не трудно въ наше время...

Б.—Озеровъ...

А.—Очень примѣчательное лице въ исторіи русской литературы. Я люблю его особенно за то, что онъ своими трагедіями такъ ясно и опредѣлительно рѣшилъ вопросъ о псевдо-классической драмѣ... Благодаря ему, теперь нечего и спорить объ этомъ предметѣ: не дѣлайте возраженій, а только попросите прочесть или посмотреть на театрѣ «Эдипа въ Афинахъ», «Фингала», или «Поликсену» (о «Донскомъ» уже никто не будетъ говорить — все равно, какъ о «Хоревѣ»)... Родъ драмы, въ которомъ упражнялся Озеровъ, уже самъ по себѣ есть отрицаніе всякой поэзіи, натянутость, неестественность и скука... Но если трагедіи Озерова будете разсматривать и относительно, — то и тогда увидите въ нихъ, конечно, большой успѣхъ, но только успѣхъ вкуса и языка, а не поэзіи, не искусства, и притомъ успѣхъ только сравнительно съ трагедіями Сумарокова и Княжнина. Въ трагедіяхъ Озерова нѣтъ глубокаго чувства, и вообще въ нихъ больше чувствительности, чѣмъ какого-нибудь чувства, а паеосъ замѣненъ или раздражительностію, или высокопарностію. Озеровъ по преимуществу принадлежитъ къ Карамзинской школѣ: онъ усвоилъ себѣ всѣ ея элементы — и расплывающуюся, слезливую раздражительность чувствительности, и искусственную красоту стилистики. Къ этому должно присовокупить еще риторическую восторженность, занятую имъ у его французскихъ образцовъ. Впрочемъ, Карамзинская школа, въ лицѣ Озерова, сдѣлала большой шагъ впередъ: въ чувствительности Озерова больше силы, упругости и жизни; это что-то среднее между чувствительностію и чувствомъ, какъ бы переходъ отъ чувствительности къ чувству. Вообще, громкая слава и восторгъ

современниковъ были справедливою, вполне заслуженною данью дарованіямъ Озерова, и исторія русской литературы всегда дастъ ему почетное мѣсто на своихъ страницахъ, хоть его никто уже и не читаетъ и не будетъ читать, кромѣ людей, исторически изучающихъ литературу: для нихъ Озеровъ всегда останется интереснымъ явленіемъ.

Б. — Ваше мнѣніе объ Озеровѣ ново и оригинально, — и я думаю...

А. — Напротівъ, мое мнѣніе объ Озеровѣ и не ново и не оригинально: всѣ такъ думаютъ о немъ, но не всѣ такъ говорятъ. Въ нашей критикѣ, и особенно въ нашихъ учебникахъ, замѣтно владычество общихъ мѣстъ, литературное низкопоклонство живымъ и мертвымъ, лицемерство въ сужденіяхъ. Думаютъ и знаютъ одно, — а говорятъ другое. Иной господинъ ни разу не прочелъ, напримѣръ, Ломоносова, и помнитъ изъ него развѣ знаменитую строфу: «науки юношей питаютъ», которую невольно заучилъ въ дѣтствѣ, а начнетъ писать о Ломоносовѣ — такъ и посыпаются у него слова: «русскій Пиндаръ, высокое пареніе, торжественность, сила» и пр. и пр. Такъ новторяются у насъ до сихъ поръ пустыя фразы и о Державинѣ: «потомокъ Багрима, сѣверный бардъ, пѣвецъ Фелицы, алмазы, яхонты, сапфиры» и т. п. Впрочемъ, если наша публика, вмѣсто критики, часто читаетъ или похвальные слова, или плоскую брань, — въ этомъ отчасти она сама виновата: скажите хоть слово противъ «знаменитаго» писателя, котораго, впрочемъ, вы сами высоко цѣните, — тотчасъ: «Ахъ, какое неуваженіе! помилуйте; оно, конечно, правда, но какъ это можно, и къ чему это?...» У насъ ужъ такъ привыкли смотрѣть на критику: коли хвалить, такъ хвали; коли бранить, такъ только держись! Тутъ, по-неволѣ, иной разъ припомнишь стихи Крылова: «Да, спрашивай ты толку у звѣрей»... Главная причина этому — дѣтскость образованія: никто не хочетъ

мыслить, а всё только хотят читать. Требуяють, чтобъ критикъ не опредѣлялъ достоинство писателя, а расхвалилъ или разбранилъ его, и если статья состоитъ не изъ однихъ похвалъ, если авторъ не превозносится въ ней безусловно, говорятъ: «разругали»... Многимъ вы никакъ не растолкуете, что отъ противоположности сужденій объ авторѣ, авторъ недѣлается другимъ, все остается тѣмъ же, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ; но что только изъ противоположности сужденій возможенъ выводъ правльнаго и истиннаго сужденія объ авторѣ. Современники смотрять на автора такъ—потомки иначе: это еще не всегда значить, чтобъ они противорѣчили другъ другу; но часто значить только, что современники видѣли и цѣнили въ авторѣ одну сторону, исключительно удовлетворявшую требованія ихъ времени; а потомки, преисполненные новыхъ потребностей, сообразно съ духомъ ихъ времени, холодны и равнодушны къ сторонѣ автора, восхитавшей его современниковъ. Но эта холодность, это равнодушіе нисколько не уничтожаютъ заслугъ автора и его историческаго достоинства: его не будутъ читать, но всегда будутъ чествовать его имя, какъ представителя эпохи, какъ лицо историческое. На чтѣ жь тутъ сердиться и чѣмъ обижаться? Дѣтство и дѣтство — больше ничего! А право, пора бы уже перестать играть въ литературу, пора бы смотрѣть на нее посерьѣантѣ... Конечно, когда многіе «безсмертные» совети умрутъ, великіе сдѣлаются только знаменитыми, или замѣчательными, знаменитые — ничтожными; много сокровищъ обратится въ хламъ; но за то истинно прекрасное вступитъ въ свои права, а пересыпанье изъ пустаго въ порожнее риторическими фразами и общими мѣстами—занятіе, конечно безвредное и невинное, но пустое и пошлое — замѣнится сужденіемъ и мышленіемъ... Но для этого необходима терпимость къ мнѣніямъ, необходимъ протекторъ для убѣжденій. Всякій судить какъ можетъ и какъ умѣ-

еть; ошибка — не преступленіе, и несправедливое мнѣніе — не обида автору. Дѣло въ томъ, чтобъ мнѣніе было искренно и независимо отъ вѣнскихъ расчетовъ, касалось не лицъ, а только ихъ сочиненій. Грустно подумать, что все, мною теперь сказанное, старо только въ книгахъ, а на дѣлѣ очень и очень ново, такъ что долго еще будетъ повторяться съ разными варьяціями. Правда, у насъ всѣ, и говорящіе и пишущіе, повторяютъ это, но какъ общія мѣста, неизмѣющія никакого отношенія къ дѣлу, — и только коснитесь авторитета умершаго автора — шумъ и толки: «да что! да какъ! да помилуйте!»; а о живомъ и не заикайтесь. . Можетъ-быть, онъ и самъ не увидитъ ничего оскорбительнаго для себя въ вашемъ отзывѣ; но у него есть толпа почитателей, а толпа — всегда толпа: она не говоритъ, а кричитъ, не доказываетъ, а вопіетъ...

Б. — Все это правда; но я думаю, что тутъ надо винить не публику, а критиковъ, которые или не могутъ, или не смѣютъ «свое сужденіе мнѣть» и отдѣлываются повтореніемъ фразъ, уже около ста лѣтъ всѣмъ надобѣдающихъ... Но вѣдь мы съ вами говоримъ, а не пишемъ, такъ почему же вамъ не сказать, а мнѣ не послушать искренняго и — каково бы оно ни было — своего, а не чужаго мнѣнія, напримѣръ о Жуковскомъ и Батюшковѣ?...

А. — Вы не напрасно соединили эти два имени. Почти въ одно время явились они, какъ двѣ яркія звѣзды, на горизонтѣ нашей литературы, и дружно совершали по немъ свое, полное тихаго свѣта, шествіе, пока горестная судьба не остановила одну изъ нихъ на полу-дорогѣ, и не велѣла другой продолжать уже одиночій путь по новымъ и чуждымъ для нея пространствамъ, при ослабительномъ свѣтѣ вновь взшедшаго солнца... Жуковский и Батюшковъ — оба поэты и оба прозаики; оба они двинули впередъ и веревочкацію и прозу русскую. Проза ихъ богаче содержаніемъ прозы Карамзина, а оттого

кажется лучше и по формѣ своей, которая въ сущности не болѣе, какъ усовершенствованная стилистика Карамзина, чуждая своеобразнаго, національнаго колорита, и больше искусственная и щеголеватая, чѣмъ живая и сросшаяся съ своимъ содержаніемъ, какъ, напримѣръ, проза Пушкина и другихъ даровитыхъ писателей послѣдняго времени. Ученики побѣдили учителя: проза Жуковского и Батюшкова единодушно была признана «образцовою», и всѣ старались подражать ей... Въ наше время, уже никому не прійдетъ въ голову потратить столько труда, хлопотъ, времени, искусства и прекрасной прозы на повѣсть въ родѣ «Марьиной Рощи», или «Предславы и Добрыни», и еслибы кто написалъ ихъ въ наше время, никто бы не сталъ читать... Это оттого, что въ наше время не дорожатъ однимъ языкомъ, а требуютъ «слога» разумѣя подъ этимъ словомъ живую, органическую соответственность формы съ содержаніемъ, и наоборотъ, умѣние выразить мысль тѣмъ словомъ, тѣмъ оборотомъ, какіе требуются сущностію самой мысли, для которой всякое другое слово и другой оборотъ были бы неопредѣленны и неясны. Тогда «стилистика» годилась не для однихъ этюдовъ, но считалась искусствомъ, а этюды были не исключительнымъ упражненіемъ учениковъ, но и дѣломъ мастеровъ... Это очень естественно: чтобъ выучиться писать, надо сперва овладѣть формою; грамматика всегда предшествуетъ логикѣ. Наша литература была до Пушкина ученицею, особенно въ прозѣ: вотъ причина исключительнаго владычества стилистики, убитой Пушкинымъ и уступившей свое мѣсто «слогу». Со стороны поэзіи, заслуги Жуковского и Батюшкова были несравненно выше и дѣйствительнѣе, чѣмъ со стороны прозы. Но здѣсь оба поэта совершенно расходятся и въ направленіи, и въ сущности, и въ результатахъ своей поэтической дѣятельности: Жуковского нельзя назвать «поэтомъ» въ смыслѣ свободной, творческой природы, которая въ

разнообразныхъ и роскошныхъ художественныхъ созданій изчерпываетъ самобытную, ей собственно сродную и принадлежащую сферу міросозерцанія. Оригинальныхъ произведеній Жуковскаго немного, да и тѣ найдутъ ни въ какое сравненіе съ его же собственными переводами изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Между его оригинальными произведеніями есть небольшіе (величина въ лирическихъ произведеніяхъ часто есть признакъ отсутствія поэзіи и присутствія риторикъ, отсутствія мысли и присутствія разсужденій), проникнутыя чувствомъ, плѣняющія мелодією звуковъ, красотією стиховъ, звучностію и яркостію языка, но чуждыя художественной формѣ. Самое чувство ихъ однообразно-уныло и нерѣдко выходитъ на чувствительность. Что же касается до его большихъ лирическихъ произведеній, какъ-то: многочисленныхъ посланій, «Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ», «Пѣвца на Кремль», «Пѣсни Барда надъ гробомъ Славянъ-побѣдителей», «Отчета о лунѣ», «Двѣнадцати спящихъ дѣвъ», «Вадима» и пр., ихъ можно считать образцами изящной риторикъ и стихотворнаго краснорѣчія... Въ нихъ чувство пробуждается рѣдко — именно, когда поэтъ изъ чуждой ему сферы тержественной поэзіи входитъ въ свой элементъ, и сладкими стихами говоритъ о красѣ-дѣвицѣ, тоскующей надъ гробомъ милаго, гдѣ для нея и зелень ярче, и цвѣты ароматнѣе, и небо свѣтлѣе... Еслибъ я достоверно зналъ, что «Эолова Арфа», «Ахиллъ» и «Теонъ и Эскинъ» — не переводы, а оригинальныя произведенія, я сказалъ бы, что у Жуковскаго есть три превосходныя оригинальныя піесы; но все таки не назвалъ бы ихъ произведеніями поэта въ томъ значеніи, о которомъ сейчасъ говорилъ, потому что три піесы, каковы бы онѣ ни были, еще не могутъ составить себѣ значительнаго куска поэтической дѣятельности. Оригинальныя произведенія Жуковскаго представляютъ себѣ великій фактъ и въ исторіи нашей литературы,

и въ исторіи эстетическаго и нравственнаго развитія нашего общества; ихъ вліяніе на литературу и публику было безмѣрно велико и безмѣрно благотѣльно. Въ нихъ, еще въ первый разъ, русскіе стихи явились не только благозвучными и поэтическими по отдѣлкѣ, но и съ содержаніемъ. Они шли изъ сердца и къ сердцу; они говорили не о яркомъ блескѣ иллюминацій, не о громѣ побѣдъ, а о таинствахъ сердца, о таинствахъ внутренняго міра души... Они исполнены были тихой грусти, кроткой меланхоліи, — а это элементы, безъ которыхъ нѣтъ поэзіи. Правда, въ стихахъ Жуковскаго, то, что бы должно оставаться только элементомъ, было, напротивъ, и альфою и омегою его поэзіи, но таково было требованіе времени, таковъ былъ ходъ историческаго развитія нашей литературы. Жуковскій, въ этомъ случаѣ, думая служить искусству, служилъ обществу, развивая его эстетическое и нравственное чувство и приготавлиая его къ пріятію истинной поэзіи. Державина тогда превозносили; но стихотворенія его не были настоящею книгою у молодаго человѣка и не прятались подъ ноговою красавицы. Стихи Карамзина и Дмитриева удовлетворяли не всѣхъ, и ими восхищались только зависные любители литературы, а прочіе превозносили ихъ болѣе изъ приличія. Отъ торжественныхъ одъ у публики уже заложиле уши, и она сдѣлалась глуха для нихъ. Всѣ ждали чего-то новаго, а между тѣмъ, къ воспріятію истинной поэзіи, въ смыслѣ искусства, еще далеко не были готовы. Тогда явился Жуковскій съ своими унылыми и задумчивыми стихотвореніями, которыя всѣ сдѣлали свое дѣло, принесли свою пользу. Кто теперь будетъ читать, или, читая, восхищаться тайными піесами, какъ «Надъ прозрачными водями», или «Мой другъ, хранитель ангелъ мой»? А тогда!... Да, я еще самъ конюю, что такое были они для меня, послѣ стиховъ Державина и его подражателей... Здѣсь я долженъ сдѣлать оговорку, чтобы вы меня не поняли ложно,

и не приняли моихъ словъ за униженіе Державина въ пользу Жуковскаго. По элементамъ поэзіи и національности, Державинъ — колоссъ передъ оригинальными произведеніями Жуковскаго, а между тѣмъ дѣйствіе произведеній Жуковскаго на душу читателя всегда, а въ то время особенно, было сильнѣе, дѣйствительнѣе и благотворнѣе. Причина не въ томъ, что стихи Жуковскаго, какъ стихи, гораздо лучше стиховъ Державина: это преимущество времени, не таланта; нѣтъ, перевѣсъ на сторонѣ стиховъ Жуковскаго заключается въ ихъ содержаніи. Въ самомъ дѣлѣ, одна какая-нибудь картина Вадима, сидящаго съ кievскою княжною въ пещерѣ, во время бури, стѣнитъ тысячи торжественныхъ одъ въ родѣ «На взятіе Иманла»... Въ поэзіи Державина нерѣдко просвѣчиваютъ чисто русскіе, чисто національные элементы: одно уже это ставитъ его, какъ поэта, несравненно выше Жуковскаго, а я и стараюсь особенно указать вамъ не на безусловное, не на художественное, а болѣе на историческое достоинство оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго, какъ на главную причину важнаго и сильнаго вліянія даже тѣхъ изъ нихъ, которыя слабы въ поэтическомъ отношеніи и теперь совсѣмъ забыты...

Б. — Но вѣдь вы же сами приписываете нѣкоторымъ изъ нихъ, какъ, наприм., «Золовой Арѣ», «Ахиллу», «Теону и Эсхилу» безотносительное поэтическое достоинство?...

А. — И однакожь все-таки не почитаю ихъ оригинальными писани, но отношу къ разряду переводныхъ, точно такъ же, какъ у Пушкина и переводныя піесы отношу къ оригинальнымъ... Въ этомъ-то и достоинство, и важность, и великая заслуга Жуковскаго. До него наша поэзія лишена была всякаго содержанія, потому что наша юная, только что зараждавшаяся гражданственность не могла собственною самодѣятельностію національнаго духа выработать какое-либо обще-человѣческое содержаніе для поэзіи: элементы нашей поэзіи ны должны были

взять въ Европѣ и передать ихъ на свою почву. Этотъ великій подвигъ совершенъ Жуковскимъ. Въ его натурѣ есть какая-то родственность съ музами Германіи и Альбіона, — и ему, при такомъ высокомъ талантѣ, легко было, въ превосходныхъ переводахъ, усвоить намъ многія изъ ихъ прекраснѣйшихъ пѣсень. Мы еще въ дѣтствѣ, не имѣя опредѣленнаго понятія о томъ, что переводъ, что оригинальное произведеніе, заучиваемъ ихъ, какъ сочиненія Жуковского. Это сродняетъ насъ съ нѣмецкою и англійскою поэзію, и мы потомъ входимъ въ ихъ святилище уже не какъ профаны, но какъ уже рожденные посвященными... Оттого то въ Россіи такъ рано сдѣлались возможными и переводы съ этихъ языковъ, и изученія этихъ литературъ въ ихъ собственныхъ звукахъ; тогда-какъ, напримѣръ, для Французовъ и теперь еще закрыто печатью тайны святилище, особенно, германской поэзіи. Черезъ это же мы пришли въ состояніе усвоить себѣ германское созерцаніе искусства, германскую критику, германское мышленіе. И все это сдѣлалъ Жуковский одними своими переводами! Онъ ввелъ къ намъ романтизмъ, безъ элементовъ котораго, въ наше время, невозможна никакая поэзія. Пушкинъ, при первомъ своемъ появленіи, былъ оглашенъ романтикомъ. Поборники новизны называли его такъ въ похвалу, старовѣры — въ порицаніе; но ни тѣ, ни другіе не подозрѣвали въ Жуковскомъ представителя истиннаго романтизма. Причина очевидна: романтизмъ полагали въ формѣ, а не въ содержаніи. Правда, романтическое содержаніе не можетъ укладываться въ опредѣленные по самому объему и сразимѣрныя формы древней поэзіи; оно требуетъ простора и часто, такъ сказать, нарушаетъ въ свою пользу права формы. Но не въ этомъ сущность романтизма. Романтизмъ — это міръ внутренняго человѣка, міръ души и сердца, міръ ощущеній и вѣрованій, міръ порываній къ безконечному, міръ

таинственныхъ видѣній и созерцаній, міръ небесныхъ идеаловъ... Почва романтизма не исторія, не жизнь дѣйствительная, не природа и не внѣшній міръ, а таинственная лабораторія груди человѣческой, гдѣ незримо начинаются и зрѣютъ все ощущенія и чувства, гдѣ неумолкаемо раздаются вопросы о мірѣ и вѣчности, о смерти и бессмертіи, о судьбѣ личнаго челоѣка, о таинствахъ любви, блаженства и страданія... Обаятельнъ этотъ фантастическій, запертый въ самомъ себѣ міръ; средніе вѣка жили въ немъ безвыходно; наше время, выступившее изъ него же, не отрѣшилось отъ него, но расширило его новыми элементами и уравновѣсило ихъ, помирило его и съ исторіею и съ практическою дѣятельностію. Горе тому, кто, соблазненный обаяніемъ этого внутренняго міра души, закроетъ глаза на внѣшній міръ и уйдетъ туда, въ глубь себя, чтобъ питаться блаженствомъ страданія, лелѣять и поддерживать пламя, которое должно пожрать его!... Люди съ сильными натурами, погружаясь въ эту пучину внутренняго созерцанія, могутъ дѣлаться мистическими сомнамбулами, вдохновенными безумцами, живыми тѣнями въ чуждомъ и страшномъ для нихъ мірѣ дѣйствительности. Люди недалекіе и неглубокіе дѣлаются шестистами, мистиками и моралистами; они толкуютъ и понимаютъ себя и все внѣ ихъ находящееся задомъ напередъ и вверхъ ногами. Но горе и тому, кто, увлеченный одною внѣшностію, дѣлается и самъ внѣшнимъ челоѣкомъ: нѣтъ ему вѣрнаго убѣжища въ самомъ себѣ отъ бурь жизни; нѣтъ въ немъ ни глубокихъ нравственныхъ началъ, ни вѣрнаго взгляда на дѣйствительность; внутри его и холодно, и сухо, и жестко; онъ не можетъ любить; онъ гражданинъ, онъ воинъ, онъ кунаецъ, онъ все что хотите, но онъ никогда—не челоѣкъ, и вы никогда ему не вѣрнитесь, не будете его другомъ, не откроете ему никакого внутренняго челоѣческаго чувства, боясь опрофанировать это чувство...

Итакъ, оба эти міра, внутренній и внѣшній—крайности; равно опасно предаваться одной изъ нихъ исключительно; но оба эти міра равно нуждаются одинъ въ другомъ, и въ возможномъ проникновеніи одного другимъ заключается дѣйствительное совершенство чловѣка. Міръ внѣшній встрѣчаетъ насъ при самомъ рожденіи нашемъ и уловляетъ насъ: чтобъ избавиться отъ его ложныхъ и нечистыхъ обаяній, прежде всего нужно развить въ себѣ романтическіе элементы. Пусть они возобладаютъ надъ нашимъ духомъ, возбуждаютъ въ насъ восторженность и фанатизмъ: въ сильной натурѣ, одаренной тактомъ дѣйствительности, они уравновѣсятся въ свое время съ другою стороною нашего духа, зовущею въ міръ исторіи и дѣйствительности; чтѣ же до натуръ одностороннихъ, исключительныхъ, или слабыхъ — имъ вездѣ грозитъ равная опасность — и во внутреннемъ, и во внѣшнемъ мірѣ. Итакъ, развитіе романтическихъ элементовъ есть первое условіе нашей чловѣчности. И вотъ великая заслуга Жуковского! Трепетъ объемлетъ душу при мысли о томъ, изъ какого ограниченнаго и пустаго міра познѣи въ какой безконечный и полный міръ ввелъ онъ нашу литературу; какииъ содержаніемъ обогатилъ и оплодотворилъ онъ ее посредствомъ своихъ переводовъ!... Трагедіи Озерова—и «Орлеанская Дѣва» Шиллера; анакреонтическія стихотворенія Державина, чувствительныя пѣсни и романсы Карамзина, Дмитріева, Капниста, Мелединскаго-Мелецкаго — и «Пѣсни Миньйоны», «Голосъ съ того свѣта», «Утѣшеніе въ слезахъ», «Горная дорога», «Мечты», «Эпиграммъ», «Элегія на кончину королевы вюртембергской», «Сельское кладбище», «Три путника», «Теонъ и Эсихъ», «Старый рыцарь» и проч.; торжественныя оды — и такія баллады, какъ «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы журавли», «Лѣсной царь», «Кассандра», «Графъ Габсбургскій», «Узникъ», «Эолова арфа», «Ахиллъ», «Торжество побѣдителей», «Жалобы Цереры»,

«Жубокъ», «Замокъ Смальгольмъ»!... А тамъ еще остаются переводы «Шильфонскій Узникъ», «Перя и Ангелъ», сельскія стихотворенія. «Ундина» — эта благоуханная, мелодическая и фантастическая повѣсть сердца, это оригинально-переводное твореніе Жуковского, лучше всего поясняетъ, почему его не хотятъ называть переводчикомъ, а смотрятъ на него, какъ на самостоятельнаго поэта. Дѣйствительно Жуковского нельзя назвать собственно переводчикомъ: въ выборѣ піесъ для перевода онъ руководствовался не однимъ безотчетнымъ влеченіемъ, но какъ-будто началомъ; онъ вездѣ искалъ своего и, находя, переводилъ; всѣ переводы его носятъ на себѣ какой-то общій отпечатокъ, всѣ они образуютъ собою какой-то особенный міръ поэзіи — поэзіи Жуковского. Самые оригинальныя произведенія — какъ-будто переводы, а переводы — какъ-будто оригинальныя произведенія. Онъ не случайно перевелъ «Орлеанскую Дѣву», а не «Донъ Карлоса», не «Валленштейна» не «Вильгельма Телля»: историческая сфера — не его сфера; ему родственнѣе этотъ міръ чудесъ внутренняго духа, ему ближе по душѣ вдохновенная таинственнымъ дубомъ геронія... Да, велика, неизмѣримо велика заслуга Жуковского русской литературѣ, русскому обществу! Это не временная, не относительная заслуга: многіе, или, лучше сказать, большая часть его переводовъ будутъ вѣчными памятниками его огромнаго таланта, неуловимыми цвѣтами русской литературы. Поколеніе отъ поколенія будетъ воспитываться ими на служеніе духу жизни... Я не умѣю ничего лучше представить себѣ его переводовъ: «Торжество Побѣдителей» и «Жалобы Цереры»; слабѣ Жуковскій перевелъ только ихъ — и тогда бы онъ оставилъ себѣ мѣя въ нашей литературѣ. Если между его переводами есть слабыя — причина въ неудачномъ выборѣ, а не въ недостаткѣ таланта. Таковы: «Королева Урака», «Долна», отрывки изъ «Камоэнса» и т. п. Но и его неудачныя

піесы, какъ оригинальныя, такъ и переводныя, однѣ уже сдѣлали свое дѣло, другія еще будутъ его дѣлать: ихъ содержаніе для неразвитаго еще эстетическаго вкуса всегда будетъ замѣнять недостатокъ формы. Объ образцовыхъ переводахъ его я уже все сказалъ, что хотѣлъ сказать; о полномъ же циклѣ его поэзіи заключаю свое сужденіе стихами Пушкина:

Его стиховъ плѣнительная сладость
 Пройдетъ вѣковъ завистливую даль;
 И, внемля имъ, вздохнуть о славіи младости;
 Утѣшится безмольная печаль,
 И рѣзвая задумается радость.

Б. — Я, право, не вижу, почему бы ваше сужденіе о Жуковскомъ могло кому-нибудь показаться рѣзкимъ, или оскорбительно-несправедливымъ... Развѣ потому что оно нисколько не похоже на то, что толковали о Жуковскомъ наши аристархи, особенно «ученые»... Миѣ теперь особенно интересно услышать ваше мнѣніе о Батюшковѣ...

А. — Батюшковъ болѣе поэтъ, чѣмъ Жуковский; Батюшковъ былъ одаренъ отъ природы художественными силами. Въ стихѣ его есть упругость и пластика; о гармоніи нечего и говорить: до Пушкина, у насъ не было поэта съ стихомъ столь гармоническимъ. Батюшковъ сочувствовалъ древнему міру; въ натурѣ его были элементы эллинскаго духа. И между тѣмъ, онъ прошелъ почти незамѣченнымъ явленіемъ, тогда какъ Жуковскаго знала наизусть вся Россія: причина — недостатокъ, если не отсутствіе содержанія въ поэзіи Батюшкова. Родиною его музы должна была быть Эллада, а посредникомъ между его музою и гениемъ Эллады — Германія; и между тѣмъ, талантъ Батюшкова развивался на бесплодной для искусства почвѣ французской литературы XVIII вѣка: онъ не почиталъ для себя униженіемъ переводить и подражать даже какому-нибудь сладенькому Парни. Итальянская поэзія тоже не

могла быть ему особенно полезною, и скорѣе была вредна. Одно изъ лучшихъ его произведеній — «Элегія на развалинахъ замка въ Швеціи», — внушено ему дикимъ гениемъ мрачнаго сѣвера; антологическія стихотворенія — эти драгоценныя брильянты въ его поэтическомъ вѣнцѣ, подарены ему гениемъ родной ему Элады. Все прочее занимаетъ у него середину между скандинавскою элегіею и антологическими стихотвореніями, и потому — все это какъ-то нерѣшительно, болѣе сверкаетъ превосходными частностями, красотою пластически-художественной формы, но нецѣлымъ, которое, по недостатку содержанія, не могло являться въ художественной замкнутости и окончности.

Батюшковъ явился въ такое время нашей литературы, когда ни у кого не было и предчувствія о томъ, что такое искусство со стороны формы. Поэтому, онъ заботился больше о гладкости и правильности того, что называли тогда «слогомъ», и мало заботился о виртуозности своего художественнаго рѣза, такъ что его пластическіе стихи были безсознательнымъ результатомъ его художнической природы, — и вотъ почему въ его стихотвореніяхъ такъ много неточныхъ выраженій, прозаическихъ стиховъ, а иногда онъ не чуждъ и растянутости и риторики. Батюшковъ самъ чувствовалъ недостатокъ въ содержаніи для своей поэзіи, и потому переходилъ изъ крайности въ крайность: отъ свѣтлаго, поэтическаго эпикуреизма къ какому-то строгому и прозаическому мистицизму. Поэзія его всегда нерѣшительна, всегда что-то хочетъ сказать и какъ-будто не находитъ словъ. Впрочемъ, чтобъ сдѣлать вѣрную и полную оцѣнку Батюшкову, надо много говорить, надо безпрестанно цитовать его стихи. Батюшковъ не принадлежитъ къ числу гениальныхъ творческихъ натуръ; но талантъ его до того великъ, что, не будь его поэзіи лишена почти всего содержанія, родился онъ не передъ Пушкинымъ, а послѣ него, —

онъ былъ бы одинъ изъ замѣчательныхъ поэтовъ, котораго имя было бы извѣстно не въ одной Россіи.

Б.— Да что же вы разумѣете подь словомъ «содержаніе», которое служитъ основаніемъ всѣхъ вашихъ сужденій о поэзии и поэтахъ?

А.— Я не берусь вамъ опредѣлять философски, что такое «содержаніе» въ жизни, въ исторіи, въ искусствѣ, въ наукѣ; но охарактеризую его вамъ общими признаками и объясню примѣрами, взятыми изъ сферы искусства. Содержаніе въ искусствѣ не всегда то, что можно съ перваго взгляда выговорить и опредѣлить; оно не есть воззрѣніе, или опредѣленный взглядъ на жизнь, не начало или система какихъ-либо вѣрованій и убѣжденій, родъ философской школы, или политической котерин; содержаніе есть нѣчто высшее, изъ чего вытекають все вѣрованія, убѣжденія и начала; содержаніе есть міросозерцаніе поэта, его личное ощущеніе собственнаго пребыванія въ лонѣ міра, и присутствіе міра во внутреннемъ святилищѣ его духа. Когда вы читаете поэта безъ содержанія, но обладающаго большимъ талантомъ, вы чувствуете, что васъ что-то растрожило, возбудило въ васъ стремленіе къ чему-то, повергло васъ въ какое-то неопредѣленное состояніе, но не удовлетворило, не наполнило ничѣмъ; здѣсь самое наслажденіе — только раздраженіе, а не удовлетвореніе. Напротивъ, когда вы читаете поэтическія произведенія, проникнутыя глубокимъ содержаніемъ, вы чувствуете, что стремитесь къ чему-нибудь опредѣленному, наслаждаетесь чѣмъ-нибудь положительнымъ, что вы пріяли въ себя новую силу, что вашего существованія прибавилось, что вы чѣмъ-то преисполнились. Тогда вы страдаете страданіемъ вашего поэта, блаженствуете его блаженствомъ, потому что въ его страданіи или его блаженствѣ узнаете обще-человѣческую скорбь или радость, душу вѣка, интересъ времени. Вашъ поэтъ покоряетъ васъ,

заставляет видѣть все въ томъ колоритѣ, въ какомъ самъ все видитъ. Такое вліяніе производятъ на душу читателя великіе поэты, каковы, напр., Байронъ, Шиллеръ, Гёте. Ихъ нельзя читать всѣхъ вдругъ, но каждый изъ нихъ поочередно овладѣваетъ цѣлою частію вашей жизни и дѣлаетъ васъ на то время байронистомъ, шиллеристомъ, гёттистомъ. У насъ вообще содержаніе понимаютъ только вѣншиимъ образомъ, какъ «сюжетъ» сочиненія, не подозревая, что содержаніе есть душа, жизнь и сюжетъ этого сюжета. И потому если дѣло идетъ особенно о романѣ, или повѣсти, то смотрятъ только на полноту проществій, на сложность завязки и искусство развязки. Съ этой точки зрѣнія, «Эвелина де-Вальероль» г. Кукольника, конечно будетъ романомъ съ содержаніемъ, потому что и въ цѣлый день не перескажешь всѣхъ «приключеній», обрѣтающихся въ этой сказкѣ; а «Старосвѣтскіе Помѣщики» Гоголя, гдѣ очень просто рассказано, какъ жилъ старикъ со старушкой, какъ сперва умерла старушка, а потомъ умеръ старикъ, съ тоски по ней, и гдѣ нѣтъ ни проществій, ни завязки, ни развязки, — будетъ повѣстью безъ всякаго содержанія...

Б. — А! теперь я понимаю, отчего вы мало находите содержанія у такихъ изъ нашихъ писателей, которые общими мнѣніемъ признаны великими... Кстати; эпоха литературы, на которой мы остановились, была ознаменована союзами знаменитостей, поэтическими и литературными триумфратами.

А. — Которые теперь, за давностію, забыты, такъ что историкамъ нашего времени надо дѣлать новыя... И я первый попытаюсь на это, присоединивъ къ именамъ Жуковского и Батюшкова имя Гнѣдича. Этотъ человекъ у насъ доселѣ не вонятъ и не оцѣненъ, по недостатку въ нашемъ обществѣ ученаго образованія. Переводъ «Иліады» — эпоха въ нашей литературѣ, и придетъ время, когда «Иліада» Гнѣдича будетъ

настойною книгою всякаго образованнаго человѣка. Это время недалеко, потому что, благодаря просвѣщенному, истинно европейскому стремленію вышшняго Министерства Народнаго Просвѣщенія, поставившаго изученіе древнихъ языковъ непреложнымъ условіемъ гимназическаго и университетскаго курса, — образованность и невѣжество скоро перестанутъ быть синонимами, и истинная ученость сдѣлается основой истинной образованности... Безъ историческаго созерцанія жизни древнихъ нельзя понимать и ихъ искусства; вотъ почему «Иліада» ни когда не можетъ быть доступна толпѣ. Безъ созерцанія греческаго искусства, никакого искусства нельзя понимать, — и потому нѣчего распространяться о томъ, какъ великъ подвигъ Гнѣдича, какое безконечное вліяніе имѣетъ и будетъ имѣть онъ на русскую литературу. Духъ Гнѣдича былъ родственъ съ гениемъ эллинской поэзіи; самъ собою, вопреки своему развитію и духу времени, онъ прозрѣлъ въ глубокую сущность греческаго искусства. Переводъ «Иліады», если сравнить съ подлинникомъ, есть не болѣе, какъ

. . . . разыгранный Фрейшицъ
Перстами робкихъ ученицъ.—

но все же «Фрейшицъ», а не собственная фантазія, выдаваемая за «Фрейшица»: — а это великое дѣло! Никакое колоссальное твореніе искусства не можетъ быть переведено на другой языкъ такъ, чтобъ, читая переводъ — вы не имѣли нужды читать подлинникъ; напротивъ, не читавъ творенія въ подлинникѣ, нельзя имѣть точнаго о немъ понятія, какъ бы ни былъ превосходенъ переводъ. Къ «Иліадѣ» особенно относится эта горькая истина: только греческій языкъ могъ выразить такое греческое содержаніе, и на всѣхъ другихъ языкахъ «Иліада» — засушенное тропическое растеніе, хотя и сохранившее, по возможности, и блескъ своихъ красокъ и ароматическій запахъ. Нашъ Гнѣдичъ умѣлъ схватить въ своемъ

переводѣ отраженіе красокъ и аромата подлинника, умѣлъ уловить колоритъ греческаго созерцанія и сдѣлать его фономъ картины своего перевода. Переводъ Гнѣдича — копія съ древней статуи, сдѣланная даровитымъ художникомъ новаго времени. А это великій подвигъ, безсмертная заслуга! Русскій языкъ одинъ изъ счастливѣйшихъ языковъ, по своей способности передавать произведенія древности. Невѣжды смѣются надъ славянскими словами и оборотами въ переводѣ Гнѣдича; но это именно и составляетъ одно изъ его существеннѣйшихъ достоинствъ. Всякій коренной, самобытный языкъ, въ періодъ младенчества народа, въ созерцаніи котораго жизнь еще не распалась на поэзію и прозу, но и самая проза жизни олицетворена, — такой языкъ, въ своемъ началѣ, бываетъ полонъ словъ и оборотовъ, дышущихъ какою-го младенческою простотою и высокою поэзію; современемъ, эти слова и обороты замѣняются другими, болѣе прозаическими, а старыя остаются богатымъ сокровищемъ для разумнаго употребленія, и наоборотъ, если ихъ некстати употребляютъ. Такъ у насъ остались древнія поэтическія слова: «ланиты, очи, уста, перси, рамена, храмъ, храмина, прахъ» и т. п., замѣнившіяся прозаическими словами: «щеки, глаза, губы, груди, плечи, хоромы, порогъ». Конечно, нѣтъ ничего смѣшнѣе, пошлѣе и надутѣе, какъ употребленіе педантами и безвкусными рифмотворцами старинныхъ словъ тамъ, гдѣ это не требуется сущностію дѣла, напримѣръ, въ переводѣ Тассова «Освобожденнаго Іерусалима» и т. п. Но въ переводѣ «Иліады» эти слова, подъ перомъ вдохновеннаго переводчика, исполненнаго поэтическаго такта — истинное и безцѣнное сокровище! Замѣните выраженія: «ему покорилась лилейно-раменная Гера-богиня»; «и ослабился Зевесъ-громовержецъ» выраженіями: «его послушалась жена»; «разсѣлся Зевесъ», — тогда изъ высокой поэзіи выйдетъ пошлая проза...

Б. — Однако мы уже такъ далеко зашли съ вами, что, кажется и не доберемся до Пушкина...

А. — Напротивъ, мы уже добрались до него...

Б. — Какъ? такъ неужели Карамзинъ, Дмитриевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуковский, Батюшковъ, Гнѣдичъ — и всѣ тутъ?

А. — А кто же еще, думали бы вы? Неужели Николевъ, Бобровъ, Долгорукий, Хвостовъ, Остолоповъ, Подшиваловъ, Никольскій, Глики, Шаховской, Воейковъ, Измайловъ, Шаликовъ, Пушкинъ (В.), Катенинъ, Пнинъ, Буримскій, Шатровъ, Горчаковъ, Бунина, Крюковской, Лобановъ, Ф (Ф)едоровъ, (Б. М.), Кокониинъ, Иаьинъ, Ивановъ, и пр.?... Пора бы уже и перестать беспокоить ихъ почтенныя и заслуженныя имена нашимъ журнальнымъ критикамъ и обозрѣвателямъ, какъ оставила въ покоѣ забывшая о нихъ публика... Сверхъ того, не все, что касается до литературы, входитъ въ исторію литературы: многое поступаетъ въ вѣдомство статистики литературы, которая занимается всѣми книгами и всѣми писателями безъ изъятія, подводя ихъ подъ числа и итоги, иногда очень интересные и поучительные... Первый опытъ такой статистики русской литературы составилъ г. Гречъ, подъ названіемъ «Опыта Краткой Исторіи Руской Литературы», впрочемъ, довольно плохой даже и для статистики...

Б. — Но нѣкоторые изъ нихъ...

А. — Были люди съ дарованіемъ, хотите вы сказать? Правда; но ихъ дарованія такъ сильны, что не могли не быть замѣчены въ свое время, и такъ слабы, что забылись еще прежде чѣмъ кончили они свое поприще. Такія дарованія — случайности, а не дѣйствительныя явленія. Дѣйствительно только те, что рождаются изъ важныхъ причинъ и производятъ важныя слѣдствія. Если изучать всѣ случайности, помнить ихъ и говорить о нихъ — не станеть въку человѣческаго, не-

когда будетъ заняться чѣмъ-нибудь дѣльнымъ. Сверхъ того, написать мимоходомъ, между службою и картами, двѣ-три пѣсни, журнальную статейку, какую-нибудь сказку, которыя бы обратили на автора минутное вниманіе толпы, еще не значить быть поэтомъ, или даже и литераторомъ. .

Б. — Итакъ, перейдемъ къ Пушкину.

А. — И поговоримъ о немъ какъ можно меньше, потому что сказать о немъ всего не успѣешь и въ цѣлую жизнь. Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно живущимъ и движущимся явленіямъ, неостанавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаниіи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе и какъ бы ни вѣрно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слѣдующей за нею эпохѣ сказать что-нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего...

Батюшковъ уже свершилъ свое поприще, несчастно прерванное; Жуковскій, хоть еще и далеко не свершилъ своего поприща, но результаты его поэтической дѣятельности уже пустили глубоко свои корни въ почву воспримчиваго и плодотворнаго русскаго духа, — когда ребенокъ Пушкинъ начиналъ знакомиться съ русскою литературою. Жадно читалъ онъ все, что засталъ тогда написаннымъ, отъ Ломоносова до Жуковскаго и Батюшкова вклячательно. И вотъ онъ дѣлается усердникомъ, и, надо сказать, часто неловкимъ ученикомъ предшествовавшихъ ему корифеевъ нашей литературы и подражателемъ. Стихъ его не былъ лучше даже стиха его дяди, В. Пушкина; онъ пишетъ посланіе «къ красавицѣ, нюхавшей табакъ», и жалѣетъ въ немъ, зачѣмъ онъ не табакъ... Усердно печатаетъ онъ свои дѣтскія фантазіи въ «Россійскомъ Музеумѣ», издававшемся въ 1815 году. Прочтите лицейскія стихотворенія Пушкина — и въ лучшихъ изъ нихъ вы увидите только хорошаго подражателя. Въ первомъ томѣ изданныхъ

имъ самимъ стихотвореній вы уже не находите ничего дурнаго, напротивъ, видите много хорошаго; но въ пьесахъ: «Лицинію», «Пѣвецъ», «Амуръ и Гименей», «Ш***ву», «Торжество Ваха», «Разлука», «Дельвигу», «Жуковскому», «Русалка», «Стансы Т***му», «В***му», «Война», «Къ Овидію», писанныхъ отъ 1815 до 1822, вы еще видите не Пушкина, еще не самостоятельнаго поэта, а только даровитаго ученика достойныхъ учителей. Всѣ изчисленные мною стихотворенія переищаны съ такими, въ которыхъ Пушкинъ является уже Пушкинымъ, въ которыхъ мы видимъ поэзію, неизмѣющую ничего общаго съ прежнею, бывшею до Пушкина, — поэзію, явившуюся вдругъ, безъ всякихъ предварительныхъ проявленій, подобно Аенѣ Палладѣ, вдругъ и во всеоружіи родившейся изъ головы Зевса... Въ отдѣлѣ стихотвореній, означенныхъ 1823 годомъ, вы уже не встрѣчаете ничего не-Пушкинскаго, ничего наѣяннаго Пушкину его учителями. Правда, въ поэмахъ его — «Русланъ и Людмила», «Кавказскій Плѣнникъ» видно сильное вліяніе, но уже другихъ учителей: — Пушкинъ навсегда расквитался съ русскою литературою и сталъ ея учителемъ... Трудно охарактеризовать общими чертами великость реформы, произведенной Пушкинымъ въ поэзіи, литературѣ, версификаціи и языкѣ русскомъ. Между стихомъ Пушкина и стихомъ Батюшкова больше разстоянія, чѣмъ между стихомъ Батюшкова и стихомъ Державина. Достоинство Пушкинскаго стиха состоитъ не въ одной легкости — легкость одно изъ второстепенныхъ качествъ его: нѣтъ, достоинство этого стиха заключается въ его художественности, въ этой органической живой соответственности между содержаніемъ и формою, и наоборотъ. Въ этомъ отношеніи, стихъ Пушкина можно сравнить съ красотою человѣческихъ глазъ, оживленныхъ чувствомъ и мыслию: отнимите у нихъ оживляющее ихъ чувство и мысль — они останутся только красивыми, но уже не божественно-пре-

красными глазами. Теперь многие пишут стихи и гладкие, и гармонические, и легкие; но Пушкинский стих напомнил нам только муза Лермонтова... Поэзия Пушкина полна, насковозь проникнута содержаниемъ, какъ гранёный хрусталь лучемъ солнечнымъ: у Пушкина нѣтъ ни одного стихотворенія, которое не вышло бы изъ жизни и было написано вслѣдствіе желанія такъ что-нибудь написать, въ чашии, что авось-де это будетъ недурно... Это обстоятельство рѣзкою чертою отдѣляетъ Пушкина отъ всѣхъ поэтовъ предшествовавшихъ периодовъ. Художническая добросовѣстность Пушкина была до него непримѣримымъ явленіемъ въ нашей литературѣ: онъ высылалъ изъ міра души своей только выношенныя, вырѣзанныя поэтическія фантазіи, которыя сами рвались наружу. Этими онъ совершенно избѣгалъ риторики, декламации и общихъ мѣстъ: ихъ слѣды замѣтны только развѣ въ его ученическихъ произведеніяхъ, о которыхъ я говорилъ. Слѣдствіемъ глубоко истиннаго содержанія, всегда скрывающагося въ произведеніяхъ Пушкина, была ихъ строго-художественная форма. Каждое его стихотвореніе есть отдѣльный міръ, замкнутый въ самомъ себѣ, полный собственннхъ силъ, чуждый всякихъ несвойственныхъ ему элементовъ, всего посторонняго и лишняго, свободно движущійся въ своей сферѣ. Какъ вѣрна у Пушкина всякая мысль, всякое чувство, всякое ощущеніе, такъ вѣренъ у него и всякій образъ, каждая фраза, каждое слово. Все на своемъ мѣстѣ, все полно, ничего недокопченнаго, темнаго, неточнаго, неопредѣленнаго. Опредѣленность есть свойство великихъ поэтовъ, и Пушкинъ вполне обладалъ этимъ свойствомъ. Ограниченные люди ставили его поэзіи въ вину, что она все оземляетъ и оземщвляетъ — обвиненіе, которое обнаруживаетъ рѣзкое отсутствіе эстетическаго чувства, самое грубое неразуміе поэзіи! Поэтъ — соперникъ творящей природы; подобно ей, онъ стремится безплотныхъ духовъ

жизни, рѣющихся въ безпредѣльныхъ пространствахъ, уловить въ прекрасные и полные органически-идеальной жизни образы, воплотить небесное въ земное и земное просвѣтить небеснымъ... Поэтъ не терпитъ отвлеченныхъ представлений: творя, онъ мыслить образами, а всякій образъ только тогда и прекрасенъ, когда опредѣленъ и вполне доступенъ созерцанію.

Изъ русскаго языка Пушкинъ сдѣлалъ чудо. Справедливо сказалъ Гоголь, что «въ Пушкинѣ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, гибкость и сила нашего языка». Онъ ввелъ въ употребленіе новыя слова, старымъ далъ новую жизнь; его эпитеты столько же смѣлы, оригинальны, какъ и рѣзко точны, математически опредѣлены. Многообъемлемость и многосторонность также принадлежатъ къ числу качествъ, которыя срослись съ поэзіею Пушкина. Грусть у него смѣняется шуткою, эпиграммою, тяжелая скорбь неожиданно разрѣшается освѣжающимъ душу юморомъ. Его нельзя назвать ни поэтомъ грусти, ни поэтомъ веселія, ни трагикомъ, ни комикомъ исключительно: онъ все... Самое простое ощущеніе звучитъ у него всеми струнами своими и потому чуждо монотонности; это всегда полный аккордъ... Всего чаще, ощущеніе у Пушкина — диссонансъ, разрѣшающійся въ гармонію, и всегдѣ рѣже — простая мелодія... Трудно было бы опредѣлить общее направленіе поэзіи Пушкина; но можно сказать утвердительно, что ния романтика навязано на него не совсѣмъ впопадъ, такъ же какъ впопадъ отнято оное у Жуковскаго. Характеръ чисто романтической поэзіи всегда болѣе или менѣе односторонній и исключительный. Поэзія Пушкина — самый разнообразный міръ, гдѣ примирены самыя разнообразныя и противурѣчащія элементы, гдѣ простая и вѣстѣ роскошная форма спокойно и равновѣсно овладѣла своимъ многосложнымъ содержаніемъ... Наконецъ, Пушкинъ — вполне національный

поэтъ, заключившій въ душѣ своей всѣ національные элементы. Это видно не только изъ тѣхъ произведеній, гдѣ чисто русское содержаніе выражалъ онъ въ чисто народной формѣ, и гдѣ не имѣлъ онъ себѣ соперника; но еще болѣе изъ тѣхъ произведеній, которыя, ни по содержанію, ни по формѣ, кажется, не могутъ имѣть ничего русскаго. Я не знаю лучшей и опредѣленнѣйшей характеристики національности въ поэзіи, какъ ту, которую сдѣлалъ Гоголь въ этихъ короткихъ словахъ, вѣзавшихся въ моей памяти: «Истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, а въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ, совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами своего народа; когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». Миѣ кажется, что прокъ грусти, какъ основнаго мотива Пушкинской поэзіи, и бедраго, мощнаго выхода изъ нея не въ какое-нибудь тѣпленькое утѣшеніе, а въ ощущеніе собственной силы, какъ самой характеристической черты ея, — національность ея состоитъ еще во внѣшнемъ спокойствіи, при внутренней активности, въ отсутствіи одолавающей страсти. У Пушкина диссонансъ и драма всегда внутри; а снаружи все спокойно, какъ будто ничего не случилось, такъ что грубая, невосприимчивая, или неразвѣтная натура не можетъ тутъ видѣть ни силы, ни борьбы, ни величія... Замѣтьте, что герои Пушкина никогда не лишаютъ себя жизни, не силѣ трагической развязки, не остаются жить.. Пушкинъ въ этой чертѣ бываетъ страшно великъ... Не бывало еще на Руси такой колоссальной творческой силы, и такъ національно, такъ русски проявившейся... Ни одинъ поэтъ не имѣлъ на русскую литературу такого многограннаго, сильнаго и плодотворнаго вліянія. Пушкинъ убилъ на Руси незаконное владѣтельство французскаго псевдо-

классицизма, расширилъ источники нашей поэзіи, обратилъ ее къ національнымъ элементамъ жизни, показалъ безчисленныя новыя формы, сдружилъ ее впервые съ русскою жизнію и русскою современностію, обогатилъ идеями, пересоздалъ языкъ до такой степени, что и безграмотные не могли уже не писать хорошими стихами, если хотѣли писать.

Б. — Но что вы скажете о Пушкинѣ въ сравненіи съ европейскими поэтами?

А. — Онъ относится къ нимъ, какъ Россія къ Европѣ, а европейскіе поэты къ нему — какъ Европа къ Россіи. Пушкинъ обладалъ міровою творческою силою; по формѣ, онъ соперникъ всякому поэту въ мірѣ; но по содержанію, разумеется, не сравнится ни съ однимъ изъ мировыхъ поэтовъ, выразившихъ собою моментъ всемірно-историческаго развитія человѣчества. И это нисколько не идетъ къ униженію великаго гениа Пушкина; повторяю, что поэту принадлежитъ форма, а содержаніе — исторіи и дѣйствительности его народа. Россія доселѣ жила внѣшнею силою; національное сознаніе пробудилось въ ней не дальше, какъ съ великаго 1812-го года... Какому-нибудь Байрону довольно было исторіи своего отечества, чтобы имѣть готовое содержаніе для своей поэзіи; а Пушкину еще оставалась цѣлая Европа, т. е. цѣлое человѣчество. Слова: папа, католицизмъ, феодализмъ, вассалъ, реформація, религиозная война, всемірная торговля, и пр. и пр. не могли въ слухѣ Пушкина раздаваться такъ же, какъ въ слухѣ Байрона: что для одного было предметомъ любознательности, то для другаго было личнымъ интересомъ, возбуждавшимъ всѣ его страсти, всѣ чувства... Самое образованіе европейскихъ поэтовъ съ дѣтства питаетъ ихъ «поэтическимъ содержаніемъ»: чего не зналъ Гёте, какою ученостію обладалъ Шиллеръ! Байронъ въ подлинникъ читалъ греческихъ и латинскихъ писателей! Въ Европѣ все такъ чудно устроено, — одне не мѣшаетъ другому,

напр., свѣтъ наукѣ, а наука свѣту; у насъ же, объ этомъ свѣтѣ Пушкинъ говорилъ съ такимъ отчаяніемъ:

И даже глупости свѣтшій
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!...

Но здѣсь не должно упускать изъ виду важнаго обстоятельства: смерть застигла Пушкина въ порѣ полнаго развитія необъятныхъ силъ его творческаго духа, въ ту самую минуту, когда онъ уже начиналъ уходить отъ волнующей юною и пылкую натуру внѣшности и погружаться въ бездонную глубь своего внутренняго я, когда онъ только-что начиналъ писать настоящихъ образомъ...

Б. — Однако нашъ разговоръ грозитъ быть страшно длиннымъ, если вы хотите говорить о повстаѣ пушкинской школы...

А.—Если только по этому, а не почему-нибудь другому, то онъ будетъ очень коротокъ. Время великій критикъ: его крылья провѣвають все дѣла человѣческія, оставляя на току немного зеренъ и разсѣвая по воздуху много шелухи... У насъ же, надо замѣтить, время особенно быстро летитъ: мы, люди новаго поколѣнія, едва перешедшіе за роковую черту 30-ти лѣтъ, отдѣляющую юность отъ мужества, мы, заучившіе наизусть первые стихи Пушкина, мы, едва успѣвавшіе слѣдовать такъ сказать, по пятамъ за его быстрымъ поэтическимъ бѣгомъ, — мы давно уже оплакали его безвременную кончину, а на школу его смотримъ уже, какъ на «дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой», любимъ ее только по отношенію къ собственному нашему развитію, только по воспоминанію о прекрасномъ времени нашей жизни, когда всякій новый журналъ, всякая новая книжка журнала, альманахъ, какой-нибудь сборъ «сметаній и звуковъ» были для насъ праздникомъ, тотчасъ вѣшались въ памяти, возбуждали живые восторги, шумные споры... И, если хотите, понятно, что мы въ то блаженное время давали Пушкину спод-

вешниковъ и товарищей, строили триумvirаты и цѣлыя школы; но понятно также и то, что теперь при имени Пушкина, мы не знаемъ, кого вспомнить, кого назвать...

Б.—Какъ: столько именъ, столько славъ...

А.—Но вѣдь въ то время и г. Олгинъ, авторъ «Корсара» и многихъ романтическихъ элегій, издатель безчисленнаго множества программъ несостоявшихся журналовъ и газетъ, и г. М. Дмитриевъ, сочинитель цѣлой книги стиховъ, и г. Рачъ, авторъ десятка плаксивыхъ стихотвореній, и г. Тридунный, переводчикъ и подражатель Байрона, и Ѳ. Н. Глинка, изобрѣтатель благоухающей нравственностію поэзіи, и много еще другихъ — все это были имена и славъ, да еще какія?...

Б.—Но я разумѣю не ихъ, а Баратынскаго, Козлова, Давыдова (Дениса), Дельвига, Подолинскаго, Языкова. Помните, бывало, говаривали: Пушкинъ, Баратынскій, Языковъ?

А.— Да, т. е. триумvirать... И точно, названные вами писатели недаромъ считались даровитыми. Въ нихъ выразился характеръ эпохи, теперь уже миновавшей; они завоевали себѣ мѣсто въ исторіи русской литературы. Я не люблю поэмъ Баратынскаго: въ нихъ больше ума, чѣмъ фантазіи; но между его лирическими произведеніями есть очень замѣчательныя. Мнѣ особенно нравится въ нихъ этотъ характеръ вдумчивости въ жизнь, который свидѣтельствуетъ о присутствіи мысли. Элегія Баратынскаго «На смерть Гёте» — превосходна. Козловъ замѣчателенъ особенно удачными переводами изъ Мура; но переводы его изъ Байрона все слабы. Есть нѣсколько замѣчательныхъ піесей и между его собственными. У него много души; жаль только, что чувство его часто походитъ на чувствительность. Повны его вообще слабы; изъ нихъ «Чернецъ» замѣчателенъ по эффекту, который онъ произвелъ на публику, и который напомнилъ объ эффектѣ «Бѣдной Лизы» Карамзина. Элегіи Давыдова часто дышутъ истинною поэзіею, и ихъ

всегда можно перечестъ съ удовольствіемъ, несмотря на ихъ однообразность. Вообще, въ поэзіи Давыдова есть какая-то достолюбезная оригинальность, свой собственный характеръ. Имя Дельвига мнѣ любезно, какъ друга дѣтства Пушкина. Русскія пѣсни Дельвига очень хороши для фортепьяно и пѣнія въ комнатѣ, гдѣ онѣ удобно могутъ быть приняты за народно-русскія пѣсни. Въ подраженіяхъ Дельвига древнимъ много внѣшней истины, но незамѣтно главнаго — греческаго созерданія жизни. Подолинскій былъ человѣкъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ: въ его желкихъ стихотвореніяхъ и въ поэмахъ много чувства и поэтическихъ мѣстъ; но у него никогда не бывало цѣлаго, особенно въ поэмахъ; которыя бѣдны содержаніемъ, слабы по концепціи, блѣдны по выполненію... Стихи Языкова блестятъ всею роскошью внѣшней поэзіи, — и если есть внѣшняя поэзія, то Языковъ необыкновенно даровитый поэтъ. Онъ много сдѣлалъ для развитія эстетическаго чувства въ обществѣ: его поэзія была самымъ сильнымъ противоядіемъ пошлomu морализму и приторной элегической слезливости. Смѣлыми и рѣзкими словами и оборотами своими Языковъ много способствовалъ расторженію пуританскихъ оковъ, лежавшихъ на языкѣ и фразеологій. Правда, его новыя слова и фразы почти всегда изысканы, неточны, а нерѣдко и грѣшатъ противъ вкуса; но они всѣми понравились, а потому и сдѣлали свое дѣло... Стихъ Языкова громокъ, звученъ, ярокъ; но въ немъ это — чисто внѣшнія достоинства, безъ всякаго отношенія къ содержанію. Да и что составляетъ содержаніе его поэзіи? или, лучше сказать, есть ли въ ней какое нибудь содержаніе? Поэзія, полная содержаніемъ, всегда развивается, идетъ впередъ; поэзія, чуждая всякаго содержанія, всегда стоитъ на одномъ мѣстѣ, поэтъ одно и то же, однимъ и тѣмъ же голосомъ. Вначалѣ, она можетъ возбуждать фуроръ; но когда къ ней привыкнуть, ея уже не чита-

ютъ, а только безусловно хвалить... Проходить пылъ, остается дымя и чадъ; поэтъ начинаетъ писать валые, холодные и вообще плохіе стихи, которыхъ уже никто не почитаетъ стоящими даже порицаній... А мнѣ странно, что вы не упомянули о г. Хомяковѣ: хотя онъ по таланту и гораздо ниже Языкова, но послѣ Языкова какъ то невольно вспоминаешь г. Хомякова. Это не безъ причины: между ними много общаго, именно — внѣшняя красота стиха, независящая отъ смысла піесы, и однообразіе въ манерѣ и предметахъ пѣснопѣній... Въ самомъ дѣлѣ, Языковъ все пѣлъ студентскіе пиры и студентскую удаль; г. Хомяковъ символически поетъ все о чемъ-то высокомъ и прекрасномъ; содержаніе пѣсень Языкова неподвижно; содержаніе пѣсень г. Хомякова также неподвижно, потому что это всегда одна и та же отвлеченная мысль, одни и тѣ же громкія слова; оба поэта часто обращаются въ своихъ стихахъ къ Россіи, — и ни у того, ни у другаго не сорвалось съ пера ни одного русскаго слова, ни одного русскаго выраженія, на которое отозвалась бы русская душа, или въ которомъ отозвалась бы русская душа. Не правда ли, все это очень сходно? Но, между тѣмъ, тутъ есть и несходство: г. Языковъ кончаетъ не такъ, какъ началъ — онъ утратилъ даже свой бойкій, звонкій и разгульный стихъ; г. Хомяковъ неизмѣненъ: онъ по прежнему владѣетъ стихомъ своимъ... Причина этой разности та, что для стиховъ Языкова—каковы бы ни были они—нуженъ былъ хоть пылъ молодости, если не вдохновеніе; для стиховъ же г. Хомякова этого не было нужно...

Б. — Но я не понимаю, что же вы разумѣете подъ школою Пушкина...

А. — Собственно, ея и не было. Пушкинъ только развязалъ руки тогдашней молодѣжи на гладкій, бойкій стихъ, настроилъ ее на элегическій тонъ, вмѣсто торжественнаго, да ввелъ въ моду поэмы, вмѣсто балладъ; тайна же его поэзіи, и по

содержанію и по формѣ, для всѣхъ оставалась тайною. Въ его поэзіи всѣ вѣдали одну внѣшнюю, поверхностную сторону, а вовнутрь ея и не заглядывали...

Б. — Но въ чемъ же великое вліяніе Пушкина на русскую литературу, если школа, имъ созданная, такъ скоро исчезла, не оставивъ по себѣ слѣда?...

А. — Въ томъ именно, что благодаря Пушкину, мы скоро оцѣнили эту школу по достоинству... Вліяніе Пушкина было не на одну минуту; оно окончится только развѣ съ смертію русскаго языка. Сверхъ того, странно было бы измѣрять достоинство поэта рожденною имъ школою. Мы не знаемъ, да и знать не хотимъ, создалъ ли какую школу, напр., Байронъ: мы хотимъ знать только Байрона и судить о немъ по немъ самому, а не по его школѣ, еслибъ она и была. Не Пушкинъ виноватъ, что вмѣстѣ съ нимъ не явилось сильныхъ талантовъ... Притомъ же, вліяніе великаго поэта заітѣно на другихъ поэтовъ не въ томъ, что его поэзія отражается въ нихъ, а въ томъ, что она возбуждаетъ въ нихъ собственныя ихъ силы: такъ солнечный лучъ, озаривъ землю, не сообщаетъ ей своей силы, а только возбуждаетъ заключенную въ ней силу... У кого есть талантъ, и кто способенъ понять поэзію Пушкина, принять въ себя ея содержаніе, — тотъ, конечно будетъ писать несравненно лучше, нежели какъ бы онъ писалъ, не зная Пушкина. А многіе ли понимаютъ Пушкина?... Повѣрьте мнѣ, надо быть выбрану изъ десяти тысячъ, чтобъ понимать Пушкина! Вѣдь это талантъ своего рода, и талантъ большой! Вотъ, напр., Веневитиновъ: хотъ и нельзя указать явнаго вліянія Пушкина на его поэзію, но нѣтъ сомнѣнія, что онъ Пушкину обязанъ больше, чѣмъ кто-нибудь. Веневитиновъ самъ собою составилъ бы школу, еслибъ судьба не пресѣкла безвременно его прекрасной жизни, обещающей такое богатое развитіе. Въ его стихахъ просвѣчивается дѣйствительно идеальное, а не

мечтательно-идеальное направленіе; въ нихъ видно содержаніе, которое заключало въ себѣ самодѣятельную силу развитія; но форма его поэтическихъ произведеній, даже самый характеръ ихъ, не обѣщали въ Веневитиновѣ поэта, — и я увѣренъ, что онъ скоро оставилъ бы поэзію для философскихъ созерцаній. На этомъ поприщѣ многого можно было ожидать отъ него. Онъ возбуждалъ къ себѣ сильное участіе, даже энтузіазмъ молодыхъ людей обоого пола своими произведеніями и въ стихахъ и въ прозѣ: это участіе, этотъ энтузіазмъ были пророческіе... Говоря о поэтахъ того времени, нельзя не упомянуть о Полежаевѣ, какъ поучительномъ примѣрѣ необузданной силы безъ содержанія, — таланта безъ образованія, — вдохновенія безъ вкуса. Эта дикая натура пала жертвою собственной силы, разъ не такъ направленной, — пала жертвою собственного огня, ненашедшаго для себя настоящей пищи...

Б. — А Грибоѣдовъ?

А. — Онъ самъ по себѣ; онъ самъ цѣлая школа. Написавъ нѣсколько посредственныхъ опытовъ въ драматическомъ родѣ по французской мѣркѣ, онъ вдругъ является съ комедію, для которой едва ли гдѣ могъ быть образецъ, не говоря уже о русской литературѣ. Языкъ, стихъ, слогъ — все оригинально въ «Горе отъ Ума». Содержаніе этой комедіи взято изъ русской жизни; паеосъ ея — негодованіе на дѣйствительность, запечатлѣнную печатью старины. Вѣрность характеровъ въ ней часто побѣждается сатирическимъ элементомъ. Полнотѣ ея художественности помѣшала неопредѣленность идеи, еще неполнѣ созрѣвшей въ сознаніи автора: справедливо вооружаясь противъ бессмысленнаго обезьянства въ подражаніи всему иностранному, онъ зоветъ общество къ другой крайности — къ «китайскому незнанью иноземцевъ». Не понявъ, что пустота и ничтожество изображеннаго имъ общества происходятъ отъ отсутствія въ немъ всякихъ убѣжденій, всякаго разумнаго со-

держанія, онъ слагаетъ всю вину на смѣшныя бритые подбродки, на фраки съ хвостомъ назадъ, съ выешкою впередъ, и съ восторгомъ говоритъ о величавой одеждѣ долгополой старины... Но это показываетъ только незрѣлость, молодость таланта Грибоѣдова: «Горе отъ Ума», несмотря на всѣ свои недостатки, кипитъ гениальными силами вдохновенія и творчества. Грибоѣдовъ еще не былъ въ состояніи спокойно владѣть такими исполнскими силами. Еслибы онъ успѣлъ написать другую комедію, она далеко оставила бы за собою «Горе отъ Ума». Это видно изъ самаго «Горе отъ Ума»: въ немъ такъ много речательствъ за огромное поэтическое развитіе... Какая убійственная сила сарказма, какая ѣдкость ироніи, какой пафосъ въ лирическихъ изліяніяхъ раздраженнаго чувства; сколько сторонъ такъ тонко подмѣченныхъ въ обществѣ; какіе типическіе характеры; какой языкъ, какой стихъ—энергическій, сжатый, молніеносный, чисто русскій! Удивительно ли, что стихи Грибоѣдова обратились въ поговорки и пословицы, и разнеслись, между образованными людьми, по всѣмъ концамъ земли русской! Удивительно ли, что «Горе отъ Ума» еще въ рукописи было выучено наизусть цѣлою Россіею!... Грибоѣдовъ наводитъ мнѣ на душу грустную мысль о трагической судьбѣ русскихъ поэтовъ... Батюшковъ въ цвѣтѣ лѣтъ и полнотѣ поэтической дѣятельности... хуже, чѣмъ умеръ; Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ, погибли безвременно...

. нѣ вся наша
И жизнь не что, какъ сояъ пустой,
Насѣшня рока надъ землею?..

Б. — Прерываю ваше поэтическое раздумье прозаическимъ вопросомъ: говоря о поэтахъ до-Пушкинской эпохи, вы забыли Мерзлякова, котораго русскія пѣсни, впрочемъ, принадлежать къ познѣйшему времени.

А. — Да много ли его русскихъ пѣсень-то? «Среди долины

5*

ровныя» — не народная, и даже не престонародная, а развѣ сантиментально-мѣщанская пѣсня. «Чернобровый, черноглазый» и «Не липочка кудрявая» — прекрасныя и выдержанныя пѣсни; всѣ другія — съ проблесками національности, но и съ «чувствительными» противъ нея обмолвками. Въ поэзіи Мерзлякова есть чувство, но нѣтъ мысли. Теорія его — французско-классическая; слѣдовательно, объ ней можно и не говорить. Переводы его изъ древнихъ не изящны: въ нихъ не вѣетъ жизнію эллинскаго духа. Мерзляковъ смотрѣлъ на древнихъ сквозь Лагарповскіе очерки. Онъ переводилъ идиллія г-жи Дезульеръ, и ужасными вѣршами пересказалъ на книжномъ русскомъ языкѣ время Хераскова «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса.

Б. — Къ кому же мы теперь перейдемъ отъ Пушкина и Грибоедова?

А. — Къ повѣсти и роману. Пресытившись стихами, мы захотѣли прозы; а примѣръ Вальтеръ Скотта былъ очень соблазнительнъ... Марлинскій первый началъ писать русскія повѣсти. Онѣ были для своего времени то же, что повѣсти Карамзина для той эпохи; разница между ними только та, что однѣ романтическія, другія классическія, въ простомъ смыслѣ этихъ словъ. «Юрій Милославскій» былъ первымъ русскимъ историческимъ романомъ. Онъ явился очень во время, когда всѣ требовали русскаго и русскаго. Вотъ причина его необыкновеннаго успѣха. Теперь онъ — препріятное и преполезное чтеніе для дѣтей отъ 7 до 12 лѣтъ включительно, и для простаго народа. Жаль, что онъ не изданъ въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ экземпляровъ и не продается копеекъ по 10 серебромъ: онъ много бы могъ принести пользы. Я не буду изчислять всѣхъ повѣстей и романовъ, всѣхъ нувеллистовъ и романистовъ: это былъ бы бесполезный трудъ и скучный разговоръ. Романистовъ было много, а романовъ мало, и между

романистами совершенно забыть их родоначальникъ — Наръжнѣй. Въ 1804 году издалъ онъ отчаянную романтическую трагедію «Димитрій Самозванецъ», которая была сколкомъ съ «Разбойниковъ» Шиллера; потомъ печаталъ повѣсти и романы — блѣдые, безцвѣтные, манерные, во вкусъ г-жи Жанлисъ. Въ 1824 онъ издалъ «Бурсака», а въ 1825 — «Два Ивана», романы, запечатлѣнные талантомъ, оригинальностью, комизмомъ, вѣрностію дѣйствительности. Ихъ обвиняли тогда въ грубой простонародности; но главный ихъ недостатокъ состоялъ въ бѣдности внутренняго содержанія. Онъ еще написалъ что-то въ родѣ «русскаго Жилблаза», который былъ почище всѣхъ Выжигинныхъ, хотя и имѣлъ несчастіе подать поводъ къ появленію этихъ литературныхъ бродягъ и выроdkовъ... Лучшій романистъ Пушкинскаго періода литературы нашей, безъ сомнѣнія, Лажечниковъ. «Новикъ» его слишкомъ полонъ, такъ сказать, обремененъ внутреннимъ обиліемъ: видно, что онъ — первое призведеніе автора; но въ немъ много теплоты, одушевленія, много прекрасныхъ частныхъ. «Ледяной домъ» есть лучшее произведеніе Лажечникова по содержанію, по одушевленію, которымъ онъ спокойно проникнуть, по характерамъ лицъ, по превосходнымъ частностямъ и полнотѣ цѣлаго. Въ «Басурманѣ» Лажечниковъ перенесся въ чуждую ему сферу жизни, которая всѣхъ менѣе можетъ дать содержаніе для романа. Несмотря на то, недостаточный въ цѣломъ, «Басурманъ» не чуждъ превосходныхъ отдѣльныхъ мѣстъ; къ лучшимъ изъ нихъ принадлежатъ тѣ, гдѣ является грозное лицо Іоана III, дѣда настоящаго Грознаго; также сцена трагической смерти Нѣмца-дѣкаря, замученнаго Татарами... Жаль, что Лажечниковъ мало пишетъ: онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ писателей, которыхъ вліяніе особенно сильно на эстетическое и нравственное развитіе современнаго имъ общества. Что касается до повѣсти — она, со времени появленія Марлин-

скаго до Гоголя, играла роль ученицы, и только въ отрывкѣ изъ романа Пушкина «Арапъ Петра Великаго» на минуту явилась мастеромъ, въ смыслѣ нѣмецкаго мастера, или итальянскаго маэстро. Съ Гоголя начался русскій романъ и русская повѣсть, какъ съ Пушкина началась истинно-русская поэзія... Гоголь внесъ въ нашу литературу новые элементы, породилъ множество подражателей, навелъ общество на истинное созерцаніе романа, какимъ онъ долженъ быть: съ Гоголя начинается новый періодъ русской литературы, русской поэзіи...

Б. — Воля ваша, а мнѣ кажется, что вы увлекаетесь и видите въ Гоголѣ далеко больше того, что въ немъ есть. Что говорить — талантъ, и талантъ замѣчательный, удивительное искусство вѣрно списывать съ природы; но — согласитесь сами — вѣдь дѣйствительная и высокая сторона въ искусствѣ есть идеалы, а что за идеальныя лица — какой-нибудь взятчикъ-городничій, мѣщанка Пошлепкина, какой-нибудь Иванъ Ивановичъ, или Иванъ Никифоровичъ?...

А. — Вы очень вѣрно выразили мнѣніе толпы о Гоголѣ, и, по моему мнѣнію, толпа совершенно права съ своей точки зрѣнія...

Б. — Какъ хотите, но я охотно готовъ быть представителемъ толпы въ этомъ случаѣ. Смѣяться и смѣяться, смѣшить и смѣшить — это, право, совсѣмъ не то, что умилять сердца, возвышать душу...

А. — Совершенная правда. Смѣшить — дѣло весельчаковъ и забавниковъ, а смѣяться — дѣло толпы. Чѣмъ грубѣе и необразованнѣе человекъ, тѣмъ онъ болѣе расположенъ смѣяться всякой плоскости, хохотать всякому вздору. Ничего нѣтъ легче, какъ разсмѣшить его. Онъ не понимаетъ, что можно плакать и рыдать, когда сердце хочетъ выскочить изъ груди отъ полноты блаженства и радости, и что можно хохотать до безумія, когда сердце сдавлено тоскою, и ни разрывается отча-

лиемъ. Ступайте въ русскій театръ, когда тамъ дають «Гамлета» — и вы услышите вверху (а иногда и внизу) самый веселый, самый добродушный смѣхъ, когда Гамлетъ, заколовъ Полонія, на вопросъ матери: «кого ты убилъ?» отвѣчаетъ: «мышь!»... Помните ли вы еще разговоръ Гамлета съ Полоніемъ, съ актерами и съ Офелією: мнѣ становилось страшно отъ этихъ сценъ ужасной прои́и глубоко-оскорбленной и тяжело страдающей души датскаго принца; а другіе, если не дремали, то смѣялись... Я хочу сказать этимъ советѣмъ не то, что Шекспиръ и Гоголь — одно и то же; или что «Гамлетъ» Шекспира и «Миргородъ» Гоголя — одно и то же, — нѣтъ, я говорю только, что смѣхъ смѣху — рознь... Еслибы изъ «Тараса Бульбы» сдѣлать драму, — я увѣренъ, что въ страшной сценѣ казни, когда старый казакъ на вопль сына: «слышишь ли, батьку!» отвѣчаетъ: «Слышу, сынку!» многіе отъ души расхохотались бы... И въ самомъ дѣлѣ, не смѣшно ли иному благовоспитанному, милому и образованному чиновнику, который привыкъ называть отца уже не то, чтобы «тятенькою», но даже «папенькою», не смѣшно ли ему слышать это грубое, хохлацкое «батьку» и «сынку»!... Надо сказать правду: у насъ вообще смѣяться не умѣютъ и всего менѣе понимаютъ «комическое». Его обыкновенно полагаютъ въ фарсъ, въ каррикатурѣ, въ преувеличеніи, въ изображеніи низкихъ и пошлыхъ сторонъ жизни. Я говорю это не въ осужденіе нашему обществу. Постыженіе комическаго — вершина эстетическаго образованія. Шиллеръ, великій Шиллеръ признается, что въ первой порѣ своей юности, при началѣ знакомства съ Шекспиромъ, его возмущала эта холодность, безстрастіе, дозволявшія Шекспиру шутить въ самыхъ высокихъ, патетическихъ мѣстахъ и разрушать явленіемъ шутовъ впечатлѣнія самыхъ трогательныхъ сценъ въ «Гамлетѣ», «Лирѣ», «Макбетѣ» и т. д., останавливать ощущеніе тамъ, гдѣ оно желало

бы безостановочно стремиться впередъ, или хладнокровно отрывать его отъ тѣхъ мѣстъ, на которыхъ бы оно такъ охотно остановилось и успокоилось ¹⁾. Идеальное трагическое открывается юному чувству непосредственно и сразу; идеальное комическое дается только развитому и образованному чувству человѣка, знающаго жизнь не по однимъ восторженнымъ мечтаніямъ и не по наслышкѣ. На такого человѣка комическое часто производитъ обратное дѣйствіе: возбуждаетъ въ немъ не веселый смѣхъ, а одно скорбное чувство. Онъ улыбается, но въ его улыбкѣ столько меланхоліи...

Комизмъ еще не составляетъ основнаго элемента всѣхъ сочиненій Гоголя. Онъ разлитъ преимущественно въ «Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки». Это комизмъ веселый, улыбка юности, пріветсвующаго прекраснѣйшій Божій міръ. Тутъ все свѣтло, все блеститъ радостію и счастіемъ; мрачные духи жизни не смущаютъ тяжелыми предчувствіями юнаго сердца, трепещущаго полнотою жизни. Здѣсь поэтъ какъ бы самъ любитъ созданными имъ оригиналами. Однакожь эти оригиналы не его выдумка, они смѣшны не по его прихоти; поэтъ строго вѣренъ въ нихъ дѣйствительности. И потому всякое лицо говоритъ и дѣйствуетъ у него въ сферѣ своего быта, своего характера и того обстоятельства, подъ вліяніемъ котораго оно находится. И ни одно изъ нихъ не проговаривается: поэтъ математически вѣренъ дѣйствительности, и часто рисуетъ комическія черты, безъ всякой претензіи смѣшить, но только покоряясь своему инстинкту, своему такту дѣйствительности. Смѣхъ толпы для него бываетъ оскорбителенъ въ такихъ случаяхъ; онъ смѣется тамъ, гдѣ надо удивляться тонко чертѣ дѣйствительности, вѣрно и зорко подмѣченной, удачно схваченной. Въ повѣстяхъ, помѣщенныхъ въ «Арабескахъ», Гоголь отъ веселаго коми-

¹⁾ См. его «Abhandlung über naive und sentimentalische Dichtung.»

зна переходить къ «юмору», который у него состоитъ въ противоположности созерцанія истинной жизни, въ противоположности идеала жизни — съ дѣйствительностью жизни. И потому, его юморъ смѣшать уже только простяковъ, или дѣтей; люди, заглянувшіе въ глубь жизни, смотрятъ на его картины съ грустнымъ раздумьемъ, съ тяжкою тоскою... Изъ-за этихъ чудовищныхъ и безобразныхъ лицъ, имъ видятся другіе, благообразные лики; эта грязная дѣйствительность наводитъ ихъ на созерцаніе идеальной дѣйствительности, и то, что есть, ясное представляетъ имъ то, что бы должно быть... Въ «Миргородѣ» этотъ юморъ особенно проникаетъ собою насквозь дивную повесть о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ; оканчивая ее, вы отъ души восклицаете съ авторомъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» точно, какъ-будто выходя изъ дома умалишенныхъ, гдѣ съ горькою улыбкою смотрѣли вы на глупости несчастныхъ больныхъ... Въ этомъ смыслѣ, комедія Гоголя «Ревизоръ» стоитъ всякой трагедіи. Что же касается до искусства Гоголя вѣрно списывать съ натуры — это изъ тѣхъ бессмысленно-пошлыхъ выраженій, которыя оскорбляютъ своею нецѣлостію здравый смыслъ. Подобная похвала — оскорбленіе. Гоголь творитъ вѣрно природѣ; списываютъ съ природы не живописцы, а маляры, и ихъ списки — чѣмъ вѣрнѣе, тѣмъ безжизненнѣе для всякаго, кому неизвѣстенъ подлинникъ. Вѣрность натурѣ въ твореніяхъ Гоголя вытекаетъ изъ его великой творческой силы, знаменуетъ въ немъ глубокое проникновеніе въ сущность жизни, вѣрный тактъ, всеобъемлющее чувство дѣйствительности. И это уже многіе чувствуютъ, хотя еще и слишкомъ немногіе сознаютъ. Теперь всѣ стараются писать вѣрно натурѣ, всѣ сдѣлались юмористами: таково всегда вліяніе гениальнаго человѣка! Новый Колумбъ, онъ открываетъ неизвѣстную часть міра, и открываетъ ее для удовлетворенія своего спокойно рвущагося въ безконечность духа; а ловкіе

антрепренёры стремятся по слѣдамъ его толпою, въ надеждѣ разбогатѣть чужимъ добромъ!...

Б. — И вотъ мы приблизились къ самому интересному для насъ предмету — къ современной намъ литературѣ. О настоящемъ всегда говорится больше, чѣмъ объ отдаленномъ: малѣйшія подробности нѣтъ интересъ; самое маленькое дарованіе нѣтъ цѣну...

А. — И, однакожь, я всего менѣе намѣренъ распространяться о современной литературѣ, во первыхъ, для того, чтобъ не наговорить много о пустякахъ, а во вторыхъ, чтобъ не раздражить гусей... Правда, у насъ и теперь не безъ дарованій, болѣе или менѣе замѣчательныхъ; скажу болѣе: въ нашей грустной эпохѣ много утѣшительнаго. Пора дѣтскихъ очарованій теперь миновалась безъ возврата, и если теперь огромные авторитеты составляются иногда въ одинъ день, зато они часто и пропадаютъ безъ вѣсти на слѣдующій же день. Теперь очень трудно стало прослыть за человека съ дарованіемъ: такъ много писано во всѣхъ родахъ, столько было опытовъ и попытокъ, удачныхъ и неудачныхъ, во всѣхъ родахъ, что, дѣйствительно, надо что-нибудь получить отъ природы, чтобъ обратить на себя общее вниманіе... Пушкинъ и Гоголь дали намъ такіе критеріумы для сужденія объ изящномъ, съ которыми трудно отъ чего-нибудь разахаться... Хорошую сторону современной литературы составляетъ и обращеніе ея къ жизни, къ дѣйствительности: теперь уже всякое, даже посредственное, дарованіе смятся изображать и описывать не то, что приснится ему во снѣ, а то, что есть или бываетъ въ обществѣ, въ дѣйствительности. Такое направленіе много общааетъ въ будущемъ. Но современная литература много теряетъ отъ того, что у ней нѣтъ головы; даже яркіе таланты поставлены въ какое-то неловкое положеніе: ни одинъ изъ нихъ не можетъ стать первымъ и по необходимости теряется въ числѣ, каково бы оно

ни было. Гоголь давно ничего не печатаетъ; Лермонтова уже нѣтъ. —

Не разцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней,
Что любилъ въ томъ намелъ
Гибель жизни своей..

А какое пышное развитіе общалъ этотъ богатый дарами природы, этотъ мощный и глубокий духъ!... Публика встрѣтила его, какъ представителя новаго періода литературы, хотя и видѣла еще одни опыты его... Предчувствія общества не обманчивы: гласъ Божій — гласъ народа!...

Б. — А вѣдь результатъ нашего разговора рѣшительно въ мою пользу. Вы спрашивали меня съ насмѣшкою: «Да гдѣ жь онѣ? давайте ихъ!» — и сами не только насчитали множество именъ знаменитыхъ и великихъ, но и нашли въ нашей литературѣ внутреннюю жизнь, историческое движеніе, гдѣ послѣдующее выводитъ изъ предыдущаго...

А. — Въ самомъ дѣлѣ? Посмотрите-ка, сколько знаменитыхъ и великихъ именъ насчитали мы... Ломоносовъ — какъ великій характеръ (качество, не обоготворяющее нашей литературы!), какъ авторъ нѣсколькихъ ученыхъ сочиненій, имѣющихъ теперь историческое достоинство; Фонъ-Визинъ, какъ умный писатель, котораго небольшая книга имѣетъ для насъ значеніе «мемуаровъ», передавшихъ намъ духъ и характеръ русскаго XVIII вѣка; Державинъ, Карамзинъ, Дмитріевъ, Озеровъ, какъ лица, имѣющія болѣе или меньшее значеніе въ исторіи русской литературы, русскаго общественнаго образованія, — авторитеты, съ которыми мы должны знакомиться въ школѣ, и которыхъ уже не можемъ читать, вышедши изъ школы въ свѣтъ, — авторы, которыхъ имена для насъ священны, но которыхъ значеніе — наша семейная тайна, неразрѣшима для иностранцевъ, хотя бы иностранцы и могли прочесть ихъ

на своихъ языкахъ... Итакъ, вотъ уже шесть именъ... Дайте: Крыловъ, гениальный писатель національныхъ басенъ — этой поэзіи здраваго разсудка... Жуковскій, внесшій въ нашу литературу и въ нашу жизнь романтическіе элементы и усвоившій намъ нѣсколько превосходныхъ произведеній нѣмецкой и англійской словесности, которыя тамъ читаются въ подлинникѣ... Батюшковъ — замѣчательный талантъ, неопредѣленно и блѣдно развившійся по недостатку содержанія: поэзія его поэтому, не можетъ быть перенесена на почву чуждаго слова, не подвергаясь опасности завянуть и выдохнуться... Гнѣдичъ, превосходный переводчикъ «Иліады» — совершитель подвига, важнаго и великаго только для насъ... Пушкинъ и Гоголь, — вотъ поэты, о которыхъ нельзя сказать: «я уже читалъ», но которыхъ чѣмъ больше читаешь, тѣмъ больше приобретаешь; вотъ истинное, капитальное сокровище нашей литературы... Если Пушкинъ найдетъ достойныхъ переводчиковъ, то не можетъ не обратить на себя изумленнаго вниманія Европы; но все-таки онъ и не можетъ быть тамъ оцѣненъ по достоинству; этому всегда помѣшаетъ объемъ и глубина содержанія его поэзіи, далеко немогущія состязаться съ объемомъ и глубиной содержанія, какимъ проникнута поэзія великихъ представителей европейскаго искусства... Иностранецъ, коротко ознакомившійся съ Россією и ея языкомъ, не можетъ не признать въ Пушкинѣ, какъ въ художникѣ, мировой творческой силы, которой нечего бояться чьего бы то ни было соперничества; многія лирическія стихотворенія, выражающія субъективность Пушкина, еще болѣе утверждаютъ его въ этомъ убѣжденіи; но тѣ творенія Пушкина, въ которыхъ онъ выходилъ на историческую почву жизни, и которыхъ величіе и колоссальность необходимо зависятъ отъ содержанія, покажутъ ему, что Пушкинъ, слишкомъ рано родившійся для Россіи, слишкомъ рано и умеръ для нея... Общественные интересы современной

Европы развились изъ почвы тысячлѣтняго всемирно-историческаго развитія, и могутъ возбуждаться только такимъ поэтическимъ содержаніемъ, которое оплодотворяетъ собою вѣкъ, творить новую исторію, и какииъ проникнуты творенія Шекспира, Байрона, Шиллера и Гёте... Сказанное о Пушкинѣ можно примѣнить и къ Гоголю... Теперь кто же остается?— Грибоѣдовъ, написавшій одну комедію, да Лермонтовъ, написавшій одинъ романъ въ прозѣ, небольшую книжку стихотвореній. Изъ прежней школы — Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ — вотъ и всѣ... Вы говорите, что я нашелъ въ нашей литературѣ даже внутреннюю историческую послѣдовательность: правда, но все это еще не составляетъ литературы въ полномъ смыслѣ слова. Литература есть народное сознаніе, выраженіе внутреннихъ, духовныхъ интересовъ общества, которыми мы пока еще очень небогаты. Нѣсколько человѣкъ еще не составляетъ общества, а нѣсколько идей, пріобрѣтенныхъ знакомствомъ съ Европою, еще менѣе можетъ назваться національнымъ сознаніемъ. Наша публика безъ литературы: потому что въ годъ пять-шесть хорошихъ сочиненій на нѣсколько сотенъ дурныхъ — еще не литература; наша литература безъ публики, потому что наша публика что то загадочное: одинъ читаетъ Пушкина, другой въ восторгѣ отъ г. Бенедиктова, а третій былъ безъ ума отъ мистерій г. Тимофеева; одинъ понимаетъ Гоголя, другой еще въ полномъ удовольствіи отъ Марлинскаго, а третій не знаетъ ничего лучше романовъ гг. Зотова и Воскресенскаго... Театральные судьи равно хлопаютъ и «Гамлету», и водевилемъ г. Коровкина, и «Парашѣ» г. Полеваго... И недумайте, чтобъ это были люди разныхъ сферъ и классовъ общества, — нѣтъ, они всѣ перемѣшаны и перетасованы, какъ колода картъ.. Историческій ходъ свой наша литература совершила въ самой же себѣ: ея настоящею публикою былъ самъ нишущій классъ, и только самыя великія

явленія въ литературѣ находили болѣе или менѣе разумный отзывъ во всей массѣ грамотнаго общества... Но будемъ смотрѣть на литературу просто, какъ на постоянный предметъ занятія публики, слѣдовательно, какъ на непрерывный рядъ литературныхъ новостей: что жъ это за литература! Да занимайте вы десять должностей, утопайте въ практической дѣятельности, а на чтеніе посвятите время между обѣдомъ и кофе, — и тогда не на одинъ день останетесь вы безъ чтенія. Въ журналахъ все — переводы, а оригинальнаго развѣ три-четыре порядочныя повѣсти въ годъ, да нѣсколько стихотвореній, да книгъ съ полдюжины, включая сюда и учебныя — вотъ и все. Тогда, читая въ журналахъ статьи о процвѣтаніи русской литературы, по неволѣ восклицаете, протяжно зѣвая: «Да гдѣ жъ онѣ? — давайте ихъ!»... Любопытно было бы сдѣлать хоть одинъ перечень литературныхъ явленій за цѣлый годъ...

Но это мы сдѣлаемъ уже сами, тѣмъ болѣе, что это такъ нетрудно сдѣлать: Библиографическая Хроника «Отечественныхъ Записокъ», не пропускающая ни одной новой книги, изданной въ Россіи, даетъ намъ всѣ нужные для такого дѣла матеріалы. Если прерванный нами разговоръ сколько нибудь заинтересовалъ васъ, читатели, то и наша приписка къ нему не должна миновать вашего вниманія: можетъ-быть, въ этомъ годичномъ обзорѣ найдете вы кое-какія поясненія и дополненія къ длинному разговору; по крайней мѣрѣ, встрѣтите имена не упомянутыя тамъ, но извѣстныя давно или недавно, и играющія первыя роли въ современной русской литературѣ. ...

Начнемъ съ журналовъ. Въ журналахъ теперь сосредоточилась наша литература, и оригинальная и переводная. Въ нихъ помѣщаются теперь повѣсти, которыя недавно издавались особо, частяхъ въ двухъ, трехъ и четырехъ; въ нихъ цѣ-

ликомъ печатаются романы, которыхъ каждая глава стѣбитъ лной повѣсти недавняго времени; въ нихъ печатаются драмы, историческія книги, и т. д. Ко всему этому надо прибавить, что наши журналы изъ всѣхъ силъ стремятся къ многосторонности и всеобъемлемости — не во взглядѣ, о которомъ, правду сказать, немногія изъ нихъ думаютъ, — а въ разнообразіи входящихъ въ ихъ составъ предметовъ: тутъ и политика, и исторія, и философія, и критика, и библиографія, и сельское хозяйство, и изящная словесность — чего хочешь, того прошишь. Многіе не видятъ во всемъ этомъ добра и толкуютъ обо всемъ этомъ вкось и кривь, — а ларчикъ просто открывался! Человѣкъ съ дарованіемъ переводитъ драму Шекспира, напечатать ему свой переводъ не на что; на удачу пуститься нельзя, потому что каковъ бы ни былъ переводъ, все-таки нельзя надѣяться, чтобъ его разошлось болѣе двухъ десятковъ экземпляровъ, и то развѣ года въ два... Что жъ тутъ остается дѣлать? — Напечатать въ журналѣ. Это и прекрасно: тѣ, которые могутъ судить о Шекспирѣ и оцѣнить переводъ, прочтутъ, можетъ быть, еще нечитанную ими драму великаго творца; а тѣ, которые никакихъ другихъ драматическихъ красотъ, кромѣ «репертуарныхъ», не смыслятъ, — тѣ будутъ вознаграждены какою-нибудь большою сказкою, въ той же книжкѣ журнала напечатанною... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года было помѣщено цѣлое большое историческое сочиненіе «Альбигойцы», которое было всѣми прочтено съ жадностію и произвело общій восторгъ: будь же оно издано отдѣльно, его никто бы не прочелъ, о немъ никто бы не узналъ, переводчикъ напрасно потратилъ бы трудъ и время, а издатель деньги... Этихъ примѣровъ слишкомъ достаточно для объясненія, почему журналистика поглотила всю литературу. Это не прихоть, не произволъ, даже не расчетъ со стороны журналистовъ: причина дѣла въ необходимости, въ самой дѣйствительности...

Что журналистъ хочетъ обнять своимъ журналомъ все области литературы и науки, удовлетворить всеимъ потребностямъ общества — отъ стиховъ до статей о свекловичномъ сахарѣ и удобреніи полей разными средствами, — здѣсь тоже очень простая причина: онъ хочетъ, чтобъ его журналъ читала публика... У насъ еще не можетъ быть специальныхъ журналовъ, намъ пожалуйте всего за однѣ и тѣ же деньги; мы хотимъ не мнѣнія, не руководительнаго начала, не предмета для ученія, или размышленія, — мы хотимъ чтенія, какъ средства отъ скуки, потому что однѣ карты да кары, сплетни да сплетни, — оно конечно хорошо, да вѣдь прискучить же... Семейство выписываетъ журналъ, — журналистъ долженъ угодить всеимъ членамъ этого семейства: отецъ-старикъ читаетъ, наприимѣръ, перечень событій въ отечествѣ и статьи по части сельскаго хозяйства; мать — повѣсти и модныя извѣстія; сынъ — критику и разборы книгъ; дочь — стихи, повѣсти и модныя извѣстія; смѣсь — все. Не угодите одному, останутся недовольны все! За границею, сущность журнала состоитъ въ его мнѣніи, и потому тамъ журналисту нечего бояться соперничества, не къ чему хвататься за множество такихъ предметовъ: у него есть мнѣніе — есть и подписчики, потому что кто раздѣляетъ его доктрину, тотъ будетъ читать его журналъ; следовательно, ему не помѣшаютъ, его не заслоняютъ, не задавятъ другіе журналы, хотя бы у нихъ были десятки тысячъ подписчиковъ. Тамъ гибнетъ только бездѣтельность, безхарактерность, безсиліе и бездарность. Толстота нашихъ журналовъ тоже не расчетъ, а необходимость. И въ городѣ скучно жить — о деревнѣ нечего и говорить: вы получаете книжку журнала столь полновѣсную, что предвидите цѣлую недѣлю чтенія — не счастье ли, не блаженство ли это?.. Иные же слабы глазами, или не привыкли читать скоро — вѣкъ на цѣлый мѣсяцъ занятіе; шутка ли это?.. Тощіе и содержаніемъ

и талантомъ журналы истощаютъ последнее свое остроуміе на насмѣшки надъ толстыми журналами, а толстые журналы рѣдко даже замѣчаютъ тощихъ... Все это въ порядкѣ вещей, и все это русская литература!...

Приступая къ журналамъ, начнемъ съ старѣйшаго изъ нихъ — съ «Сына Отечества». Онъ кончился нынѣшній годъ сорокъ третьимъ номеромъ, вмѣсто пятидесяти-второго... Въ этой 43 книжкѣ особенно примѣчательна статья о первомъ томѣ «Русской Бесѣды»: рассказывается строкѣхъ въ трехъ содержаніе каждой пьесы, потомъ дѣлается большая выписка изъ пьесы, а изъ всего этого выводится подразумеваемое слѣдствіе, что пьеса очень хороша... Какой наивный способъ критиковать книги и наполнять журналъ... Странное дѣло! мы всѣми силами старались слѣдить за «Сыномъ Отечества»: получили, бывало, отсталую книжку — тотчасъ же читать — и ничего не прочтемъ. . Публика, въ отношеніи къ «Сыну Отечества» была заодно съ нами, съ тою только разницею, что даже и не разрѣзывала его... А кажется, чего въ немъ нѣтъ — и политика, и сокращенные романы, и экстракты изъ повѣстей, а въ смѣси всегда бездна остроумія — ничто не помогло! съ будущаго года «Сынъ Отечества» снова возражается, юнѣетъ... Бѣдный старецъ! найдетъ ли онъ наконецъ для своихъ изсохшихъ желтѣющихъ костей мертвую и живую воду — не знаемъ; но обыкновенной прѣсной воды въ немъ много... Не далѣе, какъ передъ началомъ прошлаго года, грозная афиша возвѣстила, что баронъ Брамбеусъ, по врожденному ему великодушію, не помня зла, рѣшается протянуть свою высокородную руку падшему врагу, чтобъ поднять его. И дѣйствительно, баронъ руку-то протянулъ, но врага-то не поднималъ — у старика, видно отнялись ноги, или можетъ-быть, у барона ослабли руки?... Оставимъ же ихъ, пожелавъ имъ добраго здравія и укрѣпленія силъ, и обратимся къ «Библиотекѣ»

для Чтенія», которая должна непосредственно слѣдовать за «Сыномъ Отечества».

«Библіотека для Чтенія» съ 1839 года какъ-будто пошатнулась — начала опаздывать, чего съ нею прежде не бывало; начала печатать статьи объ искусствѣ, которыхъ смыслъ доселѣ остается тайною для публики и здраваго смысла. Въ девяти книжкахъ тянулся романъ г. Кукольника «Эвелина де Вальероль»; получая слѣдующую книжку, публика забывала, что прочла въ предшествовавшей: это было очень удобно придумано для доставленія публикѣ пріятнаго и занимательнаго чтенія, Въ пятой книжкѣ вдругъ явился экстрактъ изъ романа Тика «Витторія Аккоромбона» вполне переведеннаго и напечатаннаго въ третьей и четвертой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ»... Отдѣленіе «Литературной Лѣтописи» и «Смѣси» въ «Библіотекѣ для Чтенія» были, — особенно первое — по два, по три листочка, увеличиваясь только въ послѣднихъ книжкахъ стараго и первыхъ книжкахъ новаго года, какъ это воспослѣдовало и теперь. Но умный человекъ и на одной страничкѣ найдетъ что сказать! «Библіотека для Чтенія»... была очень находчива въ этомъ отношеніи... Четвертая книжка ея вдругъ, ни съ того ни съ сего, пустилась разсуждать о Гомерѣ, гекзамерѣ, о томъ, какъ должно переводить Гомера... Не довольствуясь разсужденіями, она — такая добрая! — не оставила поучить, — разумѣется тѣхъ, кто захочетъ учиться у ней, — самымъ дѣломъ, и представила, или, какъ выражается С. Н. Глинка, «предъявила» образчики своихъ трудовъ по части сочиненія настоящихъ, самыхъ лучшихъ гекзаметровъ; но приступила къ этому очень тонко и ловко: она объявила, что критика — вздоръ, шарлатанство, ибо де критика есть не что иное, какъ личное мнѣніе, «ничтожная, безпослѣдственная, частная болтовня»... *Avis aux lecteurs!* Что касается до насъ, — мы очень рады этому «извѣстію»: оно объяснило намъ, что такое

критика въ «Библіотекѣ для Чтенія». Изъ снисхожденія къ требованіямъ педантовъ, вдругъ пускается она въ ученую критику, говоря: «Я объявляю, что напругу всё силы, чтобы, елико возможно, быть важнымъ и не смѣяться. Скучайте! Мнѣ до этого дѣла нѣтъ». И что же! Не возможно лучше и честнѣе сдержать даннаго слова: статья вышла скучная, прескучная... «Библіотека для Чтенія» пустилась разсуждать объ отношеніи музыки къ гекзаметру и гексаметра къ музыкѣ, и обнаружила по обоимъ этимъ предметамъ столько природнаго знанія, что, читая статью ея, такъ и приговариваешь къ каждому слову: «Справедливо, все справедливо, Петръ Ивановичъ; замѣчанія такія... видно, что наукамъ учился». Результатомъ всѣхъ этихъ тоническихъ и метрическихъ разглагольствованій на восемнадцати страницахъ былъ знаменитый стихъ: «По берегу Невы Маша ходила бѣлою босою ногою, собирая ягоды и отморозила себѣ носъ...» Послѣ этого стиха, о «Библіотекѣ для Чтенія» скорѣе можно сказать, что она не выдумаетъ пороку, нежели, что она не сочинитъ стиху...

За диссертациею слѣдуетъ разборъ дряннаго опыта перевода «Одиссеи», а въ разборѣ развитіе слѣдующихъ двухъ великихъ идей: № 1. «Бѣдный Гнѣдичъ убилъ всю жизнь свою на усердное коверканье Иліады во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ, на составленіе самой уродливой каррикатуры ея размѣру, ея гармоніи, цвѣту, фюзіонами, духу, и умеръ въ томъ блаженномъ убѣжденіи, что онъ познакомилъ Русскихъ съ формою и содержаніемъ чудеснѣйшаго произведенія древности». № 2. «Древніе подъ простотою (*simplicitas*) разумѣли простонародность, и Гомеръ объясняется какъ кумъ Емелянъ у казака Луганскаго»... Въ смѣси XI книжки помѣщены неоспоримыя доказательства, что древніе раскрашивали красками свои статуи, и что классическіе города были — изящный Китай! Подлинно, мандаринскій взглядъ на искусство...

Впрочемъ, можетъ-быть, все это и шутка: «Библіотека для Чтенія» большая охотница шутить, — это всѣмъ извѣстно. Прочтите, напр., въ третьей книжкѣ ея похвалы графинѣ Растопчиной, Зенендѣ Р... и г. Кукольникову, и отгадайте, что это — похвала или насмѣшка... Но, говоря о трехъ послѣднихъ частяхъ сочиненій Пушкина, — мы въ этомъ увѣрены — «Библіотека для Чтенія» не шутитъ: по ея мнѣнію, Пушкинъ — писатель старой школы — онъ употреблялъ сея и оныя... Впрочемъ, это дѣло личнаго вкуса и личнаго самолюбія, полагающаго войну противъ сихъ и оныхъ великимъ подвигомъ; но въ XII книжкѣ на 55 стр. Лит. Лѣтописи, находится превосходный образчикъ учености «Библіотеки для Чтенія», гдѣ доказывается, что все на свѣтѣ дымъ, въ томъ числѣ и всемирный законъ постепенности... Впрочемъ, направленіе и духъ «Библіотеки для Чтенія» такъ извѣстны всѣмъ и каждому, что о нихъ новаго ничего нельзя сказать, кромѣ того развѣ, что одно и то же надобѣдаетъ, мысли безъ содержанія становятся пусты, старыя шутки приторны... Справедливость требуетъ замѣтить, что прошлогодняя «Библіотека для Чтенія» не чужда и хорошихъ статей, особенно переводныхъ; жаль только, что къ нимъ нельзя имѣть вѣры, не зная, за что ихъ должно принимать — за дѣло, или за шутку. Къ числу шутокъ, и довольно плоскихъ, принадлежитъ статья о Франклинѣ. — Критика въ «Библіотекѣ для Чтенія» всегда пуста, всегда наполнена выписками изъ сухихъ сочиненій, преимущественно подвергающихся ея разсмотрѣнію. Но критика на книгу отца Іакинѣа о Китаѣ представляетъ собою блестящее исключеніе изъ общаго правила этого журнала: статья живая, энергическая, умная, хотя и не чуждая парадосковъ. Странный журналъ эта «Библіотека для Чтенія»: о Китаѣ судить по европейски, а о европейскомъ искусствѣ по-китайски! Подлинно, кому на что дать Богъ дарованіе!...

Къ отдѣленію русской и иностранной поэзіи въ «Библіотекѣ для Чтенія» мы будемъ обращаться ниже, говоря вообще о произведеніяхъ бельетристики въ прошломъ году; а теперь перейдемъ къ другимъ журналамъ.

«Современникъ» прошлаго года по прежнему былъ вѣренъ своему плану, и направленію, и по прежнему былъ богатъ хорошими оригинальными статьями и хорошими переводами произведеній скандинавской поэзіи. Особенно интересна и важна въ немъ неконченная статья «Нибелунги». Окончаніе этой превосходной статьи будетъ помѣщено, вѣроятно, въ «Современникъ» нынѣшняго 1842 года.

Въ «Москвитянинѣ» было нѣсколько превосходныхъ оригинальныхъ статей въ стихахъ и въ прозѣ, которыя намъ особенно пріятно исчислить здѣсь всѣ: «Споръ», стихотвореніе Лермонтова. «Послѣдніе стихи лорда Байрона» К. Павловой, «Сцены къ Ревизору» и «Письмо о первомъ представленіи «Ревизора» Гоголя; «Обозрѣніе Гегелевой логики» Рѣдкина; «Нѣсколько словъ о римской исторіи» Лунина «О трагическомъ характерѣ исторіи Тацита» Крюкова; «Нѣсколько словъ о сценическомъ художествѣ» Крюкова; разборъ «Чтеній о русскомъ языкѣ Греча» Шевырева. Интересны нѣкоторые матеріалы для исторіи русской литературы, напр., «Знакомство Дмитріева съ Карамзинымъ» (изъ записокъ Дмитріева) и пр.: нѣкоторые матеріалы для исторіи Россіи, какъ напр., «Послѣдній претендентъ мѣстничества, князь Козловскій», «Письмо Н. И. Панина о пошлѣ Пугачева, и пр. Замѣчательныхъ повѣстей, оригинальныхъ и переводныхъ, въ «Москвитянинѣ» не было.

«Русскій Вѣстникъ», хотя и новый журналъ, однако новаго ничего не сказалъ и не сдѣлалъ, кромѣ развѣ того, что опаздывалъ выходомъ книжекъ и, вмѣсто обѣщанныхъ двѣнадцати книжекъ, появился въ прошломъ году только въ числѣ десяти,

что, конечно, для него ново, потому что онъ дѣлаетъ это еще въ первый разъ. Наполнялся же онъ статьями спеціального содержанія, сухими и не журнальными. Пускался «Русскій Вѣстникъ» и въ философію, — правда, не часто, всего, кажется, только одинъ разъ, но за то съ большимъ успѣхомъ. Любопытные сами могутъ справиться объ этомъ въ курьёзной статьѣ: «Европа, Россія и Петръ Великій»; въ особенности рекомендуемъ мѣсто отъ 104 до 107 страницы, гдѣ очень ясно и ново разсуждается о паденіи человѣка, о фетишизмѣ, о философской (?!) религіи Китайцевъ, о буддизмѣ, браминизмѣ, магахъ, Египтянахъ, Скандинавахъ, Цельтахъ, Мугамеданахъ, и другихъ предметахъ, не менѣе близкихъ къ Россіи и исторіи Петра Великаго. Эту интересную статью можно раздѣлить на три части: первую занимаетъ философія — взглядъ и нѣчто — двадцать двѣ страницы (95—116); вторая посвящена собственно Россіи и занимаетъ восемь страницъ (125—133); третья посвящена Петру Великому и занимаетъ собою — меньше одной страницы (134). Въ своемъ мѣстѣ, мы скажемъ, что было хорошаго въ «Русскомъ Вѣстникѣ» по части изящной словесности; а теперь укажемъ только на ученые и критическія статьи, больше или меньше интересныя; ихъ очень немного: оригинальная статья «Завоеваніе Азова въ 1696 году» Н. Полеваго, переводная статья «Любопытныя и новыя извѣстія о Московіи, 1689 года» (Дѣла Нѣвилля); разборъ Н. Полеваго первой тетради «Исторіи Петра Великаго» соч. г. Ламбина; разборъ «Ластовки», «Исповѣди доктора Ястребцова». Этого довольно на десять книгъ — чего же больше!... Ко всему этому надо прибавить, что въ «Русскомъ Вѣстникѣ» незамѣтно ничьего преимущественнаго вліянія, которое могло бы дать этому изданію характеръ, направленіе, образъ мыслей: имена гг. Полеваго, Кукольника и Греча украсили только его программу, а не листы; впрочемъ, два первые сдѣлали хоть что-нибудь въ ка-

чествѣ сотрудниковъ, если не редакторовъ; но третій ничего не сдѣлалъ и въ этомъ качествѣ, ибо одна или двѣ бездѣльные статьи ничего не значатъ въ годовомъ изданіи журнала. Какъ тутъ не вспомнить гениальнаго выраженія одной статьи въ Пушкинскомъ «Современникѣ» 1836 года, объ участіи г. Греча въ «Библіотекѣ для Чтенія»: «Имя г. Греча было выставлено только для формы; по крайней мѣрѣ никакого дѣйствія не было замѣтно съ его стороны. Г. Гречъ давно ужъ сдѣлался почетнымъ и необходимымъ редакторомъ всякаго предпринимаемаго періодическаго изданія; такъ обыкновенно почтеннаго пожилаго человѣка приглашаютъ въ посаженные отцы на всѣ свадьбы»... («Соврем.» т. 1 стр. 195).

За исключеніемъ «Отечественныхъ Записокъ», хвалить или осуждать которыя—не наше дѣло, вотъ и всѣ наши журналы. Газетъ у насъ еще меньше — всего двѣ, т. е. газетъ, издаваемыхъ не отъ правительства и посвященныхъ преимущественно литературѣ: «Сѣверная Пчела» и «Литературная Газета».

«Сѣверная Пчела» издается и Богъ знаетъ сколько лѣтъ, что очень давно: но странное дѣло!—она такъ всегда вѣрна себѣ, такъ неизмѣнлива ни къ лучшему, ни къ худшему, что первый номеръ перваго года ея существованія и послѣдній номеръ только что кончившагося вчера 1841-го года — такъ похожи одинъ на другой, и по содержанію, и по тону, и по взгляду или по отсутствію всякаго взгляда на предметы, что можно подумать, будто оба эти листка напечатаны въ одинъ и тотъ же день. Поэтому, мы безошибочно можемъ привести о ней сужденіе изъ упомянутой выше статьи «О движеніи журнальной литературы», которую Пушкинъ напечаталъ въ первой книжкѣ своего «Современника» на 1836 годъ, и съ которой, слѣдственно, онъ былъ совершенно согласенъ. Вотъ что сказалъ Пушкинъ, или его «Современникъ»: «Сѣверная Пчела»

заклучала въ себѣ официальные извѣстія, и въ этомъ отноше-
 енїи выполняло свое дѣло. Она помѣщала извѣстія полити-
 ческія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, г.
 Гречъ, довелъ ее до строгой исправности: она всегда выходила
 въ положенное время; но въ литературномъ смыслѣ она не имѣла
 никакого опредѣленнаго тона и не выказывала никакой сильной
 руки, двигавшей ея мнѣнія. Она была какая-то корзина, въ кото-
 рую сбрасывалъ всякій все, что ему хотѣлось. Разборы книгъ,
 всегда почти благосклонныя, писались пріятелями, а иногда са-
 мими авторами. Въ «Сѣверной Пчелѣ» пробовали остроту пера
 разные незнакомые, скрывшіеся подъ разными буквами, безъ
 сомнѣнія люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось
 довольно удамства. Они нападали развѣ на самаго уже без-
 защитнаго и круглаго сироту. Насчетъ неопратныхъ изданій
 являлись остроумныя колкости, нѣсколько похожія одна на
 другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить
 книгу и при концѣ сложить съ себя грѣхъ такою оговоркою:
 «впрочемъ желательнo, чтобы почтенный авторъ исправлялъ
 небольшія погрѣшности относительно языка и слога» или: «хо-
 рошая книга требуетъ хорошаго изданія», и тому подобное, за
 что авторъ разбираемой книги иногда обижался и жаловался на
 пристрастіе рецензента. Книги часто были разбираемы тѣми
 же самыми рецензентами, которые писали извѣстія о новыхъ
 табачныхъ фабрикахъ, открывшихся въ столицѣ, о помадѣ
 и пр. Впрочемъ, отъ «Сѣверной Пчелы» больше требовать было
 нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша; ея дѣло
 было пригласить публику, а судить она предоставляла самой
 публикѣ» (стр. 202—204)... Для полноты вѣрной характе-
 ристики «Сѣверной Пчелы», мы должны прибавить, что ея
 участіе въ литературѣ болѣе и болѣе принимаетъ характеръ
 статистическій, особенно въ концѣ стараго и началѣ новаго
 года: она судить исключительно только о числѣ подписчиковъ на

журналы, о цѣнахъ журналовъ, о томъ, скоро ли идетъ книга, или залежалась... Что же касается до политическихъ извѣстій — это самая неинтересная часть «Сѣверной Пчелы», потому что политическія извѣстія всегда новѣе, свѣжѣе, полнѣе и интереснѣе въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ» и «Русскомъ Инвалидѣ», которые, постоянно, днемъ или двумя днями раньше «Сѣверной Пчелы» сообщаютъ политическія новости, такъ что «Сѣверной Пчелѣ» остается лишь весьма легкій и пріятный трудъ — перепечатывать эти новости въ столбцы свои... Кстати: есть поводъ надѣяться, что въ нынѣшнемъ году «Русскій Инвалидъ» значительно расширитъ свои предѣлы и дастъ обширное мѣсто статьямъ литературнымъ, фельетону, библиографіи; самый форматъ его увеличится, можетъ-быть въ первую, можетъ-быть во вторую половину года.

«Литературная Газета» была вѣрна своей литературной политикѣ: объ этомъ знаетъ «Сѣверная Пчела». т. е. ея ученые издатели и добросовѣстные, даровитые сотрудники. Особенно замѣчательны были въ прошломъ году фельетонные разборы «Литературной Газеты» оперъ «Аскольдовой Могилы» и «Тоски по Родинѣ», нѣкоторыя рецензіи и другія газетныя статьи; съ нынѣшняго года «Литературная Газета» значительно усилитъ свой интересъ для публики, болѣе держась чисто газетной сферы; выходя же въ недѣлю только одинъ разъ, не листкомъ, а тетрадью, она, нисколько не теряя въ свѣжести извѣстій, пріобрѣтаетъ возможность представлять своимъ читателямъ довольно большія повѣсти, рассказы, даже водевили и небольшія драмы.

Теперь сдѣлаемъ краткое обзорѣніе всего, сколько-нибудь примѣчательнаго, что появилось, въ продолженіи прошлаго года, по части изящной литературы, какъ оригинальнаго, такъ и переводнаго, какъ отдѣльно изданнаго, такъ и помѣщеннаго въ періодическихъ изданіяхъ. Разумѣется, здѣсь первое мѣсто

занимаютъ три тома посмертныхъ сочиненій Пушкина, между которыми много такихъ, которыя публика прочла въ первый разъ. Въ этихъ же трехъ томахъ помѣщено нѣсколько стихотвореній, пропущенныхъ въ первыхъ восьми томахъ, и нѣсколько собранныхъ, по смерти Пушкина, журналами, преимущественно «Отечественными Записками». Особенной благодарности издателя заслуживаютъ за помѣщеніе лицейскихъ стихотвореній Пушкина: это важный фактъ для русской литературы и исторіи развитія поэтической дѣятельности Пушкина. Иные говорятъ, что не должно было печатать того, чего не хотѣлъ печатать самъ Пушкинъ при жизни своей: — странное мнѣніе! Пушкинъ не могъ и не долженъ былъ печатать всего: не его дѣло было выставять себя гениемъ и великимъ человекомъ, котораго каждая строка интересна и важна для современниковъ и потомства; это было дѣло другимъ, когда смерть измѣнила отношенія поэта къ публикѣ и публики къ поэту, а это дѣло выполнили издатели его сочиненій. Небольшое число стихотвореній, не вошедшее въ послѣдніе три тома, и семь пропущенныхъ прозаическихъ статей издателя хотятъ собрать въ особой книжкѣ и безденежно выдать купившимъ три послѣдніе тома сочиненій Пушкина. — Въ «Отечественныхъ Запискахъ» было напечатано девять стихотвореній Лермонтова: «Есть рѣчи», «Завѣщаніе», «Оправданіе», «Родина», «Послѣднее Новоселье», «Кинжалъ», «Плѣнный Рыцарь», «Парусъ» и «Желанье»; одно («Споръ») помѣщено въ «Москвитиниѣ», два во второмъ томѣ «Русской Бесѣды». Въ «Отечественныхъ Запискахъ» напечатано нѣсколько піесъ Кольцова, изъ которыхъ «Что ты спишь, мужичокъ», «Разсчетъ съ жизнью», «Много есть у меня» и въ особенности «Ночь» принадлежатъ къ капитальнымъ произведеніямъ русекой поэзіи. Какъ жаль, что стихотворенія Кольцова (разумеется, строго избранныя) до сихъ поръ не изданы! Поэтическое дарованіе Кольцова признано

вѣми безусловно; многіе изъ талантливыхъ нашихъ музыкантовъ кладутъ его пѣсни на музыку; и такъ, его читаютъ и поютъ, его хвалятъ, но не многіе знаютъ степень и важность его дарованія, какъ капитальнаго, а не временнаго, которое занимаетъ современность и умираетъ виѣсть съ лицомъ... Кольцовъ принадлежитъ къ числу такихъ художниковъ, которые не могутъ претендовать на всеобъемлемость и многосторонность выражаемой ихъ творчествомъ жизни, но которые, избравъ себѣ одну сторону жизни, изчерпываютъ ее глубоко и мощно, какъ напримѣръ, Орасъ Вернѣ въ изображеніи военныхъ сценъ. Еслибы стихотворенія Кольцова были изданы — въ этомъ всѣ убѣдились бы и скоро и единодушно. Теперь же нѣтъ общаго впечатлѣнія въ пользу его поэзіи, потому что какъ можно требовать, чтобъ каждый помнилъ, гдѣ и когда было помещено то или другое стихотвореніе? — Вѣроятно, читатели «Отечественныхъ Записокъ» обратили вниманіе на стихотворенія г. Огарева, отличающіяся особенною внутреннею меланхолическою музыкальностью; всѣ эти піесы почерпнуты изъ столь глубокаго, хотя и тихаго чувства, что часто, не обнаруживая въ себѣ прямой и определенной мысли, онѣ погружаютъ душу именно въ невыразимое ощущеніе того чувства, котораго сами онѣ только какъ бы невольные отзвуки, выброшенные переполнившимся волненіемъ. Прошлый годъ былъ ознаменованъ появленіемъ новаго дарованія, подающаго въ будущемъ большія надежды: мы говоримъ о г. Майковѣ, котораго стихотворенія являлись, впрочемъ рѣдко означенныя полнымъ именемъ автора, въ «Библіотекѣ для Чтенія». — Изъ напечатанныхъ въ этомъ журналѣ особенно замѣчательны «Пустынникъ», «Сомнѣніе» (№ 2); въ «Отечественныхъ Запискахъ» «Вакханка» и «Искусство» (№№ 10 и 11). Лучшія стихотворенія г. Майкова — въ автологическомъ родѣ. Въ нихъ столько эллискаго и пластическаго въ содержаніи и

формѣ, столько полноты и жизни, что нельзя въ авторѣ не признать положительно поэтическаго таланта. Конечно, не всѣ его стихотворенія равнаго достоинства; есть между ними и не совсѣмъ удачныя; но за то, многія не оставляютъ ничего желать; лучшее изъ нихъ «Сонъ», напечатанный въ «Одесскомъ Альманахѣ» на 1840 годъ и цитованное въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ» о «Римскихъ Элегіяхъ Гёте». Стихотворенія г. Майкова не-антологическія, большею частію отличаются прекрасными стихами и поэтическими частностями, но ихъ содержаніе почти всегда неопредѣленно и отзывается какою-то юношескою незрѣлостію. Въ нынѣшнемъ году, г. Майковъ издастъ свои стихотворенія; мы поговоримъ о нихъ, когда они выйдутъ въ свѣтъ. — Въ прошломъ году вышла первая часть стихотвореній графини Растопчиной, уже извѣстныхъ публикѣ и одѣянныхъ ею по достоинству. Стихотворенія Козлова напечатаны третьимъ изданіемъ. «Питтическіе Опыты Елизаветы Кульманъ» вышли вторымъ изданіемъ. Третье изданіе «Сказаній Русскаго Народа» и первая часть русскихъ народныхъ сказокъ, изданныхъ г. Сахаровымъ, дополняютъ собою общій итогъ прошлогодней поэзіи, Изъ капитальныхъ произведеній русской поэзіи, появились вторымъ изданіемъ: «Ревизоръ» (съ новыми сценами и письмомъ автора о первомъ представленіи его комедіи) и «Герой Нашего Времени». Новаго по части романа и драмы ничего не являлось. Впрочемъ, къ романамъ сколько-нибудь замѣчательнымъ принадлежатъ: «Эвелина де Вальероль», помѣщенный въ девяти книжкахъ «Библіотеки для Чтенія», да «Византійскія Легенды» и вышедшій вторымъ изданіемъ «Аббадонна». Эвелина де Вальероль г. Кукольника читается легко и весело, потому что въ ней много внѣшняго интереса, бездна эффектовъ, толпа лицъ, изъ которыхъ лицо Гарь-Піона даже похоже на характеръ. Героя въ романѣ нѣтъ ни одного, а героевъ много; видѣтъ умъ

и изученіе, но мало фантазіи. Однимъ словомъ, «Эвелина де Вальероль» примѣчательный *tour de force* таланта, который не такъ слабъ, чтобъ ограничиваться бездѣлками, доставляющими фельетонную извѣстность, и не такъ силенъ, чтобъ создать что-нибудь выходящее за черту посредственности. Сколько ни написалъ г. Кукольникъ драмъ, и русскихъ и итальянскихъ, всё онѣ не что иное, какъ «этюды», которые могутъ имѣть свои относительныя достоинства, но которые читать очень скучно. Повѣстями наша литература была гораздо богаче. Лучшая повѣсть прошлаго года, безъ всякаго сомнѣнія — «Аптекарьша» графа В. А. Соллогуба, напечатанная во второмъ томѣ «Русской Бесѣды». И немудрено: графъ Соллогубъ — писатель съ замѣчательнымъ дарованіемъ, а «Аптекарьша» рѣшительно выше всего, что онъ написалъ. Давно уже мы не читали по-русски ничего столь прекраснаго по глубоко гуманному содержанію, тонкому чувству такта, по мастерству формы, простирающемуся до какой-то художественной полноты. Это третье прекрасное произведеніе графа Соллогуба, послѣ «Исторіи двухъ Калoszъ» и отрывка изъ «Тарантаса», и мы видимъ особенное доказательство таланта автора въ большей зрѣлости его, которая такъ очевидна въ послѣднемъ его произведеніи. Содержаніе «Аптекарьши» очень просто, такъ что для людей безъ эстетическаго чувства она можетъ показаться повѣстью, лишенною высокаго содержанія, простымъ рассказомъ о простомъ случаетъ; но въ этомъ-то все и достоинство ея. Прочитавъ повѣсть, вы чувствуете, что внутри ея совершалась трагедія, тогда какъ снаружи все было спокойно. Курляндскій юноша, баронъ Фиренгеймъ, — «природа котораго была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно-аристократическая», какъ выражается авторъ, — живя въ Дерптѣ, на квартирѣ профессора, заинтересовался слегка его хо-рошенькою дочкою, которая, съ своей стороны, глубоко полю-

была его. Превосходно изображена авторомъ борьба въ душѣ барона между приятнымъ впечатлѣніемъ, которое производила на него милая дѣвушка, и оскорбительнымъ впечатлѣніемъ, которое производила на него проза окружающей ее дѣйствительности. Это понятно: розовое личико пятнадцатилѣтней дѣвочки, съ большими темносиними глазами, длинными шелковистыми рѣсницами, дѣтской, заумчивой головкой — не совѣсть вѣжета съ кухонными хлопотами, сальными свѣчами и изношеннымъ салопомъ. Только навсегда уѣзжая изъ Дерпта, баронъ понялъ, какъ любила его бѣдная Шарлотта. Долго не видались они. Баронъ началъ хлопотать о служебной карьерѣ и, говоря словами самаго автора — «Аннѣ съ короной онъ кланялся съ развязной улыбкой, а Андрею Первозванному съ чувствомъ глубокаго почтенія»... Потомъ онъ встрѣчаетъ ее въ дрянномъ уѣздномъ городишкѣ, женою бѣднаго Нѣмца аптекаря, старается соблазнить ее; но ему не удается и, притыженный благородствомъ аптекаря, безкорыстною любовію его и чистымъ уваженіемъ къ женѣ, уѣзжаетъ изъ городка. Пріѣхавъ опять, черезъ годъ времени, въ городишко, онъ узнаетъ, что Шарлотта умерла отъ чахотки... Не знаемъ, долго ли онъ грустилъ, или скоро ли опять утѣшился: знаемъ только, что повѣсть графа Соллогуба оставляетъ въ душѣ глубоко грустное впечатлѣніе... О разсказѣ нечего и говорить: это само мастерство; характеры всѣ до одного прекрасно очерчены, вѣрно выдержаны. Герой — одно изъ тѣхъ типическихъ и часто встрѣчающихся лицъ, которыми природа не отказала въ чувствѣ и способности понимать многое, но которыхъ она, въ то же время, надѣлила большимъ избыткомъ ничтожности и пустоты въ характерѣ. Отецъ Шарлотты — типъ нѣмецкаго геллерта, и какъ хорошъ онъ, когда выкатываетъ студентской ватагѣ весь скудный свой погребъ и съ сверкающими отъ восторга глазами смотритъ на нихъ ученый

разгуль, или когда онъ отъ души восхищается мастерскою работою, отъ которой могъ умереть его любимецъ. Но въ повѣсти есть еще лицо, о которомъ мы не говорили: это уѣздный франтъ, въ венгеркѣ съ кистями — лицо въ высшей степени типическое, мастерски очерченное ..

Г. Панаевъ напечаталъ въ прошломъ году двѣ повѣсти: «Онагръ» (Отеч. Зап. № 5) и «Барыня» (въ первомъ томѣ «Русской Бесѣды»), принадлежащія къ замѣчательнѣйшимъ явленіямъ прошлогодней литературы. «Барыня» особенно хороша: въ ней столько характеристическаго, вѣрнаго, ловко и цѣлко схваченнаго. Впрочемъ, каждая новая повѣсть г. Панаева бываетъ лучше предшествовавшей, въ чемъ читатели наши особенно могутъ убѣдиться по «Актеону». Это добрый знакъ: развитіе и движеніе впередъ есть несомнѣнное доказательство истиннаго дарованія. .

Въ «Отечественныхъ Запискахъ» обратили на себя избраннѣйшей части публики двѣ повѣсти А. Н. (псевдонимъ): «Звѣзда» (№ 3) и «Цветокъ» (№ 9). Онѣ отличаются особеннымъ, самостоятельнымъ характеромъ, и обнаруживаютъ въ авторѣ даръ творчества, который, при условіи развитія, можетъ обѣщать много въ будущемъ. «Звѣзда» особенно хороша по какому-то грустному и зловѣщему колориту, разлитому по фону картины. Къ особенностямъ обѣихъ повѣстей принадлежитъ какая-то вкрадчивая, завлекающая вниманіе читателя вѣрность въ малѣйшихъ подробностяхъ изображаемой дѣйствительности, и необыкновенное умѣніе завязать цѣлую драму на самыхъ, повидимому, обыкновенныхъ, всѣдневныхъ случайностяхъ. Разказъ столько же простой, сколько увлекающій и поэтическій. А. Н. написалъ уже не одну прекрасную повѣсть; въ «Телескопѣ» 1836 года были напечатаны его «Катенька Пылаева» и «Антонина»; въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 и 1839 гг. — «Однѣ сутки изъ жизни холостяка»

и «Флейта»; въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 — «Недоумѣніе». Общій недостатокъ почти всѣхъ его повѣстей состоитъ въ томъ, что женскіе характеры изображаются въ нихъ типически, искусно, вѣрно, а мужскіе большею частью блѣдно и безцвѣтно.

Въ «Библіотекѣ для Чтенія» была только одна оригинальная повѣсть, но за то прекрасная; мы говоримъ о «Теофанія Аббиаджіо» (№№ 1 и 2), г-жи Ганъ, обыкновенно подписывающейся Зенеидою Р-вою. Г-жа Ганъ принадлежитъ къ примѣчательнѣйшимъ талантамъ современной литературы. Въ ея повѣстяхъ замѣтенъ недостатокъ такта дѣйствительности, умѣнія схватывать и изображать съ ощутительною точностію и опредѣленностію самыя обыкновенныя явленія ежедневности. Но этотъ недостатокъ вознаграждается внутреннимъ содержаніемъ, присутствіемъ живыхъ, общественныхъ интересовъ, идеальнымъ взглядомъ на достоинство жизни, человека и женщины въ особенности, полнотою чувства, электрически сообщающагося душѣ читателя. Поэтому, часто въ повѣстяхъ г. жи Ганъ вышнее содержаніе, завязка и развязка бывають не совсемъ правдоподобны и естественны, какъ, напримѣръ, въ повѣсти «Идеалъ», гдѣ женщина, одаренная глубокимъ чувствомъ, увлекается повтомъ, который оказывается негодяемъ, и потомъ удивляется, какъ можно быть такимъ «небеснымъ» въ своихъ сочиненіяхъ и «земнымъ» въ своей жизни: тутъ что-нибудь да не такъ — или героиня повѣсти не довольно имѣла эстетическаго такта, чтобъ не очароваться пустыми фразами, или повтъ не былъ негодяй. Очевидно, что сюжетъ для г-жи Ганъ имѣеть значеніе опернаго либретто, на которое она потомъ пишетъ музыку своихъ ощущеній и мыслей. И въ самомъ дѣлѣ; эти ощущенія у ней иногда возвышаются до паэоса. «Теофанія Аббиаджіо» — лучшая изъ повѣстей г-жи Ганъ...

Г. Кукольникъ въ прошломъ году написалъ много повѣстей, о которыхъ нельзя судить вѣрно, не раздѣливъ ихъ на три разряда: на повѣсти, содержаніе которыхъ взято изъ русской жизни временъ Петра Великаго; на повѣсти, которыхъ содержаніе заимствовано изъ другихъ эпохъ русской жизни, и, наконецъ, на повѣсти, которыхъ содержаніемъ служить жизнь чуждыхъ намъ странъ, особенно Италіи. Первые все очень интересны; вторыя — посредственны; третьи — изъ рукъ вонъ плохи... И потому поговоримъ о первыхъ. Это собственно не повѣсти, а рассказы о старинѣ, въ основаніе которыхъ г. Кукольникъ всегда беретъ какой-нибудь извѣстный историческій анекдотъ. Но надо знать, что онъ умѣетъ сдѣлать изъ этого анекдота, съ какимъ искусствомъ онъ раскляжетъ его, свяжетъ частный бытъ съ исторією, а исторію съ частнымъ бытомъ; сколько у него тутъ комическаго, а иногда и истинно-высокаго, особенно въ тѣхъ сценахъ, гдѣ является у него Петръ Великій; сколько оригинальныхъ характеровъ и какая яркая картина борьбы нововведеній съ старинною дикостію нравовъ! Не думайте, что г. Кукольникъ дѣлалъ изъ приверженцевъ старины каррикатуры и чудища: нѣтъ, это иногда вѣрные слуги великаго царя, люди честные и благородные; но не думайте, что г. Кукольникъ изображалъ ихъ на манеръ героевъ нашихъ патріотическихъ драмъ, т. е. людьми, которые говорятъ нравственными сентенціями, и дѣйствуютъ какъ машины: нѣтъ, это лица дѣйствительныя, исполненныя комизма, и, въ то же время, трогаящія своимъ благородствомъ въ грубыхъ формахъ. Таковъ, напримѣръ, Иванъ Михайловичъ, олонекій прокуроръ... Жаль, что г. Кукольникъ не издастъ своихъ рассказовъ отдѣльно: ихъ не мало, и книжка вышла бы преинтересная. Вотъ перечень этихъ рассказовъ: «Новый Годъ» и «Авдотья Петровна Лихончиха», «Прокуроръ», «Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукнѣ», «Иванъ

Ивановичъ» — лучшая въ этомъ родѣ повѣсть г. Кукольника, занимающая собою первый выпускъ «Сказки за Сказкою». Кстати замѣтимъ, что и «Капустинъ», помѣщенный въ «Утренней Зарѣ» на нынѣшній годъ, принадлежитъ къ числу такихъ же рассказовъ г. Кукольника.

Но мы заговорились, — и потому спѣшимъ, въ общемъ перечнѣ, поименовать другія, заслуживающія большаго или меньшаго вниманія повѣсти, разсѣяныя въ періодическихъ изданіяхъ. «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка» Искандера (Отеч. Зап. № 8); первый отрывокъ изъ этихъ записокъ, полныхъ ума, чувства, оригинальности и остроумія, и заинтересовавшихъ общее вниманіе, былъ помѣщенъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 года (№ 12); о второмъ можно сказать, что онъ еще лучше перваго; «Куликъ», повѣсть г. Гребенки, въ «Утренней Зарѣ» на 1841, и его же «Записки Студента» въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№ 2); «Южный Берегъ Финляндіи» повѣсть князя Одоевскаго, въ «Утренней Зарѣ»; «Левъ», рассказъ графа Соллогуба, въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№ 4); «Институтка», романъ въ письмахъ, С. А. Закревской — новой талантливой писательницы, вышедшей на литературное поприще (Отеч. Зап. № 12); «Мичманъ Подѣлуевъ» В. И. Даля, во второмъ томѣ «Русской Бесѣды». — Баронъ Брамбеусъ, въ послѣдней книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» вдругъ разразился, послѣ долгаго молчанія, началомъ большой повѣсти «Идеальная Красавица, или Дѣва чудная». Въ этомъ началѣ нѣтъ никакого содержанія, а есть одни разсужденія о томъ, о семъ, а чаще ни о чемъ, разсужденія, мѣстами умныя, но большею частію скучныя, прескучныя...

Отдѣльно вышли уже извѣстныя публикѣ повѣсти графа Соллогуба, подъ названіемъ «На Сонъ Грядущій» — заглавіе, совершенно не соответствующее эффекту интереснаго сборника...

Теперь — о переводах. Можно сказать утвердительно, что у насъ въ настоящее время больше всего переводятъ Шекспира, хоть и нельзя сказать, чтобъ его больше всего читали. Здѣсь первое мѣсто должно занимать смѣлое и благородное предпріятіе г. Кетчера — перевести прозою всего Шекспира. Г. Кетчеръ напечаталъ пять піесъ, другія послѣдуютъ безостановочно. Журналы уже отдали полную справедливость важности предпріятія г. Кетчера и достоинству его перевода; а возможность продолжать предпріятіе доказываетъ, что на Руси есть люди, которые читаютъ не одиѣ сказки и умѣютъ понимать не одиѣ «репертуарныя» піесы... Въ 7 № «Отечественныхъ Записокъ» помѣщенъ превосходный переводъ «Двѣнадцатой ночи» г. Кронеберга; въ «Пантеонѣ Русскаго и всѣхъ Европейскихъ Театровъ» — замѣчательный по своему поэтическому достоинству переводъ г. Каскова «Ромео и Юлія»; въ «Библиотекѣ для Чтенія» — «Сонъ въ Ивановскую Ночь», какъ то странно переведенный; въ «Репертуарѣ Русскаго Театра» — «Коріоланъ» — въ четырехъ (?) дѣйствіяхъ, прозою (№ 4) и, «Отелло», переведенный весьма посредственно и вяло, стихами (№ 9). Лучшіе переводные романы тоже въ журналахъ: «Витторія Аккоромбона» Лудвига Тика, въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№№ 3 и 4); экстрактъ изъ того же романа въ «Библиотекѣ для Чтенія» (№ 5); «Оливеръ Твистъ», романъ Диккинса въ «Отечественныхъ Запискахъ» (№№ 9 и 10); «Огленъ Камеронъ» въ «Библиотекѣ для Чтенія» (№№ 8, 9 и 20). Этотъ романъ приписывается Вальтеръ Скотту. Герой его — Карлъ II, представленный здѣсь совершенно на оборотъ тому, какъ представленъ онъ въ романѣ Вальтеръ Скотта «Вудстокъ». Впрочемъ, романъ, чей бы онъ ни былъ, читается легко и съ удовольствіемъ. Отдѣльно вышедшіе переводы: напечатанный въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1840 года переводъ превосходнаго романа Купера «Путеводитель въ

Пустынь, или Озеро-Море; прекрасный перевод съ подлинника, стихами, поэмы Тегнера «Фритюфъ» г. Грота, это былъ истинный подарокъ русской литературѣ; переводъ «Клавиго» драмы Гёте, г. Струговщикова.

Вотъ вся наша изящная и бѣльлетрическая литература: мы не пропустили ничего сколько-нибудь примѣчательнаго, и забыли только о вещахъ, которыя не стоятъ того, чтобъ ихъ помнить... Самое утѣшительное и отрадное явленіе послѣдняго времени есть, безъ сомнѣнія, движеніе въ ученой и учебной литературѣ Россіи. Вотъ перечень всего примѣчательнаго по этой части. «Описаніе Финляндской войны 1808 и 1809 годовъ» Михайловскаго-Данилевскаго; «О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича» современное сочиненіе Григорія Кошихина; «Энциклопедія Законовѣденія» профессора Неволлина; «Основанія Уголовнаго Судопроизводства» профессора Баршева; «Уральскій Хребетъ въ физическо-географическомъ, геогностическомъ и минералогическомъ отношеніяхъ» профессора Щуровскаго; «Китай, его жители, нравы и проч.» отца Іакинфа; «Картинная Галлерей», изданная А. Плюшаромъ; «Путешествіе по Сѣвернымъ Берегамъ Сибири и по Ледовитому Морю» и прибавленіе къ этому путешествію, фонъ-Врангеля; «О большихъ военныхъ дѣйствіяхъ» генерала Окунева; «Лекціи Статистики» Рославскаго; «Исторія смутнаго времени въ Россіи въ началѣ XVIII вѣка» (вторая часть) Бутурлина; «Руководство къ Познанію Средней Исторіи» Смарагдова; «Древняя Исторія» профессора Лоренца; первый томъ ученаго альманаха «Юридическія Записки», издаваемого профессоромъ Рѣдкинымъ.

Всѣхъ книгъ на русскомъ языкѣ, кромѣ періодическихъ изданій, брошюръ и отдѣльно отпечатанныхъ журнальныхъ статей, вышло въ прошломъ году около четырехъ сотъ; изъ нихъ по части изящной литературы, оригинальныхъ и переводныхъ

новыхъ и вновь изданныхъ, выше насчитали мы всего шестнадцать; все остальное въ журналахъ;—ученыхъ сочиненій тоже шестнадцать; и тога всего тридцать двѣ... Что же такое остальные 368 книгъ? — «Цынъ-Кіу-Тонгъ», романъ г. Зотова; «Деньги», комическая поэма; «Разгулье купеческихъ сынковъ»; «Мечтатель», романъ г. Воскресенскаго; «Веселый порошокъ», Васильева; «Дочь разбойника»; «Сорокъ лѣтъ пьяной жизни»; «Жизнь Вилльяма Шекспира», соч. г. Славина, «Козель-бунтовщикъ»; «Гулянье подь Новинскимъ» и проч. и проч. Право тутъ спросишь невольно: «Да гдѣ жь онѣ? — давайте ихъ!...»

Повърте мнѣ: судьбою несть
Даны намъ тяжкія верига.
Скажите, каково прочесть
Всѣхъ этихъ вздоръ, всѣхъ эти янги.
И все зачѣмъ?—чтобъ вамъ сказать,
Что ихъ не надобно читать?..

Однакоже есть и своя утѣшительная сторона въ прозаическомъ и повѣствовательномъ направленіи нашей литературы: значить, оно сближается съ обществомъ, съ дѣйствительностію, хочетъ быть сознаніемъ общества, его выраженіемъ. Замѣтите, что теперь безъ хорошихъ оригинальныхъ повѣстей журналъ погибъ въ понятіи публики, которая хочетъ видѣть себя, свою дѣйствительность въ литературѣ, и потому холоднѣе принимаетъ произведенія, въ которыхъ изображается чуждый ей міръ. Стихотворенія теперь читаются меньше, и то тому общее вниманіе могутъ обращать на себя только замѣчательные таланты: это тоже добрый знакъ! Вообще, много хорошихъ элементовъ, много добрыхъ признаковъ; только все это какъ-то нерѣшительно, безцвѣтно, въ какомъ-то хаосѣ. На аренѣ литературы еще слышны старые голоса, поющіе старыя пѣсни и либующіе своихъ слушателей: вмѣстѣ съ но-

выми голосами, они образуютъ довольно нескладный и дикій концертъ. Особенно любопытное зрѣлище представляетъ наша ученая литература: съ одной стороны, нѣкоторые журналы вопіютъ противъ просвѣщенія в Европу, съ другой выходятъ книги Неволлина, Баршева, Рѣдкина, Лоренца. . .

Мы видимъ, что русская земля богата талантами: какова бы ни была наша литература, но она — огромное явленіе для какихъ-нибудь ста лѣтъ; въ ней есть имена, озаренныя ореоломъ гениа, въ ней есть яркіе таланты; но первыя не стали вровень съ самими собою; а вторые часто, обнаруживъ много силъ, мало сдѣлали. Съ другой стороны, въ публикѣ, безъ которой никогда не можетъ быть истинной, дѣйствительной литературы, — въ публикѣ господствуетъ хаосъ мнѣній, пестрота вкуса; способность обольщаться возгласами спекулянтовъ и ничтожными явленіями. Какая всему этому причина? — Отвѣчать не трудно: съ одной стороны, недостатокъ внутреннихъ интересовъ въ обществѣ, съ другой — недостатокъ солиднаго, прочнаго, основаннаго на наукѣ образованія. Посмотрите, что иногда проповѣдуютъ наши журналы: если повѣрить имъ, то нужно только выучиться грамотѣ, чтобъ все понимать и обо всемъ судить, особенно о поэзіи. Удивительно ли послѣ этого, что у насъ всякій судить легко и важно о Шекспирѣ, котораго онъ не читалъ даже въ переводахъ, а видѣлъ только на русской сценѣ, — о Байронѣ, Гёте, Шиллерѣ, даже Гомерѣ. У насъ какъ будто никто и не понимаетъ, что безъ ученія глубокаго и напряженнаго, безъ наукообразнаго развитія эстетическаго чувства, нельзя понимать поэзіи; что непосредственное чувство безъ размышленія и вниканія ни къ чему не ведетъ кромѣ личныхъ предубѣжденій въ пользу или не въ пользу того или другаго поэта, того или другаго поэтическаго произведенія. Какъ у насъ читаютъ? Взявъ драму Шекспира — прочесть, зѣвая, десятокъ страницъ, — не

правится, и бросилъ; но это бы еще ничего, а худо то, что вотъ уже готово и мнѣніе въ родѣ слѣдующаго: «эта драма шла, слѣдственно, о Шекспирѣ у насъ только кричать, а толку-то въ немъ мало». Конечно, нѣтъ ничего легче и даже пріятнѣе, какъ оправдать свою ограниченность, невѣжество и необразованность тѣмъ, что Шекспиръ никуда не годится... У насъ хотятъ читать только глазами, а не умомъ; чтение, требующее усилія мыслительной способности, почитается пустымъ, губящимъ золотое время занятіемъ. У насъ играютъ въ поэзію, въ литературу и науку, какъ въ мячикъ. У насъ думаютъ, что и философія можетъ быть такимъ же легкимъ и пріятнымъ препровожденіемъ времени, какъ чтение газетнаго фельетона: прочелъ и понялъ все, а не понялъ — темно и глупо написано... Богъ судья людямъ, разсѣвающимъ въ обществѣ такія невѣжественныя понятія!... Посмотрите, что и какъ у насъ пишутъ о Гегелѣ люди, неимѣющіе о немъ никакого понятія... Переведутъ глупую, невѣжественную статью какого-нибудь презираемаго въ Германіи за свое невѣжество и недобросовѣстность мистика, и рѣшатъ, что Гегель чудовище! А добродушная безграмотность, видя въ восхищеніи, что ей тутъ все по плечу, все понятно, восклицаетъ: «вонъ каковъ этотъ Гегель, а у насъ его прославляютъ!»... Причитавшись къ такимъ мнѣніямъ, прислушавшись къ такимъ толкамъ, всякій порядочный человѣкъ позволяетъ себѣ не знать, что пишется въ нашихъ журналахъ и книгахъ, — что дѣлается въ нашей литературѣ...

Вся надежда на будущее. Наука у насъ видимо принимается; публичное образованіе развивается на твердыхъ началахъ, и незамѣтно, невидимо подрастаетъ новая публика, съ просвѣщеннымъ мнѣніемъ, съ образованнымъ вкусомъ, съ разумными требованіями. Что-тогда будутъ дѣлать многіе наши «заслуженные и опытные литераторы», когда эта вдругъ вы-

росшая публика скажетъ имъ: «подите прочь съ своими смѣшными притязаніями; я не знаю васъ!» — Да мы написали . . . мы издали . . . наши сочиненія разошлись . . . наши книги шли бойко... — «Да гдѣ жь онѣ? — Давайте ихъ!»...

СТИХОТВОРЕНІЯ АПОЛЛОНА МАЙКОВА. *Санктпетербургъ 1841.*

Даровита земля русская: почва ея не оскудѣваетъ талантами . . . Лишь только ожесточенное тяжкими утратами, или скорбленное несбывшимися надеждами сердце ваше готово увлечься порывомъ отчаянія, — какъ вдругъ новое явленіе привлекаетъ къ себѣ ваше вниманіе, возбуждаетъ въ васъ робкую и трепетную надежду... Замѣнить ли оно то, утрата чего была для васъ утратою какъ-будто части вашего бытія, вашего сердца, вашего счастья — это другой вопросъ, и только будущее можетъ рѣшить его: настоящее можетъ лишь гадать о томъ на основаніи уже даннаго факта. И такой именно фактъ даетъ намъ изящно напечатанная книга, заглавіе которой стоитъ въ началѣ этой статьи. Отстраняя всѣ гаданія, которыя могутъ быть произвольны, или односторонни, и предоставляя времени рѣшеніе вопроса о степени поэтического таланта г. Майкова, — мы скажемъ пока только, что многія изъ его стихотвореній облачаютъ дарованіе неподдѣльное, замѣчательное и нѣчто обещающее въ будущемъ. Говоря такъ, мы думаемъ, что много сказали въ пользу молодого поэта: можно быть человекомъ съ дарованіемъ и не обѣщать развитія; только сильныя дарованія въ первыхъ произведеніяхъ своихъ даютъ залогъ будущаго развитія... Явленіе подобнаго таланта особенно отраднотеперь, въ эту печальную эпоху литературы, осиротѣлой и покрытой трауромъ, — теперь, когда лишь изрѣдка слышатся

свѣжій голосъ искренняго чувства, болѣе или менѣе звучный отголосокъ внутренней думы; теперь, когда въ опустѣвшемъ храмѣ искусства, вмѣсто важныхъ и торжественныхъ жертвоприношеній жрецовъ, видны однѣ гримасы штукмейстеровъ, потѣшающихъ тупую чернь; вмѣсто гимновъ и молитвъ, слышны или непристойные вопли самолюбивой посредственности, или неприличныя клятвы торгашей и спекулянтовъ...

Наша литература, несмотря на свою молодость и незрѣлость, уже свершила нѣсколько фазовъ развитія, уже дала не одинъ фактъ для опытности ума мыслящаго и наблюдательнаго. Изъ числа ея великихъ дѣйствователей, нѣтъ почти ни одного, свободно и до конца развившаго свои творческія силы... Но сколько было у насъ талантовъ, такъ много обѣщавшихъ, и такъ мало выполнившихъ, такъ великими казавшихся еще недавно, и такъ назначительныхъ теперь!... И все то благо, все добро! Благодаря этому обстоятельству, теперь только развѣ низшіе слои публики, полуграмотная чернь, можетъ принимать за поэзію дикія, изысканныя и вычурныя фразы, и приходитъ въ неистовый восторгъ отъ тривіальнаго сравненія голубыхъ глазъ съ небомъ, а черныхъ — съ адомъ... Точно также, теперь только развѣ необразованная, не воспитанная посредственность рѣшится «призывать вдохновеніе на высь чела вѣнчаннаго звѣздой»; выдумать «грудь, которая высоко взметалась безпредметною любовью», или отпускать другія подобныя стихотворныя вычуря. А прежде — и еще очень недавно, все это могло и даже должно было нравиться всѣмъ, за исключеніемъ только немногихъ избранныхъ поклонниковъ искусства. Честь и слава гг. Марлинскому, Языкову, Хомякову, Шевыреву и Бенедиктову! Они навсегда обратили русскую литературу къ благородной простотѣ, и навсегда избавили нашу публику отъ склонности къ изысканной дичивъ мысляхъ и выраженіи! Ихъ образъ дѣйствованія и усилія, для этой цѣли,

были совершенно обратные и отрицательные; но за то результаты вышли теперь и прямые и положительные. Въ этомъ случаѣ, намъ мало нужды даже до намѣреній и мотивовъ: результатъ все выкупаеть, хотя бы онъ былъ и совершенно неожиданнымъ для самихъ дѣйствователей... Здѣсь нельзя не упомянуть съ благодарностію имени г. Полеваго, который стремился къ той же цѣли, и притомъ еще двумя совершенно различными путями: бессознательно — философско-историческими статьями, критиками и повѣстями; и сознательно — превосходными пародіями на стихи нѣкоторыхъ дикихъ поэтовъ, которыя помѣщалъ онъ въ своемъ «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» — этомъ лучшемъ произведеніи всей его литературной дѣятельности... Да, заслуги этихъ людей, вольныя и невольныя, сознательныя и бессознательныя, поставили, такъ сказать, на ноги нашу юную литературу и нашъ младенчествующій вкусъ. Это произвело важныя и благотворныя слѣдствія. Маленькое дарованіе теперь не попадетъ въ геніи. Посредственность и бездарность можетъ теперь сколько ей угодно пѣть стихами и скрипѣть прозою, не подвергаясь опасности быть замѣченною со стороны публики: она теперь обращаетъ на себя вниманіе только журналовъ, и только въ тѣхъ, которое сродни ей, встрѣчаетъ себя похвалы. Чѣмъ труднѣе теперь обратить на себя общее вниманіе, тѣмъ легче истинному таланту быть тотчасъ же замѣченнымъ. Въ прозѣ, еще до сихъ поръ, и маленькое дарованіе можетъ быть замѣчено; но стихами, которые не то, чтобъ худы, да и не то, чтобъ очень хороши, ужъ невозможно пріобрѣсти ни малѣйшей извѣстности. Время рифмованныхъ «побракушекъ» прошло невозвратно; ощущеньца и чувствованьяца ставятся ни во что: на мѣсто того и другаго требуются глубокія чувства и идеи, выраженные въ художественной формѣ, съ рифмами, или безъ рифмъ—все равно. Для успѣха въ поэзіи, теперь мало одного

таланта — нужно еще и развитіе въ духѣ времени. Поэтъ уже не можетъ жить въ мечтательномъ мірѣ: онъ уже гражданинъ царства современной ему дѣйствительности; все прошедшее должно жить въ немъ. Общество хочетъ въ немъ видѣть уже не потѣшника, но представителя своей духовной, идеальной жизни; оракула, дающаго отвѣты на самые мудреные вопросы; врача, въ самомъ себѣ, прежде другихъ, открывающаго общія боли и скорби, и поэтическимъ воспроизведеніемъ издѣляющаго ихъ...

Если такой взглядъ на важность поэзіи, высокое значеніе поэта не помѣшалъ намъ посвятить цѣлую критическую статью разбору первыхъ опытовъ г. Майкова, — значитъ, мы много видимъ въ дарованіи новаго поэта. Но это обстоятельство и требуетъ отъ насъ возможно-критической строгости, которую молодой поэтъ долженъ принять только за доказательство нашего уваженія къ его таланту.

Стихотворенія г. Майкова хоть и расположены безъ всякой системы, безъ всякаго раздѣленія, тѣмъ не менѣе они сами собою раздѣляются, въ глазахъ читателя, на два разряда, не нѣтящіе между собою ничего общаго, кромѣ развѣ хорошаго стиха, почти вездѣ составляющаго неотъемлемую принадлежность музы молодаго поэта. Къ первому разряду должно отнести стихотворенія въ древнемъ духѣ и антологическомъ родѣ. Это перлъ поэзіи г. Майкова, торжество таланта его, поводъ къ надеждѣ на будущее его развитіе. Второй разрядъ составляютъ стихотворенія, въ которыхъ авторъ думаетъ быть современнымъ поэтомъ, и которыхъ лучшая сторона — хорошій стихъ. Но объ этихъ послѣ; сперва поговоримъ о стихотвореніяхъ перваго разряда.

Читателямъ «Отечественныхъ Записокъ» должно быть извѣстно наше понятіе о сущности и важности такъ называемой антологической поэзіи, и потому мы, не желая повторять себя,

будемъ говорить только о поэзіи г. Майкова; тѣхъ же изъ читателей, которые не знаютъ нашего понятія объ антологической поэзіи, попросимъ заглянуть въ статью о «Римскихъ Элегіяхъ Гёте» (ч. IV стр. 442). Теорія антологической поэзіи имѣетъ такое близкое отношеніе къ нѣкоторымъ изъ стихотвореній г. Майкова, что мы, въ помянутой статьѣ, (ч. IV, стр. 477), выписали, какъ превосходительнѣйшій образецъ въ антологическомъ родѣ, его дивно-поэтическую, роскошно-художественную піесу «Сонъ» (Когда ложится тѣнь прозрачными клубами), не зная кому она принадлежитъ, и написалъ ли авторъ ея еще что-нибудь. Эта піеса была напечатана первоначально въ «Одесскомъ Альманахѣ» на 1840 годъ, — и мы, при разборѣ этого «Альманаха», еще за долго до статьи о «Римскихъ Элегіяхъ», выписали въ нашемъ журналѣ, это стихотвореніе, скромно подписанное буквою *М.* И безъ подписи знаменитаго, или, по крайней мѣрѣ, знакомаго имени, оно поразило насъ до того, что мы перенесли его на страницы своего журнала при громкой похвалѣ, и потомъ, съ неослабѣвшимъ энтузіазмомъ, припомнили его черезъ четырнадцать мѣсяцевъ.

Это именно одно изъ тѣхъ произведеній искусства, которыхъ кроткая, цѣломудренная, замкнутая въ самой себѣ красота совершенно нѣма и незамѣтна для толпы, и тѣмъ болѣе краснорѣчива, ярко блистательна для посвященныхъ въ таинства изящнаго творчества. Какая мягкая, вѣжная кисть, какой виртуозный рѣзецъ, обличающіе руку твердую и искусственную въ художествѣ! Какое поэтическое содержаніе, и какіе пластическіе, благоуханные, граціозные образы! Одно такого стихотворенія вполне достаточно, чтобъ признать въ авторѣ замѣчательное, выходящее за черту обыкновенности, дарованіе. У самаго Пушкина это стихотвореніе было бы изъ лучшихъ его антологическихъ піесъ. Въ немъ, искусство является

истиннымъ искусствомъ, гдѣ пластическая форма прозрачно дышетъ живою идеею.

Чтобъ опредѣлить значеніе и достоинство автологической поэзіи г. Майкова, мы должны указать, на ея мотивы, найди въ ней художническое profession de foi автора. Въ слѣдующихъ стихотвореніяхъ, мы находимъ все это, ясно и ярко выраженное.

Соняникъ.

Пусть говорятъ—поэзія мечта,
 Горачки сердца бредъ ничтожный,
 Что міръ ея есть міръ пустой и ложный.
 И блѣдный вымысль—красота;
 Пусть нѣтъ для мореходцевъ дальнихъ
 Сирень опасныхъ, нѣтъ дріадъ
 Въ лѣсахъ густыхъ, въ ручьяхъ кристалльныхъ
 Золотовласыхъ нѣтъ наядъ;
 Пусть Зевсъ изъ длани не низводитъ
 Разящій молніи потокъ,
 И на ночь Геліосъ не сходитъ
 Къ Оетидѣ въ пурпурный чертогъ:
 Пусть такъ! но въ полдень листьевъ шопоть
 Такъ полонъ тайны; шумъ ручья
 Такъ сладкозвученъ; моря ропоть
 Глубокомысленъ; солнце дня
 Съ такой любовью пріемлетъ
 Пучина моря; лунный ливъ
 Такъ сокровенъ,—что сердце внемлетъ
 Во всемъ таинственный языкъ;
 И ты невольно смѣя являешь
 Даруешь жизни красоты,
 И этихъ мизмъ заблужденій
 И вѣришь и не вѣришь ты!

Остановимся на этомъ стихотвореніи, и взглянемъ на него прежде, чѣмъ перейдемъ къ другимъ. По содержанію — это превосходная піеса; но форма не вездѣ соответствуетъ своему содержанію, и изъ-за поэтическаго, полного жизни и опредѣ-

ленности языка мѣстами слышится несвязный лепетъ непови-
 нующейся слову мысли... Стихъ: «Что миръ ея есгь миръ пу-
 стой и ложный», прозаиченъ; «и блѣдный вымысль — красота»: неопредѣленъ и блѣденъ; выраженіе о Зевсѣ, «низводящемъ
 изъ длани потокъ разящей молніи» невѣрно и въ отношеніи
 къ языку, и въ отношеніи къ поэзіи; «Лунный ликъ такъ
 сокровенъ» ничего не говоритъ ни уму, ни фантазіи чита-
 теля, по причинѣ неточности эпитета; «И ты невольно смѣ
 явленьямъ даруешь жизни красоты» — выражено слабо
 и неопредѣленно. Последніе два стиха въ піесѣ прекрасны;
 но не вполне удовлетворительны по мысли: въ нихъ слишкомъ
 много сдѣлано уступки, вмѣсто которой читатель самую піе-
 сою настроенъ ожидать, что поэтъ опредѣлитъ и объяснить,
 почему неодушевленные явленія природы производятъ на него
 впечатлѣнія живыхъ индивидуальныхъ существъ, и въ яркомъ
 образѣ, замыкающемъ стихотвореніе, примиритъ чисто поэ-
 тическое созерцаніе древнихъ съ нашимъ, на опытѣ и наукѣ
 основаннымъ, и все-таки поэтическимъ созерцаніемъ природы.
 Но тогда бы эта піеска была превосходнымъ произведеніемъ
 искусства: такъ много въ ней взмаху и отважнаго намѣренія,
 такъ много высказано стихами, которые мы оставили безъ за-
 мѣчаній. Но все это мы говоримъ мимоходомъ; главное въ
 этомъ стихотвореніи для насъ, по намѣренію нашей статьи,
 есть то, что исходный пунктъ поэзіи г. Майкова — природа
 ея живыми впечатлѣніями, такъ сильными, таинственными
 и обаятельными для юной души, еще неизвѣдавшей другой
 сферы жизни...

Октава.

Гармонія стіа божественныя тайны
 Не думай разгадать по книгамъ мудрецовъ:
 У брега сонныхъ водъ, одинъ бродя случайно,
 Прислушайся душой къ шептанью тростниковъ,

Дубравы говорю, ихъ звукъ необычайный
 Прочувствуй и пойми... Въ созвучіи стиховъ
 Невольно съ устъ твоихъ развѣрны октавы
 Пельются, звучныя, какъ музыка дубравы.

Искусство.

Срѣзалъ себя я тростникъ у побережья шумнаго моря.
 Намъ, онъ забытый лежитъ въ моей хижинѣ бѣдной.
 Разъ увидалъ его старецъ прохожій, къ ночлегу
 Въ хижину къ намъ завернувшій (Онъ былъ непонятенъ,
 Чуденъ на нашей глухой сторонѣ). Онъ обрѣзалъ
 Стволъ и отверстій надвѣвалъ, къ устамъ приложивъ вѣхъ,—
 И оживленный тростникъ вдругъ исполнился звукомъ
 Чуднымъ, каинимъ оживлялся порою у моря,
 Если внезапно Зефиръ, зарябивъ его воды,
 Трости коснется и звукомъ наполнить поморе.

Этихъ двухъ стихотвореній уже никакъ нельзя сравнить съ первыми; все недосказанное или неопредѣленно высказанное въ немъ, явилось въ нихъ такъ полно, такъ опредѣленно; прекрасное содержаніе выразилось въ нихъ въ прекраснѣхъ формахъ, отличающихся виртуозностію отдѣлки. Что же до содержанія — оно здѣсь представляетъ собою основное положеніе, основное начало эстетики автора, что природа есть наставница и вдохновительница поэта; что у ней онъ прежде всего началъ брать уроки въ искусствѣ слагать сладкія пѣсни; что есть соотношеніе, есть родственность между звучною октавою, гармоническимъ гекзаметромъ — и шептаньемъ тростниковъ, говоромъ дубравъ... Глубоко-жизненное поэтически-вѣрное начало! Поэзія принадлежитъ къ числу такихъ предметовъ, уразумѣніе которыхъ должно начинаться съ ощущенія, а не съ рефлексіи: послѣдняя должна быть результатомъ перваго, при нормальномъ развитіи. Симпатія къ природѣ есть первый моментъ духа, начинающаго развиваться. Каждый человѣкъ начинаетъ съ того, что непосредственно поражаетъ его умъ формою, краскою, звукомъ; а природа полна формъ,

красокъ и звуковъ. Поэтъ — существо, которое наиболѣе испытываетъ на себѣ непосредственное вліяніе явленій природы: онъ по преимуществу ея сынъ, ея любимецъ, наперсникъ тайнъ ея. Говоря объ этомъ, нельзя не вспомнить чудныхъ стиховъ Пушкина:

Все волновало нѣжный умъ:
Цѣлующій лугъ, луны блистанье,
Въ часовнѣ ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье—
Какой-то демонъ обладалъ
Мои игры, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И таинки, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ разнѣры стройныя стекались
Мои послушныя слова
И звонкой рѣчей замыкались.
Въ гармоніи соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихоръ буйный.
Иль неолгъ напѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шепотъ рѣчки тахоструйной.

Да, естественно, что поэтъ видитъ поэзію прежде всего въ природѣ, и что природа прежде всего пробуждаетъ поэтическія силы въ юномъ талантѣ. Въ этомъ отношеніи, піесы г. Майкова «Октава» и «Искусство» составляютъ главу эстетики, — и эстетикъ не усомнится перенести ихъ въ свою книгу, для яснѣйшаго подтвержденія доказательства своихъ понятій объ искусствѣ, если только его понятія объ этомъ предметѣ вѣрны. Но природа бываетъ колыбелью поэзіи не только для отдѣльныхъ лицъ: въ лицѣ древнихъ Эллиновъ, природа была источникомъ поэзіи цѣлаго человечества. И въ этомъ отношеніи, муза г. Майкова родственна, по своему происхожденію, древне-

эллинической музѣ: подобно этой музѣ, она изъ природы почерпаетъ свои кроткія, тихія, дѣвственныя и глубокія вдохновенія; подобно ей, въ движеніяхъ и чувствахъ еще младенчески ясной души, еще въ лонѣ природы непосредственно ощущающаго себя сердца, находитъ она неизчерпаемое содержаніе для своихъ благоуханно гармоническихъ и безыскусственно изящныхъ пѣсень. Разумѣется, эта родственность могла бы остаться только въ возможности, еслибъ знакомство съ древними классическими языками не пробудило ее: обстоятельство, много обѣщающее въ будущемъ для развитія прекраснаго дарованія молодаго поэта! Еще въ той порѣ возраста, съ которой самъ Пушкинъ только что началъ писать *на-лицейскія* стихотворенія, и въ которую жизнь едва ли еще можетъ дать содержаніе какому угодно таланту, — г. Майковъ, изученіемъ изящной древне-классической поэзіи, завоевалъ плодоносную почву для своимъ вдохновеній. И зато — посмотрите, сколько эллиническаго и антологическаго въ его стихотвореніяхъ: любое изъ нихъ можно принять за превосходный переводъ съ греческаго; любое изъ нихъ можно перевести съ русскаго на чужой языкъ, какъ греческое, и только бы переводъ былъ изященъ и художественъ, никто не будетъ спорить о греческомъ происхожденіи пѣсы... Эллиническое созерцаніе составляетъ основной элементъ таланта г. Майкова: онъ смотритъ на жизнь глазами Грека, и — какъ мы увидимъ ниже — иначе и не умѣетъ еще смотрѣть на нее. Если взять въ расчетъ его молодость (а ея, въ этомъ случаѣ, нельзя не брать въ расчетъ), то мы увидимъ въ этомъ начало съ самаго начала, а не съ середины или конца, увидимъ нормальное, художественное развитіе.

На мысъ сѣмъ дикомъ, увѣчанномъ бѣдной осокой,
 Покрытомъ кустарникомъ ветхымъ и зеленью сосенъ,
 Печальный Менскъ, престарѣлый рыбакъ, скоронилъ
 Погибшаго сына. Его взлезляло море.

Оно же его и прило въ широкое лоно,
 И на берегъ бережно вынесло мертвое тѣло.
 Оплакавши сына, отецъ подъ развѣсистой нвои
 Могилу ему ископалъ, и, накрывъ ее камнемъ,
 Плетеную вершу изъ нвы надъ немъ повѣсилъ —
 Угромою изъ бѣдности памятникъ скудный!

Вчитайтесь въ эту піесу, вчитайтесь въ ея простой, повидимому, чуждый всякаго убранства, всякой красоты и всякаго содержанія языкъ, — вы ощутите душою и безконечную красоту и глубокое содержаніе. Кажется, тутъ нѣтъ ни начала, ни конца, ни цѣлаго, нѣтъ ни намѣренія, ни цѣли, ни мысли; но оставьте піесу и вникните, вдумайтесь въ собственное ощущеніе, возбужденное въ васъ ею, и вы въ этомъ ощущеніи уловите цѣлое и уразумѣете намѣреніе, цѣль и мысль... Если же духу вашему и не чуждо древнее міросозерцаніе, — вы не можете не признать, что или это стихотвореніе переведено съ греческаго, или, что и человекъ нашего времени, въ эллинской эпохѣ своей жизни, можетъ становиться Грекомъ, такъ что самый взыскательный Аѳинянинъ, современникъ Алкивиада, не назвалъ бы его объэллинившимся варваромъ, а призналъ бы своимъ соотечественникомъ, кореннымъ жителемъ Аттики и гражданиномъ города Паллады... Но муза г. Майкова не всегда бываетъ тиха и кротка, какъ въ этой скромной идилліи: нерѣдко блистаетъ и жжетъ она упорительною роскошью красокъ и образовъ, не переставая ни на минуту быть спокойною, самообладающею и цѣломудренною, въ качествѣ благородной эллинской музы, какъ въ «Вакханкѣ». Въ примѣръ такихъ стихотвореній можно привести и —

Даридъ.

Даридъ милая! къ чему уборъ блестящій,
 Гирлянды свѣжія, алмазъ, огонь горящій,
 И ткани пышныя, и поля золотыя,
 Упругій твой корсетъ, сжимающій собой

Такъ жадно, пламенно твои красы младыя,
 Твой стройный, гибкій станъ и перси наливныя?...
 Нѣтъ, милая! оставь, оставь уловку ты
 Насъ разомъ поражать и блескомъ красоты
 И блескомъ пышныхъ ризъ. Явись мнѣ не богиней:
 Благоговѣе такъ хладно предъ святыней!
 Я не его ищу. Явись дѣвой мнѣ,
 Земною дѣвою. Со мной наединѣ
 Ты косу отрѣши изъ-подъ кольца вѣлаго,
 Сорви съ своей груди рукою своею перловую
 Ты розу блѣдную, желанный дай просторъ
 Горящимъ персямъ. Пусть непринужденный взоръ
 Забудетъ всѣ любви приванки!... Другъ мой вѣрный!
 Пусть сердце юное волнуется мятельно,
 Пускай спадетъ во прахъ и злато и жемчугъ
 Съ твоихъ роскошныхъ плечъ, съ полупрозрачныхъ рукъ...
 Ахъ, Боже мой! какъ ты мила, какъ мила и сладокъ
 Одежды и рѣчей волшебный безпорядокъ!

Знаемъ, что лицемѣрнымъ моралистамъ эта пѣса не только не понравится, но и возбудитъ все негодованіе ихъ; но потому-то она и прекрасна. Есть люди, которые отрицательно и навыворотъ безошибочны въ своихъ осужденіяхъ и приговорахъ: на что напали они съ остервененіемъ, — знайте, что это превосходно; что похвалили они съ неистовствомъ — знайте, что это пошло или мертво. Лицемѣрные моралисты въ высшей степени обладаютъ этою выворотною вѣрностію сужденія... Что же до ихъ строгости — она понятна: Шиллеръ, въ одной изъ своихъ ксеній, сказалъ, что для этихъ господъ особенно важна власть закона: не будь въ нихъ страха наказанія, они обокрали бы свою невѣсту, обнимая ее... Кто имѣетъ счастье быть не моралистомъ, а человѣкомъ, и понимать все человѣческое, — для тѣхъ стихотвореніе «Доридъ», при всей маловѣливой вольности своего содержанія, будетъ образцомъ дѣвственной граціозности выраженія, подобно лукавой улыбкѣ на невинномъ лицѣ юной красавицы.

Жалѣемъ, что мѣсто и время, а главное— право собственности, не позволяютъ намъ выписать изъ книги г. Майкова всѣхъ антологическихъ стихотвореній — особенно «Гезіода» и «Вакха», тѣмъ болѣе, что мы не можемъ выписать еще двухъ піесъ, довольно большихъ и болѣе, нежели прочія характеристическихъ. Вотъ образецъ граціозной наивности древней музы:

Муза, богиня Олимпа, вручила двѣ звучныя флейты
 Рощѣ покровителю Пану и свѣтлому Фебу.
 Фебъ прикоснулся къ божественной флейтѣ,—и чудный
 Звукъ появился изъ бездушнаго ствола. Вниманіе
 Вокругъ присмирѣвшія воды, не смѣя журчавшемъ
 Пѣсни тревожить, и вѣтеръ заснулъ между листьями
 Древнихъ дубовъ, и заплакали, тронуты звукомъ,
 Травы, цвѣты и деревья; стыдливый нимфомъ
 Слушали, робко толпясь межъ сивановъ и фавновъ.
 Кончилъ пѣвецъ, и помчался на огненныхъ коняхъ,
 Въ пурпурѣ алой зари, на златой колесницѣ.
 Бѣдный лѣсовъ покровитель напрасно старался припомнить
 Чудные звуки, и ихъ воскресить своей флейтой;
 Грустный, онъ трели выводитъ, но трели земныя...
 Горькій безумецъ! ты думаешь, небо не трудно
 Здѣсь воскресить на землѣ? *Посмотри: улыбаель,*
Съ взглядомъ насмѣшливымъ слушаютъ нимфы и фавны.

Слѣдующее стихотвореніе покажетъ, какъ умѣетъ нашъ поэтъ быть разнообразнымъ, не выходя изъ тона антологической поэзіи:

Дня мое, ужъ нѣтъ благословенныхъ дней,
 Пору душистыхъ лицъ, сирени и лилей;
 Не свищутъ соловьи и иволги не слышно...
 Ужъ полно! не плести тебѣ гирляндъ пышной
 И незабудками головки не вѣнчать;
 По утренней росѣ аэрфы не всуричать,
 И поздно вечеромъ уже не любоваться,
 Какъ теплыя пары надъ озеромъ клубятся,
 И звѣзды смотрятся сквозь нихъ въ его стеклѣ;
 Не плещь и не пѣтьи вѣются по скалѣ,

А мохъ въ разъяннѣхъ пушится ранимъ сѣгомъ.
 А ты, мой другъ, все та жь: рѣза, мила... Люблю.
 Какъ, разгорѣвшись и утомившись бѣгомъ,
 Ты, вся холодомъ, врываешься въ мою
 Глухую хажву, стралаешь кудри сѣвныи,
 Хохочешь, и меня цѣлуешь звонко, нѣжно!

Здѣсь уже другая картина, другое небо, другой климатъ; но тонъ поэзіи, но созерцаніе, составляющее ея фонъ, все тѣ же дышущія сладостію и нѣгою свѣтлаго неба Эллады...

Однакожь, тотъ не понялъ бы насъ, кто захотѣлъ бы видѣть въ антологическнхъ стихотвореніяхъ г. Майкова полное выраженіе древней поэзіи, или полное выраженіе элементовъ жизни древнихъ, классическаго дуза. Гармоническое единство съ природою, проникнутое разумностію и изяществомъ, еще далеко не составляетъ исключительнаго элемента древняго міросозерцанія. Жизнь древнихъ выражается не въ одной идилліи, или застольной пѣснѣ, но и въ трагедіи, которая составляла одинъ изъ основныхъ элементовъ ихъ жизни. И если со стороны идилліи и пѣсни, жизнь Грековъ была наввно-преlestна, очаровательно-граціозна, мила и любезна, то, со стороны трагедіи, она была благородна, доблестна и возвышенна. Первая сторона жизни заставляетъ любить жизнь; вторая сторона — заставляетъ уважать ее и гордиться ею. Греки это понимали, — и трагедія была послѣднимъ, самымъ пышнымъ, самымъ благоуханнымъ цвѣтомъ ихъ поэзіи. Трагическій элементъ преобладаетъ уже и въ самой «Иліадѣ» — этой прародительницѣ всѣхъ трагедій греческихъ, въ послѣдствіи явившихся. Что же разумѣлъ Грекъ подъ «трагическимъ»? — Не печальную судьбу челоуѣка, вслѣдствіе противорѣчащихъ условій жизни, или вслѣдствіе случайности. Челоуѣкъ, попавшійся на встрѣчу дикому звѣрю и растерзанный имъ, не могъ быть героемъ греческой трагедіи. Трагическое Грековъ заключалось или въ борьбѣ долга съ влеченіемъ сердца, воли со

страстями, или въ борьбѣ разумнаго, двигательнаго начала съ общественнымъ мнѣніемъ; результатомъ борьбы всегда была гибель героя, которою онъ, въ случаѣ победы, запечатлѣвалъ торжество божественной идеи надъ массами, и которою, въ случаѣ паденія героя, божественная истина запечатлѣвала свое торжество надъ ограниченностію человѣческой личности. Въ обоихъ случаяхъ, источникъ борьбы былъ внутренній и заключался въ духовной натурѣ героя трагедій, которымъ могъ быть только великій человѣкъ, созданный дѣйствовать на аренѣ исторіи, предназначенный осуществить собою какое-либо нравственное начало, быть представителемъ какой-либо идеи. Такъ въ «Антигонѣ» Софокла героями являются: Антигона, какъ оборонница закона родственности, веледушно жертвующая своею жизнію для выполненія того, что она считала своимъ долгомъ, и невыполненія чего унизило бы ее въ собственныхъ глазахъ и было бы ей горче смерти, — и Креонъ, какъ представитель непреложной власти закона въ гражданскомъ обществѣ. И потому вся трагедія эта есть не что иное какъ трагическая ошибка двухъ равно разумныхъ и великихъ, но на этотъ разъ враждебныхъ началъ. Люди погибли, подобно воинамъ, храбро сражавшимся за правое дѣло: сердце наше скорбитъ о ихъ гибели; но, благословляя падшихъ, мы уже не кланемъ судьбы, ибо видимъ въ гибели героевъ не случайность, но добровольное самопожертвованіе. Антигона могла бы легко спастись отъ гибели, оставивъ свое великодушное настрѣніе похоронить убитаго брата; но тогда она не была бы великою женщиною, не была бы героинею, и не было бы трагедіи. Вотъ почему трагедія есть высшій родъ поэзіи; вотъ почему такъ возвышаетъ нашу душу ея окровавленный кинжалъ, ея устланый трупами благороднѣйшихъ жертвъ ломоть... Герой есть высочайшее и благороднѣйшее явленіе духа міровой жизни; его личность есть апофеоза человѣчества, которое воздвигаетъ

ему въковѣчные памятники изъ мрамора и мѣди, какъ-бы поклоняясь себѣ въ этихъ гигантскихъ образахъ; герой возбуждаетъ все удивленіе, весь восторгъ, всю любовь человѣчества; образъ его поддерживаетъ въ человѣчествѣ возвышенную вѣру въ великое, истинное и доблестное жизни, во мракѣ ежедневности и случайности поддерживаетъ вѣчный свѣтъ разума... Но почему же герой есть — герой? что дѣлаетъ чело­вѣка героемъ?—Неизмѣнная возможность трагической гибели, этотъ пафосъ къ идеѣ, простирающійся до веледушной готовности смертію запечатлѣть ея торжество, принести ей въ жертву то, что дается на землѣ только разъ и никогда не возвращается, и чего, слѣдовательно, нѣтъ драгоценнѣе—жизнь, и иногда жизнь во цвѣтѣ, въ порѣ надеждъ, въ виду милого, ласкающаго призрака счастья... Итакъ, возможность трагическаго заключается въ условіяхъ ограниченности нашей личности, которой бытіе отдѣляется отъ небытія едва замѣтною и слабою нитью, волосомъ, готовымъ порваться отъ дуновенія вѣтра, и порваться невозвратно... Намъ огорчаетъ и ужасаетъ эта невозратность однажды утраченнаго счастья, однажды полученной жизни, однажды пріобрѣтеннаго друга, или милой сердца: но уничтожьте эту возможность въ одну минуту потерять данное цѣлою жизнію — и гдѣ же величіе и святость жизни, гдѣ доблесть души, гдѣ истина и правда?... О, безъ трагедіи жизнь была бы водевилемъ, мизурною игрою мелкихъ страстей и страстишекъ, ничтожныхъ интересовъ, грошовыхъ и копеечныхъ помысловъ... Трагическое, это — Божія гроза, освѣжающая сферу жизни послѣ зноя в удушья продолжительной засухи... Грекъ понималъ его своею высокою душою—и, умѣя наслаждаться жизнію, умѣлъ и быть достойнымъ ея наслажденій. Безпечно веселиться на нире и твердо умирать гдѣ и когда велитъ судьба, — вотъ что было для Грека идеаломъ разумной жизни.

Все великое, земное
 Разлетается, как дымъ:
 Нынѣ жребій выпалъ троѣ,
 Завтра выпадетъ другимъ...
 Смертный, смѣль, насъ гнетущей,
 Покорайся и терпи!
 Спящій въ громъ — мирно спи!
 Жизнью пользуйся — живущій!

Въ этихъ стихахъ заключается весь кодексъ нравственности Грека.

Шиллеръ особенно глубоко постигнулъ своей великою душою трагическую сторону жизни, въ противности съ свѣтлою ея стороною, — и глубоко, мощно, съ всею роскошью пластической художественности, выразилъ свое созерцаніе древней жизни въ дивномъ, великомъ созданіи своемъ — «Торжество Побѣдителей», такъ прекрасно переданномъ по-русски Жуковскимъ.

Сколькохъ бодрыхъ жизнь поблела!
 Сколькохъ низкихъ рокъ шадеть!...
 Нѣтъ великаго Патрокла,
 Живъ презрительный Тарсита.
 Смертный, вѣчный Дій Фортуна
 Своенравной предалъ насъ:
 Уловляй же быстрый часъ,
 Не тревожа сердца втунъ!

Какіе переходы отъ высокихъ созерцаній трагической судьбы всего великаго къ веселому взгляду на жизнь!... Вспомниая Аякса, убившаго себя въ гнѣвѣ за коварное похищеніе Одиссею выигранныхъ имъ доспѣховъ Ахилла, братъ его, Олидъ, говоритъ;

Миръ тебѣ въ тѣхъ Эревахъ!
 Жизнь твою не врагъ пожалъ:
 Ты своею силой палъ,
 Жертвой сибельнаго гнѣва!

Какое величіе, какой пафосъ въ этой догматикѣ героизма, въ этихъ стихахъ:

О Ахилъ! о мой родитель!
 (Возгласилъ Нептолемъ)
 Быстрый міра посетитель,
 Жребій лучший звалъ ты въ немъ.
 Жить съ людьми племень дѣлами—
 Благо первое земли;
 Будемъ вѣчны именами
 И сокрыты въ пыли!
 Слава дней твоихъ неугнана;
 Въ пѣсняхъ будетъ цвѣсть она:
 Жизнь живущихъ невѣрна,
 Жизнь отжившихъ неизмѣнна!

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ:
 (Диомедъ провозгласилъ)
 Слава Гектору во гробѣ!
 Онъ краса Пергама былъ;
 Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
 Велелушно пролилъ кровь;
 Побѣдившимъ—честь побѣды!
 Охраняшему—любовь!
 Кто, на судъ являсь кровавый,
 Славно палъ за отчій домъ:
 Тотъ, почтенный и врагомъ,
 Будетъ жить въ преданіяхъ славы.

Но нисколько не менѣе эллинизма и въ слѣдующей рѣчи Нестора къ Гекубѣ, хоть ея содержаніе, повидимому, и совершенно противоположно выписаннымъ стихамъ выше:

Несторъ, живнью убѣленный,
 Нацѣдилъ вина сіалъ,
 И Гекубѣ сокрушенной
 Дружелюбно выпить далъ.
 Пей страданій утolenъе;
 Добрый Вакховъ даръ вино:
 И веселость и забвенъе
 Проллываетъ въ насъ оно.

Пей, страдалица! печали
 Услаждайся виномъ:
 Боги жалостны въ немъ
 Подкрѣпленъ сердцу даи.
 Вспомни мать Ниобею:
 Что ввѣдала она!
 Своль ужасная надъ нею
 Казнь была совершенна!
 Но и съ нею, безотрадной,
 Добрый Вакхъ не даромъ былъ:
 Онъ струею виноградной
 Влилъ тоску въ ней усыпавъ.
 Если грудь виномъ согрѣта,
 И въ устахъ вино кипитъ:
 Скорби наши быстро мчатъ
 Изъ снывающая Лета.

Нельзя спрашивать поэта, зачѣмъ у него есть то, а нѣтъ
 этого; но долгъ критики замѣтить, что у него есть и чего
 нѣтъ. Вотъ почему мы распространились здѣсь о сущности и
 значеніи элемента «трагическаго» въ древнемъ искусствѣ, и
 вотъ почему почитаемъ себя въ правѣ замѣтить, что г. Май-
 ковъ и не коснулся этого элемента. Думаемъ, что причина
 этого заключается не столько въ характерѣ его таланта, сколь-
 ко въ его молодости, еще переживающей моментъ гармониче-
 ского единства съ природою, въ духѣ древнихъ. Но придетъ
 время—и, можетъ-быть, въ духѣ поэта совершится движеніе:
 прекрасная природа не будетъ болѣе заслонять отъ его глазъ
 явленій высшаго міра — міра нравственнаго, міра судебъ че-
 ловѣка, народовъ и человѣчества... И мы почли бы себя
 счастливыми, еслибъ эти строки могли послужить хоть кос-
 венною причиною къ ускоренію этого времени... Г. Майковъ
 вполне владѣетъ орудіемъ искусства — стихомъ, который у
 него напоминаетъ стихъ первыхъ мастеровъ русской поэзіи;
 а это — великій и подающій самыя лестныя надежды признакъ!
 Стихъ въ поэзіи — то же, что слогъ въ прозѣ, а слогъ — это

самъ талантъ, и талантъ необыкновенный... Но мѣрка великаго таланта состоитъ не въ одномъ стихѣ, хотя бы и поэтическомъ, и художественномъ; но еще и въ движеніи, въ развитіи содержанія поэзіи, источникъ котораго есть движеніе и развитіе духа самого поэта, а движеніе и развитіе состоитъ въ безпрерывномъ отрицаніи низшихъ моментовъ въ пользу высшихъ. Я никогда не назову великимъ поэта, котораго стихотворенія можно печатать по родамъ піесъ, а не въ хронологической послѣдовательности. Батюшковъ — поэтъ съ замѣчательнымъ талантомъ; но нѣтъ никакой нужды видѣть подъ его піесами годъ и число, означающіе время ихъ сочиненія...

Но мы отдалились отъ своего предмета. Возвращаясь къ нему, должны повторить, что какъ родственъ и присущъ духу нашего поэта элементъ «наивнаго» и «природнаго», такъ чуждъ элементъ «трагическаго» въ древней поэзіи. Разъ г. Майковъ былъ близокъ къ нему, по содержанію, избранному имъ для самой большой своей піесы; но онъ и не коснулся трагическаго, хоть, можетъ быть, и думалъ вполне его выразить... Мы говоримъ о его драматической поэмі «Оливей и Эсмеръ» (римскія сцены временъ пятаго вѣка христіанства). Мысль поэмы — контрастъ и взаимныя отношенія умирающаго языческаго и торжествующаго христіанскаго міра. Поэма занимаетъ шестьдесятъ страницъ, которыя, въ чтеніи, легко могутъ показаться шестюстами страницами: такъ все неглубоко, блѣдно, слабо, поверхностно и растянута въ этомъ произведеніи! Чѣмъ выше названіе поэта, тѣмъ выше должно быть и исполненіе; но г. Майковъ явно взялся за дѣло не по вдохновенію, а изъ рефлексіи, и къ понравившейся ему мысли придѣлалъ сюжетъ и какіе-то образы безъ лицъ, вмѣсто того чтобъ слѣдовать безотчетному желанію. дать жизнь преслѣдующимъ его образамъ, еще не зная, какую мысль выразятъ они... А между тѣмъ, сколько элементовъ «трагическаго» съ обѣихъ сторонъ могло бы

и должно бѣ было быть! Римская литература не представляет ни одной хорошей трагедіи; но за то, римская исторія есть непрерывная трагедія, — зрѣлище, достойное народовъ и челоуѣчества, неистощимый источникъ для трагическаго вдохновенія. Въ этомъ отношеніи, едва ли есть другой народъ, котораго исторія могла бы соперничать съ исторією Римлянъ. Страстное самозабвеніе въ идеѣ государственности, въ идеѣ политическаго величія своего отечества, пагосъ къ гражданской свободѣ, къ ненарушимости и неприкосновенности правъ сословіи и каждаго гражданина отдѣльно, гражданская доблесть, въ цвѣтущія времена великой республики, и гордая, стоическая борьба съ рокомъ, увлекавшимъ къ паденію великую отчизну великихъ гражданъ, и уступчивость судьбѣ, вслѣдствіе гениальнаго предвидѣнія будущаго, уступчивость, роковая для начавшихъ, и счастливая для менѣе великихъ, но болѣе во время явившихся — вотъ гдѣ элементы «трагическаго» въ исторіи Рима, великой отчизны Коріолановъ, Фабіевъ, Гракховъ, Сципіоновъ, Маріевъ, Лукулловъ, Помпеевъ, Цезарей и Антоніевъ — этихъ колоссальныхъ ликовъ, сіяющихъ блескомъ героическаго величія, нестерпимаго для слабонервныхъ глазъ выродившихся людей нашего времени!... Правда, поэтъ избралъ эпоху уже выродившагося, умирающаго Рима; но, въ противоположность христіанству, онъ бы долженъ былъ избрать послѣдняго Римлянина, который, независимо отъ всего окружающаго его, въ своемъ личномъ характерѣ, выразилъ бы — сколько стоическою жизнію и трагическою смертію, столько же и тоскою по цвѣтущимъ временамъ своего отечества, все субстанціальное, все, чѣмъ великъ былъ республиканскій Римъ. Но Олинъ г. Майкова только эпикуреецъ и больше ничего; собственно, онъ — образъ безъ лица. Другая сторона поэмы — христіанская, тоже полна трагическаго величія, ибо ея альфа и омега — мученичество и смерть за истину; но и она такъ

же слаба и блѣдна у нашего поэта, какъ и языческая. Впрочемъ, вся поэма отличается хорошими, звучными, а иногда и поэтическими стихами, какъ напр., пиршественная пѣсня Римлянъ-язычниковъ.

Вообще, когда г. Майковъ выходитъ изъ сферы антологической поэзии, его талантъ какъ-будто слабѣетъ. Доказательствомъ этого можетъ служить маленькая поэмка его «Венера Медицейская», содержаніе которой, какъ можно видѣть изъ самаго ея заглавія, относится къ сферѣ классической поэзии. Существуетъ преданіе, что знаменитая статуя, извѣстная подъ именемъ Венеры Медицейской, есть изображеніе одной римской императрицы. Поэтъ заставляетъ ее, выходя изъ волны, восхищаться собственною красотою —

И вотъ красавицы надменной
Мечта сбылась: перецесло
Волшебство исти вдохновенной
На мрамора обломовъ бранный
И это гордое чело,
Въичманное красой Изиды (?),
И стройный станъ и шелькъ кудрей:
И Римъ нарекъ ее Кипридой!
И Римъ молился передъ ней!

Мысль, какъ видите, мало поэтическая, слишкомъ незрѣлая и какъ-будто изысканная, не говоря уже объ унижающей достоинство искусства мысли—видѣть простую копию, портретъ, въ вдохновенномъ созданіи свободнаго творчества. Самые стихи этой поэмы только красивы и ловки, но не художественны; есть между ними даже оскорбляющіе тонкій эстетическій вкусъ, любящій благородную простоту и точность выраженій, какъ, напримѣръ:

На грудь высокую пустите
Звѣстый доконовъ разливъ.

Что такое: «пустить на грудь звѣстый разливъ доконовъ»? Это

было бы хорошо развѣ въ стихотвореніи г. Бенедиктова, но очень дурно въ стихотвореніи г. Майкова. Или:

Прошли вѣка. Изъ молотъ твердый
Величья храмы раздробилъ.

Что такое: «молотъ вѣковъ, раздробляющій храмы величья»? Неужели это поэзія, не риторика?...

Не безъ достоинствъ слѣдующія стихотворенія, съ болѣе или менѣе антологическимъ оттѣнкомъ: «Радость», «Измѣна», «XXXIII», «Жизнь», «Прощаніе съ Деревней», «Заря», «Горы», «Мраморный Фавнъ». Что до послѣдняго стихотворенія, — оно было бы лучше, еслибъ не было растянута приставкою и кончилось 25-мъ стихомъ, или — можетъ-быть, и еще лучше — 13-мъ стихомъ,

Теперь мы переходимъ ко второму разряду стихотвореній г. Майкова, и съ сожалѣніемъ предупреждаемъ нашихъ читателей, что здѣсь намъ больше должно будетъ порицать, чѣмъ хвалить... Въ этихъ стихотвореніяхъ, мы желали бъ найти поэта современнаго и по идеямъ, и по формамъ, и по чувствамъ, по симпатіямъ и антипатіямъ, по скорбямъ и радостямъ, надеждамъ и желаніямъ, но — увы! — мы не нашли въ нихъ, за исключеніемъ слишкомъ немногихъ, даже и просто поэта... Тамъ хорошіе стихи при сбивчивости идеи, а иногда и при пустотѣ содержанія; тутъ неопредѣленность и вычурность выраженія при усилии сказать что-то такое, чего у автора не было ни въ представленіи, ни въ фантазіи; между всѣмъ этимъ иногда удачный стихъ, прекрасный образъ, а все остальное — риторика: вотъ общій характеръ этихъ стихотвореній. Пересмотримъ ихъ.

Въ «Чудномъ Вѣкѣ» поэтъ воспѣваетъ эпоху Петра Великаго, которая возсіяла —

..... Въ странѣ, zagrożенной
Цѣпями горъ; въ странѣ, гдѣ вьется лѣсъ

*Средь блатъ и тундръ; въ той храминѣ священной,
Гдѣ льды горять какъ въ храминѣ чудесъ...*

Не риторика ли это?... Въ концѣ піесы, авторъ заставляетъ Петра «выливать вѣнецъ на голову Россіи, сардакскимъ млатомъ скрѣплять ея оковы и выковывать ей булаву(?) и мечъ», а «громовымъ топоромъ (?) сбивать оковы съ широкихъ вратъ въ Европу», забывъ, что тогда воротъ (ни широкихъ, ни узкихъ) въ Европу не было, и что въ томъ-то и состоитъ великій подвигъ Петра, что онъ, по выраженію Альгаротти, создалъ Петербургъ, *qui est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe*, а слѣдовательно, первый сдѣлалъ и ворота... Стихотвореніе, означенное N V., превосходно по стихамъ, но мысль — приписать скалѣ глубокое участіе къ страданію человѣка — изысканна... Прекрасны послѣдніе шесть стиховъ стихотворенія «Воспоминаніе»; но ихъ-то едва ли кто и прочтетъ послѣ первыхъ восьми стиховъ и, особенно, этого начала:

*Когда ты въ пучины былого
Окунешься думой...*

«Еврейская Пѣснь» отличается прекрасными, звучными стихами и библейскимъ кодифитомъ въ выраженіи. Піеса «Монастырь» откровенно названа авторомъ «введеніемъ къ ненаписанной повѣсти». Она начинается непоэтическими стихами:

*Во дни кровавыя, когда Тевтонъ суровый
Эстонцевъ уловляя въ желѣзные оковы...*

За тѣмъ слѣдуетъ риторика, изрѣдка прерываемая стихами въ родѣ слѣдующихъ:

*Колонны гордыя, какъ бы утопленны
На мощныхъ ранахъ держатъ обломки сводовъ,
Пригнулися къ землѣ...*

Обращаемся къ эстетическому чувству и художественному такту автора, и спрашиваемъ его: можно ли, не говоримъ —

печатать, но читать безъ напряженія и утомленія подобныя стихи?—

Все тлѣннѣе и прахъ?

Здѣсь, за оградой, въ окованныхъ стѣнахъ,
 Гулъ міра умолкалъ предъ образомъ Распятія.
 Глазъ вѣры укрощала безумныя проклятія,
 Усталые пловцы здѣсь пристань обрѣли;
 И въ мирной келии, отъ суеты вдали,
 Прахъ міра отряхнувъ, какъ саванъ надѣвали
 Одежду мертвую и къ небу воспаряли..
 Но вѣренъ ли онъ былъ, монашескій покровъ?
 Всегда ль, въ полуночномъ молчаніи дубровъ,
 Въ часы весенніе мечтательныхъ безсонницъ,
 Когда, ниспавъ между готическихъ оконницъ,
 Луть блѣдный мѣсяца ложился на вѣномъ
 Чугуномъ помятѣ блестящихъ ковровъ,
 Всегда ль, о ложѣ сна холодномъ забывая,
 Склонившись къ окну, отшельница младая,
 Смотри на небеса, летѣла въ горній міръ,
 На лоно вѣчности, въ подоблачный зевиръ,
 Гдѣ ангелы поютъ божественныя гимны,
 Оттуда бѣдную зовутъ гостепріимно?

Каковъ періодъ: не угодно ли прочесть вамъ его, не перевода духа, или не скривъ смысла?... И что за неточность въ эпитетахъ? Что такое «окованныя стѣны», «одежда мертвая» (авторъ хотѣлъ, вѣроятно, сказать — «одежда мертвыхъ», да мѣтра стиха не позволила), «вѣренъ ли монашескій обѣтъ» (кому и чему вѣренъ)? Что такое «весенніе часы и мечтательныя безсонницы»?...

Теперь обращаемся ко всѣмъ людямъ съ эстетическимъ вкусомъ и художественнымъ тактомъ: можно ли безъ наслажденія и восторга читать послѣдніе, окончательныя стихи этой піесы, столь пламенные и вдохновенныя?—

Не правда ль, часто взоръ, какъ небо, голубой,
 На небѣ обрѣталъ прекрасный ликъ земной,

И уху робкому мечтался не молитвы,
 А цитры тихій звонъ, вль князь опасной бятвы,
 И грудь вздымалася, и грѣшная слеза,
 Тумана ясныя красавицы глаза,
 По блѣдному лицу жемчужиной блистала,
 И юная глава въ волненьи упала
 На руки бѣлыя, и прядь златыхъ кудрей
 Волною падала по мрамору грудей,
 И мѣсяцъ осмыслъ ихъ блѣдными лучами
 И трепетно игралъ змѣстыми тѣнями?...

Піеса, означенная № XIV (стр. 30), принадлежитъ не къ числу худшихъ, особенно по окончанію. Въ піесахъ: «Воробьевы Горы» «Два Гроба», «Истинное Благо», «Мститель» (скандинавская баллада), и «Кладбище» — мы рѣшительно не узнаёмъ г. Майкова, — и подпишите подъ ними: г. Щетининъ, г. Кропоткинъ, г. Гогниевъ, г. Романовичъ — никто бы не удивился... «Воробьевы Горы» написаны точно какъ-будто г. Бенедиктовымъ; въ нихъ есть «кровель море разливное» (жаль, что не разливанное!), въ нихъ есть стихи: «И до-полюсныя воды у монихъ восплещуть пята», въ нихъ «крадется пламени змѣя»; но въ нихъ нѣтъ ни мысли, ни поэзіи, ни даже хорошихъ стиховъ. Въ «Двухъ Гробахъ» собственно нѣтъ ни одного гроба: рѣчь идетъ о носилкахъ Карла XII и о вѣнцѣ Наполеона, будто-бы забытомъ имъ въ Москвѣ. Исполненіе совершенно соотвѣтствуетъ этой изысканной и натянutoй мысли, какъ можете судить даже по этимъ двумъ съ половиною стихамъ:

Взаванивъ къ себѣ на грудь утѣчашнаго змія (?),
 Въ объятіяхъ его замучила Россія,
 И гробомъ стала...

Вы ли это, г. Майковъ?...

Въ «Двухъ Моряхъ» воспѣты Средиземное и Мертвое (въ Сиріи) моря: идея нѣтъ, но стихи не дурны, хотя между

ними есть и вотъ какіе: «Въ вѣнцѣ бреговъ, на яблокѣ земли» (?), «По немъ (по морю), воздѣвъ шеломъ среброкопатыи, станица волнъ не ратуетъ во вѣкъ» (?). — Стихотвореніе «В. А. С..... у» замѣчательно, по хорошимъ стихамъ, какъ этудь. — Въ маленькой поэмѣ «Іафетъ» много ума, есть недурные стихи, но нисколько нѣтъ поэзіи. Впрочемъ, мы, безъ ошибочно высчитавъ, чего нѣтъ въ этомъ «рефлектированномъ» произведеніи, не все высчитали, что есть въ немъ: въ немъ есть изысканныя выраженія: «миръ, обновленный въ купели моря; Кавказскія Горы — гордыя врата Европы». — «Молитва Бедуина» была бы очень хороша, еслибъ въ ней нѣкоторыя стихи не были такъ тяжелы. — «Горный Ключъ» принадлежалъ бы къ лучшимъ піесамъ г. Майкова, еслибъ въ немъ ручья не были названы «рѣзвыми нитями земли». Очень недурна піеска «Кто онъ?» — Къ хорошимъ можно причислить еще: «Призывъ», «Безвѣтріе», «Мысль Поэта», «Пѣвцу», «Жизнь», «Мысль», «Заря» и «Е. П. М».

Да, много, много превосходнаго, много хорошаго; но есть и такое, что непріятно встрѣтитъ въ печаги, и что бываетъ интересно и поучительно развѣ въ полныхъ собраніяхъ твореній великихъ поэтовъ, по смерти ихъ изданныхъ... Явно, что піесы въ родѣ «Воробьевыхъ Горъ» и «Кладбища» написаны г. Майковымъ давно уже, и милы ему, можетъ быть, потому именно, что были первыми пробными звуками его музы; но мы судимъ о нихъ какъ чужіе и посторонніе имъ... Но болѣе всего советуемъ молодому поэту — и да прійметъ онъ нашъ совѣтъ съ тѣмъ же радушіемъ и тою любовію, съ какими мы даемъ его! — советуемъ беречься изысканности въ идеяхъ и образахъ, советуемъ слѣдовать больше своему непосредственному чувству и художественному такту, чѣмъ вкусу толпы... О, берегитесь этой толпы, молодой поэтъ! Она измѣнчива въ своей благосклонности, и постоянно уважаетъ только тѣхъ, кого боится,

а боится только тѣхъ, кто не за ней идетъ, а за собою ведетъ ее, не оглядываясь назадъ... Ей ничего не стоитъ низвергнуть истуканъ, ею же самую слѣпленный (обыкновенно изъ весенняго снѣгу — это любимый ея матеріалъ); но она всегда проходитъ съ потупленными очами и на цыпочкахъ мимо не ею созданнаго кумира... Вспомните, что у насъ есть теперь великіе поэты, которыхъ слава продолжалась не долѣе трехъ лѣтъ... по крайней мѣрѣ, я слышалъ объ одномъ, который такъ могъ угодить толпѣ мишурнымъ блескомъ и изысканными выраженіями, что она, толпа, въ нѣсколько мѣсяцевъ раскупала первую часть его стихотвореній; но вторая часть ихъ была издана только разъ, третья давно готова... въ рукописи, да дѣло стало за тѣмъ, что никто не берется издать... Странное дѣло! въ антологическихъ стихотвореніяхъ г. Майкова стихъ — просто Пушкинскій, нѣтъ неточныхъ эпитетовъ, лишннихъ словъ, натянутыхъ или изысканныхъ выраженій, нѣтъ полутона фальшиваго: въ нихъ, онъ — истинный, глубокій и притомъ опытный, искусственный художникъ, въ рукѣ котораго не дрожитъ рѣзецъ и не даетъ произвольныхъ штриховъ; но въ не антологическихъ стихотвореніяхъ, по крайней мѣрѣ, въ большей части ихъ, есть и неточные эпитеты, и неопредѣленность въ идеѣ, и изысканныя фразы, и чуждыя всякаго внутренняго значенія слова...

Однакожь и между послѣдними есть, какъ мы уже видѣли, хорошія; мы нарочно ничего не говорили до сихъ поръ о четырехъ піесахъ не антологическаго содержанія, но превосходныхъ: указаніемъ на нихъ мы достойно заключимъ статью свою.

Піесы эти особенно примѣчательны, какъ свидѣтельство духовной подвижности поэта: въ нихъ видно зерно и зародышъ новой для него эпохи творчества, новыхъ созданій въ будущемъ... Такова піеса LV (стр. 119), которой не выписыва-

емъ, потому что и безъ того много уже выписано; такова эта маленькая пѣска:

Жизнь безъ тревогъ—прекрасный, свѣтлый день;
Тревожная—весны младая гроза,
Тамъ—солнца лучъ, и въ зной оливы сѣнь;
А здѣсь—и громъ, и молнія и слезы...
О! дайте мнѣ весь блескъ весеннихъ грозъ
И горечь слезъ, и сладость слезъ!

На эту пѣсню не нужно комментаріевъ кто жаждетъ такъ же и горечи, какъ и сладости грезъ, тотъ будетъ — «царства дивнаго всеисильный властелинъ»... Но перлы не-антологическихъ стихотвореній г. Майкова это — «Ангель и Демонъ» и «Раздумье». Вотъ первое.

Подъемаютъ споръ за человѣка
Два духа мощные: одинъ —
Эдемской двери властелинъ
И вѣрный стражъ ей отъ вѣка;
Другой—во всемъ величьи зла,
Владыко сумрачнаго міра:
Надъ огненной его порфирой
Горить два огненныхъ крыла.
Но торжество кому жь уступить
Въ пыла рожденный человѣкъ:
Вънецъ ли вѣчныхъ пальмъ онъ купитъ,
Иль чашу временную нѣтъ?
Господень ангель такъ и асень:
Его живить смиреннѣе лучъ:
Но пышный (!) демонъ такъ прекрасенъ,
Такъ лучезаренъ и могучъ!

Какая глубокая идея! Но форма — надо сказать правду — не совсѣмъ охватила и выразила это необъятное содержаніе: чего-то не достааетъ, что-то недоговорено; эпитетъ «пышный» не удовлетворителенъ—мы думаемъ, что даже «гордый» больше бы шелъ къ внутреннему смыслу пѣсны. За то «Раздумье» — верхъ совершенства во всѣхъ отношеніяхъ... въ

автологической, роскошно-художественной формѣ оно поражаетъ содержаніемъ изъ другой сферы...

Блаженъ, кто подъ крыломъ своихъ домашнихъ ларь
 Ведеть спокойно вѣкъ! Ему обильный даръ
 Прольютъ всѣ боги: лугъ еще заблещетъ, нивы
 Церера озлатитъ; акаціи, оливы
 Вѣтвями дождь его обнимутъ; надъ прудомъ
 Пирамидальныя, стоящія вѣнцомъ,
 Густые тополи взойдутъ и засребрятся,
 И лозы каждый годъ подъ осень отягчатся
 Кистями сочными: ихъ Вахъ благословитъ!...
 Не грозенъ для него свѣтильникъ змеиный,
 Безъ страха будетъ ждать онъ ужасовъ Эреба;
 А здѣсь рука его на жертвенникъ неба
 Повергнетъ не дрожа плоды, янтарный медъ,
 Ихъ розъ гирляндами и миртомъ обовьетъ...
 Но я бы не желалъ сей жизни безъ волненья,
 Мнѣ тягостно ея разширенное теченье.
 Я тайнѣ бы страдалъ и жаждалъ бы порой
 И бури, и тревогъ, и вольности святой,
 Чтoby духъ мой крѣпнуть могъ въ бореніи мятежномъ
 И, крылья распутивъ, орломъ широкобъжимъ
 При общемъ ужасѣ надъ льдами горъ витать,
 На бездну упадать и въ небѣ утопать.

Да, позволительно и можно многого надѣяться въ будущемъ отъ духа, способнаго отрыватья отъ участи столь полной обаятельнаго счастья, и питать, въ молодой груди, желанія, отъ которыхъ не у всѣхъ и не у каждого не поблѣднѣютъ ланиты отъ ужаса, но запылаютъ яркимъ румянцемъ могучаго рѣшенія, а очи заблещутъ гордымъ сознаніемъ собственной силы и упоеніемъ безконечнаго блаженства.

КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ МИРОШЕВЪ, РУССКАЯ БЫЛЬ ВРЕМЕНЪ
ЕКАТЕРИНЫ II. Соч. М. Н. Заоскина. Четыре части.
Москва. 1842.

Г. Заоскинъ пишетъ очень мало, но, сравнительно съ другими, онъ у насъ самый плодовитый романистъ. Въ десять лѣтъ слишкомъ—вотъ уже шестой романъ, да въ промежуткахъ, повѣстей съ пятокъ: по нашему, по-русски, это много, очень много. Самъ г. Булгаринъ написалъ всего на все только пять романовъ, и ужь больше—можно поручиться—не напишетъ ни одного: такъ ему посчастливилось въ этомъ дѣлѣ. Важный фактъ въ исторіи русскаго романа, потому что въ ней г. Булгаринъ играетъ гораздо большую и важнѣйшую роль, нежели какъ думаютъ и враги и почитатели его несравненнаго таланта! Такъ какъ мы принадлежимъ къ числу послѣднихъ, т. е. почитателей, то и почитаемъ долгомъ объяснить значеніе г. Булгарина въ плачевной исторіи русскаго романа, — тѣмъ болѣе, что, безъ этого, мы никакъ не въ состояніи сдѣлать настоящей оцѣнки послѣднему роману г. Заоскина.

Всѣ русскіе романы можно раздѣлить на два разряда. Первый разрядъ ихъ начался «Бурсакомъ» и «Двумя Иванами» Нарѣжнаго, а кончился тремя попытками даровитаго И. И. Лажечникова—«Послѣднимъ Новикомъ», «Ледянымъ Домомъ» и «Басурманомъ». Здѣсь не мѣсто сравнивать между собою таланты обоихъ романистовъ; довольно сказать, что это таланты яркіе, замѣчательные, и что ничего общаго, никакой исторической связи между ними нѣтъ. Нарѣжный явился слишкомъ рано, не издавалъ ни журнала, ни газеты, гдѣ бы могъ ежедневно хвалить самого себя,—и прошелъ незамѣченнымъ, остался безъ подражателей. Романы Лажечникова были, напротивъ, оцѣнены публикою по достоинству, безъ всякихъ на этотъ счетъ стараній съ его стороны, или со стороны его

друзей, издающих газеты и журналы. Романы Лажечникова были фактами эстетического и нравственного образования русского общества, и навсегда будут достойны почетного упоминания в истории русской литературы. Къ этому же разряду надо причислить и «Юрія Милославскаго» г. Загоскина; но о немъ рѣчь послѣ.

Второй разрядъ романовъ ведетъ свое начало издалека.

У насъ образовался особый родъ романа, который сперва назывался правоописательнымъ, нравственно сатирическимъ, а теперь ужъ никакъ не называется, хотя бы и долженъ былъ называться моральнымъ. Блестательный талантъ г. Булгарина былъ творцомъ этого рода романовъ; не менѣе блестящий талантъ г. Загоскина былъ его утвердителемъ и распространителемъ. Господа Зотовъ и Воскресенскій принадлежать къ числу самыхъ счастливыхъ и даровитыхъ подражателей этихъ двухъ сочинителей. Проницательный читатель и безъ насъ угадаетъ имена прочихъ многочисленныхъ романистовъ этой категоріи. Но, сверхъ морально сатирическаго романа, есть еще два разряда романовъ, которые, впрочемъ, составляютъ одинъ разрядъ съ нимъ. Мы говоримъ о романѣ восторженномъ, патетическомъ, живописующемъ растрепанные волосы, исключенныя чувства и кипящія страсти. Основателемъ этого рода романа былъ даровитый Марлинскій, у котораго есть тоже свои счастливые подражатели. Третій родъ романа—идеально-сентиментальный: его началъ г. Полевой своими сладенькими повѣстями, онъ же и кончилъ его въ переслащенномъ романѣ своемъ «Аббадонна»; — подражателей у г. Полеваго не имѣется. Всѣ эти три рода романа образуютъ собою одинъ разрядъ. Разсмотримъ его.

До Вальтеръ Скотта не было истиннаго романа. Великое твореніе Сервантеса «Донъ-Кихоть» составляло исключеніе изъ общаго правила, а знаменитый «Жилблязь де-Сантллана» Фран-

цуза Лесажа прославленъ не въ мѣру и не по достоинству. Это не больше, какъ довольно недурное произведеніе, которое однако было бы лучше, еслибъ не было такъ растянуто, или еслибъ его сократить на половину, т. е. изъ восьми частей сдѣлать только четыре. Романы восемнадцатаго вѣка: Радклифъ, Дюкре-дю-Меняля, Жанлисъ, Коттенъ, Шписа, Клаурена и другихъ, — только до Вальтеръ Скотта могли считаться романами; они изображали не общество, не людей, не дѣйствительность, а призраки большаго, или празднаго воображенія. Знаменитые англійскіе Памелы, Клариссы, Грандиссоны и Ловеласы держались ближе общества и дѣйствительности; но дидактическая цѣль убила въ нихъ поэзію. Вальтеръ Скоттъ первый показалъ, чѣмъ долженъ быть романъ. До него думали, что «пѣсня—быль, а сказка — ложь», какъ говоритъ русская поговорка, и что, поэтому, чѣмъ больше нелѣпицъ въ романѣ, тѣмъ онъ лучше. Желая придать ему какую-нибудь цѣну въ глазахъ людей солидныхъ и разсудительныхъ, навязали ему полезную цѣль — исправлять нравы, осмѣивая пороки и хваля добродѣтели. Такимъ образомъ, роману было приказано быть органомъ ходячихъ моральныхъ истинъ своего времени. Да, своего времени, ибо ходячая мораль такъ же измѣнчива, какъ и курсъ голландскаго червонца: въ прошломъ вѣкѣ мораль предписывала бѣдному и незначительному человѣку имѣть патрона-благодѣтеля, низко ему кланяться, почитать за честь быть допущеннымъ къ его столу или къ его ручкѣ: теперь все это считается униженіемъ человѣческаго достоинства. И такъ, что теперь называется подличаньемъ, тогда называлось умѣньемъ жить; что теперь называется подлостью — тогда называлось скромностью и смиреніемъ; что теперь называется благородствомъ души — тогда называлось гордостью, она же есть смертный грѣхъ... Такимъ образомъ, сочинители давали человѣческія имена и фамиліи своимъ жалкимъ, а нерѣдко и

подленькимъ моральнымъ понятыицамъ, выдавая свое резонерство за «нравственность» да еще «чистѣйшую», а свою картофельную сентиментальность—за «любовь». Эти ограниченныя понятыица и сладенькія чувствованыица означались номерами на особыхъ ярлычкахъ, а ярлычки наклеивались на лбахъ безобразныхъ фигуръ, грубо вырѣзанныхъ изъ картонной бумаги: весьма остроумно придуманное удобство для читателя романа! благодаря ему, читатель уже не могъ запутаться во множествѣ именъ и одинаковыхъ фигуръ, потому что на лбу каждой читалъ: «добродѣтельный № 1», «злой № 2» и т. д. Тогда все были или добродѣтельные или злодѣи; не было необходимѣйшихъ и многочисленныхъ членовъ общества—глупцовъ и безцвѣтныхъ характеровъ, которые ни добры, ни злы, и т. п. Романъ всегда оканчивался благополучно, и зѣвующій читатель оставлялъ книгу не прежде, какъ послѣ расправы, т. е. брака гонимой четы, награды добрымъ и наказанія злымъ. Все говорили одинакимъ языкомъ: о колоритѣ мѣстности, различіи сословіи никто и не спрашивалъ.

Мы не безъ умысла распространились о старинномъ романѣ и высказали о немъ читателю истины, нѣсколько уже старыя и давно всѣмъ извѣстныя: намъ это было нужно для того, чтобъ показать, какъ новѣйшій романъ нѣкоторыхъ знаменитыхъ сочинителей далеко ушелъ отъ романа добраго стараго времени; чѣмъ отъ него разнится и чѣмъ на него похожъ. «Но вѣдь вы обѣщали намъ разобрать новый романъ г. Загоскина, а говорите о романахъ, которые были за сто и дальше лѣтъ до г. Загоскина?»—Я о немъ-то и говорю, какъ увидите ниже.

Вальтеръ Скоттъ не изобрѣлъ, не выдумалъ романа, но открылъ его, точно также, какъ Колумбъ не изобрѣлъ и не выдумалъ Америки, а только открылъ ее. Сервантесъ, задолго до Вальтеръ Скотта, написалъ истинный историческій романъ. Правда, онъ явно имѣлъ сатирическую цѣль—осмѣять

запоздалое и противное духу времени рыцарствование въ мечтахъ и дурныхъ романахъ,—и этой цѣлью великій человѣкъ заплатилъ дань своему вѣку; но творческій художественный элементъ его духа былъ такъ силенъ, что побѣдилъ разсудочное направленіе, и Сервантесъ, стремясь къ нравоисправительной цѣли, достигъ совсѣмъ другой цѣли — именно художественной, а черезъ нее и нравоисправительной. Его донъ-Кихоть есть не каррикатура, а характеръ, полный истины и чуждый всякаго преувеличенія, не отвлеченный, но живой и дѣйствительный. Идея донъ Кихота не принадлежитъ времени Сервантеса: она — обще-человѣческая, вѣчная идея, какъ всякая «идея»; донъ Кихоты были возможны съ тѣхъ поръ, какъ явились человѣческія общества, и будутъ возможны, пока люди не разбѣгутся по лѣсамъ. Донъ-Кихоть — благородный и умный человѣкъ, который весь, со всѣмъ жаромъ энергической души, предался любимой идеѣ; комическая же сторона въ характерѣ донъ-Кихота состоитъ въ противоположности его любимой идеи съ требованіемъ времени, съ тѣмъ, что она не можетъ быть осуществлена въ дѣйствиіи, приложена къ дѣлу. Донъ-Кихоть глубоко понимаетъ требованія истиннаго рыцарства, разсуждаетъ о немъ справедливо и поэтически, а дѣйствуетъ, въ качествѣ рыцаря, нелѣпо и глупо; когда же разсуждаетъ о предметахъ внѣ рыцарства, то является истиннымъ мудрецомъ. И вотъ почему есть что-то грустное и трагическое въ судьбѣ этого комическаго лица, а его сознаніе заблужденій своей жизни на смертномъ одрѣ возбуждаетъ въ душѣ глубокое умиленіе и невольно наводитъ васъ на созерцаніе печальной судьбы человѣчества. Каждый человѣкъ есть немножко донъ-Кихоть; но болѣе всего бываютъ донъ-Кихотами люди съ пламеннымъ воображеніемъ, любящею душою, благороднымъ сердцемъ, даже съ сильною волею и съ умомъ, но безъ разсудка и такта дѣйствительности. Вотъ почему въ

нихъ столько комическаго, а комическое ихъ такъ грустно, что возбуждаетъ смѣхъ сквозь слезы; еслибъ это были люди ничтожные — они не были бы даже и слишкомъ смѣшны: истинныхъ донъ-Кихотовъ можно найти только между не дюжинными людьми. Но главное: они всегда были, есть и будутъ. Это типъ вѣчный, это единая идея, всегда воплощающаяся въ тысячѣ разныхъ видовъ и формъ, сообразно съ духомъ и характеромъ вѣка, страны, сословія и другими отношеніями, необходимыми и случайными. Такъ и теперь сколько есть донъ-Кихотовъ, напр., въ одной литературѣ! Человѣкъ, который искренно убѣжденъ въ томъ, чему уже никто не вѣритъ, и который жертвуетъ трудомъ, достоинствомъ, спокойствіемъ и здоровьемъ для убѣжденія другихъ въ своемъ убѣжденіи, — развѣ онъ не донъ-Кихотъ? Сколько умнаго, истиннаго въ томъ, что говоритъ онъ, а цѣлое все-таки — ложь, возбуждающая уже не негодованіе, а смѣхъ, вызывающая не возраженія, а насмѣшки...

Итакъ, достоинство Сервантесова романа — въ идеѣ: идея сдѣлала его вѣчнымъ, никогда неумирающимъ и никогда нестарѣющимъ поэтическимъ произведеніемъ. Въ идеѣ заключается причина того, что, несмотря на испанскія имена, мѣстность, обычай, частности, — люди всѣхъ націй и всѣхъ вѣковъ читаютъ и будутъ читать «Донъ-Кихота». Что же касается до испанскаго колорита и событій, характеровъ и лицъ — этотъ колоритъ свидѣтельствуетъ, что идея «Донъ-Кихота» — живая, воплотившаяся и обособившаяся, а не отвлеченно общая и отвлеченная идея.

Вотъ это-то жизненно-органическое сліяніе общаго (идеи) съ особнымъ (вѣкъ, страна, индивидуальныя характеры) составляетъ сущность и достоинство романовъ Вальтеръ Скотта. Этотъ великій поэтъ былъ человѣкъ, Британецъ и баронетъ въ добавокъ: у него были свои личныя понятія и понятійца,

свои личные чувства и чувствованья, національныя вражды и ненависти, народныя предрассудки, что все, вмѣстѣ взятое, и сгубило его «Исторію Наполеона». Но онъ ничего этого не вносилъ въ свою творческую дѣятельность, и входя въ созерцаніе судебъ человѣчества и человѣка, откладывалъ въ сторону свою личность и свое баронетство: онъ хотѣлъ только приковать къ бумагѣ видѣнія и образы, возникавшіе передъ его внутреннимъ окомъ, а судить, резонерствовать о нихъ предоставлялъ другимъ. И хорошо сдѣлалъ: онъ вообще не мастеръ былъ судить; но въ творествѣ былъ великій мастеръ. Потому-то романы его были зеркаломъ дѣйствительности, въ которомъ она походила сама на себя больше, нежели тогда, когда оставалась бы просто дѣйствительностію. Въ его романахъ вы видите и злодѣевъ, но понимаете, почему они—злодѣи, и иногда интересуетесь ихъ судьбою. Большею же частію, въ романахъ его вы встрѣчаете мелкихъ плутовъ, отъ которыхъ происходятъ все бѣды въ романахъ, какъ это бываетъ и въ самой жизни. Герои добра и зла очень рѣдки въ жизни; настоящіе хозяева въ ней — люди середины, ни то, ни се. Вальтеръ Скоттъ былъ природы глубокой, но спокойной и тихой, пользовался отличнымъ здоровьемъ и не зналъ нищеты и бѣдности. Оттого, взглядъ его на жизнь веселъ и ясенъ, а романы, большею частію, оканчиваются счастливо; но, какъ человѣкъ гениальный, а слѣдовательно, и уважавшій свято объективную истину изображаемаго имъ міра, онъ написалъ нѣсколько романовъ, которые очень похожи на ужасныя трагедіи, какъ напримѣръ «Ламмермурская Невѣста», «Сент-Ронанскія воды», «Айвенго, или Ivanhoe» (со стороны судьбы Ревекки), «Морской Разбойникъ» (Бренда)... Да, романы Вальтеръ Скотта потому великія произведенія искусства, что они не прикрашенное и не разсирощенное, а дѣйствительное, хотя и идеальное, изображеніе жизни какъ она есть. Только

жалкіе писаки подбѣливають и подрумянивають жизнь, стараясь скрывать ея темныя стороны, и выставляя только утѣшительныя. Но романы этихъ господъ-сочинителей похожи на грошевыя пряники, которые услаждаютъ вкусъ одной черни, подонковъ и осадковъ челоуѣчества. Истина выше всего, и какъ ни закрывайте глаза отъ зла — зло отъ этого не меньше существуетъ таки. Недавно было въ модѣ нападать на современныхъ французскихъ романистовъ за исключительно мрачный взглядъ ихъ на жизнь; но теперь порядочныя люди уже не нападаютъ на нихъ за это, сколько потому что эти нападки уже старая пѣсня, столько и вслѣдствіе умной, хотя и поздней догадки, что никто не можетъ видѣть вещи иначе, какъ онѣ представляются ему, и что кто не любитъ мрачныхъ картинъ, тотъ не смотри на нихъ, а писать ихъ все-таки не мѣшай. Теперь эти нападки сдѣлались достояніемъ меньшей литературной братіи, — и Боже мой! какія тонкія остроты, какія грозныя знаеомы бросаетъ она на бѣдную французскую литературу, втайнѣ удивляясь ей, и въявь питаюсь убогими крохами съ ея богатаго стола... Смѣшно и жалко!...

Какъ великій геній, Вальтеръ Скоттъ не могъ не имѣть сильнаго вліянія на свой вѣкъ и даже на людей, съ которыми у него и у которыхъ съ нимъ не было ничего общаго. Всѣ бросились писать историческіе романы, не зная исторіи, будучи чужды всякаго историческаго созерцанія и взгляда на жизнь, и думая, въ простотѣ сердца, что романы великаго Шотландца оттого такъ удались, что въ нихъ исторія слита съ частнымъ бытомъ, и что имъ стоятъ только перелистовать какой-нибудь томъ исторіи Карамзина, да придумать любовь, разлуку, препятствіе и благополучный бракъ — такъ и они будутъ Вальтеръ Скоттами — и разбогачатъ, и прославятся. Нѣкоторымъ въ самомъ дѣлѣ удалось это въ каррикатурѣ и въ миньятюрѣ. Впрочемъ, не должно думать, чтобъ таковы

только были результаты движенія, произведеннаго Вальтеръ Скоттъмъ: они были безконечно важны во всѣхъ отношеніяхъ, и для всѣхъ литературъ, слѣдственно и для нашей. Мы уже упоминали о прекрасныхъ попыткахъ Лажечникова, и могли бы сдѣлать еще важнѣйшія указанія, — но это не относится собственно къ роману. Любопытно бы было взглянуть, какъ подѣйствоваль Вальтеръ Скоттъ на большую, по числу, часть своихъ подражателей; но это когда-нибудь, — а теперь обратимся къ романамъ г. Загоскина и къ другимъ одной съ ними категоріи.

«Юрій Милославскій» былъ первымъ историческимъ романомъ на русскомъ языкѣ. Историческаго въ немъ было — надо сказать правду — очень мало, если исключить собственные имена, числа и внѣшнія событія. Русскіе люди первой половины XVII вѣка у него очень похожи на мужичковъ и бородатыхъ торговцовъ нашего времени. Герой — образъ безъ лица, не человѣкъ и не тѣнь: его ни руками схватить, ни глазами увидѣть; но что всего забавнѣе, этому безтѣлесному существу авторъ навязалъ понятія, чувства и деликатность сантиментальныхъ героевъ прошлаго вѣка. Замашка — основать русскій романъ XVII вѣка на любви, показываетъ, что авторъ не винокъ въ бытъ старой Руси и увлекался подражаніемъ Вальтеръ Скотту. Всѣ лица романа — осуществленіе личныхъ понятій автора; всѣ они чувствуютъ его чувствами, понимаютъ его умомъ. Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ нравятся въ чтеніи, потому что авторъ умѣлъ придать имъ какой то призракъ дѣйствительности, и это умѣнье обличало въ немъ прежняго драматическаго писателя. Особенно же нравятся эти лица тѣмъ достолюбезнымъ добродушіемъ, которое умѣлъ придать имъ авторъ. Познакомившись съ такимъ лицомъ на одной страницѣ романа, вы знаете, что онъ будетъ говорить и дѣлать на другой, третьей — и такъ до послѣдней, а все-

таки съ удовольствіемъ слѣдите за нимъ. Но герои добра и зла ужасно не удачны: мы говорили уже о самомъ Милославскомъ, а теперь скажемъ, что и таинственный незнакомецъ, открывающійся потомъ Миннинымъ, не лучше его; бояринъ Кручина и другъ его сбиваются на мелодраматическихъ злодѣевъ... И однакожь романъ произвелъ въ публикѣ фуроръ; онъ былъ первая попытка на русскій историческій романъ; сверхъ того, въ немъ много теплоты и добродушія, которыя сдѣлали его живымъ и одушевленнымъ; разсказъ легкій, льющійся, увлекательный: ничему ни вѣрите, а читаете, словно «Тысячу и Одну Ночь». Его и теперь можно перелистовать съ удовольствіемъ, какъ, вѣроятно, вы перелистываете иногда «Рубинзона Крузое», который въ дѣтствѣ доставлялъ вамъ столько чистѣйшаго и упоительнѣйшаго наслажденія. — За «Юриемъ Милославскимъ» послѣдовалъ другой русскій историческій романъ г. Загоскина «Рославлевъ». Онъ былъ повтореніемъ «Юрія Милославскаго»: тѣ же лица, тѣ же характеры, тѣ же начала, тѣ же достоинства и недостатки, исключая одной героини, которая сдѣлалась виновата передъ судомъ автора въ томъ, что, какъ женщина, полюбила мушкетера, не спрашивая, какой онъ націи. И за это авторъ старался всѣми силами выставить ее въ самомъ неблагопріятномъ свѣтѣ, а героя тѣмъ паче возвеличить; но какъ сей великій мужъ былъ роднымъ братомъ боярина Юрія Милославскаго, то романъ я палъ, несмотря на возгласы пріятелей. Не будемъ и мы тревожить его праха. — «Аскольдова Могила» была могилою славы автора, какъ историческаго романиста; онъ самъ это увидѣлъ, и утѣшился тѣмъ, что изъ плохаго романа сдѣлалъ плохое либретто для хорошей оперы. Тогда онъ обратился къ простымъ, неисторическимъ романамъ, въ которыхъ талантъ его явно попалъ въ свою настоящую сферу, хоть и вывыбился изъ силъ, напрягая ихъ въ чуждой ему сферѣ, ку-

да приманила его подражательность. Подлинно, справедливо сказано:

Гони природу въ дверь—она влетитъ въ окно! .

Оставимъ пока романы г. Загоскина и обратимся къ историческому обзорѣнню романической дѣятельности другаго знаменитаго таланта: такъ требуетъ внутренняя связь нашей статьи.

Первымъ романомъ г. Булгарина былъ знаменитый въ русской литературѣ «Иванъ Выжигинъ», — это извѣстно всей просвѣщенной Европѣ. Сатира и мораль составляютъ душу этого превосходнаго произведенія; сатира отличается такимъ жолчнымъ остроуміемъ, а мораль — такою убѣдительностію, что тотчасъ же по выходѣ «Ивана Выжигина», въ Россіи уже нельзя было увидѣть ни одного изъ пороковъ и недостатковъ, осмѣянныхъ г. Булгаринымъ. И не удивительно: въ сатиру ему служилъ образцомъ Сумароковъ, «гонитель злыхъ пороковъ»... Вторымъ романомъ г. Булгарина былъ «Димитрій Самозванецъ», который, впрочемъ, показалъ, что историческая почва нисколько не родственна таланту г. Булгарина, столь сильному и поэтическому на моральной почвѣ. Романъ палъ, и только чрезвычайный успѣхъ «Выжигина» помогъ разойтись единственному изданію «Самозванца». Въ немъ были всѣ недостатки «Юрія Милославскаго», но не было ни тѣни теплоты и добродушія, составляющихъ неотъемлемое достоинство произведенія г. Загоскина. Впрочемъ, г. Булгаринъ умѣлъ, съ другой стороны, сдѣлать свой историческій романъ если не интереснымъ, то заслуживающимъ неоспориваемое уваженіе: именно, съ моральной стороны, съ которой онъ такъ замѣчательенъ. Вотъ что сказалъ о немъ Пушкинъ, прикинувшійся разъ Теофилактомъ Косичкинымъ: «Что можетъ быть нравственнѣе сочиненій г. Булгарина? Изъ нихъ мы ясно узнаемъ: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству,

картежной игрѣ и т. п. Г. Булгаринъ наказуетъ лица разными затѣяливыми именами: убійца названъ у него Ножовымъ, взяточникъ — Взяткинъ, дуракъ — Глаздуринымъ, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова — Хлопоухиннымъ, Дмитрія Самозванца — Каторжниковымъ, а Марину Мнишекъ — княжною Шмохиною: за то и лица сіи представлены нѣсколько блѣдно (см. «Телескопъ» 1831 года, ч. IV). Третьимъ романтическимъ подвигомъ г. Булгарина былъ «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» — опять историческій романъ, гдѣ Наполеонъ былъ представленъ въ контрастѣ съ Петромъ Ивановичемъ, и гдѣ Петръ Ивановичъ совершенно заслонилъ Наполеона — что и доказало неспособность г. Булгарина живописать историческія личности, особенно такія великія, какъ Наполеонъ. Г. Загоскинъ въ то же время и такъ же неудачно изображалъ Наполеона въ своемъ «Рославлевѣ»: чудное сходство въ направленіи романтической дѣятельности обоихъ этихъ писателей!... Тогда г. Булгаринъ съ горя отъ неудачи впалъ въ новую неудачу — написалъ третій и послѣдній историческій романъ свой — «Мазепу». Дружба всѣми силами старалась поддержать это произведеніе, но и сама рушилась подъ тяжестью такого подвига: читатели могутъ-быть, вспомнить ловкую статью о «Мазепѣ» въ «Библіотекѣ для Чтенія». Тогда г. Булгаринъ написалъ «Записки Чухина», гдѣ снова, и уже навсегда, вошелъ въ родственную его таланту сферу.

Теперь намъ остается рассмотреть, что такое моральный романъ, т. е., какъ онъ пишется и къ чему онъ годенъ. О восторженномъ родѣ романовъ новаго сказать нечего; что же до идеально-сентиментальныхъ, то здѣсь не шѣсто и не время распространяться о нихъ; мы предоставляемъ себѣ воспользоваться этимъ удовольствіемъ при появленіи перваго романа въ такомъ родѣ, или — чего лучше! — при выходѣ послѣднихъ

двухъ частей «Аббадонны» г. Полеваго: извѣстно, что первыя четыре части были изданы два раза безъ хвоста, о которомъ мы имѣемъ понятіе по двумъ большимъ отрывкамъ, напечатаннымъ въ «Сынѣ Отечества» 1840 года. Итакъ, приступаемъ прямо къ разбору «Кузьмы Петровича Мирошева», какъ типическаго представителя цѣлаго рода романовъ, который должно назвать морально-сатирическимъ.

Всѣ главы въ новомъ романѣ г. Загоскина означены разными затѣйливыми заглавіями, которыя вошли въ моду въ нашей литературѣ съ появленія въ свѣтъ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Первая глава «Кузьмы Петровича Мирошева» гласитъ «О томъ, гдѣ и когда случилось то, о чемъ разсказывается въ этой истинной повѣсти». Начинается она возраженіемъ противъ несправедливо приобрѣтенной рѣкою Сурою извѣстности въ народѣ (вѣроятно, народѣ Пензенской губерніи, гдѣ она только и извѣстна): авторъ справедливо замѣчаетъ, что покрытыя сосновыми лѣсами берега Суры очень мрачны, и что Сура течетъ на сѣверъ. Вы ожидаете, читатель, встрѣтить на берегу этой несправедливо прославленной (что неопровержимо доказано г. Загоскинымъ почти на двухъ страницахъ) рѣки городъ, или деревню, гдѣ родился герой, или гдѣ началось дѣйствіе романа: ничего не бывало! Сура неизмѣетъ никакого отношенія къ роману, точно такъ же какъ и Гангесъ или Нилъ; на берегу Хопра начался и кончился романъ... Вы, можетъ-быть, думаете, что авторъ распространился ни съ того ни съ сего о Сурѣ только для того, чтобъ къ его роману, тощему содержаніемъ, прибавилось полторы лишнія странички: ошибаетесь, читатель! Нѣтъ, это просто подражаніе русскимъ пѣснямъ: кто не знаетъ, что почти всѣ наши народныя пѣсни начинаются не съ того, съ чего начинаются, а именно съ того, съ чего не начинаются, напримѣръ:

Ужь не лебедь ходить бѣлая
 По зеленой травѣ шолковой,
 Ходить красна дѣвица душа
 Во кручинѣ, въ мысляхъ горестныхъ, и пр.

Или:

Не былинушка въ чистомъ полѣ зашаталася
 Зашаталася безпріютная головушка,
 Безпріютная головушка молодецкая, и пр.

Продолжаю. Хопру посвящено только нѣсколько строкъ; за тѣмъ на тринадцати страницахъ слѣдуетъ описаніе деревни, принадлежащей герою романа. Деревня — какъ всѣ русскія деревни — ничего особеннаго! Въ число этихъ тринадцати страницъ должно включить легенду объ источникѣ, или родникѣ въ деревнѣ Мирошева. Вотъ ужъ этого не понимаемъ: зачѣмъ сюда зашла эта легенда, если не для забавы читателей? ибо тѣ добрые люди, которые могли бы прійти отъ нея въ умиленіе, за безграмотностію, не прочтутъ романа г. Заго-скина. Изъ второй главы узнаемъ, «Откуда происходитъ родъ Мирошевыхъ, и отчего у прадѣда Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, а ему досталось только пятьдесятъ». Авторъ начинаетъ родъ Мирошевыхъ не съ яиць Леды, а только лѣтъ за сто съ небольшимъ до царя Θεодора Иоанновича; и потому надо прочесть, по крайней мѣрѣ, три страницы, прежде, чѣмъ дойдешь до отца героя романа, Кузьмы Петровича. Отецъ его тянулся изъ всѣхъ силъ имѣть псарню — не меньше, чѣмъ у князя Ромодановскаго, и протянулъ тысячу шесть-сотъ душъ, а сыну оставилъ съ небольшимъ четыреста. Петръ Кузьмичъ женился на модницѣ, которая разорила его въ разоръ и терпѣть не могла своего сына (онъ-то и герой романа) за его кучерское имя, — что и заставило Петра Кузьмича отвезти малолѣтнаго Кузьму Петровича въ Петербургъ и отдать въ кадетскій корпусъ. Черезъ пять лѣтъ, родители Кузьмы

Петровича умерли, и ему отъ четырехъ-сотъ душъ крестьянъ осталось только триста рублей денегъ.

Теперь мы будемъ слѣдовать за романомъ не по главамъ, а постараемся рассказать содержаніе всей книги покороче. У Кузмы Петровича былъ дядька, Прохоръ Кондратьевичъ — маленькое, и не совсѣмъ удачное подражаніе Савельичу въ «Капитанской Дочкѣ». Здѣсь особенно интересно мнѣніе автора о слугахъ такого рода; представляемъ его на судъ читателей:

«Куда дѣвалось это поколѣніе вѣрныхъ слугъ боярскихъ? Оно исчезло вмѣстѣ съ патриархальными нравами нашихъ предковъ. Теперь такая безкорыстная любовь къ чужому ребенку можетъ показаться невѣроятною, а встарину это бывало сплошь. Обыкновенно *барское дитя*, переходило отъ кормилицы къ нянюшкѣ, отъ няни мальчикъ поступалъ подъ надзоръ дядьки, и всѣ эти хожатые: кормилица, нянюшка и дядька, сохраняли до самой смерти неизмѣнную привязанность къ ребенку, который въ послѣдствіи становился ихъ баринишъ. *Разумается*, эта любовь была всегда самая слѣпая и безотчетная; обыкновенно каждая нянюшка и каждый дядька не сомнѣвались, что ихъ дитя и умнѣе и лучше своихъ братьевъ и сестеръ. Это бы еще ничего: но они также были увѣрены, что оно не могло быть никогда и ни въ чемъ виноватымъ. Отъ этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало два братца подерутся между собою, а тамъ — глядишь, и нянюшки таскаютъ другъ друга за волосы» (ч. I, стр. 52).

Получивъ наслѣдство (300 руб.), Миршоевъ былъ выпущенъ изъ корпуса офицеромъ и заказалъ себѣ Нѣмцу портному полную форменную экипировку; а Прохоръ выторговалъ у Нѣмца 30 рублей изъ ста, расплакавшись передъ нимъ о бѣдности барина. Затѣмъ, Миршоевъ пошелъ въ прусскую кампанію. По увѣренію почтеннаго и даровитаго автора «всѣ товарищи полюбили его за кроткій нравъ, примѣрное добродушіе и веселый обычай, который, однакожъ, не помѣшалъ ему быть самымъ разсудительнымъ и степеннымъ прапорщикомъ во всей арміи; служивые говорили о немъ, какъ о самомъ отличномъ и исправномъ фрунтовымъ офицерѣ, а вся молодежь

называла его дядюшкой. Лицо, какъ видите, идеальное, вполне заслуживающее чести быть героемъ такого прекраснаго романа, какъ «Кузьма Петровичъ Мирошевъ». Прохоръ тоже попалъ въ большую честь за свою услужливость и честность, а главное — за умѣнье объясняться съ Нѣмцами. Одинъ русскій офицеръ попросилъ у Нѣмца молока, а тотъ подалъ ему колбасу — офицеръ было и по зубамъ Нѣмца; но позвали Прохора, и тотъ сталъ на четвереньки, заревѣлъ теленкомъ (?!). Нѣмецъ догадался — и дѣло кончилось миролюбиво. Въ полку былъ поручикъ Фурсиковъ — забіяка въ мирѣ и трусъ на войнѣ. Мирошевъ былъ свидѣтелемъ его трусости (повтореніе слово въ слово исторіи съ княземъ Блѣсткимымъ въ «Рославлевѣ»). Когда кончилась война, и Мирошевъ воротился съ полкомъ въ Россію, Фурсиковъ былъ эскадроннымъ командиромъ и такъ распекалъ при всякомъ случаѣ нашего Мирошева, что тотъ подалъ въ отставку и поѣхалъ въ Москву искать своихъ сослуживцевъ — не помогутъ ли они найти ему штатское мѣстечко. Имѣнія съ нимъ было — пара крестьянскихъ лошадей, телега, да пять цѣлковыхъ въ карманѣ. Жалѣлъ о немъ болѣе всѣхъ гуляка и рубака, добрый малый, Костоломовъ... Да! я и забылъ сказать, что у Мирошева была родная тетка, старая дѣвица, у которой было 50 душъ крестьянъ, и съ которою мать его, а ея сестра, была во враждѣ. На дорогѣ къ Москвѣ, Мирошевъ разговорился съ Прохоромъ о томъ о семъ, и Прохоръ, между прочими умными вещами, которыя онъ такой мастеръ говорить, сказалъ, что не худо бы Кузьмѣ Петровичу имѣть душъ тысячи двѣ крестьянъ. «Э! — отвѣчалъ Мирошевъ: хорошо было бы, еслибъ хотъ вотъ и такую деревеньку, — вотъ, что стоитъ на дѣвото!» Тутъ баринъ и деньщикъ пустились въ запуски хвалить деревеньку, — и у Мирошева ни съ того ни съ сего загорѣлось остановиться въ ней кормить лошадей, хотъ они

еще и мало отъѣхали. Слуга было заспорилъ, но скоро согласился: вѣдь противъ судьбы не пойдешь... Да, судьбы, читатель, судьбы: радостное бѣненіе вашего сердца и тонкая пронизательность вашего ума давно уже сказали вамъ, въ чему ведутъ всѣ эти подробности... Путешественники остановились въ крайней избѣ у старосты Парена. Прохоръ предлагаетъ барину обѣдъ, но баринъ хочетъ гулять. Оно такъ и должно: всѣ истинные герои романовъ любятъ гулять и мечтать, хоть бы они родились и жили въ такое время, когда по пусту шататься не любили и всякому гулянью предпочитали — поплотнѣ набивши желудокъ, хорошенько всхрапнуть. Но Мирошевъ былъ изъ грамотныхъ и, вѣроятно, уже прочелъ «Приключенія Никанора, несчастнаго Дворянина»: — похождения знаменитаго «Георга Миллора Английскаго» тогда едва ли еще были изда ны. Вотъ Мирошевъ и спрашиваетъ у одного мужичка, можно ли погулять въ рошѣ. — «Сколько душъ угодно, не то, что въ рошѣ, да и въ саду.» — Стало-быть, господъ нѣтъ дома? — «Была барыня, да и та умерла.» — (Понимаете?...) Такъ и домъ посмотреть можно? — «Вѣстимо». Пока ключница пошла за ключами, Мирошевъ глядъ въ дверь одной комнаты, да и остолбенѣлъ... Тамъ — видите — сидѣла, облокотясь на столъ и читая книжку, прелестная молодая дѣвица съ печальнымъ лицомъ. Описаніе ея красоты пропускаемъ: оно превосходно, но нѣсколько сбивается на общій тонъ чувствительныхъ романовъ. Вдругъ у дѣвицы выступили на глазахъ слезы, а у Мирошева облилось сердце кровью. «Бсже мой — подумалъ онъ: — и это небесное созданіе, этотъ ангелъ несчастливъ!» Красивѣя, онъ спросилъ ключницу потомъ объ этой дѣвицѣ, и узналъ, что она — «дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей», сирота, призрѣнная покойною владѣтельницею деревеньки. Яркими красками описала Мирошеву ключница Федосья добродѣтели сей дѣвицы, и какъ она, Федосья, видѣла

во свѣ свою умершую дочь и прочее, все такое.. Гуляя, Мирошевъ расплакался, — изъ сего ясно видно, что онъ «полюбилъ сильно, глубоко и вѣчно, а не тою чувственною любовью, что вспыхнетъ да пройдетъ». Наплакавшись и нагулявшись, онъ воротился въ деревню — глядь, въ ней движеніе: мужики и бабы въ праздничныхъ платьяхъ, и лишь кто увидитъ его, бухъ ему въ ноги... Что такое? спрашиваетъ изумленный Мирошевъ. Такъ-съ, ничего-съ отвѣчаетъ ему таинственнымъ голосомъ Прохоръ. Короче, читатель: помѣщица села Хопровки, недавно умершая, была вышереченная тѣтка Мирошева, и Кузьмѣ Петровичу не даромъ захотѣлось кормить лошадей въ этой деревенькѣ... Впрочемъ, вы давно уже ожидали такого чуда. Но вотъ бѣда: тѣтенка-то хотѣла отказать имѣніе своей питомицѣ; Кузьма Петровичъ даже нашелъ написанную вечернѣ духовную, которую не успѣли переблгитъ за смертію помѣщицы. Какъ истинный герой романа, чувствительный и великодушный, онъ почитаетъ себя не въ правѣ воспользоваться наслѣдствомъ, не ему отказаннымъ, и, къ величайшему огорченію Прохора, отдаетъ деревню Марьѣ Дмитріевнѣ, которая жила въ людской, въ семействѣ добродѣтельнаго лакея Лаврентія, — а самъ хочетъ уѣхать въ Москву. Героиня наша и не прочь было, да какъ узнала отъ Прохора, что у его барина-то имѣнія всего-на-все, и съ лошадьми, рублей на 50, — то и не хотѣла уступить герою въ великодушіи, и печатнымъ, т. е. книжнымъ слогомъ плохихъ романовъ второй четверти текущаго столѣтія, начисто отказалась отъ деревни: иду-де, говоритъ, въ монастырь. Затѣмъ слѣдуетъ въ высшей степени патетическая сцена: Мирошевъ, собравшись съ духомъ, предлагаетъ ей владѣть деревнею вмѣстѣ, а то — говорить — я уѣду на край свѣта, и сойду съ ума, и умру съ тобой. Все это очень хорошо, весьма трогательно, только во всемъ этомъ не видно нисколько людей того времени, а слѣ-

довательно, и никакихъ людей. Но передъ вѣнцомъ, оба они явились вдругъ людьми того времени: не говоря уже о несвѣстѣ, самъ женихъ страшно затосковалъ о томъ, что ихъ некому проводить къ вѣнцу, и не будь Федосьи и Прохора, я думаю, что бракъ не состоялся бы, а романъ кончился бы, вовремя... Изъ церкви, Мирошевъ, по предложенію новобрачной, пошелъ на могилу тѣтки: тамъ Марья Дмитриевна посадила кустъ розановъ, который сначала было сталъ расти, а потомъ завялъ, листья облетѣли. Приходить, и — о, диво дивное и чудо чудное! — кустъ разросся, раззеленѣлся, разцвѣлъ. «О, матушка, матушка!» вскричала Марья Дмитриевна упавъ на могилу своей благодѣтельницы: «я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!» После этого трогательнаго воззванія по такому чувствительному поводу, молодые упали на колѣни на могилѣ. Запѣтивъ эфеентъ, произведенный надъ мужемъ своею рѣчью, Марья Дмитриевна проговорила другую — еще лучше, обнявъ своего нѣжнаго супруга: «О, мой другъ! теперь нѣтъ сомнѣнья, мы будемъ счастливы! Она благословляетъ нашъ союзъ. Вчера этотъ кустъ походилъ на мертвый трупъ, а сегодня... Посмотри, какъ пышны эти розаны, какъ свѣжа эта зелень! Видишь ли, какъ блестятъ на листочкахъ эти алмазные капли росы?... О, нѣтъ, нѣтъ! Это не роса: это радостныя слезы моей второй матери!»... Милое, доброе созданіе эта Марья Дмитриевна: и говоритъ, какъ пишетъ, или словно по печатному читаетъ; во всякомъ случаѣ, говоритъ какъ не говорятъ и теперь, и какъ еще менѣе могли говорить въ тѣ времена, когда вслѣдствіе родительской предосторожности насчетъ нравственности дочерей, дѣвушекъ не учили ни читать, ни писать... Зачѣмъ же она такъ говоритъ, какъ нигдѣ не говорятъ, кромѣ плохихъ романовъ? Затѣмъ, милостивые государи, чтобъ плѣнять воображеніе, тронуть сердце и убѣдить умъ читателя,

какъ это предписывается въ любой риторикѣ... Вы думаете, что тутъ и все? что наши герои зажили благополучно и — и роману конецъ?... Какъ бы не такъ! Это еще только первая часть, только вступленіе, за которымъ слѣдуютъ три части; это только сказка, а сказка-то впереди... Доскажемъ же ее какъ-нибудь.

Между первою и второю частью проходитъ 18 лѣтъ, Марья Дмитріевна уже превратилась въ барыню толстую, плотную и румяную—простонародный идеалъ русской красоты! (Замѣчательно, что у г. Загоскина въ этомъ романѣ дѣйствующія лица большею частію плотныя, толстыя, а мужчины почти всѣ лысые...). Она уже объясняется просто, иногда даже черезчуръ просто, какъ всѣ русскія помѣщицы того времени, т. е. 1780 года. Кузьма Петровичъ мало перемѣнился, да и не отъ чего вѣдь: онъ это время только ѣлъ, пилъ да спалъ; человекъ онъ былъ добрый—мухи не обидитъ, на слугу не осердится; итакъ, не удивительно, что онъ только постарѣлъ немного. У нихъ есть дочь, Варинька—вотъ ужъ милочка-то: глаза голубые (счетомъ два), носикъ... ну, да вы и такъ ее знаете назусть. Авторъ очень жалѣетъ, что принужденъ былъ сравнить ее станъ съ арабійскою пальмою, а не съ русскою сосною,—и мы вполне раздѣляемъ его горе.

«Плкое сердце и какая-то наклонность къ мечтательности составляли отличительную черту ея характера: въ этомъ она вовсе не похожа на своихъ родителей, которые не давали волю (и своему воображенію (и не мудро: у нихъ его вовсе не было)), не залетали въ туманную даль, а жили по просту, какъ Богъ велѣлъ,—и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми (вотъ что правда, то правда!). Бѣдняжки! они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣетъ свою поэзію (ко неужели же осмысленной жизни противоположается только разгульная и буйная: есть еще разумно-человѣческая, которая выше той и другой); что жизнь спокойная, не возмущая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что мы, хотя живемъ на сѣверѣ, а должны смотреть на западъ, и такъ же, какъ тамъ,

думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, т. е. что мы можемъ забыть о земной нашей родинѣ; но за то должны передъ наукою благоговѣть какъ передъ святынею, и художеству поклоняться какъ божеству.

А! вотъ что! понимаемъ. . Но возьмите немного терпѣнія— то ли еще поймете: для того-то мы и пересказываемъ вамъ содержаніе этого романа. Недалеко отъ Мирошевыхъ деревня Кирсанова, богатаго помѣщика, у котораго есть сынъ. Разумѣется, онъ влюбленъ въ нее, а она начала «обожать» его, къ Мирошевымъ ѣздятъ сосѣди: Вертлюгинны, мужъ—дуракъ, а жена—кокетка, модница, сплетница и все что угодно: авторъ изобразилъ ее со всею ѣдкостью своей неподражаемой ироніи; потомъ, бѣдный помѣщикъ, Зарубкинъ, сплетникъ, пьяница, побиреха и шутъ. Мы и не упомянули бы о немъ, да съ нимъ былъ анекдотъ, который вѣрно характеризуетъ то прекрасное время, когда люди «передъ наукою не благоговѣли, какъ передъ святынею, и художеству не поклонялись, какъ божеству». Послушайте рассказъ самаго Зарубкина о томъ, что сдѣлалъ съ нимъ Аеонька, шутъ Кирсанова:

«Да, сударь! привизался ко мнѣ, проклятый! Научилъ что ль его—не знаю. Началъ такіа не пригожія рѣчи говорить, всячески меня порочить; и сначала все въ шутку поворачивалъ, да онъ ужъ больно сталъ нахальничать: натянулъ палець, да и шолкъ меня по несу; я его отпелхнулъ—а онъ и вудреться. А Иванъ Никифоровичъ, чѣмъ бы дурака-то унялъ, кричитъ; «Не поддавайся, Аеонька!»—а тотъ и пуще! Глажу: ахтѣ! дуракъ-то ужъ и до рожи добирается!... Я и руками и ногами, кричу: «батишки бьеть! баткишки бьеть!» а его *оо-сокородіе* такъ и умираетъ со смѣху. Да ужъ сынокъ-то его, Владиміръ Ивановичъ, дай Богъ ему здоровье, такой добрый! сватилъ Аеоньку за воротъ и оттащилъ прочь; а все этою шальной разѣ два сдѣлалъ мени поуху. Что будешь дѣлать!» (Часть II. стр. 20—21).

Да, можно повѣрить, что Зарубкинъ «не благоговѣлъ передъ наукою, какъ передъ святынею, и художеству не поклонялся, какъ божеству»: такое самоуниженіе и животное незнаніе своего человѣческаго достоинства никогда не соединяет-

ся съ благородною любовію къ наукѣ и возвышенной страстью къ искусству. И что идетъ къ Зарубкину, то же можно сказать и о вѣкѣ «Зарубкинскихъ»...

Въ сосѣдствѣ деревни Мирошевыхъ было имѣніе одного богача-графа, который, поручивъ его управленію холопа своего, Курочкина, не хотѣлъ и знать о немъ: въ немъ было всего только 400 душъ! Курочкинъ этотъ былъ знаменитый, въ духѣ того времени, законовѣдецъ: чуть кто ему не понравится — тяжбу, да и оттягаетъ, именовъ графа, сколько захочетъ десятинъ земли, или лѣсу. У Курочкина былъ сынъ — офицеръ... Я и забылъ сказать, что въ семействѣ Мирошевыхъ есть дѣвушка Дуняша — родъ подруги и горничной Вариньки, дочь того Лаврентія, что нѣкогда прирѣлъ было Марью Дмитриевну. Курочкинъ началъ намекать Мирошеву о сватовствѣ, а тотъ, думая, что дѣло идетъ о Дуняшѣ, и радехонекъ; но когда недоразумѣніе разрѣшилось — въ Мирошевѣ проснулась дворянская гордость. Прохоръ чуть не избилъ сваху; Марья Дмитриевна — та, что говорила по печатному на могилѣ — не уступила въ ревности Прохору: насилу отстоялъ отъ нихъ Мирошевъ бѣдную сваху. Впрочемъ, этой свахѣ досталось и отъ автора: онъ такое принялъ горячее участіе въ оскорбленіи Мирошева, что изобразилъ ее хуже чорта и такъ смѣшно, что еслибъ прочелъ Прохоръ, то сказалъ бы: «батьюшки свѣты, животики надорвень — умора да и только»... Такъ же саркастически изображенъ и сынъ Курочкина: самъ Митрофанъ Фонъ-Визина — умица передъ нимъ. Оно такъ и надо; тѣмъ солонѣй северюжина, тѣмъ вкуснѣе для извѣстнаго разряда гастронómoвъ... Между тѣмъ, наши голубки вздыхаютъ, воркуютъ, и разъ такъ разворковались, что и кольцами помѣнялись. Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ — второе изданіе Кузьмы Петровича, только съ корректурными поправками въ правописаніи: онъ надѣленъ всеми возможными добродѣтелями, и не

имѣть только лица и характера, но похожъ на вырѣзанную изъ картузной бумаги фигурку, у которой изъ-подъ головы тотчасъ же начинаются ноги, и на лбу ярлычокъ съ номеромъ. — «Я — говорить онъ — противъ воли отца на тебѣ не женюсь, а любить буду до гроба и умру твоимъ суженымъ».

«О! какое невъяснимое блаженство изобразилось въ глазахъ Вариньки! „Мойъ суженымъ! повторила она.—Да чего еще я могу просить у Бога? Ты станешь вѣчно любить меня—да! вѣчно!... *Здѣсь ты будешь женихомъ моимъ, а тамъ*—Господь назоветъ насъ супругами! Онъ услышитъ мою молитву: твоя невѣста умретъ прежде тебя... О! какъ она будетъ тебя дожидаться!... Владимиръ!—продолжала Варинька, снимая съ пальца золотое колечко,—можетъ-быть въ церкви Божіей намъ не удастся никогда обитиаться кольцами; надѣнь его и дай мнѣ свое. Если ты самъ не снимешь его съ моего пальца, то, будь увѣренъ, я лягу съ нимъ въ могилу....

—Теперь мы съ тобой обручены!—сказалъ Владимиръ, глядя съ неизъяснимою любовью на Вариньку. О, мой ангелъ невинности и доброты!—продолжалъ онъ, *цѣлуя ея руки*,—какая женщина въ мірѣ можетъ равняться съ тобою!... О, повѣрь, мой другъ! еслибъ любовь моя не была также чиста, какъ эти ясныя небеса .. еще чище—какъ душа твоя! и не смѣлъ бы тогда прикоснуться къ тебѣ, не смѣлъ бы взять тебя за руку!... Какъ я люблю тебя *здѣсь*, такъ можно будетъ мнѣ любить тебя и *тамъ*, гдѣ нѣтъ ничего земнаго. Ты правду сказала, Варинька: если не въ здѣшнемъ, такъ въ будущемъ мірѣ Господь благословитъ нашъ союзъ (ч. II. стр. 240—241).

Каково?— Попробуйте найти такую сцену любви у Шекспира, Байрона, Вальтеръ Скотта, Купера, Шиллера, Гёте, Руссо, Пушкина: увѣрю васъ, что не найдете, лучше и не трудитесь, не ищите напрасно... Вотъ перо, такъ перо!... Господи подумаешь, какіе есть сочинители на свѣтѣ: начнешь читать—такъ невольно и плачешь и смѣешься, смѣешься и плачешь...

Эта трогательная сцена любви была подслушана Вертлягиною, которая нагло навязывалась на Кирсанова и ревновала его къ Варинькѣ. Вслѣдствіе этого, старикъ Кирсановъ увезъ своего сына въ Воронежъ, чтобъ насильно женить его тамъ на дочери своего богатаго пріятеля; отъ этого Варинька,

на 94 страницъ III части, упала въ обморокъ, и съ той же минуты, какъ истинная героиня романа, сдѣлалась больна; а Курочкинъ между тѣмъ затѣялъ дѣло, вслѣдствіе котораго Мирошевъ увидѣлъ себя въ необходимости ѣхать въ Москву. Варинька исхудала — узнать нельзя; къ большому несчастію, ее чуть не залѣчилъ Нѣмецъ лѣкарь. Игнатъевна (которую мы доселѣ знали подъ именемъ Фодосьи) ворожить и колдуетъ, несмотря на свою набожность.

«Несмотря на это грубое невѣжество, на эту странную смѣсь вѣры съ суевѣріемъ, въ старину едва ли ужъ не тверже вѣрили, и ужъ конечно лучше нашего умѣли любить».

И спору нѣтъ: въ романѣ г. Загоскина столько представлено неоспоримыхъ доказательствъ этой истины, что невольно жалѣешь о своемъ отчаянномъ безвѣрїи въ гаданія, напосылыванія, вспрыскиванья, и о своей рѣшительной неспособности объясняться въ любви на манеръ Мирошевыхъ и Кирсановыхъ...

Дуняша давно уже играетъ не послѣднюю роль въ романѣ, а ее грудь все еще высоко взметывается безпредметною любовью, говоря высокими слогами. Но не безпокойтесь: такая достойная дѣвица не останется безъ «предмета»; авторъ неусыпно бдитъ за героями и героинями своего романа; онъ любить пары, и когда понадобится, у него голубокъ какъ съ неба свалится. На святкахъ Дуняша пошла ворожить въ баню, которая стояла въ полѣ за околицею. Вдругъ звонъ колокольчика — оглянулась: за ней косматое чудовище — ахъ!... и въ обморокъ. Очнувшись, увидѣла она не чудовище, а его... Онъ сбился съ дороги (въ тотъ вечеръ была страшная мятель) и пришелъ на огонекъ... Оказалось, что это русскій лѣкарь, изъ Воронежа. Онъ вишь вылѣчилъ Вариньку, сказавъ ей, наединѣ, разумѣется, что Владиміръ вѣрень, а въ вѣщее доказательство вручилъ ей и письмо. Слово рукой сняло

болѣзнь—отецъ и мать въ восторгѣ: они увѣрены, что лекарство подѣйствовало. Утѣшая, «лѣкарь поглядѣлъ на Дунашу такъ чудно, что она вся вспыхнула». Понимаете?... Вотъ вамъ и еще пара голубковъ. Они же и ровня: лѣкарь тоже сынъ крѣпостнаго человѣка... Надо сознаться, что подъ чудотворнымъ перомъ г. Загоскина все такъ хорошо улаживается, что лучше желать нельзя. Онъ повертываетъ законами дѣйствительности подобно тому герою русской сказки, который только скажетъ: «по моему прошенію, по щучьему велѣнію» — и какъ тутъ было...

Мирошевъ отправился съ Прохоромъ въ Москву, и на дорогѣ (очень кстати) встрѣтился съ Костоломовымъ, который тоже ѣдетъ въ Москву искать себѣ мѣста городничаго въ какомъ нибудь городишкѣ. Онъ — видите — любилъ несчастно, и, по великодушію, рѣшился подарить отцу своей возлюбленной любимаго полвопѣгова борзаго кобеля, Буяна, чтобъ тотъ согласился отдать свою дочь за того, кого она любила (ч. III. Стр. 263—276). Въ Москвѣ, пріатели остановились на подворьѣ, и тотчасъ же были свидѣтелями, какъ сыщикъ Ванька Канинъ поймалъ разбойника, обманувъ его прежней пріязнью.хлопоты Мирошева о дѣлѣ кончились тѣмъ, что подъячій Тетерькинъ, которому онъ, по простотѣ своей, несмотря на всѣ предостереженія Прохора, ввѣрился, — разорилъ его въ конецъ. Нашелся идеально честный человѣкъ, который взялъ на себя трудъ объяснить простаку, что его стряпчій сидитъ въ тюрьмѣ, откуда пойдетъ на каторгу, а его дѣло едва ли когда кончится. Домой! Но не на чемъ; ѣсть тоже нечего. Одна надежда на Костоломова, а тотъ самъ идетъ къ Мирошеву попросить взаймы. Узнавъ о положеніи пріателя, Костоломовъ тащитъ его обѣдать къ какому-то графу.

У нѣкоторыхъ изъ вельможъ, жившихъ въ Москвѣ на покой, почти ежедневно были такъ называемые *открытые столы*. Каждый опротно одѣтый

человѣкъ, хотя бы онъ былъ вовсе незнакомъ хованну, могъ смѣло приходить обѣдать за этотъ столъ, его не спрашивали, кто онъ такой. Дождавшись въ столовой хозяйна и *отъсѣвъ ему низкій поклонъ*, онъ садился за общую трапезу и кушалъ на здоровье во славу Божию и въ честь гостепріимнаго хозяйна, которому и кушанье показалось бы не вкуснымъ, еслибы за его столомъ сидѣло менѣе ста человѣкъ гостей. Этотъ обычай извѣстенъ намъ по одному преданію. Мы не дошли еще до просвѣщенной разсѣтливости нашихъ западныхъ сосѣдей, у которыхъ отдѣленный сынъ не придетъ названій обѣдать въ отцу; но несмотря на это съ трудомъ уже вѣрить, что русское хлѣбосолюство могло когда-нибудь существовать въ такомъ обширномъ размѣрѣ,—и вотъ почему я нашелъ необходимымъ предwarnить своихъ читателей, что этотъ обычай действительно существовалъ на Руси, и что были у насъ такіе бояре, которые находили удовольствіе угощать однихъ и тѣмъ же столомъ и бѣдныхъ и богатыхъ, и друзей и незнакомыхъ; однихъ словомъ, дѣлиться со всѣми богатствомъ, которыхъ наградила ихъ Господь—и прожигать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтобъ проматывать ихъ на чужой сторонѣ, ради *приобрѣтенія себѣ* европейскаго имени (ч. IV. стр. 122—123).

Теперь мы понимаемъ, въ чемъ дѣло...

Какъ ни допытывался Мирошевъ у Костоломова имени графа—тотъ не хотѣлъ его сказать до обѣда. Сѣли. Мирошеву досталось сидѣть подлѣ какого-то отставнаго драгунскаго офицера, который очень странно велъ себя и походилъ на помѣшаннаго. Надо замѣтить, что и Мирошевъ служимъ въ драгунахъ и былъ въ отставномъ драгунскомъ мундирѣ. Послѣ обѣда, узнавъ отъ Костоломова, что они обѣдали у того самого графа, съ которымъ у него процессъ, Мирошевъ, отъ престога своей, перепугался—и бѣжать, а съ испугу едва могъ проговорить свою фамилію спрашивавшему его о ней дворецкому. На другой день вечеромъ Прохоръ, къ несказанной своей радости, получилъ, на имя своего барина, одиннадцать серебряныхъ ложекъ. Черезъ нѣсколько часовъ, Мирошевъ узналъ, черезъ разговоры незнакомыхъ ему людей въ гостиницѣ, что отставной поручикъ Мирошевъ, обѣдая у графа такого-то, укралъ серебряную ложку, а графъ, когда ему доне-

сли, велѣлъ отдать ему и остальные одиннадцать, говоря, что, можетъ-быть, бѣдный человѣкъ нуждается — такъ пусть уже у него будетъ цѣлая дюжина... Миршевъ съ отчаянія о потерѣ честнаго имени наговорилъ короба три великолѣпныхъ фразъ и совсѣмъ бы зарѣзался, еслибъ Костоломовъ не напомнилъ ему о женѣ и дочери.

Здѣсь я прерву повѣствованіе (которое, впрочемъ, скоро кончится), чтобъ замѣтить, какой великій мастеръ г. Загоскинъ завязать и развязать узелъ романа. Процессъ Миршева явно долженъ былъ быть проигранъ; Миршевъ — нищій безъ земли съ 50-ю душами; ему не на что и домой воротиться — бѣда да и только! Чѣмъ кончиться роману? гдѣ быть свадьбѣ и богатству, которыми оканчивается всякій порядочный романъ въ трогательномъ родѣ? Но геній тамъ то и найдется, гдѣ обыкновенный умъ потеряется: авторъ самымъ естественнымъ образомъ свелъ Миршева съ графомъ въ ту самую минуту, когда уже самъ читатель видитъ, что безъ участія графа роману не распутаться. Встрѣча съ графомъ была несчастна для Миршева: она лишила его еще и чести, когда уже онъ былъ лишенъ куска хлѣба, — не беспокойтесь, это не что другое, какъ «игра трудностями» со стороны автора. Вы ближе къ развязкѣ, чѣмъ думаете. Костоломовъ, идя отъ Миршева домой, увидѣлъ, что на какого-то одѣтаго по-вѣмецки человѣка напали три мужика: Костоломовъ разогналъ ихъ, а въ томъ, котораго спасъ отъ нихъ узналъ сыщика Ваньку Каина. Счастливая встрѣча, не правда ли?... — Отецъ родной, услуга за услугу: помоги отыскать вора, что, нарядившись въ драгунскій мундиръ, укралъ у графа серебряную ложку! — Изволь, сударь! — Стучатся молодцы въ избушку. Отворить имъ замѣшкались: замѣтно было, что кого-то прятали. Вошли, а подъ лавкой лежитъ казакинъ, картузь и драгунская шапка. Гостей встрѣтила баба, торговка всякимъ товаромъ,

какой Богъ пошлетъ.—Нѣтъ ли чего купить, Матренушка?—спросилъ Кайнъ.—Вынесла разное платье.—Нѣтъ ли серебра? — Какъ не быть! — да и тащитъ ларецъ; открыла, а ложка-то тутъ: вотъ и графскій гербъ на ней... — Гдѣ взяла?—Мѣщанинъ продалъ.—Вотъ не этотъ ли, что ходитъ въ этомъ? — сказалъ Кайнъ, вытаскивая изъ-подъ лавки казакинъ, картузь и саблю. Свистнулъ Кайнъ — налетѣла его команда, и скрутили молодца, что былъ за перегородкою... Видите ли, какъ все счастливо случилось, удалось и уладилось? Видите ли, что невинность всегда оправдается, а преступленіе всегда откроется?... Поутру, Кайнъ представилъ молодца съ ложкою къ графу. Мирошевъ, извѣщенный Костоломовымъ обо всемъ тотчасъ же, началъ каяться въ грѣхъ отчаянія... Развязку немудрено понять: графъ проситъ у Мирошева извиненія, увѣряетъ его, что процессъ кончился въ его пользу, даетъ ему денегъ на дорогу и наекетъ, который проситъ его велѣть Курочкину прочесть при себѣ вслухъ. Мирошевъ униженно благодаритъ графа и проситъ его походатайствовать о мѣстѣ городничаго въ Новохоперскъ для Костоломова. — Извольте: намъ это ни-почемъ.—Наконецъ, блаженный Мирошевъ упалъ въ объятія дородной супруги и чувствительной дочери, а Прохоръ побѣждалъ звать Курочкина. Между тѣмъ, въ отсутствіе Мирошева, у Кирсанова съ отцомъ была горячая сцена: молодецъ такъ расплакался и такъ «трогательно» говорилъ, что старикъ махнулъ рукою — «только, говоритъ, самъ не поѣду сватать, а письмо напишу». Мирошевъ вслѣдствіе правилъ, Богъ знаетъ почему навязанныхъ на него авторомъ, не соглашается на этотъ вынужденный и неравный бракъ, и говоритъ женѣ, книжнымъ нашего времени языкомъ, слѣдующую рацию: «Эхъ, Марья Дмитріевна! тѣмъ ли мы смотримъ на нее (т. е. на дочь) глазами, какими будетъ смотреть Иванъ Никифоровичъ? Она единственное дитя наше,

наша радость, наше утѣшеніе; а что она для него? Деревянская барышня, дочь нечиновнаго дворянина, безъ всякаго свѣтскаго образованія, помѣха всѣмъ честолюбивымъ его видамъ, и вдобавокъ къ всему этому — бѣдная дѣвушка, которая, по смерти отца и матери, получить пятьдесятъ душъ!... О, мой другъ! и пр. (ч. IV. стр. 258—299).—«Вотъ, какъ бы за нею было душъ хотъ двѣсти»—прибавилъ онъ... Тутъ явился Курочкинъ съ поклонами и трепетомъ, чуя бѣду; распечаталъ конвертъ — тамъ купчая на село Воздвиженское, состоящее изъ четырехъ сотъ тридцати семи душъ, со включеніемъ въ нихъ число и Курочкина; купчая на имя Мирошева... О, великодушный графъ!... И какъ все это кстати!... Добродѣтельный Мирошевъ простилъ Курочкина и, несмотря на сопротивленіе Прохора, отпустилъ его на волю даромъ. Тутъ какъ нарочно и старый Кирсановъ раскаялся въ своей гордости и — шастъ на дворъ... Боже мой, какъ все это кстати!... Говорите послѣ этого, что на землѣ нѣтъ счастья!...

Вы думаете — конецъ: нѣтъ еще! Авторъ понялъ, какъ больно читателю будетъ разстаться скоро съ такими прекрасными и нравственными людьми, каковы герои его несравненнаго романа: онъ показываетъ намъ ихъ всѣхъ ровно черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ знаменитаго дня чтенія купчей. Бывшая Варинька Мирошева, а теперь Варвара Кузминична Кирсанова, стала женщиною прекрасною, но дородною... Удивительное счастье для героинь романовъ г. Загоскина — чуть перестанутъ сантиментальничать и выражаться «высокимъ слономъ» — тотчасъ и разжирѣютъ: видная благодать Божія!... Марья Дмитриевна уже очень поустарѣла, а Кузьма былъ еще довольно свѣжъ. У дородной Варвары Кузминичны было двѣ дочери и сынъ. Авторъ показываетъ намъ всѣхъ ихъ за чаемъ, подъ липкою: умиленная картина семейственнаго счастья!... Тутъ сидитъ и старикъ Кирсановъ, и Новохопер-

скій городничій Костоломовъ, и Новохоперскій уѣздный врачъ Логиновъ, супругъ Дуниши. Изъ ихъ разговоровъ узнаемъ, что Алексѣй Панкратъичъ Курочкинъ, сынъ бывшаго прикащика, теперь уѣздный заседатель, — тотъ, что было дѣвъ въ женихъ Варинькѣ — попалъ въ уголовную. Вертлюгина по духовной покойнаго мужа владѣла его имѣніемъ; племянникъ его вступился и доказалъ, что духовная фальшивая, и что Вертлюгина вложила перо въ руку уже умершаго своего сожителя, и подписала такимъ образомъ духовную, а дуралей Курочкинъ подписался свидѣтелемъ... Боже мой! какія гнусныя дѣла творились въ тѣ блаженныя времена, когда «не благоговѣли передъ наукою, какъ передъ святынею, и не поклонялись искусству, какъ божеству, когда тверже вѣрили и пламеннѣе любили, чѣмъ теперь!»...

Далѣе, изъ разговоровъ собесѣдниковъ узнаемъ, что Прохоръ Кондратьевичъ — лежитъ при смерти, и не мудрено: ему уже за девяносто. Вдругъ докладываютъ, что умеръ и велѣлъ барину отдать какой-то ящикъ: въ немъ былъ образокъ, 10 цѣльковыхъ, двѣ игрушки и истертые дѣтскіе башмачки Мирошева...

Изъ этого длиннаго изложенія содержанія длиннаго романа г. Загоскина можете видѣть, читатель, какъ легко писать такіе романы для всякаго, кто только захочетъ писать: стоитъ развѣ оснѣлиться, а тамъ ужъ не трудно набить руку. О талантѣ, идѣяхъ и тому подобныя вещахъ нечего и говорить, когда рѣчь идетъ о такихъ романахъ. Спрашиваемъ прямо и не шутя: воужели сколько нибудь образованный и начитанный человѣкъ увидитъ въ Мирошевѣ и Кирсановѣ — героев романа, лица и характеры типическіе?... Скажите, чѣмъ они отличаются одинъ отъ другаго, и не похожи ли одинъ на другаго, какъ двѣ капли воды, взятые изъ одного и того же пруда?... Умные люди говорятъ, что въ Божіемъ мірѣ нельзя

сыскать двухъ листочковъ, совершенно сходныхъ между собою; а тутъ вдругъ два героя въ одномъ романѣ, которыхъ не чѣмъ отличить другъ отъ друга! Образъ мыслей ихъ одинъ и тотъ же, языкъ и фразы — тѣ же; притомъ въ нихъ нѣтъ ничего принадлежащаго къ ихъ времени. Неужели трудно выдумать, за одинъ присѣсть, сто такихъ героевъ, какъ двѣ капли воды похожихъ другъ на друга, и въ то же время ни на кого, ни на что, даже на самихъ себя, не похожихъ? И это искусство, литература, романъ... Но дайте... Но что говорить дайте? Вѣдь герои такъ же хороши, какъ и герои. Покрайней мѣрѣ, онѣ хоть жирѣютъ съ годами, слѣдовательно, намянутся хоть физически... А сахарныя сцены любви, приличные фразы приторныхъ чувствованій и водяныхъ ощущеній?... И это мы читаемъ въ 1842 году, и это будутъ хвалить пріятельскіе журналы и покупать доврчивые покупатели? А что за содержаніе романа? Человѣкъ получилъ чудеснымъ (т. е. несбыточнымъ) образомъ наслѣдство, и таковымъ же образомъ влюбился и женился, за неумѣиємъ и неспособностью сдѣлать что-нибудь болѣе необыкновенное. Этимъ бы слѣдовало и кончить; кажется и самъ авторъ такъ думалъ, но дописавъ послѣднюю страницу, вѣрно рѣшился продолжать на авось, доврившись не фантазіи, а рукѣ и перу... Во второй части являются новые уже герои: зачѣмъ же романъ названъ Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ? И опять — что за содержаніе? — Путаница несбыточно-счастливыхъ событій, страшныя хлопоты судьбы, нарушившей законы дѣйствительности, — и все это для того только, чтобъ оставить за Мирошевымъ его 50 душъ и наклеить носъ Курочкину!... Даже не для того, чтобъ соединить «законнымъ бракомъ» два безличныя, но добродѣтельныя существа: ибо старикъ Кирсановъ рѣшился переломить свою гордость и пріѣхать къ Мирошевымъ, ничего не зная объ окончаніи процесса. Слѣдовательно, процессъ,

наполняющій собою двѣ съ половиною части романа, не имѣетъ никакого отношенія къ судьбѣ «злополучныхъ любовниковъ»? Итакъ, къ чему же все это и за чѣмъ все это? Какой смыслъ, какая цѣль, какое намѣреніе? — И однакожь, въ романѣ есть все это: и смыслъ, и цѣль, и намѣреніе, только плохо выраженные, безталантно выполненныя. Но о нихъ сейчасъ.

Мы видѣли, что всѣ герои и героини романа г. Загоскина раздѣляются на три разряда № 1, добродѣтельные, № 2, злодѣи, № 3, лица комическія. Каковы первые—мы уже говорили. Вторые—карикатуры, въ которыхъ, однакожь, есть призракъ дѣйствительности, какъ, напримѣръ, въ негодяѣ Курочкинѣ. Третьи всѣхъ удачнѣе въ лицѣ Федосьи и Прохора. Это не личности, не характеры; но искусственныя олицетворенія сословія. Все это, разумѣется, лучше безцвѣтныхъ героевъ. Они, по крайней мѣрѣ, говорятъ человѣческимъ языкомъ—слѣдствіе вліянія Вальтера Скотта даже на «сочинителей» романовъ. Этотъ языкъ грубо и незнающо вѣренъ природѣ. Въ Прохорѣ заключена вся мысль романа; на немъ сосредоточено все вдохновеніе, весь пафосъ концепціи; онъ истинный и единственный герой романа. Ахиллъ этой вывороченной на изнанку «Иліады». Авторъ любитъ его, удивляется ему; онъ искренно жальветъ, что ужъ нѣтъ болѣе такихъ слугъ. Прохоръ является на первыхъ страницахъ романа и сходитъ съ него—на послѣдней. Въ немъ основная мысль, въ немъ смыслъ, цѣль и намѣреніе романа. Мысль эта — превосходство нравовъ старины передъ современными, разумности того времени, когда не благоговѣли передъ наукою, какъ передъ святынею, и не поклонялись искусству, какъ божеству... Странная незвисть къ наукѣ и искусству, удивительная вражда къ просвѣщенію!...

Героиня романа—Федосья. Въ ней мы видимъ неоспоримый документъ (запыленный, заплесневѣлый и подгнившій отъ

времени), доказывающей, что только во времена суевѣрія «умѣютъ и твердо вѣрить и горячо любить». Напрасно даровитый сочинитель не сдѣлалъ изъ Прохора и Фодосьи — злополучныхъ любовниковъ, въ концѣ романа преодолевшихъ всѣ препятствія и вступающихъ въ «законный бракъ». Тогда бы юное поколѣнiе нашего времени знало у кого учиться любить.

Но довольно, читатели! Если мы заняли ваше вниманiе разборомъ «Кузьмы Петровича Маршова» — это потому что романъ г. Загоскина есть типъ моральныхъ и сатирическихъ русскихъ романовъ нашего времени, глава всѣхъ ихъ. Скоро о подобныхъ явленiяхъ уже не будутъ ни говорить, ни писать, какъ уже не говорятъ и не пишутъ больше о Выжигиныхъ — и цѣль нашей статьи — ускориť по возможности это вождѣнное время, которое будетъ свидѣтельствомъ, что наша литература и общественный вкусъ сдѣлали еще шагъ впередъ...

ЧАСЫ ВЫЗДОРОВЛЕНІЯ (,) *стихотворенія А. Полежаева. Москва 1842.*

СТИХОТВОРЕНІЯ А. ПОЛЕЖАЕВА. Москва 1832.

КАЛЪЯНЪ. Стихотв. А. Полежаева. Москва. 1838.

АРФА. Стихотворенія А. Полежаева. Москва 1838.

И я жилъ, но я жилъ
 На погябель свою...
 Буйной жизнью убилъ
 Я надежду мою...
 Не расцвѣлъ, и отцвѣлъ
 Въ утрѣ пасмурныхъ дней;
 Что любилъ, въ томъ нашелъ
 Гибель ювени моей.
 Дуль унылъ, въ сердцѣ кровь
 Отъ тоски замерла,
 Миръ души погребла
 Къ шумной волѣ любовь...
 Не воскреснетъ она!...

А. Полежаевъ.

Первая изъ книгъ, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ этой статьи, заключаетъ въ себѣ оборышъ стихотвореній талантливаго Полежаева и не заслуживаетъ никакого вниманія. Это явно или — спекуляція на имя, или слѣдствіе необдуманнаго дружескаго усердія къ покойному автору. Тѣмъ не менѣе мы рады появленію этой книжки, потому что она даетъ намъ удобный случай поговорить о Полежаевѣ какъ о поэтѣ вообще, и сдѣлать критическую оцѣнку всей его поэтической дѣятельности.

Слава дается людямъ генимъ и не заиметь ни отъ какихъ случайныхъ отношеній. Противъ нея безсильны предубѣжденія, зависть и злоба. Они даже служатъ ей, стараясь уничтожить ее, — и если имъ удастся иногда погасить ея лучезарный блескъ, то не болѣе, какъ на минуту, и для того только, чтобы она явилась еще лучезарнѣе: такъ солнце является въ боль-

шевъ блескъ, когда пройдутъ мимо застилавшія его облака, а они не могутъ же не проходить мимо его! Время всегда на сторонѣ «славы», и опираясь на него, она торжествуетъ даже надъ самымъ временемъ. Но слава дается однимъ гениемъ, — и какъ между гениемъ и обыкновеннымъ человѣкомъ есть множество посредствующихъ ступеней и звеньевъ, называемыхъ «талантами» и «дарованіями», такъ и между «славою» и «неизвѣстностію», есть посредствующія величины славы, называемыя болѣе или меньшею «извѣстностію». Вотъ эти то таланты и дарованія, эти-то извѣстности болѣе или мене и испытываютъ на себѣ вліяніе случайныхъ отношеній и временныхъ обстоятельствъ, ничтожныхъ и бессильныхъ для гения и славы. Нельзя провести рѣзкой черты, отдѣляющей гений отъ таланта, ибо есть таланты близкіе къ гению, и вообще подобное разграниченіе окончательно совершается временемъ и вѣками. Въ этомъ вопросѣ, для насъ важно только то, что тѣмъ выше, сильнѣе, многостороннѣе, глубже, словомъ, огромнѣе талантъ — тѣмъ больше его извѣстность приближается къ славѣ, тѣмъ мене могутъ вредить ему случайныя отношенія; и наоборотъ: тѣмъ меньше и одностороннѣе талантъ, или низшая его степень — дарованіе, тѣмъ больше зависитъ оно не отъ самого себя, а отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, вліяніе которыхъ особенно сильно обнаруживается на него въ самое его возникновеніе и развитіе. Часто случается, что совершенно пустое и ничтожное дарованіе пользуется въ свое время громкою извѣстностію, похожею на славу, а истинный и замѣчательный талантъ проходитъ, незамѣченный толпою при жизни, забытый ею по смерти. И когда потокъ времени поглотитъ всѣ случайныя извѣстности и эфемерныя славы, тѣмъ не менее сталъ бы кто-нибудь воскрешать непризнанную славу вѣщю промелькнувшаго таланта: его вновь заслоняютъ вновь возникшія извѣстности, его слава, его творенія принадлежатъ

исключительно его времени, которое прошло для него и безплодно и безвозвратно. Потомство согласится, что онъ былъ выше тѣхъ, которые заслоняли его, но и на немъ не захочетъ остановить своего вниманія такъ же, какъ и на нихъ. Впрочемъ, нельзя сдѣлать общаго правила изъ такого случая, потому именно, что онъ случай. Часто бываетъ и наоборотъ: часто пальма первенства достойно дается современниками первому по достоинству; но въ томъ-то и состоитъ зависимость таланта отъ случайности, что онъ также можетъ быть признанъ современниками, какъ и не признанъ ими. Только мировые гении поставлены вѣдъ закона этой случайности, ибо не могутъ быть ни непризнанными, ни забытыми.

Конечно, не стоитъ и хлопотать о талантѣ, который умеръ не живя, и котораго имени нельзя воззвать къ жизни. Но этому могутъ противорѣчить два обстоятельства. Во первыхъ, истина и справедливость сами себѣ цѣль; для нихъ иногда можетъ быть важенъ предметъ болѣе по отношенію къ нимъ самимъ, чѣмъ къ себѣ самому. Во вторыхъ, если дѣло идетъ о такомъ талантѣ, который, будучи не признанъ при жизни, не можетъ вернуть должнаго себѣ послѣ своей смерти, не столько по недостатку въ силѣ, сколько по неразвитости, ложному направленію, или по причинамъ, скрывавшимся въ самой эпохѣ, въ которую онъ явился; тогда критикѣ стѣдуетъ и очень стѣдуетъ заняться имъ, какъ предметомъ замѣчательнымъ и поучительнымъ. Къ такимъ-то талантамъ принадлежитъ Полежаевъ. Теперь много именъ въ нашей литературѣ, пользующихся только прошедшею своею извѣстностію, и на этомъ выбюрокъ основаніи тщетно требующихъ себѣ вниманія равнодушной къ нимъ современности: и однакожъ всѣ они нѣкогда заслоняли собою Полежаева, котораго и теперь не видно изъ-за ихъ поблекшей извѣстности. И какъ имъ было не заслонить его? ихъ стихотворенія печатались въ Петербургѣ, издавались такъ кра-

сиво, сами они писали другъ къ другу посланія, участвовали въ пріятельскихъ журналахъ, и нѣкоторыхъ изъ нихъ самъ Пушкинъ нечестно величалъ своими сподвижниками... Стихи Пележаева ходили по рукамъ въ тетрадкахъ, журналисты печатали ихъ безъ просы у автора, который былъ далеко; наконецъ, они и падавались или за его отсутствіемъ, или безъ его вѣдома, на плохой бумагѣ, неопратно и грубо, безъ разбора и безъ выбора — хорошее вѣстѣ съ посредственнымъ, прекрасное съ дурнымъ...

Часто случается встрѣтить въ критикахъ и рецензіяхъ мнѣніе, что такой то поэтъ могъ бы приобрести себѣ прочную славу, но погубилъ свое дарованіе, увлекшись звономъ рѣимы, вычурностію въ выраженіяхъ, и т. и. Справедливо ли такое мнѣніе?—Можетъ быть и справедливо, только крайне односторонне, по нашему мнѣнію. Почему Шиллеръ великій поэтъ?— Потому что получилъ отъ природы великій геній. А почему Шиллеръ не погубилъ своего великаго генія, почему онъ не увлекся звономъ рѣимы, вычурностію выраженія? Потому что онъ получилъ отъ природы великую душу, которая презирала мелочами и стремилась къ одному истинному, великому и вѣчному. Видите ли: здѣсь причина прежде всего въ натурѣ поэта, которая, уже по самой сущности своей, не допустила бы его обити съ пути. Но, скажутъ намъ, поэзія Шиллера велика не одною силою художественнаго генія, не однимъ пламенемъ любви къ человечеству и къ истинѣ, но и мірообъемлющій, вѣчно-юный и вѣчно-развивающимся содержаниемъ, котораго только возможность лежала въ его натурѣ, но которое усовершено, развито и обогащено было имъ посредствомъ ученія и неослабнаго стремленія за современными интересами. Такъ; но опять-таки начало всего—въ натурѣ поэта, душа котораго вѣчно старала жаждою знанія, и сердца котораго вѣчно билось только для идеи. Потому, здѣсь причина еще и въ духѣ,

жизни и развитіи, словомъ — исторіи народа, среди котораго родился поэтъ, и наконецъ въ историческомъ моментѣ, въ которомъ засталъ поэтъ современное ему человѣчество. Это ужъ не его заслуга—это дѣло судьбы, вѣлвшій ему родиться Германцемъ, а не Китайцемъ. Природа вездѣ природа, человекъ вездѣ человекъ: и въ Китаѣ можетъ родиться поэтъ съ организаціею и духомъ Шиллера, но Шиллеромъ никогда не будетъ, останется Китайцемъ: онъ выразитъ своими твореніями бѣдное содержаніе китайской жизни и въ уродливыхъ китайскихъ формахъ; Китайцы будутъ имъ восхищаться, но Европеецъ не пойметъ его ни въ подлинникѣ, ни въ лучшемъ переводѣ. Таково вліяніе національности на духъ и достоинство твореній поэта: она, эта національность, дѣлаетъ его и великимъ и ничтожнымъ. Но если бы этотъ предположенный нами китайскій Шиллеръ и выдвинулся изъ своего народа, усвоивъ себѣ европейскую образованность и европейское знаніе, и тогда бы въ своихъ твореніяхъ былъ онъ только любопытнымъ фактомъ эволюціи духа человѣческаго, а не великимъ явленіемъ въ сферѣ творчества, ибо великій поэтъ можетъ возникнуть только на національной почвѣ. Содержаніе для поэта даетъ жизнь, а не наука: наука только обогащаетъ и развиваетъ это содержаніе. Не изъ книгъ почерпнулъ Шиллеръ свою ненависть къ униженному человѣческому достоинству въ современномъ ему обществѣ: онъ самъ, еще двѣтисѣ и юншей, перестрадалъ болѣзнями общества и перенесъ на себѣ тяжкое вліяніе его устарѣлыхъ формъ; наука только познакомила его съ причинами настоящаго, скрывавшимися въ вѣкахъ, уяснила вопросъ и дала сознательное направленіе энергической дѣятельности его могучаго духа. Равнымъ образомъ, не наукою постигъ онъ все великое и истинное въ среднихъ вѣкахъ: наука только уяснила ему этотъ вопросъ, а самый вопросъ возбудила въ немъ жизнь, ибо современная ему

цивилизация была результатомъ среднихъ вѣновъ, съ ихъ добромъ и зломъ. Болѣе ощутительно вліяніе науки на Шиллера въ его сочувствіи съ древнимъ міромъ; но и тутъ корень этого сочувствія скрывался въ исторіи его отечества, связанной съ исторією Рима, а чрезъ нее и съ исторією Греціи. Предполагаемый нами китайскій геній могъ бы усвоить себѣ только извнѣ европейскую образованность и просвѣщеніе: выросшая безъ почвы, она не принесла бы и плодовъ; не понятый соотечественниками, онъ не былъ бы оцѣненъ и Европейцами. Другое дѣло, еслибъ, родившись въ Европѣ, или перевезенный туда младенцемъ, онъ выросъ и развился въ духѣ и жизни той страны; но тогда бы онъ могъ быть только поэтомъ этой страны, а отнюдь не китайскимъ поэтомъ. Итакъ, два обстоятельства творять великихъ поэтовъ — натура и исторія. Вслѣдствіе этого, и величайшій по своей натурѣ и поэтическимъ силамъ поэтъ не можетъ достигнуть въ искусствѣ назначенной ему высоты, если онъ родился среди народа, котораго національность или лишена міроваго значенія, или еще не развилась до него; въ такомъ случаѣ, онъ можетъ быть ниже не только равныхъ ему, но и низшей натуры и меньшими творческими силами одаренныхъ поэтовъ, которыхъ геній воспитался на почвѣ національности, имѣющей міровое значеніе. При оцѣнкѣ степени достоинства того или другаго поэта, нельзя не брать въ соображеніе этого обстоятельства, если хотите быть справедливыми и многосторонними въ своемъ приговорѣ.

Все сказанное нами относится только къ тѣмъ великимъ поэтамъ, которые столько же принадлежатъ человечеству, сколько и своему отечеству, и къ которымъ, поэтому, такъ идетъ зпитеть «міровыхъ». Нельзя не быть великимъ поэтомъ, будучи міровымъ поэтомъ; но можно быть великимъ поэтомъ, не будучи міровымъ поэтомъ: эта разница не въ натурѣ поэта,

а въ историческомъ значеніи его отечества. Но гдѣ жизнь, тамъ и поэзія, а слѣдовательно и содержаніе для поэзіи. Только содержаніе можетъ быть истиннымъ мѣриломъ всякаго поэта, — и гениальнаго и просто даровитаго. Слѣдовательно, прежде, чѣмъ говорить: «такой-то поэтъ могъ бы быть великимъ, но погубилъ свое дарованіе», должно, на основаніи содержанія его поэзіи, показать сперва: дѣйствительно ли его талантъ былъ великъ, а потомъ: столько ли онъ былъ великъ, чтобы, опираясь на своей силѣ, не могъ сбиться съ настоящаго пути и утратить свою силу. А то говорятъ: «г. N N обѣщалъ много, но увлекся звономъ рѣмы — и изъ него не вышло ничего!» Но, милостивые государи! на чемъ же вы основываете, что онъ много обѣщалъ, если такіе пустяки, какъ звонъ рѣмы, или вычурность въ выраженіи, могли сбить его съ толку? Не все ли это равно, что сказать: «такой то господинъ подавалъ блестящія надежды быть великимъ полководцемъ; но, къ сожалѣнію, увлекшись врожденною трусостію, оставилъ военное поприще и рѣшился опредѣлиться въ становые приставы?» Если бы въ васъ было больше эстетическаго такта, то, увѣряемъ васъ — вы въ первыхъ же произведеніяхъ вашей мнимо-великой будущей надежды увидѣли бы только звонъ рѣмы и поняли бы, что больше звонаря изъ него ничего никогда не выйдетъ! Странно было бы назвать Лермонтова великимъ поэтомъ за двѣ написанныя имъ книжки; но о немъ всѣ говорятъ какъ о великомъ поэтѣ, ибо въ этихъ двухъ книжкахъ онъ далъ залогъ своего будущаго великаго развитія, — и никому, кромѣ людей, которые въ искусствѣ ничего не смыслятъ, — никому не прійдетъ въ голову сказать, что Лермонтовъ могъ бы современемъ погубить свой талантъ, увлекшись звономъ рѣмы, или вычурностію фразы. Такіе таланты обезсмысливаютъ себя не подобными пустяками, а развѣ тѣмъ, что, отрываясь отъ современныхъ интересовъ, предаются созерцательному отчужде-

нію отъ живой дѣятельности изыскаютъ въ поэтическомъ аскетизмѣ, или живутъ жизнью прошедшаго, холодные къ современному, которое, въ свою очередь, равнодушно къ ихъ завсѣгдашнимъ интересамъ.

Какъ бы то ни было, но если и для великихъ талантовъ возможно свое паденіе, тѣмъ болѣе возможно оно для дарованій второстепенныхъ. Но и въ отношеніи къ нимъ, мы все таки разумѣемъ не «решенный звонъ» и не «вычурную фразу», которыми способны увлекаться только дарованія внѣшнія, лишеныя внутренней самостоятельной силы, чуждыя всякаго содержанія. Гладкій и звучный стихъ, внѣ содержанія, обнаруживаетъ только способность къ формѣ поэтической; въ отношеніи къ истинной поэзии, онъ тоже самое, что риторика въ отношеніи къ истинному краснорѣчію. Чтобы стихъ былъ поэтическій, не только мало гладкости и звучности, но не достаточно и одного чувства: нужна мысль, которая и составляетъ истинное содержаніе всякой поэзии. Эта мысль даетъ себя чувствовать въ поэзии, какъ извѣстный взглядъ на извѣстную сторону жизни, какъ начало (principe), которымъ вдохновляются и живутъ творенія поэта. Каждый въѣтъ и каждое время питаетъ свою думу о жизни, стремится къ своимъ цѣлямъ, и источникомъ всѣхъ своихъ побужденій имѣетъ единое начало; и чѣмъ поэтъ выше, тѣмъ болѣе выражается въ немъ эта дума его времени. Всякое истинное содержаніе отличается жизненностью, вслѣдствіе которой оно движется впередъ, развивается, а не стоитъ, оцѣпенѣлое, на одномъ мѣстѣ, или, подобно попугаю, не повторяетъ вѣчно одного и того же, и притомъ одними и тѣми же словами. Вотъ почему истинные поэты постепенно, съ теченіемъ времени, становятся глубже и совершеннѣе въ своихъ твореніяхъ; и вотъ почему творенія истинныхъ поэтовъ располагаются умными редакторами не по родамъ, а въ хронологическомъ порядкѣ, сообразно съ време-

немъ появленіи на свѣтъ каждаго изъ нихъ. А откуда же возьмется это движеніе, эта постепенность совершенствованія, если поэтъ барабанить своими гладкими и звучными стихами вѣчно одно и то же, — напримеръ: студентскія попойки, звонъ рюмокъ, клонанье пробокъ, дѣву красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто? Тутъ можетъ быть услуга только языку и версификаціи, а отнюдь не поэзіи. И не диво, если такой стихотворецъ, ошибочно провозглашенный поэтомъ, скоро выкинется, вслѣдъ надеждъ старыми погудками на новый ладъ, или новыми погудками на старый ладъ, утратить даже свой бойкій, звонкій и гладкій стихъ, и, мертвый для всякихъ современныхъ, живыхъ интересовъ, по привычкѣ будетъ отъ времени до времени, влохмни стихами, воспѣвать, въ пріятельскихъ журналахъ, то рейнвейнгъ, который нѣжитъ такъ сказать глубокомысленно, то малагу, которую пьютъ, когда уже ничего другаго желудокъ не выноситъ?... Важное дѣло знать намъ, какое вино пьетъ господинъ стихотворецъ... После такой фамильярности съ доброю публикою, ему остается только уведомлять ее, разумеется, въ стихахъ, въ какомъ магазинѣ беретъ онъ свое вино. Оно бы и лучше: тогда стихи его иныи бы шли и достоинство хоть прайсъ-курантокъ, и потому хоть на что-нибудь годились бы... И послѣ этого еще говорятъ, что онъ много обѣщалъ, но жаль да, что, увлекшись звономъ рюмы, погубилъ свой талантъ!... Да въ рюмочномъ-то авонтѣ и заключался весь его талантъ, почтенные господа-архетархи!...

Но не лучше его и тѣ рюмотворцы, у которыхъ, кажется, что ни слово, то мысль, а какъ взглядишься — такъ что ни слово, то риторическая завитушка, или дикое сближеніе несближаемыхъ предметовъ. Одинъ изъ такихъ господъ, пожалуй, такъ опишетъ вамъ дружбу: «у меня, скажетъ онъ — есть въ сердце рана: она вѣчно истекаетъ кровью; ее нанесъ мнѣ другъ итъж-

ною рукою, и сквозь ту рану онъ смотритъ въ мое сердце», и тому подобно. Другой, пожалуй, пропищитъ: «что въ морѣ купаться, то де читать Данта; его стихи упруги и полны, какъ моря упругія волны». Третій чудакъ, пожалуй, соблазнясь этимъ образцовымъ примѣромъ, затянетъ: «что наказаны ѣсть съ пармезаномъ — то Петрарку читать; стихи его гладко скользятъ въ душу, какъ эти обмасленные, круглыя и длинныя бѣлыя нити скользятъ въ горло». Четвертый посоветуетъ юношамъ не «призывать вдохновенія на высь чела, вѣнчаннаго звѣздой», или станетъ воспѣвать грудь, которая «высоко взметалась безпредметною любовію»; любовь, которая «гнѣздится въ ущелияхъ сердецъ»; дѣву, которой станъ «поэтъ вѣсилъ въ вихрь круженія на огненной ладони»; струи времени, «возрастившія мохъ забвенія на развалинахъ любви»; гибкій станъ, въ которомъ «поэтъ утопляетъ горящую ладонь»; искру души, которая «прихотливо подлетѣла къ парѣ черненькихъ глазъ и умилно посмотрѣла въ окна своей хранины»; дѣву, которая, «сидя на жеребцѣ, гордится усѣствомъ», — и тому подобную дикую галиматью, которую иногда и на самомъ дѣлѣ выдають намъ за полную мыслей поэзію, и которую основательная критика должна преслѣдовать огнемъ и мечемъ, какъ преступленіе противъ здраваго смысла, языка, литературы и искусства... Нѣтъ, не такова поэзія, полная мысли: она проста, естественна, неизыскана, какъ творенія природы, выразившія собою мысль Творца... О такихъ рѣмачахъ, если только бываютъ на свѣтѣ такіе рѣмачи, нельзя говорить: «они много обѣщали, а мало сдѣлали»; но должно говорить: «они ничего не обѣщали хорошаго, и много написали вздорнаго».

Есть поэты, въ которыхъ нельзя не признать ни чувства, ни вдохновенія, ни поэтической формы, но о которыхъ, по первому же ихъ произведеніямъ, можно безошибочно сказать, что они недалеко пойдутъ и скоро выплывутся. Это тѣ односто-

ронія дарованія, которыя пробуждаются отъ какой-нибудь случайности — несчастія, утраты, и, открывъ въ душѣ своей за- таенный родникъ грустной поэзіи, скоро изчѣрпываютъ его весь, настроивъ свою лиру на одинъ тонъ; а потомъ, когда неглубокій родникъ истощится и пересохнетъ, уже по привычкѣ къ рюмамъ, продолжаютъ вяло и бездушно выговаривать то, что нѣкогда пѣлось у нихъ по крайней мѣрѣ искренно и тепло... Потомъ, это тѣ эфемерныя души, которыя бываютъ юны только во время юности; переживъ юность, онѣ тотчасъ же отцвѣтаютъ, и скоро мирятся съ прозою жизни. И слава имъ, если они, изъ поэтовъ сдѣлавшись агрономами, чиновниками, спекулянтами, совѣтъ забываютъ свою лиру для счетовъ, аршина или дѣловыхъ бумагъ; и позоръ имъ, если они вздумаютъ обманывать и себя и другихъ рюмованною стукотнею безчувственныхъ чувствъ и бессмысленныхъ мыслей!.. Юность дается человѣку только разъ въ жизни, и въ юности каждый изъ насъ доступенъ, чѣмъ въ другомъ возрастѣ, всему высокому и прекрасному. Благо тому, кто сохранитъ юность до старости, не давъ душѣ своей остыть, ожесточиться, окаменѣть.

Въ мертвящемъ упоеннѣ свѣтѣ,
 Среди бездушныхъ гордецовъ,
 Среди блистательныхъ глупцовъ,
 Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
 Шальныхъ, базованныхъ дѣтей,
 Злодѣевъ свѣтскихъ, и скучныхъ,
 Тупыхъ привазчивыхъ судей.
 Среди кокетокъ богомольныхъ,
 Среди холоповъ добровольныхъ,
 Среди всеневныхъ, модныхъ сценъ,
 Учтивыхъ, маленькихъ извѣтъ,
 Среди холодныхъ приговоровъ
 Жестокосердой суеты,
 Среди досадной пустоты
 Разчетовъ, думъ и разговоровъ.

Въ семь омутъ, гдѣ съ вами я
Купаюсь, милые друзья.

Да, возможное совершенство каждаго человѣка, то, къ чему долженъ и можетъ стремиться каждый человѣкъ, состоитъ именно въ томъ, чтобъ, и доживши до сѣдыхъ волосъ, даже у края могилы, не пережить своей юности... Но увы! сколь немногіе достигаютъ этого, и сколь многіе старѣются, когда еще не миновалась и юность ихъ! Эта разница происходитъ, при многихъ причинахъ, прежде всего отъ разницы въ натурахъ, съ которыми рождаются люди. Это же и главная причина, отчего одинъ поэтъ всю жизнь сохраняетъ свое вдохновеніе, а другой теряетъ его послѣ десятка хорошихъ, впрочемъ, стихотвореній. И напрасно о такихъ поэтахъ говорятъ: «какъ много обѣщаль онъ и какъ мало выполнилъ!» О такихъ, напротивъ, чаще можно говорить: «онъ обѣщаль еще меньше, нежели сколько выполнилъ»... «Но, говорятъ, еслибы онъ писалъ такъ, а не этакъ, воспѣвалъ то, а не это — онъ сохранилъ бы свой талантъ». Нѣтъ, милостивые государи, тому нѣтъ спасенія, кто въ самомъ себѣ, въ слабости своей натуры, носить своего врага... «Но еслибы онъ слушался критики?» — Поэтовъ творить природа и жизнь, а не критика, и для нихъ поучительнѣе критика на чужія сочиненія, чѣмъ на ихъ собственныя... «Однакожь, отчего же нибудь онъ сбился же?» — Для такихъ талантовъ на каждомъ шагу жизни стоятъ силки, и отчего бы то ни было, но имъ надо сбиться... Въ отношеніи къ нимъ, даже не интересно и изслѣдовать причины паденія.

Гораздо поучительнѣе паденіе такихъ поэтовъ, которые не такъ сильны, чтобъ не бояться паденія, и не такъ слабы, чтобъ выдохнуться незамѣтно и испариться въ болотной атмосферѣ житейской повседневности; но которые, или достигаютъ, при благоприятныхъ обстоятельствахъ той степени

развитія, что ихъ творенія дѣлаются капитальнымъ, хотя и второстепеннымъ сокровищемъ отечественной литературы; или, при неблагопріятствѣ судьбы, пролетаютъ по пути жизни блудящею кометою, являя своею жизнію и своими произведеніями зрѣлище печальное и поучительное. Таковъ былъ талантъ Полежаева...

Стихотворенія Полежаева начали являться въ печати съ 1826 года; но они были знакомы Москвѣ еще прежде, равно какъ и имя ихъ автора. Извѣстность Полежаева была двоякая, и въ обоихъ случаяхъ печальная: поэзія его тѣсно связана съ его жизнію, а жизнь его представляла грустное зрѣлище сильной натуры, побѣжденной дикою необузданностью страстей, которая, совративъ его талантъ съ истиннаго направленія, не дала ему ни развиться, ни созрѣть. И потому, къ своей поэтической извѣстности, не для всѣхъ основательной, онъ присокупилъ другую извѣстность, которая была проклятіемъ всей его жизни, причиною ранней утраты таланта и преждевременной смерти... Это была жизнь буйнаго безумія, способнаго возбудить къ себѣ и ужасъ и состраданіе: Полежаевъ не былъ жертвою судьбы и, кромѣ самого себя, никого не имѣлъ права обвинять въ своей гибели. Полежаева уже нѣтъ, и потому о немъ можно говорить прямо и открыто: подобная откровенность никого не оскорбитъ, но многимъ будетъ поучительна. Онъ былъ явленіемъ общественнымъ, историческимъ; — и, говоря о немъ, мы говоримъ не о частномъ человѣкѣ. Къ тому же, въ нашемъ сужденіи о Полежаевѣ, мы будемъ основываться не на какихъ-нибудь постороннихъ и сомнительныхъ свидѣтельствахъ, а на его собственныхъ поэтическихъ признаніяхъ: ибо всѣ лучшія его произведенія суть не иное что, какъ поэтическая исповѣдь его безумной, страдальческой жизни. Мы пишемъ не для того, чтобъ осуждать, а для того, чтобъ поучать и поучаться изъ такого разительнаго прижитра:

могла мирить все, и надъ нею должны раздаваться не проклятія и осужденія, а слова примиренія и благословенія...

Слишкомъ рано понявъ безотчетнымъ чувствомъ, что толпа жила и держалась правилами, которыхъ смысла сама не понимала, но къ которымъ равнодушно привыкла, Полежаевъ, подобно многимъ людямъ того времени, не подумалъ, что онъ могъ и долженъ былъ уволить себя только отъ понятій и нравственности толпы, а не отъ всякихъ понятій и всякой нравственности. Освобожденіе отъ предрасудковъ онъ счелъ освобожденіемъ отъ всякой разумности, и началъ обожать эту буйную свободу. Свобода была его любимымъ словомъ, его любимую рюмою, — и только въ минуты душевной муки понималъ онъ, что то была не свобода, а своеволие, и что наиболѣе свободный человѣкъ есть въ то же время и наиболѣе подчиненный человѣкъ. Избытокъ силъ пламенной природы заставилъ его обожать другаго, еще болѣе страшнаго идола — чувственность. Для человѣка необходимъ періодъ идеальныхъ, восторженныхъ стремленій: перешедъ черезъ него, онъ можетъ отрѣшиться отъ всего мечтательнаго и фантастическаго, но уже не можетъ остаться животнымъ даже въ своихъ чувственныхъ увлеченіяхъ, которыя у него будутъ смягчены и облагорожены чувствомъ красоты и примутъ характеръ эстетическій. И Полежаевъ пережилъ этотъ періодъ идеальнаго чувства, но уже слишкомъ не во время, какъ мы увидимъ. Сначала, онъ, который не имѣлъ права сказать о себѣ, что не зналъ мятежнаго волненія страстей, — онъ имѣлъ право сказать:

Какъ минутамъ
 Прагъ въ зенитъ,
 Безпріютамъ
 Странякъ въ міръ,
 Одинокъ,
 Какъ челнокъ,
 Узъ любви

Я не зналъ
 Жадой крови
 Не старалъ!

Онъ имѣлъ право, не клевета на самого себя для краснаго словца, сказать красавицѣ, не сводившей съ него задумчивыхъ очей и припадавшей къ нему на грудь въ порывахъ забвенія:

Ты ничего въ меня вдохнуть
 Не можешь, кромѣ сожалѣнья!
 Меня не въ силахъ воскресить
 Твоя горячая лобзанья,
 Я не могу тебя любить,
 Не для меня очарованья!

 Я рано сорвалъ жизни цвѣтъ;

 И прежнихъ чувствъ и прежнихъ лѣтъ
 Не возвратитъ ничто земное!.
 Еще мнѣ милы—красота
 И дѣвы пламенные взоры;
 Но сердце мучитъ пустота,
 А совѣсть—врачные укоры!
 Люби другаго: будь твоимъ
 Я не могу, о другъ мой милый!..
 Ахъ, какъ ужасно быть живымъ,
 Полуразрушась надъ могилкой!

И потому не удивительно, если не во-время и не-впору явившееся мгновеніе было для поэта не вѣстникомъ радости и блаженства, а вѣстникомъ гибели всѣхъ надеждъ на радость и блаженство, и исторгнуло у его вдохновенія не гимнъ торжества, а вотъ эту страшную, похоронную пѣснь самому себѣ:

О грустно мнѣ! Вся жизнь моя — гроза!
 Наскучилъ я обителью земною!
 Зачѣмъ же вы горите предо мною,
 Какъ райскіе лучи предъ сатанею,
 Вы — черные волшебные глаза!
 Увы! давно печалью, равнодушнѣмъ,

Я привыкалъ къ злой моей судьбѣ:
 Неметовый, безжалостный къ себѣ,
 Презрѣлъ ее въ отчаянной борьбѣ,
 И гордо былъ несчастію послушенъ!
 Старинный рабъ мучительныхъ страстей,
 Я испыталъ нѣкъ бремя роковое —
 И буйный духъ, и сердце огненное
 Давно смирилъ въ обманчивомъ покоѣ,
 Какъ лютый врагъ покоя и людей!
 Въ моей тоскѣ, въ неволѣ безотрадной,
 Я не страдалъ, какъ робкая жена;
 Меня несла противная волна,
 Несла на смерть — и гибель не страшна
 Казалась мнѣ, въ лучинѣ безпощадной.
 И мракъ небесъ, и громъ, и черный валъ,
 Любилъ встрѣчать я думою суровой,
 И свисту бурь, подъ молніей багровою,
 Внимать, какъ мужъ, отважный и готовый
 Испить до дна губительный фіалъ...
 И погрузясь въ преступныя сомнѣнья
 о цѣль бытія,
 Я трепеталъ, чтобъ истина меня,
 Какъ яркій лучъ, внезапно ослѣя,
 Не извлекла изъ тьмы ожесточенья.
 Мнѣ страшень былъ великій переходъ,
 Отъ дерзкихъ думъ до свѣта провидѣнья;
 Я набѣгалъ невиннаго творенья,
 Которое бы могло, изъ сожалѣнья,
 Моей душѣ дать выпрєннѣй полетъ —
 И вдругъ оно, какъ ангелъ благодатный...
 О, нѣтъ! — какъ духъ заражающій и злой,
 Свѣтъѣ дня явилось предо мной,
 Съ улыбкой розъ, пылающихъ весной,
 На журавѣ долины ароматной!...
 Явилось... все исчезло для меня:
 Я позабылъ, въ мучительной неволя,
 Мою любовь и ненависть къ природѣ,
 Безумный пылъ къ утраченной свободѣ,
 И все, чѣмъ жилъ, дышалъ доселѣ я...
 Въ ея очахъ, алмазныхъ и привѣтныхъ
 Увидѣлъ я съ невольнымъ торжествомъ,

Земной эдевъ! .. Какъ-будто существовъ
 Другихъ мировъ — какъ-будто божествовъ
 Исполненъ былъ въ мечтаніяхъ завѣтныхъ.
 И дѣва-рай, и дѣва-красота
 Лила мнѣ въ грудь невыразимымъ взоромъ
 Невинную любовь, съ таинственнымъ укоромъ,
 И пѣла въ ней душа небеснымъ хоромъ:
 Люби меня! И въ очи и въ уста
 Любиай меня! пѣвецъ осиротѣлый,
 Какъ мотылекъ лилюю поутру!
 Люби меня, какъ милую сестру.
 И снова я и къ небу, и къ добру
 Направляю твой разсудокъ омертвѣлый!...

И что жъ? Совершилось ли возрожденіе — этотъ великій актъ любви? и святая власть женственнаго существа побѣдила ли ожесточенную мужскую твердость? — Нѣтъ! поэтъ не воскресъ, а только пошевелился въ гробѣ своего отчаянія: солнечный лучъ поздно упалъ на поблекшій цвѣтъ его души.... Остальная половина этого стихотворенія, или лучше сказать, этой поэтической исповѣди, отличается тою хаотической неопредѣленностью, въ какую погрузило душу поэта его полу-возрожденіе: и какъ ничего положительнаго не могло выйти изъ новаго состоянія души поэта, такъ ничего не вышло и изъ стихотворенія, въ которомъ онъ сманился его выразить. Эта неопредѣленность отразилась и на стихахъ: стихъ, доселѣ поэтический, даже крѣпкій и сжатый, становится прозаическимъ, вялымъ и растянутымъ, и только мѣстами сверкаетъ прежнимъ огнемъ, какъ угасающій вулканъ; цѣлыя куплеты ничего не заключаютъ въ себѣ, кромѣ словъ, въ которыхъ видно одно тщетное усиліе что-то сказать. Можно догадываться изъ этихъ стиховъ, что душа поэта пережила его тѣло и, живой трупъ, онъ умираетъ медленною смертію, тошнымъ уже безплодными желаніями... Страшное состояніе! И какъ же нематны, послѣ этого, стихи Полежаева.

Ахъ, какъ ужасно быть живымъ,
Полуразрушась надъ могилою!...

Эти «черные глаза», очевидно, были важнымъ, хотя уже и безвременнымъ фактомъ въ жизни Полежаева: скорбному воспоминанію о нихъ посвящена еще цѣлая, и притомъ прекрасная пьеса — «Грусть».

Но это только мгновеніе въ жизни поэта; другая любовь неотступно жила съ нимъ и погубила его — это та, о которой онъ самъ сказалъ:

Въ сердцѣ кровь
Отъ тоски замерла,
Миръ души погребла
Къ шумной волѣ любовь!
Не воскреснетъ она!

Эта то любовь, извлекавшая столько грязныхъ пѣсенъ, извлекала иногда и поэтическіе звуки изъ души поэта, какъ въ прекрасной пѣснѣ его — «Цыганка». Но апофеозу идола, спалившего цвѣтъ жизни поэта, представляетъ его пьеса «Гаремъ». Въ этомъ драмѣ выражено объясненіе ранней гибели его таланта... Онъ извѣстенъ былъ подъ названіемъ «Ренегата», и по множеству имѣлъ цинически безстыдныхъ и безумно вдохновенныхъ, не могъ быть напечатанъ вполнѣ. Азія — колыбель младенческаго человѣчества и, какъ элементъ, не могла не войти и въ жизнь возмужавшаго и одухотворившагося Европейца, но какъ элементъ — не больше; исключительное же ея обожаніе — смерть души и тѣла, позоръ и гибель при жизни и за могилою... Полежаевъ жилъ въ Азіи, а Европа только на мгновеніе шевелила его душу; удивительно ли что онъ

Не расцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней,
Что любилъ, въ томъ нашолъ
Гибель жизни своей?

Отличительный характер поэзии Полежаева — необыкновенная сила чувства. Явившись в другое время, при более благоприятных обстоятельствах, при науке и нравственном развитии, талант Полежаева принес бы богатые плоды, оставил бы после себя замечательные произведения и занял бы видное место в истории русской литературы. Мысль для поэзии то же, что масло для лампы: с нею она горит пламенем ровным и чистым, без него вспыхивает по временам, издаёт искры, дымится чадом и постепенно гаснет. Мысль всегда движется, идёт вперёд, развивается. И потому творения замечательных поэтов (не говоря уже о великих) постепенно становятся глубже содержанием, совершеннее формой. Полежаев остановился на одном чувстве, которое всегда безотчетно и всегда заперто в самом себе, всегда вертится около самого себя, не двигаясь вперёд, всегда монотонно, всегда выражается в однообразных формах.

В пьесе «Ночь на Кубани», вопль отчаяния смягчен какою то грустью и совпадает с единственно-возможною надеждою на прощенье отъ подобнаго себѣ несчастливца, собственнымъ опытомъ познавашаго, что такое несчастіе.

Лишь онъ одинъ постигнуть можетъ,
 Лишь онъ одинъ пойметъ того,
 Чье сердце червь могильный гложетъ!
 Какъ пальма въ зеркалѣ ручья,
 Какъ тѣнь налетная въ лазури,
 Въ немъ отразится послѣ бури
 Душа унылая моя;

Естественно, что Полежаевъ, въ свѣтлую минуту душевнаго уныленія, обрѣлъ столько еще тихаго и глубокаго вдохновенія, чтобы такъ прекрасно выразить одно изъ величайшихъ преданій Евангелія, въ пьесѣ «Грѣшница». Можетъ-быть, послѣ этого, намъ будетъ легче и поучительнѣе внимать страшнымъ

признаніямъ поэта... Тяжесть паденія его была бы не вполне обнята нами безъ двухъ піесъ его — «Живой мертвецъ» и «Цѣпи». «Вечерняя заря», одна изъ лучшихъ піесъ Полежаева, есть та же погребальная пісня всей жизни поэта; но въ ней отчаяніе растворено тихою грустью, которая особенно поразительна при сжатости и могучей энергіи выраженія — обыкновенныхъ качествъ его поэзии. Но Полежаевъ зналъ не одну муку паденія: онъ зналъ также и торжество возстанія, хотя и мгновеннаго; съ энергической и мощной лиры его слетали не одни диссонансы, проклятія и вопли, но и гармонія благословеній... Такъ въ піесѣ:

Я погибалъ;
Мой злобный геній
Торжествовалъ!

Въ другое время, сорвались съ его лиры звуки торжества и возстанія, но уже слишкомъ поздняго, и уже не столь сильные и громкіе: посмотрите, какая нескладница въ большой половинѣ піесы «Раскаяніе», какъ хорошіе стихи итѣшаются въ ней съ плохими до бессмыслицы, и какъ торжественно окончаніе ея; оно можетъ служить образцомъ того, что называется въ эстетикѣ «высокимъ».

Полежаевъ никогда бы не былъ однимъ изъ тѣхъ поэтовъ, которыхъ главное достоинство — пластическая художественность и виртуозность формъ; которыхъ значеніе бываетъ такъ велико въ формѣ собственно искусства, и такъ не велико въ сферѣ общей, объемлющей собою не одно искусство, но и всю область духа; въ которыхъ такая бездна поэзии, и такъ мало современныхъ вопросовъ, такъ мало общихъ интересовъ... Талантъ Полежаева могъ бы сдѣлаться бессмертнымъ, если бы воспитался на плодородной почвѣ историческаго міросозерцанія. Въ его поэзии мало содержанія; но изъ нея же видно, что она, по своему духу, должна была бы развиваться прениму-

дественно въ поэзію содержанія. Отсеявъ эт. стиха, сжатость и рѣзкость выраженія. Но .
 стаетъ отдѣлки, точности въ словахъ и выраженіи. Ною этого было сколько то, что онъ небрежно зав.
 ззіемъ и никогда не отдѣлывалъ окончательно своихъ с.
 реній, замѣняя неточныя выраженія опредѣленными, с.
 стихи — сильными, растянутыя мѣста — сжатыми; столько
 то, что, оставшись при одномъ непосредственномъ чувствѣ,
 онъ не развѣялъ и не возвысилъ его, наукою и размышленіемъ,
 до вкуса. Другой важный недостатокъ его поэзіи, тѣсно свя-
 занный съ первымъ, состоитъ въ неумѣнн овладѣть собствен-
 ную мыслію и выразить ее полно и цѣлостно, не примѣшивая
 къ ней ничего посторонняго и лишняго. Причина этого опять
 въ неразвитости и происходящей изъ нея неясности и неопрѣ-
 дѣленности созерцанія. Поучительнымъ для молодыхъ поэтовъ
 примѣромъ подобной невыдержанности могутъ служить двѣ
 прекрасныя, но испорченныя піесы Полежаева, въ совершен-
 но различныхъ родахъ. Первая называется «Море», а вторая
 «Баю, баюшки-баю». Какая грубая ситсь прекраснаго съ низ-
 кимъ и безобразнымъ, граціознаго съ безвкуснымъ! Окончаніе
 послѣдней піесы, въ которомъ заключена вся мысль ея, сто-
 яло чтобъ для нея выписать всю піесу. Истинное эстетиче-
 ское чувство и истинный критическій тактъ состоятъ не въ
 томъ, чтобъ, замѣтивъ несовершенство, или дурныя мѣста въ
 произведеніи, отбросить его отъ себя съ презрѣніемъ, но чтобъ
 не пропустить немногаго хорошаго и во многомъ дурномъ оцѣ-
 нить его и насладиться имъ. Впрочемъ, съ лиры Полежаева
 сорвалось нѣсколько произведеній, безукоризненно прекрас-
 ныхъ. Такова его дивная «Пѣснь плѣннаго Ирокезца» — этотъ
 высокій образецъ благородной силы въ чувствѣ и выраженіи;
 такова его прекрасная по мысли, хотя и не безусловно непо-
 грѣшительная по выраженію, піеса «Божій Судъ»; таковъ его

переводъ піесы Байрона «Вальтасаръ», который нѣкогда былъ неправо присвоенъ себѣ однимъ стихотворцемъ и напечатанъ въ «Московскомъ Телеграфѣ»,—что и произвело большіе споры между этимъ журналомъ и «Галатеею», гдѣ спорная піеса была получена изъ настоящаго источника.—Есть у Полежаева нѣсколько піесъ въ народномъ тонѣ; тонъ ихъ не вездѣ выдержанъ, но онѣ вообще показываютъ въ нашемъ поэтѣ большую способность къ произведеніямъ этого рода. Таковы «У меня ль молодца», «Окно», «Долго ль будетъ вамъ безъ умолку идти», «Тамъ на небѣ высоко» и «Узникъ». Последняя особенно невыдержана и, несмотря на то, особенно прекрасна. Доказательствомъ же, что въ натурѣ Полежаева лежало много человѣческихъ элементовъ, можетъ служить его стихотвореніе на погребеніе дѣвушки.

Полежаевъ свободно владѣлъ и языкомъ и стихомъ: изысканность въ выраженіяхъ происходила у него отъ небрежности въ трудѣ и отъ недостатка въ развитіи. Онъ часто какъ-будто игралъ стихами, выбирая трудные по короткости стиховъ размеры, гдѣ одна рима могла бы стать непреоборимымъ препятствіемъ. Можно ли выказать больше одушевленія, чувства, и въ такихъ прекрасныхъ стихахъ, какъ въ піесѣ «Піесь погибающаго пловца», писанной двухстопными хорееми съ римами. «Вальтасаръ» можетъ служить доказательствомъ необыкновенной способности Полежаева переводить стихи. Только ему надо было переводить что-нибудь, гармонизировавшее съ его духомъ, и преимущественно лирическія произведенія, по причинѣ субъективной настроенности его природы. Не развитость его была причиною неудачнаго выбора піесъ для перевода. Полежаевъ съ жадностію переводилъ водяныя «медитатіи» Ламартина, которыя всего вѣрнѣе можно назвать «риторическими разглагольствованіями». Онъ перевелъ ихъ съ подложниву, и притомъ самыхъ длинныхъ. Переводы его пре-

красны и если чрезвычайно скучны, то это ужь вина Ламартина, а не Полежаева.

Мы выше сказали, что натура Полежаева была чисто субъективная. Поэтому, настоящимъ его призваніемъ была лирическая поэзія, и всѣ попытки его на поэмы были весьма неудачны. Поэма его «Кориоланъ» отличается риторическимъ характеромъ; звучныхъ стиховъ въ ней много, но поэтическихъ весьма мало. Этому причиною и неразвитость его: онъ не понималъ ни духа римскаго народа, ни историческаго значенія избраннаго имъ героя. И потому, содержаніе его «Кориолана» — общія риторическія мѣста. То же можно сказать, не боясь ошибиться, и о другой его поэмі «Видѣніе Брута». Даже и лирическія его произведенія, отличающіяся длиннотою, относятся къ такимъ же неудачнымъ попыткамъ, какъ напр. піеса «Грешенчугское кладбище». Впрочемъ, длинныя лирическія произведенія и у какого угодно поэта рѣдко бываютъ хорошими произведеніями. Полежаевъ много писалъ въ сатирическомъ родѣ — и это самыя неудачныя, самыя жалкія его попытки. Таковы: «Иманъ Козель», «День въ Москвѣ», «Кредиторы», «Чудакъ», «Авторъ и Читатель» и разныя мелочи. Всѣ онѣ отзываются дурнымъ тономъ харчевенъ и простонародныхъ ресторацій, и могутъ восхищать своимъ остроуміемъ развѣ ту почтенную публику, которая съ господскими шубами на рукахъ присутствуетъ въ корридорахъ театровъ и въ прихожихъ домовъ. Это происходило не отъ недостатка у поэта въ природномъ остроуміи, а отъ того круга общества, въ которомъ онъ погубилъ свой талантъ, свое счастье и свою жизнь. Піеска «Тарки» — показываетъ, что онъ не чуждъ былъ юмористической веселости, но что ему не доставало лишъ тонкаго эстетическаго такта приличія.

Нельзя не пожелать, чтобъ люди, имѣющіе право на собственность сочиненій Полежаева и такъ дурно издающіе ихъ —

издали бы ихъ опрятно, на хорошей бумагѣ, безъ искаженія стиховъ, безъ грамматическихъ ошибокъ, безъ опечатокъ, а главное — съ разборомъ и съ толкомъ, исключивъ нелѣпыя сатирическія піесы, о которыхъ мы говорили, и плоскія эпиграммы («Картина», «Напрасное подозрѣніе»); надутыя и пустозвонныя торжественныя оды («Въ память благотвореній», «Геній») и всѣ слабыя изъ мелкихъ лирическихъ піесъ. Безъ этого хлама, книжка выйдетъ небольшая, за то прекрасная по содержанію и необходимая для каждаго любителя отечественной литературы. Можно, если угодно, включить въ нее и «Оскара Альескаго» и всѣ переводы изъ Ламартина и Делавиня, для почитателей этихъ поэтовъ и для образца способности Полежаева къ переводамъ; но въ такомъ случаѣ, всѣхъ ихъ должно соединить въ одномъ отдѣлѣ, въ концѣ книги, не мѣшая съ мелкими піесами. Можно включить въ нее и эпическіе опыты — «Кориолана» и «Видѣніе Брута», какъ фактъ ложнаго развитія сильнаго дарованія; но опять съ условіемъ, чтобъ они были помѣщены въ особомъ отдѣлѣ. Вотъ перечень мелкихъ піесъ, которыя могутъ войти въ дѣльное изданіе сочиненій Полежаева: «Посвященіе другу его А. П. Л — му»; «Морни и тѣнь Кормала» (изъ Оссіана); «Вальтасаръ»; «Море»; «Водопадъ»; «Живой Мертвецъ»; «Ожесточенный»; «Провидѣніе»; «Цѣпи»; «Погребеніе»; «Вечерняя Заря»; «Пѣснь плѣннаго Ирокезца»; «Пѣснь погибающаго пловца»; «Любовь»; «Звѣзда»; «Зачѣмъ задумчивыхъ очей»; «У меня ль молодца»; «Тамъ на небѣ высоко»; «Пышно льется свѣтлый Терекъ»; «Черкесскій романсъ»; «Ночь на Кубани»; «Черная Коса»; «Мертвая голова»; «Гаремъ»; «Табакъ»; «Тарки»; «Цыганка»; «Раскаваніе»; «Лунный свѣтъ» (изъ В. Гюго); «Ахалукъ»; «Приваніе»; «Окно»; «Отрывокъ изъ Посланія къ А. П. Л — му»; «Черные глаза»; «Божій Судъ»; «Негодованіе»; «Грѣшница»; «Грусть»; «Долго ль будетъ вамъ безъ умолку идти»; «Про-

шаніе»; «Узникъ»; «Баю-баюшки-баю». Сверхъ того, въ одноѣ московскомъ журналѣ, чуть ли не въ «Галатѣ» 1830 года, былъ напечатанъ замѣчательный по своему поэтическому достоинству отрывокъ изъ какого-то большаго стихотворенія Полежаева; мы не помнимъ его названія, но помнимъ стихи, которыми онъ начинается:

..... И я въ тюрьмѣ...
 Передо мной едва горитъ
 Фитиль въ разбитомъ черепкѣ,
 Съ ружьемъ въ ослабленной рукѣ,
 У двери дремлетъ часовая...

Вотъ все, что можетъ и должно войти въ порядочное изданіе стихотвореній Полежаева.

Отличительную черту характера и особенности поэзіи Полежаева составляетъ необыкновенная сила чувства, свидѣтельствующая о необыкновенной силѣ его натуры и духа, и необыкновенная сила сжатаго выраженія, свидѣтельствующая о необыкновенной силѣ его таланта. Правда, одна сила еще не все составляетъ: важны подвиги, въ которыхъ бы она проявилась; Раппо одаренъ чрезвычайною силою, но играть чугунными шарами, какъ мячками, еще не значитъ быть героемъ. Такъ; но вѣдь все же не Раппо ходитъ смотрѣть на людей и дивиться имъ, а толпы людей ходятъ смотрѣть на него и дивиться ему. И въ сферѣ своихъ подвиговъ не выше ли онъ тѣхъ людей, которые почитаютъ себя силачами, и кричатъ подъ тяжестію не по силамъ, надрываясь отъ натуги, думаютъ удивлять людей силою!... Мы не видимъ въ Полежаевѣ великаго поэта, котораго творенія должны перейти въ потомство; мы безпристрастно высказали, что онъ погубилъ себя и свой талантъ избыткомъ силы, неуправляемой браздами разума; но въ то же время, мы хотѣли показать, что Полежаевъ и въ паденіи замѣчательнѣе тысячи людей, которые никогда не спотыкались и не

падали, выше многихъ поэтовъ, которые превознесены ослѣпленіемъ толпы, и что его паденіе и поэзія глубоко поучительны; мы хотѣли показать, что источникъ всякой поэзіи есть жизнь, что судьба всякаго могучаго таланта — быть представителемъ извѣстнаго момента общественнаго развитія, и что, наконецъ, могутъ падать только сильные, замѣчательные таланты... При другихъ условіяхъ, поэзія Полежаева могла бы развиваться, разцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ и дать плодъ сторлицю: возможность этого видна и въ томъ, что имъ написано при ложномъ его направленіи, при неестественномъ развитіи. Мы необинуя съ скажемъ, что изъ всѣхъ поэтовъ, явившихся въ первое время Пушкина, исключая гениальнаго Грибоѣдова, который образуетъ въ нашей литературѣ особую школу, — несравненно выше всѣхъ другихъ и достойнѣе вниманія и памяти — Полежаевъ и Веневитиновъ... Къ буйной и страдающей музѣ Полежаева можно примѣнить эти стихи Пушкина:

И мимо всѣхъ условій свѣта
Стремится до утраты силъ,
Какъ беззаконная комета
Въ вдругу расчисленномъ свѣтилъ...

Комета — явленіе безобразное, если хотите, но ея страшная красота для каждаго интереснѣе мгновеннаго блеска падающей звѣзды, случайно возникающей и безъ слѣда исчезающей на горизонтѣ ночнаго неба...

РѢЧЬ О КРИТИКѢ, произнесенная въ собраніи Императорскаго Санктпетербургскаго Университета, марта 25-го дня 1842 года, экстра-ординарнымъ профессоромъ, А. Никитенко. Спб. 1842.

1.

Духъ анализа и изслѣдованія — духъ нашего времени. Теперь все подлежитъ критикѢ, даже сама критика. Наше время ничего не принимаетъ безусловно, не вѣритъ авторитетамъ, отвергаетъ преданіе; но оно дѣйствуетъ такъ не въ смыслѣ и духѣ прошедшаго вѣка, который, почти до конца своего, умѣлъ только разрушать, не умѣя созидать; напротивъ наше время алчетъ убѣжденій, томится голодомъ истины. Оно готово принять всякую живую мысль, преклониться предъ всякимъ живымъ явленіемъ; но оно не спѣшитъ имъ навстрѣчу, а спокойно ожидаетъ ихъ къ себѣ, безъ страсти и увлеченія. Боясь разочарованія, оно боится и очаровываться на-скоро. Какъ-будто враждебно смотритъ нашъ, закаленный въ буряхъ ученій и событій вѣкъ, на все новое, которое претендуетъ замѣнить ему неудовлетворяющее его старое; но эта враждебность есть въ сущности только благоразумная осторожность, плодъ тяжелыхъ опытовъ. Нашъ вѣкъ и воснищается какъ-будто холодно; но эта холодность у него не въ сердцѣ; а только въ манерѣ; она признакъ не старости, а возмужалости. Скажемъ болѣе; эта холодность есть сосредоточенность внутренняго восторга, плодъ самообладанія, умѣющаго видѣть всему настоящее мѣсто и настоящія границы; равно презирающаго и некуственную, на живую нитку сметанную золотую середину — этого идола посредственности, и фанатическое увлеченіе крайностями, этой болѣзни одностороннихъ умовъ. И это покажется намъ очень естественнымъ, когда вспомнимъ, что послѣдняя

половина прошедшаго и еще неокончившаяся половина настоящаго вѣка могутъ многіе изъ своихъ дней называть вѣками: такъ много въ продолженіи ихъ было испытано и пережито чело-вѣчествомъ. Юноша на все бросается горячо и опрометчиво: ему ничего не стоитъ пасть на колѣни, воздѣть руки горѣ и обоготворить то, къ чему черезъ минуту онъ будетъ или холо-дець, или враждебень. Мужъ, искушенный опытомъ, не скоро поддается увлеченію: онъ сперва хочетъ изслѣдовать и повѣ-рять, онъ начинаетъ съ сомнѣнія и если что выдержать его строгое, холодное изслѣдованіе, то уже не на мигъ овладѣетъ его любовью и уваженіемъ. Возмужалый человѣкъ доволенъ чувствомъ, и не хлопочетъ, чтобъ это чувство замѣчали другіе: онъ дорожитъ имъ для него самого, и скорѣе поста-рается скрыть его, чѣмъ обнаружить. Юноша все любитъ для восторга, и восторгъ давить и рветъ грудь ему, если онъ не сообщитъ его другимъ. На нашъ вѣкъ много нападокъ, и весь-ма справедливыхъ. Дѣйствительно, это вѣкъ какой то нервни-мости, разъединенія, индивидуальности, вѣкъ личныхъ стра-стей и личныхъ интересовъ (даже умственныхъ), вѣкъ перехода, вѣкъ, котораго одна нога уже переступила за порогъ невѣ-домаго будущаго, а другая осталась на сторонѣ отжившаго прошедшаго; и который оборачивается то назадъ, то впередъ, не зная, куда двинуться. Все это правда; но въ то же время, правда и то, что этотъ вѣкъ уже такъ опытенъ, такъ уменъ, такъ много помнитъ и знаетъ, что не можетъ рѣшиться играть роль паладина среднихъ вѣковъ, жить мечтами и ломать копья за невѣдомую красоту, или, подобно донъ Кихоту, увѣрять себя въ несравненной красотѣ какой-нибудь безобразной Дуль-циней, за неимѣніемъ въ наличности красоты дѣйствительно существующей.

Да, пришли безвозвратно блаженные времена той фантасти-ческой эпохи челоуѣчества, когда чувство и фантазія давали ему

отвѣты на всѣ его вопросы, и когда отвлеченная идеальность составляла блаженство его жизни. Міръ возмужалъ: ему нуженъ не пестрый калейдоскопъ воображенія, а микроскопъ и телескопъ разума, сближающій его съ отдаленнымъ, дѣлающій для него видимымъ невидимое. Дѣйствительность, — вотъ лозунгъ и послѣднее слово современнаго міра! Дѣйствительность въ фактахъ, въ знаніи, въ убѣжденіяхъ чувства, въ заключеніяхъ ума, — во всемъ и вездѣ дѣйствительность есть первое и послѣднее слово нашего вѣка. Онъ знаетъ, что лучше на картѣ Африки оставить пустое мѣсто, чѣмъ заставить вытекать Нигеръ изъ облаковъ, или изъ радуги. И сколько отважныхъ путешественниковъ жертвуетъ жизнію изъ географическаго факта, лишь бы доказать его дѣйствительность! Для нашего вѣка, открыть песчаную пустыню, дѣйствительно существующую, болѣе важное приобрѣтеніе, чѣмъ вѣрить существованію Эльдorado, котораго не видали ничьи смертныя очи. Онъ знаетъ, что въ песчаной степи, дѣйствительно-существующей, болѣе видно всемогущество Творца и величіе природы, чѣмъ во всѣхъ Эльдorado, существующихъ только въ праздномъ воображеніи мечтателей. Нашему вѣку не нужно шутовскихъ бубенчиковъ, пріятныхъ заблужденій, ребяческихъ погремусекъ, отрадныхъ, утѣшительныхъ лжей. Если бы ложь предстала передъ нимъ въ видѣ юной и прекрасной женщины и съ улыбкою манила его въ свои роскошныя объятія, а истина въ видѣ страшнаго остова смерти, летящаго на гигантскомъ колѣ съ косою въ рукахъ: онъ отвергся бы, съ презрѣніемъ и ненавистію, отъ обольстительнаго призрака, и бросился бы въ жертвующія объятія остова... Ему лучше ощутить себя въ дѣйствительныхъ объятіяхъ страшнаго духа, чѣмъ схватить въ свои руки призракъ, долженствующій исчезнуть при первомъ къ нему прикосновеніи... И это совсѣмъ не скептицизмъ: это, напротивъ, обожествленіе истины, которая можетъ

быть страшна только для ограниченности индивидуального человека, а сама въ себѣ есть вѣчная красота и вѣчное блаженство. Скептицизмъ отчаявается въ истинѣ и не ищетъ ея; нашъ вѣкъ — весь вопросъ, весь стремленіе, весь исканіе и тоска по истинѣ... Онъ не боится, что его обманетъ истина, но боится лжи, которую человѣческая ограниченность часто принимаетъ за истину.

И однакожь, человекъ всегда стремился къ познанію истины; слѣдовательно, всегда мыслить, изслѣдовалъ, повѣрять. Такъ; но его изслѣдованіе не было свободно: оно всегда находилось подъ вліяніемъ его непосредственного созерцанія, или зависѣло отъ авторитета чувства и заранѣе принятыхъ началъ. Если же когда-нибудь изслѣдованіе освобождалось отъ авторитета и преданія, то враждебно разрушало полноту непосредственной жизни, не замѣняя ея полнотою новой жизни. Такъ въ Греціи, сначала всѣ явленія дѣйствительности, фантастически представлявшіяся людямъ, и объясняемы были фантастически же. Умъ явно находился подъ преобладающимъ вліяніемъ фантазіи и чувства. И эта фантастическая дѣйствительность не выдержала разлагающей философіи Сократа: она пошатнулась, рухнула и погребла философа подъ своими развалинами. Въ фантастическіе средніе вѣка философія была чѣмъ то въ родѣ кабалистики, химія—алхиміей, астрономія—астрологіей, исторія—романомъ, географія—волшебною сказкою. Въ XVI и XVII вѣкахъ умъ началъ вступать въ права свои, постепенно завоевывая у чувства и фантазіи принадлежавшія ему области. Въ XVIII вѣкѣ, онъ одержалъ надъ ними рѣшительную побѣду, нанесъ имъ послѣдній ударъ. Но эта побѣда и показала ему, что одинъ и самъ по себѣ онъ долженъ страшиться собственной силы, которая увлекла бы его къ исключительности и односторонности. И потому, въ XIX вѣкѣ, разумъ обнаружилъ стремленіе къ примиренію съ чув-

ствомъ и фантазією; онъ призналъ ихъ права, но какъ подчиненныхъ ему союзниковъ, которые должны дѣйствовать подъ его преобладающимъ вліяніемъ. И теперь разумъ во всемъ ищетъ самого себя, и только то признаетъ дѣйствительнымъ, въ чемъ находитъ самого себя. Этимъ наше время рѣзко отличилось отъ всѣхъ прежнихъ историческихъ эпохъ. Разумъ все покорилъ себѣ, надъ всѣмъ воспребладалъ: для него уже ничто не есть болѣе само себѣ цѣль, но все должно отъ него получать удверженіе своей самостоятельности и дѣйствительности. Сомнѣніе и скептицизмъ уже болѣе не враги ему, приводящіе его въ отчаяніе на пути сознанія истины, но его орудія, средства, помогающія ему въ сознаніи истины.

Мы сказали, что разумъ тогда только признаетъ извѣстную истину, ученіе, или явленіе дѣйствительнымъ, когда находитъ въ нихъ себя, какъ содержаніе въ формѣ. Для этого, ему только одинъ путь и одно средство — разъединеніе идеи отъ формы, разложеніе элементовъ, образующихъ собою данную истину, или данное явленіе. И это дѣйствіе разума отнюдь не отвратительный анатомическій процессъ, разрушающій прекрасное явленіе для того, чтобы опредѣлить его значеніе. Разумъ разрушаетъ явленіе для того, чтобы оживить его для себя въ новой красотѣ и новой жизни, если онъ найдетъ себя въ немъ. Отъ процесса разлагающаго разума умираютъ только такія явленія, въ которыхъ разумъ не находитъ ничего своего, и объявляетъ ихъ только эмпирически существующими, но не дѣйствительными. Этотъ процессъ и называется «критикою». Многіе подъ критикою разумѣютъ или оужденіе разсматриваемаго явленія, или отдѣленіе въ немъ хорошаго отъ худаго: — самое пошлое понятіе о критикѣ! Нельзя ничего ни утверждать, ни отрицать на основаніи личнаго произвола, непосредственнаго чувства, или индивидуальнаго убѣжденія: судъ предлежитъ разуму, а не лицамъ, и

лица должны судить во имя обще-человѣческаго разума, а не во имя своей особы. Выраженія: «мнѣ нравится, мнѣ не нравится» могутъ имѣть свой вѣсъ, когда дѣло идетъ о кушаньѣ, винахъ, рысакахъ, гончихъ собакахъ и т. п.; тутъ могутъ быть даже свои авторитеты. Но когда дѣло идетъ о вліаніяхъ исторіи, науки, искусства, нравственности, — тамъ всякое я, которое судитъ самовольно и бездоказательно, основываясь только на своемъ чувствѣ и мнѣніи, напоминаетъ собою несчастнаго въ домѣ умалишенныхъ, который, съ бумажною короною на головѣ, величаво и благоуспѣшно правитъ своимъ воображаемымъ народомъ, казнитъ и милуетъ, объявляетъ войну и заключаетъ миръ, благо никто ему не мѣшаетъ въ этомъ невинномъ занятіи. Критиковать — значитъ искать и открывать въ частномъ явленіи общіе законы разума, по которымъ и чрезъ которые оно могло быть, и опредѣлять степень живаго, органическаго соотношенія частнаго явленія съ его идеаломъ. А такъ какъ бывають явленія вполне выражающія общее въ частномъ, идеалъ въ конечномъ, и бывають явленія, только въ извѣстной степени выражающія это единство частнаго съ общимъ, и бывають явленія только претендующія на это единство, въ самомъ же дѣлѣ совершенно чуждыя его; слѣдовательно, и критика не только безусловно хулить, или только похваливаетъ и побранияетъ, но иногда ограничивается одною похвалою. У насъ, на Руси, особенно, критика получила въ глазахъ массы превратное понятіе: критиковать — для многихъ значитъ ругать, а критика одно и то же съ ругательною статью. Мало того: критикою называютъ и сатиру и пасквиль, а въ провинціи, въ среднихъ кругахъ общества, критикою называютъ пересуды, сплетни и злоязычіе. Понимать такимъ образомъ критику все равно, что правосудіе смѣшивать только съ обвиненіемъ и карою, забывая объ оправданіи. Равнымъ образомъ, критика не ограничивается

однимъ искусствомъ, хотя ей имя и употребляется больше только въ отношеніи къ искусству. Критика происходитъ отъ греческаго слова, означающаго «судить»; слѣдовательно, въ обширномъ значеніи, критика есть то же, что «сужденіе». Поэтому, есть критика не только для произведеній искусства и литературы, но и критика предметовъ наукъ, исторіи, нравственности, и пр. Лютеръ, напримѣръ, былъ критикомъ папизма, какъ Боссюэтъ, былъ критикомъ исторіи, а Вольтеръ критикомъ феодальной Европы.

Критика всегда соотвѣтственна тѣмъ явленіямъ, о которыхъ судить: потому, она есть сознаніе дѣйствительности. Такъ, напримѣръ, что такое Буало, Баттё, Лагарпъ? Отчетливое сознаніе того, что непосредственно (какъ явленіе, какъ дѣйствительность) выразилось въ произведеніяхъ Корнеля, Расина, Мольера, Лафонтена. Здѣсь не искусство создало критику, и не критика создала искусство; но то и другое вышло изъ одного общаго духа времени. То и другое—равно сознаніе эпохи; но критика есть сознаніе философское, а искусство — сознаніе непосредственное. Содержаніе того и другаго — одно и то же; разница только въ формѣ. Въ этомъ-то обстоятельстве и заключается важность критики, особенно для нашего времени, которое по преимуществу мыслящее и судящее, слѣдовательно, критикующее время. Въ критикѣ нашего времени, болѣе, чѣмъ въ чемъ-нибудь другомъ, выразился духъ времени. Что такое само искусство нашего времени? — Сужденіе, анализъ общества; слѣдовательно, критика. Мыслительный элементъ теперь слился даже съ художественнымъ, — и для нашего времени мертво художественное произведеніе, если оно изображаетъ жизнь для того только, чтобъ изображать жизнь, безъ всякаго могучаго субъективнаго побужденія, живущаго свое начало въ преобладающей думѣ эпохи, если оно не есть вопль страданія, или дикобразъ восторга, если

ово не есть вопросъ, или отвѣтъ на вопросъ. Удивляться яи, послѣ этого, что критика есть самовластная царица современнаго умственнаго міра? Теперь, вопросъ о томъ, что скажутъ о великомъ произведеніи, не менѣе важенъ самаго великаго произведенія. Что бы и какъ бы ни сказали о немъ, — повѣрьте, это прочтется прежде всего, возбудитъ страсти, умы, толки. Иначе и быть не можетъ: намъ мало наслаждаться — мы хотимъ знать; безъ знанія для насъ нѣтъ наслажденія. Тотъ обманулся бы, кто сказалъ бы, что такое-то произведеніе наполнило его восторгомъ, если онъ не отдалъ себѣ отчета въ этомъ наслажденіи, не изслѣдовалъ его причинъ. Восторгъ отъ непонятаго произведенія искусства — мучительный восторгъ. Это теперь выражается не только въ отдѣльныхъ, лицахъ, но и въ массахъ.

Въ Россіи, пока еще существуетъ только критика искусства и литературы. Это обстоятельство придаетъ ей еще большій интересъ и большую важность. Литературныя мнѣнія разносятся у насъ скоро и быстро, и каждое находитъ себѣ послѣдователей. Можно сказать безъ преувеличенія, что пока еще только въ искусствѣ и литературѣ, а слѣдовательно, въ эстетической и литературной критикѣ, выражается интеллектуальное сознаніе нашего общества. Поэтому, нисколько не должно казаться страннымъ, что почтенный профессоръ, офиціально избранный быть органомъ годичнаго торжества ученаго заведенія, избралъ предметомъ своей рѣчи — критику. Нельзя было избрать лучшаго предмета, вопроса болѣе современнаго и болѣе близкаго къ жизни. И нѣтъ пріятнѣе зрѣлища, какъ то, что у насъ наука сближается съ жизнью и обществомъ, перестаетъ быть чѣмъ-то въ родѣ элевзинскихъ таинствъ, отправляемыхъ, въ добавокъ, на латинскомъ языкѣ, понятномъ лишь оратору да еще десяти человѣкамъ изъ нѣсколькихъ сотъ, присутствующихъ на торжественномъ собра-

ни. Немешѣ пріятно и то, когда органами ученаго сословія и ученаго общества бывають люди, умѣющіе соединить интересъ предмета и основательность, глубину взглядовъ съ живыми, краснорѣчивыми изложеніемъ. Этими умѣньемъ вполне обладаетъ авторъ рѣчи, подавшей намъ поводъ къ этой статьѣ. Рѣчи г. Никитенко, какъ и все, что ни выходитъ изъ-подъ его пера, полны мыслей и отличаются особенною красотой выраженія. Каждый имѣетъ свое убѣжденіе, и потому не каждый безусловно согласится съ г. Никитенко во всемъ, что составляетъ основаніе, или частности его идей; но каждый, даже и не соглашаясь съ ними вполне, прочтетъ ихъ съ тѣмъ вниманіемъ и уваженіемъ, которыя могутъ возбуждаться только мыслями, вызывающими на размышленіе, поражающими умъ. Парадоксъ или явная ложь не могутъ возбудить критическаго спора (ибо критика есть сужденіе, сравненіе явленія съ его идеаломъ), но могутъ возбудить опроверженіе; критическіе споры могутъ возбуждаться только мыслями. Опровергаютъ то, что считаютъ ложью; спорятъ о томъ, что обѣ стороны, несмотря на ихъ противорѣчіе, уважаютъ. Опровергающій мнѣніе считаетъ себя безусловно-правымъ; спорящій старается быть правымъ, но почитаетъ побѣду столько же возможною и для противной стороны, какъ и для самаго себя. Судъ побѣды предоставляется обществу и времени.

У насъ такъ мало является по части критики (сужденія) достойнаго даже опроверженія, не только спора, что мы вдвойнѣ обрадовались рѣчи г. Никитенко: какъ прекрасному произведенію мысли и краснорѣчія, которое обратило бы на себя вниманіе во всякой литературѣ, — и какъ случаю поговорить о дѣлѣ. Сверхъ того, предметъ рѣчи профессора такъ близокъ нашему сердцу, что для насъ поговорить о немъ, по такому достойному поводу, — истинное наслажденіе.

Съ первыхъ же строкъ «Рѣчи» поражаютъ читателя и блещутъ ея наложеніи, и ея живые мотивы, такъ сказать, животрепещущіе интересомъ современности. Ораторъ разсматриваетъ критику только въ отношеніи къ искусству, и опредѣляетъ ее «судомъ разума надъ творчествомъ».

«Но (говорить онъ) какъ же разумъ осмѣливается присвоить себѣ право суда и приговора надъ августѣйшею, первоначальною властію міра, совершеннѣйшею жизни и судьбъ ея? Что значать блѣдныя, безкровныя и безплотныя понятія предъ яркимъ и звучнымъ могуществомъ событій! То, что родитъ только тѣни, дерзаетъ составаться съ силою, воздвигающею вещи?.. И какъ заглянуть въ вѣдра волкана, или въ лицо солнцу, чтобъ спросить у нихъ: «Зачѣмъ эти непріязненныя тревоги вѣществъ, обуздываемыхъ закономъ таготвѣія, зачѣмъ это сіяніе?» или сказать имъ: «вотъ этому быть бы такъ, а тому иначе». Суетны слова такъ, гдѣ нѣтъ имъ другаго отмыка, кромѣ жизни или смерти».

«И точно, есть творчество неподвластное суду и приговору разума чело-вѣческаго: это творчество природы. У нея нѣтъ разнорѣчащаго смысла въ требованіи и рѣшеніи, нѣтъ ни теорій, ни идеаловъ недостижимыхъ; что есть, то и должно быть и должно такъ, какъ есть. Каждая степень развитія, каждый моментъ въ явленіяхъ природы содержитъ въ себѣ безъ недостатка все свое, все имъ подобающее; ничѣмъ другимъ и ничѣмъ большимъ она уже не могутъ быть. Цвѣтокъ раскинулся во всемъ блескѣ роскошной красоты, или неожиданно поникъ юношескимъ вѣянцемъ своимъ предъ хладнымъ дыханіемъ сѣвера — законъ природы одинаково и окончательное выполняетъ, такъ въ законномъ развитіи отдѣльнаго организма, здѣсь въ законныхъ послѣдствіяхъ превозмогающей силы — и нѣтъ другаго приговора событію, какъ: «оно свершилось»».

Съ этимъ нельзя вполне согласиться, и вотъ на какомъ основаніи: духъ, или разумъ, произведшій природу, выше природы, слѣдовательно, можетъ судить ее. Сужденіе не всегда состоитъ въ томъ, чтобъ пронаести приговоръ судимому предмету, рѣшивъ: «вотъ этому быть бы такъ, а тому иначе», но часто состоитъ въ оправданіи предмета такъ, какъ онъ есть, въ признаніи, что онъ хорошъ только такъ, какъ есть, и другимъ быть не можетъ. «Что значать блѣдныя, безкровныя и безплотныя понятія предъ яркимъ и звучнымъ могуще-

своимъ событіемъ? То, что родитъ только тѣни, дерзаетъ состязаться съ силою, воздвигающею вещи?...» Такъ говоритъ ораторъ, но сама природа—что же она такое, если не самыя эти блѣдныя, безкровныя и безплотныя понятія, воплощшіяся въ живые образы,—изъ міра возможности и идеаловъ перешедшія въ міръ дѣйствительности?... Понятія родятъ не тѣни—тѣни родятъ только ложь; весь міръ, вся жизньъ есть явленный образъ этихъ понятій. И какъ же разуму не дерзать состязаться съ силою, имъ же самимъ рожденною? Какъ духу уступать первенство имъ живущей и имъ дышащей матеріи? Еслибъ разумъ, судя о природѣ, т.е. приводя для себя въ сознаніе ея же собственные законы, ею выраженные, сталъ доходить до заключеній, что вотъ это не такъ, а то могло бъ быть иначе,—онъ этимъ пришелъ бы въ противорѣчіе съ самимъ собою, отрекся бы отъ самого себя и зарекъ бы страшный приговоръ надъ самимъ собою. Природа есть нѣчто мертвое, несуществующее само для себя: только духъ человѣческій знаетъ, что она есть, что она полна жизни и красоты, что въ ней скрыта глубокая мудрость; только духъ человѣческій знаетъ все это, и блаженствуетъ въ своемъ знаніи. Зеркало отражаетъ въ себѣ стоящіе противъ него предметы, но не видитъ ихъ и для него все равно, отражать ихъ, или нѣтъ; важность и неважность такого вопроса существуетъ только для человѣка. Умри на землѣ человѣчество—и земля больше не будетъ, хотя бы она и осталась такою, или еще и лучшею, чѣмъ была при человѣчествѣ: ея не будетъ, потому что не кому будетъ знать, что она есть. Даже нельзя безусловно думать, чтобъ духъ, или разумъ только видѣлъ себя въ природѣ, а не дѣйствовалъ на нее. Разумъ не скажетъ: зачѣмъ листья растеній зелены? имъ слѣдовало бъ быть голубыми; зачѣмъ дубъ высокъ, а розанъ низокъ? и т.п. Онъ знаетъ, что такъ должно быть, что дѣйствующія силы

природы неизмѣны: онъ не претендуетъ измѣнять ихъ, но сообразуясь съ ними и дѣйствуя черезъ нихъ же, онъ измѣняетъ климаты, осушаетъ болота и тундры, утучняетъ песчаныя степи, и на тѣхъ и другія призываетъ богатство и роскошь растительной природы, велитъ течь водѣ тамъ, гдѣ ея не было, и каналами соединяетъ разсѣдиненныя природою моря, озера и рѣки; цвѣтокъ, взлелѣанный имъ, лучше, красивѣе и благоуханнѣе цвѣтка дико-растущаго, вода и вѣтеръ покорно работаютъ на его машинахъ, мелятъ и пилятъ, пары съ быстротою молніи носятъ его по сушѣ и по морю; обезоруженные грома минуяютъ его жилища и зданія; онъ побѣдилъ и время и пространство; онъ царь природы, повелѣвающій ею въ неизмѣнномъ и предвѣчномъ духѣ собственныхъ законовъ. Совсѣмъ иное видитъ ораторъ въ искусствѣ, чѣмъ въ природѣ. Съ этимъ опять нельзя безусловно согласиться Впрочемъ дѣло можетъ быть понято и такъ и иначе, смотря по тому, съ какой стороны на него взглянешъ. Дѣйствительно, каждое произведеніе природы, на какой бы ступени ея ни стояло оно, совершенно въ отношеніи къ самому себѣ, тогда какъ произведенія искусства, часто самыя совершеннѣйшія, заключаютъ въ себѣ какую-то примѣсь временнаго и случайнаго, что теряетъ свое достоинство въ глазахъ потомства. Но это означаетъ скорѣе превосходство, чѣмъ низшую степень искусства въ отношеніи къ природѣ: это значитъ, что искусство развивается свободно, а природа неподвижно заключена въ математическіе законы своего существованія. Свободное можетъ ошибаться, несвободное никогда не ошибается: и потому, животные чужды заблужденій, ошибокъ и пороковъ, которыми подверженъ человекъ. Притомъ же, переходящее въ созданіяхъ искусства есть ошибка не творящаго духа художника, а времени, въ которое онъ дѣйствовалъ. То, что мы отвергаемъ въ такихъ произведеніяхъ, отвергаемъ не какъ ошибку искус-

ства, но какъ утратившее свою силу начало, бывшее нѣкогда истиннымъ; слѣдовательно, отвергаемъ форму не за форму, а за ея содержаніе. Сознательное творчество не можетъ не быть выше бессознательнаго. И если въ природѣ являлась мудрость Божія, то развѣ не она же является и въ дѣйствіяхъ разумной воли человѣка, и развѣ человѣкъ творитъ великое отъ себя и собою, а не Богомъ и черезъ Бога? . . . Только въ неразумныхъ дѣйствіяхъ своей воли личность человѣческая является самостоятельной и отпавшею отъ божественнаго источника, въ которомъ ея жизнь и сила; но тогда то она и является ничтожною, случайною, бессильною и униженною.

«Творчество человѣческое есть только безпрерывно повторяемое покушеніе осуществить безконечную идею изящества — идею полноты и совершенства жизни» говоритъ ораторъ. Опредѣленіе справедливое, но, смѣемъ думать, не совсѣмъ полное и удовлетворительное. Во первыхъ, идеи «полноты и совершенства жизни» не должны быть смѣшиваемы съ идею «изящества» и «красоты», особенно если эта «полнота и совершенство жизни» не опредѣлены ничѣмъ, даже эпитетомъ. Во вторыхъ, изящество и красота еще не все въ искусствѣ. Мы сами были нѣкогда жаркими послѣдователями идеи красоты, какъ не только единаго и самостоятельнаго элемента, но и единой цѣли искусства. Съ этого всегда начинается процессъ постиженія искусства, и красота для красоты, самоцѣльность искусства бываетъ всегда первымъ моментомъ этого процесса. Миновать этотъ моментъ — значитъ никогда не понять искусства. Остаться при этомъ моментѣ — значитъ односторонне понять искусство. Все живое движется и развивается; понятіе объ искусствѣ не алгебраическая формула, всегда мертво-неподвижная. Заключая въ себѣ много сторонъ, онъ требуетъ развитія во времени каждой изъ нихъ, прежде, чѣмъ дастся въ своей полнотѣ и цѣлостности.

Подвинуться впередъ въ сознаниі, отъ нижней его ступени перейти къ высшей, не значитъ измѣнить своихъ убѣжденій. Убѣжденіе должно быть дорого потому только, что оно истинно, а совѣсь не потому что оно наше. Какъ скоро убѣжденіе человѣка перестало быть въ его разумнѣи истиннымъ, онъ уже не долженъ называть его своимъ: иначе онъ принесетъ истину въ жертву пустому, ничтожному самолюбію, и будетъ называть «своимъ» ложь. Людей послѣдняго разряда довольно на бѣломъ свѣтѣ; они заставляютъ себя насильно вѣрить тому, чему вѣрили прежде свободно и чему теперь уже имъ не вѣрится. Они думаютъ унизиться, отказавшись отъ одного убѣжденія въ пользу другаго, забывая, что это другое есть истина, и что истина выше человѣка. Другое дѣло переходить отъ убѣжденія къ убѣжденію вслѣдствіе вѣншихъ разчетовъ, эгоистическихъ побужденій: это низко и подло...

Что красота есть необходимое условіе искусства, что безъ красоты нѣтъ и не можетъ быть искусства — это аксіома. Но съ одною красотою искусство еще не далеко уйдетъ, особенно въ наше время. Красота есть необходимое условіе всякаго чувственнаго проявленія идеи. Это мы видимъ въ природѣ, въ которой все прекрасно, исключая только тѣ уродливыя явленія, которыя сама природа оставила недоконченными и спрятала ихъ во мракѣ земли и воды (моллюски, черви, инфузоріи, и т. п.). Но намъ мало красоты эмпирической дѣйствительности: любясь ею, мы все-таки требуемъ другой красоты, и отказываемъ въ названіи искусства самому точному копированію природы, самой удачной поддѣлкѣ подъ ея произведенія. Мы называемъ это ремесломъ. Какая же та красота, которой жаждетъ нашъ духъ, неудовлетворяющійся красотою природы, и которой мы требуемъ отъ искусства? Красота міра идеальнаго, міра безплотнаго, міра разума, гдѣ отъ вѣка заключены всѣ прототипы живыхъ образовъ, откуда

исходить все реально существенное. Следовательно, красота есть дочь разума, какъ Аеродита — дочь Зевеса. Но у Грековъ, несмотря на это подчиненіе красоты разуму, красота болѣе, чѣмъ у какого-нибудь другаго народа, имѣла самостоятельное, абсолютное значеніе. Они все созерцали подъ преобладающимъ вліяніемъ красоты, и у нихъ было искусство, но преимуществу имѣвшее цѣлью красоту — ваніе. Впрочемъ, и сами Греки отдѣляли красоту отъ другихъ сторонъ бытія и обожествляли ее только въ идеальномъ образѣ Аеродиты. Красота Зевса есть красота царственнаго величія ирердержаннаго разума; красота другихъ боговъ также выражаетъ и еще какую-нибудь идею, кромѣ красоты. Что же касается до ихъ поэзи, въ ея прекрасныхъ образахъ выражалось цѣлое содержаніе эллинской жизни, куда входила и религія, и нравственность, и наука, и мудрость, и исторія, и политика, и общественность. Красота безусловная, абсолютная, красота какъ красота, выражалась только въ Аеродитѣ, которую вполне могло выразить только ваніе. Следовательно, даже и о греческомъ искусствѣ нельзя сказать безусловно, чтобъ цѣлью его было одно воплощеніе изящества. Содержаніе каждой греческой трагедіи есть нравственный вопросъ, эстетически рѣшаемый.

Христіанство нанесло рѣшительный ударъ безусловному обожанію красоты, какъ красоты. Красота мадонны есть красота нравственнаго міра, красота дѣвственной чистоты и материнской любви; ее могла выразить только живопись, но ужь никакимъ образомъ не могла выразить бѣдная скульптура. Конечно, какое нравственное выраженіе ни придайте дурному лицу, оно отъ этого все-таки не будетъ прекраснымъ лицомъ, и потому красота греческая вошла и въ новое искусство, но уже какъ элементъ, подчиненный другому высшему началу, следовательно, она стала уже скорѣе средствомъ,

чѣмъ цѣлью искусства. Только здѣсь слово «средство» не должно понимать, какъ что-то внѣшнее искусству, но какъ единую, ему присущую форму проявленія, безъ которой искусство невозможно. Съ другой стороны, искусство безъ разумнаго содержанія, либѣющаго историческій смыслъ, какъ выраженіе современнаго сознанія, можетъ удовлетворять развѣ только записныхъ любителей художественности по старому преданію. Нашъ вѣкъ особенно враждебенъ такому направленію искусства. Онъ рѣшительно отрицаетъ искусство для искусства, красоту для красоты. И тотъ бы жестоко обманулся, кто думалъ бы видѣть въ представителяхъ новѣйшаго искусства какую-то отдѣльную касту артистовъ, основавшихъ себѣ свой собственный фантастическій міръ, среди современной имъ дѣйствительности. Вальтеръ Скотъ, своими романами, рѣшилъ задачу связи исторической жизни съ частною. Онъ живописецъ среднихъ вѣковъ, равно какъ и всѣхъ эпохъ, которыя онъ изображалъ; онъ вводитъ насъ въ тайники къхъ семейной домашней жизни. Онъ столько же романистъ и поэтъ, сколько и историкъ. Поэтому неудивительно, что историческій критикъ, Гизо, ненаписавшій не только ни одного романа — даже ни одной повѣсти, съ признательностію ученика называетъ Вальтеръ Скотта своимъ учителемъ. Дать историческое направленіе искусству XIX вѣка — значило гениально угадать тайну современной жизни. Байронъ, Шиллеръ и Гёте — это философы и критики въ поэтической формѣ. О нихъ всего менѣе можно сказать, что они поэты, и больше ничего. Правда, Гёте, вслѣдствіе своей уже слишкомъ нѣмецкой натуры и аскетическаго образа возрѣнія на міръ, Гёте еще могъ бы подходить подъ идеалъ поэта, который поэтъ, какъ птица, для себя, не требуя ничего вниманія (лишь печатаетъ свои пѣснопѣнія для людей); но и онъ не могъ не заплатить дань духу времени: его «Вертеръ» есть

не что иное, как вопль эпохи; въ его «Фаустѣ» заключены всѣ нравственные вопросы, какіе только могутъ возникнуть въ груди внутренняго человѣка нашего времени; его «Преметей» дышитъ преобладающимъ духомъ вѣка; многія изъ его мелкихъ лирическихъ піесъ суть не что иное, какъ выраженіе философскихъ идей. Изъ великихъ поэтовъ современности, Куперъ болѣе другихъ держится въ чисто-художественной сферѣ, потому только, что гражданственность его юного отечества еще не выработала изъ себя элементовъ для современной поэзіи. Впрочемъ, какъ живой человѣкъ, а не птица, поющая для себя, Куперъ взялъ возможно полную дань съ жизни Сѣверо-Американскихъ Штатовъ: содержаніе «Шніона» составляетъ борьба его отечества за независимость; въ «Американскихъ Пуританахъ», въ «Эвѣ Эффингемъ» и другихъ романахъ, онъ касается разныхъ сторонъ невыформировавшейся гражданственности страны будущаго.

Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создастъ себѣ свой міръ, неимѣющій ничего общаго съ историческою и философскою дѣйствительностію современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ ясновидѣній и поэтическихъ созерцаній. Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадны были она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ. Возьмемъ, для подтвержденія этой истины, современную французскую литературу. Викторъ Гюго, Бальзакъ, Дюма, Жаненъ, Сю, де-Виньи, конечно, не громадные таланты, особенно пятеро послѣднихъ; но все же это люди замѣчательно-даровитые. И чтѣ же?—они не успѣли еще и состарѣться, какъ ихъ слава, занимавшая всю читаю-

ную Европу, умерла уже. Первый еще пользуется старинною славой, не прибавляя къ ей увидѣющимъ лавранъ ни одного свѣтлаго лепестка; а другіе стали во Франціи то же самое, что у насъ теперь иные правописательные и нравственно-сатирическіе сочинителя:—горе-богатырь, модели для карриатуръ, мишень для насмѣшекъ критики. Отчего же эти французскіе литераторы такъ скоро выписались?—Оттого, что съ однимъ естественнымъ талантомъ недалеко уйдешь; талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ, для того, чтобъ не погаснуть. А эти люди или сами не знали что пѣли и изъ чего хлюпотали, за отсутствіемъ всякихъ живыхъ интересовъ, или съ добродушною некрѣпностію—результатомъ безсознательности и малости ихъ натуръ, выдавали пороки современнаго общества за добродѣтели, заблужденія—за мудрость, и гордились тѣмъ, что это прекрасное общество нашло въ нихъ достойныхъ выразителей. Послѣ нихъ явились другіе даровитые люди—Сульё, Бернаръ, и пр. Но что же?—читая повѣсть, написанную тѣмъ или другимъ изъ этихъ новыхъ геніевъ, вы удивляетесь необыкновенному таланту разсказа, мастерской рисовкѣ характеровъ, живости изложенія; читаете ее съ наслажденіемъ, и—забываете завтра же, какъ куманье, о которомъ помнить только тогда, когда ѣдятъ его. Отчего это?—Оттого, что у этихъ людей нѣтъ ни взгляда на жизнь, ни кровныхъ убѣжденій, составляющихъ вѣрованіе души и сердца, ни доктрины, ни началъ; оттого, что они пишутъ для того только, чтобъ писать, какъ птицы поютъ для того только чтобъ пѣть. Въ нихъ нѣтъ ни любви, ни ненависти, ни сочувствія, ни вражды къ обществу, съ которыми они связаны только вѣшними узами, а не духовнымъ родствомъ, основаннымъ на паосѣ къ идеѣ вѣка и общества. Общество, въ свою очередь, смотритъ на нихъ, какъ на сво-

ихъ потѣшниковъ и забавниковъ, не любя, не ненавидя, не уважая и не презирая ихъ; оно кричитъ о нихъ, пока они для него новы, и тотчасъ же забываетъ, какъ скоро они наскучатъ ему и какъ скоро явятся другіе потѣшники и забавники съ новыми выдумками и фокусъ-покусами. Не такое зрѣлище представляетъ собою гениальная женщина, извѣстная подъ именемъ Жоржъ Занда. Это, безспорно, первая повѣстическая слава современнаго міра. Каковы бы ни были ея начала, съ ними можно не соглашаться, ихъ можно не раздѣлять, ихъ можно находить ложными; но ея самой нельзя не уважать, какъ человѣка, для котораго убѣжденіе есть вѣрованіе души и сердца. Оттого, многія изъ ея произведеній глубоко западаютъ въ душу и никогда не изглаживаются изъ ума и памяти. Оттого талантъ ея не слабѣетъ ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, но врѣшнетъ и растеть. И — что еще болѣе доказываетъ истину нашего убѣжденія — всѣ такіе таланты замѣчательны еще и какъ характеры нравственные, энергическіе, которыхъ жизнь такъ же безукоризненна, какъ глубоки и свѣтлы ихъ созданія, трепещущія симпатією къ человѣчеству, любовію къ истинѣ. И это очень естественно: только птица поетъ оттого, что ей поется, не сочувствуя, ни горю, ни радости своего птичьяго племени... И какъ горько думать, что и между людьми, при рожденіи помазанными свыше елеемъ вдохновенія, есть «птицы»: они счастливы, если имъ поется, они выше человѣчества, выше своихъ страждущихъ братій, тщетно обращающихъ къ нимъ полныя мольбы и ожиданія очи; они живутъ въ себѣ, они въ душѣ своей умѣютъ находить радости и утѣшенія, и этотъ опозитизированный эгоизмъ называютъ жизнью въ непреходящемъ и вѣчномъ, чуждомъ мелкой современности... Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что искусство подчинено, какъ и все живое и абсолютное, процессу историческаго развитія, и что искусство нашего вре-

мнѣ есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія, современной думы о значеніи и цѣли жизни, о путяхъ человѣчества, о вѣчныхъ истинахъ бытія...

Перехода собственно къ критикѣ, какъ къ главному предмету рѣчи, краснорѣчивый ораторъ дѣлитъ критику на три разряда: на личную, аналитическую и философскую, или по преимуществу художественную.

Намъ кажется, что личная критика, судя по тому значенію, какое ей даетъ авторъ, есть не родъ и не видъ, а злоупотребленіе критикой. Личную критику можно раздѣлить на два рода — искреннюю и пристрастную. Первая иногда заслуживаетъ вниманія. Она принадлежитъ тѣмъ критикамъ, которые, не зная ни о современномъ состояніи теоріи изящнаго, ни объ отношеніи искусства къ обществу, все выводятъ изъ себя, опираясь на собственныхъ воззрѣніяхъ и собственномъ, непосредственномъ чувствѣ и вкусѣ. Это критика добродушнаго невѣжества, которое думаетъ, что съ него начался міръ, и что прежде него ничего не было. Если такой критикъ человѣкъ съ природнымъ, хотя и неразвитымъ умомъ, съ чувствомъ и душою, — въ его критикахъ могутъ встрѣчаться проблески здравыхъ мыслей, горячаго чувства, но смѣшанные со множествомъ парадоксовъ, давно остывшихъ основаній, давно забытыхъ заблужденій (ибо человѣкъ, все выводящій изъ себя, не можетъ сказать и новаго заблужденія); все у него неопредѣленно и сбивчиво. Такіе критики иногда встрѣчаются между плодовитымъ и мелкимъ народомъ фельетонистовъ; они возбуждаютъ искреннее сожалѣніе къ своимъ парализованнымъ чрезъ невѣдѣніе дарованіямъ. Если же критикъ, основывающійся на личныхъ убѣжденіяхъ, при невѣжествѣ своемъ, еще и человѣкъ ограниченный, — то берите его скорѣе въ фельетонисты газеты, гдѣ великіе писатели судятся со стороны грамматики и опечатокъ, и, ради всего святаго,

упражняйте ихъ больше въ объявленіихъ о табачныхъ и кандитерскихъ лавочкахъ, о ножовщикахъ и водочистительныхъ машинахъ. Это литературная тля, о которой не стоить и говорить... Разсуждая о личной критикѣ, ораторъ разумѣетъ исключительно лично-пристрастную критику, которую онъ характеризуетъ сильно, энергически, живописно, но слишкомъ общими чертами, — чему причиною, разумѣется, оффиціальныи характеръ торжества, подавшаго поводъ въ рѣчи, который не долженъ былъ допустить ничего такого, что могло бы послужить поводомъ къ намеку или примѣненію. Если рыцарей добродушной, искренней личной критики, отличающейся вдругъ и невѣжествомъ и ограниченностью, мы назвали тлею, то вѣтазей пристрастно-личной критики можно назвать саранчюю литературною. Здѣсь чѣмъ умнѣе такой критикъ, тѣмъ вреднѣе онъ для вкуса неустановившагося общества: его литературному безстыдству и наглости нѣтъ никакихъ преградъ, и онъ безнаказанно можетъ издѣваться надъ публикою, увѣряя ее, что умъ «надуваетъ» человѣчество; что добродѣтель есть полезный предрассудокъ; что Сократъ былъ тонкій плутъ, «надувшій» Грековъ своимъ мнимымъ демономъ, прославляя имъ посредственность и наглою ложью унижая истинные таланты, или говоря о своихъ талантахъ и своихъ добродѣтеляхъ, о невѣжествѣ, злобѣ и глупости своихъ враговъ, и т. п. Впрочемъ, такимъ критикамъ и такой критикѣ, вѣрно, будутъ не по сердцу многія строки въ энергической филиппикѣ г. Никитенко.

Теперь, безъ сомнѣнія, интересно будетъ для читателя узнать, какъ понимаетъ ораторъ истинную критику, которую онъ дѣлитъ на аналитическую и философскую, или по преимуществу художественную.

«Не такова, им. г., истинная критика, органъ блестятельнаго разума, приводящаго въ гармонию человѣческое свободное творчество со всеобщими и необходимыми порядкомъ вещей, представительница вѣчныхъ законовъ

искусства, мысль, пронизывающая судъ торжественный и всенародный надъ дѣломъ, предвозвѣстница приговора потомства, драгоцѣнная награда дарованія, кара нелицеприятная бездарности, стражъ народнаго вкуса. Принимая на себя характеръ аналитическій, она наслаждается стилемъ, изъ коихъ слагается красота въ готовыхъ произведеніяхъ таланта, и условія ея развитія. Она разсматриваетъ писателя со стороны его гения, направленія, взгляда на вещи; рисуетъ картину общества, отношеніе къ нему писателя, степень принимаемаго имъ участія въ движеніяхъ современной мысли и жизни. Обращаясь къ самому произведенію, аналитическая критика разсматриваетъ его содержаніе, разлагаетъ образы на ихъ элементы, обнажаетъ пружины, коими авторъ дѣйствуетъ для достиженія своей цѣли, и выясняетъ, какъ зрѣла, чѣмъ питалась основная, заветная мысль его созданія, что принадлежитъ въ ней его свободному художественному воззрѣнію на вещи, и что принадлежитъ набѣгу случайныхъ обстоятельствъ, волновавшихъ его душу. Мудрая аналитическая критика знаетъ, какія изъ этихъ понятій могутъ осуществиться только въ разсматриваніи произведеній, сдѣлавшихся уже достояніемъ исторіи, и какія должны првлягать къ искусству современному. Здѣсь вы читаете, такъ сказать, отчетъ самой природы о томъ, какъ она поступаетъ въ важнѣйшей части своей экономіи—въ творчествѣ умственномъ...

- Аналитическая критика, однакожъ, не удовлетворяетъ еще цѣли искусства. Мы знаемъ, какъ образовалось твореніе, но не знаемъ, что такое самое твореніе. «Вы, возразятъ мнѣ, видите его предъ собою раскрытымъ со всѣхъ сторонъ, объясняемымъ—чего жъ болѣе?» — Такъ! Но у каждаго изящнаго произведенія, кромѣ отношеній къ художнику, эпохѣ, народу и проч., есть еще одно отношеніе, очень важное—это отношеніе къ идеѣ красоты. Видѣ оно для нея и существуетъ; всѣ творческія операціи, которыя аналитическою критикою такъ хорошо намъ раскрыты, именно для нея и предприняты. Прекрасно ли и почему прекрасно то, что произвело искусство? Этихъ вопросовъ она не рѣшаетъ.

«Всѣ начинанія человѣческаго творчества подлежатъ двумъ законамъ: закону частныхъ соотношеній съ вещами и закону идей. То, чему назначено занять мѣсто между первыми, войти въ дружескій союзъ съ ними, участвовать въ исторіи, то должно и дѣйствовать въ духѣ ихъ судьбы и потребности. Но высокое дѣло разума и воли не было бы разумнымъ и свободнымъ, еслибы оно не соединялось также узамъ съ тѣмъ, что выше вещей—съ основными ихъ началами, съ родовою своею идеею. И отъ коге же, какъ не отъ нея дѣло получаетъ опредѣленный характеръ, неизгладимую эмпионію? Одно становится заслугою въ наукѣ, потому что его направляетъ идея истины, другое пріобрѣтаетъ значеніе въ искусствѣ, потому что его оживотворяла идея красоты. Критика, руководимая идеею истины по пути анализа, возмншается наконецъ къ идеѣ изящнаго и становится вполне художественною...

Критика ваворсница искусства, посвященная въ глубочайшимъ его тайнамъ въ то же время она органъ общества, коимъ оно принимаетъ прекрасные дары искусства и несетъ ихъ къ своему сердцу. Высоко и достойно ея назначеніе! Для могущественнѣйшихъ силъ—искусство и духъ общественный, опираются на ея мудрость и правоту: одно въраетъ ей драгоценнѣйшее свое достоинство—славу, другой—честь и достоинство своихъ чувствованій.

Нельзя не согласиться въ сущности со всѣми этими. Дѣйствительно, критика аналитическая, какъ называютъ ее ораторы, или историческая, какъ называютъ ее во Франціи и Германіи, необходима. Миновать ее, особенно теперь, когда свѣтъ принялъ рѣшительно историческое направленіе, значило бы убить искусство, или, еще скорѣе, оношлить критику. Каждое произведеніе искусства непременно должно разсматриваться въ отношеніи къ эпохѣ, къ исторической современности, и въ отношеніяхъ художника къ обществу; разсмотрѣніе его жизни, характера, и т. п. также могутъ служить часто къ уясненію его созданія. Съ другой стороны, невозможно упускать изъ виду и собственно эстетическихъ требованій искусства. Скажемъ болѣе: опредѣленіе степени эстетическаго достоинства произведенія должно быть первымъ дѣломъ критики. Когда произведеніе не выдержитъ эстетическаго разбора, оно уже не стоить исторической критики; ибо, если произведеніе искусства чуждо животрепещущаго историческаго содержанія, если въ немъ искусство было само себѣ дѣлю, — оно все еще можетъ имѣть хотя одностороннее, относительное достоинство; но если, при живыхъ современныхъ интересахъ, оно не ознаменовано печатію творчества и свободнаго вдохновенія, то ни въ какомъ отношеніи не можетъ имѣть никакой цѣнности, и самая жизненность его интересовъ, будучи выражена насильственно въ чуждой имъ формѣ, будетъ бессмысленна и нелѣпа. Изъ этого прямо выводится, что не для чего и раздѣлять критику на разные роды, а лучше, признавъ одну критику, отдать въ ея завѣдываніе все зло-

менты и стороны, изъ которыхъ слагается дѣйствительность, выражающаяся въ искусствѣ. Критика историческая безъ эстетической, и наоборотъ, эстетическая безъ исторической, будетъ односторонняя, а слѣдовательно, и ложна. Критика должна быть одна, разносторонность взглядовъ должна выходить у нея изъ одного общаго источника, изъ одной системы, изъ одного созерцанія искусства. Это и будетъ критикою нашего времени, въ которомъ многосложность элементовъ ведетъ не къ дробности и частности, какъ прежде, а къ единству и общности. Что же касается до слова «аналитическій» — оно происходитъ отъ слова «анализъ», означающаго разборъ, разложеніе, которое составляютъ свойство всякой критики, какая бы ни была она, историческая, или художественная.

Насъ спросятъ: какими образомъ въ одной и той же критикѣ могутъ органически слиться два различныя воззрѣнія, историческое и художественное? или: какъ можно требовать отъ поэта, чтобы онъ, въ одно и то же время, свободно слѣдовалъ своему вдохновенію, и служилъ духу современности, не смѣя выйти изъ ея заколдованнаго круга? Этотъ вопросъ весьма легко рѣшить и теорически и исторически. Каждый человѣкъ, а слѣдовательно, и поэтъ, испытываетъ на себѣ неизбѣжное вліяніе времени и мѣстности. Съ молокомъ матери всасываетъ онъ въ себя тѣ начала, ту сумму понятій, которую живетъ окружающее его общество. Отъ этого, онъ дѣлается Французомъ, Нѣмцемъ, Русскимъ, и т. д.; отъ этого онъ, родившись, напримѣръ, въ XII вѣкѣ благочестиво убѣжденъ, что самое святое дѣло жечь на кострахъ людей, думающихъ такъ, какъ не всѣ думаютъ, а родившись въ XIX вѣкѣ, онъ религіозно убѣжденъ, что никого не должно жечь и рѣзать, что дѣло общества не мститъ наказаніемъ за проступокъ, а исправитъ наказаніемъ преступника, черезъ что удовлетворится и оскорбленное общество, и выплыветъ святой

законъ христіанской любви и христіанскаго братства. Но человечество не вдругъ же перескочило отъ XII вѣка къ XIX-му: оно должно было прожить цѣлые шесть вѣковъ, въ продолженіи которыхъ развивалось, въ своихъ моментахъ; его понятіе объ истинномъ, и въ каждомъ изъ сихъ шести вѣковъ это понятіе принимало особенную форму. Вотъ эту-то форму философія и называетъ моментомъ развитія обще-человѣческой истины; а этотъ-то моментъ, и долженъ быть пульсомъ созданій поэта, ихъ преобладающею страстію (паэссомъ), ихъ главнымъ мотивомъ, основнымъ аккордомъ ихъ гармоніи. Нельзя жить въ прошедшемъ и прошедшимъ, закрывъ глаза на настоящее: въ этомъ было бы что-то неестественное, ложное и мертвое. Отчего европейскіе живописцы среднихъ вѣковъ писали все мадоннъ да святыхъ?—Оттого, что религіозность христіанская была преобладающимъ элементомъ жизни Европы того времени. Послѣ Лютера всѣ попытки къ возстановленію религіозной живописи въ Европѣ были бы тщетны. «Но», скажутъ намъ: «если нельзя выйдти изъ своего времени, то не можетъ быть и поэтовъ не въ духѣ своего времени, а слѣдовательно, нечего и вооружаться противъ того, чего быть не можетъ». — Нѣтъ, отвѣчаемъ мы: это не только можетъ быть, но и есть, особенно въ наше время. Причина такого явленія—въ обществахъ, которыхъ понятія диаметрально противоположны ихъ дѣйствительности, которыя учатъ въ школахъ дѣтей своихъ такой нравственности, за которую надъ ними же теперь смѣются, когда тѣ выйдутъ изъ школы. Это есть состояніе безрелигіозности, распаденія, разъединенія, индивидуальности и—ея необходимаго слѣдствія — эгоизма: къ несчастію, слишкомъ рѣзкія черты нашего вѣка! При такомъ состояніи обществъ, живущихъ старыми преданіями, которыхъ болѣе не вѣрятъ, и которыя противоположны новымъ истинамъ, открытымъ наукою, выработавшимся изъ историче-

скихъ движеній, — при такомъ состояніи общества иногда самыя даровитыя личности чувствуютъ себя отдѣленными отъ общества, одиночными, и тѣ изъ нихъ, которыя послабѣе характеромъ, добродушно дѣлаются жрецами и проповѣдниками эгоизма и всѣхъ пороковъ общества, думая, что такъ видно должно быть, что иначе быть не можетъ, что не нами-де началось, не нами и кончится; другіе, — и это, увы! часто лучшіе, — убѣгаютъ вовнутрь себя, съ отчаяніемъ махнувъ рукою на эту оскорбляющую чувство и разумъ дѣйствительность. Но это средство къ спасенію ложное и эгонистическое: когда на улицѣ пожаръ, должно бѣжать не отъ него, а къ нему, чтобъ, вмѣстѣ съ другими, искать средствъ и трудиться братски для потушенія его. Но многіе, напротивъ, изъ этого эгонистическаго и малодушнаго чувства сдѣлали себѣ начало, доктрину, правило жизни, наконецъ догматъ высокой мудрости. Они имъ горды, они съ презрѣніемъ смотрятъ на міръ, который, вольте видѣть, не стоитъ ихъ страданій и ихъ радостей; засѣвъ въ разубранномъ теремѣ своего фантастическаго замка и смотря изъ него сквозь разцвѣченные стекла, они поютъ себѣ какъ птицы... Боже мой! человекъ дѣлается птицею! Какое истинно-овидіевское превращеніе! Къ этому еще присоединилась обаятельная сила нѣмецкихъ воззрѣній на искусство, въ которыхъ дѣйствительно много глубокости, истины и свѣта, но въ которыхъ также много и нѣмецкаго, филистерскаго, аскетическаго, анти-общественнаго. Что же изъ этого должно было выйдти? — Гибель талантовъ, которые, при другомъ изправленіи, оставили бы по себѣ въ обществѣ яркіе слѣды своего существованія, могли бы развиваться, идти впередъ, мучать въ силахъ. Отсюда происходитъ это размноженіе микроскопическихъ гениевъ, маленькихъ великихъ людей, которые дѣйствительно обнаруживаютъ много таланта и силы, но пошуматъ, пошумятъ, да и замолкнутъ, скончавшись внаглѣ еще

прежде своей смерти, часто во цветъ лѣтъ, въ настоящей порѣ силы и дѣятельности. Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужно симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни. Что вошло, глубоко запало въ душу, то само собою проявится во внѣ. Когда человѣкъ сильно потрясенъ страстію, исключительно занять одною мыслию, — все, о чемъ онъ думаетъ днемъ, повторяется у него въ снахъ. Пусть же творчество будетъ прекраснымъ сномъ, въ роскошныхъ видѣніяхъ своихъ порторіюющимъ святыя думы и благородныя симпатіи художника! Въ наше время талантъ, въ чемъ бы ни проявлялся — въ практической ли общественной дѣятельности, или въ наукѣ и искусствѣ, долженъ быть добродѣтельно, или гибнуть въ себѣ самомъ и черезъ себя самого. Человѣчество дошло наконецъ до такихъ убѣжденій, которыхъ нечистые люди, уже изъ собственныхъ видовъ, чтобъ не осудить себя, не рѣшатся провознести и выговорить. Они знаютъ, что общество ни въ какомъ случаѣ не повѣрило бы, ибо въ нихъ самихъ увидѣло бы лучшее опроверженіе ихъ идей...

Высказавъ наше воззрѣніе на искусство и критику, и разсмотрѣвъ «Рѣчь», подавшую поводъ къ этой статьѣ, — сдѣлаемъ историческое обозрѣніе русской критики, отъ начала ея до нашего времени.

2.

Обозрѣть исторически ходъ и развитіе русской критики — значитъ обозрѣть, въ общихъ чертахъ, исторію русской литературы, ибо, какъ мы уже сказали въ первой статьѣ, содержаніе критики, какъ сужденіе, есть то же самое, что и содержаніе литературы, какъ судимаго; вся разница въ формѣ. Художникъ и литераторъ выражаютъ свое понятіе объ искусствѣ и литературѣ непосредственно, самыми твореніями своими; критикъ выражаетъ свое понятіе объ искусствѣ и литературѣ чрезъ посредство мысли, сознательно. Въ этомъ случаѣ, искусство и литература идутъ объ руку съ критикою, и оказываютъ взаимное дѣйствіе другъ на друга. Если новый гений открываетъ міру новую сферу въ искусствѣ и оставляетъ за собою господствующую критику, нанося ей тѣмъ смертельный ударъ; то, въ свою очередь, и движеніе мысли, совершающееся въ критикѣ, приготовляетъ новое искусство, опереживая и убивая старое. Такое явленіе было въ Германіи, гдѣ литературный переворотъ совершился не чрезъ великаго поэта, а чрезъ умнаго, энергическаго критика — Лессинга. Такъ называемая романтическая школа, или юная литература Франціи, водрузила свои побѣдоносныя знамена на завоеванной ею у псевдо-классицизма почвѣ, едва ли не болѣе при помощи критики, чѣмъ собственными усиліями. Жаненъ, некогда столь даровитый, а теперь столь пустой фельетонный крикунъ, горячо сражался противъ мертвой литературы имперіи еще прежде, чѣмъ написалъ свой романъ «Мертвый Осель и Гильйотинированная Женщина». И этотъ союзъ искусства съ критикою со дня на день становится тѣснѣе и неразрывнѣе. Оттого, теперь искусство становится мышленіемъ въ образахъ, а критика — искусствомъ.

Русская литература была не плодомъ развитія національнаго духа, а плодомъ реформы. Хотя Петръ Великій ничего не писалъ и не издавалъ, подобно Екатеринѣ II, но тѣмъ не менѣе онъ такъ же творецъ русской литературы, какъ и творецъ русской цивилизаціи, русскаго просвѣщенія, русскаго величія и славы, словомъ — творецъ новой Россіи. Написать исторію русской литературы, не сказавъ ни слова о Петрѣ Великомъ, — это все равно, что написать о происхожденіи міра, не сказавъ ни слова о Творцѣ міра. Русь до Петра кипѣла дикими и нестройными силами: его всемогущее «да будетъ!» водворило порядокъ и гармонію въ этотъ хаосъ, дало боровавшимся въ немъ элементамъ опредѣленную форму и указало имъ цѣль. Уже болѣе вѣка прошло послѣ смерти Великаго; но Русь все еще движется отъ него, слѣдовательно, и чрезъ него. Русь уже давно не та; Петръ не узналъ бы ея, еслибъ могъ взглянуть на нее изъ своего гроба. Русь уже не та, но и не другая. Такъ широколиственный дубъ совѣтъ не то, что жолудь, изъ котораго онъ вышелъ; но онъ все же дубъ, а не береза, и не другое дерево; все же онъ вышелъ изъ жолуда, и безъ жолуда не могъ бы быть.

Реформа Петра вообще была искусственная, ибо совершилась не въ сферѣ русской жизни и не ея собственными средствами, а постороннимъ посредствомъ чуждой ей жизни. Однакожь, это можетъ не нравиться только раскольникамъ и старовѣрамъ; въ глазахъ же людей, умѣющихъ проникать въ глубь явленій, это самое и свидѣтельствуетъ о колоссальности генія творца новой Россіи. Правда, можно много остраго и забавнаго наговорить, напримѣръ, о русскихъ мужикахъ, вдругъ, экспромтомъ, превращенныхъ въ подобіе цесарскихъ и прусскихъ солдатъ, съ выбритыми бородами, съ пучками на затылкахъ, въ сѣдлыхъ мундирахъ XVII вѣка, объ этихъ солдатахъ, которые съ трудомъ заучивали на память нѣмецкую военную

терминологію, мудреные нѣмецкіе чины и званія; сверхъ того, нарвская битва могла служить прекраснымъ фактомъ противъ преобразованій, но за то, битва подъ Лѣснымъ заставляетъ разумниковъ приаадуматься, смѣшаться, прикусить язычокъ, какъ выразительно говорится по русски; а полтавская битва лучше всѣхъ доказательствъ, теоретическихъ и философскихъ, доказываетъ, что у гения своя логика, свой здравый смыслъ, свое ясновидѣніе дѣйствительности, которыя чѣмъ менѣе подходятъ подъ сужденія толпы, тѣмъ истиннѣе и дѣйствительнѣе. Реформа, по видимому, чисто внѣшняя, по видимому, состоявшая только въ формахъ, могла казаться странною не только для Русскихъ, бывшихъ ея жертвою, но и для тогдашней Европы; теорія и практика, умозрѣніе и опытъ— все по видимому было противъ нея. Несчастное нарвское дѣло походило на порывъ урагана, сдувшій со стола карточный домикъ; оно всѣхъ убѣдило въ невозможности улучшеній — всѣхъ, кромѣ самого реформатора. Но подъ Лѣснымъ обстоятельства переменяются и для непріятеля настаетъ прологъ трагедіи, а при Полтавѣ разыгралась и самая трагедія.

Такимъ же точно образомъ, много умнаго и остроумнаго можно наговорить о новыхъ гражданскихъ литератахъ, которымъ нечего было выражать собою; о заведенныхъ имъ типографіяхъ, которымъ нечего было печатать; о высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, когда еще негдѣ было учиться грамотѣ; о проектѣ Академіи Наукъ, когда еще не было приходскихъ и уѣздныхъ училищъ; словомъ, обо всемъ этомъ неестественномъ развитіи сверху внизъ, не снизу вверхъ, съ крыши къ фундаменту, не съ фундамента къ крышѣ. А между тѣмъ, это и положило прочное основаніе русскому просвѣщенію, ибо прежде всего дало учителей, безъ которыхъ ученики не могутъ учиться. Каково бы ни было наше просвѣщеніе, на какой бы ступени ни стояло оно и теперь, но надо быть слѣпымъ,

чтобъ не видѣть, что оно все развивается, все идетъ впередъ. Иначе, какъ бы могли у насъ являться и полководцы, и моряки, и инженеры, и врачи, и математики? Давно ли было время, когда безъ иностранцевъ мы не въ состояніи были сдѣлать шагу? А теперь, мы нуждаемся въ Европѣ, но уже не въ иностранцахъ: намъ надо слѣдить за успѣхами въ Европѣ наукъ, искусствъ и промышленности, но не выписывать оттуда людей для заведенія того и другаго и третьяго, какъ было прежде. Если же мы и теперь иногда нуждаемся въ иностранцахъ и приглашаемъ ихъ къ себѣ, то такіе случаи уже кажутся теперь исключеніями изъ общаго правила.

Не менѣе дѣльнаго, умнаго и остраго можно наговорить (да и было уже довольно наговорено) о русской литературѣ, возникшей не изъ потребностей общества, а изъ слѣпаго подражанія иностраннымъ литературамъ. И чего бы, въ самомъ дѣлѣ можно было ожидать отъ этого сколка, списка, отъ этой копіи съ чужихъ образцовъ, отъ этого мертваго, бездушнаго, слѣпаго подражанія и передразниванія чужихъ мыслей и чужихъ формъ? А между тѣмъ, мы гордимся именами (конечно, еще не многими) національныхъ и самостоятельныхъ поэтовъ — Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова... А между тѣмъ, наша литература имѣла на общество великое и благотѣльное вліяніе, какъ живой источникъ гуманическаго, человѣческаго образованія...

Странное дѣло! какъ же такіа живыя слѣдствія могли выйти изъ такой мертвой, чисто внѣшней, отвлеченно-формальной реформы? Здѣсь въ томъ-то и дѣло, что только близорукіе, ограниченныя люди, да развѣ еще раскольники и старогѣры, поборники ложно понимаемой народности и дикаго кевѣжества, могутъ видѣть въ реформѣ Петра одно внѣшнее и формальное. Люди мыслящіе, способные проникать взоромъ своего разума въ сокровенную глубь вещей, очень хорошо

видать, что Петръ старался не объ одномъ внѣшнемъ европеизмѣ, что онъ былъ столько же духовнымъ, сколько и матеріальнымъ реформаторомъ. Его великій, змѣдлительный духъ былъ источникомъ его преобразовательной дѣятельности, — онъ началъ реформу прежде всего съ себя самаго. Неумолимый къ другимъ, онъ былъ еще безпощаднѣе къ самому себѣ. Поставивъ идею правосудія выше личнаго произвола, онъ готовъ былъ бы самого себя отдать подъ уголовный судъ, еслибъ могъ умышленно поступить неправо въ дѣлѣ государственной правды. Поставивъ идею государства выше личнаго значенія, онъ бодро и неуклонно прошелъ длинную и тяжкую лѣтвицу чиновачалія, былъ солдатомъ, юнгомъ, и съ такою страстію подчинялся повиновенію, съ какою въ его возрастъ предаются обаянію властвованія. Счастію Россіи, ея будущности принесъ онъ въ жертву своего сына, говоря, что лучше чужой да достойный, чѣмъ свой недостойный... Онъ искушалъ своихъ сановниковъ, прося у нихъ себѣ мѣсто, слѣдовавшее достойнѣйшему его по службѣ, и сказалъ, что благо имъ, отказавшимъ ему въ просьбѣ... Говоря о Петрѣ, многіе видятъ въ немъ больше реформатора, и забываютъ колоссально-нравственный и религіозный духъ, котораго вся жизнь была страстнымъ служеніемъ идеѣ. А идеѣ къ идеѣ есть живой источникъ, изъ котораго не могутъ не вытекать живые результаты. Еслибъ Петръ былъ только необыкновенно умный человекъ, только политическій, а не религіозно-нравственный дѣйствитель, его реформа не имѣла бы такихъ великихъ слѣдствій. Глубокое религіозно-нравственное начало, составлявшее основу его духа, въ соединеніи съ исполнскою геніальностью, — вотъ что оплодотворило и оживило реформу Петра, дало ей силу, прочность и жизненность... Но объ этомъ можно было бы написать цѣлую книгу; здѣсь мы говоримъ только вскользь, какъ о предметѣ, который имѣетъ

отношеніе къ главной мысли нашей статьи и не составляетъ ея прямого содержанія. Обращаемся къ русской литературѣ, чтобы отъ нея перейти къ русской критикѣ.

Русская литература началась такъ же, какъ и русская цивилизація — подражаніемъ, слѣпымъ усвоеніемъ формъ. Подобно цивилизаціи, ея движеніе и развитіе состояли въ стремленіи къ самобытности и національности, и каждый успѣхъ ея былъ шагомъ къ этой цѣли. Русская поэзія сперва проблеснула въ басняхъ Крылова, которыхъ форма была замкнутая и подражательная, но въ которыхъ, несмотря на то, русскій языкъ и русскій практическій умъ нашли средство развернуться широко, свободно и непринужденно. Но басня есть только родъ поэзіи, и притомъ созданный XVIII вѣкомъ, а не самая поэзія. Русская поэзія началась собственно съ Пушкина. Утверждая это, мы нисколько не думаемъ унижать блестящіе таланты, предшествовавшіе нашему поэтическому Протею. Безъ нихъ не было бы и его, или крайней мѣрѣ, онъ былъ бы далеко не тѣмъ, чѣмъ былъ. Каждый изъ этихъ талантовъ былъ для нашей литературы шагомъ впередъ; и неполнота ихъ успѣха заключалась не въ слабости дарованія, а въ незрѣлости общества, еще не могшаго выработать никакого содержанія для самобытной поэзіи. Пушкинъ былъ первый русскій поэтъ въ смыслѣ художника. Природная поэтическая сила Державина выше поэтической силы, напримѣръ, Батюшкова; но какъ художникъ, Батюшковъ несравненно выше Державина. Державинъ, этотъ богатырь русской поэзіи, былъ связанъ духомъ своего времени, которое понимало поэзію не иначе, какъ торжественною одою на какой бы то ни было случай — на побѣду, или просто на иллюминацію, и которое было увѣрено, что поэзія «сладостна и пріятна какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ». Оно требовало отъ поэзіи высокопарности — и больше ничего; оно исключало изъ нея это внутреннее, субъективное

начало, которое, въ послѣдствіи, господствовало въ русской поэзіи, подъ неопредѣленнымъ именемъ элегическаго тона, и безъ котораго нѣтъ истинной поэзіи. Душа Державина была поэтическая и уже по сему самому не чуждая этого внутренняго, субъективнаго, задушевнаго и сердечнаго начала; и оно у него часто проторгалась, но какъ бы противъ его воли, ибо, по духу своего времени, онъ не давалъ ему воли и простора, стараясь постоянно держаться въ напряженной торжественности. Прибавьте къ этому, что въ его время языкъ русскій былъ крайне необработанъ, вращался въ тяжелыхъ славяно-латинскихъ формахъ, въ которыя заковалъ его Ломоносовъ; о гармоніи и пластикѣ, словомъ, виртуозности стиха, никто тогда не имѣлъ и малѣйшаго понятія; усѣченія прилагательныхъ, коверканіе словъ, какофонія реченій, были узаконены самою пѣнкою того времени подъ именемъ «пѣнческихъ вольностей». И вотъ почему Державинъ, будучи столь великимъ явленіемъ въ исторіи русской поэзіи и литературы, мертвъ для современнаго общества; поэзія же его стала теперь предметомъ изученія записныхъ литераторовъ, а не предметомъ наслажденія для общества, которое какъ-бы едва знаетъ о Державинѣ, и то изъ пѣнчикъ, по которымъ когда-то училось въ лѣта своего дѣтства. Есть люди, которые, даже не читая Державина, почитаютъ такой взглядъ на него оскорбленіемъ его имени и чести русской литературы. Но неужели и въ самомъ дѣлѣ значить унижать Державина, говоря, что его огромный талантъ явился въ неблагопріятное для развитія время? Не думаемъ! И неужели можно унижить великаго человѣка, поставивъ его въ историческую зависимость отъ времени, отъ которой не освобождался ни одинъ геній съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ? Едва ли!... Державинъ — великій талантъ для всякаго времени; но великій поэтъ онъ — только для своего времени; а для нашего — едва ли онъ какой-нибудь

поэтъ, потому что для насъ жертвы и идеальныя мотивы и самая форма его поэзіи. Это уже не наша вина, да и не его, конечно. И мы не винимъ его, а только судимъ о немъ; пусть же судятъ и насъ, а не дѣлаютъ безъ вины виноватыми. — Жуковскій внесъ въ русскую поэзію именно тотъ самый элементъ, котораго не доставало поэзіи Державина: мечтательная грусть, унылая мелодія, задушевность и сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженнаго въ самомъ себѣ. — вотъ преобладающій характеръ поэзіи Жуковскаго, составляющій и ея непобѣдимую прелесть и ея недостатокъ, какъ всякой неполноты и всякой односторонности. Жуковскій диаметрально противоположенъ Державину, — и хотя содержаніе и тонъ поэзіи Жуковскаго суть экзотическія растенія въ отношеніи къ русской поэзіи, переселенцы съ чуждой почвы, изъ-подъ чуждаго неба, однако, вопреки толкамъ и крикамъ поборниковъ народности въ поэзіи, Жуковскій поэтъ не одной своей эпохи: его стихотворенія всегда будутъ находить отзвѣвъ въ юныхъ поколѣніяхъ, приготовляющихся къ жизни и еще только мечтающихъ о жизни, но не знающихъ ея. Не можемъ сказать, способствовало ли какое-нибудь внѣшнее обстоятельство къ обращенію юнаго Жуковскаго, еще ученика въ Благородномъ Пансіонѣ при Московскомъ Университетѣ, къ нѣмецкой и англійской поэзіи; но во всякомъ случаѣ духъ времени былъ главною причиною этого обращенія. Псевдо-классическая поэзія Франціи XVII и XVIII вѣковъ уже не могла безусловно нравиться юному поколѣнію XIX вѣка, и оно должно было искать другихъ источниковъ эстетическаго наслажденія. Нѣмецкая литература тогда уже дѣлалась извѣстною самой Франціи; въ Россіи, она могла плѣнять только немногихъ юношей, знакомыхъ съ ея языкомъ. Не знаемъ, къ сожалѣнію, когда написана Державиннымъ его передѣлка одной Шиллеровой піесы (вѣроятно, съ французскаго перевода, или

подражанія), названная имъ «Арфою»; не знаемъ также и времени передѣлки извѣстной пьесы Гёте Дмитриевымъ (тоже, должно быть, съ французскаго перевода, или подражанія), названной имъ «Размышленіемъ по случаю грома»: знакъ, что темные слухи о Шиллерѣ и Гёте доходили еще и до патриарховъ нашей поэзіи, и что въ лицѣ Жуковскаго, съ малолѣтства знакомаго съ нѣмецкимъ языкомъ, наша литература сдѣлала естественный шагъ впередъ, обратившись къ новому и болѣе жизненному источнику питанія—къ нѣмецкой поэзіи. Что же касается до англійской литературы, съ нею наша была знакома еще до Жуковскаго; самъ Карамзинъ писалъ о ней въ своемъ путешествіи, даже перевелъ монологъ Лира во время бури и отрывокъ изъ Оссіана; но о Шекспирѣ, несмотря на то, знали черезъ Французовъ, какъ о варварѣ, и почетными именами англійской литературы считались Поупъ, Аддисонъ, Драйденъ, Томсонъ, Грей, Юнгъ, Мильтонъ, Фильдингъ, Ричардсонъ, Стернъ. Жуковскій первый перевелъ, своимъ крѣпкимъ и звучнымъ стихомъ, нѣсколько (впрочемъ, очень мало) англійскихъ балладъ и написалъ въ ихъ духѣ свою («Домову Арфу»), чѣмъ вѣрно передалъ романтическій характеръ англійской поэзіи. Когда уже англійская поэзія сдѣлалась знакома русской публикѣ и черезъ журнальные толки и прозаическіе переводы, — Жуковскій далъ болѣшую прочность и дѣйствительность этому знакомству своими переводами изъ Вальтеръ Скотта, Байрона, Мура, Сутя и пр. Это оригинальное (уже по одному тому, что новое) направленіе, эта обязательная сила и богатство содержанія, заимствованныя Жуковскимъ у его нѣмецкихъ и англійскихъ образцовъ, поставили его на высокую чреду между русскими поэтами, какъ само-бытнаго поэта, а не переводчика. Прибавьте къ этому неизмѣримое пространство, раздѣляющее языкъ и стихъ Жуковскаго отъ языка и стиха Державина. Причина этого явленія заклю-

чается не въ одной силѣ превосходнаго таланта пѣвца Мин-
ваны, но и въ историческомъ развитіи русской литературы:
между Державиннымъ и Жуковскимъ стоятъ Карамзинъ и
Дмитріевъ, которымъ такъ много обязанъ русскій языкъ и
русская версификація. Батюшковъ внесъ въ русскую поэзію
совершенно новый для нея элементъ: античную художествен-
ность, которой, кромѣ его, были чужды все наши поэты — до
Пушкина. Душа Батюшкова была по преимуществу артистиче-
ская. Онъ сочувствовалъ древнимъ, превосходно перевелъ
нѣсколько антологическихъ піесъ, любилъ образовательныя
искусства, съ страстью писалъ о живописи. Преобладающій
наосъ его поэзіи — артистическая жажда наслажденія пре-
краснымъ, идеальной эпикуреизмъ: но эта жажда часто рас-
творяется у него кроткою меланхоліею, легкою и свѣтлою
грустію. И потому мечтательность у него замѣняется задум-
чивостію, фантазмъ — радужными образами фантазіи; читая его
вы чувствуете себя на почвѣ дѣйствительности и въ сферѣ
дѣйствительности. Кажется, какъ-будто въ граціозныхъ соз-
даніяхъ Батюшкова русская поэзія хотѣла явить первый ре-
зультатъ своего развитія, примиреніемъ дѣйствительнаго, но
односторонняго направленія Державина, съ односторонне-ме-
чтательнымъ направленіемъ Жуковского. Это результатъ
не былъ удовлетворителенъ, потому ли, что талантъ Батюш-
кова не былъ для этого довольно могучъ, глубокъ и многосторо-
ненъ, или потому что онъ слишкомъ увлекался вліяніемъ
французской литературы XVIII вѣка, и больше любилъ и зналъ
итальянскую, чѣмъ нѣмецкую и англійскую словесность, хо-
рошо былъ знакомъ съ латинскою, и, кажется, не зналъ гре-
ческой поэзіи. По той или другой причинѣ, или по обѣимъ
вмѣстѣ, но въ Батюшковѣ есть что-то неполное, недокончен-
ное; идеи его не глубоки, содержаніе его поэзіи вообще бѣдно;
самый языкъ облаетъ устеченіями и вольностями, а художе-

ственность часто борется съ риторикою. Батюшкову дѣйствительно не доставало гениальности, чтобъ освободиться изъ подъ вліянія своей эпохи. Несчастная болѣзнь парализовала его талантъ и дѣятельность именно передъ тѣмъ временемъ, когда на небосклонѣ русской поэзіи взошло ея великое свѣтло, которое не могло бы не имѣть на него сильнаго и благотѣльнаго вліянія... Мы говоримъ о Пушкинѣ, поэзія котораго была совершеніемъ всѣхъ усилій, достиженіемъ всѣхъ стремленій, плодомъ и результатомъ всего искусственнаго развитія русской поэзіи. Да, Пушкинъ—первый, даже и по времени, поэтъ русскій: ибо все, что въ предшествовавшихъ ему поэтахъ было или отдѣльными силами, или односторонними элементами, или только усиленіемъ, или стремленіемъ, — въ немъ явилось какъ разрѣшенная загадка, какъ уже обрѣтенное слово, какъ исполненіе, какъ единство, полнота и цѣлость разнообразнаго и многосторонняго. Въ Державинѣ часто проблескиваетъ русская натура, русская душа: Пушкинъ вездѣ и во всемъ національно русскій поэтъ. Пареніе, возвышенность, сила, — все, что у Державина вспыхиваетъ по временамъ, часто заливаемое тотчасъ же прѣсною водою риторики, у Пушкина горитъ свѣтлымъ, чистымъ и ровнымъ пламенемъ безъ треска, дыма и чада. Грусть составляетъ одинъ изъ основныхъ звуковъ въ аккордѣ поэзіи Пушкина, и потому она придаетъ ей задумчивость, сердечность, мягкость, влажность (если можно такъ выразиться, говоря о противоположномъ сухости качествѣ), а не преобладаетъ надъ нею: это грусть души великой, знающей свою силу; въ ней нѣтъ ничего общаго съ уныніемъ — болѣзнию слабыхъ душъ. Кроме того, въ грусти Пушкина такъ много русскаго, того самаго, что такъ сильно овладѣваетъ душою въ протяжной и разгульной русской пѣснѣ. И такъ какъ эта грусть составляетъ только одинъ звукъ въ аккордѣ поэзіи Пушкина, а не цѣлый аккордъ, — то поэзія Пушкина и чужда

всякой монотонности, всякой односторонности. Фантастическое иногда является и въ поэзіи Пушкина, но оно у него естественно, такъ какъ бываетъ въ самой дѣйствительности: вспомните сонъ Татьяны, балладу «Женихъ». Что же касается до фантазма, его нѣтъ и признаковъ въ поэзіи Пушкина: душа Пушкина была такъ крѣпка и здорова, что не могла подчиниться этому болѣзненному направленію. А между тѣмъ, хотя и трудно показать слѣды вліянія Жуковскаго на Пушкина (ибо почва и сфера поэзіи послѣдняго слишкомъ дѣйствительны и чужды всего отвлеченнаго, туманнаго и неопредѣленнаго); однакожь нельзя отрицать, чтобъ Жуковскій не имѣлъ вліянія на Пушкина, когда онъ самъ называетъ его «наставникомъ, пѣстуномъ и хранителемъ своей вѣтреной музыки». Не менѣе, если еще не болѣе, любилъ Пушкинъ сладостные стихи Батюшкова: вліяніе этой любви ярко замѣтно на первыхъ произведеніяхъ Пушкина. И не могло быть иначе: Пушкинъ былъ по преимуществу артистическая натура; слѣдовательно, Батюшковъ былъ ему родственнѣе всѣхъ другихъ русскихъ поэтовъ. Но, что такое стихъ Батюшкова, пластика и виртуозность его поэзіи, передъ стихомъ, пластикой и виртуозностію поэзіи Пушкина! Какъ поэзія Батюшкова, поэзія Пушкина вся основана на дѣйствительности; но какая же безконечная разница въ объемѣ, глубокости и значеніи той и другой поэзіи! Ужъ нечего и говорить о томъ, что поэзія Батюшкова чужда національности, тогда какъ поэзія Пушкина по преимуществу русская. Все, что прежніе поэты имѣли каждый порознь, все это Пушкинъ имѣлъ одинъ, имѣя еще много и своего, чего ни одинъ изъ нихъ не имѣлъ; всѣмъ, что обладало прежними поэтами, — всѣмъ этимъ спокойно владѣлъ Пушкинъ. Вотъ почему мы отъ него ведемъ русскую поэзію и называемъ его первымъ русскимъ поэтомъ. Это совсѣмъ не значитъ, чтобъ до него не было поэтовъ и притомъ еще достойныхъ вниманія, уваженія,

любви, извѣстности и славы; но значить только, что въ нихъ выразились постепенныя условія русской поэзіи, начиная отъ Кантемира и Ломоносова — изъ искусственной и подражательной сдѣлаться естественною и самобытною, стремленіе изъ книжной сдѣлаться живою, общественною, сблизиться съ жизнью и обществомъ: а въ Пушкинѣ выразились торжество и побѣда этихъ услій и стремленій. Пушкинъ — художникъ въ полномъ значеніи этого слова; это его преобладающее значеніе, его высочайшее достоинство и, можетъ-быть, его недостатокъ, вслѣдствіе котораго онъ чѣмъ болѣе становился художникомъ, тѣмъ болѣе отклонялся отъ современной жизни и ея интересовъ, и принималъ аскетическое направленіе, наконецъ охолодившее къ нему общество, которое дотогѣ безусловно обожало его. Кажется, въ этой натурѣ не было капли прозаической крови, но все былъ чистый огонь поэзіи. Къ чему ни прикасался онъ — всему давалъ поэтическіе образы, полные жизни и очарованія, всему, даже самымъ уже по существу своимъ прозаическимъ предметамъ. Его стихъ — это скульптура, живопись и музыка вѣстѣ. Къ нему безусловно можно приложить его же собственные стихи объ Овидіи:

Имѣлъ онъ пѣсень дивный даръ
И голосъ, шуму водъ подобный...

Никто такъ не былъ связанъ исторически съ преданіями русской литературы, какъ Пушкинъ. Онъ изучилъ старинныхъ писателей, которыхъ теперь никто не читаетъ; онъ бралъ эпиграфы изъ Хераскова и Княжнина. Изъ лицейскихъ его стихотвореній (за напечатаніе которыхъ нельзя довольно возблагодарить издателей трехъ послѣднихъ томовъ его сочиненій) видно, что онъ былъ ученикъ не только Державина, Дмитриева, Жуковского и Батюшкова, но и дяди своего В. Пушкина, — и первые дѣтскіе опыты его являютъ въ немъ стихотворца первыхъ годовъ текущаго столѣтія, хотя онъ родился

только въ послѣдній годъ прошлаго. Особенно любопытны и поучительны тѣ изъ его лицейскихъ шесъ, которыя онъ потомъ передѣлалъ: какое искусство иногда однимъ словомъ, однимъ эпитетомъ передѣлать стихъ такъ, что его не узнаешь! Какой тонкій художественный тактъ въ знаніи того, что можно оставить безъ перемѣны, что надо переправить, и изъ чего нельзя ничего сдѣлать! Удивительно ли, что этотъ человекъ какъ-будто перестроилъ вновь и языкъ и версификацію, съ такимъ успѣхомъ уже перестроенные Карамзинымъ и Дмитриевымъ, Жуковскимъ и Батюшковымъ! Стихъ Пушкина — это вѣковѣчный образецъ, неуимрающій типъ русскаго стиха: не было и не будетъ лучшаго. Искусство какъ искусство, поэзія какъ поэзія на Руси — это дѣло Пушкина. Безъ него не было бы у насъ поэзіи; и это потому, что онъ былъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, можетъ быть, въ ущербъ своей великости въ другихъ значеніяхъ. И вотъ почему — повторяемъ — отъ него ведемъ мы русскую поэзію и называемъ его первымъ, даже по времени, русскимъ поэтомъ. .

Такъ думаемъ мы о развитіи русскаго поэзіи и русскаго литературы: ея исторія, по нашему мнѣнію, есть исторія ея усилій отъ искусственности и подражательности перейти къ естественности и самобытности, изъ книжной сдѣлаться живою и общественною. Это продолжается и теперь, но уже въ другой сферѣ — въ сферѣ «возведенія въ перлъ сознанія прозы жизни». И скоро наступитъ время, когда совсѣмъ рѣшится эта задача и кончится эта работа. Уже и теперь замѣтно новое требованіе отъ искусства — требованіе разумнаго содержанія, которое соотвѣтствовало бы историческому духу современности. И уже явился было на Руси новый великій поэтъ, въ первыхъ, еще юныхъ и незрѣлыхъ произведеніяхъ котораго проглядывали полнота и богатство глубокаго содержанія, при художественности формъ, достойной преемника Пушкина; но

преждевременная смерть несомненно рушила надежды, которыми не было конца и мѣры...

Прекрасное погибло въ пыльномъ цвѣтѣ:
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

Таковъ, въ особенности, прибавимъ мы, удѣлъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ талантовъ...

Повторяемъ: такъ думаетъ мы о развитіи русской поэзіи и литературы, и такъ многіе могутъ теперь думать объ этомъ предметѣ. Въ этомъ случаѣ, мы дали нашимъ читателямъ фактъ объ одной сторонѣ современной русской критики. Дай Богъ, чтобъ это была сторона свѣтлая! Что же до темной, — ея грустною картиною мы заключимъ нашу статью... Теперь же перескажемъ, какъ думали современники о фазисахъ русской литературы, которые мы слегка означили. Это будетъ исторією русской критики.

Исторія русской критики та же, что и исторія русской поэзіи и литературы: постепенное стремленіе изъ эха господствующихъ въ Европѣ мнѣній перейти въ самостоятельный взглядъ на искусство. Посему, русская критика такъ же носитъ въ себѣ элементы всевозможныхъ чужихъ національностей, какъ и русская поэзія. Прежде, а отчасти и теперь, это съ одной стороны, можно ставить ей въ недостатокъ; но со временемъ, изъ этого недостатка выйдутъ великія слѣдствія. Мы уже и теперь не можемъ удовлетворяться ни одною изъ европейскихъ критикъ, замѣчая въ каждой изъ нихъ какую-то односторонность и исключительность. И мы уже имѣемъ нѣкоторое право думать, что въ нашей сольются и примирятся всѣ эти односторонности въ многостороннее, органическое (а не пошлое эклектическое) единство. Можетъ-быть, и назначеніе нашего отечества, нашей великой Руси состоитъ въ томъ, чтобъ слить въ себѣ всѣ элементы всемірно-историческаго развитія, доселѣ исключительно являвшагося только въ западной Европѣ.

На этомъ условіи, на обѣщаніи этой великой будущности наша скромная роль учениковъ, подражателей и перенимателей не должна казаться ни слишкомъ смиренною, ни слишкомъ незавидною... На томъ же основаніи, не будемъ отчаиваться и за нашу критику, видя, что она часто бросается изъ крайности въ крайность и является то чопорнымъ аббатомъ XVIII вѣка, то нѣмецкимъ буршемъ, съ длинными растрепанными волосами на плечахъ, съ трубкою во рту и дубинною въ рукѣ, то неустовою вакханкою юной французской литературы, съ восторженною рѣчью, блуждающими взорами, бѣшенными движеніями; не будемъ отчаиваться, видя ее въ разноцвѣтной мантии, сшитой изъ разныхъ лоскутковъ... Лучше порадуемся, что въ ней есть жизнь и движеніе, что она кипитъ и вѣтвится... Дайте время, она отстоится... Пока не установилось еще искусство, критика не можетъ быть готова: нашей въ особенности много еще нужно фактовъ, много опытности, чтобъ возмужать, окрѣзнуть и получить собственную, оригинальную физиономію..

Сначала, у насъ самовластно царила критика французская. Украшенное подражаніе природѣ: вотъ начало, прежде всего усвоенное отъ Французовъ XVIII вѣка нашею критикою; отъ себя прибавила она къ нему своего собственнаго — искаженный языкъ, тяжелый и шероховатый стихъ и «циническія зольности». Все это дѣлалось во имя господина Буало, который весьма бы удивился, еслибъ могъ узнать, какъ у насъ проказили во имя его. Впрочемъ, и у насъ были люди болѣе или менѣе понявшіе глубоко французскую теорію искусства, какова бы она ни была. Изъ нихъ всѣмъ примѣчательнѣе Мерзляковъ; но о немъ мы еще будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ, а теперь начнемъ съ начала.

Первый свѣтскій поэтъ на руси былъ Кантемиръ — сатирикъ. Какъ литература искусственная и подражательная, рус-

ская литература не могла начаться съ другаго какого либо рода поэзиі, кромѣ сатиры. Причина этого, сверхъ того, заключалась и въ историческомъ положеніи русскаго общества. Борьба вѣшняго, формально понимаемаго европеизма съ роднымъ, вѣками взлелѣаннымъ азіятскимъ варварствомъ, не могла не вызвать сатиры. Въслѣдствіе этого, сатирическое направленіе Кантемира не было ни случайно, ни вредно, но было необходимо и чрезвычайно полезно. Оттого оно и укоренилось въ нашей литературѣ. Отсюда же можно объяснить, почему Сумароковъ въ массѣ общества имѣлъ гораздо бѣльшій успѣхъ, чѣмъ Ломоносовъ — человекъ неизмѣримо высшій Сумарокова. Направленіе перваго было болѣе ученое и книжное, а втораго болѣе жизненное и общественное. Сумароковъ, желая быть «россійскимъ господиномъ Вольтеромъ» писалъ во всѣхъ родахъ; онъ же былъ и первымъ русскимъ критикомъ, ибо первый, такъ или сякъ, выражалъ печатно свои понятія объ искусствѣ и литературѣ. Это онъ сдѣлалъ въ предисловіи къ своему «Дмитрію Самозванцу», а въ отдѣльныхъ журнальныхъ статьяхъ, ибо Сумароковъ былъ и журналистомъ — издавалъ «Трудолюбивую Пчелу»... О чемъ не писало, т. е. о чемъ не высказывало своего мнѣнія живое, раздражительное, безпокойное самолюбіе этого человека! Перелистывать, отъ нечего дѣлать, его прозаическія статьи — истинное наслажденіе: столько въ нихъ добродушнаго, наивнаго, вѣющаго духомъ того давно прошедшаго для насъ времени, давно умершаго общества! Прозаическія статьи Сумарокова столь же интересны и забавны, сколько скучны и тяжелы его вздорныя трагедіи. Самую интересную сторону литературной дѣятельности Сумарокова составляетъ ея полемическое направленіе, источникомъ котораго былъ его раздражительно-самолюбивый характеръ, все относившій къ себѣ и все выводившій изъ себя. Это самое и заставляло его хвататься за все. Онъ рѣшительно не читалъ

себя «россійскимъ господиномъ Вольтеромъ», и прои́тъ себя и господина Вольтера никого не хотѣлъ знать, ничего не признавалъ авторитета. Онъ писалъ къ нему о разныхъ литературныхъ предметахъ, и получая лестные отвѣты со стороны ернейскаго оракула XVIII вѣка, еще болѣе увѣрился въ своемъ гонимъ и своей всеобъемлемости.

Годы и здравый смыслъ давно уже произнесли свой судъ надъ поэтическими произведеніями Сумарокова: ихъ теперь невозможно читать, несмотря на то, что современники ими восхищались. Однакожь никакъ нельзя презирать и судомъ современниковъ, обязанныхъ сочиненіямъ Сумарокова своею грамотностию и — что особенно важно — своею склонностію къ благородному наслажденію чтеніемъ и театромъ. Слѣдовательно, поэтическія сочиненія Сумарокова, и не будучи читаемы, должны остаться навсегда фактомъ исторіи русской литературы и образованія русскаго общества. Что же касается до собственно литературныхъ статей Сумарокова, онѣ чрезвычайно интересны и для нашего времени, какъ живой отголосокъ давно прошедшей для насъ эпохи, одной изъ интереснѣйшихъ эпохъ русскаго общества. Сумароковъ обо всемъ судилъ, обо всемъ высказывалъ свое мнѣніе, которое было мнѣніемъ образованнѣйшихъ и умнѣйшихъ людей того времени. Плохой поэтъ, но порядочный по своему времени стихотворецъ, характеръ мелкій, завистливый, хвастливый, задорный и раздражительный, — Сумароковъ все-таки былъ человекъ умный и притомъ высокообразованный въ духъ того времени. И потому въ его прозаическихъ статьяхъ много фактовъ о состояніи общества, о духъ его эпохи. Въ нихъ онъ является критикомъ въ многостороннемъ значеніи этого слова, какъ судія не только искусства, и литературы, но и мнѣній и нравовъ современнаго ему общества. Посему, говоря о русской критикѣ, мы никакъ не могли обойти перваго (по времени) ея представителя — Сумарокова. Мы должны

взглянуть, хотя мимоходомъ, на тѣ нѣз его сочиненій, гдѣ онъ является критикомъ и полемическимъ мыслителемъ. И мы увѣрены, что послѣ нашихъ указаній, многіе захотятъ покороче познакомиться съ прозаическими сочиненіями Сумарокова и пожалѣютъ, что они изда ны Новиковымъ безъ толку, безъ плана, съ страшными опечатками и искаженіями смысла, безъ примѣчаній, и что теперь некому издать всѣхъ сочиненій Сумарокова какъ слѣдуетъ, а главное — съ необходимыми поясненіями и примѣчаніями. Вообще, надо замѣтить, что компактные дешевыя изданія старинныхъ русскихъ писателей, игравшихъ въ глазахъ своихъ современниковъ болѣе или менѣе важную роль, были бы очень полезны для литераторовъ, которымъ необходимо знать основательно исторію отечественной литературы и роднаго языка. Въ царствованіе Екатерины было много пишущаго народа и однако немногіе пользовались огромною извѣстностію, знавъ, что въ нихъ было нѣчто соответствовавшее ихъ эпохѣ и удовлетворявшее ея требованіямъ. Пусть вкусъ эпохи бываетъ иногда ложенъ, но эпоха всегда важнѣе человека, и самыя заблужденія ея всегда представляютъ любопытный и поучительный фактъ для мыслителя. Смѣшно и жалко видѣть безплодные усилія старичковъ прошлаго вѣка возстановить славу корифеевъ ихъ юности на-счетъ славы новыхъ талантовъ; смѣшно и жалко видѣть, какъ они силятся соблазнить новое поколѣніе умершею поэзіею прошедшаго; но въ то же время, можно уважать имена труженниковъ, которые своими сочиненіями, каковы бы они ни были, размножали въ обществѣ число грамотныхъ людей, возбуждали въ немъ любовь къ благороднымъ наслажденіямъ, и способствовали къ произведенію того, что называется «публикою» и безъ чего невозможна никакая литература. Такимъ образомъ, желательно было бы видѣть изданіе въ одинаковомъ форматѣ, компактное и дешевое, не только Ломоносова (старинныя и неопрытныя,

притомъ и не совсѣмъ полныя изданія котораго составляютъ теперь библиографическую рѣдкость), или Державина (Смирдинское изданіе котораго такъ неудачно и такъ бесполезно, ибо въ немъ пьесы расположены по родамъ, а не по времени ихъ явленія), или Фонъ Визина (который изданъ г. Салаевымъ довольно толковито, но безъ переводовъ этого писателя), или Озерова (котораго всѣ изданія уже устарѣли); но и Кантемира, и Третьяковского, Поповскаго, Сумарокова, Хераскова, Муравьева, Петрова, Богдановича, Княжнина, Кострова, Плавильщикова, Ильина, Иванова, Макарова и другихъ; еще желательнѣе, чтобъ все это было издано съ примѣчаніями и поясненіями, какъ издають своихъ старинныхъ писателей Французы.

Мы обратимъ вниманіе только на тѣ статьи Сумарокова, въ которыхъ видны понятія того времени объ искусствѣ, или которыя, при полемическомъ тонѣ, характеризуютъ общество его времени. Первое мѣсто между такими статьями Сумарокова должно занимать его предисловіе къ «Дмитрію Самозванцу». Тонъ этого предисловія самый полемическій и устремленъ противъ такъ называвшейся у насъ встарину «слезной комедіи», что называлась въ Европѣ мелодрамою. Извѣстно, что мелодрамы были въ страшномъ гоненіи въ XVIII вѣкѣ, и тогдашніе судьи и теоретики искусства столько же не терпѣли ихъ, сколько любила ихъ та часть публики, которая цѣнила литературныя произведенія по мѣрѣ доставляемаго ими наслажденія, а не по пятакѣ Буало. Сумароковъ, въ свою очередь, не могъ не ненавидѣть ихъ, и одна изъ нихъ «Евгенія», переведенная какимъ-то московскимъ чиновникомъ, имѣла значительный успѣхъ на сценѣ, что еще болѣе возстановило противъ нея ревниваго ко всякому чужому успѣху Сумарокова. Въ его филиппикѣ противъ этой драмы ¹⁾ высказывается и понятіе объ

¹⁾ Смотри «Сочиненія Бѣлинскаго» Ч. I. стр. 475.

искусствѣ знатоковъ того времени, и нравы общества, и характеръ самого Сумарокова. Похваставшись письмомъ Вольтера, Сумароковъ оканчиваетъ свою филиппику слѣдующимъ разсмотрѣніемъ содержанія «Евгенія»:

«Содержаніе сей слезной комедіи есть слѣдующее. Молодой, худо воспитанный и нечестосердечный графъ внѣ Лондона распалился красотою дочери нѣкаго небогатаго дворянина, и велѣлъ своему слугѣ себя съ нею обвѣнчать: она обрхатѣла, а онъ возвратился въ Лондонъ и помолвивъ жениться на какой-то знатной дѣвцѣ, собирается на это сочтаніе; первая его супруга прѣехала въ его домъ: свидѣла, что сожитель ея съ другою бракомъ сочтается: бѣгаетъ растрепавъ волосы: она плачетъ, отецъ сердится: въ домѣ вной плачетъ, вной хохочетъ: наконецъ сожитель ея сой повѣса и обманщикъ достойный встѣлицы за поруганіе религіи и дворянской дочери, которую онъ плутовски обманулъ, обманываетъ другую невесту, знатную дѣвицу: входитъ изъ бездѣлства въ бездѣлство: отказываетъ невестѣ, и вдругъ переѣнвивъ свою систему опять женится вторично на первой своей женѣ; но кто за такова гнуснаго человѣка поручится, что онъ на завтрѣ еще на комъ-нибудь не женится, ежели правительство и духовенство его не истребить. Сей мерзкой повѣса не слабости и заблужденію подверженъ, но безсовѣстности и злодѣянію».

Изъ самаго этого изложенія видно, что піеса «Евгенія» самая моральная: повѣса раскаивается и бракомъ заглаживаетъ свой проступокъ; но нашъ критикъ никакъ не хочетъ простить ему рукоплесканій московской публики и упорствуетъ видѣть въ немъ злодѣя.

Онъ даже ругнулъ порядкомъ и актрису, за то, что она слишкомъ хорошо играла роль Евгеніи. Такіе критики не рѣдкость и въ наше время...

Выраженія: «Неужели Москва больше повѣритъ подъячму, нежели г. Вольтеру и миѣ» и «А ежели ни г. Вольтеру, ни миѣ кто въ этомъ повѣритъ не захочетъ» и пр. показываютъ достаточно, какъ думалъ Сумароковъ о самомъ себѣ. Въ выходкахъ его самолюбія есть какая-то наивность и достолюбезность: это не столько наглое самохвальство, сколько теплая вѣра въ свою великость. Въ этомъ отношеніи, особенно

забавна его статья «Отвѣтъ на критику», которая начинается такъ: «Не надлежало бы мнѣ отвѣтствовать на сочиненную противъ меня г. Т. критику: ибо я въ ней кромѣ брани ничего не нашелъ; однако надо его потѣшить и что-нибудь на то написать, чтобъ онъ не подумалъ, что я его такъ много уничтожаю, что ужъ и отвѣчать не хочу». Вотъ нѣсколько возраженій Сумарокова на эту критику, хорошо характеризующихъ вообще критику того времени:

«Не дивясь говорить онъ (авторъ критики), что поступка нашего автора, безъумно слѣдствуетъ съ цѣвтомъ его волосовъ, съ движеніемъ очей, съ обращеніемъ языка и съ біеніемъ сердца». О какомъ онъ говоритъ біеніи сердца, того я не понимаю, въ прочтемъ сія новомодная критика очень преславна!

«Не думаетъ ли онъ,—говоритъ онъ обо мнѣ, чего онъ самъ стоитъ, и что и какой тотъ, противъ котораго онъ какъ съ цѣви спустилъ своевольную въ лихости свою музу?—Думаю...

«И хотя оды свойство, говорить онъ, по мнѣнію автору, что она

Взлетаетъ къ небесамъ, свергается во адъ,
И мчится въ быстротѣ во всѣ края вселенны,
Врата и путь вездѣ имѣетъ отворены. *(Вторая изъ двухъ моихъ эпистолъ.)*

Однако да сіе не значить, чтобъ ей соваться во всѣ стороны, какъ угорьлой кошки». Я какъ угорьла кошка не сумъ, а подлomu въясненію, какъ угорьлой кошкой, кромѣ его сочиненій ни въ какой критикѣ мѣста не нахожу.

Говоритъ онъ о мнѣ моими силами:

Нѣтъ тайны никакой безумственно писать,
Искусство, чтобъ свой слогъ неправдо предлагать,
Чтобъ мнѣніе творца воображалось ясно,
И рѣчи бы текли свободно и согласно. *(Изъ второй изъ двухъ моихъ эпистолъ.)*

Я не знаю, къ кому сіи стихи, ко мнѣ или къ кому больше приличествуютъ. Пѣсенка:

Поютъ птицы
Со синички,
Хвостомъ машутъ и лисички.
Плюнь на суку
Морску суку.
Держись черней и знай штуку.

кажется мнѣ не лучше моихъ сочиненій.

Изъ послѣдняго возраженія ясно видно, что г. Т., написавшій на Сумарокова такую грозную критику, есть не кто иной, какъ профессоръ элоквенціи, а паче всего хитростей пѣтическихъ, безсмертный Василій Кирилловичъ Тредіаковскій.

Этотъ, эта, это, за (вмѣсто) *сей, сія, сіе*, *нѣю* (почитаю) и за вольность, что въ одѣ положить нельзя, а въ трагедіяхъ, въ нѣкоторыхъ нѣстахъ полагать можно, ибо они слова не чужестранныя и непростонародныя: да я къ кладу (употребляю) ихъ очень рѣдко.

Братіевъ вмѣсто *братій*, есть вольность же, такъ же *слѣдствіевъ*, и прочее; а *братіевъ* есть и весьма вольность малая; ибо хотя *братій* и правильнае, нежели *братіевъ*; однако вмѣсто *братіевъ* сокращенно *братъевъ* еще употребительнае, нежели *братій*: *эмо, эмо братъевъ я здѣсь въ угодность ево положилъ много*. А я употребленію съ такимъ же слѣдую раченіемъ, какъ и правиламъ: правильныя слова дѣлаютъ чистоту, а употребительныя слова изъ склада грубость выгоняютъ, на примѣръ: Я люблю сего, а ты любишь другаго есть правильно, но грубо. Я люблю этого, а ты другаго.—Отъ употребленія и изгнанія трехъ слоговъ *го* и *заго* слышится пріятнае. Вотъ для чего я это дѣлаю, а не отъ незнанія, какъ гвѣваясь на меня г. Т. говорить изволить.

Кладеть въ порокъ, что я пишу *опять* за *паки*; но прилично ли положить въ ротъ дѣвицъ семнадцата лѣтъ, когда она въ крайней съ любовникомъ разговариваетъ страсти, между нѣжныхъ словъ *паки*, а *опять* слово совершенно употребительно, и ежели не писать *опять* за *паки*, такъ и *который, которал, которое*, надобно отставить и вмѣсто того употреблять въ превелику себѣ посмѣшеству, не употребительныя нынѣ слова *иже, лже, еже*, которыя хорошо слышатся въ церковныхъ нашихъ книгахъ, и очень будутъ дурныя, не только въ любовныхъ, но и въ геройскихъ разговорахъ.

Особенно примѣчательны въ этой антикритикѣ Сумарокова слѣдующія слова объ авторѣ критики, т. е. Тредіаковскомъ: «Меня онъ пуще всѣхъ не любитъ, за нѣкоторыя въ одной моей епистолѣ стихи и за комедію, которыя онъ беретъ на свой счетъ. Пускай ево беретъ, а я въ томъ, что не къ нему это сдѣлано, клясться причины не нѣю. Я то писалъ такъ, какъ вездѣ писать позволено, хотя бъ то и о немъ было; однако я не говорю, что то о немъ писалъ, можетъ-быть о немъ, а можетъ-быть и не о немъ». Здѣсь дѣло идетъ о комедіи «Тре-

сотниусть, въ которой подъ именемъ педанта Тресотиниуса дѣйствительно выведенъ Тредіаковскій, и въ которой, какъ во всѣхъ комедіяхъ Сумарокова, нѣтъ ни нравовъ времени, ни характеровъ, ни комизма, не остроумія, ни правдоподобія, ни здраваго смысла. Естественно, что Тредіаковскій особенно напалъ на комедію, въ которой увидѣлъ пасквиля на себя.

Жестоко злѣясь и браня меня, говорить онъ, что *Тресотиниусъ* мой изъ Гольберга. Какимъ же образомъ подъ именемъ Тресотиниуса находятъ онъ себя, ежели сія комедія взята изъ Гольберга; или онъ думаетъ, что у нихъ такой же Русской не знающій педантъ былъ, какой подъ именемъ Тресотиниуса у меня представленъ. А капитанъ Брамарбасъ, по характеру своему взятъ изъ Терентіева Езнуха, который комикъ не только греческихъ конниковъ былъ подражателемъ, но почти переводчикомъ. Чтожъ имя Брамарбаса взято изъ Гольберга, и въ томъ онъ ошибается; ибо Гольберговъ офицеръ въ нѣмецкомъ переводѣ снѣтъ названъ именемъ, а въ дацкомъ подлинникѣ, онъ не Брамарбасомъ называется.

Хоревъ, говорить онъ взятъ весь изъ Корнелія, Расина и Вольтера, а напаче изъ Расиновой Федры. Это правда; а что есть въ ней подражанія, а стиховъ пять-шесть есть и переводныхъ, что я и укрывать не имѣлъ наиѣренія; для того, что то ни мало не стыдно. Самъ Расинъ, сей великій стихотворецъ и преславный трагикъ, въ лутчія свои трагедіи ваялъ подражаніемъ и переводомъ въ Еврипида въ *Ифигенію*... стиховъ, въ *Федру*... стиховъ, чего ему никто не поставитъ въ слабость, да и ставитъ невозможно.

Гамлетъ мой, говорить онъ, не знаю отъ кого услышавъ, переведенъ съ французской прозы Аглинской Шекспировой Трагедіи, въ чемъ онъ очень ошибся. Гамлетъ мой, кромя монолога въ окончаніи третьяго дѣйствія и Клавдіева на колѣни паданія, на Шекспирову трагедію едва, едва походить.

Кромѣ языка и тона, тутъ и весь кодексъ искусства и литературы того времени: взять дѣлкомъ идею, сюжетъ чужаго сочиненія, перевести дѣлые мѣста изъ него, — это не считалось похищеніемъ и не умалало дѣны произведенія. И такъ дѣлалось не у однихъ у насъ; Французы нещадно обворовывали Грековъ, Римлянъ, Англичанъ и Испанцевъ, и изъ этого воровства не думали дѣлать тайны. Поэзія была сборомъ обшихъ мѣстъ; ей можно было и учиться и выучиваться: собственно талантъ, какъ даръ природы, составляло стихотвор-

ство, а не поэзія. Чтобъ писать стихи, особенно съ речами, нужно, если не таланта, то способности, по крайней мѣрѣ; чтобъ выдумать сюжетъ поэмы или драмы, нужно было только знать, въ подлинникѣ, или переводѣ, произведенія иностранныхъ поэтовъ: бери цѣликомъ и копируй — это значило «сочинять». Даже подражать рабски отечественнымъ писателямъ значило быть поэтомъ наравнѣ съ тѣми, которые въ состояніи были сами изобрѣтать. И въ смыслѣ поэзіи, какъ сборъ общихъ мѣстъ, Сумароковъ былъ совсѣмъ не плохой поэтъ для своего времени, на которое, поэтому, онъ и не могъ не имѣть сильнаго вліянія. Онъ зналъ хорошо французскій и нѣмецкій языки, былъ хорошо воспитанъ и образованъ въ духъ своего времени; и будь у него не много побольше вкуса, не много поменьше самолюбія, да владѣй онъ русскимъ языкомъ хоть такъ хорошо, какъ владѣлъ имъ Ломоносовъ, — то, при своемъ жизненномъ и общественномъ направленіи, онъ рѣшительно затмилъ бы всѣхъ писателей своего времени и былъ бы въ отношеніи къ этому времени, дѣйствительно необыкновеннымъ и достойнымъ серьезнаго изученія явленіемъ. Въ статьѣ Сумарокова «О пребываніи въ Москвѣ Монбрана» есть пренаивно выраженное мнѣніе о «заимствованіяхъ». Кто этотъ Монбранъ — не знаемъ; дѣло только въ томъ, что онъ, какъ образованный Французъ, хорошо былъ принятъ въ лучшихъ московскихъ домахъ, и скоро обратилъ на себя общее вниманіе своею болтовнею о томъ, что въ Россіи нельзя достать хорошаго бургонскаго вина, что честныхъ людей нѣтъ и быть не можетъ на свѣтѣ. Но больше всего изъясилъ онъ Сумарокова разговорами «о бездѣльствахъ г. Вольтера и г. маркиза Даржинса и о невѣжествѣ послѣдняго».

• А разговаривалъ онъ больше всѣхъ со мною (говоритъ Сумароковъ), думая искоренить мое къ г. Вольтеру и къ г. Даржинсу почтеніе. А не обманяла съ моей дороги, солгалъ на меня, будто я говорю, что г. Вольтеръ

ограждает стихотворцевъ, чего онъ отъ меня никогда не слышалъ. А по-
держаніе ни которому стихотверцу безславія не приносить. Я и самъ изъ
сочиненій г. Вольтера, г. Расина и г. Корнея не такъ заимствовалъ, что
изъ одной моей трагедіи, которая на французской переведена языкъ, вслѣдъ
довольно видно, а говорилъ я только то, что одна изъ моихъ г. Вольтера
трагедій, съ одной моей трагедіей очень сходна. Изъ сего не слѣдуетъ, что
я возвышалъ себя и поносилъ г. Вольтера, котораго трагедіи по достоинству
ихъ, похвалу себя у всей Европы заслужили.

«Мнѣніе во сновидѣніи о французскихъ трагедіяхъ» есть
настоящая критическая статья, кажется, писанная, по догадкѣ
Новикова, къ Вольтеру. Форма критики затѣйлива въ духѣ то-
го времени, какъ то показываетъ и ея заглавіе къ ней:

Разныя обстоятельства отвратили меня къ театру. Легче было мнѣ
разстаться съ Талією, нежели съ предубежденною моею Мельпоменон; но я ницѣ
и о ней рѣдко думаю: не для того, что она мнѣ противна, но что она мила:
а о той любовницѣ, которая мила, цѣла жизни, по разлученіи вспомянуть
мучительно. Но что отъ мучительнаго сновидѣнія спастись можетъ? Вострѣ-
шилъ меня сонъ, и взыскъ изъ очей моихъ, во время своего продолженія,
слезы. Былъ я сновидѣніемъ на театральныхъ представленіяхъ парижскихъ, и
видѣлъ нѣкоторыя трагедіи такъ живо, какъ на яву.

За тѣмъ, Сумароковъ начинаетъ съ «Цинны» Корнея,
излагая, какія онъ, во время представленія, имѣлъ чувствія
и разсужденія. Потомъ слѣдуютъ замѣтки, что такой-то де
стихъ «преславенъ», а такой-то «скарденъ», что такой-то мо-
нологъ хорошъ, только дологъ, такое-то мѣсто «презвѣщю»,
а такое-то «гнусно и подло»: Сумароковъ, какъ русскій чело-
вѣкъ, сильно выражался! Но почему онъ одно находитъ хоро-
шимъ, а другое дурнымъ, — этого въ наше время никто не
пойметъ: такъ переищичивы времена! Хвала особенно четыре
стиха изъ «Федры» Расина, нашъ критикъ восклицаетъ: «Едино
сіе явленіе соплело бы вѣчныя Расину лавры, еслибъ онъ и ни-
чего болѣе не писалъ!» Разбирая Вольтерова «Брута», критикъ
говоритъ: «Первое явленіе прекрасно. Во второмъ явленіи сіи
стихи вкусъ вашъ назначали (слѣдуетъ выписка семи стиховъ).

Брутъ перервалъ Аратову рѣчь по Вольтерски. Все явленіе достойно Вольтера и Музъ самихъ. Сіе явленіе не одну забаву приноситъ и не одни цвѣты, но пользу и плоды. Франція, Европа и Парижъ должны много Вольтеру, за нововведенный вкусъ, и къ удовольствію сердца и разума нашего. Остатокъ дѣйствія весь хорошъ. Первое явленіе Второго дѣйствія вы отъ жара любовнаго нѣсколько отдерживаете, родъ искусства Авторскаго, дабы любопытство зрителей умножено, и сердце послѣ сильно поражено было». Далѣе, онъ нашелъ такіа красоты въ «Брутѣ», что говоритъ: «Восхищеніе и пораженіе симъ явленіемъ моего сердца, препятствуетъ устамъ моимъ изобразити чувствіе души моея, и жертвовати похвалою Французскому Софоклу, Расинову, Метастазіеву и можетъ-быть и моему соимѣстнику, которому я еще больше долженъ, нежели Расину». Мнѣніе о «Заврѣ» Вольтера такъ добродушно оригинально, или, можетъ-быть, такъ ловко и хитро выражено, что его нельзя не выписать вполнѣ.

Первое явленіе прекрасно, вкуса щегольскаго. Второе прекрасно. Остатокъ дѣйствія хорошъ. Второго дѣйствія Первое Явленіе, хорошо, а паче многократно Христіанамъ. Второе Явленіе хорошо. Третье Явленіе весьма хорошо и Христіанамъ крайне жалостно. Не плакали во время Явленія одни только невѣжи и Деясты: одни по причинѣ, а другіе по другой, хотя послѣдніа были и тронуты, свиданіемъ и разительнымъ обстоятельствами отца и дочери. Сія Трагедія весьма хороша, но я, по несчастію окруженъ былъ беззаконниками, которые во все время почувствовали, и ради того, вступающія въ очи мои слезы, не вытекали на лицо мое. Видно, что сію сочиняя Драму Авторъ, о томъ имѣлъ попеченіе, дабы Христіанскій Законъ утвердитъ въ сердцахъ нашихъ, и отвлечи беззаконниковъ, сихъ заблужденныхъ людей, отъ естественнаго Богопочитанія, которая не пріемлютъ Священнаго Писанія. И ежели сіа Драма съ прямымъ успѣхомъ передъ деидами представлена будетъ; такъ и Драма Магометъ въ Константинополѣ понравится. Брутъ когда нибудь можетъ войти больше въ моду въ Парижѣ; ибо въ Монархіи республики дѣлаются. А Завра никогда въ моды не выйдетъ; Христіанскій Законъ не исчезнетъ никогда, по словамъ возлюбившагося Бога. Вы здѣлали великое по общему Христіанскому мнѣнію, дѣло, проповѣдывая и утверждая Христіанство; хотя и думаютъ безбожники, что вы сею

прекрасною Трагедію отвлекаете людей отъ истиннаго Богопочитанія, и уже зараженныхъ людей, еще заражаете. Если бы вы были Денсъ; такъ бы я въ вѣчность остался невѣденъ ради чего вы сію Трагедію сочинили. А зналъ, что вы Христіанствѣ вѣдаю и то, что вы ее сочинили, умножая нашу по Христіанству вѣрность.

Послѣ одного стиха въ «Альзирѣ» критикъ нашъ былъ восторженъ, а восторженный партеръ всплескалъ громко и троекратно. Въ IV актѣ, сочиненномъ самою Мельпоменю, критику не понравилось то, что Альзира, въ предыдущихъ дѣйствіяхъ «ругавшаяся европейскому о чести разсудку», тутъ говоритъ о томъ въ другомъ совсѣмъ духѣ. «Я хвалю васъ безстрастно, такъ безстрастно говорю, что мнѣ это крайне не нравится; а рѣчи и Альзиры и Замира божественны». Критика заключается разборомъ «Меропы», и послѣднія строки его могутъ служить и *resumé* и характеристикой всей критики:

«Нечего отличати: все прекрасно въ сей Трагедіи, по сіе время: приденъ къ Четвертому Явленію Третьяго Дѣйствія: Музы его писали. Чего оно достойно, я чувствую, но словами изобразити не могу. Остатокъ Дѣйствія прераскалъ. Четвертое Дѣйствие все весьма прекрасно. Второе Явленіе несравненно. Четвертое Явленіе Пятаго Дѣйствія несравненно, и все Дѣйствие прекрасно. Альзира, Цинна и Аталія кажется мнѣ должно уступить первенство Меропѣ и Фодрѣ. Сія дѣя Трагедіи будутъ вѣчною честью своимъ Авторамъ и Мельпоменѣ, и вѣчною славою Франціи, Европѣ, и всему роду человеческому.

Точно подписи учителя на тетрадкахъ школьничковъ: не дурно, порядочно, изрядно, хорошо, очень хорошо, отлично хорошо, прекрасно, превосходно!... Но это-то и называлось тогда критикою, и, право, Сумароковъ ни чѣмъ не хуже многихъ знаменитыхъ критиковъ въ Европѣ того времени...

«Переводъ съ Французскаго языка изъ чужестраннаго журнала мѣсяца Апрѣля 1755 года, стран. 114 и слѣд. напечатаннаго въ Парижѣ. Синавъ и Труворъ Россійская трагедія сочиненная Стихами господиномъ Сумароковымъ» — есть не что иное, какъ разборъ «Синава и Трувора», напечатанный въ

парижскомъ журналѣ, переведенный самимъ же Сумароковымъ, и, можетъ быть, имъ же и написанный.

Критики Сумарокова на Ломоносова составляютъ самую забавную сторону авторства Сумарокова. Замѣтивъ въ одѣ погрѣшность (не всегда истинную), Сумароковъ иногда очень лениво даетъ знать, что онъ такихъ погрѣшностей избѣгать старается, напримѣръ: «Межь льдыстыми горами!» межь льдыстыми дѣлаетъ выговору великую трудность, что (чего) я весьма избѣгать стараюсь». Замѣчаніе его на два первые стиха одной оды Ломоносова можетъ дать понятіе о цѣлей критикѣ:

Возлюбленная тишина,
Блаженство соль, градѣвъ ограда.

Градѣвъ ограда, сказать не можно. Можно молвить, селенія ограда, а не ограда града; градъ отъ того и ния свое имѣть, что онъ огражденъ! Я не знаю, сверхъ того, что за ограда града тишина. Я думаю, что ограда града войско и оружіе, а не тишина. Городъ имѣть въ родительномъ падежѣ множественнаго числа горедѣвъ, а градъ градѣвъ, а не градѣвъ; для того, что въ именительномъ падежѣ множественнаго числа, городъ имѣть званіе горедѣвъ, а градъ грады, а не градъ и не грады.

Все это отчасти и справедливо; но самъ Сумароковъ, въ своихъ стихахъ, даетъ еще болѣе чудовищные факты подобнаго терзанія и коверканія языка и смысла.

Особенно оригинальна статья Сумарокова «Разсмотрѣніе одѣ г. Ломоносова». Въ ней нѣтъ никакихъ разсужденій, даже никакого приступа: все дѣло въ ней рѣшается цифрами, такимъ образомъ: «Строфы прекраснѣйшія: (слѣдуютъ римскія цифры для означенія одѣ и обыкновенныя цифры для означенія строфъ); строфы прекрасныя: (цифры); строфы весьма хорошія: (цифры); строфы хорошія: (цифры); строфы изрядныя: (цифры); строфы, по моему мнѣнію, требующія большова исправленія: (цифры) строфы о которыхъ я ничего не говорю: (цифры).

Но этимъ не оканчивается смѣшное въ соперничествѣ Сумарокова съ Ломоносовымъ: есть у Сумарокова отдѣльная

статья подъ названіемъ «нѣкоторыя строфы»; она вся состоитъ изъ 12-ти строфъ, изъ которыхъ, попеременно, надъ одною стоитъ «его», а надъ другою «моя». Слѣдующее же предисловіе объясняетъ эту странную загадку:

Мнѣ уже прискучалось слышать всегдѣшній о г. Ломоносовѣ и о себѣ (т. е. обо мнѣ) разсужденія. Слово громкая ода къ чести автора служить не можетъ; да сіе же объясненіе значитъ галлматію, а не величавіе. Мнѣ приписываютъ нѣжности: и сіе изъясненіе трагическому автору чести не приносить. Можетъ ли лирической авторъ составить честь имени своему громкомъ! и можетъ ли представленный въ драмѣ Геркулесъ быть нѣжною Сильвіею и Амариллою воздыхающими у Тасса и Гваринія! Во стихахъ г. Ломоносова много для почерпанія лирическими авторамъ мыслится: а я мнѣ совѣтую взглянуть на его лирическія красоты и отдѣлать хорошее отъ худова. Г. Ломоносовъ со мною нѣсколько лѣтъ имѣлъ хорошее знакомство и ежедневное общеніе, и нѣрѣдко слыхалъ я отъ него, что онъ самъ часто гнушался, что нѣкоторые его громкимъ называли. Его достоинство въ одахъ не громкость. А что жъ? объ этомъ долго говорить, и я прилагаю здѣсь предисловіе, и нѣкоторые къ чести его строфы, для сравненія съ моими, а не толкованія. О преимуществѣхъ себѣ я публичку не пишу; ибо похвалы выпрошенныя гадки: а естли и г. Ломоносову дается и въ одахъ преимущество, я объ этомъ тужить не стану: желалъ бы я только того, чтобы разборъ и похвалы были основательны. Въ прочтемъ я свои строфы распоряджалъ, какъ распоряджалъ Мильгеръ в Руссо (Жанъ Батистъ) и всѣ нѣмѣнныя лирики; а г. Ломоносовъ этого не наблюдалъ; ибо наблюденіе сево, какъ чистота языка, гармонія стопосложенія, изобильныя рифмы, разиошеніе негласныхъ литеръ, не превышшимъ писателямъ толпаго стоять затрудненія, коимую приносятъ они сладость. Наконецъ: во надгробной надписи г. Ломоносова изображено, что онъ учитель поэзіи и риторикіи: а онъ ни кого не училъ и ни кого не выучилъ; ибо г. Ломоносова честь не въ риторикіи его состоитъ, не въ одахъ. Потомки и его и мои стихи увидятъ и судить насъ будутъ, или паче письма наши; но потомки могутъ, или должны будутъ подумати, что и я по сей ему надгробной надписи былъ его ученикъ: а я стихи писалъ еще тогда когда г. Ломоносова и имени не слыхала публичка. Онъ же въ Германіи писанинъ зачалъ, а я въ Россіи, не имѣя отъ него не только наставленія, но ниже зная его по слуху. Г. Ломоносовъ меня нѣсколькими лѣтами былъ по старѣе; но изъ того не слѣдуетъ сіе, что я его ученикъ, о чемъ я не трогая ни мало чести сево стихотворца предувѣждаю потомковъ, которые и г. Ломоносова и меня не скоро увидятъ: а особливо ради того, что и языкъ нашъ и поэзія наша изчезаютъ: а зараза пѣнтячества весь російскій Парнасъ нѣвжестьено охватила: а я истребленія оному предвидѣти не могу, жалѣя, что

прекрасный наш язык гибнет. А что въ прочтѣнъ до г. Ломоносова на-
лежить; такъ я, похваляя его, думаю только о живости его духа виднаго во
строкахъ его. Великій былъ бы онъ мужъ во стихотворствѣ, ежели
бы онъ могъ вычитать оды свои, а во прочтѣи поэмы не давался.

Вотъ какъ! Сумароковъ не любилъ шутить тамъ, гдѣ чья-
нибудь слава могла бросать тѣнь на его славу. Въ длинной
статьѣ своей «О правописаніи», онъ безпрестанно придирает-
ся къ Ломоносову, съ профессорскимъ тономъ какого-то не-
оспоримаго преимущества передъ нимъ. Нападая на употре-
бленіе буквы *e* вмѣсто буквы *i*, достоинъ вмѣсто достоинъ,
бывшей, вмѣсто бывшій, Сумароковъ не безъ основательности
замѣчаетъ, что «сіе нововведенное правило, не имѣетъ осно-
ванія, ни на свойствѣ языка, ни на древнихъ книгахъ, ни на
употребленіи: а единственно на произволеніи г. Ломоносова и
на почтеніи къ нему его послѣдователей, или паче сказать на
семъ правилѣ, что г. Ломоносовъ былъ академикъ; такъ по-
лагаютъ основаніе на академіи, хотя онъ не составлялъ акаде-
міи, но былъ ея членъ; и ни академія, ни Россія того не ут-
вердила да и утверждати того Академіи не можно: ибо она въ
наукахъ, а не въ словесныхъ наукахъ упражняется». Далѣе,
Сумароковъ жалуется, что Ломоносовъ ввелъ въ нѣкоторыхъ
словахъ провинціальное произношеніе, какъ напримѣръ, лѣта
вмѣсто лѣта, градѣвъ, вмѣсто градовъ, и что «многіе не раз-
мышляя, таковыя его ошибки приняли украшеніемъ цинтичес-
кимъ, и употребляютъ оныя къ безобразію нашего языка, что
г. Ломоносову яко провинціальному уроженцу простительно,
какъ рожденному еще и не въ городѣ, и отъ поселянъ; но
прочимъ, которые рождены не въ провинціяхъ и не отъ посе-
лянъ, сіе извинено быть не можетъ».—«Но (прибавляетъ онъ)
дабы не подумали, что я о происхожденіи г. Ломоносова въ
ругательство ему вспоминаю; такъ насъ не благородство, но
Музы на Парнасъ возводятъ, ибо благородство есть послѣднее

качество нашего достоинства, и тѣ только много о немъ думаютъ, которые другаго достоинства не имѣютъ». — Изъ отвѣта Ломоносова Сумарокову о причинѣ замѣненія буквы *ѳ* буквою *ф*, видно, что Ломоносовъ не находилъ нужнымъ вступать съ нимъ въ серьезныя объясненія: «Эта-де литера стоитъ подпершия, слѣдовательно бодрее». — «Отвѣтъ издѣвоченъ, но не важенъ» замѣчаетъ Сумароковъ. Говоря о томъ, что въ предлогѣ *при*, употребляемомъ слитно съ глаголами, должно сохранять букву *и*, не переищняя ее на *і*, Сумароковъ прибавляетъ «Г. Ломоносовъ годъ цѣлый имѣ въ семь противурѣчялъ, и признавъся по разѣсканію точныя обстоятельности, мое мнѣніе съ великимъ утверждалъ жаромъ; но не успѣлъ писемненно со мною въ ономъ согласиться, или по частнымъ со мною не до краснорѣчія и не до языка касающимся распрямъ, не хотѣлъ согласиться до времени: какъ онъ покритиковалъ у меня не знаю за что нарѣчіе *дне съ*, и не нашедъ другаго къ тому реченія, зачалъ употреблять *виѣсто нынѣ*, *нынѣ*; но *нынѣ* не знаменуетъ той краткой точности, а *нынѣ* не можно *виѣсто нынѣ* писать; ибо претворати въ *ѣ* писатели вольности не имѣютъ, хотя они и стихотворцы; ибо и имъ дозволяется нѣчто, а не все, да и то что рѣчи нимало не обезображиваетъ. Да и на что *нынѣ*: ибо *нынѣ* ево тоже изображаетъ какъ и *нынѣ*: а краткость одного слога не стоитъ труда искуснаго речетворца». — Дѣйствительно, Ломоносово *нынѣ* *виѣсто нынѣ*, такъ же нелѣпо, какъ и Сумароковы *мя* и *тыя*, *виѣсто* *меня* и *тебя*. Вообще, говоря о другихъ, Сумароковъ жерѣдко бываетъ и основателемъ и справедливымъ: такъ, напримеръ, жалуюсь на постепенную порчу языка, онъ приводитъ разительныя примѣры этой порчи, какъ-то употребленіе «*февраль*» *виѣсто* «*феврарь*», «*пролубь*» *виѣсто* «*прорубь*». Но зато, видитъ иногда гибель тамъ, гдѣ нѣтъ даже опасности, и часто противорѣчитъ самому себѣ; такъ, напримеръ, съ одной

стороны, требуя, чтобъ, для сохраненія кореннаго происхожденія словъ, писать *пріямый* вмѣсто *пріятный*, съ другой стороны не хочетъ, чтобъ предлогъ *со*, соединяясь съ глаголами, сохранялъ коренную свою букву *з*, и вооружается противъ этого со всѣмъ комизмомъ своей запальчивости. «Но бывало ли отъ начала міра въ какомъ-нибудь народѣ такое въ писаніи скаредство, каково мы нынѣ дожили! Востокъ, источникъ, превосходительство! Конечно, паденіе нашего языка скоро будетъ, когда такая неглицица могла быть воспріята!»

Замѣчательно, какъ фактъ того времени, что Сумароковъ за искаженіе русскаго языка жалуется на Малороссіянъ, и не только писателей, но и на пѣвчихъ, которые, вмѣсто «во вѣки вѣковъ», писали и пѣли «во вки виковъ», вмѣсто «Тебѣ Господи» — «Теби Господы», и т. п. «Не подумаетъ ли кто (прибавляетъ Сумароковъ), что я вооружаюсь противъ ученыхъ Малороссіянъ; нѣтъ: дай Боже, чтобъ не только мы, но хотя наши потомки изъ Малороссіи другаго Феофана вѣли! Есть нѣчто во краснорѣчій худова, но сколько на противъ того и славы его имени, и славы нашихъ временъ!»

Замѣчательная выходка Сумарокова противъ перевода Тредиаковскаго Ролленовой исторіи: «Вотъ (говоритъ онъ) ожидаемая польза отъ умноженія сочиненій и переводовъ, которыми насъ невѣжи обогащаютъ! Вредно ободряли врадей похвалами, чтобъ они больше врали; ибо де не писавъ худо, нельзя писать и хорошо; но враки должно ли издавать на свѣтъ? Древняя исторія неопѣшеннаго Роллина, въ переводѣ нашемъ, подаетъ читателю, не знающему чужихъ языковъ, нѣкоторое ему познаніе, къ малому просвѣщенію, безъ другихъ знаній, и ко прогнакію скуки; а языкъ нашъ какъ морская заражаетъ языкъ».

Вообще, эта статья такъ и дышетъ своею современностію и личностію Сумарокова: въ ней онъ и его время какъ бы еди-

цетворяюсь и лично бесѣдують съ нами. Кому тутъ не достаете, кто не задѣвается! И писатели, и женщины, и подъячїе!... «Женщины наши (говорить критикъ) по большой части никакова правописанїя не соблюдаютъ, и пишутъ какъ ни попало, напримеръ: матушка моя галубушка пожалуй атпшника мне душа моя гдѣ ты купила вчерашней градитуръ, а иногда и гарнитуръ». — Противъ безграмотности подъячїихъ, по длиннотѣ филиппики, и выписать нельзя: когда Сумароковъ заговаривалъ объ этомъ «крапивномъ зельи», объ этомъ «хамовомъ поколѣнїи» (какъ онъ называлъ подъячїихъ), его сатирическое негодованїе всегда лилось рѣкою, затоплявшею берега свои.

Статья «О стопосложенїи» изобилуетъ комически смѣшными выходками Сумарокова противъ Ломоносова.

Статья «О истребленїи чужихъ словъ изъ русскаго языка» можетъ быть отнесена къ любопытнѣйшимъ фактамъ исторїи русской литературы: она доказываетъ, что вторженїе въ нашъ языкъ французскихъ словъ и оборотовъ отнюдь не было слѣдствїемъ реформы Карамзина, ибо еще до него было въ самомъ сильномъ разливѣ. Сумароковъ смѣется надъ словами: «фрукты, сервизъ, антишамбера, камера, сюртукъ, супъ, гувернанта, аманта, дана, валеть, атутъ (ковырь), роа (король), мовероваться, зложъ (похвала), принцъ, бурса, тоалетъ, пансивъ (задумчивъ), корреспонденція, кухмистръ, томъ, эдїція, жени (т. е. генїй; подъ жени Сумароковъ понималъ остроумїе), бонсанъ (здравый смыслъ; Сумароковъ переводитъ разсужденїе), эдюкація, мэннѣжкъ, деликатно, пассїя». Однакожъ если многія изъ этихъ словъ вывелись изъ употребленїя, за то многія и остались; генїй языка умѣе писателей, и знаетъ, что принять и что исключить. Вероятно были употребительны и такіа фразы, если Сумароковъ надъ ними смѣется: «я въ дистракціи и дезесвере; аманта моя сдѣлала мнѣ инфеделите; а я à ку смръ противъ ривала моего буду реванжироваться».

Какъ о чертѣ смѣшнаго и добродушно-наглаго самохвальства Сумарокова, нельзя не упомянуть о его вызовѣ проѣздить за границую два года и потомъ описать свое путешествіе. «Каково мое перо (говоритъ онъ), о томъ и по худымъ переводамъ всѣ ученѣйшія въ Европѣ знаютъ и ту мнѣ похвалу соплетаютъ, которая превосходитъ желаніе авторовъ и тѣхъ народовъ, въ которыхъ науки созрѣли и утвердились. И что я Россіи сдѣлалъ честь мои сочиненіями, въ томъ я всѣхъ ученѣйшихъ людей во всей Европѣ свидѣтелями вѣдою». За два года и четыре мѣсяца онъ просилъ у правительства, кромѣ своего жалованья, 12,000 рублей, «которые деньги по изданіи моего путешествія возвратятся въ казну съ излишкомъ; ибо 6000 экземпляровъ продаваясь по три рубля, 18,000 рублей, а потому она въ всегдашнее время продаваться будетъ, и такъ казнѣ убытка не будетъ.—Еслибъ такимъ перомъ, каково мое, описана была вся Европа; не дорого бы стало Россіи, ежели бы она и 300,000 на это безвозвратно употребила. Я прошу о семъ не для себя, но для пользы моего отечества, а мой собственный прибытокъ изъ того только одна честь имени моему».

Эплоги Сумарокова таковы, что ихъ теперь странно видѣть въ печати. Всѣ онѣ оканчиваются одинаково, въ родѣ этого:

О лютый Періандръ!... невинность исчезаетъ:
 Вручаюсь тебѣ... Пастухъ на все дерзаетъ.
 Не спорить Туллиа, гоня упрямяство прочь,
 И въ вступленіи препровождаетъ ночь,
 Въ веселіи пробывъ со пастухомъ безъ спора,
 Доколѣ не взошла на пастѣхъ къ нимъ аврора...

И несмотря на это, Сумароковъ и не думалъ быть соблазнительнымъ, или неумиленнымъ; а напротивъ, онъ хлопоталъ о нравственности, и былъ увѣренъ, что эплога такой ужъ родъ поэзіи, который, по сущности своей требовалъ, такихъ

сюжетовъ и съ такими развязками. Онъ посвящаетъ свои эклоги «прекрасному російскаго народа женскому полу», и въ этомъ посвященіи такъ излагаетъ теорію эклоги, какъ рода поэзіи:

Я вамъ, прекрасныя, сей мой трудъ посвящаю: а ежели кому изъ васъ подумается, что мои элоги наполнены излишно любовію; такъ должно знати, что недостаточная (не полная) любовь не была бы матерію поэзіи: сверхъ того должно и то вообразити, что въ дни златаго вѣка не было ни бракосочетаній, ни брадовъ къ оному принадлежащихъ: одна нѣжность только препровождена жаромъ и вѣрностью была основаніемъ любовнаго блаженства. Говорятъ о веровствіи, о убійствѣ, о грабежѣ, о ябедничествѣ беззаворно во всякихъ бесѣдахъ; не уже ли такіе разговоры благородныя рѣчей любовныхъ? А особливо когда не о скотской и не о непостоянной говорится любви. Въ эклогахъ мовъ возгнѣдается нѣжность и вѣрность, а не злопрістойное сластолюбіе, и нѣтъ таковыхъ рѣчей, кои бы слуху были противны. Презрѣнна любовь нищая едино сластолюбіе во основаніи: презрѣнны любовники, устремляющіеся обманывать слабыхъ женщннъ: подвержены нѣкоторому поношенію и женщины, въ обманъ давшіяся: презрѣнно неблагородное сластолюбіе; но любовныя нѣжность и вѣрность отъ начала міра были почтенны и до скончанія почтены будутъ. Любовь источникъ и основаніе всякаго дыханія, а въ добавокъ сему источникъ и основаніе поэзіи; такъ можно ли сочиняти элоги, естъли пить ужаснется глухыхъ предвареній и невкусныхъ кривотолкованій. А вы, прекрасныя, помните только то, что неблагопрістойная любовь и непостоянство стыдны, несносны, вредны и пагубны, а не любовь, и что любовію наполненныя элоги и основанныя на нѣжности, подпертой честностію, и вѣрностію, читателямъ соблазна, точною чертою, принести не могутъ; хотя и нѣтъ никакова блага, изъ котораго бы не могло быти злоупотребленія. Что почтеннае правосудіа; но колико изъ него происходятъ ябедъ и кричкотвореній, а слѣдовательно утѣсеній и погубленій роду человѣческому? И что почтеннае, элоги ли составлять, наполненныя любовными жаромъ и пишешыя хорошими складомъ, или тяжбыя ябедниковъ письма, наполненныя плутовствомъ и складомъ писанныя оскаредными?

Оставьте въ сторонѣ старинный языкъ и вникните въ мысль этого предисловія: она была мыслию вѣка. Дезульеры, Геснеры и Флоріаны писали свои элоги и идилліи именно по этой теоріи. Они изображали дѣйствительность, которой никогда и нигдѣ не бывало. Они воображали, что точно былъ

золотой вѣкъ невинности, не понимая того, что состояніе невинности есть то же, что состояніе животности, какъ то доказываютъ всѣ дикія племена Африки, Америки и Австраліи. Этими то мнимо-невиннымъ людямъ придавали они сладенькія чувствованія своего времени, и были вполне увѣрены, что изображаютъ пасторальную жизнь, и что ихъ Дафнисы, Меналки, Титирь, Коридоны, Аглан, Хлон, Амариллы и Галатен суть лица живыя и невинныя, тогда какъ это просто общія риторическія мѣста, какъ и вся поэзія (а не литература въ обширномъ смыслѣ) XVIII вѣка. У Сумарокова вполне достало ума и способности понять это искусство общихъ мѣстъ и воспользоваться имъ для своего времени.

Истинный критикъ своего времени, Сумароковъ судить обо всемъ — о добродѣтели, о философіи, о грамматикѣ, о поэзіи, о стѣснительной системѣ запретительной торговли, о большихъ бесѣдахъ, чтеніи романовъ, и проч. и проч. Часто у него попадаются мысли хотя не глубокія, но здравыя и тѣмъ болѣе полезныя для общества его времени. Можно написать цѣлую статью о его войнѣ противъ подъячихъ: Боже мой, гдѣ и какъ ни пятналъ, ни позорилъ ихъ этотъ неутомимый боецъ! Говоря о подъячихъ, Сумароковъ становится и жолченъ, и остеръ, и вдохновененъ! Ненависть къ этому гнусному отродію (говоря его выраженіемъ) была живою струною его души; и кто же не согласится, что источникъ этой ненависти былъ благороденъ, а ея проявленіе не могло не принести пользы обществу: дидактическое направленіе въ поэзіи самобытной есть признакъ антипоэтическаго характера народа; но въ поэзіи подражательной бывшей плодомъ реформы, нововведеніемъ, какова была, въ своемъ началѣ, поэзія русская, дидактическое направленіе есть признакъ жизненности, социальности, и полезно какъ для общества, такъ и для самого искусства: ибо общество потому только и принялось за нее, что

увидѣло въ ней поученіе, дѣйствительно полезное для него. Когда дидактическая поэзія истощила все свое содержаніе и не могла идти далѣе, противъ нея явилась реакція, заговорили о поэзіи, какъ о творчествѣ, какъ о цѣли самой себѣ, а между тѣмъ привычка къ чтенію, къ занятію поэзіею, благодаря ея дидактическому направленію, была уже сдѣлана. Послѣ этого не трудно было отвергнуть дидактическую поэзію, какъ ложную и враждебную истинному искусству. Но это, какъ мы покажемъ въ слѣдующей статьѣ, сдѣлалось не вдругъ, а постепенно. Сперва позволили поэзіи воспѣвать геройскіе подвиги и побѣды, не увольняя ея отъ обязанности поучать; потомъ, стали позволять ей, между прочимъ, быть выразительницею прихотей фантазій, и наконецъ, ради граціи и обаятельности формъ, воспѣвать и жалости чувства, и пѣнистое вино, и веселыя пирушки, и сладостную лѣнь. Ужь послѣ этого провозгласили, къ крайнему соблазну литературныхъ старовѣровъ, что искусство есть само себѣ цѣль, что поэзія ни въ себя цѣли не имѣетъ и не должна имѣть. Такъ какъ въ этой мысли заключается значительная часть истины, и такъ какъ, не перейдя черезъ нее, нельзя было понять идеи искусства, какъ особой и самостоятельной сферы сознанія, то эта мысль и овладѣла свѣжими умами до того, что ее довели до односторонности, и исключительности, а слѣдовательно, и до нелѣпости. Теперь критикѣ предстоитъ новая задача — примирить свободу творчества съ служеніемъ историческому духу времени, съ служеніемъ истинѣ.

Итакъ, дидактическое направленіе Сумарокова было полезно для современнаго ему общества. Въ этомъ отношеніи его эпистолы и сатиры имѣютъ свою относительную цѣнность. Несмотря на грубый языкъ, цинизмъ выраженій, для многихъ было весьма полезно и поучительно въ тотъ зараженный сибелью баретва вѣкъ читать, напримѣръ, такіе стихи:

Сію сатиру вамъ, дворяна, приношу
 Ко членамъ первымъ я отечества пишу.
 Дворяна безъ меня свой долгъ довольно знаютъ,
 Но многія одно дворянство вспоминають,
 Не помня, что отъ бабъ рожденный и отъ дамъ
 Безъ исключенія всѣмъ праотець Адамъ.
 На то ль дворяна мы, чтобъ люди работали,
 А мы бы ихъ труды по знатности глотали?
 Какое барина различье съ мужикомъ?
 И тотъ, и тотъ земли одушевленный комъ.
 И если не ясный умъ барскій мужикова,
 Такъ и различія не вижу никакова.
 Мужикъ и пьетъ и ѣсть, родился и умереть,
 Господскій такъ же сынъ, хотя и слаще жреть,
 И благородіе свое не рѣдко славить,
 Что цѣлый полкъ людей на карту онъ поставитъ.
 Ахъ, должно ли людьми скотинѣ обладать?
 Не жалко ль? можетъ быкъ людей быку продать?

Въ числѣ эпистолъ, мы находимъ и слѣдующія: «Любовь къ отечеству есть первая добродѣтель», «Къ неправеднымъ судіямъ», «О русскомъ языкѣ», «О стихотворствѣ» (передѣлка L' Art Poétique Буало) и «Наставленіе хотящимъ быти писателями». Во всемъ этомъ видѣнъ или критикъ искусства и литературы, или критикъ нравовъ. Въ томъ и другомъ Сумароковъ особенно примѣчателенъ, какъ представитель своего времени. Не изучивъ его, нельзя понимать него эпохи. Если бы кто вздумалъ написать историческій романъ, или историческую повѣсть изъ тѣхъ временъ, — изученіе Сумарокова дало бы ему богатые факты объ обществѣ того времени; а что такое историческій романъ, какъ не исторія общества въ известную эпоху? Да; предметъ исторіи — человѣчество, или народъ; предметъ историческаго романа — общество. Постепенность развитія идей въ обществѣ представляетъ собою картину въ высшей степени интересную. На само искусство нельзя смотрѣть только въ сферѣ самого искусства, безъ от-

ношенія къ жизни: такой взглядъ можетъ быть иногда вѣренъ, но онъ всегда одностороненъ, особенно въ отношеніи къ искусству въ Россіи. Повторяемъ: наша поэзія, наша литература — плодъ реформы Петра Великаго, какъ наша цивилизація. Начавшись формами безъ жизни, они постепенно стремились къ жизни и самобытности, и достигли наконецъ того и другаго чрезъ историческій процессъ. Сумароковъ былъ однимъ изъ замѣчательныхъ фактовъ этого процесса, — что и заставило насъ говорить о немъ подробно,

3.

Статья наша о «Критикѣ» должна оставить принятый ею историческій путь и снова возвратиться къ настоящему, характеристикой котораго и заключится она. Мы и не хотѣли давать ей характеръ историческій; иначе, должны были бы написать много статей прежде, нежели добрались бы до настоящаго періода русской литературы. Въ предыдущей статьѣ, мы желали только намекнуть на то, какъ, по нашему мнѣнію, должно было бы слѣдить русскую критику въ ея историческомъ развитіи, — заранѣе отказываясь написать полную ея исторію въ этомъ отдѣлѣ нашего журнала. Доселѣ еще не только не было никакой попытки — начертать исторію русской литературы со стороны ея вліянія на мнѣніе общества, т. е. со стороны критики, въ обширномъ значеніи этого слова; но даже не было и попытокъ сдѣлать хоть какія-нибудь указанія на матеріалы, необходимыя для подобнаго труда. А между тѣмъ, этотъ трудъ только слегка можетъ казаться легкимъ, въ сущности же онъ весьма сложенъ, кропотливъ и тяжелъ. Нужно не только перечестъ вполне нѣкоторыхъ писателей, но и рыться въ старыхъ и новыхъ журналахъ. Притомъ же, мы задали бы себѣ слишкомъ обширный вопросъ, еслибъ взяли

критику въ ея общемъ значеніи. Для насъ важны не только тѣ русскіе писатели, которые посвящали свои труды или теоріи изящнаго, или собственно — критикѣ изящныхъ произведеній, или отрывочно, тамъ и сямъ, въ своихъ твореніяхъ, выговаривали свои понятія объ изящномъ и о критикѣ; но и тѣ писатели, которые, своими нравственными мнѣніями, выражали духъ времени, или давали ему новое направленіе. Въ этомъ отношеніи, какъ важенъ для насъ, напримѣръ, Фонъ-Визинъ, съ его «Недорослемъ» и «Бригадиромъ», въ которыхъ, въ лицѣ глупцовъ и чудаковъ, высказано понятіе того времени объ отрицательной сторонѣ современнаго общества, а въ лицѣ резонёровъ и добродѣтельныхъ людей, высказанъ, такъ сказать, идеалъ, къ которому должно было стремиться общество, высказаны начала, на основаніи которыхъ мыслили и дѣйствовали лучшіе люди той эпохи! А неговѣдь Фонъ-Визина, его мелкія сатирическія статьи, его вопросы, и проч.? Оцѣнка всего этого была бы полною оцѣнкою всего Фонъ-Визина, который замѣчательнъ совѣмъ не какъ поэтъ (ибо поэтомъ онъ не былъ), а какъ умный, мыслящій человекъ своего времени, даровитый писатель съ критическимъ направленіемъ. «Словарь Россійскихъ Писателей» Новикова — богатый фактъ собственно-литературной критики того времени: его тоже нельзя миновать въ историческомъ обзорѣ русскои критики. Тутъ же долженъ занять свое мѣсто и Макаровъ — одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей и критиковъ того времени. Съ именемъ Карамзина соединяется понятіе о цѣломъ періодѣ русскои литературы, стало-быть, отъ девяностыхъ годовъ прошлаго столѣтія до двадцатыхъ настоящаго. Тридцать-пять лѣтъ такой блестящей литературной дѣятельности и около сорока лѣтъ такого сильнаго вліянія на русскую литературу, а черезъ нее и на русское общество! И вліяніе не только литературное, но и, можно сказать, всяческое! Все это должно

эновь перечитать, пересмотрѣть, а на все это нужно время и время. Критическая дѣятельность Мералякова, князя Вяземскаго, Каченовскаго и другихъ, характеристика многихъ журналовъ, въ которыхъ нѣкихъ теперь и имена не извѣстны публикѣ, — также должны войти въ этотъ обзоръ и, слѣдственно, также должны быть пересмотрѣны. Война караванистовъ съ шишковистами; прологъ къ войнѣ романтизма съ классицизмомъ, заключающій въ себѣ пренія, возбужденныя нѣмецкими англійскими балладами Жуковскаго; далѣе, война любителей классицизма и вмѣстѣ народности, съ поборниками классицизма чисто подражательнаго и чуждаго всякой народности (въ этой войнѣ замѣчательны имена Катенина, Жандра, и отчасти, Грибоѣдова); наконецъ, война классицизма и романтизма: — сколько для всего этого нужно пересмотрѣть книгъ, особенно журналовъ! Появленіе каждаго генія бываетъ чѣмъ-то нарушающимъ обыкновенный порядокъ вещей, съ непривычки кажется чѣмъ то незаконнымъ и возбуждаетъ вражду и онезицію со стороны людей, проникнутыхъ духомъ господствующаго порядка вещей. Въ пользу генія возстаетъ юное поколѣніе, и завязывается битва, концомъ которой всегда бываетъ торжество генія. И вотъ окончена битва — и видъ дѣла измѣняется: геній признанъ величайшимъ и непогрѣшительнымъ авторитетомъ; противъ него враждуютъ развѣ только хрипалые голоса немногихъ уцѣлѣвшихъ развалинъ стараго времени. Но время идетъ, новыя идеи вторгаются, и такъ какъ не было и никогда не будетъ генія, который бы все сказалъ, все рѣшилъ, на все далъ отвѣтъ, изчерпалъ бы всѣ стороны бытія, такъ что уничтожилъ бы возможность явленія другихъ геніевъ, а слѣдственно, и возможность дальнѣйшаго развитія народа или человѣчества: то и геній, послѣ столькихъ усилій и битвъ, сдѣлавшійся властителемъ думъ своего времени, является наконецъ представителемъ уже минувшей эпохи, не

удовлетворяющимъ новаго времени. Противъ него воздвигается оппозиція, часто несправедливая и ослѣпленная въ своей крайности; за него стоитъ все, что не двинулось послѣ него впередъ — и опять битва! Но проходятъ годы, новое беретъ свое, мирно царитъ надъ настоящимъ и воздастъ должное прошедшему. Все это было и въ русской литературѣ, хотя она существуетъ еще только сто лѣтъ, если началомъ ея взять 1739 годъ, когда Ломоносовъ написалъ первую свою оду — «На взятіе Хотина» (сатиры Кантемира были въ первый разъ изданы въ 1762 году). Такъ литературная дѣятельность Карамзина, явившаяся оппозиціею схоластическому направленію русской литературы, данному Ломоносовымъ, возстановила противъ себя славянофиловъ и пуристовъ русскаго языка. Время и разумъ рѣшили дѣло въ пользу реформы Карамзина, и Карамзинъ сдѣлался патриархомъ русской литературы; подъ страхомъ анаемы и отлученія отъ литературнаго православія, не позволялось усомниться ни въ одной строкѣ, ни въ одной буквѣ его сочиненій. Но оппозиція шишковистовъ была ничто въ сравненіи съ тою, которая ожидала Карамзина уже по смерти его. Такъ называемый романтизмъ развязалъ умы, вывелъ ихъ изъ узкой и избитой колеи преданія, авторитета и общихъ риторическихкихъ мѣстъ, изъ которыхъ прежде сплетались вѣнки славы прославленнымъ писателямъ; новыя идеи вторгались отвсюду, литературные и умственные перевороты въ Европѣ, начавшей, по низверженіи Наполеона, новую жизнь, отозвались и въ нашей литературѣ. Тогда-то возстали противъ Карамзина. Но прошло и это время: теперь всѣ понимаютъ, что не Карамзинъ виноватъ, если его поклонники приписали ему больше, чѣмъ онъ сдѣлалъ, видѣли въ немъ что-то большее нежели то, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, что вопросъ не въ томъ, чего не сдѣлалъ Карамзинъ, а въ томъ что онъ сдѣлалъ, и что не его была вина, если онъ рано родился и образовался подъ

влияніемъ литературныхъ идей прошлаго вѣка; теперь у Карамзина нѣтъ ни ослѣпленныхъ друзей, ни ожесточенныхъ враговъ — теперь для него настало потѣшество, безпристрастное, спокойное, уважающее славное имя, цѣнящее его заслуги, давшее ему почетное мѣсто въ исторіи литературы и обществѣ.— Явился Пушкинъ, — и встрѣча, сдѣланная ему, была уже совсѣмъ не то, что встрѣча Карамзину: восторгъ и негодованіе, любовь и ненависть были тутъ значительно глубже и сильнѣе. Одни только что не клялись именемъ Пушкина, другіе, слыша его, только что не зажимали съ благочестивымъ ужасомъ уши своихъ. Битвы были ожесточенныя и упорныя, а вопросъ еще и теперь не рѣшенъ! Уже нѣсколько поколѣній произнесли судъ свой надъ Пушкинымъ, а потомство для Пушкина все еще не настало . . . Элементы нашей эпохи такъ многосложны и спутаны, вопросы такъ глубоко жизненны, что много надо пережить, перечувствовать и перемыслить, чтобы рѣшать ихъ: это дѣло времени и жизни — безъ нихъ люди ничего не сдѣлаютъ. Еще не рѣшился вопросъ о Пушкинѣ, и уже сколько новыхъ вопросовъ возникло, и возникло не изъ книгъ, какъ они возникали прежде, а изъ живыхъ явленій! . . . И развѣ эти непрерывные толки и споры въ обществѣ о «Мертвыхъ Душахъ», эти восторженные похвалы и ожесточенныя брани въ журналахъ, возбуждаемыя новымъ твореніемъ Гоголя, — развѣ это не живое явленіе, и развѣ это не вопросъ, столько же литературный, сколько и общественный? . . . Мало того: развѣ весь этотъ шумъ и всѣ эти крики, не результатъ столкновенія старыхъ началъ съ новыми, развѣ они — не битва двухъ эпохъ? . . . Все, что является и уснѣваетъ съ перваго разу, встрѣчаемое и провожаемое безусловною похвалою, все это не можетъ быть важнымъ и великимъ фактомъ: важно и велико только то, что раздѣляетъ мнѣнія и голоса людей, что мукаетъ и растетъ въ

борьбѣ, что утверждается живою побѣдою надъ живымъ сопротивленіемъ. Пелагать причиною этого сопротивленія одну зависимость къ успѣху и къ гению, значило бы слишкомъ ограниченно смотрѣть на дѣло: то снѣбна духовъ времени, то борьба старыхъ началъ съ новыми! Человѣкъ только до нѣвѣстнаго возраста своей жизни обладаетъ способностію устремленнаго движенія впередъ; разъ утвердившись въ нѣвѣстномъ образѣ мыслей, по достиженіи нѣвѣстнаго возраста, онъ дѣлается слѣпъ и глухъ для всякой новой истины, и видитъ въ ней ложь и нечестіе. Только сильные духомъ могутъ отрываться отъ ученій, въ которыхъ возрасли и укрѣпились; но и для нихъ, это движеніе сопряжено бываетъ съ тяжелымъ трудомъ, съ потрясеніемъ всего нравственнаго существованія ихъ. Цѣлое общество видѣло высочайшій идеалъ поэзіи въ трагедіяхъ Корнея и Расина, съ малолѣтства заучило наизусть стихи ихъ, восторгъ свой къ этимъ поэтамъ довело до обожанія, уваженіе — до пѣстическаго благоговѣнія, — и вдругъ этому обществу говорятъ, что ихъ поэты — не поэты, а только изящные риторы, что въ образцовыхъ ихъ трагедіяхъ нѣтъ ни характеровъ, ни образовъ, ни людей, ни игры страстей и чувствъ, ни глубокихъ идей, словомъ, никакой дѣйствительности, и что, наконецъ, идеалъ великаго драматурга осуществился въ Шекспирѣ, котораго оно, это общество привыкло считать пьянымъ дикаремъ, вдохновеннымъ невѣждою!... Поверить на-слово обществу не могло, понять еще менѣе; следовательно, оставалось сознаться, что или оно всю жизнь свою обманывалось, или что оно не въ силахъ понять то, въ чемъ его увѣряютъ. Но это выше природы человѣческой: большей части людей легче понять непонятное ему, чѣмъ сознаться въ своей неспособности понимать. Однакожъ, между молодыми людьми, которыхъ духъ новой жизни засталъ еще свѣжими, свободными, и способными къ его принятію, являются смѣ-

люде небершнии новыхъ идей. И вотъ начинается борьба; время идетъ, старые ратники выбываютъ изъ рядовъ, молодыя прибываютъ, и — лѣвая сторона является правою, а въ центрѣ остается двушмысленная изгарь двухъ мнѣній, люди колумѣръ, люди ни то, ни сѣ... И потомъ опять такая же исторія, — и изъ этихъ то исторій составляется исторія развитія человѣчества, народовъ и обществъ.

Такую задачу, въ отношеніи къ русской литературѣ со стороны критики, мы хотѣли было предположить себѣ, начавъ писать статью о критикѣ; но такая статья могла бы слишкомъ далеко завлечь насъ. Однакожь, мы рѣшились приготовить на этотъ предметъ особую статью и перенести ее, изъ отдѣла критики, въ отдѣлъ наукъ. Тутъ будетъ цѣлая исторія русской литературы, обозрѣнная съ новой ея стороны, на которую еще никто не обращалъ вниманія — со стороны развитія литературныхъ, нравственныхъ и общественныхъ началъ. Статья эта будетъ помѣщена въ одной изъ первыхъ книжекъ «Отечественныхъ Записокъ» на 1843 годъ. Мы не будемъ въ ней повторять уже сказаннаго въ статьяхъ о «Критикѣ», и начнемъ прямо съ того, что непосредственно должно слѣдовать за Сумароковымъ, взглядомъ на котораго мы кончили нашу вторую статью о критикѣ. Теперь же возвратимся на предметъ болѣе близкій къ содержанію рѣчи г. Никитенко, подавшей поводъ къ этимъ тремъ статьямъ. Въ первой статьѣ мы говорили, что такое критика вообще и чѣмъ она должна быть въ наше время. Здѣсь поговоримъ о томъ, какова бываетъ иногда критика. Не знаемъ, увидятъ ли читатели въ нашихъ словахъ характеристику современной русской критики; но во всякомъ случаѣ, мы никого не назовемъ, ни на кого не укажемъ: пусть дѣло говоритъ само за себя, пусть другіе ищутъ въ нашихъ словахъ кому кого угодно, а мы будемъ говорить вообще ни къ кому на отнеся, ни къ кому не приписывая .. Пред-

метомъ нашихъ разсужденій будетъ уклоненіе критики отъ идеала критики...

Читатели «Отечественныхъ Записокъ» не могли не замѣтить, что критика этого журнала рѣзко отличается отъ критики всѣхъ другихъ журналовъ — своими началами, и своимъ характеромъ, и даже самымъ языкомъ. Враги «Отечественныхъ Записокъ» ставили и ставятъ имъ это въ величайшій недостатокъ; другіе же находятъ это большимъ достоинствомъ. Намъ скажутъ: никто въ собственномъ дѣлѣ судьбою быть не можетъ, и только публика имѣетъ право приговора въ пользу достоинства критики журнала... Согласны; но развѣ мы хвалимъ собственную критику? — Отнюдь нѣтъ; мы только говоримъ, что она — особенная критика въ современной русской литературѣ, что она не имѣетъ ничего общаго съ критикою другихъ современныхъ журналовъ. А это такъ же можно почесть порицаніемъ, какъ и похвалою. Гдѣ жъ тутъ самохвальство? Тутъ только фактъ, въ вѣрности котораго согласны и друзья и враги наши.

Критика можетъ раздѣляться на разные роды, по ея отношеніямъ къ самой себѣ; но не то теперь въ виду у насъ. По отношенію же критики къ лицамъ, занимающимся ею, прежде всего должно раздѣлить ее на критику искреннюю, добросовѣстную, критику по убѣжденію, по началу, и на критику по расчету, критику торговую. Последняя всегда ложна, потому что еслибъ она иногда и находила для себя выгоднымъ обмолвиться истинною, — эта истина все-таки не относилась бы къ высокимъ предметамъ человѣческаго сознанія, а ограничивалась бы только, и то не всегда, умнымъ взглядомъ на нѣкоторыя стороны практическихъ предметовъ, въ то же время парализуя себя всякими неправдами, всякою ложью и всяческими противорѣчіями. Въ злохудожную душу не видетъ премудрости! Что касается до критики искренней, критики по убѣжденію, —

ее не всегда можно принимать за одно съ критикою истинною: убѣжденіе и истина—не одно и то же: это два отдѣльныя и самобытныя начала, которыя могутъ быть сильны только во взаимномъ проникновеніи, но которыя часто являются каждое самими по себѣ, и потому каждое безсильнымъ и бесплоднымъ. Хотя въ наше время примѣры религіознаго фанатизма и рѣдки, однако и въ наше время могутъ существовать люди, которые отъ души убѣждены, что аутодафъ—вещь необходимая для спасенія душъ. Такое убѣжденіе можетъ быть и сильно, и глубоко, и безкорыстно; но тѣмъ не менѣе оно ложно. Притомъ же, въ дѣлѣ убѣжденій, должно обращать вниманіе на источникъ убѣжденія. Иногда случается такъ: какой-нибудь господинъ найдетъ и безопаснымъ и выгоднымъ для себя поддерживать извѣстную мысль, которая притомъ ни для кого не новость. И вотъ онъ начинаетъ съ того, что выдаетъ эту мысль за великое открытіе, за неслыханную новость; подводитъ подъ нее всѣ факты, и которые нейдутъ подъ нее,—онъ ихъ гнетъ, колотитъ, уродуетъ; выработываетъ себѣ странный и дикій языкъ, вопитъ о своемъ безкорыстіи, патриотизмѣ, о своей пламенной любви къ народности. Надъ нимъ начинаютъ смѣяться, доказываютъ ему, что мысль его и не нова и односторонна, что гораздо прежде его было много охотниковъ выѣзжать на ней; что языкъ его, вмѣсто народности, отзывается цинизмомъ, тономъ извощиковъ и замашками Кутейкина (дѣйствующее лицо въ «Недоросль» Фонъ-Визина): что патриотизмъ его пока еще одно хвастовство, ибо патриотизмъ, чей бы то ни былъ, доказывается не словами, а дѣлами, что титуло патриота дается гражданину народомъ и исторіею, а не самозванствомъ; что народность его—не таинственная психея народной жизни, а грязь съ торговой площади... Все это, разумѣется, раздражаетъ господина-сочинителя; самолюбіе его оскорбляется, желаніе оправдаться возбуждаетъ въ

немъ потребность самому убѣдиться въ собственныхъ убѣ-
 жденіяхъ. Эту потребность, возбужденную жаждою веществен-
 ныхъ выгодъ и оскорбленнымъ самолюбіемъ, онъ принимаетъ
 въ себя за убѣжденіе, и оканчиваетъ тѣмъ, что дѣйствительно
 дѣлается фанатическимъ послѣдователемъ наукачу и по раз-
 счету выбраннаго ученія, и на немъ оправдывается француз-
 ская пословица: à force de forger on devient forgeron. И вотъ
 онъ глубже и глубже тонетъ въ тинѣ своихъ дикихъ убѣжде-
 ній; не удача раздражаетъ его энергію, энергія его переходитъ
 въ фанатизмъ; — и горе было бы людямъ, еслибы онъ имѣлъ
 возможность проявлять свое убѣжденіе не однимъ гусинымъ
 перомъ... Но перо его не страшно; сначала оно можетъ
 озадачить толпу, которая всегда отстываетъ передъ силою
 какою бы то ни было — силою убѣжденія или фанатизма —
 все равно. Но это не надолго: толпа не всегда чутка на ложь
 и истину съ перваго раза; когда же пройдетъ ея первое наум-
 леніе, она иногда молча и бессознательно, рѣшитъ дѣло лучше
 всякаго ученаго и философа. Дѣло тутъ въ томъ, что надъ
 обществомъ имѣютъ прочную власть только идеи, а не слова;
 свойство же и существенное отличіе идеи отъ всего, что не
 есть идея, состоитъ въ томъ, что она движется, идетъ впе-
 редь, — словомъ, развивается; а нашъ «патріотъ» твердитъ
 все одно и то же, одними и тѣми же словами; высказавшись
 весь въ первой статьѣ своей, онъ въ тысячѣ слѣдующихъ за
 нею только повторяетъ собственные зады свои... Сверхъ того,
 не имѣя никакого внутренняго созерцающаго, изъ котораго выхо-
 дила бы его система, ничего не зная основательно, не опи-
 раясь на современную науку, лишенный всякаго инстинкта
 истины и всякаго такта выраженія, — онъ впадаетъ въ нецѣ-
 лости, до которыхъ, впрочемъ, доходитъ послѣдовательно,
 логически, ибо онъ лежитъ въ самомъ основаніи его нецѣпаго
 ученія. Онъ утверждаетъ, напримѣръ, что образованность

высшихъ и среднихъ классовъ общества — мншура, что національная мудрость хранится въ черни, что дѣти даже людей высшаго общества должны учиться отечественному языку въ избахъ мужиковъ, у ростовскихъ огородниковъ и рыбныхъ торговекъ... Съ публякою онъ объясняется языкомъ гостинодверскихъ свидѣльцевъ, почитая это и оригинальнымъ и национальнымъ... Онъ набираетъ себѣ известное число презелитовъ — бездарныхъ людей, которые, за рѣшительную неспособность выдумать что нибудь свое, готовы повѣрить на слово всякому, у кого горло широко, и которыхъ, между тѣмъ, мучить донынѣ кровяныя стихи и прозы. Сюда же присоединяются старые писани, которые и въ свое время только смѣшили публику своимъ авторствомъ, своими надривалами, трагедіями, романами, дѣтскими правоучительными книжонками и азбуками. «Патріотъ» радъ ихъ даровымъ статьямъ, ихъ бездарному досужеству, ихъ готовности вторить его голосу: онъ одобряетъ ихъ, хвалитъ, ссылается на ихъ динія и несмысленныя имена въ статьяхъ своихъ: какъ такой-то (ниарекъ) оказалъ, такакой-то выразился, си. стр. таную-то... Бѣднани, рыцари печальнаго образа, радѣхоньки, что имъ есть куда обрасывать все, чѣмъ удастся имъ разрѣшиться, — пинутъ съ плеча, статью за статью, хвалитъ старину и другъ друга, бранятъ все новое и даровитое, гоній называютъ злодѣйствомъ, талантъ — развратомъ, а выбранныя изъ дѣтскихъ преписокъ сентенціи — чистѣйшею нравственностью. Тутъ являютъ свои гонія, свои таланты по преимуществу, обыкновенно челевѣкъ натокъ: эти всегда вперед, остальные за ними... Но, увъ! ничто не поможетъ нашему «критику»: надъ его журналомъ и его статьями уже не смѣются даже, вовсе забывая о ихъ существованіи... «Критикъ» прибѣгаетъ къ послѣднему средству: прежде онъ, только и дѣлалъ, что стрѣлялъ холостыми зарядами по журналу, котораго мнѣнія и уснѣхъ въ

публики не давали ему спокойно заснуть, и изъ котораго онъ сдѣлалъ себѣ какую-то мишень, не догадываясь, въ своей слѣпотѣ и ограниченности, что онъ этимъ еще болѣе возмущаетъ чужой журналъ; теперь онъ самъ пишетъ огромныя письма къ самому себѣ (разумеется, подъ вымышленнымъ именемъ), разбираетъ въ нихъ собственный журналъ и собственные статьи; удивляется собственному краснорѣчію, глубокости своихъ идей, благоговѣетъ передъ своимъ гениемъ, своею ученостію, и торжествуетъ мнимыя побѣды надъ враждебными журналами и враждебными мнѣніями... Но, увы!—и это не помогаетъ: письма остаются неразрѣзанными и не прочитанными, а о самомъ журналѣ пропадаетъ и слухъ... Туда ему и дорога!...

Есть еще одного рода убѣжденіе, сходное съ тѣмъ, которое мы описали, но различающееся отъ него какою-то наивною добросовѣстностію: это убѣжденіе посредственности, убѣжденіе въ томъ, что она — талантъ, и что ей только по зависти не отдаютъ должной справедливости. Чтобы доказать міру несправедливость враговъ своихъ, наивная посредственность рѣшается иногда — издавать журналъ. Это особенно часто бываетъ въ Германіи, гдѣ такъ много филистеровъ и много пишущихъ гефратовъ. Въ одной нѣмецкой газетѣ, мы недавно прочли объ одномъ изъ такихъ господъ, слѣдующее. Добрякъ принялся издавать журналъ. «Меня, говорили онъ своимъ знакомымъ, ругали — теперь я буду ругать». А его совѣтъ и не ругали: просто о немъ молчали — это-то было ему всего досаднѣе. Правда, когда-то было кой-гдѣ замѣчено, что его поэмы и романы плохи; но какъ вся эта дрянь была имъ написана давно, то о немъ уже и забыли. Впрочемъ, онъ вкусилъ и сладость печатной похвалы: филистерскіе журналы объявили его пріятнымъ и моральнымъ писателемъ, и особенно остались довольны его слогомъ, дѣйствительно, столь же гладкимъ, сколь и без-

смысленнымъ; только одинъ изъ рѣдкихъ молодыхъ критиковъ, съ внешею опрометчивостію, напалъ и на флистерскіе журналы и на сочинителя. Съ тѣхъ поръ, столько прошло времени, что рѣдкій критикъ забылъ и сочинителя-гофрата и имѣетъ изъ собственныхъ журнальныхъ статей. Каково же было его удивленіе, когда въ новомъ журналѣ онъ увидѣлъ выписки изъ своихъ старыхъ статей, выписки съ разными примѣчаніями, которыя еще были одобрены солидными островами! Онъ прочелъ въ выписки изъ своихъ статей и остроумныя противъ нихъ выходки — и добродушно посмѣялся надъ тѣми и другими... А издатель неугомонно продолжалъ ратовать противъ всего талантливаго, хвали посредственность и самого себя, пока не угомонилъ своего журнала (ибо самъ былъ едва ли не единственнымъ своимъ подписчикомъ и читателемъ)... Въ Германіи такое явленіе — не диковинка, а потому надъ нимъ даже и не смѣялись; оно прошло само собою, подобно мыльному пузырю, лопнувшему на воздухѣ. Но можно поручиться, что эти не кончатся затѣи добряка; самолюбіе посредственныхъ писателей неугомонно: лопнулъ свой журналъ, а чужіе не примутъ его статей, — тогда остаются брошюры. Итакъ — до могилы! А все отъ наивнаго убѣжденія въ своемъ талантѣ и въ зависти къ нему враговъ...

Вообще, объ ограниченныхъ людяхъ съ убѣжденіями можно составить цѣлую книгу, которая была бы интереснымъ психологическимъ сочиненіемъ. Главное различіе между даровитыми и умными людьми съ убѣжденіями и между посредственностями съ убѣжденіями, состоитъ въ томъ, что убѣжденія первыхъ выходятъ изъ истины, а убѣжденія вторыхъ — изъ мелкаго и раздражительнаго самолюбія. Человѣкъ съ умомъ всегда подверженъ сомнѣніямъ, которыя часто охлаждають и ослабляютъ жаръ и энергію его убѣжденій: люди посредственные свято вѣрують во всякій вздоръ, потому только, что этотъ вздоръ

вышелъ изъ ихъ головы. Чудакъ эти часто не подозреваютъ, что и вздоръ-то, поддерживаемый ими, не ихъ, а навѣянъ на нихъ другими, которые имѣютъ свои виды на вздоръ извѣстнаго рода и на добродушное усердіе простаковъ, готовыхъ отъ души ратовать за чужое мнѣніе, за которое ловко умѣли заставить ихъ уцѣпиться, какъ будто за ихъ собственное. Такъ иной патріотъ, нажившій въ тихомолку, разными «патріотическими» средствами, «индѣюкъ малую толику», приобретаетъ себѣ журнальнаго работника, да изъ-за его дюжого въ работѣ плеча, обдѣлываетъ по маленьку свои дѣлшки, взявъ на себя только трудъ говорить отъ времени до времени, что онъ готовъ умереть за свое родное, и что онъ съ головы до ногъ—«патріотъ». А престакъ работаетъ, какъ волъ, изъ одного безкорыстнаго стремленія обобщить свои идеи о томъ, что гдѣ много просвѣщенія, тамъ все гниетъ, и что нравы протцевъ лучше всякой заморской мудрости. Однакожь этотъ престакъ бываетъ иногда не очень добръ, и часто обнаруживаетъ придирчивую выскательность, — это съ нимъ случается всякій разъ, когда задѣнуть его авторское самолюбіе, или его подантическій догматизмъ. Во всемъ остальномъ, это добрый-шій человекъ; похвалите его, согласитесь съ нимъ въ его мнѣніяхъ, — онъ произведетъ васъ въ гении. Это ему такъ легко, ибо у него нѣтъ никакихъ началъ: его мыслию управляютъ слова, а не мысли словами. Слова же его — это образецъ пухлаго бессмыслія, изысканныхъ фразъ. Если онъ давно пишетъ (особенно, если еще чему нибудь учился, знаетъ языки и много читалъ), онъ набиваетъ руку и приобретаетъ способность много и скоро писать обо всемъ, и притомъ такъ, что въ его писаніи есть какая-то оригинальность, какой-то блескъ выраженія. Но это оригинальность искусственная, это блескъ фольги. Прочтете — и не помните, что и о чемъ вы прочли. Особенно поражаетъ васъ въ его слогѣ искусство

парафразированія: одна и та же мысль, и притомъ простая и пустая, какъ напр., то, что деревянные столы дѣлаются изъ дерева, одна и та же мысль тянется у него длинною веревницею предложеній, періодовъ, троповъ, фигуръ; онъ переворачиваетъ ее съ боку на бокъ, плодитъ ее на цѣлыхъ страницахъ, и пересыпаетъ многоточіями. Все у него такъ кудряво, во всемъ такое изобиліе эпитетовъ, амплификацій, что неопытный читатель дивится этой живописности, этой рельефности, этимъ разноцвѣтнымъ и блестящимъ переливамъ слога, — и его очарованіе только тогда исчезнетъ, когда онъ задастъ себѣ вопросъ о содержаніи бойко и затѣливо написанной статьи: ибо, вмѣсто всякаго содержанія, онъ замѣчаетъ, къ удивленію своему, только одно пухлое самолюбіе и однѣ пухлыя слова и фразы. Это особенно часто является на Западѣ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ Западъ началъ гнить; у насъ на Руси, гдѣ еще писательство не обратилось въ привычку, такія явленія пока еще едва ли возможны.

Вообще, убѣжденія людей посредственныхъ, невѣжественныхъ и ограниченныхъ, представляютъ собою картину столько же смѣшную, сколько и жалкую. Они почти всегда оканчиваютъ рѣшительнымъ неуспѣхомъ и совершеннымъ отчаяніемъ. Не такое зрѣлище представляютъ собою люди ловкіе, но безъ всякихъ убѣжденій, критики не по призванію, а по нуждѣ, или по расчету. Этимъ большею частію хорошо везетъ, особенно, если они умѣютъ во время остановиться, кстаті замолчать. Но здѣсь-то они обыкновенно и попадаютъ въ сѣти своего чернаго демона. Привычка управлять мнѣніемъ довѣряющей имъ части публики такъ вкореняется въ нихъ, что дѣлается равносильною страстію жадѣ пріобрѣтенія. Это заставляетъ ихъ всю жизнь повторять одно и то же, т. е. кричать о своихъ заслугахъ, о своей народности, о зависти, невѣжествѣ, злобѣ и безталантности своихъ враговъ, о своей готовности

умереть за истину (на бумаге), о томъ, что кто не написалъ самъ романа, тотъ не имѣетъ права судить о чужихъ романахъ. . . Какъ это не надоѣсть имъ самимъ! Тактика ихъ очень проста и (до поры до времени) очень вѣрна; они льстятъ публикѣ, величая ее «почтеннѣйшею и «милостивою государынею» (въ харчевняхъ такая галантерейность обращенія, говорятъ, въ большомъ ходу), и главное — хвалятъ себя безъ стыда и совѣсти. Одну и ту же книгу они и разбранятъ и расхвалятъ, и потомъ опять разбранятъ и расхвалятъ, смотря по тому, что найдутъ въ книгѣ. . . Если ихъ уличатъ въ противорѣчїи, они ссылаются или на сотрудника, котораго, будто-бы, не считаютъ себя въ правѣ стѣснять въ убѣжденїяхъ, или говорятъ, что ихъ листокъ даетъ мѣсто всѣмъ мнѣнїямъ, не отвѣчая ни за одно. Притомъ же, они очень хорошо знаютъ, что журнальные листы живутъ одинъ день и завтра забываются; такъ гдѣ же публикѣ помнить всѣ противорѣчїя и всѣ продѣлки его издателей! До убѣжденїй, до началъ имъ нѣтъ дѣла: они знаютъ — будетъ день, будетъ и хлѣбъ. И потому, у нихъ что день, то новыя убѣжденїя. Въ одномъ только вѣрны они себѣ — во враждѣ ко всякому успѣху, въ которомъ они не участники — и къ матеріальному и къ умственному. Талантовъ они не любятъ по инстинкту, ибо сами богаты только звонкими ходячими талантами. Все это опять обыкновенное явленїе на Западѣ, гдѣ ежедневная журналистика сосредоточила въ себѣ всѣ интересы современной жизни. Тамъ даже бываютъ такіе газетѣры, которые, прочтя въ другомъ журналѣ что-нибудь о литературныхъ плутняхъ, сейчасъ же пишутъ возраженїя, и нападаютъ на дурной обычай употреблять личности. Успѣхъ книги они обыкновенно измѣряютъ ея расходомъ; нападая на другой журналъ, всегда считаютъ по пальцамъ его подписчиковъ. Если имъ нѣкогда удалось поддѣть публику какими-нибудь шарлатанскими сочиненїями, то они такъ и колятъ глаза

людямъ, которые ничего не издали отдѣльно, лишая, ихъ эи это, права писать въ журналахъ. Имъ нужды нѣтъ, что ихъ книги давно уже забыты: они тѣмъ громче кричатъ о своихъ заслугахъ, зная, что не всякій читатель захочетъ справляться насчетъ достоинства ихъ писаній. Но какъ же, спросятъ насъ, они такъ долго могутъ держаться? Очень просто: люди сметливые, они во время затѣли изданіе, въ которомъ была нужда; прежде, чѣмъ публика ихъ разгадала, изданіе ихъ получило ходъ, а соперниковъ не являлось, потому что, за границею, основаніе новаго изданія очень трудно, въ денежномъ отношеніи.

Это промышленники мелкіе. Ихъ критика — фельетонная, мелочная; она состоитъ больше въ объявленіи о новыхъ книгахъ, съ приличными возгласами. Но бываютъ промышленники *en grand*, промышленники оптовые. Этими для успѣха нужна не одна ловкость и изворотливость, но и умъ и способности, если не талантъ. Мелкая изворотливость имъ нужна только для зазыва публики въ ихъ олимпійскій циркъ съ великолѣпными представленіями на лошадяхъ и съ фейерверками; но тутъ имъ можетъ помочь какая-нибудь пріятельская газета, которая закричитъ: «кто не подпишется, тотъ не любитъ отечественной литературы». Но вотъ великое дѣло совершено съ успѣхомъ; тысячи подписчиковъ жаждутъ читать новый журналъ — несслыханное чудо, невиданное диво въ мірѣ журналистики. Любопытно знать, какъ и чѣмъ оправдастъ новый журналъ возбужденныя имъ безмѣрные ожиданія въ публикѣ, какъ и чѣмъ упрочитъ онъ свое существованіе на будущее время. Разумѣется, критикою, которая есть душа всякаго журнала. Въ чемъ же будетъ состоять направленіе новой критики, какою будетъ ея отличительный характеръ? — Нашъ журналистъ человекъ умный: онъ знаетъ, что надо блеснуть новизною, надо быть оригинальнымъ, надо озадачить. И вотъ онъ полагаетъ въ основу своей критики скептицизмъ и насмѣшку. На

что же устремлены его скептицизмъ и насмѣшка? — На все, о чемъ ни говоритъ онъ, на все, чѣмъ ни великъ ширь науки, мысли, искусства. Онъ понимаетъ, что скептицизмъ — самая лучшая удочка для уловленія толпы. Простодушная, она обыкновенно удивляется тому, кто, много зная (т. е. обо многомъ говоря съ увѣренностію), ничему не вѣритъ и все считаетъ за вздоръ. Насмѣшка ее забавляетъ, не давая ей труда мыслить и вникать въ сущность дѣла. Толпа притомъ самолюбива; она низко кланяется генію, таланту, всякому роду нравственнаго превосходства; но отъ этихъ поклоновъ тайнѣ страдаетъ ея самолюбіе; ей непріятно думать, что надъ нею такъ высоко стоятъ нѣсколько выскочекъ, что эти выскочки высшей натуры, что они — аристократы человѣчества, а она, бѣдная толпа, представляетъ собою простой народъ, plebs. Надо подслужиться ей, надо польстить ей тайной думъ, которой она не смѣетъ высказать, надо говорить ей, что все хорошо только издали, что славны бубны за горами, что все великое велико только условно. И вотъ — въ новомъ журналѣ является біографія за біографіей, но совсѣмъ не въ родѣ Плутарховыхъ «жизнеописаній великихъ мужей». Простодушный и возвышенный Грекъ видѣлъ въ своихъ великихъ мужахъ проявленіе на землѣ божественнаго начала, торжество и славу человѣческаго духа, красу и утѣшеніе человѣчества. Онъ не скрывалъ отъ читателя темныхъ сторонъ своихъ героевъ, ибо зналъ, что, безъ этихъ сторонъ, они были бы не людьми, а призраками; онъ отыскивалъ силу въ слабости, разумъ въ ограниченности, добродѣтель въ борьбѣ со страстями, — такъ какъ все это является въ самой дѣйствительности и какъ, слѣдственно, иначе являться не можетъ. Нашъ біографъ отправился отъ противоположной точки воззрѣнія: онъ отыскивалъ эгоизмъ въ самопожертвованіи, заслуженіе въ истинѣ, глупость и тщеславіе въ добродѣтели. Великіе люди у него явились и

завистниками, и интриганами, и пролазами, и эгонстами, и новѣждами, и негодаями; онъ искусно умѣлъ отгнѣвить ихъ этими качествами такъ, что изъ этихъ качествъ не видно стало великихъ людей. Когда же сами факты слишкомъ противорѣчили его уже черезчуръ субъективнымъ воззрѣніямъ на великое въ мірѣ, онъ — смѣло ломалъ дѣйствительность фактовъ, выворачивалъ ихъ наизнанку, или, опираясь на свою мнимую ученость, выдумывалъ небывалые факты, или отрицалъ дѣйствительность извѣстныхъ и доказанныхъ, ссылаясь на какія-нибудь небывалыя новыя сочиненія. И вотъ толпа обрадовалась, что ей все по плечу, что она нисколько не хуже, нисколько не ниже своихъ бывшихъ идоловъ, которые велики только благодаря прихоти ваятелей, давшихъ имъ колоссальные размеры. Славный журнал! толпа читаетъ и не нахваляется!... Но не однимъ этимъ ее тѣшать. Ей доказываютъ, что наука — вздоръ, изобрѣтеніе педантовъ, что разумъ, которымъ гордится человѣчество, есть не что иное, какъ обманщикъ человѣчества, которой водить его за носъ; что система выдумана школярами, чтобъ затемнить истину, что можно все знать, ничему не учась и только читая журналъ, въ которомъ проповѣдуются такіа удобоприложимыя въ жизни начала: что философы — шарлатаны, что самъ Сократъ былъ тонкій пауть, морочившій Аѳинянь своимъ демономъ, и пр. «Эге, ге! — говорила толпа, лукаво посвистывая, — такъ вотъ оно какъ! ай-да молодець! славно, ну!». Но толпа не можетъ жить безъ геніевъ: отсутствіе геніевъ такъ же оскорбляетъ ея самолюбіе, какъ и ихъ превосходство передъ нею. Ловкій критикъ-скептикъ понимаетъ это. И вотъ онъ дѣлаетъ своихъ геніевъ, выдавая патенты на геніяльность своимъ клеветамъ, разной посредственности. Это ему и легко и весело: онъ ихъ и жалуется и разжалываетъ по своей волѣ; а они его трепещутъ, пишутъ по его заказамъ, работаютъ съ плеча, — и романами, повѣ-

стиямъ, драмамъ конца нѣтъ... Толпѣ любы эти гении, съ которыми она можетъ обходиться за панибрата, которые велики, знамениты, славны, и въ то же время скромны и никого не могутъ оскорбить своимъ превосходствомъ; которые сочиняютъ славно, а зазнаться не смѣютъ, вѣдая, что съ ними церемониться не будутъ, какъ съ тѣми деревянными божками, которыми Буряты кланяются и приносятъ жертвы во время ведра, и которыхъ они же нещадно сѣкутъ во время ненастья. Все истинно великое, истинно даровитое критикъ хвалитъ только по отношеніямъ, когда отъ этого есть польза его журналу; но и тутъ онъ хвалитъ такъ двусмысленно, что не разберешь, шутитъ онъ, или говоритъ серьезно, бранитъ или хвалитъ. Тѣ же таланты, которые гордо презираютъ и его бранью и его лестью, онъ неослабно преслѣдуетъ и намеками и явною бранью. Ему это такъ легко, онъ такъ смѣлъ и рѣшителенъ... Разбирая книгу, онъ выдастъ собственное сочиненіе за выписку изъ разбираемой книги, и скажетъ: «смотрите, какъ глупо!» Онъ же къ этому мастеръ смѣшить толпу, — а кто хоочетъ, тотъ побѣжденъ, тому некогда ни подумать, ни навести справки. Все это для критика-скептика очень хорошо: журналъ его цвѣтетъ, имя его пользуется извѣстностію, благосостояніе утверждено. Но высшая точка успѣха часто бываетъ опасна; кому нельзя идти выше, тотъ часто летитъ внизъ... Толпа — предатель, толпа не умираетъ, какъ человѣкъ; ея вымытые ряды безпрестанно замѣняются новыми свѣжими лицами, которыя требуютъ новаго и находятъ пошлымъ повтореніе стараго. Нашъ же журналистъ-скептикъ по неволѣ долженъ ограничиться повтореніемъ одного и того же, ибо только одна истина неистощима въ своемъ развитіи и, пребывая самой собою, одною и тою же, всегда является, въ своемъ развитіи, новою и оригинальною. И благо скептическому критику, если онъ сумѣетъ остановиться въ

время, и будет забытъ, не напоминая о себѣ! изъ воихъ рѣдовъ забвенія самый унижательный для человѣка тотъ, когда онъ еще твердитъ о себѣ, а о немъ уже забыли. Не помогутъ тогда ему никакіе фокусы-покусы, и его журналъ падеть, какъ не вспрыскивай его мертвою и живою водою позднихъ преобразованій и улучшеній, какъ ни призывай себѣ на помощь и на поддержку неопытныхъ спекулянтовъ...

Скептицизмъ — слово великое и слово пошлое, смотря по тому, какъ его понимаютъ. Скептицизмъ никогда не бываетъ самъ себѣ цѣль, и не въ немъ удовлетвореніе стремленій и порываній духа, жаждущаго знанія! Глупцы и люди ограниченныя всему вѣрять, потому что не могутъ ничего изслѣдовать. Люди глубокіе — скептики по натурѣ; но скептицизма тавыхъ людей есть признакъ души жаждущей знанія, а не холоднаго отрицанія. Чѣмъ больше любитъ человѣкъ истину, тѣмъ внимательнѣе ее изслѣдуетъ, тѣмъ осторожнѣе ее принимаетъ. Онъ вѣритъ въ достоинство истины, вѣритъ въ непреложность ея существованія: но онъ не вѣритъ на слово людямъ, занимавшимся изслѣдованіемъ истины, ибо знаетъ, что человѣкъ и истина — не одно и то же; но онъ не вѣритъ безусловно и самому себѣ, ибо знаетъ, что его, какъ человѣка, можетъ обманывать и привычка, и непосредственность, и чувство, и его собственный умъ. Скептицизмъ такихъ людей не отрицаетъ истины, а отрицаетъ только то, что можетъ быть прииѣшано людьми къ истинѣ ложнаго и ограниченнаго. Во времена переходныя, во время гніенія и разложенія устарѣвшихъ стихій общества, когда для людей бываетъ одно прошедшее, уже отжившее свою жизнь, и еще не наставшее будущее, а настоящаго нѣтъ, — въ такія времена скептицизмъ овладѣваетъ всѣми умами, дѣлается бодѣзіемъ эпохи. Истинный скептицизмъ заставляетъ страдать, ибо скептицизмъ есть неудовлетворяемое стремленіе къ истинѣ, и слѣдовательно—

болѣзнь, какъ голодъ и жажда; не нормальное состояніе, средство, а не цѣль. Только умы мелкіе, души ничтожныя щеголяютъ скептицизмомъ, какъ моднымъ платьемъ, хвалятся имъ, какъ заслугою. Только маленькіе великіе люди, фокусники и потѣшники празднои толпы, только они сомнѣваются во всѣмъ легко и весело, забавляясь, а не страдая... И что за заслуга — надъ всѣмъ смѣяться и все бранить — и науку, и разумъ, и искусство? Это значитъ не быть умнымъ и великимъ.

Обращаясь отъ этихъ общихъ понятій снова къ русской критикѣ, ны, виѣсть съ краснорѣчивымъ профессоромъ, подавшимъ намъ своею прекрасною рѣчью поводъ ко всѣмъ этимъ разсужденіямъ, желаемъ ей, т. е. русской критикѣ, «больше любви къ искусству и больше уваженія къ самой себѣ!»

СУМЕРКИ. Соч. Евгенія Баратынскаго. Москва. 1842.

СТИХВОТВОРЕНІЯ Евгенія Баратынскаго. Дѣль части. Москва. 1835.

Пытливый духъ изслѣдованія и анализа, по преимуществу характеризующій новѣйшую эпоху человѣчества, проникъ въ таинственныя нѣдра земли, и по ея слоямъ начерталъ исторію постепеннаго формировапія нашей планеты. Естествознаніе, еще прежде, чрезъ классификацію родовъ и видовъ явленій трѣхъ царствъ природы, опредѣлило моментальное развитіе духа жизни, отъ низшей его формы — грубаго минерала, до высшей — человека, существа разумно-сознательнаго. Все это богатство фактовъ, добытыхъ опытнымъ знаніемъ, послужило къ оправданію апіорныхъ воззрѣній на жизнь міроваго духа, и очевидно доказало, что жизнь есть развитіе, а разви-

тѣ есть переходъ изъ нижней формы въ высшую, и, слѣдовательно, что не развивается, т. е. не измѣняется въ формѣ, пребывая въ однообразной неподвижности, то не живетъ, то лишено плодотворнаго зерна органическаго развитія, рождаясь и погибая чрезъ случайность и по законамъ случайности. Такое же зрѣлище представляютъ и историческія общества, ибо и они — или существуютъ по тому же вѣчному закону развитія, т. е. переходенія изъ низшихъ формъ жизни въ высшія, или вовсе не существуютъ, потому что одно фактическое, одно эмпирическое существованіе, какъ лишенное разумной необходимости, слѣдственно, случайное, равняется совершенному несуществованію: кто докажетъ теперь человѣку непросвѣщенному и необразованному, что Греція и Римъ существуютъ? — а между тѣмъ, для человѣчества, они и теперь существуютъ несомнѣнно; кто не докажетъ всѣмъ и каждому, что Китай подлинно существуетъ? — а между тѣмъ Китай все-таки существуетъ для человѣчества меньше, чѣмъ китайскій чай...

Внимательное изслѣдованіе открываетъ, что и жизнь общества, такъ же какъ и жизнь планеты, на которой они обитаютъ, слагается изъ множества слоевъ, изъ которыхъ каждый, въ свою очередь, подобно разноцвѣтнымъ волнующимся лентамъ, отличается множествомъ словестныхъ пластовъ. Пласты эти — поколѣнія, изъ которыхъ каждое, удерживая въ себѣ многое отъ предшествовавшаго поколѣнія, тѣмъ не менѣе и отличается отъ него собственнымъ колоритомъ, собственнымъ характеромъ, собственной формою и собственной физиономіею. Каждое послѣдующее поколѣніе относится къ предшествовавшему, какъ корень къ зерну, стебель къ корню, стволъ къ стеблю, вѣтвь къ стволу, листъ къ вѣтви, цвѣтъ къ листу, плодъ къ цвѣту. Но это сравненіе только относительно, только внѣшнимъ образомъ вѣрно, и не обличаетъ сущност

предмета; дерево совершает вѣчно-однообразный кругъ развитія: выходя изъ зерна, оно зерномъ вновь становится, чѣмъ и оканчивается вся органическая его дѣятельность. По новѣйшимъ открытіямъ, жизненная сила и прототипъ каждаго растенія заключается не только въ зернѣ, но и во всякомъ листкѣ его: отпадая и разносясь вѣтромъ, листья вновь являются деревьями, и черезъ нихъ нагія степи покрываются лѣсами. Но отъ листа дуба, и рождается дубъ, совершенно во всемъ подобный тому, отъ котораго произошелъ, и тѣмъ дубамъ, которые самъ произведетъ въ свою очередь. Стало-быть, здѣсь только повтореніе одного и того же типа во множествѣ одинаковыхъ -его проявленій; здѣсь, стало-быть, то и другое дерево — явленія совершенно случайныя, а важна только идея рода дерева, который, возникши разъ, вѣчно повторяетъ себя черезъ однообразный процессъ органическаго развитія. Не таково общество: никто не помнитъ его историческаго начала, теряющагося въ туманной дали бессознательнаго младенчества; никто не скажетъ, гдѣ конецъ его развитія, ни того, что будетъ съ нимъ завтра, судя по вчера. И между тѣмъ, хотя его завтра и всегда заключено въ его вчера, однако завтра никогда не походитъ на вчера, если только общество живетъ историческою, а не одною эмпирическою жизнію.

Цѣлый циклъ жизни отжила наша Русь, и, возрожденная, преображенная Петромъ Великимъ, начала новый циклъ жизни. Первый продолжался болѣе восьми вѣковъ; отъ начала втораго едва прошло одно столѣтіе: но, Боже мой, какая неизмѣримая разница въ значеніи и объемѣ жизни, выраженныхъ этими восемью вѣками и этимъ однимъ вѣкомъ! Иногда въ жизни одного человѣка бываетъ день такого полного блаженства и такого глубокаго смысла, что передъ этимъ днемъ всѣ остальные годы жизни его, какъ бы они многочисленны ни были, кажутся только мгновеніемъ какого-то темнаго, смут-

наго и тяжелого сна. То же самое бываетъ и съ народами; то же самое было и съ Русью. Здѣсь мы опять должны сдѣлать оговорку, чтобъ добрые люди, любящіе толковать наизворотъ чужія мысли, не вздумали буквально понять нашего сравненія: единичный человекъ (индивидуумъ) и народъ — не одно и то же, какъ и счастливый день въ жизни человека и великая эпоха въ исторіи народа — не одно и то же. Подвигъ Петра Великаго не ограничился днѣми его царствованія, но совершался и послѣ его смерти, совершается теперь, и будетъ безконечно совершаться въ грядущихъ временахъ, и все въ болѣе громадныхъ размѣрахъ, все въ болѣе блескѣ и болѣе славѣ... И до Петра Великаго текло время, и поколѣнія сменялись поколѣніями; но эта смена состояла только въ томъ, что старики умирали, а дѣти заступали ихъ мѣсто на аренѣ жизни, а не въ живой послѣдовательности живыхъ идей. Поколѣніе сменялось поколѣніемъ, а идеи оставались все тѣ же, и послѣдующее поколѣніе такъ же походило на предшествующее, какъ одинъ листокъ походитъ на тысячи другихъ листьевъ одного и того же дерева. Правнукъ вѣнчался въ нарядномъ кафтанѣ прадѣда, а внучка въ той же телогрейкѣ, въ которой вѣнчалась ее бабушка, и все тѣ же тутъ свахи, тѣ же дружки, тѣ же пиры и проч... Ходъ времени измѣрялся круговращеніемъ планеты, ее вѣчною весною, за которою всегда слѣдовали лѣто, осень и зима, да еще лицами и именами, а не идеями, — случайными фактами, а не стройнымъ развитіемъ. Война или потрясала на время вышнее благоденствіе государства, или укрѣпляла и расширяла его извнѣ, а внутри все оставалось неизмѣннымъ... Явился исполнѣнъ-преобразователь, привилъ къ плодородной и дѣвственной почвѣ русской природы зерно европейской жизни, — и съ небольшимъ въ столѣтіе Русь пережила нѣсколько столѣтій. Развитіе Руси и доселѣ носитъ на себѣ отпечатокъ могучаго характера ее пре-

образованія: она растетъ не по днямъ, а по часамъ, какъ ея сказочные богатыри. Изъ многихъ сторонъ возьмемъ ближайшую къ предмету нашей статьи — литературу по отношенію къ обществу: давно ли завелась она у насъ, а уже сколько слоевъ осѣлось на днѣ ея недавняго прошедшаго, сколько поколѣній рѣзко обозначилось въ сферѣ ея движенія! И теперь еще на Руси есть цѣлая публика, хотя и небольшая, которая отъ всей души убѣждена, что Ломоносовъ «нашихъ странъ Малербъ и Пиндару подобенъ», что Херасковъ — «нашъ Гомеръ, воспѣвшій древни брани, Россіи торжество, паденіе Казани», что Сумароковъ въ притчахъ побѣдилъ Лафонтена, а въ трагедіяхъ далеко оставилъ за собою и Корнеля, и Расина, и господина Вольтера, и что съ этими тремя поэтами кончилась цвѣтущій вѣкъ россійской словесности. Поклонники Державина уже холоднѣе къ нимъ, хотя все еще высоко ставятъ ихъ въ своемъ понятіи: извѣстно, что Державинъ съ горестью признавался, «сколь трудно соединить плавность Хераскова съ силою стиховъ Петрова». Вообще, до Карамзина особенно трудно прослѣдить измѣненіе литературныхъ понятій въ поколѣніяхъ; но съ Карамзинымъ начинается совершенно новая литература и совершенно новое общество: къ стукотнѣ громкихъ одъ до того прислушались, что ужъ больше писали и хвалили ихъ (и то по преданію), чѣмъ читали; плакали надъ «Бѣдною Лизою», твердили нѣжные стихи ея творца «Пой во иракѣ тихой рощи, нѣжный, кроткій соловей», «Кто могъ любить такъ страстно» и пр.; зачитывали до лоскутковъ книжки умно, ловко и талантливо составляемаго имъ «Вѣстника Европы», въ умныхъ, прекрасно, по своему времени, обработанныхъ стихахъ Дмитріева, думали видѣть бездну поэзіи... Литературное поколѣніе до Карамзина было торжественное: парадъ и иллюминація были неизчерпаемымъ источникомъ его вдохновенія, его громкихъ одъ. Остроумный Дмитріевъ мѣтко и ловко

характеризовалъ это поколѣніе въ своей прекрасной сатирѣ «Чужой Толкъ». Слѣдовавшее за тѣмъ поколѣніе было чувствительное: оно охало, проливало токи слезны и воздыхало въ стихахъ и прозѣ. Любовь замѣнила славу, миртовые вѣтки вытѣснили лавровые, горлицы своимъ томнымъ воркованіемъ заглушали громкій клеткъ орловъ. Права на любовь состояли въ нѣжности, въ одной нѣжности. Счастливый любовникъ восклицалъ своей Хлоѣ: «Мы желали — и свершилось!» Несчастный, отъ разлуки, или отъ нѣжны, кротко и умиленно говорилъ милой или жестокой:

Двѣ горленки укажутъ
Тебѣ мой хладный прахъ,
Воруа тожно, скажутъ:
«Онъ умеръ во слезахъ!»

Нравственность при всемъ этомъ не забывалась и шла своимъ путемъ. Для доказательства этого, стоитъ только упомянуть о стократы-знаменитой пѣснѣ: «Всѣхъ цвѣточковъ болѣ», которая оканчивается слѣдующею сентенціею:

Хлоя, какъ укасенъ
Этотъ намъ урокъ!
Скозь, увы, опасенъ
Для красы порокъ!

Въ этомъ чувствительномъ періодѣ русской литературы есть, конечно, своя сибѣнная сторона, и надъ нею довольно несмѣялась послѣдовавшее за тѣмъ періоды, воспроизводя его въ «Эрастахъ Чертополоховыхъ» и тому подобныхъ болѣе или менѣе остроумныхъ, болѣе или менѣе плоскихъ сатирахъ, какъ онъ самъ, въ «Чужомъ Толкѣ», зло подтрунилъ надъ предшествовавшимъ ему торжественнымъ періодомъ. Это круговая жерука: въ томъ и состоитъ жизненность развитія, что послѣдующему поколѣнію есть что отрицать въ предшествовавшемъ. Но это отрицаніе было бы пустымъ, мертвымъ и безплоднымъ

актомъ, еслибъ оно состояло только въ уничтоженіи стараго. Послѣдующее поколѣніе, всегда бросающъ въ противоположную крайность, однимъ уже этимъ показываетъ и заслугу предшествовавшаго поколѣнія, и свою отъ него зависимость, и свою съ нимъ кровную связь: ибо жизненная подвижность развитія состоитъ въ крайностяхъ, и только крайность вызываетъ противоположную себѣ крайность. Результатомъ сшибки двухъ крайностей бываетъ истина, однакожь эта истина никогда не бываетъ удѣломъ ни одного изъ поколѣній, выразившихъ собою ту или другую крайность, но всегда бываетъ удѣломъ третьяго поколѣнія, которое, часто даже смѣясь надъ предшествовавшими ему торжественными и чувствительными поколѣніями, безсознательно пользуется плодомъ ихъ развитія, истинною стороною выраженной ими крайности; а иногда, думая продолжать ихъ дѣло, творить новое, свое собственное, которое само по себѣ опять можетъ быть крайностію, но которое тѣмъ выше и превосходнѣе кажется, чѣмъ больше воспользовалось истинною стороною труда предшествовавшихъ поколѣній. Такъ Жуковский—этотъ литературный Колумбъ Руси, открывшій ей Америку романтизма въ поэзіи, повидимому дѣйствовалъ какъ продолжитель дѣла Карамзина, какъ его сподвижникъ, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ онъ создалъ свой періодъ литературы, который ничего не имѣлъ общаго съ Карамзинскимъ. Правда, въ своихъ прозаическихъ переводахъ, въ своихъ оригинальныхъ прозаическихъ статьяхъ и большей части своихъ оригинальныхъ стихотвореній, Жуковский былъ не больше, какъ даровитый ученикъ Карамзина, шагнувшій дальше своего учителя; но истинная, великая и бессмертная заслуга Жуковского русскою литературѣ состоитъ въ его стихотворныхъ переводахъ изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ и въ подражаніяхъ нѣмецкимъ и англійскимъ поэтамъ. Жуковский внесъ романтическій элементъ въ русскую поэзію: вотъ его великое дѣло, его великій

подвигъ, который такъ несправедливо нашими аристархами былъ приписываемъ Пушкину. Но Жуковский, нисколько не зависящий отъ предшествовавшихъ ему поэтовъ въ своемъ самобытномъ дѣлѣ введенія романтизма въ русскую поэзію, не могъ не зависть отъ нихъ въ другихъ отношеніяхъ: на него не могла не дѣйствовать крѣпость и полѣтнность поэзіи Державина, и ему не могла не помочь реформа въ языкѣ, совершенная Карамзиннымъ. Карамзинъ вывелъ юный русскій языкъ на большую ровную дорогу изъ дебрей, тундръ и избитыхъ проселочныхъ дорогъ славянства, схоластизма и педантизма; онъ возвратилъ ему свободу, естественность, сблизилъ его съ обществомъ. Но связь Карамзина и его школы (въ которой послѣ него первое и почетное мѣсто долженъ занимать Дмитриевъ) съ Жуковскимъ, заключается не въ одномъ языкѣ: пробудивъ и воспитавъ въ молодомъ и потому еще грубомъ обществѣ чувствительность, какъ ощущеніе (sensation), Карамзинъ, черезъ это самое, приготовилъ это общество къ чувству (sentiment), которое пробудилъ и воспиталъ въ немъ Жуковский. Какъ ни безконечно-неизмѣримо пространство, отдѣляющее «Бѣдную Лизу», «Островъ Борнгольмъ» Карамзина, его же и Дмитриева нѣжные и чувствительные пѣсни и романы, отъ «Золотой Арфы», «Кассандры», «Ахилла», «Не узнавай, куда я путь сложилъ», «Орлеанской Дѣвы» Жуковского; но общество не поняло бы послѣднихъ, еслибъ не перешло черезъ первыя. И этотъ переходъ былъ тѣмъ естественнѣе, что у самого Жуковского были пѣсы посредствующія для такого перехода, какъ-то «Людмила», «Свѣтлана», «Двѣнадцать спящихъ Дѣвъ», «Пустынникъ», «Алина и Альсимъ» и т. п. Новый элементъ, внесенный Жуковскимъ въ русскую литературу, былъ такъ глубоко знаменателенъ, что не могъ ни быть скоро понятъ, ни произвести скорыхъ результатовъ на литературу, и потому Жуковского величали балладникомъ, пѣнцовъ могилъ и при-

видѣній, — а подражатели его наводили и книги и журналы чудовищными кладбищенными балладами, — въ чемъ и заключается смѣшное этого періода русской литературы. Впрочемъ, Жуковскій такъ же виноватъ въ смѣшномъ этого періода, какъ Шекспиръ въ уродливыхъ и нелѣпныхъ нѣмецкихъ трагедіяхъ Гримальпарцера, Раупаха, Шенка и подобныхъ имъ. Кромѣ того, надо замѣтить, что смыслъ поэзіи Жуковского обозначился для общества позднѣе, уже при Пушкинѣ, а до тѣхъ поръ, особенно при началѣ поприща Жуковского, литература русская представляла собою смѣшеніе разныхъ элементовъ, новое и старое, дружно дѣйствовавшее: Капнистъ допѣвалъ свои длинныя элегическія разсужденія въ стихахъ; Озеровъ сдѣлалъ изъ французской трагедіи все, что можно было сдѣлать изъ нея для Россіи, и въ лицѣ его французскій псевдоклассицизмъ совершилъ на Руси полный свой циклъ, такъ что Озеровъ былъ у насъ послѣднимъ даровитымъ его представителемъ; Крыловъ продолжалъ созданіе народной басни; Пушкинъ (Василій) считался однимъ изъ знаменитѣйшихъ поэтовъ; Батюшковъ, какъ талантъ сильный и самобытный, былъ неподражаемымъ творцомъ своей особенной поэзіи на Руси; князь Вяземскій былъ творцомъ особенной, такъ называемой свѣтской поэзіи, и по справедливости почитался лучшимъ критикомъ своего времени, блестящимъ, живымъ и несвязнымъ классическою схоластикою, которая такъ много повредила критическому вліянію Мерзлякова на общество. Съ появленіемъ Пушкина все измѣнилось, и новое поколѣніе рѣзче, чѣмъ когда-либо, отдѣлялось отъ стараго. Между прочими элементами началъ проникать въ русскую литературу элементъ историческій и сатирический, въ которомъ выразилось стремленіе общества къ самосознанію. Пользуясь этимъ направленіемъ времени, нѣкоторые ловкіе литературщики съ успѣхомъ пустили въ ходъ разныя правоописательныя, нравственно-сатирическія

и исправительно-историческіе романы и повѣсти, которые будто-бы изображали Русь, но въ которыхъ русскаго было — одни собственные имена равныхъ Совѣстраловъ и резонёровъ. Но тутъ были и достойныя уваженія исключенія, изъ которыхъ самое яркое — романы и повѣсти талантливаго, но не развившагося Нарѣжнаго. Въ Гоголѣ это направленіе нашло себѣ вполне достойнаго и могучаго представителя.

Но мы здѣсь пишемъ не исторію русской литературы, а только слегка обозначаемъ моментальную послѣдовательность общественнаго развитія, которое въ каждомъ поколѣніи имѣло своего представителя. Еще и теперь есть люди, которые съ восторгомъ повторяютъ монологи изъ «Димитрія самозванца» и «Хорева», и даже печатаютъ восторженные книжки о поэтическомъ гениі Сумарокова: эти люди — утлые остатки нѣкогда юнаго, живаго и многочисленнаго поколѣнія; въ нихъ хриплому старческому голосу, въ ихъ запевдалыхъ восторгахъ, слышится голосъ невозвратно прошедшаго для насъ времени. Другіе вздыхаютъ о «Титовомъ Милосердіи», «Рославлѣ» и «Сбитеньщикѣ» Книжнина, говоря про себя: «что теперь пишутъ — и читать нечего!» Третьи со слезами на глазахъ, но уже не споря, говорятъ равнодушноу новому поколѣнію о томъ, что послѣ «Эдиша», «Димитрія Донскаго», «Поликсены» и «Фингала» не зачѣмъ и ѣздить въ театръ. Есть люди, для которыхъ русская поэзія умерла съ Ломоносовымъ и Державинымъ, и которые хотя не оспариваютъ заслугъ Жуковскаго, однако и не охотно говорятъ о нихъ. Есть люди, которые не иначе могутъ восхищаться Жуковскимъ, какъ отрицая всякое поэтическое достоинство въ Пушкинѣ. Но сколько теперь такихъ, которые, юношами встрѣтивъ первые опыты таланта Пушкина, остановились на Пушкинѣ, не въ силахъ ни на шагъ двинуться впередъ, и откровенно признаются, что не видятъ ничего особеннаго и необыкновеннаго въ Гоголѣ. Другіе же, которыхъ

первыма созданіи Гоголя застали еще въ порѣ юности, въ порѣ живой и быстрой воспріимлемости впечатлѣній и способности умственнаго движенія,—высоко цѣнять и Пушкина и Гоголя: но даже и не подозреваютъ существеннаго значенія Лермонтова. Это, впрочемъ, не значитъ, чтобъ они не признавали въ Лермонтовѣ таланта: нѣтъ, кто отъ поэзіи Пушкина перешелъ черезъ поэзію Гоголя, тотъ уже по-неволѣ видитъ дальше и глубже людей, остановившихся на Пушкинѣ, и не можетъ не восхищаться опытами Лермонтова; но восхищаться поэтомъ и понимать его — это не всегда одно и то же. . . И всѣ эти поклонники разныхъ мнѣній, живутъ въ одно и то же время, раздѣляясь на пестрые группы представителей и прошедшихъ уже, и проходящихъ, и существующихъ еще поколѣній. . . И ихъ существованіе есть признакъ жизни и развитія общества, въ которое царственный Преобразователь-Зиждитель вдохнулъ душу живу, да живетъ вѣчно! . . . И чѣмъ больше количество, чѣмъ пестрѣе разнообразіе представителей прошедшихъ вкусовъ и мнѣній, — тѣмъ ярче и поразительнѣе выказывается жизненность общественнаго развитія. Отсталые могутъ возбуждать сожалѣніе и состраданіе, какъ люди заживо умершіе, какъ дряхлый старецъ, окруженный однѣми могилами милыхъ ему существъ, живущій однѣми воспоминаніями о невозвратно прошедшей порѣ счастья, чуждый и холодный для всѣхъ надеждъ и обольщеній, которыми кипятъ неродные ему новыя поколѣнія; но едва ли справедливо было бы презирать этихъ отсталыхъ, а тѣмъ болѣе обвинять ихъ. Благо тому, кто, «отличенный Зевеса любовію», неугасимо носитъ въ сердце своемъ Прометеевъ огонь юности, всегда живо сочувствуя свободное идеѣ и никогда не покоряясь одѣпяющему времени, или мертвящему факту, — благо ему: ибо эта божественная способность нравственной подвижности есть столько же рѣдкій, сколько и драгоценный даръ неба, и не многимъ избраннымъ испосылается онъ!

Прочувствовать великаго поэта, въ полнѣ выразившаго собою моментъ общественнаго развитія, — это значитъ пережить цѣлую жизнь, принять въ себя цѣлый, отдѣльный и самобытный міръ мысли, слѣдовательно, дать своему нравственному существованію особенную настроенность, отлить духъ свой въ особую форму. И потому только слишкомъ глубокая и сильная натура способна бываетъ принимать въ себя все, ничѣмъ не переполняясь, и носить въ груди своей цѣлые міры, всегда жаждая новыхъ. По большей части, людямъ трудно отрываться отъ того, что разъ наполнило ихъ, разъ овладѣло ими, и они враждебно, какъ на ересь, смотрятъ на то, что наполняетъ и владѣетъ уже чуждыми имъ поколѣніями. Всякая литература не безъ живыхъ примѣровъ въ этомъ родѣ. Такъ иной пожилой критикъ, *si-devant* поборникъ высшихъ взглядовъ и новыхъ идей, а теперь отсталой обскурантъ, такъ же точно и тѣми же словами нападаетъ на новаго великаго поэта и его почитателей, какъ нѣкогда нападали люди стараго поколѣнія на прежняго великаго поэта и его почитателей... Онъ и не подозреваетъ, что онъ повторяетъ жалкую роль тѣхъ самыхъ людей, которыхъ нѣкогда, можетъ-быть, онъ первый заклеймилъ именемъ «отсталыхъ», онъ теперь бросаетъ въ молодое поколѣніе тою же грязью, которою нѣкогда швыряли въ него классическіе парики, и что, подобно имъ, онъ только себя мараетъ этою грязью... Такое зрѣлище можетъ возбуждать лишь болѣзненное состраданіе — больше ничего.

На такія мысли навела насъ маленькая книжка г. Баратынскаго, названная имъ «Сумеркамъ». Все, сказанное нами — несколько ни отступленіе отъ предмета статьи, ни вступленіе съ лицъ Леды: нѣтъ, эти мысли возбуждала въ насъ поэтическая дѣятельность г. Баратынскаго, и подъ вліяніемъ этихъ мыслей хотимъ мы рассмотреть ее критически. Кто скоро ѣдетъ, тому кажется, что онъ стоитъ, а все мимо его мчится:

вогъ почему Россіи и не замѣтенъ ея собственный ходъ, между тѣмъ, какъ она не только не стоитъ на одномъ мѣстѣ, но, напротивъ, движется впередъ съ неимовѣрною быстротою. Эта быстрота движенія выразилась и въ литературѣ. Голова кружится, когда подумаешь о разстояніи, которое раздѣляетъ предпрошлое десятилѣтіе (1820 — 1830) отъ прошлаго (1830—1840); а прошлое десятилѣтіе отъ этихъ двухъ протекшихъ лѣтъ настоящаго! Подлинно скажемъ:

Свѣжо преданіе, а вѣрятся съ трудомъ!

Давно ли было это наводненіе альманаховъ, которое затопило было всѣ бібліотеки; давно ли издавался «Телеграфъ», котораго мнѣнія были такъ новы и глубоки, и который такъ справедливо величался своимъ чрезвычайнымъ расходомъ, опираясь на 12000 постоянныхъ подписчиковъ? Давно ли литература наша гордилась такимъ множествомъ (увы! забытыхъ теперь) знаменитостей, которыя были потому велики, что одна написала плохую романтическую трагедію и дюжину водяныхъ элегій; другая — издала альманахъ, третья — затѣяла листокъ, четвертая напечатала отрывокъ изъ неоконченной повмы, пятая тиснула въ пріятельскомъ журналѣ нѣсколько невинныхъ и довольно пріятныхъ разсказовъ? . . . Давно ли Марлинскій былъ геніемъ? Давно ли повѣсти не только г. Полева, но и г. Погодина считались необходимыми украшеніемъ и альманаха и журнала? Давно ли на «Ивана Выжигина» смотрѣли чуть-чуть не какъ на геніяльное сочиненіе? Давно они наводятъ на грустную думу о непостоянствѣ сего тревожнаго міра. . .

Нѣтъ; еще одинъ вопросъ! Давно ли г. Баратынскій, вмѣстѣ съ г. Языковымъ, составлялъ блестящій триумвиратъ, главою котораго былъ Пушкинъ? А между тѣмъ, какъ уже давно одинокою стоитъ колоссальная тѣнь Пушкина, и, мимо своихъ современниковъ и сподвижниковъ, подаетъ руку посту новаго поколѣнія, котораго талантъ засталъ и одѣнилъ Пуш-

книгъ еще при жизни своей!... Давно ли каждое новое стихотвореніе г. Баратынскаго, явившееся въ альманахѣ, возбуждало вниманіе публики, толки и споры рецензентовъ?... А теперь тихо, скромно появляется книжка съ послѣдними стихотвореніями того же поэта — и о ней уже не говорятъ и не спорятъ, о ней едва упомянули въ какихъ-нибудь двухъ журналахъ, въ отчетѣ о выходѣ разныхъ книгъ, стихотворныхъ и прозаическихъ... Да не подумаютъ, что мы этимъ хотимъ сказать, что дарованіе г. Баратынскаго не значительно, что оно пользовалось незаслуженною славой: нѣтъ, мы далеки отъ подобнаго мнѣнія; мы высоко уважаемъ яркій, замѣчательный талантъ поэта уже чуждаго намъ поколѣнія, и потому именно, что уважаемъ его, хотимъ, въ обзорѣнннхъ его поэтической дѣятельности, показать, почему его произведенія, будучи и теперь изящными, какъ и всегда были, уже не имѣютъ теперь той цѣны, какою имѣли прежде.

Такія явленія всегда имѣютъ двѣ причины: одна заключается въ степени таланта поэта, другая въ духѣ эпохи, въ которую дѣйствовалъ поэтъ. Никто не можетъ стать выше средствъ, данныхъ ему природою; но историческій и общественный духъ эпохи или возбуждаетъ природныя средства дѣйствителя до высшей степени свойственной имъ энергіи, или ослабляетъ и парализируетъ ихъ, заставляя поэта сдѣлать меньше, чѣмъ бы онъ могъ. Отношенія поэта къ его эпохѣ бываютъ двойки: или онъ не находитъ въ ея сферѣ жизненнаго содержанія для своего таланта; или, не слѣдя за современнымъ духомъ, онъ не можетъ воспользоваться тѣмъ жизненнымъ содержаніемъ, какое могла бы представить его таланту эпоха. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ результатъ одинъ — безвременный упадокъ таланта и безвременная утрата справедливо стяжанной славы. Открытіе причинъ такого печальнаго конца блестящимъ образомъ начатаго поприща, не принесетъ пользы поэту, о кото-

ромъ идетъ дѣло; но уроки прошедшаго полезны для настоящаго и будущаго, — и одна изъ обязанностей основательной критики — обращать вниманіе на такіе уроки.

Было время, когда русская критика состояла изъ замѣтокъ объ отдѣльныхъ стихахъ. «Какой гармоническій стихъ! какъ удачно воспользовался поэтъ звукоподражаніемъ: въ этомъ стихѣ слышенъ рокоть грома и завываніе вѣтра! Но слѣдующій за тѣмъ стихъ оскорбляетъ слухъ какофонією, и притомъ, послѣ отрицательной частицы *не* поставленъ внимательный падежъ, вмѣсто родительнаго. А вотъ въ этомъ стихѣ и ударенія неправильны и усѣченія многочисленны; конечно, піитическія вольности дозволяются стихотворцамъ, но онѣ должны имѣть свои границы. Какъ удачно, вотъ въ этомъ стихѣ, выражена нѣжность пастушки, и сколько простодушія и невинности въ ея отвѣтѣ!» Такъ, или почти такъ критиковали поэтовъ наши аристархи добраго стараго времени. Съ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія стали критиковать иначе. Вмѣсто филологическихъ, грамматическихъ, и просодическихъ замѣтокъ, вмѣсто похвалъ или порицаній отдѣльно взятымъ стихамъ, стали дѣлать эстетическія замѣчанія на отдѣльныя мѣста поэтическаго произведенія: такой то характеръ выдержанъ, а такой-то не выдержанъ, такое-то мѣсто поразительно своимъ драматизмомъ, или своимъ лиризмомъ, а такое-то слабо, и т. п. Эта критика была большимъ шагомъ впередъ; но теперь и она неудовлетворительна. Теперь требуютъ отъ критики, чтобъ, не увлекаясь частностями, она оцѣнила цѣлое художественнаго произведенія, раскрывъ его идею и показавъ, въ какомъ отношеніи находится эта идея къ своему выраженію, и въ какой степени изящество формы оправдываетъ вѣрность идеи, а вѣрность идеи способствуетъ изяществу формы. Если же дѣло идетъ о цѣлой поэтической дѣятельности поэта, то отъ современной критики требуютъ не восклицаній въ родѣ

слѣдующихъ: «сколько души и чувства въ этой элегій г. Н., сколько силы и глубокости въ этой его одѣ, какими поразительными положеніями изобилуетъ его поэма, какъ вѣрно выдержаны характеры въ его драмѣ?» Нѣтъ, отъ современной критики требуютъ, чтобъ она раскрыла и показала духъ поэта въ его твореніяхъ, прослѣдила въ нихъ преобладающую идею, господствующую думу всей его жизни, всего его бытія, обнаружила и сдѣлала яснымъ его внутреннее созерцаніе, его паеосъ.

Если мы скажемъ, что преобладающій характеръ поэзіи г. Баратынскаго есть элегическій, то скажемъ истину, но этимъ еще ничего не объяснимъ, ибо характеръ чьей бы то ни было поэзіи еще не составляетъ ея сущности, какъ фюзіономія не составляетъ сущности человѣка, хотя и намекаетъ на нее. Чтобъ объяснить то и другое, должно раскрыть идею и въ ней найти причину и разгадку характера и фюзіономіи. Чтò такое элегическій тонъ въ чьей бы то ни было поэзіи? — грустное чувство, которымъ проникнуты созданія поэта. Но чувство само по себѣ еще не составляетъ поэзіи: надо, чтобъ чувство было рождено идеею и выражало идею. Безсмысленныя чувства — удѣлъ животныхъ; они унижаютъ человѣка. Къ чести г. Баратынскаго должно сказать, что элегическій тонъ его поэзіи происходитъ отъ думы, отъ взгляда на жизнь, и что этимъ самымъ онъ отличается отъ многихъ поэтовъ, вышедшихъ на литературное поприще вмѣстѣ съ Пушкинымъ. Разсмотримъ же идею, которая проникаетъ собою созданія г. Баратынскаго и составляетъ паеосъ его поэзіи. Возьмемъ для этого одно изъ лучшихъ, хотя и позднѣйшихъ его произведеній — «Послѣдній Поэтъ». Въ этой піесѣ поэтъ высказался весь, со всею тайною своей поэзіи, со всеми ея достоинствами и недостатками. Разберемъ же ее всю отъ слова до слова.

Вѣкъ шествуетъ путемъ своимъ желѣзнымъ,
Въ сердцахъ корысть, и общая мечта

Часть отъ часу насущнымъ и поевшимъ
 Отчетливѣй, безстыднѣй замата.
 Исчезнули при свѣтѣ просвѣщеня
 Поэзіи ребяческіе сны,
 И не о ней хлопочуть поколѣнья,
 Промышленнымъ заботамъ преданы.

Но этой энергіи и поэтической красотѣ стиховъ, ужь тотчасъ видно, что поэтъ выражаетъ свое profession de foi, передаетъ огненному слову давно накопившія въ груди его жгучія мысли... Настоящій вѣкъ служитъ исходнымъ пунктомъ его мысли; но *нельзя* онъ дѣлаетъ заключеніе, что близко время, когда проза жизни вытѣснитъ всякую поэзію, высохнуть растлѣныя корыстію и расчетомъ сердца людей, и ихъ вѣрованіемъ сдѣлается «насущенное» и «полезное»... Какая страшная картина! Какъ безотрадно будущее! Поэзіи болѣе нѣтъ. Куда же дѣвалась она? — «исчезла при свѣтѣ просвѣщенія»... Итакъ, поэзія и просвѣщеніе — враги между собою? Итакъ, только невѣжество благопріятно поэзіи? Неужели это правда? Не знаемъ: такъ думаетъ поэтъ — не мы... Впрочемъ, поэтъ говоритъ не о поэзіи, но о «ребяческихъ снахъ поэзіи», а это — другое дѣло! Но посмотримъ, какъ разовьется далѣе мысль поэта.

Для ликующей свободы
 Вновь Эллада ожила,
 Собрала свои народы
 И столицы подняла:
 Въ ней опять цвѣтутъ науки,
 Дышитъ роскошь, блещетъ вкусъ;
 Не не слышимъ лавры звуки
 Въ первобытномъ рай музъ!
 Блестятъ зима дриляющаго міра,
 Блестятъ! Суровъ и блѣденъ человекъ.
 Но зелени въ отчестаяхъ Омира
 Холмы, гѣса, брега лазурныхъ рѣкъ;
 Цвѣтеть Парнасъ! предъ нимъ, какъ въ оны годы,
 Кастальскій ключъ живой струею бьетъ:

Нежданый смысл послѣднить свѣ природы,
Возникъ поэтъ: вѣдетъ онъ и поэтъ.

Теперь любопытно, о чемъ онъ поетъ; любопытно потому особенно, что въ его пѣснѣ ясно должна высказаться мысль автора этой пѣссы.

Воспѣваетъ простодушный
Онъ любовь и красоту,
И науки, имъ ослушкой,
Пустоту и суету:
Мимолетныя страданья,
Легкомыслиемъ цѣля,
Лучше, смертный, въ дни незнанья,
Радость чувствуетъ земля!

А, вотъ что! теперь мы понимаемъ! Наука ослушна (т. е. непокорна) любви и красотѣ; наука пуста и суетна! Нѣтъ страданій глубокихъ и страшныхъ, какъ основнаго, первосущнаго звука въ аккордѣ бытія; страданіе мимолетно — его должно изцѣлять легкомысліемъ; въ дни незнанія (т. е. невѣжества) земля лучше чувствуетъ радость!...

Это стихотвореніе написано въ 1835 году отъ Р. Х.!...

Какъ жаль, что люди не знаютъ языка, напримѣръ, птичьяго: какіе должны быть удивительные поэты между птицами! Вѣдь птицы не знаютъ глубокихъ страданій — ихъ страданія мимолетны, и онѣ цѣнятъ ихъ не только легкомысліемъ, но даже и совершеннымъ безмысліемъ — что для поэзіи еще лучше; а о наукахъ птицы и не слыхивали, стало быть, и понятія не имѣютъ о пустотѣ и суетѣ наукъ: что же касается до незнанія — птицы ушли дальше его — онѣ пребываютъ въ рѣшительномъ невѣжествѣ... Какія благопріятныя обстоятельства для поэзіи, и какъ жаль, что, по незнанію птичьяго языка, мы незнакомы съ птичьєю поэзіей!...

Но, полно, правъ ли поэтъ въ своей основной мысли? Полно, невѣжествомъ ли сильна поэзія? По крайней мѣрѣ, до сихъ

поръ известно всему грамотному свѣту, что сильнѣйшее развитіе изящныхъ искусствъ совершалось только у просвѣщеннѣйшихъ народовъ міра — Грековъ, Римлянъ, Итальянцевъ, Англичанъ, Французовъ и Нѣмцевъ, — а не у Чукчей, Коряковъ и Самоѣдовъ...

Повлонникамъ Ураніи холодной
 Поэтъ, увы! онъ 'благодать страстей:
 Какъ пажити Эоля бурнопогодный,
 Плодотворять онъ сердца людей;
 Живительнымъ дыханіемъ равнита,
 Фантавія подымается отъ нихъ,
 Какъ пѣнога возникла Аеродета
 Изъ пѣнистой пучины волнъ норскихъ.
 И зачѣмъ не предадимся
 Снамъ улыбчивымъ своимъ?
 Жаркимъ сердцемъ покоримся
 Думамъ хладнымъ, а не нѣмъ?
 Втрѣте сладкимъ убѣжденіемъ
 Васъ ласкающихъ очесъ
 И отрадимъ откровеньемъ
 Сострадательныхъ небесъ!

Какіе чудные, гармоническіе стихи! Не грѣхъ ли заставить ихъ выражать такіа неосновательныя мысли? И удивительно ли, что —

Суровый смѣхъ ему отвѣтокъ; персты
 Онъ на струнахъ своихъ остановилъ,
 Сомкнулъ уста *впичать полуотверсты (?)*,
 Но гордыя главы не преклонилъ.
 Стопы свои онъ въ мысляхъ направляетъ
 Въ пѣную глушь, въ безлюдный край; *но селитъ*
Ужъ правднаго вертепа не лелаетъ,
И на земль уединенья нѣтъ!

Сила грустнаго чувства словно молнія пробѣснула въ послѣднихъ стихахъ этого куплета: видно, что мысль стихотворенія явилась въ скорбяхъ рожденія! Видно, что она вышла не изъ правдо-мечтающей головы, а изъ глубоко-растерзаннаго сердца...

И тѣнь не менѣе все таки она — ложная мысль!

Человѣку неповорно
Море свѣе одно:
И свободно и проторно
И прѣвѣтно оно;
И лица не измѣнило
Съ дня, въ который Аполлонъ
Поднялъ вѣчное сѣтвало
Въ первый разъ на небосклонъ.

Эти стихи такъ хороши, такъ хороши, что напоминаютъ собою строфы, переведенныя Жуковскимъ изъ стихотвореній Шиллера, посвященныхъ древнему міру.

Оно шумитъ передъ скалой Левкада.
На ней пѣвецъ, матажной думи поля,
Стоитъ... въ очакъ блеснула вдругъ отрада:
Сія сказа .. тѣнь Сафо!... голосъ волнъ...
Гдѣ погребла любовница Фаона
Отверженной любяи несчастный жаръ,
Тамъ пограбеть вѣтомецъ Аполлона
Свои мечты, свой *безполезный* даръ!

Именно — безполезный даръ!...

И по-прежнему блистаетъ
Хладной роскошію свѣтъ:
Серебрить и позлащаетъ
Свой безжизненный скелетъ;
Но въ смущеніе приводитъ
Человѣка гласъ морской,
И отъ шумныхъ водъ отходитъ
Онъ съ тоскующей душой!

Опять повторяемъ: какіе дивныя стихи! Что, еслибы они выражали собою истинное содержаніе! О, тогда это стихотвореніе казалось бы произведеніемъ огромнаго таланта! А теперь, чтобъ насладиться этими гармоническими, полными души и чувства, стихами, надо сдѣлать усиліе: надо заставить себя стать на точку зрѣнія поэта, согласиться съ нимъ на минуту,

что онъ правъ въ своихъ воззрѣнiяхъ на поэзію и науку; а это теперь рѣшительно невозможно! И оттого, впечатлѣніе ослабѣваетъ, удивительное стихотвореніе кажется обыкновеннымъ.

Бѣдный вѣкъ нашъ — сколько на него нападокъ, какимъ чудовищемъ считаютъ его! И все это за желѣзныя дороги, за пароходы — эти великія побѣды его, уже не надъ матеріею только, но надъ пространствомъ и временемъ! Правда, духъ меркантильности уже черезчуръ овладѣлъ имъ; правда, онъ уже слишкомъ низко поклоняется золоту тельцу; но это отнюдь не значитъ, чтобъ человѣчество дряхлѣло и чтобъ нашъ вѣкъ выражалъ собою начало этого дряхлѣнiя: нѣтъ, это значитъ только, что человѣчество, въ XIX вѣкѣ, вступило въ переходный моментъ своего развитiя, а всякое переходное время есть время дряхлѣнiя, разложенiя и гнѣнiя. И пусть за этимъ дряхлѣнiемъ послѣдуетъ смерть — что нужды! Человѣчество совсѣмъ не то, что человекъ: умирая, человекъ уже не существуетъ болѣе на землѣ; но человѣчество, какъ идеальная личность, состоящая изъ миллионовъ реальныхъ личностей, которыя если и убываютъ, за то и прибываютъ, — человѣчество старымъ и дряхлымъ умираетъ на землѣ для того, чтобъ на землѣ же воскреснуть юнымъ и крѣпкимъ. Уже не разъ оно было и младенцемъ, и юношею, мужемъ и старцемъ, умирало и воскресало, подобно фениксу изъ собственнаго пепла. Развѣ послѣдніе дни древне-языческаго міра, дни отъ царствованiя Августа почти до царствованiя Августула, не были днями разложенiя, гнѣнiя и смерти, и развѣ за ними не послѣдовало воскресенiя и новаго младенчества человѣчества? Развѣ послѣдовавшіе потомъ девять столѣтiй не были эпохою пылкой юности человѣчества, а съ пятнадцатаго вѣка не вступило оно въ свой возрастъ мужества? Восемнадцатый вѣкъ былъ вѣкомъ его старости... А сколько было частныхъ смертей, означившихъ собою эпоху перелома и возрожденiя?

И развѣ не были эпохи смерти — крестовые походы, когда вся Европа въ ужасѣ ожидала страшнаго суда, и всѣ народы ея двинулись въ Азію, чтобы въ своей колыбели найти и свой гробъ; или тридцатилѣтняя война, когда выжженная, обгорѣлая Германія походила на разграбленный станъ?... Итакъ, думать, что человѣчество когда-нибудь умретъ, и что нашъ вѣкъ есть его предсмертный вѣкъ, — значить не понимать, что такое человѣчество, значить не имѣть высокой вѣры въ его высокое значеніе... Если нашъ вѣкъ и индустріаленъ преимуществу, это нехорошо для нашего вѣка, а не для человѣчества: для человѣчества же это очень хорошо, потому что черезъ это будущая общественность его упрочиваетъ свою побѣду надъ своими древними врагами — матеріею, пространствомъ и временемъ. При этомъ, не худо не забывать, что нашъ индустріальный вѣкъ гордо называетъ своими сынами Гёте, Бетховена, Байрона, Вальтеръ Скотта, Купера, Беранже, и многихъ другихъ художниковъ. Неужели же это — все послѣдніе поэты? Много же ихъ!... Мы еще понимаемъ трусливыя опасенія за будущую участь человѣчества тѣхъ недостаточно вѣрующихъ людей, которые думаютъ предвидѣть его погибель въ индустріальности, меркантильности и поклоненіи тельцу золотому; но мы никакъ не понимаемъ отчаянія тѣхъ людей, которые думаютъ видѣть гибель человѣчества въ наукѣ. Вѣдь человѣческое знаніе состоитъ не изъ одной математики и технологіи, вѣдь оно прилагается не къ однимъ желѣзнымъ дорогамъ и машинамъ... Напротивъ, это только одна сторона знанія, это еще только низшее знаніе, — высшее объемлетъ собою міръ нравственный, заключаетъ въ области своего вѣдѣнія все, чѣмъ высоко и свято бытіе человѣческое, все, что составляетъ достоинство и величіе имени человѣческаго, всѣ тѣ великіе вопросы, которые присущны самой натурѣ человѣка, съ которыми онъ рождается и которые несетъ

въ груди своей... Кроме математики и технологий, есть еще философия и история—одна какъ наука развитія въ мышленіи довременныхъ и безплотныхъ идей; другая—какъ наука осуществленія въ фактахъ, въ дѣйствительности, развитія этихъ довременныхъ идей, таинственныхъ и первосущныхъ матерей всего сущаго, всего рождающагося и умирающаго, и несмотря на то, вѣчно живущаго!...

Намъ, можетъ быть, скажутъ, что стихотвореніе не есть философская система, и что особенно по одному стихотворенію нельзя заключать о мыслительномъ возрѣніи поэта на міръ. На первое мы дадимъ отвѣтъ ниже; вмѣсто же отвѣта на второе, перейдемъ къ другимъ стихотвореніямъ г. Баратынскаго: они отвѣтятъ за насъ.

*Пока человекъ естества не пыталъ
Горниломъ, вѣсами и мѣрой;
Но дѣтски вѣщаньямъ природы внималъ,
Любилъ ея знаменья съ вѣрой;
Покуда природу любилъ онъ, она
Любовью ему отвѣчала,
О немъ дружеской заботы полна,
Языкъ для него обрѣтала.
Почуя бѣду надъ его головою,
Вранъ каркалъ ему въ опасенье,
И замысла, въ пору смирясь предъ судьбой,
Воздерживалъ онъ деревовенье.
На путь ему выбѣжалъ изъ лѣсу волкъ,
Крутился и подѣмля щетину,
Побѣду пророчилъ, в сѣтло свой копь
Бросалъ онъ на вражью дружину.
Чета голубиная, вѣя надъ нимъ,
Блаженство любви прорицала:
Въ пустынь безлюдной онъ не былъ одинъ,
Не чуждая жизнь въ ней лышала.
Но чувство презрѣвъ, онъ доверилъ уму;
Вдался въ суету изысканій...
И сердце природы закрылось ему,
И нѣтъ на земль прорицаній!*

Коротко и ясно: все наука виновата! Безъ нея, мы жили бы не хуже Ирокезовъ... Но хорошо ли, но счастливо ли жить Ирокезы, безъ науки и знанія, безъ довѣренности къ уму, безъ суеты изысканій, съ уваженіемъ къ чувству, съ томагоукомъ въ рукѣ и въ вѣчной рѣзнѣ съ подобными себѣ? Нѣтъ ли и у нихъ, у этихъ счастливыхъ, этихъ блаженныхъ Ирокезовъ, своей «суеты испытаній», нѣтъ ли у нихъ своихъ понятій о чести, о правѣ собственности, своихъ мученій честолюбія, славолюбія? И всегда ли врань успѣваетъ предостеречь ихъ отъ бѣды, всегда ли волкъ пророчитъ имъ побѣду? Точно ли они—невинныя дѣти матери-природы?... Увы, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ!... Только животныя бессмысленныя, руководимыя однимъ инстинктомъ, живутъ въ природѣ и природою. Дикарь-человѣкъ татуируетъ свое тѣло, пронзааетъ свои ноздри и уши (въ послѣднемъ не далеко ушелъ отъ него и просвѣщенный Европеецъ, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ своего прекраснаго пола — знакъ, что еще много ему работы для освобожденія себя отъ первобытнаго варварства), пронзааетъ свои ноздри и уши, чтобъ украшать ихъ блестящими привѣсками: варварство и грубость — безъ сомнѣнія; но уже этииъ самымъ варварствомъ онъ стоитъ выше животнаго. Животное родится готовымъ; чего не выростетъ на немъ, того не отдѣляетъ оно себѣ искусственно; оно не можетъ сдѣлаться ни лучше, ни хуже того, какииъ создала его природа. Человѣкъ бываетъ животнымъ только до появленія въ немъ первыхъ признаковъ сознанія; съ этой поры, онъ отдѣляется отъ природы и, вооруженный искусствомъ, борется съ нею всю жизнь свою. Это мы видимъ на дикаряхъ: они тѣ же люди, что и просвѣщенные Европейцы, и существенное ихъ различіе отъ послѣднихъ заключается только въ томъ, что ихъ искусственность неразумна: озарите ихъ свѣтомъ разума, и они свое татуированіе замѣнятъ одеждою, т. е. ложную искусственность

замѣнять истинною. Не въ самыхъ дѣлостяхъ и нецѣлостяхъ этихъ несчастныхъ дѣтей природы, видно уже порываніе выйдти изъ оковъ природы, порываніе отъ истинника къ разуму. Въ XVIII вѣкѣ величайшіе умы были склонны видѣть въ дѣларахъ образецъ неспорченной человѣческой природы; тогда эта мысль, вызванная крайностію гнившаго въ ложной искусственности европейскаго общества, была и нова и блестяща. Въ XIX вѣкѣ, эта мысль и стара и пошла;

Все мысль, да мысль! Художникъ бѣдный слова!
 О жрецъ ея! тебѣ забвенья нѣтъ;
 Все тутъ, да тутъ, и человекъ и свѣтъ,
 И смерть, и жизнь, и правда безъ покровъ.
 Рѣзецъ, органъ, кисть! счастливъ, кто влекомъ
 Къ нимъ чувственнымъ, за грань ихъ не ступая!
 Есть хлѣбъ ему во праздничѣхъ земляхъ!
 Но предъ тобой, какъ предъ нагимъ мечемъ,
 Мысль, острый лучъ! блѣднѣетъ жизнь земная!

И это понятіе объ отношеніи мысли къ искусству совершенно гармонируетъ съ понятіемъ г. Баратынскаго объ отношеніи ума къ чувству, науки къ жизни. Что такое искусство безъ мысли? — то же самое, что человекъ безъ души, — трупъ... И почему разумъ и чувство — начала враждебныя другъ другу? Если они враждебны, то одно изъ нихъ — лишнее бремя для человека. Но мы видимъ и знаемъ, что глухцы бываютъ лишены чувства, а безчувственные люди не отличаются умомъ. Мы видимъ и знаемъ, что преимущественное развитіе чувства насчетъ ума дѣлаетъ человека, самымъ счастливымъ образомъ одареннаго отъ природы, или фанатикомъ-звѣремъ, или старомъ бабю, суевѣрною и слабоумною; такъ же, какъ одинъ умъ безъ чувства дѣлаетъ человека или безнравственнымъ существомъ, эгонстомъ, или сухимъ діалектикомъ, безжизненнымъ педантомъ, который во всемъ видитъ одніи логическія формальности, и ни въ чемъ не видитъ души и содержанія. Оче-

видно, что разумъ и чувство—двѣ силы, равно нуждающіеся другъ въ другѣ, мертвыя и ничтожныя одна безъ другой. Чувство и разумъ—это земля и солнце; земля, въ своихъ таинственныхъ нѣдрахъ, скрываетъ растительную силу и всѣ зародыши плодовъ своихъ; солнце возбуждаетъ ея растительную силу — и радостно рвутся на свѣтъ его изъ темной роковой страны зеленѣющіе стебли ея порожденій... Такъ въ груди человѣка — въ этомъ подземномъ царствѣ темныхъ предчувствій и нѣмыхъ ощущеній, скрываются, словно въ землѣ, корни воѣхъ нашихъ живыхъ стремленій и страстныхъ помысловъ; но только свѣтъ разума можетъ и развивать, и крѣпить, и просвѣтлять эти ощущенія и чувства до мысли, — безъ него онѣ остаются или животнымъ инстинктомъ, или дикими страстями, черными демонами, устрояющими гибель человѣка... Чувство, въ свою очередь, есть дѣйствительность разума, какъ тѣло есть реальность души: безъ чувства, идеи холодны, свѣтлать, а не грѣютъ, лишены жизненности и энергій, неспособны перейти въ дѣло. Итакъ, полнота и совершенство человѣческой природы заключаются въ органическомъ единствѣ разума и чувства. Горе дому, который раздѣляется самъ на себя; горе человѣку, въ которомъ чувство возстанетъ на разумъ, или разумъ возстанетъ на чувство! И, однакожъ, это горе неизбежное, необходимое, и мертвъ, ничтоженъ тотъ человѣкъ, который не испыталъ его! Чувство, по натурѣ своей, стремится къ положенію, любить останавливаться на положительныхъ результатахъ; разумъ контролируетъ положенія чувства и, если не найдетъ ихъ основательными, отрицаетъ ихъ. Отсюда происходитъ мука сомнѣнія. Но безъ этого сомнѣнія, человѣкъ, остановившись разъ на извѣстномъ положеніи, и закоснѣвъ бы въ немъ, не двигаясь впередъ, слѣдовательно, не развиваясь, — не дѣлался бы изъ младенца отрокомъ, изъ отрока юношей, изъ юноши мужемъ, изъ мужа старцемъ, но до смерти

своей оставался бы младенцемъ. Духъ сомнѣнія гонить человека отъ одного опредѣленія къ другому, — и благо тому, кто сомнѣвался въ извѣстныхъ истинахъ, не сомнѣваясь въ существованіи истины, ибо истины преходящи, но истина вѣчна!

Помните намъ, г. Баратынскій гдѣ то сказалъ что-то въ родѣ слѣдующей мысли: положеніе поэта трудно потому, что, въ одно и то же время, онъ находится противоположнымъ вліяніемъ огненной творческой фантазіи и обливающего холодомъ разсудка. Мысль, не скажемъ несправедливая, но не точная: обливающий холодомъ разсудокъ дѣйствительно входитъ въ процессъ творчества, но когда? — въ то время, когда еще поэтъ вынашиваетъ въ себѣ концепирующееся свое твореніе, слѣдовательно, прежде, нежели приступить къ его изложенію, ибо поэтъ излагаетъ уже готовое произведеніе. Разумѣется, здѣсь должно предполагать высшіе таланты, потому что только низшіе сочиняютъ съ перомъ въ рукѣ, еще не зная сами, что сочиняютъ они; или затрудняются въ выраженіи собственныхъ идей. Истинный поэтъ тѣмъ и великъ, что свободно даетъ образъ каждой глубоко прочувствованной имъ идее, выражаетъ словомъ постижимое для одного уха и невыразимое для каждого, кто не поэтъ.

Этотъ несчастный раздоръ мысли съ чувствомъ, истины съ вѣрованіемъ, составляетъ основу поэзіи г. Баратынскаго, и почти всѣ лучшія его стихотворенія проникнуты имъ. Въ одномъ изъ нихъ ему предстаетъ, въ горькую минуту, истина, и общаетъ успокоить путемъ холоднаго безстрастія. Она говоритъ поэту:

Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь,
Пускай, узнавъ людей,
Ты, можетъ-быть, испуганный разлюбишь
И ближнихъ и друзей.

Я бытія всѣ прелести разрушу,
 Но ужъ настало твое,
 Я оболю суровымъ хладомъ душу,
 Но дамъ душѣ покой.

Поэтъ въ трепетѣ отказывается отъ страшнаго дара «неземной гостыи»; но въ заключеніи, проситъ его у ней такъ:

.... . Когда мое свѣтло
 Во звездной вышнѣи
 Начнетъ блѣднѣть, и все, что сердцу мило,
 Забыть придется мнѣ,
 Явля: тогда! открой мнѣ очи,
 Мой разумъ просвѣти,
 Чтoby жизнь презрѣть, а ногъ въ обитель ночи
 Безропотно сойти.

Такъ, въ другомъ стихотвореніи, поэтъ окривляетъ надеждами оболыщенной безумную юность, но, обращаясь къ «знающимъ», говоритъ:

Но вы, судьбину испытавшіе,
 Тщету надеждъ, печали власть,
 Вы, знанье бытія пріавшіе
 Себя на тигостную часть!
 Гоните прочь ихъ рой прельстительный;
 Такъ! доживайте жизнь въ тиши,
 И берегите хладъ спасительный
 Своей бездѣйственной души.
 Своимъ безчувствіемъ блаженные,
 Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ,
 Волхвы словами пробужденные,
 Встанутъ со сжрежетоиъ зубовъ;
 Такъ вы, согрѣвъ въ душѣ желанія,
 Безумно вдавшись въ ихъ обманъ,
 Преснетесь только для страданія
 Для боли новой прежнихъ ранъ.

Большое, отлнчающееся превосходными стихами стихотвореніе «Послѣдняя Смерть» есть апофеоза всей поэзіи г. Баратынскаго. Въ немъ вполне выразилось его міросозерцаніе.

Поэтъ представляетъ, въ яркой картинѣ, кипящій жизнию міръ;
потомъ, въ другой картинѣ, увяданіе міра, а въ третьей —

Прошли вѣка, и тутъ моихъ очамъ
Открылася ужасная картина:
Ходила смерть по сушѣ, по водамъ,
Свершалася живущая судьбина.
Гдѣ люди, гдѣ? скрывалися въ гробахъ!
Какъ древніе столпы на рубежахъ
Послѣднія семейства выстаивали;
Въ развалинахъ стояли города,
По нахватамъ заглухнувшимъ блуждали
Безъ пастырей безумныя стада;
Съ людьми для нихъ исчезло пропитанье
Мнѣ слышалось иль гладное бѣжанье.
И тишина глубокая во слѣдъ
Торжественно повсюду воцарилася,
И въ дикую порфиру древнихъ лѣтъ
Державная природа облачалася.
Величественъ и грустенъ былъ *позоръ* (?)
Пустынныхъ водъ, лѣсовъ, долинъ и горъ.
По прежнему животворя природу,
На небосклонъ свѣтло дня взошло;
Но на землѣ ничто его восколу
Пронести пршвѣта не могло:
Однѣ туманы надъ ней, снѣга вился
И жертвою чистительной дымился.

Великолѣпная фантазія, но не болѣе, какъ фантазія! И главный ея недостатокъ заключается въ томъ, что она вездѣ является чернымъ демономъ поэта. Жизнь какъ добыча смерти, разумъ какъ врагъ чувства, истина какъ губитель счастья, — вотъ откуда происходитъ элегическій тонъ поэзии г. Баратынскаго, и вотъ въ чемъ ея величайшій недостатокъ. Зданіе, построенное на пескѣ, не долговѣчно; поэзія, выразившая собою ложное состояніе переходнаго поколѣнія, и умираетъ съ тѣмъ поколѣніемъ, ибо для слѣдующихъ не представляетъ никакого сильнаго интереса въ своемъ содержаніи. Мало того: сдѣлавшись органомъ ложнаго направленія, она лишается той силы,

которую могъ бы сообщить ей талантъ поэта. Конечно, этотъ раздоръ мысли съ чувствомъ, явился у поэта не случайно, — онъ заключался въ его эпохѣ. Кто не знаетъ и не помнитъ Пушкинскаго «Демона»? Пушкинъ, какъ первый великій поэтъ русскій, котораго поэзія выходила изъ жизни, первый и встрѣтился съ демономъ. «Печальны были наши встрѣчи!» восклицаетъ онъ о своемъ демонѣ.

Его улыбка, чудный взглядъ,
Его лзвительная рѣчи,
Вливали въ душу холодный ядъ.
Неустопимый клевету
Онъ проваднѣе искашалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою;
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ —
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

Въ самомъ дѣлѣ, это страшный демонъ, особенно для перваго знакомства! Впрочемъ, онъ опасенъ не тѣмъ, что онъ на самомъ дѣлѣ, а тѣмъ, чѣмъ онъ можетъ показаться человѣку. Люди имѣютъ слабость смѣшивать свою личность съ истиною: усомнившись въ своихъ истинахъ, они часто перестаютъ вѣрить существованію истины на землѣ. Вотъ тутъ-то демонъ и бываетъ опасенъ, тутъ-то онъ и губитъ людей. Отъ него можетъ спасти человѣка только глубокая и сильная, живая вѣра. Пусть онъ во всемъ разочаровался, пусть все, что любилъ и уважалъ онъ, оказалось недостойнымъ любви и уваженія, пусть все, чему горячо вѣрилъ онъ, оказалось призракомъ, а все, что думалъ знать онъ, какъ непреложную истину, оказалось ложью, — но да обвиняетъ онъ въ этомъ свою ограниченность, или свое несчастіе, а не тщету любви, уваженія, вѣры, знанія! Пусть самое отчаяніе его въ тщетѣ истины, будетъ для него живымъ свидѣтельствомъ его жажды истины,

а его жажда — живымъ свидѣтельствомъ существованія истины: ибо чего нѣтъ, о томъ несродно страдать человѣческой натурѣ. Пусть прошло для него время познанія истины, и онъ откажется навсегда узрѣть ея обѣтованную землю, во пусть же не смѣшиваетъ онъ себя съ истинною, и не думаетъ, что если она не для него, то уже и ни для кого. Но какъ же, скажутъ, вѣрить, если вся дѣйствительность есть отрицаніе всякой вѣры?... Дѣйствительность? — Но что такое дѣйствительность, если не осуществленіе вѣчныхъ законовъ разума? Всякая другая дѣйствительность — временное затмѣніе свѣта разума, болѣзненный витальный процессъ, — а развѣ можетъ быть вѣчное затмѣніе солнца, развѣ солнце не является послѣ затмѣнія въ болѣшемъ блескѣ и болѣшей лучезарности; развѣ страданіе, претерпѣваемое младенцемъ при прорѣзываніи зубовъ, бываетъ продолжительно и не составляетъ необходимаго временнаго зла для продолжительнаго добра? Скажутъ: младенцы часто умираютъ отъ процессовъ физическаго развитія. Правда, умираютъ — младенцы, которые подчинены необходимо болѣзненнымъ процессамъ органическаго развитія и которые смертны, но не человѣчество, которое подчинено болѣзненнымъ процессамъ историческаго развитія, и которое бессмертно. Надо умѣть отличать разумную дѣйствительность, которая одна дѣйствительна, отъ неразумной дѣйствительности, которая призрачна и преходяща. Вѣра въ идею спасаетъ, вѣра въ факты губитъ. Есть люди, которые отрицаютъ добродѣтель и достоинство женщины, потому что случай сводилъ ихъ все съ пустыми и легкими женщинами, потому что они не знали ни одной женщины высшей природы. И это безвѣріе, какъ проклятiе, служитъ достойнымъ наказаніемъ безвѣрію, ибо въ душѣ благодатной долженъ заключаться идеалъ женщины, — въ дѣйствительности же должно искать не идеала, а только осуществленія идеала; найти или не найти его, это дѣло слу-

чая. То же можно сказать и о людяхъ, которыхъ разложеніе и гніеніе элементовъ старой общественности, продажность, нравственной развратъ и оскуденіе жизни и доблести въ современномъ — заставляютъ отчаяваться за будущую участь челоѣчества... Здѣсь очевидно демонъ губить ихъ на фактъ, за которымъ они не видятъ идеи, не понимая, что умираетъ и гнѣетъ только отжившее, чтобъ уступить мѣсто новому и живому. Еслибъ вмѣсто того, чтобъ испугаться демона, они испытали его — онъ указалъ бы имъ на послѣднее время умиравшей древности, которая въ амфитеатрахъ своихъ тѣшилась кровавымъ зрѣлищемъ, какъ звѣри терзаютъ христіанъ, и которая, въ слѣпотѣ своей, не подозрѣвала, что этою побѣдою надъ мучениками она сама была побѣждена, съ своими уже опошлѣвшими богами... Тогда они поняли бы, что смерть старой истины еще не означаетъ смерти истины вообще... Демонъ, по своей демонической натурѣ, золъ и насмѣшливъ. Онъ презираетъ безсиліе и веселится, терзая его; но онъ уважаетъ силу и сторицею воздастъ ей за временное зло, которымъ ее терзаетъ. Онъ служитъ и людямъ и челоѣчеству, какъ вѣчно движущая сила духа челоѣческаго и историческаго. То страшный и мрачный, то веселый и злой, онъ, какъ Протей, неистощимъ въ формахъ своего проявленія, какъ Антей, неистощимъ въ своихъ средствахъ. Онъ внушалъ Сократу откровенія его нравственной философіи и помогалъ ему дурачить софистовъ ихъ же обоюдо-острымъ оружіемъ. Онъ внушалъ Аристофану его комедіи; онъ нашептывалъ риторикѣ Лукіану его «Диалоги Боговъ»; онъ помогъ Колумбу открыть Америку; онъ изобрѣлъ порохъ и книгопечатаніе; онъ продиктовалъ Ульриху Гуттену его злоую сатиру «*Epistola obscurorum divorum*»; Бомарше — его «Фигаро», и много философскихъ сказокъ и сатирическихъ неемъ продиктовалъ онъ Вольтеру; онъ уничтожилъ ошейники

вассаловъ и рыцарскіе разбои феодалныхъ бароновъ, священную инквизицію и благочестивое ауто-да-фе. Гёте схватилъ его только за хвостъ въ своемъ Мефистофель, а въ лицо только слегка заглянулъ ему. За то, колоссальный Байронъ не трепеща смотрѣлъ ему въ очи, и гордо мѣрялся съ нимъ силою духа, и какъ равный равному, подалъ ему руку на вѣчную дружбу. Изъ русскихъ поэтовъ, первый познакомился съ нимъ Пушкинъ, и тягостно было ему его знакомство, и печальны были его встрѣчи съ нимъ... Онъ не палъ отъ него, но и не узналъ, не понялъ его... И не удивительно: ничто не дѣлается вдругъ. За то, другой русскій поэтъ, явившійся уже по смерти Пушкина, не испугался этого страшнаго гостя: онъ знакомъ былъ съ нимъ еще съ дѣтства, и его фантазія съ любовью легляла этотъ «могучій образъ»; для него:

Какъ царь нѣмой и гордый, онъ сіялъ
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...

Онъ былъ избраннымъ героемъ пламеннаго бреда его юности, и ему посвятилъ онъ цѣлую поэму, гдѣ, за всѣ утраченныя блага жизни, этотъ страшный герой сулитъ открыть «лучину гордаго познанья»...

Человѣкъ страшится только того, чего не знаетъ; знаніемъ побѣждается всякій страхъ. Для Пушкина, демонъ такъ и остался темною, страшною стороною бытія, и такимъ является онъ въ его созданіяхъ. Поэтъ любилъ обходить его, сколько было возможно, и потому онъ не высказался весь и унесъ съ собою въ могилу много нетронутыхъ струнъ души своей; но какъ натура сильная и великая, онъ умѣлъ, сколько можно было, вознаградить этотъ недостатокъ, тогда какъ другіе поэты, вышедшіе съ нимъ вмѣстѣ на поэтическую арену, пали жертвою неузнаннаго и неразгаданнаго ими духа, и для нихъ навсегда мысль осталась врагомъ чувства, истина бичемъ сча-

стія, а мечта и ребяческіе сны поэзіи — высшимъ блаженствомъ жизни...

Изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вѣстѣ съ Пушкинымъ, первое мѣсто безспорно принадлежитъ г. Баратынскому. Несмотря на его вражду къ мысли, онъ по натурѣ своей, призванъ быть поэтомъ мысли. Такое противорѣчіе очень понятно: кто не мыслитель по натурѣ, тотъ о мысли и не хлопочетъ; борется съ мыслию тотъ, кто не можетъ овладѣть ею, стремясь къ ней всѣми силами души своей. Эта невыдержанная борьба съ мыслию, много повредила таланту г. Баратынскаго: она не допустила его написать ни одного изъ тѣхъ твореній, которыя признаются капитальными произведеніями литературы, и если не на вѣчно, то надолго переживаютъ своихъ творцовъ.

Взглянемъ теперь на нѣкоторыя стихотворенія Баратынскаго со стороны мысли. Въ посланіи къ Г-чу, поэтъ говоритъ:

Врагъ суетныхъ утѣхъ и врагъ утѣхъ позорныхъ,
 Не уважаешь ты бездѣлокъ стихотворныхъ,
 Не угодишь тебѣ сладчайшій изъ пѣвцовъ
 Развратной прелестью изыженныхъ стиховъ:
Возвышенную цѣль избравъ поэтъ обманъ.

За тѣмъ, онъ объясняетъ Г-чу, почему не можетъ принять его вызова —

Оставить мирный сlegtъ
 И, одной молчью напитывая строки,
 Сатиру возстать на глупость и пороки.

И чѣмъ же? — тѣмъ, что сатиру можно нажать себѣ враговъ, а благодарность общества — плохая благодарность, ибо онъ, поэтъ, не вѣритъ благодарности. Вотъ заключеніе этого стихотворенія:

Итъ, итъ! разумный мужъ идетъ путемъ вины,
 И снисходительный къ дурчествамъ людскимъ,

Не выставить ихъ, но споспешъ благокраане,
 Онъ не пытается, увѣренный забавко
 Во всемогуществѣ болтана своего,
 Имъ въ людяхъ измѣнить людское естество,
 Ихъ насъ, я думаю, не окажетъ ни одинъ
 Оснивъ: дубомъ будь, или дубу: будь осинной;
 Межъ тѣмъ—какъ странно имъ!—нежъ тѣмъ любой изъ насъ
 Переименать свѣтъ задумывалъ не разъ.

Подобныя мысли, безъ сомнѣнiя, очень благоразумны и даже
 благоправны, не едва ли онѣ поэтически-великодушны и ры-
 царски-высоки... Благоразумiе не всегда разумность: часто
 бываетъ оно то равнодушiемъ и апатию, то эгоизмомъ. Но
 вотъ еще нѣсколько стиховъ изъ этого же стихотворенiя:

Полезенъ обществу сатирикъ безпристрастный,
 Дыша любовью къ согражданахъ своимъ,
 На ихъ дурачества онъ жалуется имъ:
 То укаризнами возставъ на злодѣянье,
 Его приводитъ онъ въ благое содраганье,
 То ѣдкой силою забавнаго словца
 Смирять пошухи надменнаго глупца;
Онъ правовъ опекунъ и власть правды воинъ.

Сличивъ эти стихи съ приведенными выше, легко понять, по-
 чему такое стихотворенiе, даже еслибы оно было написано и
 хорошими стихами, не можетъ теперь читаться...

«На смерть Гёте» есть одно изъ лучшихъ между мелкими
 стихотворенiями г. Баратынскаго. Стихи въ немъ удивитель-
 ны; но стихотворенiе, не смотря на то, не выдержано и пото-
 му не производитъ того впечатлѣнiя, какого бы можно было
 ожидать отъ такихъ чудесныхъ стиховъ. Причина этого оче-
 видна: неопредѣленность идеи, невѣрность въ содержанiи. По-
 этъ слишкомъ много и слишкомъ бездоказательно приписалъ
 Гёте, говоря, что

..... ничто не оставлено имъ
 Подъ солнцемъ живыхъ безъ привѣта;

На все отозвался онъ сердцемъ своимъ,
 Что просить у сердца отъitta:
 Крылатою мыслью онъ миръ облетѣлъ,
 Въ одномъ безпредѣльномъ нашель онъ предѣлъ.

Прекрасно сказано, но не справедливо! Не было, нѣтъ и не будетъ никогда гениа, который бы одинъ все постигъ, или все сдѣлалъ. Такъ и для Гёте существовала цѣлая сторона жизни, которая, по его нѣмецкой натурѣ, осталась для него terra incognita. Эту сторону выразилъ Шиллеръ. Оба эти поэта знали цѣну одинъ другому, и каждый изъ нихъ умѣлъ другому воздавать должное. Обидно видѣть, какъ люди, не понимая дѣла, все отдаютъ Гёте, все отнимая у Шиллера... Если ужъ надо сравнить другъ съ другомъ этихъ поэтовъ, то, право, еще не рѣшеное дѣло — кто изъ нихъ долѣе будетъ владычествовать въ царствѣ будущаго; — и многіе не безъ основанія догадываются уже, что Гёте, поэтъ прошедшаго, въ настоящемъ умеръ развѣнчаннымъ царемъ... Вмѣсто безотчетнаго гимна Гёте — поэту слѣдовало бы охарактеризовать его, — и онъ сдѣлалъ это только въ четвертомъ куплетѣ, въ которомъ довольно удачно схваченъ пантеистическій характеръ жизни и поэзи Гёте:

Съ природою одною онъ жизнью дышалъ:
 Ручья разумѣлъ лепетанье,
 И говоръ древесныхъ листовъ понималъ
 И чувствовалъ травъ прозябанье,
 Была ему звѣздная книга ясна,
 И съ нѣмъ говорила морская волна.

Слѣдующіе за тѣмъ заключительные куплеты слабы выраженіемъ, темны и неопредѣленны мыслию, а потому и разрушаютъ эффектъ всего стихотворенія. Все, что говорится въ пятомъ куплетѣ такъ же можетъ быть примѣнено ко всякому великому поэту, какъ и къ Гёте; а что говорится въ шестомъ, то

ни къ кому не можетъ быть прииѣнено, за темнотою и смивчивостію мысли.

Теперь обратимся къ поэмамъ г. Баратынскаго. Въ нихъ много отдѣльныхъ поэтическихъ красотъ; но въ цѣломъ ни одна не выдержитъ основательной критики.

Русскій молодой офицеръ, на постоѣ въ Финляндіи, обольщаетъ дочь своего хозяина, Чухончку Эду — добродушное, любящее, кроткое, но ничѣмъ особеннымъ не отличное отъ природы созданіе. Покинутая своимъ обольстителемъ, Эда умираетъ съ тоски. Вотъ содержаніе «Эды» — поэмы, написанной прекрасными стихами, исполненной души и чувства. И этихъ не многихъ сторкъ, которыя сказали мы объ этой поэмі, уже достаточно, чтобы показать ея безотносительную неважность въ сферѣ искусства. Такого рода поэмы, подобно драмамъ, требуютъ, для своего содержанія, трагической коллизіи, — а что трагическаго (т. е. поэтически трагическаго) въ томъ, что шалунъ обольстилъ дѣвушку и бросилъ ее? Ни характеръ такого человѣка, ни его положеніе, не могутъ возбудить къ нему участія въ читателѣ. Почти такое же содержаніе, напримеръ, въ повѣсти Лермонтова «Бѣла»; но какая разница! Печоринъ — человѣкъ, пожираемый страшными силами своего духа, осужденнаго на внутреннюю и внѣшнюю бездѣйственность; красота Черкешенки его поражаетъ, а трудность овладѣть ею раздражаетъ энергію его характера и усиливаетъ очарованіе ожидающаго его счастья: холодность Бѣлы еще болѣе подстрекаетъ его страсть, вмѣсто того, чтобы ослабить ее. Но когда онъ упился первыми восторгамъ этой оригинальной любви къ простой и дикой дочери природы, онъ почувствовалъ, что для продолжительнаго чувства мало одной оригинальности, для счастья въ любви мало одной любви, — и его начинается терзать мысль о гибели милаго, хотя и ликаго, женственнаго существа, которое въ своей естественной простотѣ, не умѣло

ни требовать, ни дать въ любви ничего, кромѣ любви. Трагическая смерть Бэлы, вмѣсто того, чтобъ облегчить положеніе Печорина, страшно потрясаетъ его, съ новою силою возбуждая въ немъ вспышку прежняго пламени, — и отъ его дикаго хохота содрогается сердце не у одного Максима Максимыча, и становится понятно, почему онъ, послѣ смерти Бэлы, долго былъ нездоровъ, весь исхудалъ и не любилъ, чтобъ при немъ говорили о ней... Это не волокита, нѣ водевильный донъ-Хуанъ, вы не вините его, но страдаете съ нимъ и за него, говоря мысленно: «о горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!» Для нѣкоторыхъ характеровъ, не чувствовать, быть внѣ какой бы то ни было духовной дѣятельности — хуже, чѣмъ не жить; а жить, это больше чѣмъ страдать, — и вотъ является трагическая коллизія, какъ мысль неотразимой судьбы, достойная и поэмы и драмы великаго поэта...

Гораздо глубже, по характеру героини, другая поэма г. Баратынскаго — «Балъ»:

Презрѣнья къ мнѣнію полна,
 Надъ добродѣтелію женской
 Не насмѣхается ль она,
 Какъ надъ ужимкой деревенской?
 Кого въ свой домъ она манить;
 Не записныхъ ли волокитъ,
 Не новичковъ ли миловидныхъ?
 Не утомятъ ли слухъ людей
 Молвой побѣдъ ея безстыдныхъ
 И соблазнительныхъ связей?
 Но какъ влекла къ себѣ всецѣльно
 Ея живая красота!
 Чьи непорочныя уста
 Такъ улыбались умильно?
 Какая бы Людмила ей,
 Смирясь, лучей благодѣтельныхъ
 Своихъ лазоревыхъ очей
 И свѣжести ланитъ стыдливыхъ,

Не отдала би сей же часъ
 За яркій глянecъ черныхъ глазъ,
 Облитыхъ влагой сладострастной,
 За пламя жаркое ланить?
 Какая ея самовластной,
 Не уступила бь изъ харить?

Какъ въ близкихъ сердцу разговорахъ
 Была прѣвнительна она!
 Какъ угодительна вѣжна!
 Какая ласковость во взорахъ
 У ней сіяла! Но порой
 Ревнивымъ гнѣвомъ пламенѣла,
 Какъ зла въ словахъ, страшна собой,
 Являлась новая Медея!
 Какія слезы изъ очей
 Потомъ катилися у ней!
 Терзая душу, проливали
 Въ нее томленья слезы тѣ:
 Кто бь не отеръ ихъ у печали,
 Кто бь не оставилъ красотъ?

Страхись прелеcтницы опасной,
 Не подходи: обведена
 Волшебнымъ очеркомъ она,
 Кругомъ ея заряды страстной
 Исполненъ воздухъ! Жалокъ тотъ,
 Кто въ сладкій чадъ его вступаетъ:
 Ладью пловца водоворотъ
 Такъ на погибель увлекаетъ!
 Были ея: нѣтъ сердца въ ней!
 Страхись вирадчивыхъ рѣчей
 Одурѣвающей приманки;
 Влюбленныхъ взглядовъ не лови:
 Въ ней жаръ упившейся вакханки,
 Горячки жаръ — не жаръ любви.

И этотъ демоническій характеръ въ женскомъ образѣ, эта страшная жрица страстей, наконецъ должна расплатиться за всѣ грѣхи свои:

Посланикъ рока ей предсталъ,
 Смущенный взоръ очаровалъ,
 Поработилъ воображенье,
 Сліалъ всѣ мысли въ мысль одну
 И пролилъ страстное мученье
 Въ глухую сердца глубину.

Въ этомъ «посланикѣ рока» должно предполагать могучую
 натуру, сильный характеръ, — и въ самомъ дѣлѣ портретъ
 его, слегка, но рѣзко очерченный повтомъ, возбуждаетъ въ
 читателей большой интересъ:

Красой извѣженной Арсеній
 Не привлекалъ къ себѣ очей:
 Слѣды мучительныхъ страстей,
 Слѣды печальныхъ размышленій
 Носилъ онъ на челѣ: въ очахъ
 Безпечность иррачная дышала,
 И не улыбка на устахъ —
 Усмѣшка праздная блуждала.
 Онъ не задолго посѣщалъ
 Края чужіе; тамъ искалъ,
 Какъ слышно было, развлеченья,
 И снова родину узрѣлъ;
 Но видно, сердцу исцѣленья
 Дать не возмогъ чужой предѣлъ.
 Предсталъ онъ въ домъ моей Лансы,
 И остряковъ задорный полкъ
 Не знаю какъ предъ нимъ умолкъ —
 Главой поникли Адонисы.
 Онъ въ разговорѣ поражалъ
 Людей и свѣта знаньемъ рѣдкимъ,
 Глубоко въ сердце проникалъ
 Лукавой шуткой, словомъ вѣдкимъ,
 Судилъ разборчиво пѣвца,
 Зналъ цѣну кисти и рѣзца,
 И сколько ни былъ гладно-сжатимъ
 Привычный складъ его рѣчей,
 Казался чувствами богатымъ
 Онъ въ глубинѣ души своей.

Нашла коса на камень: узелъ трагедіи завязался. Любопытно, чѣмъ развяжетъ его поэтъ, и какъ оправдаетъ онъ, въ дѣйствиіи, портретъ своего героя. Увы! все это можно рассказать въ короткихъ словахъ: Арсеній любилъ подругу своего дѣтства и приревновалъ ее къ своему пріятелю; на упреки его Ольга отвѣчала дѣтскимъ смѣхомъ, и онъ, какъ обиженный ребенокъ, не понимая ея сердца, покинулъ ее съ презрѣніемъ... Воля ваша, а портретъ невѣренъ!... Чтò же потомъ? — Потомъ Нина получила отъ него письмо:

Что жь мезлтъ (къ ней писалъ Арсеній)
Открыться должно. . небо! въ чемъ?
Едва владѣю я перомъ,
Ищу напрасно выраженій.
О, Нина! Ольгу встрѣтилъ я;
Она понывѣ дышитъ мною,
И ревность пражмля моя
Была неправой и смѣшною.
Удѣлъ рѣшомъ. По старинѣ
Я вѣренъ Ольгѣ, вѣрной мнѣ.
Прости! твоѣ воспоминанье
Я сохранию до позднихъ дней:
Въ немъ понесу я наказанье
Ошибокъ юности моеѣ.

Несмотря на трагическую смерть Нины, которая отравилась ядомъ, такая развязка такой завязки похожа на водевилъ, вѣтъ-стò пятого акта придѣланный къ четыремъ актамъ трагедіи... Поэтъ очевидно не смогъ овладѣть своимъ предметомъ... А сколько поэзій въ его поэмѣ, какими чудными стихами наполнена она, сколько въ ней превосходныхъ частности!...

«Цыганка», самая большая поэма г. Баратынскаго, была издана имъ, въ 1831 году, подъ названіемъ: «Наложница», съ предисловіемъ, весьма умно и дѣльно написаннымъ. «Цыганка» исполнена удивительныхъ красотъ поэзій, — но опять-таки въ частности; въ цѣломъ же не выдержана. Отравительное

зелье, данное старую Цыганкою бѣдной Сарѣ, ничѣмъ не объясняется и очень похоже на *deus ex machina* для трагической развязки во что бы то ни стало! Черезъ это ослабляется эффектъ цѣлаго поэмы, которая, кромѣ хорошихъ стиховъ и прекраснаго разказа, отличается еще и выдержанностію характеровъ. Очевидно, что причиною недостатка въ цѣломъ всѣхъ поэмъ г. Баратынскаго есть — отсутствіе опредѣленно выработавшагося взгляда на жизнь, отсутствіе мысли крѣпкой и жизненной.

Кромѣ этихъ трехъ поэмъ, у г. Баратынскаго есть и еще три: «Телема и Макаръ», «Переселеніе Душъ» и «Пиры». Первыхъ двухъ — признаемся откровенно — мы совершенно не понимаемъ, ни со стороны содержанія, ни со стороны поэтической отдѣлки. «Пиры» собственно не поэма, а такъ — шутка въ началѣ и элегія въ концѣ. Поэтъ, какъ-будто принявшисъ воспѣвать пиры, замѣтилъ, что уже прошла пора и для пировъ и для воспѣванія пировъ... У времени есть своя логика, противъ которой никому не устоять...

Въ «Пирахъ» г. Баратынскаго много прекрасныхъ стиховъ. Какъ хороши, напримѣръ, эти:

Люби слѣпой, люби безумной
Тоску въ душѣ моей тая,
Насилу, милые друзья,
Дѣлать восторгъ бесѣды шумной
Тогда оснѣживался я.
Что потакать мечтѣ унылой,
Кричали вы, снѣгае ней!
Развеселись, товарищъ милый,
Для насъ живи, забудь о ней!
Вдохнуть, разсѣяно послушный,
Я пилъ съ улыбкой равнодушной;
Соптлѣла мрачная мечта,
Толпой скрывались печали,
И задрожавшія уста
• Богъ съ ней! • неслытно лепетали...

Говоря о поэзіи г. Баратынскаго мы были чужды всяких предубѣжденій въ отношеніи къ поэту, котораго глубоко уважаемъ. Не скрывая своего мнѣнія и открыто, безъ уклончивости, высказывая его, тамъ, гдѣ оно было не въ пользу поэта, мы и не старались, въ пользу нашего мнѣнія, скрывать его достоинства, и выписывали только такіе отрывки изъ его стихотвореній, которые могли дать высокое понятіе о его талантѣ. Стихъ г. Баратынскаго не только благозвученъ, но часто крѣпокъ и силенъ. Однакожь, говоря о художественной сторонѣ поэзіи г. Баратынскаго, нельзя не замѣтить, что онъ часто грѣшитъ противъ точности выраженія, а иногда впадаетъ въ шероховатость и прозаичность выраженія.

Кромѣ стихотвореній, на которыя мы уже ссылались, въ сборникѣ г. Баратынскаго особенно достойны памяти и вниманія еще слѣдующія: «Финляндія»; «Завыла буря»; «Я возвращаюсь къ вамъ, поля моихъ отцовъ»; «Лета»; «Паденіе листьевъ»; «Глушцы не чужды вдохновенья»; «Когда печалью вдохновенный»; «Тебя изъ тьмы не изведу я»; «Идилликъ новый на искусствѣ»; «Элизійскія поля»; «Когда взойдетъ денница золотая»; «Когда исчезнетъ омраченье»; «Напрасно мы, Дельвигъ, мечтаемъ найти»; «Не бойся ѣдкихъ осужденій»; «Разувѣреніе»; «Старикъ»; «Притворной иѣжности не требуй отъ меня»; «Болящій духъ врачуетъ пѣснопѣнье»; «Черепъ»; «О, мысль, тебѣ удѣлъ цвѣтка»; «Наяда»; «Мудрецу»; «На что вы, дни!»; «Осень», и проч.

Нельзя вѣрнѣе и безпристрастнѣе охарактеризовать относительно достоинство поэзіи г. Баратынскаго, какъ онъ сдѣлалъ это самъ въ слѣдующемъ прекрасномъ стихотвореніи:

Не ослабленъ я звукомъ моею,
Красавицей ее не назовутъ,
И юности, узрѣвъ ее, за нею
Влюбленною толпой не побѣгутъ.

Царствовать неспвающимъ уборомъ,
 Игрою глазъ, блестящимъ разговоромъ,
 Ни склонности у ней, ни дара нѣтъ.
 Не пераментъ бываетъ мольскою сѣтъъ
 Ея лица преобидитъ зрѣмательства,
 Ея рѣчей спокойной простотой,
 И онъ, скорѣй чѣмъ ѣдкимъ осужденъемъ,
 Не почтитъ небрежной похвалой.

Не беремъ на себя тяжелой обязанности опредѣлять поэтическое достоинство г. Баратынскаго относительно къ другимъ поэтамъ и въ отношеніи историческомъ, т. е. въ отношеніи къ выраженной имъ эпохѣ, къ настоящему и будущему положенію и значенію его въ русской литературѣ. Скажемъ только — и то, чтобъ чѣмъ-нибудь закончить нашу статью, а не для какого-нибудь поучительнаго вывода, — скажемъ, что всѣ поэты, по нашему мнѣнію, раздѣляются на два разряда. Одни называются великими, и ихъ отличительную черту составляетъ развитіе: по хронологическому порядку ихъ созданій можно прослѣдить діалектически развивающуюся живую идею, лежащую въ основаніи ихъ творчества и составляющую его паеосъ. Неподвижность, е. е. пребываніе въ однихъ и тѣхъ же интересахъ, воспѣваніе одного и того же, однимъ и тѣмъ же голосомъ, есть признакъ таланта обыкновеннаго и бѣднаго. Безсмертіе — удѣлъ движущихся поэтовъ. Если и прошли навсегда интересы ихъ времени, — ихъ поэзія непреходяща, именно потому, что представляетъ собою памятникъ эпохи: такъ вѣчна исторія, написанная великимъ историкомъ, хоть она и содержитъ въ себѣ давно прошедшія дѣла и интересы. Другіе поэты болѣе или менѣе могутъ приближаться къ первымъ, особенно, если они выразили своими созданіями то, что было въ ихъ эпохѣ существенно-историческаго, а не одни ея недостатки. Для такихъ поэтовъ всего невыгоднѣе являться въ переходныя эпохи развитія обществъ; но истинная гибель ихъ та-

ланта заключается въ ложномъ убѣжденіи, что для поэта довольно чувства... Это особенно вредно для поэтовъ нашего времени: теперь всѣ поэты, даже великіе, должны быть въѣстъ и мыслителями, иначе не поможетъ и талантъ.. Наука, живая, современная наука, сдѣлалась теперь цѣстунномъ искусства, и безъ нея — немощно вдохновеніе, безсилень талантъ!...

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.

**ЖИЗНЬ И ПОХОЖДЕНИЯ ПЕТРА СТЕПАНОВА СЫНА
СТОЛБИКОВА, помѣщика въ трехъ намѣстничествахъ.
Рукопись XVIII вѣка. Спб. 1841.**

Не понимаемъ, что за охота такому почтенному и талантливому писателю, какъ г. Основьяненко, тратить время и трудъ на изображеніе глупцовъ, подобныхъ Столбикову. Петръ Столбиковъ самъ, отъ своего лица, рассказываетъ исторію своей жизни, и въ этомъ разсказѣ не всегда бываетъ вѣренъ собственному характеру: изъ пошлаго глупца, идіота, иногда вдругъ становится онъ умнымъ и чувствительнымъ человѣкомъ, а потомъ опять дѣлается глупцомъ. Въ поступкахъ онъ также противорѣчитъ самому себѣ: то умно управляетъ нѣжными помѣщиками, то, сдѣлавшись предводителемъ дворянства, подаетъ губернатору проектъ о истребленіи саранчи такимъ образомъ: пусть она ѣстъ хлѣбъ, а мужики должны въ это время оборвать у ней крылья, — или что-то въ этомъ родѣ...

Ничѣмъ другимъ не можемъ мы объяснить этого страннаго направленія такого замѣчательнаго дарованія, какими владѣеть г. Основьяненко, какъ словомъ «провинція»... Можемъ ошибаться, но, пока не докажутъ намъ противнаго, остаемся при своемъ убѣжденіи; — мы вотъ что думаемъ: въ провинціи (разумеется, нѣтъ правилъ безъ исключенія), свое понятіе о литературѣ, свой взглядъ на изящное: идеалъ высокаго и патетическаго заключается тамъ въ повѣстяхъ Марлинскаго; идеалъ комическаго — въ «Днедѣ», вывороченной на изнанку.

Одно стоитъ другаго!... Нѣтъ, господа! комическое и смѣшное — не всегда одно и то же; а смѣшное для толпы иногда совсѣмъ не смѣшно для образованнаго класса общества... Элементы комическаго скрываются въ дѣйствительности такъ, какъ она есть, а не въ карриатурахъ, не въ преувеличеніяхъ. Вообще, такіе провинціалы не худо сдѣлали бы, еслибъ подражали столичнымъ жителямъ не въ однихъ модахъ, но и въ литературѣ; а для этого сперва должно присматриваться и изучать внимательно, что считается въ столицѣ смѣшнымъ и острымъ, и что плоскимъ. Вотъ, напримѣръ, какую бы великую пользу могло принести какому провинціальному «юмористу» внимательное чтеніе «Аптекари» гр. Соллогуба, и особенно пристальное изученіе лица «уѣзднаго франта въ венгеркѣ». Этотъ франтъ именно потому и смѣшонъ, что онъ — вѣрное изображеніе дѣйствительнаго явленія, а не каррикатурное. Провинціальный авторъ, для ващшаго удовольствія своей уѣздной публики, сдѣлалъ бы этого франта и пьяницей, и воромъ, и пошехонцемъ, такъ что сосѣди сочинителя «надорвали бы животныи». Но въ повѣсти, на которую мы ссылаемся, франтъ есть то, чѣмъ онъ есть въ дѣйствительности, и потому онъ смѣшонъ, а не отвратителенъ. Встрѣтася съ такимъ господиномъ въ жизни, вы не могли бы смотрѣть на него безъ досады и презрѣнія; но въ повѣсти онъ очень милъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ природа должна являться въ искусствѣ умытою и очищенною...

Въ провинціи есть общіе предметы для смѣшнаго и общія мѣста для его выраженія; это обыкновенно такіе вещи, надъ которыми смѣяться въ столицѣ давно уже почитается смѣшнымъ: французскій языкъ, французскія моды, иностранцы-гуверниѣры. Столбиковъ г. Основьяненко не потому, видите, дуракъ, что родился дуракомъ, не потому не могъ добиться отличать въ картахъ масть отъ масти, что у него были грубые

первы и мало мозгу; даже не потому, что мешенникъ-опекунъ съ умысломъ дурно воспитывалъ его; а потому, что оный Столбиковъ провелъ нѣсколько лѣтъ въ пансіонѣ у Француза Филу... По понятію г. Основьяненка, всѣ иностранцы — злодѣи и мерзавцы; отъ нихъ все зло на свѣтѣ — и холодъ зимою, и жаръ лѣтомъ, и ревматизмъ въ старости, и незнаніе граммати въ дѣтствѣ... Всѣ иностранцы, выведенные въ его повѣсти, ссылаются въ Сибирь, а иностранки дѣлаются развратницами... Старая пѣсня! Теперь всякому извѣстно, что много было вреда для общества отъ разныхъ выходцевъ, но что между ними бывали и достойные люди, сдѣлавшіе много добра. Да и кого должно винить во злѣ: французскаго ли маркира, который выдалъ себя за профессора, или русскаго помѣщика, который могъ принять его за профессора?... Вина была съ обѣихъ сторонъ, — и, право, нѣтъ никакой нужды обновлять такихъ старыхъ вопросовъ, къ которымъ теперь всѣ такъ равнодушны. Кстати: почему авторъ не сказалъ, въ какомъ пансіонѣ воспитывался опекунъ Столбикова, члены суда, которые, вопреки законамъ, сдѣлали его опекуномъ, и прочія лица, въ такой наготѣ и такъ рѣзко изображенныя въ романѣ?...

ЦВѢТЫ МУЗЫ. Соч. Александра Градцева Спр. 1842.

Не смотря на неблагопріятное время для поэзіи, несмотря на то, что теперь почти совсѣмъ не читають стиховъ, — новые поэты не перестаютъ являться, неожиданные, непрощенные, а новыя стихотворенія такъ и плодятся, словно грибы послѣ дождя. Давно ли вышли стихотворенія г. Бочарова; давно ли восхищались мы поэмою г. Молчанова «Повѣсть Ангелина» — и вотъ являються «Цвѣты Музы» г. Градцева... Но это еще не

вое: сколько надеждь впереди, сладостных надежд! «Сынъ природы», Федотъ Кузмичевъ, приготовилъ «Песню въ 14 пѣсняхъ», и — почему же не надѣяться! — можетъ быть, скоро потянутся, одно за другимъ, собранія стихотвореній поговъ «Библиотеки для Чтенія» и некойной «Галатеи» — гг. Кроноткина, Щетинна, Степанова, Зотова, Чужбинскаго, Третьякова, Чернецкаго, Спачкова, Соколова, Волкова, г-жъ Шаховой, Падерной и иныхъ... Прекрасныя стихотворенія гг. Сушкова, Бахтурина, Быстроглазова давно уже изданы и, сдѣлавъ свое дѣло, т. е., доставивъ публикѣ большое удовольствіе, покоятся въ кладовыхъ — снхъ Елисейскихъ поляхъ умершихъ стиховъ и прозы... Но обратимся къ «Цвѣтамъ Музы» г. Градцева. Надо признаться, что эти цвѣты не совсѣмъ красивы и ароматны; во въ этомъ виновата не муза г. Градцева, а типеграфія г. Югансона, на безплодной почвѣ которой возросли они... Премилительные читатели поймутъ, что мы говоримъ о вѣнцѣмъ безобразія «Цвѣтовъ» г. Градцева; что же до внутренняго — о немъ сейчасъ будетъ рѣчь...

Снарядили корабль — громадный: онъ недвижимъ стоитъ у морехой бездны, и по влажной и бурной стѣнѣ летитъ взоромъ какъ соколъ, — а самъ думаетъ: «о, гремячія волны! не долго мнѣ стоять; спущусь я тяжелою пятою къ вамъ на хладную грудь, какъ геній раздора...

Мнѣ небо отвая и силу дало
Носиться надъ бурною глубию;
Разрѣжу я ваше стѣное чело
Своею широкою грудью!

Теперь, читатели, мы вамъ самимъ предоставляемъ пріятный и полезный трудъ отыскать единство образности въ снхъ и «цвѣтистыхъ» т ронахъ музы г. Градцева: сперва корабль грозитъ волнамъ спустится тяжелою пятою на ихъ (или, какъ выражается муза г. Градцева, къ нимъ) хладную грудь;

и потому хочеть своей широкою грудью рѣзать ить съдое тело: изъ этого сбивчиваго обстоятельства очень естественно вытекаетъ вопросъ о «фигурѣ корабля, т. е., о томъ, гдѣ у него грудь и гдѣ ноги, или «пяты»; и потому о «фигурѣ волнъ, т. е. гдѣ у нихъ «съдое чело» и гдѣ «хладная грудь»... Не сознавая себя въ силахъ рѣшить такой мудреный вопросъ, будете продолжать исторію корабля и волнъ. — Погрозивши волнамъ, нашъ корабль, «одѣтый величьемъ и съ пламенемъ въ очахъ», торжественно погрузился въ воды же(ѣ)дной пятой, «всклубляя свой «флагъ распущенный»; волны осердились — и давай бросаться ему на грудь; но «бѣгунъ морей» не струсилъ — онъ началъ работать и грудью и пятою: грудью онъ дерется, а пятой «смиая волны». Волны, видя, что плохо дѣло, что дракой ничего не возьмешь, очень хитро придумали испугать «бѣгуна морей» дикими, напыщенными стихами: «Ты де» — говорятъ онѣ — «быстрой и упорной встрѣчей разрушалъ наше возстаніе (чудная мысль, сивый оборотъ!) и исторгалъ изъ насъ рыданья; но не гордись своею стальною грудью — ты рукотворно отъ человѣка, ты духомъ тлѣнья отягченъ; а мы (т. е. волны) созданы отъ вѣна, къ намъ недоступенъ смертный сонъ; бѣги же вонъ изъ моря». Но корабль себѣ на умѣ: его не надуетъ плохими и бессмысленными стихами — вѣдь онъ и самъ мастеръ кропать ихъ; «врете вы» крикнулъ онъ на нихъ —

*И быстро сорвалъ свой якорь чугунный,
Торжественной душой взлетѣвъ къ небесамъ,
Наперстникъ стихій надменной и бурной
Стрѣлою поичался по чернымъ волнамъ.*

Вотъ такъ ужъ корабль — подлинно, что удивительный: самъ срываетъ якорь, а не снимается съ якера, душой прямо въ небеса, а стрѣлою — по чернымъ волнамъ... Не и это еще не все: сверга вы видѣли его врагомъ «надменной и бурной

стихи», а теперь онъ вдругъ является ей «нанереникомъ» — видно, насильно влѣзъ въ дружбу...

Все рассказанное нами составляетъ содержаніе перваго цѣтика музы г. Градцева. Что же въ этомъ «содержаніи»? спросите вы: — что за мысль, что за смыслъ? Не знаемъ навѣрное, но думаемъ, что это этиюдъ. Вы, читатель, конечно, учились въ дѣтствѣ нелѣпой наукѣ, называемой «риторикою»; васъ, конечно, заставляли «сочинять» на заданныя темы; слѣдовательно, вы знаете, какъ пишутся такія сочиненія. Если же не знаете, мы вамъ скажемъ. Вотъ, напримѣръ, дана тема — «корабль»: что жъ тутъ писать? — Какъ что? если въ классическомъ родѣ, то благосклонныя небеса, попутныя вѣтры, морскія божества, милая жена и прекрасныя дѣти, ожидающія въ мирной хижинѣ дорогаго ихъ сердцу пловца; потомъ буря, кораблекрушеніе, гибель, а за тѣмъ нравоученіе: какъ-де не надѣжны всѣ надежды человѣческія, и въ виду, де-скать, берега погибаетъ пловецъ, тщетно простырая объятія къ «вѣрной подругѣ и бездѣльнымъ залогамъ нѣжнаго союза», а наконецъ — выводъ: слѣдовательно, коли ужъ ѣздить, такъ сухимъ путемъ, а не моремъ; лучше же всего не ѣздить, а сидѣть дома, не гоняясь за богатствомъ и славой, — да, впрочемъ, вы ужъ читали басню «Два Голубя»... Если же угодно въ романтическомъ родѣ, назовите корабль «бѣгуномъ моря», «человѣческою мыслью, одѣтою въ дерево, желѣзо и смоленую пеньку, окриленную парусами»; море сравните съ душою злодѣя, и потомъ заставьте его ругаться съ кораблемъ, потомъ драться, и кого-нибудь изъ нихъ сдѣлайте побѣдителемъ; но бойтесь вывести какое-нибудь заключеніе: романтизмъ требуетъ таинственности, неопредѣленности; въ немъ все дѣло въ ничомъ, или въ чемъ-то... Славная наука риторика, особенно та глава въ ней, которая трактуетъ объ «изобрѣтеніи» и «общихъ мѣстахъ»!... Чтобы убѣдиться въ этомъ, стѣнть

только посмотреть, какое прекрасное стихотворение помогла она написать г. Градцеву. Дѣло идетъ о «холмѣ», — простомъ, обыкновенномъ холмѣ; ну, что бы, кажется, можно сказать о холмѣ, кромѣ того, что онъ — холмъ; но гений и риторика найдутся наговорить всего о ничемъ. Былъ — изволите видѣть — въ степяхъ за Волгою холмъ, на которомъ «орелъ обитель основалъ»; на холмѣ было тихо, какъ во всякой «обители», и «безмолвіе оживлялось» только крикомъ орловъ. Вотъ муза г. Градцева и начинаетъ допрашивать холмъ: гдѣ-де была обитель твоей младенческой поры и кто тебѣ сюда занесъ? — Холмъ ни слова, какъ-будто (такой гордецъ!) и знаться не хочетъ съ музою г. Градцева; а между тѣмъ —

Сбѣжались тучи; закружились
 Мятельный вихрь (о) рѣ; застоналъ
 На Волгѣ грозно пѣнный валъ;
 И, гулъ гремящій покатился
 Съ холма раскатомъ громовымъ,
 И мнѣ вразалось, озарился
 Недвижный (гуль?) пламенеющъ живымъ.
 Но нѣтъ... гулъ шумный, не отвѣты, —
 Не рѣчь холма на говоръ мой;
 Затягла степь: въ туманѣ одѣтый
 Молчитъ холмъ черный и пѣмой.

Этими стихами заключается шпеса: поняли ль вы ихъ?...

Муза г. Градцева произрастаетъ не одни цвѣты, но и цѣлыя деревья: на первый случай она подчуетъ только сучкомъ съ большого дерева — одною сценою изъ жизни Владиміра(?) «князя новгородскаго», которая сцена, какъ гласитъ выноска, есть «Отрывокъ» изъ драматическихъ сценъ: «Владиміръ и Рогнеда съ 980 по 986 годъ». Первый опытъ въ Д(д)рамѣ! — наввно замѣчаетъ авторъ... По сучу видно, что «Рогнеда съ 980 по 986 годъ» есть дерево большое, но водяное — нѣчто въ родѣ ветлы...

Всѣ замашки музыки г. Градцова обличаютъ въ немъ поэта романтическаго, изъ школы г. Бенедиктова. Да, г. Градцовъ романтикъ, а слѣдовательно и несчастный человѣкъ, потому что всѣ романтики несчастные люди. Читайте — и страдайте:

Одиночь я въ этой жизни,
 Чужде все душѣ моей,
 Нѣтъ мнѣ друга, нѣтъ отчизны,
 Нѣтъ мнѣ ласки отъ людей.
 Тяжко други! подъ луною
 Безпріютный я брошу,
 И не съ радостью, съ тоскою
 Я на Божій міръ гляжу.
 Одичалъ я въ жизни бурной,
 И уваль какъ въ осень цвѣтъ.
 О друзья! подъ мрачной урной
 Горько лечь во цвѣтъ лѣтъ.

ЗВЕЛИНА ДЕ ВАЛЬБЕРОЛЬ. *Романъ въ четырехъ томахъ.* Соч. Н. Кукольника, Спб. 1841-1842.

Читателямъ уже извѣстно наше мнѣніе о романѣ г. Кукольника. Это далеко не художественное произведеніе: въ немъ нѣтъ ни идеи, ни слишкомъ вѣрнаго и глубокаго взгляда на эпоху, ни внутренняго содержанія, поражающаго единствомъ впечатлѣнія и ясною оцутительностію того, чего нельзя выразить словомъ и чего поэтическая форма была только чувственнымъ проявленіемъ. Героиня романа служитъ лишь внѣшнимъ центромъ множества событій и множества лицъ, имѣющихъ къ ней слишкомъ мало отношенія. Сама по себѣ она — ни глубоко задуманный и хорошо выполненный женскій характеръ, ни даже особенно интересное описаніе характера: блѣдна, безцвѣтна, обозначена чертами общими и неопредѣленными. Другія лица не чужды внѣшняго инте-

роса въ запутанномъ механизмѣ романа; но ни одно изъ нихъ не можетъ назваться типическимъ лицомъ. Лучше другихъ Гаръ-Пюшъ. Гойко сбивается на мелодраматическаго героя, — а онъ-то собственно и есть герой романа: во крайней мѣрѣ, въ романѣ, все черезъ него и имъ, и ничего безъ него, такъ что еслибъ Гойко не опасался безпрестанно отъ смерти чудеснымъ образомъ, чрезвычайно похожимъ на *deus ex machina*, то романъ остановился бы, и авторъ не зналъ бы, что ему дѣлать съ своими героями и дѣйствующими лицами и куда ихъ дѣвать. На Ришальё г. Кукольникъ смотритъ слишкомъ невѣрно: Ришальё, по его мнѣнью, подорвалъ, гоненіемъ аристократіи, французскую монархію и приготовилъ новѣйшіе перевороты въ исторіи Франціи... Такой взглядъ есть лучшая мѣрна достоинства романа: на ложномъ основаніи нельзя создать хорошаго произведенія. Всякая великая историческая личность творитъ волю послѣдшаго ея, хотя, повидимому, и совершаетъ только свою собственную волю; всякій великій историческій дѣйствователь выполняетъ требованія духа времени, которыхъ онъ есть только представитель, а не производитель, хоть онъ и думаетъ осуществлять лишь свои собственные волянія о потребностяхъ общества; потому ни о какомъ историческомъ героѣ какъ бы великъ онъ ни былъ, нельзя сказать, что онъ сдѣлалъ не то, что должно, — или хвалить его за то, что онъ сдѣлалъ хорошо, когда бы могъ если бъ захотѣлъ, сдѣлать худо. Историческое лицо дѣлаетъ только то, что необходимо, — по крайней мѣрѣ, только необходимыми изъ его дѣйствій производить результаты; все же принадлежащее его личному произволу, и доброе и худое, существуетъ временно, не оставляя никакихъ слѣдствій и нечаяя вѣстѣ съ лицомъ. Что за гигантъ такой кардиналъ Ришальё, что могъ одѣлаться владыкою судебъ цѣлаго народа и произвести не то, чего высшія силы хотѣли, а что его кар-

динальской эмигранции было угодно!... Подобное историческое созерцание и мелко, и ограничено, и старо. Да притомъ. г. Кукольникъ навязалъ Ришельё дѣло, котораго тотъ и не думалъ дѣлать; онъ сокрушилъ феодализмъ и приуготовилъ монархію Людовика XIV, которая потомъ пала вслѣдствіе причинъ, нисколько независимыхъ отъ кардинала Ришельё: а г. Кукольникъ заставляетъ его подрывать монархію и религію!...

Въ изображеніи характера Ришельё, авторъ держался извѣстнаго романа Альфреда де-Виньи «Сень Маръ». Вообще, этотъ романъ имѣлъ большое вліяніе на романъ г. Кукольника, и не смотря на то, ихъ никакъ нельзя сравнивать между собою въ достоинствѣ. Мы не слишкомъ высокаго, или, лучше сказать, слишкомъ невысокаго понятія объ «облизанномъ» (какъ называлъ его Пушкинъ) произведеніи щепетильнаго французскаго романиста; но оно, по нашему мнѣнію, все-таки несравненно выше своего русскаго отпрыска. Оно проще, малосложнѣе, ярче по очеркамъ характеровъ, и проникнуто началами, которыя, каковы бы они ни были, даютъ ему жизнь и колоритъ. Г. Кукольникъ писалъ свой романъ безъ особенныхъ притязаній: ему, кажется, просто хотѣлось написать повѣсть съ разными похождениями, способными занять своею kaleidosкопическою нестротою не слишкомъ взыскательное вниманіе празднаго читателя, — и онъ вполне достигъ своей цѣли. Сверхъ того, у него была еще и задушевная мысль — представить картину состоянія искусствъ въ Италіи и Франціи XVII столѣтія. Въ этомъ, у него нѣтъ ничего общаго съ де-Виньи; но за то, все это у него нисколько не вяжется съ романомъ, и составляетъ какъ бы вставку, занимающую пять главъ, названныхъ авторомъ «римскими» и отиѣченныхъ предостерегательнымъ эпиграфомъ *«ad libitum»*, а это значитъ, что авторъ избавляетъ отъ чтенія этихъ римскихъ главъ всякаго, кому «почему либо

подробности художественной исторіи могутъ показаться незанимательными и утомительными». Что касается до насъ, — намъ эти подробности не показались незанимательными и утомительными, мы прочли ихъ съ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ самый романъ. — Есть и еще важное различіе романа г. Кукольника отъ романа де Виньи: русскій романистъ представилъ Сентъ-Мара совершенно иначе, чѣмъ французскій, и гораздо ближе къ исторической истинѣ.

Говоря вообще, если разсматривать романъ г. Кукольника въ строгихъ требованій искусства, — это очень пріятное явленіе въ нашей мертвой и скудной литературѣ; это просто — длинная повѣсть переполненная затѣйливо запутанными и удовлетворительно распутанными происшествіями; повѣсть, умно задуманная, внимательно соображенная, но не концепированная; повѣсть, для которой много было употреблено труда, изученія, но мало вдохновенія; наконецъ, повѣсть, въ которой мало внутренняго, но бездна внѣшняго интереса, какъ-нибудь отличается, напримѣръ, «Тысяча и Одна Ночь». Въ ней есть эффекты, довольно не ловкіе, какъ напримѣръ, смерть кардинала Ришельё; но большая часть ея эффектовъ отличается умомъ и вкусомъ. Вообще, этотъ романъ написанъ для образованной части публики, а не для полуграмотной черни, для которой сочиняются беззубо сатирическіе, пошло-моральные и приторно-чувствительные романы. Мы не поклонники произведеній г. Кукольника: видимъ въ немъ дарованіе, котораго и не оспориваемъ, но не видимъ въ немъ ни генія, ни огромнаго таланта, который въ немъ признается иногда (когда требуютъ того особенныя обстоятельства) нѣкоторыми журналами, печатно называющими себя его друзьями и пріятелями...

СТИХОТВОРЕНІЯ АНОЛЛОНА МАЙКОВА. Стб. 1842.

Русская литература приобретаетъ въ г. Майковѣ новое весьма замѣчательное и подающее о себѣ хорошія надежды дарованіе. Это собраніе изящныхъ стихотвореній г. Майкова, можетъ, во всѣхъ отношеніяхъ, назваться сюрпризомъ публикѣ, которая въ одно и то же время, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій, увѣрится въ истинности дарованія новаго поэта и узнаетъ о его существованіи. Причина этого заключается въ томъ, что г. Майковъ мало печаталъ въ повременныхъ изданіяхъ свои стихотворенія, — если печаталъ, то большею частію безъ подписи имени, и большею частію въ такомъ журналѣ, въ которомъ публика не читаетъ стихотвореній, увѣренная напередъ, что тамъ стихи находятся въ большей или меньшей аналогіи съ персидскимъ выраженіемъ: «нанзывать жемчугъ на нить описаній», — а извѣстно, что вслѣдствіе этого выраженія, стихъ есть нѣчто условное, искусственное, неимѣющее никакого отношенія къ своему содержанію... Въ отдѣлѣ критики (стр. 102) мы помѣстили подробный разборъ стихотвореній г. Майкова, гдѣ, со всею искренностію и прямою изложили свое мнѣніе почти о каждой шестѣ особенно, желая сдѣлать нашу статью полезнѣе для молодаго поэта. Хорошее назвали мы хорошимъ, дурное дурнымъ, и только обинюмъ посредственномъ совѣмъ умолчали. Посмотримъ и послушаемъ, что скажутъ другіе, и позабавятъ ли насъ неловкимъ употребленіемъ словъ: «художественность», «субъективность», «идея» и т. п. О, imitatoras!... Особенно забавно будетъ читать сужденія о достоинствѣ стихотвореній г. Майкова, какъ все лучшее въ нихъ будетъ похулено, во имя такъ называемой «моральности», которая вѣдь въ томъ и состоитъ, чтобъ не понимать ничего истинно прекраснаго, и какъ все худшее въ нихъ будетъ превознесено за изысканныя выраженія, неопре-

дѣленныя и незрѣлыя мысли и мнимую идеальность: — недостатки, которыхъ тоже не чужда муза г. Майкова. Не мы слышали, что одинъ изъ моральныхъ критикановъ уже выполнилъ эту задачу къ полному своему удовольствію, подавъ г. Майкову мудрый совѣтъ не воспѣвать языческихъ боговъ, во избѣжаніе соблазна мірянъ, но услаждать «братію» назидательными стихотвореніями, которыхъ главное условіе, по его мнѣнію — отсутствіе всякаго нѣздества и надутые возгласы о томъ, что все уважаютъ, но чему уже никто не вѣритъ, напримеръ, о томъ, что люби добродѣтель — будешь богатъ, не имѣй таланта — станешь хорошо писать, и т. п. Говорятъ, что, вслѣдствіе этой прекрасной теоріи, сей критиканъ съ презрѣніемъ отозвался объ антологическихъ стихотвореніяхъ, составляющихъ торжество таланта г. Майкова, а расхвалилъ именно тѣ его стихотворенія, которыхъ бы ему совсѣмъ не слѣдовало печатать. Мы не читали знаменитой критики, и потому не знаемъ, до какой степени справедливы эти слухи о ея содержаніи равно какъ и то, что будто бы этотъ же аристархъ открылъ въ г. Славинѣ великій талантъ; но мы почитаемъ здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о современномъ невѣжествѣ, которое, прикрывая себя именемъ какой-то лицемѣрной морали, скрежещетъ зубами на Аполлона Бельведерскаго и Венеру Медичейскую... Дай только волю этимъ кабаньимъ зубамъ — они сгрызли бы божественный мраморъ какъ гнилую картофелину; да не уцѣлѣть бы тогда отъ нихъ ни Дрезденской галереѣ, ни нашей Академіи художествъ...

ПАРИЖЪ ВЪ 1838 И 1839 ГОДАХЪ. Соч. Владимира Стрѣва. Дѣя части. Спб. 1841 — 1842.

Нѣтъ ничего труднѣе, какъ писать интересно о предметѣ всѣмъ извѣстномъ, старомъ и избитомъ; но въ то же время нѣтъ и ничего легче этого. Причина трудности, кромѣ неспособности со стороны автора, заключается чаще всего въ томъ, что хотѣть быть новыми во что бы ни стало, ищутъ предметовъ поразительныхъ, важныхъ, и, пренебрегая фактами, пускаются въ философскія воззрѣнія и поэтическія описанія. Это общій недостатокъ девяносто-девяти изъ ста путешествій. Почти всѣ они бывають удивительно глубокомысленны, бывають удивительно живописны, и — невыносимо скучны. Все хорошо въ нихъ, а зѣваешь; все ново, а между тѣмъ извѣстные и дешевые «guides» въ 16-ю и 32-ю долю листа, напечатанные мелкимъ шрифтомъ, такъ и толпаются въ вашей памяти. Вы хотите познакомиться съ характеромъ народа въ его домашнемъ быту, у себя, дома, такъ сказать, — а васъ душатъ скучными описаніями памятниковъ и зданій, щедро разсыпая архитектурные термины. Если у васъ станеть терпѣнія прочесть такую книгу, — вы обыкновенно говорите, протяжно зѣвая: «стоило ли ѣздить такъ далеко, чтобъ написать книгу, которую всякій можетъ составить и не выѣзжая изъ своего захолустья, не только изъ предѣловъ родины?». Чтобъ путешествіе было интересно, надо только смотрѣть на вещи просто и, не гоняясь за поразительнымъ, передавать вѣрно, какое впечатлѣніе произвели на автора самые обыкновенные и вседневные предметы. Само собою разумѣется, что всякая страна имѣеть свое значеніе, свою фizioномію и свою вседневность. Въ Англіи, кромѣ парламентовъ, важны фабрики, купеческія конторы и рабочій классъ народа; въ Германіи всего важнѣе университеты; но во Франціи, прежде всего улицы, кафѣ, театры, бульвары и

гулянья. У него есть глаза, чтобъ видѣть, уши, чтобъ слышать, и разумокъ, чтобъ понимать видимое и слышимое, тотъ сей-часъ пойметъ, гдѣ на что должно обратить особенное вниманіе, и съ которой стороны должно взглянуть на предметъ, общій многимъ странамъ. Газеты издаются во всей Европѣ, такъ же, какъ и театры есть во всей Европѣ; но вездѣ она или наслажденіе или удобство жизни, а во Франціи — необходимость, насущный хлѣбъ, какъ въ старой Испаніи — бой съ быками и ауто-да-фе еретиковъ. Литература составляетъ важную сторону жизни каждаго европейскаго народа; но въ Германіи она тѣсно связана съ наукою, въ Англии она — просто литература; въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ — обнародованіе богословскихъ мнѣній разныхъ сектъ; а во Франціи, литература — сама жизнь, по преимуществу народная, и тѣмъ менѣе обще-человѣческая. Опера въ Парижѣ — или наслажденіе немногихъ, или тщеславіе цѣлаго народа; а въ Италиі, это цѣлая жизнь, какъ во Франціи литература и журналистика. Итакъ, оставьте въ сторонѣ и длину, и вышину, и размѣры, и формы Notre Dame, Лувра, Тюльери, Пале-Рояля и пр., а лучше, если ужъ заговорили о нихъ, расскажите намъ, какими образомъ возникли эти зданія изъ исторической жизни народа, и какими обстоятельствами, невозможными у всякаго другаго народа, сопровождалось ихъ построеніе; какъ смотритъ на нихъ народъ, какихъ событій въ его жизни были они театромъ или свидѣтелями. Не пересчитывайте число улицъ, не знакомьте насъ съ ихъ названіями: все это и мелко, и ничтожно, и трудно для памяти; а лучше скажите намъ, какъ толпятся по нимъ живое народонаселеніе города: идетъ ли оно важно, разбѣренными шагами, съ скучною и апатическою физиономію, или суетится, веселое, беззаботное, полное жизни и интереса. Словомъ, такъ покажите намъ народъ на улицѣ, чтобъ мы тотчасъ же узнали, каковъ онъ и у себя въ домѣ, а въ домѣ покажите намъ его такъ,

чтобъ мы могли догадаться, каковъ онъ въ театрѣ. Стѣны ничего не значатъ: важны только люди...

Для наблюдательнаго путешественника очень легко схватить характеристическія черты страны, потому что характеръ страны прежде всего овладѣваетъ имъ самимъ, какъ прилипчивая болѣзнь. Въ Парижѣ, вамъ не посидится дома, хоть бы вы были мизантропъ, или подагрикъ: — вамъ захочется бѣгать съ утра до ночи по кафѣ, улицамъ, бульварамъ, театрамъ. Тамъ всего легче излѣчиться отъ русской хандры, или апатіи, и англійскаго сплина. Тамъ по неволѣ вы сдѣлаетесь говорливый, почувствуете охоту до вѣстей и новостей. Тамъ вы будете даже любезнымъ, хотя бы вы были семинаристъ, квакеръ, или степной житель. Въ Италиі (вообще) вы сдѣлаетесь обожателемъ прекрасной природы, хотя бы отъ роду не видѣли въ природѣ ничего другаго, кромѣ полей, которыя производятъ хлѣбъ, и навозу, которыми удобряются поля; сдѣлаетесь меломаномъ, хотя бы уши ваши неспособны были отличить романса Глинки отъ пѣсни Шуберта, или уличной шарманки отъ скрышки Оле-Буля. Въ Римѣ же вы непремѣнно сдѣлаетесь антикваріемъ и особенно комментаторомъ. Вся сущность науки тамъ въ комментаріяхъ. Понять Данта, какъ поэта — будетъ для васъ постороннимъ дѣломъ: вся ваша забота, вся дѣятельность и трудолюбіе устремится на то, чтобъ на каждый стихъ Данта быть въ состояніи прочесть наизусть тысячу комментаріевъ. А Данта читать — известное дѣло — все равно, что купаться въ Адриатическомъ морѣ... Избави васъ Богъ поддаваться этой страсти къ комментаріямъ, этому прилипчивому міазму: вначе вы воротитесь домой съ огромнымъ запасомъ пустыхъ комментаріевъ, но безъ живой души и здраваго смысла, сдѣлаетесь страшнымъ педантомъ, заклятымъ врагомъ животворной идеи, изступленнымъ обожателемъ мертвой буквы, жаднымъ лакомкой до пергаментной гни-

ли и фоліантной пыли... О, берегитесь, берегитесь! Иначе что за смѣшную роль будете вы играть, какъ лукаво будутъ улыбаться, слушая какъ вы въ высокопарныхъ фразахъ, прерываемыхъ точками, какъ-будто отъ одышки, будете производить въ гениіи и Вальтеръ Скотты какого-нибудь посредственнаго итальянскаго романиста, или кстати и не кстати обращаться къ классической почвѣ и голубому небу Италіи.

Часто путешественники вредятъ себѣ и своимъ книгамъ дурною замашкою видѣть въ той или другой странѣ не то что въ ней есть, но то, что они заранѣе, еще у себя дома, рѣшились въ ней видѣть, вслѣдствіе одностороннихъ убѣжденій, закоренѣлыхъ предразсудковъ, или какихъ-нибудь внѣшнихъ цѣлей и корыстныхъ расчетовъ. Нѣтъ ничего хуже кривыхъ и косыхъ взглядовъ; нѣтъ ничего несноснѣе искаженныхъ фактовъ. А факты можно исказить и не выдумывая лжи. Иностранецъ, пріѣхавшій въ Петербургъ въ праздничный день, можетъ встрѣтить на улицахъ много пьяныхъ мужиковъ, — и если онъ будетъ выходить изъ своей квартиры только по праздникамъ, и притомъ вечеромъ, то безъ всякой лжи будетъ въ правѣ написать, что на петербургскихъ улицахъ ему попада-лось много пьянаго народу изъ черни; но будетъ ли онъ правъ, если напишетъ, что когда ни выйдѣ въ Петербургѣ на улицу, всегда встрѣтишь множество пьяныхъ «джентльменовъ»? Во всѣхъ большихъ городахъ есть большіе пороки, и кто хочетъ искать въ нихъ только одной этой стороны, тотъ всегда найдетъ ее. Поэтому, нѣтъ ничего легче, какъ оклеветать, или превоснести страну; не нужно выдумывать фактовъ, стѣдуетъ только обратить вниманіе преимущественно на тѣ факты, которые подтверждаютъ заранѣе составленное мнѣніе, закрывая глаза на тѣ, которые противорѣчатъ этому мнѣнію. Такимъ образомъ, никого не обманывая вымышленною ложью, можно увѣрять, что Французы — народъ суровый, тяжелый, расчетливый,

корыстный; а Англичане — народъ живой, легкій, увлекающійся, симпатичный и даже — чего добраго — гуманный!... При этомъ случаѣ, очень удобно, можно доказать, что вездѣ и все худо, что Европа гниѣтъ, что желѣзныя дороги везуть въ адъ, и тому подобныя странности.. Но эти странности, — чтобъ не назвать ихъ иначе, — бываютъ еще смѣшнѣе, когда путешественникъ худо играетъ принятою на себя по расчетамъ роль; когда, въ немъ невольно проглядываетъ подобострастное удивленіе къ предметамъ, въ отношеніи къ которымъ онъ силится выказать притворное равнодушіе. Такъ иной, говоря съ презрѣніемъ о Беранже, Жоржъ Зандѣ, Викторѣ Гюго, — вдругъ падаетъ на колѣни передъ какимъ-нибудь Ламартинонъ, какимъ-нибудь Альфредомъ де Виньи, какимъ-нибудь господиномъ де-Бальзакомъ. Такіе путешественники въ обоихъ случаяхъ обнаруживаютъ дикость нравовъ, несмягченныхъ цивилизаціею и образованіемъ.

Путешествія пишутся иногда въ формѣ ежедневныхъ записокъ, — и тогда центромъ описаній дѣлается личность самого путешественника. Эта форма чрезвычайно интересна и увлекательна. Разумѣется, для этого прежде всего нужно, чтобъ личность путешественника не только не оскорбляла своимъ цинизмомъ, но еще и заинтересовывала бы читателя благоуханнымъ впечатлѣніемъ своей непосредственности. Но каково же будетъ это «благоуханное впечатлѣніе», если путешественникъ рассказываетъ вамъ, какъ и что покупалъ онъ на площади?... Такая простонародная, площадная и циническая сцена не можетъ быть пріятна даже и тогда, когда дѣло идетъ одырявомъ плащѣ; но каково же, когда вопросъ заключается въ саногалъ, или въ чемъ-нибудь еще болѣе домашнемъ?... Что за удовольствіе для читателя узнать, что нашъ путешественникъ такъ чуждъ чувства изящнаго, что приходится въ наступленіе при видѣ прекрасныхъ, но бесполезныхъ вещей, которыми любитъ окружать

себя образованное чувство даже и въ житейскихъ мелочахъ, и на которыя даже бѣдный, но эстетически настроенный человекъ нашего времени охотно отдѣляетъ часть своихъ средствъ, какъ на необходимости?... Намъ вѣкъ не любитъ чопорной изысканности въ формахъ, но онъ еще далѣе отъ цинической неопрятности въ наружности. Есть люди, которые и въ халатѣ умѣютъ быть пристойными; но есть люди, которые и во фракѣ оскорбляютъ чувство приличія. Авторъ можетъ показаться своимъ читателямъ и въ халатѣ; но подобныя фамильярности съ его стороны не должны впадать въ цинизмъ. Записки путешественника не только могутъ, должны быть просты; но всему есть границы, полагаемая чувствомъ и смысломъ, отрывистыя отѣтки, подобныя слѣдующимъ: «вѣли, легли спать; — вчера пошли было въ дешовый кабакъ обѣдать — на дорогѣ встали проливной дождь, — писали съ женою письма» наполнили бы собою записки прославленнаго Гоголемъ титулярнаго совѣтника Попрыщина...

Иногда путешествія пишутся въ нѣкоторомъ систематическомъ порядкѣ. Авторъ сперва описываетъ зданія, потомъ промышленность, нравы народа, и такъ далѣе, посвящая каждую главу на особый предметъ, о которомъ онъ уже не имеетъ нужды говорить въ другихъ главахъ своей книги. Эта форма имеетъ свою выгоду и свою хорошую сторону, представляя читателю рядъ отдѣльныхъ и цѣлыхъ картинъ. Если она теряетъ въ калейдоскопической живости описанія, за то дѣлаетъ безопаснѣе личность автора отъ неприятнаго впечатлѣнія на читателя. Г. Строевъ очень хорошо поступилъ, избравъ эту форму, хотя къ описанію Парижа отрывочныя записки и всего лучше наутъ. Г. Строевъ болѣе или менѣе, но почти вездѣ избѣгъ нечисленныхъ нами недостатковъ, которые въ особенности вредятъ книгамъ путешествій. Правда, найдется въ его книгѣ нѣсколько ничего незначущихъ выраженій въ родѣ «Свѣ-

верной Пальмиры», подъ которой, не знаятъ почему, ему угодно разумѣть нашъ Петербургъ. Конечно, Петербургъ городъ великолѣпный и необыкновенно красивый, но это совсѣмъ не причина называть его ни Пальмирою, ни Вавилономъ, ни другимъ древнимъ чуть-чуть не допотопнымъ городомъ, е которомъ мы не можемъ себѣ сдѣлать никакого представленія. Вообще, обыкновеніе называть новое старыми именами — Наполеона Цезаремъ, Барклай Фабиемъ, Кутузова сѣвернымъ Сципіономъ (для отличія отъ южнаго) прилично только для новыхъ изданій исторіи г. Кайданова, и развѣ еще литературщикамъ, подвизающимся въ заднихъ рядахъ фельетонной литературы. Можно еще упрекнуть г. Строева за разсужденія, хотъ ихъ у него — слава Богу — и немного. Такъ напримѣръ, онъ могъ бы, безъ всякаго ущерба, но съ явною выгодою для своей книги, уволить насъ отъ своихъ взглядовъ на современную французскую литературу, ограничиваясь фактами и не мудрствуя... Мы охотно вѣримъ, что г. Строеву, какъ бывшему фельетонисту и автору давно забытыхъ (по счастью для него) «Сценъ Петербургской Жизни», Бальзакъ кажется великимъ романистомъ. Г. Бальзакъ дѣйствительно колоссъ передъ всѣми нашими бальзачниками, которые съ такимъ подробнымъ анализомъ расплываются въ описаніи будуара, наряда, движеній сердець своихъ графинь, княгинь и князей. Одно уже то, что Бальзакъ всегда шелъ своею дорогою и не только никому не подражалъ, но роидалъ тысячи плохихъ подражателей, доказываетъ, что Бальзакъ человекъ съ замѣчательнымъ талантомъ. Онъ большой мастеръ рассказывать, и еслибъ не расплывался въ водяномъ и растянутаемъ многословіи, которые онъ выдаетъ за тонкій анализъ платья, комватъ, душъ, сердець, страстей и чувствъ — плодъ будто-бы глубокой наблюдательности; еслибъ онъ не выдумывалъ графинь и маркизь, какія существуютъ только въ его воображеніи, прикованномъ къ приложимъ салѣ-

новъ, а описывалъ болѣе доступную и болѣе знакомую ему действительность, — онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательныхъ писателей втораго или третьяго разряда, не былъ бы теперь забытъ и осмѣянъ въ Парижѣ, не выискался бы такъ скоро и не издавалъ бы плохихъ статейъ подъ фирмою плохаго «*Revue parisienne*». Также, мы охотно вѣримъ, что г. Строеву не можетъ слишкомъ нравиться г-жа Д' Юдеванъ: у всякаго свой вкусъ. И потому мы не будемъ спорить съ г. Строевымъ, а скажемъ просто, что его книга о Парижѣ чрезвычайно любима по содержанію, богата фактами, хорошо написана, живо изложена, — и вообще такъ интересна, что трудно отъ нея оторваться.

РЕНЕТУАРЪ РУССКАГО И ПАНТЕОНЪ ВСѢХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ НА 1842 ГОДЪ. *Изданіе И. Песоцкаю. Спб. 1842 № № 1, 2, 3, 4.*

Соединенію двухъ названій на заглавномъ листкѣ одного изданія не новость на Руси: такъ «Сынъ Отечества» и «Сѣверный Архивъ» долго играли, во взаимныхъ объятіяхъ, роль двуутробки; обнявшіеся «Ренетуаръ» и «Пантеонъ» — вторая, если не ошибаемся, двойчатна въ русской литературѣ: она представляетъ собою самый разительный примѣръ извѣщивости судьбы всего подлуннаго и умилительное зрѣлище примирившихся враговъ, которые, въ порывѣ новой дружбы, смѣнившей старую вражду, такъ и хотѣтъ задушить другъ друга въ тѣсныхъ объятіяхъ... Но сущность дѣла заключается въ самомъ дѣлѣ, а не въ его названіи. Такъ иная книга смѣло навываетъ себя, напримѣръ, исторіею русскаго народа, а въ самомъ-то дѣлѣ есть переобразровка исторіи Карамзина, одобренная высшими взглядами, вышенепарными философскими выводами, не кстати

приводимыми и плохо понятыми идеями Гизо, Тьера, Нибура; такъ иное сочиненіе сѣло называть себя «драматическимъ представленіемъ», тогда, какъ въ самомъ-то дѣлѣ оно есть оскорбительная пародія на великое созданіе величайшаго гения, нелѣпость, оскорбляющая и эстетическій вкусъ, и здравый смыслъ... Такъ и «Репертуаръ», соединившись съ «Нантеономъ», измѣнился и расширился только въ заглавномъ своемъ листѣ, сжавшись однако въ числѣ листовъ: все же прочее осталось въ немъ по прежнему, развѣ съ тою разницею, что стало еще хуже, чѣмъ было прежде. Эта разница неоспоримо доказывается содержаніемъ первыхъ четырехъ книжекъ журнала-двойчатки. Вотъ что говоритъ редакція на 39 стр. первой книжки: «Въ прошедшіе три года, удерживаясь въ сихъ предѣлахъ, Репертуаръ нерѣдко затруднялся при печатаніи піесъ, принужденный иногда выбирать не изъ хорошаго лучшее, а изъ дурнаго посредственное». Итакъ, «Репертуаръ» наконецъ самъ съ наивною откровенностію сознался, что дѣлые три года выбиралъ изъ дурнаго посредственное, и слѣдовательно набивался одною посредственностію!... Къ этому прибавлять нечего: собственное сознаніе паче всякаго свидѣтельства... Можно развѣ замѣтить, что слово «посредственный» употреблено редакціею изъ деликатности къ собственному самолюбію, и зашкваритъ слова «вздоръ» и «пустяки»... «Но, — продолжаетъ откровенная въ прошедшемъ и осторожная въ настоящемъ редакція, — нынѣ это неудобство устранено: соединившись съ Нантеономъ, Репертуаръ раздвигаетъ предѣлы свои и, не ограничиваясь піесами игранными, будетъ давать читателямъ своимъ такія оригинальныя и переводныя піесы, которыя хотя бы не были, но могутъ быть играны на русской сценѣ». Мы сами думаемъ, что «Репертуаръ» будетъ давать такія піесы: ибо онъ уже перевелъ съ французскаго на скорую руку новую піесу Скриба «Цѣнь»; но кромѣ ея, онъ печатаетъ все игран-

ным на сценѣ чудовища театральнаго міра: «Отецъ и дочь» — нежность первой величины; «Елена Глинская» — скучная и длинная пародія на Шекспирова «Макбета»; «Приключеніе на искусственныхъ водахъ» — комедія-водевилъ, передѣланный съ французскаго г. П. Каратыгинымъ, конечно, въ тысячу разъ лучше «Отца и Дочери» и «Елены Глинской», но эта бездѣлка хороша на сценѣ, особенно если хорошо играется, а не въ печати. Вотъ драматическія сокровища, напечатанныя въ четырехъ первыхъ книжкахъ «Репертуара и Пантеона»: было изъ чего соединиться, какъ-будто бы для подобныхъ пустяковъ нужны соединенныя силы!...

Изъ статей по-драматическимъ, самыя замѣчательныя въ этихъ четырехъ книжкахъ «Репертуара»: «Отрывки изъ философическихъ записокъ суфлера, Фоки Савельича Пѣтушкова» Ф. Булгарина, и «Обзоръ русской драматической словесности» князя А. А. Шаховскаго. Извѣстно всѣмъ, что г. Булгаринъ особенно силенъ въ статьяхъ юмористическихъ. Вотъ образчикъ дивнаго остроумія его, украсившаго первую книжку «Репертуара» на нынѣшній годъ:

«Однажды (слова суфлера), за столомъ, на именинахъ жены его (подрядчика), попросилъ онъ прочесть монологъ изъ *Андромачи*, графа Хвостова. Передъ мною стояло преогромное блюдо съ воздушнымъ пирожнымъ, называемымъ *bowl*. Я какъ рванулъ, со всего размаха, первый монологъ, такъ все пирожки разлетѣлись съ блюда, какъ пчелы изъ улья, и улеглись на прическахъ купеческихъ женъ и дочекъ, убранныхъ руками парикмахеровъ изъ подъ выѣски: *Здѣсь брютють и кровь отворяють*. Пошла кутерьма! У одной дамы пирожокъ оттанулъ докопъ и, привѣшавшись къ лапу, сваялъ свой свинцовыхъ бѣль и сурьмы; у другой сѣлъ на чепецъ, какъ ворона на гнѣздъ; у третьей залѣпилъ глазъ, которымъ она умилно поглядывала на путейскаго офицера», и т. п.

Но правда ли: какъ все это остро и мило, безъ натяжки, безъ преувеличенія, безъ дурнаго тона?... Мы увѣрены, что читатели «Репертуара» животикъ надорвали, хохоча до слезъ

и крича: «Ай, уморужка! ну, ужъ господниъ Булгариниъ! распотѣшилъ душеньку!». Но лучшая острота во всей статьѣ — это «излѣченіе отъ гнѣва декоктомъ дубинорумъ»!!!...

«Обзоръ Русской Драматической Словесности» есть какой-то запоздалый голосъ, нескладно вопіющій о гениѣ Сумарокова, съ важностію разбирающій красоты его трагедій. Статья начинается такъ: «Предки наши, Славяне, занимавшіе пространство отъ Балтійскаго до Чернаго морей, и въ соединеніи съ норманскими воинами составлявшіе одно обширное государство» и проч. Скажите на милость: какое отношеніе имѣютъ Славяне и Норманы, Балтійское и Черное море къ русскому театру, начавшемуся въ губернскомъ городѣ Ярославѣ, въ половинѣ XVIII вѣка?... Мнѣнія, изложенныя въ этой статьѣ, такъ вѣрны, что даже редакція «Репертуара» принуждена была, на каждой страницѣ, дѣлать оговорки въ выноскахъ: «Это мнѣніе почтеннаго автора сей статьи, а не редакціи Репертуара»... Такъ зачѣмъ же было помѣщать все это?... Вѣрно, зачѣмъ, что ваше изданіе есть корзина, въ которую каждый можетъ бросать все, что ему вздумается?...

О критикѣ «Репертуара» много говоритъ нечего, кромѣ того, что здѣсь набиваютъ руку и вострятъ свое перо и способности дѣти, которымъ страхъ какъ хочется поскорѣе имѣть усы и быть литераторами: это замѣтно и по взглядамъ, и по понятіямъ, и по слогу, и по дѣтскому неумѣнію выразиться грамотно и складно...

Въ Смѣси помѣщаются разные остроумные куплеты изъ такихъ водевилей, которые даже «Репертуару» совѣстно было принять на свои страницы. Вотъ для образчика:

Я одурѣлъ и ошалѣлъ
И отъ вина, и отъ испуга,
Съ начала до конца режѣлъ,
Какъ быкъ, или со сто тудъ блуга!

Ну, словечъ, всѣхъ я удивилъ,
И пьесу дявольски украсилъ:
Лувръ ногу отдалилъ
И президенту носъ расквашилъ.

Скажите, Бога ради: для кого печатаются всѣ эти плоскости и пошлости? Неужели у «Репертуара» можетъ быть своя публика?...

ДВА ПРИЗРАКА. *Риманъ. Соч. Фанъ-Дима. Спб1842*
Четыре части.

Въ оправданіе мудрой русской пословицы: не родись ни умёнъ, ни пригожъ, а родись счастливъ», недавно появившееся имя г-на Фанъ-Дима грозитъ сдѣлаться знаменитымъ именемъ въ современной русской литературѣ, благодаря вкусу, образованности, безпристрастію и добросовѣстности нѣкоторыхъ нашихъ журналовъ, которые до седьмага неба превознесли водяную, дѣтски несвязную и напыщенную повѣсть «Александрина» — первый опытъ г. Фанъ-Дима. «Два Призрака» были превознесены ими только еще въ видѣ извѣщеній о появленіи этого романа: что же будетъ въ критикахъ и рецензіяхъ о немъ?... А между тѣмъ, «Два Призрака» не только не уступаютъ въ пухлости и водяности «Александринѣ», но едва ли еще и не превосходятъ ее въ этихъ качествахъ — ужь тѣмъ однимъ, что въ четверо длиннѣе и пухлѣе ея. Эти «Два Призрака» не что иное, какъ одинъ призракъ, и суть самое «призрачное» явленіе современной литературы — четырехъ-томный нуль, огромное вмѣстѣлице словъ безъ значенія и фразъ безъ содержанія, длинный, утомительный рассказъ о происшествіяхъ и случаяхъ, который не бываетъ въ дѣйствительности; вялое и безцвѣтное изображеніе людей, характеровъ и обще-

ства, которыхъ не было, нѣтъ и не будетъ нигдѣ, кромѣ холоднаго воображенія безталантныхъ сочинителей...

Мѣркою достоинства всякаго литературнаго произведенія, претендующаго на изображеніе дѣйствительности, должно быть его сходство съ изображаемою дѣйствительностію. Посмотримъ же до какой степени г. Фанъ-Димъ является вѣрнымъ живописцемъ современной дѣйствительности, которую онъ рисуетъ въ своихъ «Двухъ Призракахъ».

Идеальный кирасирскій офицеръ, Владимиръ Марлинъ «страстно влюбленъ» въ Агаюю, или Агату Леновскую, идеальную дѣвицу рѣдкой красоты, но и безпримѣрной глупости. Въ послѣдствіи оказывается, что она втайнѣ «боготворила» идеальнаго кирасира, а дурочкой только прикидывалась, вслѣдствіе добровольно даннаго ею обѣщанія своему ревнивому жениху, Васильскому, бывшему любовнику ея матери, которая, умирая, взяла съ ребенка Агаты клятву выйти за своего уже пожилаго обожателя. Вотъ основа романа. — Скажите: гдѣ бываютъ такія дѣвушки, которыя даютъ и сдерживаютъ слово играть въ обществѣ роль дурь? Гдѣ бываютъ женихи, которые, изъ ревности, требуютъ подобныхъ условій отъ своихъ невѣстъ? Гдѣ бываютъ общества, въ которыхъ совершаются такія чудныя исторіи? Видите ли, какъ проста и естественна завязка романа, какъ она въ духѣ современнаго общества; и какъ вѣрно характеризуетъ она современную дѣйствительность!... Но дайте: идеальная Агата тайно присылаетъ къ идеальному кирасиру письма, по добродушному убѣжденію автора, полныя ума, чувства и женской прелести, и подписывается подъ письмами Аріелемъ. Идеальный Марлинъ, любя Агату, влюбляется и въ таинственнаго Аріеля, и такимъ образомъ колеблется между «двумя призраками» до тѣхъ поръ, пока дѣло не объяснилось въ концѣ четвертой части и онъ не женился, вмѣсто двухъ, на одномъ призракѣ. Въ первой и въ

половинѣ второй части приплетена, ни къ селу, ни къ городу, какая-то Аменанда Гольцева, — тоже «идеальная» женщина, страстно влюбленная въ «идеальнаго» Марлина. Это обстоятельство значительно увеличиваетъ пухлую толщину и томительную скуку романа.

Характеровъ въ этомъ романѣ нѣтъ: въ немъ все призраки, которые говорятъ лживо, утомительно, надуто и плоско. Самъ Марлинъ, что называется — просто глупъ, и слава Богу; его высокопарная дичь явно заимствована изъ «Милорда Англичскаго» и «Гуака, или Неупреборимая Вѣрность». Агата... но мы объ ней не скажемъ ни слова, изъ уваженія къ ея твердой рѣшимости слыть глупою и, въ оправданіе этой благородной рѣшимости, выпишемъ нѣсколько словъ изъ ея писемъ:

«Я сейчасъ изъ Александрискаго театра..... Я видѣла М-ше Аланъ въ трогательной роли la lectrice... Исполненіе прекрасно, я была въ восхищеніи, плакала, но не забывала, что я въ театрѣ и что она актриса, — впрочемъ (,) кажется (,) актриса замѣчательная и любимая публикою».

Конечно, не рѣшившись твердо играть роль глупой, нельзя восхищаться, плакать отъ игры артиста, и въ то же время не забыть, что онъ актёръ?... Еще менѣе нельзя говорить холодно, предположительнымъ тономъ, что г-жа Алланъ, кажется, актриса замѣчательная и любимая публикою... Но смѣшнѣе и каррикатурнѣе всѣхъ другихъ дѣйствующихъ лицъ романа — Петръ Александровичъ Смѣльскій, на которомъ авторъ хотѣлъ показать опытъ своего комическаго дарованія. Если прочія лица надуты и натянуты, то лицо Смѣльскаго плоско и тривьяльно, тогда какъ авторъ явно силится сдѣлать изъ него умнаго, милаго и достолюбезнаго чудака. — «Но я не хочу ее любить!» — говоритъ Марлинъ Смѣльскому. — «Не хочешь? вотъ это новость! Давно ли въ твоей поэтической, художнической башкѣ слова: любовь и воля стали ходить въ одной упряжкѣ? Ты не хочешь ее любить, прости покорно!»

За что же такія немилости?» — Такъ, отвѣчалъ Сибльскій Марлину.

Только не желая распространяться о пустякахъ, не приводимъ изъ этого романа примѣровъ приторной дружбы, сладенькой любви, приторной сентиментальности и другихъ подобныхъ жалкихъ чувствованій. Но, вмѣсто этого, приведемъ нѣсколько примѣровъ романческаго слога г. Фанъ-Дина: «посоветую ему залить шампанскимъ свои сухіе вздохи, и, съ доброй подорожной проклятіемъ, отправить къ чорту свою глушую страсть»; — «авторъ владѣетъ внимательнымъ слухомъ: онъ слышитъ даже быструю рѣчь воображенія (?), нѣмой говоръ сердца или шопотъ таинственной души (??), такъ же ясно, какъ громкій перебой рѣчей гостини, какъ звонкую трещотку людскихъ мнѣній, или гласную тревогу поэтическаго восторга...»; — «въ груди ея горѣлъ жаръ тропиковъ»; — «самыя высокія идеи являлись въ разговорахъ его естественно (,) мило, безъ малѣйшей натяжки, не на ходуляхъ напыщеннаго романтизма, но на двухъ здоровыхъ ногахъ образованнаго здраваго смысла»; — «разговоръ съ Сибльскимъ вспѣнилъ ея чувства надеждой»; — «когда же напротивъ въ фантастическомъ эскадронѣ думъ Владимира все обстояло благополучно»; — «душа человѣческая — такая же бездна, когда въ ней заволанують волны злобствующей ревности»... Но довольно—всего не перечтешь и не выпишешь... Подражая такъ каррикатурно Марлинскому въ слогѣ, г. Фанъ-Динъ, къ сожалѣнію, не подражаетъ ему въ правильности языка: въ «Двухъ Призракахъ» часто попадаются галлицизмы.

Въ заключеніе, должно сказать, что «Два Призрака» наполнены множествомъ разсужденій, изъ которыхъ нѣкоторыя обнаруживаютъ въ авторѣ человѣка умнаго и образованнаго; но которые, вмѣстѣ съ тѣмъ, доказываютъ, что умъ и начитанность, при отсутствіи эстетическаго чувства, вкуса и твор-

ческой изобрѣтательности, при незнаніи сердца человѣческаго и современной дѣйствительности, никого не могутъ сдѣлать романистомъ и поэтомъ ..

АЛЪМАНАХЪ въ память двухсотлѣтняго юбилея Императорскаго Александровскаго университета, изданный Я. Гротомъ. Гельсингфорсъ. 1842.

Заглавіе этой книги само говоритъ о причинѣ и цѣли ея явленія, — и потому мы прямо приступимъ къ разсмотрѣнію составляющихъ ее статей.

Первая статья «Воспоминанія Александровскаго университета», принадлежитъ самому издателю и содержитъ въ себѣ подробную исторію Финляндскаго святилища наукъ. Абоскій университетъ основанъ 1640 года 14 іюля, слѣдовательно, существуетъ слишкомъ 200 лѣтъ, и потому—старѣйшій университетъ въ Россійской имперіи, послѣ Дерптскаго, который основанъ въ 1632 году, но былъ закрытъ съ 1710 по 1719 годъ. Еще Густавъ-Адольфъ думалъ объ основаніи университета въ Финляндіи; но тридцатилѣтняя война помѣшала ему въ этомъ, и онъ успѣлъ только обратить старинную абоскую школу въ гимназію. Вотъ эта-то гимназія и была обращена королевою Христиною въ университетъ, по старанію графа Браге, губернатора Финляндіи. Въ обнародованной по сему случаю королевской грамматѣ, между прочимъ, излагается, на старинномъ шведскомъ языкѣ, какъ «во всѣ времена міра признавалось, что школы и академіи подобны разсадникамъ и рощамъ, гдѣ изъ книжныхъ искусствъ добрые нравы и добродѣтели свое первое происхожденіе извлекаютъ» и какъ «въ прежнія времена не только язычники крайне заботились объ основаніи и учрежденіи такихъ школъ, но и въ другихъ шве-

тахъ, гдѣ было какое-нибудь понятіе и свѣдѣніе о Богѣ, всегда о томъ же неслись; особливо съ тѣхъ поръ, какъ христіанство стало озарять вселенную, начали разные христіанскіе короли и регенты не менѣе прилагать величайшее стараніе... и пр. Потомъ говорится, что по столькимъ полезнымъ примѣрамъ въ чужихъ земляхъ и въ отечествѣ, а наиболѣе по примѣру Густава Адольфа Великаго, который между прочимъ возстановилъ академію въ Упсалѣ и основалъ новую въ Дерптѣ, признается за благо «къ чести и украшенію нашего Великаго Княжества Финляндскаго» учредить въ Або, вмѣсто гимназіи «*academiam* или университетъ». Далѣе, предоставляются новому учрежденію тѣ же права и преимущества, какими пользуется Академія Упсальская, и повелѣвается всѣмъ уважать по достоинству «реченный нашъ Абоскій университетъ, какъ мастерскую добродѣтелей и свободныхъ книжныхъ искусствъ».

На содержаніе университета первоначально назначено было только 6125 серебряныхъ талеровъ, часть которыхъ выплачивалась изъ Абоскаго казначейства, а остальная — натурою, т. е. хлѣбомъ, сѣномъ и пр. Профессоровъ первоначально было 11, изъ которыхъ только два Финна, а прочіе — Шведы; студентовъ 44, изъ которыхъ только 8 было Финновъ. Любопытно распредѣленіе предметовъ по философскому факультету, въ которомъ было 6 кафедръ: политики и исторіи (*politices et historiarum*), греческаго и еврейскаго языковъ (*linguarum hebraeae et graecae*), математики (*mathematicum*), физики и ботаники (*physices et botanices*), логики и поэзіи (*logices et poëseos*), краснорѣчія (*eloquentiae*, куда собственно относилась только латинская литература). Не прошло года, какъ число учащихся возрасло до 300. Лекціи читались на латинскомъ языкѣ. Въ 1643 году университетъ уже назначилъ промоцію, или возведеніе студентовъ на степень магистровъ. Отъ высшаго начальства послѣдовало строжайшее предписаніе

не возводить въ эту степень только самыхъ достойнѣйшихъ. Объ одномъ студентѣ при этомъ случаѣ постановлено было, что такъ какъ онъ «in vita et moribus (по поведенію) грубоватъ, хотя впрочемъ ученая персона», то и позволить ему только держать преніе на степень, но не промовировать его. Объ одномъ магистрѣ, dominus Torpensis, сказано въ протоколѣ консисторіи (универс. совѣта): «Не благопримлично, что онъ въ разныхъ мѣстахъ сватается, почему per occasionem и замѣтить ему, чтобы онъ впредь не такъ часто, какъ доселѣ, пѣлъ свои пѣсни и вирши; онѣ ни ему, ни академіи никакой похвалы не приносятъ». Также, какъ черту тогдашнихъ нравовъ, приводимъ резолюцію, приложенную при промоціи: «Посляку оный Сигфридусъ къ отвѣту не готовъ, то философскому факультету потребовать, чтобы онъ еще 3 года пробылъ здѣсь при академіи и учился прилежно. Впрочемъ, означенный Dr. S. можетъ тотчасъ послѣ промоціи отправиться куда-нибудь въ Швецію, гдѣ бы его слабость in studiis не могла обнаружиться къ поспрамленію сей академіи».

Но разительнѣйшую черту вѣка представляетъ осужденіе на смерть одного студента, Эолениуса, за колдовство, въ 1661 г. Въ числѣ обвиненій были и его быстрые успѣхи въ латинскомъ и восточныхъ языкахъ, красивый почеркъ и легкость, съ какою другой студентъ выучился у него латинскому языку. Быть бы бѣдному на кострѣ, еслибъ не вступился за него Браге, ненашедшій достаточныхъ причинъ къ осужденію Эолениуса, и велѣвшій зачесть ему въ наказаніе долговременное заключеніе въ карцерѣ. Подобный же случай былъ въ 1670 году. У студента Гуннеруса, въ Ревелѣ, нашли тетрадь, въ которую онъ, бывши еще въ Або, выписалъ откуда-то велѣныя правила о томъ, какъ посредствомъ союза съ нечистымъ духомъ сдѣлаться вдругъ ученымъ, и т. п. По возвращеніи въ Або, онъ за это былъ присужденъ къ тюремному

заключенію, къ покаянію и удаленію навсегда изъ университета. Самъ тогдашній проканцлеръ Гецеліусъ старшій, чело-вѣкъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательный, участвовалъ въ этомъ рѣшеніи; но и оно, по жалобѣ обвиненнаго, было уничтожено графомъ Браге. Этотъ замѣчательный чело-вѣкъ, стоявшій выше своего грубаго вѣка, до самой смерти своей, слиш-комъ 40 лѣтъ былъ покровителемъ Абоскаго университета.

Изъ нашихъ сокращенныхъ выписокъ читатели могутъ ви-дѣть, какъ интересна статья г. Грота; не желая разстаться съ нею такъ скоро, выписываемъ вполнѣ слѣдующее мѣсто:

«Но ничто такъ не показываетъ грубости тогдашнихъ нравовъ, даже въ са-мыхъ школахъ, какъ обычай, известный подъ именемъ *депозиціи*. На мо-лодыхъ людей, хотѣвшихъ поступить въ университетъ, надѣвали плаще изъ разноцвѣтныхъ лоскутковъ, черный плащъ, шапку съ ослиными ушами и съ рогами. Потомъ, начернивъ лицо ихъ и въ каждый уголокъ рта вставивъ имъ по длинному свиному клыку, депозиторъ—такъ назывался особый чело-вѣкъ— съ огромной аллебардой въ рукѣ, гналъ ихъ, какъ стадо, въ университетскую залу, гдѣ ихъ ожидало многочисленное общество. Тамъ они становились въ кружокъ около своего пастыря: онъ начиналъ выравнивать и ивритъ ихъ своею аллебардой, корчить передъ ними лицо, пристѣлать, сибѣться надъ ихъ маскарардомъ. Потомъ произносилъ онъ рѣчь, доказывалъ по своему необхо-димости воспитанія и, задавая разные вопросы, слегка ударялъ новичковъ, когда клыки мѣшали имъ отвѣчать; особыми пинцами схватывалъ ихъ за горло, валялъ на полъ; клыки ихъ, рога и уши сравнивалъ съ пороками, не-вѣжествомъ и глупостью. Вырывая послѣ эти украшенія, говорилъ, что такъ точно науки должны истреблять въ нихъ все дурное. Еще вынималъ онъ изъ особаго мѣшка стругъ, прикакивалъ имъ ложиться по очереди на полъ, стругалъ ихъ во всѣхъ направленіяхъ и дѣйствіе это уподоблялъ дѣйствию ученія на душу. Слѣдовали разные другія церемоніи въ томъ же родѣ, послѣ чего онъ оканивалъ своихъ мучениковъ цѣлыми ведромъ воды и вытиралъ имъ лицо жесткой тряпкой. Тутъ онъ провозглашалъ ихъ *свободными студентами академіи*; но съ тѣмъ, чтобъ они еще 6 мѣсяцевъ ходили въ сво-ихъ черныхъ плащахъ и прислуживали старымъ студентамъ съ безусловною покорностью. Служба эта называлась *пенализмомъ* и до послѣднихъ временъ сохранялась въ нѣкоторой степени при Абоскомъ университетѣ. Должность же депозитора была уничтожена еще въ исходѣ 17-го столѣтія (постанов-леніемъ 25 ноября 1691 г.). До того времени она поручалась обыкновенно какому-нибудь магистру, пользовавшемуся общимъ уваженіемъ. Депозиторъ

содержался на иждивеніи студентовъ. Консисторія должна была напоминать ему, чтобы онъ обращался съ ними порядочно и пристойно.

Другимъ обычаемъ того времени было представленіе въ университетѣ комедій при торжественныхъ случаяхъ: актерами были студенты, играшіе подъ руководствомъ одного изъ профессоровъ. Этотъ обычай перешелъ въ Або изъ Уксалы, куда занесенъ былъ изъ школы іезуитскихъ.

Какъ черту, характеризующую вѣкъ, приведемъ здѣсь отрывокъ опредѣленія университетской консисторіи отъ 1642 года. На ректорскихъ угощеніяхъ (т. е. обѣдахъ, даваемыхъ новыми ректорами) должно подавать 6 ординарныхъ блюдъ, не считая масла, хлѣба и окорока; послѣ обѣда не разносить конфектъ, а развѣ только сыръ. И надлежитъ ректору подавать хорошее финское пиво и немного французскаго вина и т. п. Потому исключены почетные чины, которые ректоръ долженъ торжественно приглашать; что касается до типографщика, книгопродавца и переплетчика, то ректоръ можетъ приглашать ихъ черезъ своего собственнаго слугу, если заблагоразсудитъ. Сверхъ того дозволяется ректору позвать одного изъ двухъ добрыхъ пріятелей или родственниковъ и тѣхъ изъ студентовъ, которые при торжествѣ участвовали въ музыкѣ. Женщинъ отнюдь не должно приглашать, ни даже жонъ профессоровъ или другихъ гостей, и подъ опасеніемъ штрафа запрещено пировать до другаго дня.

Также подробно и также интересно рассказываетъ г. Гротъ и дальнѣйшую исторію Абоискаго университета до незабвеннаго дня $\frac{1}{10}$ іюня 1808 года, когда Высочайшимъ рескриптомъ на имя проканцлера, епископа Тенгстрема, Императоръ Александръ утвердилъ «силу всѣхъ правъ и преимуществъ, Або-скому университету присвоенныхъ», и когда богатая милости высокаго ревнителя просвѣщенія дали этому учрежденію новую силу и новую жизнь.

Вторая статья въ альманахѣ г. Грота, есть «Путешествіе на Юбилей 1840 года» — большое стихотвореніе (стр. 117 — 132), знаменитаго финляндскаго поэта Францена. Оно отличается общими качествами всѣхъ, писанныхъ на торжественные случаи стихотвореній. — «Финляндія въ русской поэзіи», письмо къ Цигнеусу г. Плетнева, замѣчательно, какъ фактъ, до какой степени Финляндія имѣла вліяніе на вдохновеніе нашихъ поэтовъ. — «Нѣсколько дней въ Лапландіи» —

въ высшей степени любопытная статья г. Кастрена, доцента финскаго и древнихъ сѣверныхъ языковъ при Александровскомъ университетѣ. Г. Кастренъ не разъ путешествовалъ по разнымъ областямъ Финляндіи, собирая памятники народной финской словесности. Главный трудъ г. Кастрена есть шведскій переводъ въ стихахъ большой финской поэмы «Калевала». — «Необойденный Домъ» — повѣсть князя Одоевскаго, прекрасно рассказанная. — «О національномъ характерѣ Финновъ» — чрезвычайно любопытная статья г. Эммина, лектора исторіи при гимназіи въ Борго, и издателя литературнаго листка. — «Макбетъ христіанская ли трагедія?» статья г. Рунеберга, не обличающая въ авторѣ особеннаго критическаго такта, или современныхъ понятій объ искусствѣ. «О литературной совѣстливости» — письмо къ Рунебергу графа Соллогуба, содержаніемъ и изложеніемъ своимъ не совсѣмъ напоминаетъ даровитаго автора «Исторіи Двухъ Калашъ», «Тарантаса» и Аптекариши. Немного странны могутъ показаться эти нападки на журналистику и на французскую литературу, какъ-будто отъ нихъ гибнетъ міръ?... Гдѣ люди, тамъ и зло; но гдѣ люди, тамъ же и добро: вольно же, видя одно, не указывать на другое?... И какъ сравнить Парижъ съ Або? Въ послѣднемъ не удивительна чистота нравовъ и безкорыстіе ученой и литературной дѣятельности: въ этомъ маленькомъ свѣтломъ ручейкѣ нѣтъ подводныхъ камней, на немъ не бываетъ бурь и урагановъ, — плыви себѣ, ничего не бояся, ничѣмъ не соблазнился, созерцая бѣдную, но величавую природу и погружаясь во внутрь святилища души своей... Парижъ — море, океанъ; но тамъ-то и слава смѣлому пловцу, презирающему и ярость волнъ и губительную твердость подводныхъ камней. А такіе отважные пловцы только и бываютъ, что на большихъ моряхъ... Немного странно и, признаться, немного смѣла мысль — изрекать анагему на цѣлый народъ, и объявлять его никуда негоднымъ... Пора

бы оставить намъ выходки на цѣлыя націи, вмѣстѣ съ оставленными выходками противъ моднаго платья, французскаго языка, баловъ и танцевъ: все это не худо бы предоставить моральнымъ и бездарнымъ романистамъ... Деньги — вотъ зло въ литературѣ! — кричатъ всѣ. Да подумайте, кто же можетъ существовать безъ денегъ, или кто захочетъ трудиться безъ вознагражденія?

Не продается сочиненье,
Но можно рукопись продать?

справедливо сказалъ Пушкинъ. Торгуешь своими трудами только посредственностью; истинный талантъ не почитетъ для себя унизительнымъ взять деньги за свой литературный трудъ, не почитетъ низостию писать для денегъ. Нѣтъ, и у насъ есть благородные дѣйствители, отродныя исключенія изъ общаго правила. Ссылаемся въ этомъ на самого графа Соллогуба, который, вѣроятно, самъ знаетъ не двухъ, не трехъ изъ нихъ... Тоже и въ журналистикѣ: это «Отечественныя Записки» могутъ сказать смѣло, гордо и не краснѣя... Но не съ одной этой стороны мы не согласны съ статьею графа Соллогуба: мы думаемъ также, что онъ несовсѣмъ опредѣлительно характеризуетъ русскихъ писателей:

«Передъ нами Державинъ съ своими мощными стихомъ, Крыловъ съ народными баснями, Карамзинъ съ совѣсливыми и прекрасными трудами, Пушкинъ, пылающій страстію и остроуміемъ (*и только?*...), Жуковский докторъ вашего университета, гремящій о славу русскаго величія на кровавомъ полѣ бородинской битвы. Вотъ имена, которыя мы произносимъ съ гордостію... а за вами имена Батюшкова, Веневитинова, Козлова, Языкова, Гоголя, Хомякова...»

Впрочемъ, если мы и «нападаемъ» на статью графа Соллогуба, то нападаемъ только на сущность ея, на содержаніе, а не на небрежности въ языкѣ: это представляемъ мы на разживу нищей братіи; только ея терпѣнію сродно высчитывать

опечатки и мелкія обмолвки противъ грамматики, которую она такъ «твердо выучила». Судить о содержаніи она не въ силахъ; если жь когда и прійдется, то наскажетъ такихъ диковинокъ, что досыта нахохочешься: ей, напримѣръ, вдругъ покажется, что повѣсти Нарѣзнаго во сто кратъ лучше повѣстей Гоголя (дался ей этотъ Гоголь!), что въ повѣстяхъ Гоголя нѣтъ философскаго взгляда на свѣтъ (эти господа не шута хлопчутъ о философскихъ взглядахъ!...), нѣтъ познанія сердца человеческого, и, наконецъ, что князь Одоевскій и графъ Соллогубъ выше Гоголя, какъ Чиборасо выше Пулковской горы... Избави насъ Богъ вступать въ споры съ этими господами о дѣлѣ вкуса, котораго имъ не далъ Богъ; но зачѣмъ же они ставятъ князя Одоевскаго и графа Соллогуба ниже даже гг. Булгарина и Греча, и объявляютъ, что оба означенные литератора не умѣютъ писать, не знаютъ языка и грамматики (если грамматика г. Греча — такъ правда: да кто же ее и знаетъ кромѣ самого «почтеннаго» ея автора?)?... Что все это доказываетъ? — То, что гдѣ есть литераторы, тамъ есть и «сочинители», гдѣ люди, тамъ и разныя насѣкомыя, созданныя только для того, чтобъ жужжать и надоедать людямъ, которые то и дѣло прихлопываютъ ихъ...

«Нынѣшніе крестьяне-поэты Финляндіи» — прелюбопытная статья г. Ленрота, провинціального врача къ Каянѣ. Г. Ленротъ — ревностный собиратель финскихъ народныхъ пѣсень, пословицъ и т. п. Онъ обошелъ нѣкоторыя части Финляндіи пѣшкомъ, и важнѣйшими плодами его странствованій были: «Кантелетаръ» (Дочь Арфы), огромное собраніе отдѣльныхъ пѣсень, и «Калевала» (Финляндія), 32 большія пѣсни, составляющія, по открытію, одно цѣлое, родъ эпической поэмы.

Вообще, любопытнѣйшія статьи въ альманахѣ г. Грота суть тѣ, которыя непосредственно относятся къ Финляндіи.

КОМАРЫ. *Всякая вслщина, Фаддея Бумарина. Рой первый. Спб. 1842.*

КАРТИНКИ РУССКИХЪ ПРАВОВЪ. *Спб. 1842.*

СКАЗКА О СЛАВНОМЪ ВИТЯЗѢ И МОГУЧЕМЪ БОГАТЫРѢ ИВАНѢ ТРОФИМОВИЧѢ ЛЯГУШКИНѢ, О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНѢ СВѢТЛОВИДѢ И О КОСОЛАПОМЪ ДРУГѢ МЕДВѢДѢ. *Спб. 1841.*

Вотъ почти все, чѣмъ даритъ насъ апрѣль мѣсяцъ по части изящной словесности и изящной прозы! Больше ничего! Ни одного романа, ни одного собранія повѣстей, ни одной сносной повѣсти!... Скучный, безплодный мѣсяцъ... Вообразите: всего на все — «Комары», новыя картинки къ старымъ сказкамъ будто-бы о русскихъ правахъ, и — новая сказка о Богатырѣ Лягушкинѣ, Царевнѣ Свѣтловидѣ и косолапомъ медвѣдѣ! ...

«Комары» — чрезвычайно интересное явленіе въ современной русской литературѣ: здѣсь извѣстный сочинитель, г. **Ө. Булгаринъ**, выдѣлся весь, со всею солью, со всѣмъ блескомъ своего остроумія, со всею силою своего таланта, со всею своею философіею (?). . . Это, можно сказать, результаты его литературной дѣятельности, его литературныя убѣжденія. И потому, нельзя отдѣлаться отъ этой книжонки двумя словами; надо перебрать ее внимательно — для пользы читателей, которымъ, вѣроятно, не придется читать ее.

Первая статейка въ «Комарахъ» г. Булгарина называется «Видѣсто Предисловія»: въ ней очень тонко и очень зло критикуются люди, которымъ ничего не стоитъ проиграть въ преферансъ десять цѣлковыхъ, и которымъ жаль заплатить за «Комаровъ» полтора цѣлковыхъ. Признаемся, въ этомъ случаѣ, мы сами готовы причислить себя къ этимъ окритикованнымъ людямъ! Лучше убить вечеръ за преферансомъ, нежели читать старые рассказы, давно уже истертые въ газетныхъ фельетонахъ. Во второй статейкѣ, объясняется разница между «Осами»

(les Guêpes) Альфонса Карра и «Комарам» г. Булгарина. Мы думаемъ, что подобное объясненіе совершенно излишне: «Осы» французскаго литератора довольно скучны, какъ и всѣ книги, въ которыхъ авторы берутся острить наподрядъ и въ срокъ; но въ «Осахъ» Альфонса Карра встрѣчаются иногда вещи дѣйствительно остроумныя. Ниже, читатели ясно увидятъ разницу въ этомъ отношеніи между «Осами» и «Комарам». . . Дальнѣйшее различіе между ними состоитъ еще въ томъ, что А. Карръ сражается въ своихъ «Осахъ» не съ лицами, а съ началами (principes), и преслѣдуетъ не своихъ личныхъ непріятелей, а доктрину, непріязненную его собственной доктринѣ; господинъ же Булгаринъ, напротивъ, сдѣлалъ изъ своихъ «Комаровъ» апофеозу собственной своей литературной личности заживо и говоритъ въ нихъ только или о самомъ себѣ и своихъ сочиненіяхъ, или о людяхъ, которымъ его сочиненія не столько нравятся, какъ ему самому. Вотъ объ этомъ-то различіи слѣдовало бы ему распространиться, но объ немъ-то онъ и умолчалъ, вѣроятно, предполагая, что это и безъ того замѣчено будетъ людьми догадливыми. . . Вмѣсто того, г. Булгаринъ распространился о томъ, что «Осы» исполнены личностей, а «Комары», будто-бы, чужды личностей — изъ чего и выводится подразумеваемое имъ скромное заключеніе, что «Комары» лучше «Осы». Но хотя «Комары» г. Булгарина и жужжать безпрестанно то прямою бранью, то намеками на «толстые журналы» и на «Петербургскія Квартіры», известную комедію-водевилъ г. Кони, которая по весьма понятнымъ причинамъ такъ не нравится ему, — однакожъ, мы не хотимъ тутъ видѣть никакихъ литературныхъ личностей и намековъ, и очень жалѣемъ, что господинъ-сочинитель «Комаровъ» не поступилъ такъ же, и вздумалъ видѣть личности тамъ, гдѣ не имѣлъ права подозрѣвать ихъ. Г. Булгаринъ утверждаетъ, будто въ русской литературѣ есть люди, которые за критику

истать своимъ противникамъ — клеветою!... Послушайте, что онъ говоритъ объ этомъ: «Для удовлетворенія жаднѣ мщенія, за какую-нибудь критику, или острое словцо, эти господа представляютъ литераторовъ въ гнусномъ видѣ, и тѣмъ наносятъ величайшій вредъ нашей юной литературѣ. И кто же пишетъ все это?... Вотъ, напримѣръ, посмотрите, какимъ образомъ выставленъ русскій журналистъ въ такъ называемой комедии-водевилѣ: «Петербургскія Квартыры!» Хуже всякаго подъячаго и ябедника!... Это самое гнусное лицо въ мірѣ, лжець, взяточникъ... Онъ беретъ деньги за похвалы съ книгопродавцевъ... Они даютъ ему золота!...» (стр. 10 и 11). Затѣмъ, г. Булгаринъ старается изъ всёхъ силъ увѣрить своихъ читателей, что наши книгопродавцы и золото — понятія несовмѣстныя, и что такихъ безнравственныхъ журналистовъ на Руси нѣтъ. Да изъ чего же всё эти хлопоты? Почему г. Булгаринъ нападаетъ именно съ этой стороны на «Петербургскія Квартыры»? Непостижимо! Намъ кажется, что всякій благоразумный читатель долженъ видѣть въ этомъ водевилѣ только чистый вымыселъ фантазіи, а отнюдь не статистическое, или историческое сочиненіе? Публика хочетъ смѣяться — и водевилистъ смѣшитъ ее изображеніемъ разныхъ чудаковъ, а иногда и негодаевъ, если онъ къ тому имѣетъ еще и нравственную цѣль, какъ вѣроятно имѣлъ ее авторъ означеннаго водевиля. Литература, въ смыслѣ вымысловъ воображенія, рисуетъ не то, что есть въ самомъ дѣлѣ, а то что возможно; для уничтоженія этой-то возможности и пишутся нравственно-сатирическія сочиненія, въ которыхъ, по увѣренію, г. Булгарина, онъ самъ съ такимъ блестящимъ успѣхомъ подвизался. Г. Булгаринъ написалъ столько черныхъ, и между тѣмъ, конечно, ни на кого не похожихъ портретовъ взяточниковъ, — и однакожь, можно ли утвердительно сказать, что на Руси есть такіе взяточники? Ихъ нѣтъ; но есть возмож-

ность ихъ существованія, — для того-то грѣхъ лихонимства и изображается въ такихъ гнусныхъ чертахъ, чтобы предотвратить въ будущемъ возможность появленія взяточниковъ. Здѣсь предается казни общественнаго мнѣнія идея, а не лицо, или лица. Также точно и г. Кони, вѣроятно, имѣлъ въ виду предать публичному позору идею безсовѣстнаго и безчестнаго журналиста, наносящаго срамъ и литературу и журнальному дѣлу, а отнюдь не оскорбить журналистовъ намекомъ. И лучшимъ доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія служитъ то, что доселѣ ни одинъ изъ журналистовъ не думалъ оскорбиться пьесой г. Кони, напротивъ, многіе хвалили ее, а публика ей аплодировала, вызывала автора, актеровъ, и все единодушно жалѣли, что автору вздумалось исключить при представленіи самый лучшій ея актъ, въ которомъ именно изображенъ журналистъ-взяточникъ, и котораго высокое достоинство всѣмъ извѣстно было не изъ рукописи, а изъ печатной книги.

Нападки «Комаровъ» г. Бургарина на пьесу г. Кони тѣмъ страннѣе и непонятнѣе, что самъ же г. Бургаринъ, весьма основательно замѣчаетъ: «правда всегда выходитъ на верхъ, какъ масло въ водѣ, и несправедливость вредна не тому, противу кого устремлена, а тому, кто сочинилъ ее» (стр. 12). Но при всемъ своемъ негодованіи на «Петербургскія Квартиры», господинъ-сочинитель «Комаровъ» называетъ пьесу г. Кони только цвѣточками, а ягодками называетъ — что бы вы думали? — нѣсколько строкъ, почему-то зацѣпившихъ его за живое, изъ статьи князя Вяземскаго, напечатанной въ «Утренней Зарѣ» на 1841 годъ!... Для повѣрки нашей справедливости въ спорѣ съ господиномъ сочинителемъ «Комаровъ», выпишемъ ихъ изъ самыхъ «Комаровъ» (стр. 13):

Должно однакожъ замѣтить, что литературныя несогласія того времени были не иное что, какъ рыцарскіе поединки, въ которыхъ дѣйствовали одинъ

законный и честный оруженец; тогда искал торжества и славы своею, хотѣли показать искусство свое, удовлетворить некоторой удалости ума, искавшего въ подобныхъ случаяхъ случайности гласности и блеска. По вышеприведенному замѣчанію, что у насъ тогда было болѣе аматоровъ, нежели артистовъ, слѣдуетъ, что и въ сѣхъ расприхъ выходили другъ противъ друга добровольные, безкорыстные бойцы, а не наемники, которые ратуютъ въ деньги, нападаютъ сегодня на того, за котораго дрались вчера, торгуютъ равно и прислугою и оружіемъ своимъ, и за безсиліемъ своимъ въ бою на чистоту, готовы прибѣгать ко всякимъ пособіямъ предательства. Убѣгая съ открытаго поля битвы, поруганные и узленные побѣдителями, они не признаютъ себя побежденными; если стрѣлы ихъ не жѣтны и удары не вѣрны, то они ищутъ въ запасѣ другое оружіе, потаенное, ядовитое, имѣютъ свои неприступныя засады, изъ коихъ поражаютъ противниковъ своихъ навѣрное. Сей язва литературы и общества, которая ихъ терпитъ потому, что и въ Божіемъ твореніи пресмыкаются ядовитыя гады и слѣдовательно, нужны въ обществѣ планшъ созданія, къ счастью и къ чести своей, не знала старинная литература наша.

Выписавъ эти строки, г. Булгаринъ начинаетъ утверждать, будто онѣ могутъ заставить много недогадливаго (именно, недогадливаго!) читателя справляться, съ кѣмъ не въ ладахъ ихъ авторъ, на чью критику онъ сердится, и на кого метитъ... Помилуйте, можно ли быть такъ пугливу и беспокоиться на такихъ зыбкихъ основаніяхъ! Князь Вяземскій, пиша эти строки, утверждалъ только, что тогда, въ описываемое имъ время, не было того-то и того-то; но онъ не говоритъ, что теперь есть все это: въ его строкахъ нѣтъ ни одного слова, на основаніи котораго можно было бы доказать подобное намѣреніе. Толковать же такъ и сякъ чьи либо слова и придавать имъ, по своему произволу, такой смыслъ, котораго не подтверждаетъ ихъ буквальное знаменованіе, — то же, что судить совѣсть другаго и судить ее судомъ инквизиторскимъ...

Но возвратимся снова à nos moutons, — къ нашимъ барашкамъ, или къ «Комарамъ»... Французская поговорка здѣсь кстати пришла, потому что «Комары» г. Булгарина невинны, кротки и незлобивы, какъ барашки... Будемъ слѣдовать

за ихъ сочинителямъ изъ страницы въ страницу, останавливаясь на томъ, что покажется намъ болѣе замѣчательнымъ.

На стр. 24 «Комаровъ» находимъ прелюбопытное библиографическое извѣстiе и драгоценный фактъ въ исторiи русской книжной торговли. Грозно обращаясь къ кому-то, будто бы цѣлый годъ трубившему похвалы «Герою Нашего Времени», который, не смотря на то, лежалъ не трогаясь съ мѣста въ книжныхъ лавкахъ, г. Булгаринъ говоритъ: «А сказала «Северная Пчела» правду — и «Герой нашего времени» именованно исчезъ изъ книжныхъ лавокъ. . . и пошелъ бродить по свѣту». Не знаемъ, до какой степени достоверно это скромное «объявленiе», но если оно точно достоверно, то мы первые отдаемъ полную справедливость неподражаемой ловкости «Северной пчелы» составлять книгопродавческiя объявленiя.

Отъ стр. 29 до 73 включительно, простирается философскiй взглядъ на гордость, какъ губительный порокъ, и нравоучительный рассказъ, фактически подкрѣпляющiй собою глубокомысленный взглядъ сочинителя на предметъ, самъ по себѣ довольно старый и избитый. Статья эта называется «Нищiй», въ ней трогательно и поучительно рассказано, какъ одинъ купецъ миллионеръ разорился отъ гордости, пошелъ по миру, и какъ сочинитель «Комаровъ», вмѣстѣ съ добрыми своими прiятелями, помогъ ему и тѣмъ приобрѣлъ отъ него право рассказывать всѣмъ о своемъ благодѣтельномъ поступкѣ. . . Впрочемъ, какъ не умиленно рассказанъ этотъ анекдотъ безъ всякаго содержанiя, какъ ни высоко цѣнимъ мы талантъ г. Булгарина — рассказывать длинно о томъ, о чемъ совершенно нечего рассказывать, и какъ ни глубоко уважаемъ мы его усердiе повторять всѣмъ извѣстныя изъ азбукъ правила нравоученiя, — однакожь должно сознаться что извѣстный сочинитель дѣтскихъ книгъ г. Борисъ Ф(Ѳ)едоровъ въ этомъ искусствѣ далеко превосходитъ г. Булгарина, и что онъ еще

убедительнѣ могъ бы доказать вредъ, происходящій отъ такого ужаснаго порока, какъ гордость...

За «Нищимъ» слѣдуетъ «Метемпсихоза», въ которой фантазія господина сочинителя «Комаровъ» развертывается во всеобщій блескъ радужныхъ лучей своихъ, выказываетъ всю свою затѣйливость, впрочемъ, такими выдумками, которыми она уже не разъ удивляла всѣхъ, и безъ особенныхъ отиѣнъ или новыхъ прибавленій противъ прежняго... Сочинитель, въ одно изъ своихъ многочисленныхъ странствованій по бѣлому свѣту, отправившись на кораблѣ (кажется, изъ Испаніи, можетъ быть, во времена Наполеона) на островъ, нашелъ тамъ жреца, который видитъ душу каждаго человѣка. Сочинитель говоритъ жрецу, что онъ заглядываетъ въ толстую книгу, выходящую ежемѣсячно, и каждый разъ видитъ тамъ похвалы литературному безкорыстію и проклятія литераторамъ, продающимъ литературные труды свои за деньги. Жрецъ успокоиваетъ сочинителя, увѣряя его, что издатель «толстой книги» выдаетъ ее не даромъ, а за деньги, и что, слѣдовательно, литературное безкорыстіе — вздоръ, и что всѣ издатели въ мірѣ похожи на него, господина сочинителя... Утѣшившись этимъ пріятнымъ увѣреніемъ, сочинитель спрашиваетъ жреца о водевиистѣ, который поставилъ на сцену «Собачья Кануры»; жрецъ ему отвѣчаетъ, что «Собачья Кануры» достойны всякаго уваженія, ибо изъ нихъ вышло проиждо, герой извѣстнаго романа, и въ нихъ же получила свое начало безкорыстная литературная дѣятельность извѣстнаго рода... Тѣмъ все и кончается.

На 99 стр. «Комаровъ», у какого-то сочинителя, когда онъ что-то писалъ, убѣжала изъ головы мысль, которая всегда бѣгаетъ отъ него, когда онъ пишетъ. Потому статья и названа полицейскимъ терминомъ; «Бѣглая мысль». Когда реченный сочинитель кончилъ свое писаніе, мысль къ нему воротилась

и рассказала свои «похождения», какъ ее отвсюду гоняли. Статья эта отличается свойственнымъ г. Булгарину игривымъ и граціознымъ остроуміемъ; для доказательства этого, намъ стоить сказать, что мысль, въ разговорѣ съ сочинителемъ, всегда называетъ его «папенькою», а папенька называетъ ее «бѣглянкою».

Когда мысль снова убѣжала отъ господина-сочинителя, онъ, безмысленный, отправился на англійскомъ кораблѣ путешествовать, заѣхалъ къ антиподамъ, отчего статья и получила затѣяливое и остроумное названіе «Путешествія къ антиподамъ на цѣлебный островъ». На этомъ островѣ, сочинитель-путешественникъ нашелъ всѣхъ своихъ враговъ, т. е. тѣхъ литераторовъ, которыхъ презрѣніе такъ оскорбляло его на этой сторонѣ земнаго шара. Но — о чудо! — всѣ эти литераторы, поживя на цѣлебномъ островѣ, совершенно излѣчились отъ своей благородной гордости, бросаются къ сочинителю на шею, нѣжно цѣлуютъ, обнимаютъ его, жмутъ ему руки, и хоромъ кричатъ, что онъ былъ правъ, совершенно правъ, говоря о нихъ въ одномъ и томъ же листкѣ будто-бы по сту разныхъ правдъ, и что они были виноваты, находя противорѣчія въ его о нихъ отзывѣхъ. Скромный и озадаченный неожиданностію такого приѣма, сочинитель едва успѣвалъ откланиваться и отцѣловываться. Вотъ, для образчика этой сцены, одинъ отрывочекъ:

— «Чокнись» — сказалъ, улыбаясь *высокій парень съ раздутыми щеками*. «Вѣдь мы съ тобою были нѣкогда пріятелями, а прогнѣвался я на тебя въ припадкѣ болѣзни, когда ты не хотѣлъ признать меня преобразователемъ драмы и драматическаго искусства... драматургомъ — превъше Лопеса де Вега, Кальдерона, Шекспира и Шиллера!.. Ну выпьемъ же... *благо это случай выпить!*.. Какой я гений» — продолжалъ ораторъ — «просто должный писатель, на кавахъ въ Германіи и во Франціи смотрѣть не хотѣть!... А у насъ... вы же господа журналисты, свели меня съ ума, хвалили мои пустяки, за то, что я добрый малой... и даже заставляли книжниковъ плакать мнѣ... Слава Богу... теперь я излечился, и вижу, что мнѣ надобно еще дружно поучиться русской грамотѣ... Но что толковать — обвиненся!..»

Истинно прекрасное литературное общество и по чувствамъ, и по тону!... Ну, если бы ктонибудь, забывъ, что это просто игра фантазіи г. Булгарина, вздумалъ увидѣть въ этомъ изображеніи русской литературы? Не правъ ли бы онъ былъ, сдѣлавъ заключеніе, что арена русской литературы грязнѣе Свѣтлой Площади и Толкучаго Рынка?...

«Путешествіе къ антиподамъ на цѣлебный островъ» замѣчательно еще и многими автобиографическими чертами, которыя дышутъ удивительною откровенностію... «Не дерзаю себя сравнивать ни съ Шатобрианомъ, ни съ Вальтеръ Скоттомъ, ни съ Байрономъ, ни (даже) съ Гюго и Дюма», говоритъ г. Булгаринъ (14 стр.): похвальная, хотя и неумѣстная скромность, ибо говоритъ, что между г. Булгаринимъ и такими людьми, какъ Вальтеръ Скоттъ и Байронъ — есть общее развѣ только въ томъ, что онъ, подобно имъ, не можетъ жить безъ пищи и воздуха, говоритъ это — значить утверждать съ важностію великую истину, что золото дороже глины... Равнымъ образомъ, кажутся намъ не совсѣмъ умѣстными фразы, въ родѣ слѣдующихъ: «по словамъ враговъ моихъ я — литературный торгашъ, спекулянтъ» (стр. 123)... «Враги мои изображаютъ меня сущимъ змѣемъ-горыничешъ» (стр. 122), и тому подобныхъ... Не помнимъ, гдѣ и когда называли враги г-на Булгарина такими незавидными именами. Мы думаемъ даже, что едва ли бы возможно было напечатать такіе рѣзкіе эпитеты. Это, должно быть, просто выдумка. Но мы никакъ не можемъ понять странное расположеніе въ г. Булгаринѣ выдумывать подобныя вещи, или принимать на свой счетъ все, что говорится дурнаго въ литературномъ смыслѣ о комъ-нибудь вообще... Намъ кажется также невѣрнымъ извѣстіе, сообщаемое г-нѣ Булгаринимъ на 122—123 страницахъ «Комаровъ», именно: «Люди стали отыскивать то зло, которое я, по иждѣнію враговъ моихъ, надѣлалъ на земномъ шарѣ—и не нашли вовсе ни обманутокъ,

ни оклеветанныхъ, ни ограбленныхъ мною, этимъ зифемъ-горыничемъ... Это извѣстiе вдвойнѣ несправедливо: во первыхъ, зло на земномъ шарѣ могутъ дѣлать только Чингисъ-Ханы и Атиаллы, а не частные люди, кругъ дѣятельности которыхъ ограниченъ «Сѣвровою Пчелою» и «Экономомъ»; во вторыхъ, люди большо думаютъ о себѣ и своихъ дѣлахъ, и ни въ некогда терять времени на справки о томъ, о чемъ не стоить труда справляться... А вотъ, когда г. Булгаринъ благодарить за распространенiе его извѣстности и въ Россii и за границую, — это дѣло, тутъ есть за что благодарить: слава г. Булгарина гремѣтъ и за границую...

Съ стр. 135 до конца книжки, разсыпана разная мелочь, которая весьма удивила и обрадовала насъ. Глядимъ — и не вѣрнимъ глазамъ своимъ: старые знакомцы! Дѣло въ томъ, что два послѣднiя отдѣленiя «Комаровъ», названныя у господина-сочинителя «Комариками» и «Комарьими Вѣстями», состоятъ въ отдѣльныхъ, краткихъ и отрывочныхъ статьяхъ, изъ которыхъ первые отличаются свойственною г-ну Булгарину глубокостiю философскаго созерцанiя, а вторыя — свойственнымъ ему остроумiемъ. Первые суть нѣчто въ родѣ афоризмовъ и полнотровъ Жанъ-Поля Рихтера, а вторыя — въ родѣ сатирическаго вѣстника, вторично изданнаго Страховымъ въ 1795 году, подъ титуломъ: «Сатирическiй Вѣстникъ, удобоспособствующiй разглаживать наморщенное чело старичковъ, забавлять и купно научать молодыхъ барынь, дѣвушекъ, щеголей, вертепраховъ, волокитъ, игроковъ и прочаго состоянiя людей». Въ томъ и другомъ отдѣленiи, талантъ г. Булгарина торжествуетъ рѣшительно и можно съ достовѣрностiю сказать, что никогда еще не поднимался онъ до такой высоты. Но что удивило и обрадовало насъ, — это явное и несомнѣнное сходство въ тонѣ, замашкѣ и мыслительности «Комариковъ» и «Комарьихъ Вѣстей» съ нашими старыми знакомцами — «Сатирическими

Вѣдомостями». которыми остроумный А. Измайловъ, ровно двадцать лѣтъ назадъ тому, украшалъ свой журналъ «Благонамѣренный». Сравните, если угодно, то и другое и судите сами, кто остроумнѣе въ своихъ сатирическихъ *bon-mots*— г. Булгаринъ, или г. Измайловъ; что касается до насъ, мы думаемъ, что оба они остроумнѣе, т. е. оба лучшѣе. Замѣтимъ при этомъ какъ видѣнъ во всѣхъ дѣлахъ человеческихъ, даже самыхъ ничтожныхъ, перстъ судьбы неотразимой: покойный Измайловъ не любилъ «Отечественныхъ Записокъ», издававшихся тогда основателемъ ихъ П. П. Свиньинимъ, — и надо же было судьбѣ сдѣлать такъ, чтобъ Измайловъ, вѣстѣ съ остроумиемъ своимъ, передалъ г. Булгарину, какъ будто по наследству, и свое нерасположеніе къ «Отечественнымъ Запискамъ»!... Странные, право, случаи бываютъ на свѣтѣ!

Выписываемъ два, особенно замѣчательные, образчики остроумія господина-сочинителя «Комаровъ».

• Хозяйка домовъ чрезвычайно жалуются, что съ тѣхъ поръ какъ появилась на сценѣ комедія-водевилъ *Петербургскія Квартыры*, никто не нанимаетъ квартиру, опасаясь, что онѣ также дурны, какъ и эта комедія.

Чудное дѣло! Далась же сочинителю «Комаровъ» эти «Петербургскія Квартыры»: вотъ уже ровно двадцать первый разъ упоминаетъ онъ о нихъ въ своей книжкѣ!... это не даромъ!...

• Помните ли вы, какимъ образомъ Сикстъ V заставилъ избрать себя въ папы? Онъ притворился хилымъ, хворымъ, полуглухимъ, полуслѣпымъ и жившимъ въ уму, т. е. не опаснымъ никому, и близкимъ къ окончанію. После избранія, онъ выпрямился и появился въ свѣтѣ здоровымъ, веселымъ и умнымъ. Когда близкій къ папѣ человекъ изъявилъ свое удивленіе на счетъ этой внезапной перемены, папа отвѣчалъ: «Еслибъ я зналъ, что меня можно отрѣшить отъ мѣста— я бы не переменялся послѣ моего возвышенія!» *Зарубите на стѣнку это, господа, кому въдать о семъ надлежитъ!*

Предоставляя другимъ отыскивать таинственный смыслъ этихъ угрожающихъ и не совсѣмъ понятныхъ словъ, — съ

своей стороны, объявляемъ тому, «кому сіе вѣдать надлежитъ», что «Отечественныя Записки», также напечатываются, въ отдѣленіи смѣси, прибавить постоянную статью, въ юмористическимъ тонѣ, на манеръ «Комаровъ» г. Булгарина. Цѣль ихъ—показать, «кому сіе вѣдать надлежитъ», какъ должны писаться статьи такого рода. Общее названіе статьи будетъ видно тогда, когда появится самая статья... Но въ ожиданіи будущаго, представляемъ на первый разъ маленькій образчикъ на выдержку, что попалось изъ приготовленнаго запаса:

«Писатели, которые надѣются жить въ потомствѣ, всего менѣе хлопочутъ о томъ, что и какъ думаютъ о нихъ современники; рѣшеніе вопроса о своей личности и своихъ твореніяхъ предоставляютъ они времени. Такіе писатели иногда ведутъ подробныя записки своей жизни, в нихъ не смущаетъ мысль, что эти записки могутъ быть напечатаны только послѣ ихъ смерти... Напротивъ, чѣмъ ничтожиѣе и эфемернѣе писатель—тѣмъ раздражительнѣе его самолюбіе, тѣмъ неутомимнѣе его печатная драка съ иными его врагами. Во всякой брани, хотя бы ему случалось услышать ее на площади, или на рынкѣ, онъ видитъ личности на себя, — и истить, огрызаясь площадною бранью. Когда онъ увидитъ, что книжные продукты его забыты и поступили пудами на толкучіе рынки, что извѣстность его поддерживается только его же бранью и литературною клеветою на другихъ, что репутація его, какъ плохого сочинителя, утверждена на прочныхъ основаніяхъ, пути къ разживію посредствомъ книжнаго шарлатанства пресѣчены: тогда ему остается одно—писать книжочки о самомъ себѣ, о своихъ сочиненіяхъ; прикидываться жертвою зависти, проскова, интригъ... Но это продолжа уже ему не поможетъ, а разивъ еще больше повредитъ, ибо для него только одно могло бы еще быть спасеніемъ: молчаніе—въ надеждѣ, что его такъ же скоро забудутъ, какъ скоро забыли его маранья, которыя онъ съ такою снѣжностію предавалъ тисненію.

Нравится ли вамъ этотъ отрывокъ?...

Кончивъ все о «Комарахъ», перейдемъ къ «Картинкамъ Русскихъ Нравовъ». Соревнованіе—великій двигатель промышленности и всякаго совершенствованія. Успѣхъ «Нашихъ» г. Башуцкаго возбуждалъ въ г. Булгаринѣ стремленіе—приобрѣсти успѣхъ еще большій. И вотъ для этого онъ далъ двѣ весьма по-

средствонныя статейки свои (изъ стараго, давнымъ давно вымечтаннаво хламу) — «Салопница» и «Корнетъ» для прекрасныхъ рисунковъ г. Тима; а г. Тимъ, въ свою очередь, къ весьма посредствоннымъ статейкамъ г. Булгарина приложилъ свои прекрасные рисунки, сдѣланные имъ съ гораздо ббльшимъ стараніемъ, чѣмъ его же рисунки къ «Нашимъ», — отчего и вышли двѣ маленькія изящно изданныя книжечки. Нечего говорить, что для чего здѣсь употреблено — текстъ для картинокъ, или картинки для текста; и соответствуетъ ли одно другому. Разумѣется, всякій полюбуется картинками, а читать текста ужь вѣрно не будетъ.

Что же касается до «Сказки о славномъ витязѣ, храбромъ и могучемъ богатырѣ, Иванѣ Трофимовичѣ Лягушкѣнѣ, о прекрасной царевнѣ Свѣтловидѣ и о косолапомъ другѣ медвѣдѣ», — эта вещь весьма нелѣпая, что уже видно изъ самаго ея заглавія, и столь же дурно изданная, столь хорошо изданы «Картинки Русскихъ Правовъ». Скромный авторъ «Сказки» не выставилъ своего имени: и хорошо сдѣлалъ! Имя его вѣроятно, не такъ еще извѣстно, чтобъ онъ имѣлъ право выставять его, и въ книжонкѣ своей жаловаться на враговъ, завистниковъ, клеветниковъ, или распространяться о своей добродѣтели, своихъ заслугахъ, своихъ талантахъ и своихъ сочиненіяхъ. И потому, вся его книжонка не многимъ развѣ нелѣпѣ иной сочинительской апологіи самому себѣ, за то, гораздо благопрістойнѣе ея и назидательнѣе...

АЛЬФЪ И АЛЬДОНА. *Историческій романъ въ четырехъ томахъ. Соч. Н. Кукольника. Спр. 1842.*

Нельзя не удивляться неистощимой дѣятельности г. Кукольника. Это, рѣшительно, плодовитѣйшій и неутомимѣйшій изъ всѣхъ современныхъ нашихъ писателей. Самъ г. Ползовой

долженъ уступить, въ этомъ отношеніи, вальму первенства г. Кукольнику, ибо г. Полевой удивляетъ публику своею дѣятельностію больше или по части объявленій и программъ, о многомъ множествѣ своихъ сочиненій, или только первыми томами самихъ сочиненій, никогда не представляя послѣднихъ томовъ; господинъ же Кукольникъ, напротивъ, не общается, а дѣлаетъ, или общая немногое, исполняетъ очень много, — словомъ, какъ говорится, продаетъ товаръ лицомъ. И, однакожъ, удивительная дѣятельность г. Кукольника вовсе не сѣнкова загадка, для рѣшенія которой былъ бы нуженъ новый Эдипъ. Дѣло, напротивъ, очень-понятно и весьма ясно. Еслибъ талантъ г. Кукольника равнялся дѣятельности его и трудолюбію — г. Кукольникъ былъ бы теперь первымъ талантомъ во всей Европѣ, не только у себя дома. Чрезвычайная дѣятельность обыкновенно бываетъ признакомъ или великаго генія, или посредственности. Тредьяковскій, Сумароковъ и Херасковъ, — каждый изъ нихъ сочинилъ, перевелъ, словомъ, напечаталъ не меньше Пушкина, который, если сообразить количество написанаго имъ съ числомъ прожитыхъ имъ лѣтъ, написалъ очень много. Нѣмецкій авторъ, Тикъ, насочинилъ не менѣ Шиллера и Гёте, — и это, однакожъ, доказываетъ совсѣмъ не то, чтобъ Тикъ былъ равенъ по таланту двумъ упомянутымъ корифеямъ богатой нѣмецкой литературы, но то, что и посредственность бываетъ иногда такъ же производительна, какъ геній. Впрочемъ, мы называемъ Тика посредственностію не безусловно, а относительно къ Шиллеру и Гёте, изъ которыхъ съ послѣднимъ добрый Нѣмецъ Тикъ когда-то думалъ даже соперничествовать, повѣривъ на слово братьямъ Шлегелямъ, объявившимъ его, по своимъ католическимъ расчетамъ, главою романтической школы. Взятый самъ по себѣ, безъ сравненія съ великими поэтами, Тикъ человекъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ, не послѣдній писатель въ Германіи;

у насъ онъ былъ бы изъ первыхъ и — чего добраго! — слылъ бы за генія... Мы не ставимъ г. Кукольника наравнѣ ни съ такими сочинителями, какъ Тредьяковскій, Сумароковъ и Херасковъ, ни съ такимъ писателемъ, какъ Тикъ: г. Кукольникъ, безъ всякаго сомнѣнiя, столько же выше первыхъ, сколько ниже послѣдняго. Несомнѣнное превосходство г. Кукольника передъ тремя плодовитыми авторами добраго стараго времени нашей литературы заключается не въ одномъ преимуществѣ настоящей эпохи передъ семидесятыми годами прошлаго столѣтiя, но и въ талантѣ. Превосходство Тика передъ г. Кукольникомъ состоитъ не въ одномъ талантѣ, но и въ бѣльшей артистически-ученой настроенности души, въ бѣльшей обширности не однихъ фактическихъ свѣдѣнiй и многосторонней эрудиции, но и въ философскомъ, мыслятельномъ, идеальномъ образованiи. Плодовитые писатели, подобные Тику, всегда означаютъ или цвѣтущее состоянiе, или упадокъ литературы: если они являются при великихъ творцахъ, какъ явился Тикъ при Шиллерѣ и Гѣте, — они служатъ несомнѣннымъ признакомъ цвѣтущаго состоянiя литературы; если же они дѣйствуютъ одиноко на первомъ планѣ, какъ дѣйствуетъ теперь въ Германiи Тикъ, со времени смерти Гѣте, — они означаютъ упадокъ литературы. Еслибъ мы не ожидали на дняхъ выхода «Похожденiй Чичикова» Гоголя, то, смотря на усердные и обильные труды гг. Кукольника, Полеваго и Ободовскаго, не на шутку подумали бы, что русской литературѣ настаетъ конецъ концовъ...

Подобно Тику, г. Кукольникъ написалъ кое-что весьма замѣчательное, если взять въ расчетъ бѣдность русской литературы; подобно Тику, онъ не написалъ ничего рѣшительно дурнаго... Здѣсь мы опять должны оговориться, что сближенiе г. Кукольника съ Тикомъ, по нашему мнѣнiю, можно основывать не на равенствѣ ихъ между собою, а на общности значенiя,

какое каждый изъ нихъ имѣетъ въ отношеніи къ своей литературѣ — не болѣе. Такъ, напр., смѣшно было бы и сравнивать «Эвелину де Вальероль» г. Кукольника съ романомъ Тика «Витторія Аккоромбона»: послѣдній романъ могъ живо заинтересовать собою даже образованную нѣмецкую публку; а первая не произвела особеннаго впечатлѣнія даже между читателями «Библиотеки для Чтенія». И между тѣмъ, все-таки, сравнительно съ современными русскими романами, каковы: «Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ», «Жизнь и Похожденія Столбикова». «Семейство Холмскихъ» (изданное прошлаго года въ третій разъ), «Автоматъ», «Непостижимая», «Два Призрака», «Мирошевъ» и пр., — сравнительно съ ними, «Эвелина де Вальероль» есть произведеніе гениальное, великое, громадное, словомъ то же самое, что романы Вальтеръ Скотта въ сравненіи съ «Эвелиною де Вальероль»...

Что же касается до новаго романа г. Кукольника «Альфъ и Альдона» — онъ особеннымъ образомъ относится къ численнымъ нами современнымъ русскимъ романамъ. Онъ и лучше и хуже ихъ: лучше потому, что въ немъ больше не только смыслу, но и ума; хуже потому, что въ немъ меньше свободы и добродушной искренности. Дѣло въ томъ, что гг. сочинители помянутыхъ романовъ пропѣли свои эпопеи тѣмъ голосомъ, какой дала имъ природа, и если ихъ нѣснопѣнія вышли довольно усыпительны — больше всего виновата въ томъ природа, не давшая пѣвцамъ лучшаго голоса, а самихъ пѣвцовъ можно винить развѣ въ томъ только, что они нѣсколько не обработали ученіемъ своихъ и безъ того посредственныхъ голосовъ; г нъ же Кукольникъ пропѣлъ эпопею объ «Альфѣ и Альдонѣ» нѣсколькими тонами выше своего природнаго голоса, а потому и разыгралъ роль пѣвца, который, утомивъ бесполезнымъ напряженіемъ грудь свою, измучилъ и истомилъ своихъ слушателей. Еслибъ «Мирошева» напечатать

такъ сжато, какъ напечатанъ новый романъ г. Кукольника, то всѣ четыре части «Миронова» легко сравнялись бы въ объемѣ съ одною частію «Альфъ и Альдонъ»; но это-то и составляетъ одинъ изъ главныхъ недостатковъ романа г. Кукольника. Обширность объема имѣетъ значеніе только какъ результатъ обширности содержанія, требующаго для себя широкихъ рампъ: въ противномъ же случаѣ, она очень сбивается на пухлость, водяность, растянутость и тому подобныя незавидныя качества. Въ новомъ романѣ г. Кукольника, нѣтъ никакого содержанія; заключающіяся въ немъ приключенія и похождения могли бы умѣститься въ повѣсть обыкновеннаго размѣра. Чрезвычайное множество дѣйствующихъ лицъ, которыми, такъ сказать, напичканъ и начиненъ романъ, также принадлежитъ къ числу его главнѣйшихъ недостатковъ. Дѣйствующее лицо въ романѣ непремѣнно должно быть характеромъ, или совсѣмъ не должно существовать: въ этомъ отношеніи, ни одно изъ дѣйствующихъ лицъ въ «Альфѣ и Альдонѣ» не имѣло бы ни малѣйшаго права на вниманіе къ себѣ со стороны не только мыслящей, но и просто читающей публики. Г. Кукольникъ хотѣлъ, въ своемъ романѣ, начертать картину нравственнаго и политическаго состоянія Литвы въ половинѣ XIV столѣтія, когда князья частію исповѣдывали христіанскую религію, съ половиною народа, частію покровительствовали ей, между тѣмъ, какъ другая половина народа держалась издыхающаго язычества. Не знаемъ, до какой степени подобная эпоха можетъ служить романисту; но знаемъ, что г. Кукольнику она весьма плохо послужила. Въ романѣ его безпрестанно упоминается объ «эпохѣ»; онъ испещряетъ литовскими именами мѣсть, урочищъ и людей того времени, но колорита и духа эпохи нѣтъ и признаковъ. Ольгердъ, честолюбивый, хитрый воинъ и политикъ въ духѣ временъ полуварварскихъ, является у г. Кукольника цивилизованнымъ человѣкомъ нашего вре-

мени, добрякомъ, сантиментальнымъ фразеромъ, хотъ авторъ и увѣряетъ читателя, что это — герой и великій человекъ. Братъ Ольгерда, Кейстутъ, настоящій герой романа, тоже похожъ на человекъ нашего времени, которому пришла въ голову фантазія нарядиться воинственнымъ варваромъ XIV вѣка и, подобно донъ-Кихоту, прикинуться рыцаремъ, вмѣсто того, чтобъ жить добрымъ помѣщикомъ, — сражаться съ баранами, а не заниматься овцеводствомъ. Альфъ и Альдона — плодъ любви Литвянки и нѣмецкаго рыцаря, совоспитанники дѣтей Гедымина. Кейстутъ любилъ Альдону; Альфъ — Анастасію, дочь боярина. Тотъ и другой влюбились потомъ въ вайделотку Бируту. Эта Бирута — существо неземное, красота неописанная, умъ высокій, богиня душою и сердцемъ, идеалъ женскаго совершенства, внѣшняго и внутренняго. Все это очень хорошо; худо только, что во всемъ этомъ мы должны вѣрить на слово описаніямъ автора; сами же мы видимъ въ Бирутѣ собраніе общихъ риторическихъ мѣстъ, полую воду фразъ и словъ, натянутость и напыщенность. Альдона, въ свою очередь, то же идеалъ невообразимыхъ совершенствъ, и намъ очень жаль, что авторъ не позаботился помочь нашему недоразумѣнію, сказавъ, которая изъ этихъ «неземныхъ дѣвъ» выше... Итакъ, Альфъ и Кейстутъ — соперники; но первый долженъ былъ уступить Кейстуту; вслѣдствіе чего и сдѣлался негодемъ, предателемъ, навелъ Кейстута на засаду и живаго выдалъ Нѣмцамъ, а самъ какъ ни въ чемъ не бывалъ. Правда, онъ же потомъ и помогъ Кейстуту вырваться изъ плѣна, но потому только, что Бирута дала ему слово не принадлежать никому, кромѣ какой-то глупой богини, которой она посвятила свое дѣвство. Между тѣмъ, мы не знаемъ, кого изъ нихъ любить Бирута, или любить ли она кого-нибудь: хотя Бирута и разговариваетъ на нѣсколькихъ страницахъ, но изъ ея болтовни ничего нельзя выжать. И вдругъ, ни съ того ни съ сего, Би-

роте рѣшается выйти за Кейстута; Альфъ же, затанувъ ненависть къ Кейстуту, уѣзжаетъ въ Москву, чѣмъ и кончается длинный и скучный романъ. Но и достигши вожделѣннаго конца романа, читатель не видитъ конца своему умственному изстязанію! Последнія строки сильно заставляютъ его онасаться еще новаго романа, въ которомъ, вѣроятно безчестный Альфъ будетъ играть уже не третьестепенную, а первую роль...

Къ главнымъ лицамъ романа г. Кукольника принадлежитъ лицо князя овручскаго Юрія Романовича, иначе барона Кристофа. Это, изволите видѣть, человѣкъ, который съ молодости только и дѣлалъ, что насилывалъ женщинъ, не разъ былъ женатъ, потомъ исправился и — сдѣлался шпиономъ... Право, такъ! Приобрѣтя довѣренность Нѣмцевъ, онъ знаетъ тайны ордена и передаетъ ихъ Ольгерду. Онъ въ романѣ вездѣ и внигдѣ: является всегда нечаянно, эффектно театрално, исчезаетъ также внезапно. Онъ водитъ за носъ Нѣмцевъ, не потому, чтобъ самъ былъ слишкомъ уменъ и слишкомъ хитеръ, — напротивъ, онъ довольно простъ и ограниченъ, какъ всѣ болтуны (а онъ, надо признаться, большой болтунъ) — нѣтъ, онъ обманываетъ Нѣмцевъ потому только, что г. Кукольнику угодно было представить Нѣмцевъ глуше даже самого овручскаго князя, Юрія Романовича, барона Кристофа тожъ. Цѣлую жизнь надувалъ онъ Нѣмцевъ самыми дѣтскими штучками, ни разу не возбудивъ въ нихъ ни малѣйшаго подозрѣнія, — и они не повѣрили его. . А вѣдь стоило бы повѣсить: онъ былъ предатель, шпионъ, и все это не изъ какого-нибудь важнаго побужденія, какъ напримѣръ, религіознаго, политическаго, или національнаго фанатизма, или, наконецъ, изъ жажды личнаго мщенія; а такъ — отъ нечего дѣлать, изъ уваженія къ Ольгерду и изъ желанія доставить г. Кукольнику оригинальное лицо для романа, лицо благород-

наго предателя, идеальнаго шпіона, который тѣмъ не менѣе достоинъ вѣстницы по законамъ военнымъ и гражданскимъ. Нельзя безъ смѣха читать, какими реблическими продѣлками способствуетъ баронъ Кристофъ (онъ же и князь овручскій, Юрій Романовичъ) бѣгству Кейстута изъ нѣмецкаго плѣна, какъ кстати помогаетъ ему въ томъ и глупость командора, и его давнишняя связь съ сумасшедшею Гертрудою, и любовь ея дочери, Матильды, къ графу Герарду, и буря, и наводненіе и пьянство Омельки, и охота въ Маріентагѣ, и проч. и проч.!... И несмотря на то, что этотъ человекъ равнодушно, безъ сожалѣнія, безъ раскаянія обманываетъ людей, съ которыми связанъ и дружбою и любовью, авторъ силится представить его, человекѣмъ благороднымъ и возвышеннымъ!...

Послѣ Юрія Романовича, или прежде его, — не знаемъ, право — должно занимать первое мѣсто въ романѣ лицо Цвиркуна, пѣсѣуна Гедыминичей и Альфа. Въ немъ благосклонный читатель долженъ видѣть также человекѣа идеально-высокаго, но въ то же время и простаго, комически-веселаго, милаго, любезнаго; и автору не можетъ быть пріятно, если неблагосклонный читатель увидитъ въ Цвиркунѣ пустаго болтуна, который, думая быть оригинальнымъ и шутивымъ въ своемъ многоглаголаніи, бываетъ только несносно скученъ. Натянутость и неестественность въ комическомъ еще несноснѣе, чѣмъ въ трагическомъ... А вотъ сейчасъ являются на сцену и трагическія ходули: на нихъ громоздится, шатаясь и падая безпрестанно, сумасшедшая Вундина — лицо мелодраматическое до смѣшнаго и шутовскаго: Кстати о шутовскомъ: въ романѣ г. Кукольника оно имѣетъ особеннаго представителя въ лицѣ Ларчика, маленькаго урода и шута при д. орѣ Ольгерда. Этотъ Ларчикъ не простой шутъ: онъ стараетъ пламенною страстію къ Альдонѣ, за что Ольгердъ то и дѣло бьетъ его костьюемъ...

Но не перечтешь всѣхъ героевъ въ романѣ г. Кукольника. На обрисовку каждаго изъ нихъ авторъ не пожалѣлъ словъ, и каждое изъ нихъ не жалѣетъ словъ, чтобъ наскучить собомъ читателю. Въ романѣ, какъ и въ самой дѣйствительности, могутъ быть лица случайныя и незначительныя; но только великіе поэты умѣютъ одною чертою, однимъ словомъ очеркивать ихъ характеры; обыкновенные таланты оставляютъ ихъ такъ, а посредственности заставляютъ ихъ высказывать себя пустымъ многословіемъ, которое дѣлаетъ ихъ еще безличнѣе. Вообще, характеры у г. Кукольника очерчены такими общими, безхарактерными чертами, что трудно отличить одно лицо отъ другаго, и читатель невольно запутывается въ чащѣ именъ, словно въ густомъ лѣсу. Характеръ разказа г. Кукольника эпизодическій: кончивъ главу и прощаешься надолго съ выведенными въ ней лицами и событіями, чтобъ въ слѣдующей познакомиться съ новыми, а когда потомъ опять встрѣтишься съ первыми, то уже и не узнаешь ихъ. Самъ романъ начинается съ 225-й страницы перваго тома: все предыдущее есть родъ введенія. Слогъ романа соответствуетъ содержанію и характерамъ дѣйствующихъ лицъ: онъ какъ-то утомляетъ и наводитъ дремоту...

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ, *арабскія сказки*. Спб. 1839
и 1842. Части 6, 7, 8, 9, и 10.

Арабскія сказки суть полнѣйшее выраженіе національнаго духа и общенности важнѣйшаго изъ мухаммеданскихъ народовъ, нѣкогда игравшаго въ мірѣ такую великую роль. Созданія пламенной фантазіи, отрѣшившейся отъ всѣхъ прочихъ способностей души, онѣ отличаются сплетеніемъ и переплетеніемъ

частей и эпизодовъ, образующихъ собою какое-то уродливое дѣло, — узорчатою пестротою своей фантастической ткани и рязкою яркостію своихъ восточныхъ красокъ; онѣ невольно поражаютъ этимъ безмысленнымъ, произвольнымъ искаженіемъ дѣйствительности, или, лучше сказать, этою дѣйствительностію, построенною на воздухѣ, лишенною всѣхъ подперъ возможности, вопреки здравому смыслу. Это то самое и придаетъ имъ колоритъ оригинальности, составляющій главную ихъ прелесть.

Всѣ восточные народы — страстные охотники до разсказовъ и, такъ какъ восточная жизнь лишена всякаго движенія и разнообразія, они хотятъ чтобъ эти разсказы были исполнены чудесъ и небывалыхъ приключеній, которыя составляли бы собою контрастъ съ ихъ однообразною, скучною дѣйствительностію. И какъ понятно, что, несмотря на всю негнѣность вымысла, эти сказки слушаются бритыми правобѣрными головами съ самымъ добродушнымъ убѣжденіемъ въ непреложной истинѣ каждой черты ихъ! Это не глупость, а младенческое состояніе ума, погруженнаго въ вѣчную дремоту. Вотъ почему для дѣтей чтеніе «Арабскихъ Сказокъ» доставляетъ столько наслажденія: человекъ-дѣтя въ Европѣ сочувствуетъ народу-дѣтяти въ простодушныхъ откровеніяхъ его фантазіи. Человѣкъ взрослый не можетъ читать залпомъ этихъ сказокъ: ему наскучитъ одно и то же — и чудесныя красавицы, и разумныя принцы, и повторенія однихъ и тѣхъ же рѣчей, въ которыхъ ровно ничего нѣтъ. Но такъ какъ и между взрослыми много дѣтей, то «Арабскія Сказки» всегда будутъ имѣть у себя обширный кругъ читателей и почитателей.

ОЫИТЬ ВИВЛОГРАФИЧЕСКАГО ОБЗРВНІА, или очерки послѣднѣю полугодія русской литературы, со октябръ 1841 по апрѣль 1842 (Л. Брама). Сиб. 1842.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПЕРІОДИЧЕСКИХЪ ИЗДАНІЯХЪ РУССКИХЪ. Сиб.

Занятіе «литературою», видно, становится у насъ занятіемъ очень прѣвлекательнымъ. Страсть къ сочинительству съ каждымъ днемъ возрастаетъ. Не говоримъ уже о томъ, что почти ежедневно, — и все чаще и чаще, — появляются въ печати на русскомъ языкѣ книжки и книжонки, изумляющія своею пустотою и рецензентовъ, которые обязаны читать ихъ, и тѣхъ горемычныхъ людей, которымъ случайно попадаютъ онѣ на глаза и которыми читаются «скуки-ради». Кто пишетъ ихъ? кто ихъ издаетъ? для кого издаются онѣ? — Богъ вѣсть! Извѣстно только, что все это дѣйствительно пишется, издается и, можетъ-быть, продается, благодаря ловкости бородатыхъ разносителей просвѣщенія по темнымъ угламъ обширнаго царства русскаго. Но еслибъ вы, почтенный читатель мой, знали, сколько еще не печатается, изъ того, что пишется: вы ужаснулись бы этой громадной массы исписанной бумаги, этого изумительнаго потока бездарности, пошлости и безграмотности. Когда бъ вы знали, сколько, напримѣръ, пишущій эти строки обязанъ, по долгу журналиста, прочесть, въ теченіе года, стихотвореній большихъ и малыхъ, повѣстей, разсказовъ, отрывковъ, такъ называемыхъ «ученыхъ» статей, и пр. и пр., — вамъ сдѣлалось бы страшно, увѣряю васъ! Но прибавьте еще, что большую часть всего этого должно читать по пустякамъ, потому что большая часть статей, присылаемыхъ отъ господъ анонимовъ, псевдонимовъ, и другихъ, подписывающихъ свои подлинныя, невыдуманная имена, остается безъ употребленія и отсылается въ контору Отечественныхъ

Записокъ «для вознагражденія». Еслибъ печатать все получаемое редакціею, то въ теченіе года можно было бы издавать три такіе журнала, по объему, какъ «Отечественныя Записки», и каждая книжка этого журнала могла бы быть втрое толще каждой книжки «Отечественныхъ Записокъ». Ужасъ! Откуда все это берется? что за имена неслыханныя и невиданныя въ русской литературѣ, которыя пишутъ и присылаютъ эти статьи? гдѣ скрываются они? Отъ Архангельска до Ахалциха, отъ Варшавы до Иркутска едва ли есть хоть одна губернія, которая не надѣлила бы редакціи «Отечественныхъ Записокъ» нѣсколькими статьями, переводными и оригинальными, повѣстями, рассказами, стихами, — особенно же стихами... Охъ, ужъ эти стихи! отъ нихъ рѣшительно нѣтъ отбоя: они присылаются ежедневно со всѣхъ сторонъ, на разноцвѣтныхъ бумажкахъ, удивительно красиво переписанные, весьма часто запечатанные въ пакетахъ, застрахованныхъ на почтѣ. И что за умилятельныя письма получаютъ съ этими статьями! Васъ просятъ такъ униженно, такъ ласково, какъ-будто дѣло шло Богъ-знаетъ о какомъ благополучіи; вамъ говорятъ, что хоть статья и не имѣетъ никакого достоинства, но для поощренія юнаго таланта, только что выступающаго на литературное поприще, вы должны поправить ее и напечатать, чѣмъ безконечно обяжете автора и поощрите его къ дальнѣйшимъ трудамъ (какъ-будто журналъ — пансіонская тетрадка, въ которой мальчишки пробуютъ свои перья, плохо очиненныя и кепривыкшія еще къ ортографіи!); иногда убѣждаютъ васъ несчастными обстоятельствами автора, его безпомощностью, бѣдностью, и пр., — какъ-будто журналъ — богадѣльня или лазаретъ для пособія нуждающимся! Еще чаще читаете, что не авторское самолюбіе, но единственно желаніе видѣть статью свою напечатанною въ такомъ прекрасномъ журналѣ, какой вы надеете, заставляетъ автора просить васъ о помѣщеніи его

статьи, которую онъ самъ смиренно признаетъ недостаткомъ такого прекраснаго журнала,.. О, да сколько могъ бы я порассказать вамъ о тѣхъ изворотахъ, которые употребляютъ двоящя-сочинители, чтобъ какъ-нибудь попасть въ журналъ съ своею статьею и видѣть подъ нею свое неизвѣстное имя! Новѣрьте, это презабавная исторія. Когда-нибудь, на досугѣ, я побесѣдую о ней съ вами; но и теперь не могу удержаться, чтобъ не упомянуть объ одномъ пространномъ письмѣ, недавно полученномъ мною со стихами изъ города Лубны — письмѣ, которое вѣрно удивитъ васъ не менѣе того, какъ и меня удивило. Вообразите: къ стихамъ, — весьма похожимъ на старческіе, хотъ немножко бессмысленныя, но за то съ рифмами — предложено десять рублей ассигнаціями, которые авторъ проситъ редакцію оставить у себя, если стихи будутъ напечатаны! Вотъ до чего доводитъ наконецъ страсть къ сочинительству! Люди отверженные искусствомъ, не только силятся писать, но только тратятъ время на написаніе, и деньги на перепечатываніе своихъ статей, — часто огромныхъ тетрадей in-folio — не только платятъ вѣсовыя и страховыя на почту, но еще хотятъ платить редакціямъ за то только, чтобы хоть какъ-нибудь напечататься! . . . Жалкая гибельная страсть, впрочемъ весьма понятная тамъ, гдѣ литература — не искусство, а только забава, гдѣ равнодушіе публвки равняется лишь дурности и невѣжеству литературщиковъ, смѣло выступающихъ впередъ и гордо называющихъ себя «сочинителями»; гдѣ само искусство — плодъ еще несозрѣвшій снаружи, но уже гниющей внутри; гдѣ наконецъ нѣтъ никакой литературы, а есть только гениальныя проблески, подобно молніи на минуту озаряющіе темный горизонтъ и быстро исчезающіе... Но за то, въ этой же тьмѣ гнѣздятся цѣлыя стаи особыхъ существъ, родъ мелкихъ гномовъ, которые, вообразивъ себя поэтами, романистами, драматистами, критиками трудятся, хлопочутъ,

нищать, кричать, и очень обижаться, когда ихъ никто не слушаетъ, или когда кто-нибудь прикрикнетъ на нихъ, чтобы замолчали. Раздутое самолюбие этихъ маленькитъ человѣчковъ ищетъ имъ видѣть въ себѣ людей очень обыкновенныхъ, очень простыхъ, и непременно требуетъ, чтобы они приобрѣли себѣ громкое имя; а какъ громкое имя легче всего приобретается черезъ типографскіе станки, то они и слятся во чтобы ни стало, попасть въ «сочинители». И это-то движеноіе незнаемое публикою, приятное только для микрокосма журналиста, многіе чествуютъ именемъ литературы русской, видятъ въ ней жизнь, дѣятельность, партиі, и Богъ знаетъ что еще... Бѣдная литература! бѣдное искусство!

Вотъ недалекій примѣръ: передъ нами лежатъ двѣ брошюры, которыхъ названія выписаны выше. Что это такое? Посмотрите, сдѣлайте, милость. Сочинитель ихъ — какой-то господитъ Брантъ, который написалъ, по его собственному увѣренію, какія-то повѣсти и, разобитенный журналами, надалъ еще какую-то брошюру «Петербургскіе Критики и Русскіе Писатели». Повѣстей его, вѣроятно, никто не читалъ; даже и мы позабыли о нихъ, какъ забываемъ обыкновенно весь этотъ печатный хламъ, отдавъ о немъ въ свое время отчетъ публикѣ; брошюры его «Петербургскіе Критики» также не припомнимъ; но отыскавъ рецензію свою о ней въ нашемъ же журналѣ, видимъ что это былъ — слабенькій голосъ обиженнаго самолюбца, желавшаго какъ-нибудь попасть въ извѣстность, слившагося намузить о себѣ какъ можно больше, и жестоко обманувшагося въ своихъ расчетахъ, потому что шума оно никакого не сдѣлало, а брошюра, умерла, только что родившись, и погребена, какъ теперь извѣщаетъ самъ г. Брантъ, въ магазинѣ г. Юнггейстера: желающіе поклониться праху ея могутъ адресоваться къ этому книгопродавцу. Такимъ образомъ, первая попытка неудалась г. Бранту: читатели не слышали его имени, не читали его «сочин-

ней»; надо было выдумывать первое средство, чтобы как-нибудь да попасть въ «сочинителя». Какое же средство? Съ по-вѣстями г. Бранта публика не заблагодарасудила незнакомиться, съ брошюрою его тоже; дай попытаться — съдѣлаться критикомъ, или, правильнѣе «критиканомъ»: публика любитъ критики, она съ жадностію читаетъ этотъ отдѣлъ въ журналахъ, многіе ищутъ тутъ предмета для разговоровъ, даже для снѣтень, — и вотъ г. Брантъ дѣлается критиканомъ, собираетъ 70 книгъ, вышедшихъ съ октября 1841 по апрѣль 1842 года, и на 72 хъ страничкахъ отдастъ о нихъ кому-то отчетъ — (мы говоримъ: «кому-то», потому что никто не просилъ объ этомъ г. Бранта, никто не возлагалъ на него этой обязанности, никто не требовалъ у него отчета)... Но тутъ новое затрудненіе: кто же будетъ читать эту брошюру? кому нужно знать, что думаетъ г. Брантъ о той или другой книжкѣ, изъ вышедшихъ съ октября 1841 по апрѣль 1842 года? Г. Брантъ тотчасъ нашелъ: онъ выдумалъ разослать свою брошюру при газетахъ безденежно. Теперь ужь, конечно, вы, во новелѣ, если не прочтете, то хоть увидите ее, и на ней увидите имя его, г. Бранта, — а ему этого только и хочется... Славная выдумка! Немножко убыточна, правда, потому что напечатать нѣсколько тысячъ экземпляровъ чегонибудь — стѣитъ денегъ; но вѣдь почему же не потѣшить своего сочинительскаго самолюбія? Это такъ весело, такъ дѣтски невинно, такъ пансіонски-простоудинно! Притомъ и не то еще принесется въ жертву страсти сочинительствовать... Удивительно только, какъ никто до сихъ поръ не воспользуется этимъ для водевилей...

Но возвращаемся къ г. Бранту. Объ брошюры его: и «Опытъ Библиографическаго обозрѣнія», и «Нѣсколько словъ» суть новые холостые выстрѣлы въ поле. Слишкомъ было бы и отыскивать въ нихъ какогонибудь критическаго подтекста, принадлежащаго или сочинителю: о критеріумѣ не можетъ быть тутъ и

помина. Да, впрочемъ, г. Брантъ, какъ видно, и не хлопоталъ объ этомъ, — вѣтъ, онъ весьма простодушно, хоть и весьма широковѣщательно, цѣтисто, съ невыразимыми претензіями на краснорѣчіе, говорить, что такая-то книжка очень хороша, другая только хороша, третья не болѣе какъ нарядна, не отдавая никакого отчета, почему все это ему кажется такъ, а не иначе, — ибо общихъ мѣстъ, которыя онъ повторяетъ съ голосу, хватаявъ ихъ оттуда-отсюда по журналамъ, нельзя же назвать основаніями въ дѣлѣ критики: это годно только для критиканства тѣхъ господъ «сочинителей», которые цѣлымъ вѣкъ свой пѣтушатся изъ того, чтобъ ихъ называли «сочинителями». Чтобъ видѣть, какъ г. Брантъ мало понимаетъ значеніе критики, довольно взглянуть на заглавіе его «Опыта». Скажите, сдѣлайте милость, на чемъ основывался онъ, начавъ свое обозрѣніе съ октября 1841 года? Почему не началъ онъ его прежде, или послѣ этого времени? Вѣдь книга или брошюра должна представлять изъ себя нѣчто цѣлостное; а что цѣлостнаго могутъ доставить книги, вышедшія съ октября 1841 по апрѣль 1842 года? Былъ ли этотъ періодъ эпохою въ русской литературѣ? Означеновался ли онъ чѣмъ-нибудь особеннымъ, что могло бы доставить обозрѣнію общій выводъ? Ничего не бывало! Г. Брантъ, принявшись случайно въ апрѣлѣ мѣсяцѣ критиковать въ своей литературѣ книги и книжонки, просто отсчиталъ шесть мѣсяцевъ назадъ, и — какъ надо ему отдать справедливость, считать онъ умѣетъ очень вѣрно, ибо мартъ, февраль, январь, декабрь, ноябрь, октябрь составляютъ ровно полгода, — то и остановился на октябрѣ, съ котораго начинается это полугодіе, да и пошелъ себѣ расписывать тому похвалу, тому совѣтъ, тому замѣчаніе... Господи Боже мой! откуда что берется! Мы, де-скать, и о томъ-то просимъ, и то-то совѣтуемъ, — и все такъ важно, такъ ораторски, все мы, да мы, — точно редакція какого-нибудь журнала... Дѣт-

ство, литературное простожное дѣтство, такъ охотно копирующее все, что дѣлаютъ взрослые!... Но будемъ надѣяться, эта новая неудавшаяся попытка авось образумитъ г. Бранта, и онъ перестанетъ сочинительствовать, для того, чтобъ разсылать свои сочиненія даромъ при газетахъ...

Боже нечего сказать объ этихъ брошюрахъ... Однакожь, позвольте, позвольте, что это на послѣдней страницѣ «Опыта»? Боже великій! да это объявленіе... да, да, глаза не обманываютъ насъ, — объявленіе о новой затѣѣ г. Бранта, — о новомъ романѣ въ трехъ частяхъ, подъ названіемъ «Жизнь, какъ она (?) есть», съ психологическими интересами, съ историческими лицами, съ д'Абрантесъ и Гёте (Гёте, изображаемый господиномъ Брантомъ!!!), съ событіями 1814 и 1815 годовъ... Нѣтъ, ужъ такое средство втискиваться въ сочинителя превосходятъ всякую мѣру. Надобно этимъ шуткамъ и конецъ знать! Побойтесь Аполлона, г. Брантъ! Мы пропускаемъ безъ вниманія ваши похвалы самому себѣ, такъ скромно выраженные въ предисловіи къ «Опыту», пропускаемъ то мѣсто, гдѣ, говоря о «Нашихъ» и юридически придираясь къ статьѣ «Армейскій Офицеръ», вы рассказываете своимъ читателямъ, что вы родились и выросли «на бивуакѣ, въ лагеряхъ съ отпочкованымъ ветераномъ», какъ-будто это нужно знать кому-нибудь; пропускаемъ безъ упоминанія вашу непостижимо отчаянную выходку на стр. VI-й брошюры «Нѣсколько Словъ о періодическихъ изданіяхъ Русскихъ», что будто бы «большая часть журналовъ нашихъ сильно заговорили (а) о добросовѣстности критики именно съ изданіемъ вашей брошюры «Петербургскіе критики и Русскіе писатели», которой никто не читалъ и которая, по этому, не могла имѣть ни на что и ни на кого никакого вліянія, — выходку, которая вамъ не обошлась бы даромъ, еслибъ намъ не жалко было тратить словъ по пустому и доказывать вамъ, что нехудо бы иногда знать и мѣру... Все это мы пре-

пускаемъ; но пощадите же и вы насъ, пощадите самого себя, бросьте свое несчастное намѣреніе печатать трехтомный романъ для подваловъ книжныхъ лавокъ, или для подарковъ подписчикамъ разныхъ газетъ. Имѣйте, наконецъ, хоть маленькое состраданіе къ бѣдной русской литературѣ, которая имѣетъ уже у себя гг. Адишановыхъ, Сигевыхъ, Кузмичевыхъ...

РОБИНЗОНЪ КРУЗЕ. *Романъ для дѣтей. Сочиненіе Кампе. Спб. 1842.*

Въ предисловіи, говоря объ извѣстности, которую такъ заслуженно пользуется дѣтская книга «Робинзонъ Крузе», переводчикъ приводитъ мнѣніе Руссо, изъ книги его «Emile ou de l'Education», и за тѣмъ, объясняя, что Руссо говоритъ не о «Робинзонѣ» Нѣнца Кампе, а о «Робинзонѣ» Англичанина Даниэля Фое, прибавляетъ:

«Но добрый Жанъ-Жакъ, говоря о томъ Робинзонѣ, котораго онъ имѣетъ въ виду, не совсемъ вѣрно выражается, что будто бы Робинзонъ на своемъ островѣ, *devenant des instruments de tous les arts*; вѣтъ, Робинзонъ Даниэля Фое попадаетъ на островъ не совсемъ съ голыми руками: у него есть карманный ножикъ, вѣтъ времени, труть, а въ скоромъ времени съ разбитаго корабля онъ добываетъ себѣ много инструментовъ, топоръ, пилу, наконецъ ружья, перохъ и пр. Отъ этого «Робинзонъ» теряетъ много занимательности для книгъ читателей, потому что хотя онъ и уединенъ на островѣ, удаленъ отъ общественной жизни, но не лишонъ многихъ орудій, которыя доставила ему именно жизнь общественная.»

Здѣсь г. переводчикъ гораздо больше «не совсемъ вѣрно выражается», чѣмъ добрый Жанъ-Жакъ, и ровно даждь грубить противъ истины. Во первыхъ, эпитетъ добраго (граничащій своимъ значеніемъ съ эпитетомъ «простодушнаго») ни сколько не идетъ къ Руссо, къ имени котораго гораздо больше шелъ бы эпитетъ гениальнаго и тѣло великаго

писателя. Руссо не был философомъ въ новейшемъ смыслѣ этого слова, въ смыслѣ ученаго, который занимается философіею, какъ наукою: вѣдъ котораго философія имѣетъ чисто ученый, кабинетный интересъ, вѣдъ жизни; но Руссо былъ мудрецъ, въ смыслѣ древнихъ, т. е. человѣкъ, котораго вся жизнь была мышленіемъ, котораго мышленіе было любовію, и любовь мышленіемъ... Руссо не создалъ никакой философской системы, не обогатилъ идеями новейшую философію, такъ что самъ Гегель, осылается на него, какъ на величайшій авторитетъ. И Руссо былъ правъ, видя столь важную для воспитанія книгу въ «Робинзонѣ» Даниэлѣ Фое; а переводчикъ Камшо совсѣмъ не правъ, отдавая преимущество переведенной имъ книгѣ передъ «Робинзономъ» англійскимъ. Правда, англійскій Робинзонъ очутился на островѣ съ ножомъ, трубкою и малымъ количествомъ табаку въ карманѣ, и вскорѣ перевезъ съ корабля все ему нужное: но это обстоятельство нисколько не ослабило основной мысли романа, — мысли человѣка, поставленнаго въ необходимость, для поддержки своего существованія, бороться со всевозможными препятствіями и побѣждать ихъ, развивая въ себѣ спавшую дотогѣ способность изобрѣтательности, и одиный собою представляя цѣлое общество; ибо всевозможныя орудія работы были бы Робинзону, ничему неучившемуся съ малолѣтства, совершенно бесполезны, еслибы необходимость и чувство самосохраненія, вмѣсто того, чтобъ убить его энергію, напротивъ не укрѣпили ее и не вызвали на борьбу всѣхъ силъ духа его, самому ему дотогѣ неизвѣстныхъ. Сверхъ того, Робинзонъ Фое запасся ружьями, порохомъ, компасами, математическими инструментами, зрительными трубками и книгами; но не имѣетъ кирпичей, лопатокъ, заступовъ, иглы, нитокъ, полотна и многого другаго. Для себя столъ и стулъ, онъ принужденъ былъ рубить цѣлое дѣрево и, отрубивъ сучья, тесать его до тѣхъ поръ, пока не

выходила изъ него доска железной толщины. Слѣдовательно, «добрый» Руссо былъ правъ, говоря о Робинзонѣ, какъ о чьей-либо лишней, лишнемъ необходимыхъ инструментовъ.

Вообще, «Робинзонъ» Фозъ несравненно лучше «Робинзона» Кампе: послѣдній состоитъ, большею частію, изъ истыстическихъ и резонёрскихъ разговоровъ отца, рассказывающаго дѣтямъ исторію Робинзона. Эти разговоры для дѣтей, болѣе способны произвести въ дѣтяхъ скуку и отвращеніе къ морали, чѣмъ быть для нихъ наставительными. «Робинзонъ» Фозъ большею частію наполненъ разказами, котораго интереса и занимательности для дѣтей ни съ чѣмъ нельзя сравнить: разсужденіями онъ наскучаетъ довольно рѣдко. Этотъ первоначальный и истинный «Робинзонъ» былъ переведенъ и по-русски (съ французскаго перевода) въ 1814 году подъ заглавіемъ: «Жизнь и приключенія Робинзона Круза природнаго Англичанина. Переведена съ французскаго Яковомъ Трусовымъ.»

Во всякомъ случаѣ, и новый переводъ книги Кампе не лишній въ нашей литературѣ, такъ бѣдной сколько-нибудь новыми сочиненіями для дѣтей; тѣмъ болѣе не лишній, что онъ сдѣланъ порядочно, со смысломъ, и изданъ опрятно.

ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧКОВА, ИЛИ МЕРТВЫЯ ДУШИ. *Поэма Н. Гоголя Москва. 1842.*

Есть два способа выговаривать новыя истины. Одинъ — уклончивый, какъ будто непретиворѣчавій общему мнѣнію, болѣе намекающій, чѣмъ утверждающій; истина въ немъ доступна избраннымъ и замаскирована для толпы сиромыши выраженіями: «если съѣдемъ такъ думать, если позволено такъ выразиться, если не ошибаемся» и т. п. Другой способъ

выговаривать истину — прямо и резко: въ немъ человѣкъ является провозвѣстникомъ истины, совершенно забывъ себя и глубоко презирая робкія оговорки и двусмысленные намеки, которые каждая сторона толкуетъ въ свою пользу, и въ которыхъ видно низкое желаніе служить и нашимъ и вашимъ. «Кто не за меня, тотъ противъ меня» — вотъ девизъ людей, которые любятъ выговаривать истину прямо и смѣло, заботясь только объ истинѣ, а не о томъ, что скажутъ о нихъ саміихъ... Такъ какъ цѣль критики есть истина же, то и критика бываетъ двухъ родовъ: уклончивая и прямая. Является великій талантъ, котораго толпа еще не въ состояніи признать великимъ, потому что имя его не притвердилось ей, — и вотъ уклончивая критика, въ осторожнѣйшихъ выраженіяхъ, докладываетъ «почтеннѣйшей публикѣ», что явилась-де замѣчательное дарованіе, которое, конечно, не то, что высокіе гени гг. А. Б и В, уже утвержденные общественнымъ мнѣніемъ, но которое, не равняясь съ ними, все-таки имѣютъ свои права на общее вниманіе; мимоходомъ намекаетъ она, что хотя-де и не подвержено никому сомнѣнію гениальное значеніе гг. А. Б и В, но что-де и въ нихъ не можетъ не быть своихъ недостатковъ, потому-де, что «и въ солнцѣ и въ лунѣ есть темныя пятна»; мимоходомъ, приводитъ она мѣста изъ новаго автора и ничего не говоря о немъ самомъ, равно какъ и не опредѣляя положительно достоинства производимыхъ мѣстъ, тѣмъ не менѣе говоритъ о нихъ восторженно, такъ что задняя мысль этой уклончивой критики нѣкоторымъ, весьма не многимъ, даетъ знать, что новый авторъ выше всѣхъ гениальныхъ гг. А, Б и В, а толпа охотно соглашается съ нею, уклончивою критикой, что новый авторъ очень можетъ быть и не безъ дарованія, и затѣмъ забываетъ и новаго автора и уклончивую критику, чтобъ снова обратиться къ гениальнымъ именамъ, которыя она, добродушная толпа, затвердела уже наизусть. Не

виземъ, до какой степени полезна такая критика. Согласны, что можетъ-быть, только она и бываетъ полезна; но какъ натуры своей никто переменить не въ состояніи, то, признаемъся, мы не можемъ побѣдить нашего отращенія къ угловатой критикѣ, какъ и ко всему угловатому, ко всему, въ чемъ желкое самолюбіе не хочетъ отстать отъ другихъ въ уразумѣніи истины и, въ то же время, боится оскорбить множество мелкихъ самолюбій, обнаруживъ, что знаетъ больше ихъ, а потому и ограничивается скромною и благонаѣвренною службою и нашимъ и вашимъ... Не такова критика прямая и сиблая: замѣтивъ въ первомъ произведеніи молодого автора исполнискія силы, пока еще несформировавшіеся и не для всѣхъ прижѣтныя, она, упоенная восторгомъ великаго явленія, приеме объявляетъ его Алкидею въ колыбели, который дѣтскими руками мощно душитъ завистливыя мелкія дарованьяца, пристрастныхъ, или ограниченныхъ и недалеконзидныхъ критиковъ... Тогда на бѣдную «прямую» критику сыплются насмѣшки и со стороны литературной братіи, и со стороны публики. Но эти насмѣшки и шутки чужды всякаго спокойствія и всякой добродушной веселости; напротивъ, онѣ отзываются какимъ-то безпокойствомъ и тревогою безсмія, исполнены вражды и ненависти. И не мудрено: «прямая критика» не удовольствовалась объявленіемъ, что новый авторъ обѣщаетъ великаго автора; нѣтъ, она, при этомъ удобномъ случаѣ, выразилась съ своею ответственною ей откровенностію, что гениальные гг. А, Б и В съ компаніею, никогда не были даже замѣчательно-талантливыми господами; что ихъ слава основалась на неразвитости общественнаго мнѣнія и держится его лѣнливою неподвижностію, привычкою и другими чисто внѣшними причинами; что одинъ изъ нихъ вообразившись на ходуля ложныхъ, натянутыхъ чувствъ и надутыхъ, пустозвонныхъ фразъ, оклеветалъ действительность ребаческими выдумками; другой ударился въ претивоно-

должную крайность и глаза съ греза назвалъ свои грубыя картинны, приравная ихъ провинціальнаго шперемъ; и такъ третьяго, четвертаго и пятаго... Вотъ тутъ-то и начинается борьба старыхъ истинъ съ новыми, предрассудкамъ, страстей и пристрастій — съ истинною (борьба, въ которой всего больше достается «прямой критикъ», и о которой всего меньше хочется знать «прямая критика»)... Врагами новаго таланта являются даже и умные люди, которые уже столько прожили на бѣломъ свѣтѣ и такъ утвердились въ извѣстномъ образѣ мыслей, что уже въ новомъ свѣтѣ истины по неволѣ видятъ только неприменіе истины; если же въ нихъ найдется хоть одинъ такой, который въ свое время и самъ понималъ больше другихъ, былъ поборникомъ новой истины, теперь уже ставшей старою, — то спрашиваемъ, какова же должна быть его непомощная вражда противъ новаго таланта, въ которомъ онъ чувствуетъ что-то, но котораго понять не можетъ? И если у этого сі devant-умнаго и шедшаго впередъ съ высшими взглядами, а теперь отсталаго отъ времени человека, если у него характеръ слабый, ничтожный и завистливый, а самолюбіе мелкое и раздражительное, то спрашиваемъ, какое жалкое зрѣлище должна представлять его отчаянно бессильная борьба съ новымъ талантомъ?... Что же сказать о тѣхъ «господахъ-сочинителяхъ», которые, благодаря своей ловкости и сметливости, заимавшихъ у людей ограниченныхъ и бездарныхъ умъ и талантъ, пошлыми, въ камердинерскомъ вкусѣ остроуміи надъ французскимъ языкомъ, балами и модами, лорнетками, куцыми фразами, прическою à la russe, усамъ, бородами и т. п., успѣли во-время подтибрить себѣ извѣстность нравственно-сатирическихъ и нравственно-описательныхъ талантовъ? Правда, новый талантъ ничего имъ не сдѣлалъ, ничего о нихъ не сказалъ, никогда съ ними не знался ни лично, ни литературно, какъ съ людьми, съ которыми у него общаго ничего нѣтъ и

быть не может; но за то, онъ показалъ, что такое истинный юморъ и непрощаемая неумѣстность и дерзость истинная про-
 ния, и какъ должно дѣйствовать въ пользу общественной нрав-
 ственности, не резонёрствуя о нравственности, но только «сво-
 вода въ перлъ созданія» типическія явленія дѣйствительности
 а это развѣ не то же самое, что убитъ назовалъ нашихъ нрав-
 ственно-сатирическихъ сочинителей, даже и не принимая на
 себя труда знать о ихъ незанимательномъ существованіи? И
 вотъ они, эти господа нравственно-сатирическіе и другихъ
 родовъ сочинители, прославившіеся не одними романами, но
 и въ качествѣ грамотѣевъ и исправныхъ корректоровъ, приобъ-
 гають, для униженія страшнаго имъ таланта, ко всевозможнымъ
 свойственнымъ имъ уловкамъ: сперва не признаютъ въ немъ
 никакого таланта и видятъ рѣшительную бездарность; но созна-
 вая, къ своему ужасу, что слава таланта все растетъ и ра-
 стетъ, все идетъ и идетъ своею дорогою и не замѣчаетъ
 раздающагося вокругъ него лая, они начинаютъ милостиво за-
 мѣчать въ немъ талантъ, изъявляя сожалѣніе, что онъ дозво-
 ляетъ себѣ сбиваться съ пути, увлекаться непоумѣрными по-
 хвалами пріятелей (изъ которыхъ со многими онъ даже и незна-
 комъ совсѣмъ), которые видятъ въ немъ и Богъ-знаетъ что,
 тогда какъ онъ въ самомъ-то дѣлѣ имѣетъ талантъ только вѣр-
 но и забавно списывать съ натуры; дагѣе, «при себѣ вѣрной
 оказіи», доказываютъ, что онъ даже и языка-то не знаетъ,
 въ подтвержденіе чего указываютъ на мелкіе промахи противъ
 грамматики г. Греча, на типографскія ошибки, или осуждая
 со всѣмъ негодованіемъ, свойственнымъ «угнетенной невинно-
 сти», сильныя, оскорбляющія приличіе выраженія, въ родѣ
 слова вонять, котораго, по ихъ увѣренію, не скажетъ въ ихъ
 обществѣ и порядочный лакей... Большинство публики, съ
 своей стороны, оскорбленное, сколько похвалами «прямой кри-
 тики» новому таланту, къ которому оно еще не привыкло, и

котораго, потому, еще не могло понять, столько же — или еще больше — ее откровенными выходками противъ геніальныхъ гг. А, Б и В, къ которымъ еще давно привыкло, и которыхъ хотя ужъ и не читаетъ, но не привычекъ и преданій все еще считаетъ геніями, — это большинство публики вдвойне не благоволятъ къ новому таланту. Господа нравственно-сатирическіе сочинители хорошо понимаютъ это и еще лучше пользуются этимъ: они по-временнѣи перестаютъ говорить о себѣ и своихъ бессмертныхъ сочиненіяхъ, и являются жаркими поклонниками чужой славы, прежде, т. е. когда она была въ ходу, ниин ненавидимой и оскорбляемой, а теперь, т. е. когда она скоростнжно скончалась, будто-бы дорогой и священной для нихъ... И вотъ они кричатъ о духѣ партій, который заставляетъ ншею «толстый журналъ» хвалить писателя, неумѣющаго писать по русски, и пристрастно унижать истинныя дарованія... Но вотъ, слава геніальныхъ господъ А, Б и В наконецъ забывается, благодаря времени и рѣзкой откровенности «прямой критики»; новый талантъ дѣлается авторитетомъ: его оригинальныя и самобытныя созданія, полныя мысли, сіяющія художественною красотою, вѣющія духомъ новой, прекрасной жизни, проникаютъ въ сознаніе общества, производятъ новую школу въ искусствѣ и литературѣ, такъ что сами нравственно-сатирическіе сочинители, волею или неволею, принуждены перечинить на новый ладъ свои притупившіяся перья и передразнивать форму недоступныхъ имъ по содержанію твореній генія; общественное мнѣніе круто поворачивается въ пользу великаго поэта, — и воиющая партія отсталыхъ посредственностей теряется, не знаетъ что дѣлать, грозитъ ругательными статьями и не смѣетъ выполнить угрозы, боясь вѣчнаго для себя позора... Не знаешь, какую роль во всемъ этомъ играла «прямая критика» и на сколько содѣйствовала она этому процессу общественнаго сознанія; но знаемъ,

что тѣ же люди, которые изъ порицателей великаго поэта сдѣлались жалкими его поклонниками, не любятъ вспомнить, что такой-то критикъ, еще при первомъ появленіи поэта, не боясь идти противъ общественнаго мнѣнія, не боясь раздражить гусей, равно презирая и насмѣшки и ненависть, смело и рѣзко сказалъ о немъ то, что теперь говорить о немъ большинство и они сами, эти безпаметные люди... Знаемъ также, что явись опять новое, свѣжее дарованіе, нервными свенни созданіями обещающее великую будущность, — «прямая критика» также честно разыграетъ свою роль, и ту же игру повторять, въ отношеніи къ ней и къ поэту, и завистливая посредственность, и тугая, медленная въ процессахъ своего сознанія толпа... Но знаемъ при этомъ еще и то, что «прямота», какъ и все истинное и великое, должна быть сама себѣ цѣлью и въ самой себѣ находить свое удовлетвореніе и свою лучшую награду...

Все это — такъ, взглядъ, разсужденія; теперь скажемъ сло ва два о нѣкоторыхъ фактахъ, подавшихъ намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ и имѣющихъ близкое отношеніе къ автору книги, заглавіе которой выставлено въ началѣ этой статьи. Не углубляясь далеко въ прошедшее нашей литературы, не упоминая о многихъ предсказаніяхъ «прямой критики», сдѣланныхъ давно и теперь сбывшихся, скажемъ просто, что изъ нынѣ существующихъ журналовъ, только на долю «Отечественныхъ Записокъ» выпала роль «прямой» критики. Давно ли было то время, когда статья о Марлинскомъ (ч. III, стр. 434) возбудила противъ насъ столько криковъ, столько непріязненности, какъ со стороны литературной братіи, такъ и со стороны большинства читающей публики? — И что же? смѣшно и жалко видѣть, какъ съ голосу «Отечественныхъ Записокъ», словами и выраженіями (не новы, да благо ужъ готовы!) преслѣдуютъ теперь блѣдный призракъ падшей славы этого блестящаго фразѣра —

Богъ-знаетъ изъ какихъ щелей понаползили въ современную литературу критиканы, Богъ-вѣдаетъ какіе журналы и какія газеты! Большинство публики не только не думаетъ сердиться, но тоже, въ свою очередь, повторяетъ вычитываемыя имъ о Марлинскомъ фразы! Давно ли многіе не могли намъ простить, что мы видѣли великаго поэта въ Лермонтовѣ? Давно ли писали о насъ, что мы превозносимъ его пристрастно, какъ постояннаго вкладчика въ нашъ журналъ? — И что же! Мало того, что участіе и устремленныя на поэта полныя изумленія и ожиданія очи цѣлаго общества, при жизни его, и потомъ общая скорбь образованной и необразованной части читающей публики, при вѣсти о его безвременной кончинѣ, вполне оправдали наши прямыя и рѣзкіе приговоры о его талантѣ,—мало того: Лермонтова принуждены были хвалить даже тѣ люди, которыхъ не только критикъ, но и существованія онъ не подозревалъ, и которые гораздо лучше и приличнѣе могли бы почитать его талантъ своею враждою, чѣмъ приязнію... Но эти нападки на нашъ журналъ за Марлинскаго и Лермонтова ничто въ сравненіи съ нападками за Гоголя... Изъ существующихъ теперь журналовъ, «Отечественныя Записки» первыя и однѣ сказали, и постоянно, со дня своего появленія до сей минуты, говорятъ, что такое Гоголь въ русской литературѣ... Какъ на величайшую нечѣпость со стороны нашего журнала, какъ на самое темное и позорное пятно на немъ, указывали разные критиканы, сочинители и литературшички на наше мнѣніе о Гоголѣ... Еслибъ мы имѣли несчастье увидѣть генія и великаго писателя въ какомъ-нибудь писакѣ средней руки, предметъ общихъ насмѣшекъ и образцѣ бездарности,—и тогда бы не находили этого столь смѣшнымъ, нечѣпнымъ, оскорбительнымъ, какъ мысль о томъ, что Гоголь—великій талантъ, гениальный поэтъ и первый писатель современной Россіи... За сравненіе его съ Пушкинымъ на насъ нападали люди,

всѣми силами старавшіеся бросать грязью своихъ литературныхъ воарбнй въ страдальческую тѣнь перваго великаго поэта Руси... Они прикидывались, что ихъ оскорбляла одна мысль видѣть имя Гоголя подлѣ имени Пушкина; они притворялись глухими, когда имъ говорили, что самъ Пушкинъ первый по- нялъ и оцѣнилъ талантъ Гоголя, и что оба поэта были въ отношеніяхъ, напоминавшихъ собою отношенія Гёте и Шиллера. Изъ всѣхъ немногихъ высоко-превозносимыхъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» повтовъ, только одинъ Лермонтовъ на- ходился съ ихъ издателемъ въ близкихъ пріятельскихъ отноше- нійхъ и почти исключительно одному ему отдавалъ свои про- изведенія; такъ какъ этого нельзя было поставить въ упрекъ ни издателю, ни его журналу, — то вздумали увѣрять, что немногимъ (sic!) успѣхомъ своимъ «Отечественныя Записки» обязаны Лермонтову. Это увѣреніе воспослѣдовало послѣ мно- гихъ другихъ увѣреній въ томъ, что «Отечественныя Записки» никогда не имѣли, не имѣютъ и не будутъ имѣть никакого успѣха... Судя по такому постоянству въ мнѣніи объ успѣхѣ «Отечественныхъ Записокъ», можно думать, что эти люди скоро убѣдятся въ слѣдующей истинѣ: если стихотворенія та- кого поэта, какъ Лермонтовъ, не могли не придать собою боль- шаго блеска журналу, то еще не было на Руси (да и нигдѣ) примѣра, чтобъ какой нибудь журналъ держался чьими бы то ни было стихотвореніями... При этомъ, можетъ-быть, вспомя- нать они, что «Московскій Вѣстникъ», въ которомъ Пушкинъ исключительно печаталъ свои стихотворенія, не имѣлъ ни ка- кого успѣха, ни большаго, ни малаго, потому что въ немъ, кромѣ стиховъ Пушкина, ничего интереснаго для публики не было... Издатель «Отечественныхъ Записокъ» всегда сохра- нить, какъ лучшее достояніе своей жизни, признательную па- мять о Пушкинѣ, который удостоивалъ его больше, чѣмъ простаго знакомства; но признаетъ себя обязаннымъ отречься

отъ высокої чести быть пріятелемъ, или, какъ обыкновенно говорится, «другомъ» Пушкина: если онъ высоко ставитъ поэтический гений Пушкина, такъ это по причинамъ чисто литературнымъ... Въ его журналѣ читатели не разъ встрѣчали восторженные похвалы Крылову и Жуковскому: — и это опять по причинамъ чисто литературнымъ, хотя издатель и пользуется честию знакомства съ обоими лауреатами нашей литературы, и хотя послѣдній удостоилъ его журналъ помѣщеніемъ въ немъ нѣсколькихъ стихъ своихъ... Въ «Отечественныхъ Запискахъ» читатели не разъ встрѣчали также восторженные похвалы Батюшкову и особенно Грибоѣдову; но этихъ двухъ поѣтовъ издатель «Отечественныхъ Записокъ» даже никогда и не видывалъ... Что касается до Гоголя, издатель «Отечественныхъ Записокъ» дѣйствительно имѣлъ честь быть знакомъ съ нимъ; но не больше какъ знакомъ, — и въ то время, какъ «Отечественныя Записки», своими отзывами о Гоголѣ возбуждали къ себѣ ненависть и навлекали на себя осужденія разныхъ критиковъ, — Гоголь жилъ въ Италіи, а возвращаясь на родину, жилъ преимущественно въ Москвѣ, и ни одной строки его еще не было въ нашемъ журналѣ... Что же заговорятъ наши критическіе рыцари печальнаго образа, если когда-нибудь увидятъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» повѣсть Гоголя?... О, тогда они завоняютъ: «видите ли все хвалить своихъ!...»

Мы не безъ умысла разговорились по новоду поэмы Гоголя, о такихъ не прямо-литературныхъ предметахъ, Что дѣлать! наша литература еще такъ молода, общественное мнѣніе такъ еще не твердо, что намъ должно говорить о многомъ, о чемъ уже давно не говорится въ иностранныхъ литературахъ, и о чемъ, есть надежда, скоро совсѣмъ перестанутъ говорить и въ нашей литературѣ... Журналъ издается не для извѣстнаго круга, а для всѣхъ: «Отечественныя Записки» имѣютъ такой обширный

кругъ читателей, въ которомъ нельзя никакъ предполагать единства въ мнѣніи. Притомъ же, многогородная публика, которая издалека смотритъ въ Петербургъ, какъ на центръ литературной дѣятельности въ Россіи, не можетъ иногда не приходить въ смущеніе отъ противорѣчащихъ журнальныхъ толковъ, не зная кому вѣрить, кому не вѣрить: и потому должно давать ей ключъ къ истинѣ не одними словами, но и фактами. Чего добраго!—можетъ-быть, скоро ей начнутъ превозносить Гоголя тѣ же самые люди, которые поносили насъ за похвалы ему, и которые теперь, потерявшись отъ неслыханнаго успѣха «Мертвыхъ Душъ», подобно утопающему, хватаются даже за соломенку для своего спасенія отъ потопленія въ волнахъ Леты, и увѣряютъ, что «Кузьма Петровичъ Миршевъ» выше «Мертвыхъ Душъ»... Чего добраго!—можетъ-быть, скоро эти люди будутъ упрекать насъ въ невѣжествѣ, безвкусіи и пристрастіи, еслибы намъ когда-нибудь случилось какое-нибудь новое произведеніе Гоголя найти неудовлетворительнымъ... Времена переменчивы... Притомъ же есть люди, которые думаютъ, что то и хорошо, что въ ходу...

Но пока, для насъ еще существуетъ достовѣрность, что всѣ знаютъ, кто первый оцѣнилъ на Руся Гоголя... Мы знаемъ, что еслибъ гдѣ и случилось публикѣ встрѣтить болѣе или менѣе подходящее къ истинѣ сужденіе о Гоголѣ, особенно въ тонѣ и духѣ «Отечественныхъ Записокъ», публика будетъ знать источникъ, откуда вытекло это сужденіе, и не прійметъ его за повесть... Теперь всѣ стали умны, даже люди, которые родились неумны, и каждый съумѣетъ постарить яйцо на столѣ...

Послѣ появленія «Мертвыхъ Душъ» много найдется литературныхъ Коломбовъ, которымъ легко будетъ открыть новый великій талантъ въ русской литературѣ, новаго великаго писателя русскаго — Гоголя...

Но не такъ-то легко было открытъ его, когда онъ былъ еще дѣйствительно новымъ. Правда, Гоголь, при первомъ появленіи своемъ встрѣтилъ жаркихъ поклонниковъ своему таланту; но ихъ число было слишкомъ мало. Вообще, ни одинъ поэтъ на Руси не имѣлъ такой странной судьбы, какъ Гоголь: въ немъ не смѣли видѣть великаго писателя даже люди, знавшіе наизусть его творенія; къ его таланту никто не былъ равнодушенъ: его или любили восторженно, или ненавидѣли. И этому есть глубокая причина, которая доказываетъ скорѣе жизненность, чѣмъ мертвенность нашего общества. Гоголь первый взглянулъ смѣло и прямо на русскую дѣйствительность, и если къ этому присовокупить его глубокой юморъ, его безконечную иронию, то ясно будетъ, почему ему еще долго не быть понятымъ, и что обществу легче полюбить его, чѣмъ понять... Впрочемъ, мы коснулись такого предмета, котораго нельзя объяснить въ рецензій. Скоро будемъ мы имѣть случай поговорить подробно о всей поэтической дѣятельности Гоголя, какъ объ одномъ цѣломъ, и обозрѣть всѣ его творенія въ ихъ постепенномъ развитіи. Теперь же, ограничимся выраженіемъ въ общихъ чертахъ своего мнѣнія о достоинствѣ «Мертвыхъ Душъ» — этого великаго произведенія.

Нашей литературѣ, вслѣдствіе ея искусственнаго начала и неестественнаго развитія, суждено представлять изъ себя зрѣлище отрывочныхъ и самыхъ противорѣчащихъ явленій. Мы уже не разъ говорили, что не вѣримъ существованію русской литературы, какъ выраженію народнаго сознанія въ словѣ, исторически развивавшагося; но видимъ въ ней прекрасное начало великаго будущаго, рядъ отрывочныхъ проблесковъ, яркихъ какъ молнія, широкихъ и размахистыхъ, какъ русская душа, но не болѣе, какъ проблесковъ. Все остальное, изъ чего слагается всѣдневная дѣятельность нашей литературы,

имѣть мало, или совсѣмъ не имѣть отношенія къ этимъ проблескамъ, кромѣ развѣ того, какое отношеніе имѣетъ тѣнь къ свѣту и мракъ къ блеску. Гоголь началъ свое поприще еще при Пушкинѣ-и съ смертію его замолкъ, казалось, навсегда. Послѣ «Ревизора», онъ не печаталъ ничего до половины текущаго года. Въ этотъ промежутокъ его молчанія, столь печалившаго друзей русской литературы и столь радовавшаго литературщиковъ, успѣла взойти и погаснуть на горизонтѣ русской поэзіи яркая звѣзда таланта Лермонтова. Послѣ «Героя Нашего Времени» только въ журналахъ (читатели знаютъ, въ какихъ) и альманахъ Смирдина явилось нѣсколько повѣстей, болѣе или менѣе замѣчательныхъ; но ни въ журналахъ, ни отдѣльно не явилось ничего капитальнаго, ничего такого, что составляетъ вѣчное приобрѣтеніе литературы и, какъ лучи солнечныя въ фокусѣ стекла, сосредоточиваетъ въ себѣ общественное сознаніе, въ одно и то же время возбуждая и любовь, и восторженныя похвалы, и ожесточенныя порицанія, полное удовлетвореніе и совершенное недовольство, но во всякомъ случаѣ общее вниманіе, шумъ, толки и споры. Какое-то апатическое уныніе овладѣло литературою; торжество посредственности было полное; видя, что никто ей не мѣшаетъ, она овладѣла и романомъ, и повѣстью, и театромъ; она выпустила длинную фалангу уродовъ и недоносковъ, то передразнивая Марлинскаго въ призракахъ, то шарлатана французскою исторіею и литовскими преданіями, растягивая ихъ на длинные томы скучныхъ росказней; то перебиваясь старою ветошью мнимо-патріотическихъ и мнимо-народныхъ сценъ пресловутой старины; то выдавая намъ за народность грязь простонародья, за патріотизмъ сало и галушки, а за юморъ и остроуміе карикатуры нигдѣ небывалыхъ идіотовъ, которые, по волѣ г. сочинителя, то глупы, то умны, то опять глупы; то пародируя Шекспира и перелагая его драмы на русскіе нравы; то

переводя на русский язык и русскую сцену муссоръ и щебенъ съ задняго двора нѣмецкой драматической литературы... И вдругъ, среди этого торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этихъ пустоцветовъ и дождевыхъ пузырей литературныхъ, среди этихъ ребяческихъ затѣй, дѣтскихъ мыслей, ложныхъ чувствъ, фарисейскаго патриотизма, приторной народности, — вдругъ, словно освѣжительный блескъ молніи среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, безопасно сдерживающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовію къ плодovitому зерну русской жизни; твореніе необъятно-художественное по концепціи и выполнению, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта, — и въ то же время, глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое... Въ «Мертвыхъ Душахъ» авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ нимъ... Величайшимъ успѣхомъ и шагомъ впередъ считаемъ мы со стороны автора то, что въ «Мертвыхъ Душахъ» вездѣ ощущаемо и, такъ сказать, осязаемо проступаетъ его субъективность. Здѣсь мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣйствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатичною душою и духовно-личною самостію, — ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою душу живу явленія внѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу

живу... Это приобладаніе субъективности, проникая и одушевляя собою всю поэму Гоголя, доходит до высокаго лирическаго пафоса и освѣжительными волнами охватываетъ душу читателя даже въ отступленіяхъ, какъ, напримѣръ, тамъ, гдѣ онъ говоритъ о завидной долѣ писателя, «который изъ великаго омота ежедневно вращающихся образовъ избралъ однѣ немногія исключенія; который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратіямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы»; или тамъ, гдѣ говоритъ онъ о грустной судьбѣ писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, все глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣза дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи»; или тамъ еще, гдѣ онъ, по случаю встрѣчи Чичикова съ плѣшившею его блондинкою, говоритъ, что «вездѣ, гдѣ бы ни было въ жизни, среди ли чорствыхъ, шероховато-бѣдныхъ, неопратно-плѣснѣющихъ, низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучно опрятныхъ сословій вышнихъ, вездѣ, хоть разъ, встрѣтится на пути человѣку явленье, непохожее на все то, что случалось ему видѣть дотогдѣ, которое хоть разъ пробудитъ въ немъ чувство, непохожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь; вездѣ, поперегъ какимъ бы то ни было печалямъ, изъ которыхъ плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экипажъ съ золотою упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ, вдругъ неожиданно промчится мимо какой-нибудь заглухнувшей бѣдной деревушки,

невидавшей ничего, кромѣ сельской телеги, — и долго мужики стоятъ, зѣвая съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хоть давно уже унесся и пропалъ изъ виду дивный экипажъ»... Такихъ мѣстъ въ поэмѣ много — всѣхъ не выписать. Но этотъ паеосъ субъективности поэта проявляется не въ однихъ такихъ высоко-лирическихъ отступленіяхъ: онъ проявляется безпрестанно, даже и среди разсказа о самыхъ прозаическихъ предметахъ, какъ, напримѣръ, объ известной дорожкѣ, проторенной забубѣннымъ русскимъ народомъ... Его же музыку чувствуетъ внимательный слухъ читателя и въ восклицаніяхъ, подобныхъ слѣдующему: «Эхъ, русскій народецъ! не любитъ умирать своею смертью!»...

Столь же важный шагъ впередъ со стороны таланта Гоголя видимъ мы и въ томъ, что въ «Мертвыхъ Душахъ» онъ совершенно отрѣшился отъ малороссійскаго элемента и сталъ русскимъ ноціональнымъ поэтомъ во всемъ пространствѣ этого слова. При каждомъ словѣ его поэмы, читатель можетъ говорить:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!

Этотъ русскій духъ ощущается и въ юморѣ, и въ ироніи, и въ выраженіи автора, и въ размахистой силѣ чувствъ, и въ лиризмѣ отступленій, и въ паеосѣ всей поэмы, и въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, отъ Чичикова до Селифана и «подлеца чубараго» включительно, — въ Петрушкѣ, носившемъ съ собою свой особенный воздухъ, и въ будочникѣ, который, при фонарномъ свѣтѣ, въ просонкахъ, казнилъ на ногтѣ звѣря и снова заснулъ. Знаемъ, что чопорное чувство многихъ читателей оскорбится въ печати тѣмъ, что такъ субъективно свойственно ему въ жизни, и назоветъ сальностями выходки въ родѣ казеннаго на ногтѣ звѣря; но это значитъ не понять, поэмы, основанной на паеосѣ дѣйствительности, какъ она есть. Изображайте мѣщанско-флистерскую жизнь Нѣмцевъ, и вы

принуждены будете упоминать (въ похвалу, или насмѣшку) о педантизмѣ ихъ опрятности; касаясь же жизни русскаго простонародья, неотличающагося, какъ извѣстно, излишнею чистоплотностью, значило бы пропустить одну изъ характеристическихъ чертъ ея, еслибъ не замѣтить, что не только въ деревняхъ, днемъ, сидя у воротъ, бабы усердно занимаются казеніемъ звѣрей у ребятишекъ, изъявляя имъ этимъ свою вѣжливость и заботливость, но и въ столицахъ извозники на биржахъ и работники на улицахъ, не рѣдко оказываютъ другъ другу подобную услугу, единственно изъ безкорыстной любви къ такому занятію... Мы знаемъ напередъ, что наши сочинители и критиканы не пропустятъ воспользоваться расположеніемъ многихъ читателей къ чопорности и ихъ склонностию находить въ себѣ образованность большаго свѣта, выказывая при этомъ собственное знаніе приличій вышаго общества. Нападая на автора «Мертвыхъ Душъ» за сальности его поэмы, они съ сокрушеннымъ сердцемъ воскликнуть, что и порядочный лакей не станетъ выражаться, какъ выражаются у Гоголя благонамѣренные и почтенные чиновники...

Но мимо ихъ, этихъ столь посвященныхъ вѣтанства вышаго общества критикановъ и сочинителей, пусть ихъ хлопочутъ о томъ, чего не смыслятъ, и стоятъ за то, чего не видали, и что не хочетъ ихъ знать...

«Мертвыя Души» прочтутся всѣми, но понравятся, разумѣется, не всѣмъ. Въ числѣ многихъ причинъ есть и та, что «Мертвыя Души» не соответствуютъ понятію толпы о романѣ, какъ о сказкѣ, гдѣ дѣйствующія лица полюбили, разлучились, а потомъ жилились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могутъ вполне насладиться только тѣ, кому доступна мысль и художественное выполненіе созданія, кому важно содержаніе, а не «сюжетъ»; для восхищенія всѣхъ прочихъ остаются только мѣста и частности. Сверхъ того, какъ всякое глубокое

созданіе, «Мертвыя души» не раскрываются вполне съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда невиданное произведеніе. «Мертвыя Души» требуютъ изученія. Къ тому же еще должно повторить, что юморъ доступенъ только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимаетъ и не любитъ его. У насъ, всякій писака такъ и тарашится рисовать бѣшенныя страсти и сильныя характеры, списывая ихъ, разумѣется, съ себя и съ своихъ знакомыхъ. Онъ считаетъ для себя униженіемъ снизойти до комическаго и ненавидитъ его по инстинкту, какъ мышь кошку. «Комическое» и «юморъ» большинство понимаетъ у насъ какъ шутовское, какъ каррикатуру, — и мы увѣрены, что многіе не шутя, съ лукавою и довольною улыбкою отъ своей пронизательности, будутъ говорить и писать, что Гоголь въ шутку назвалъ свой романъ поэмою... Именно такъ! Въдъ Гоголь большой острякъ и шутникъ, и что за веселый человекъкъ, Боже мой! Самъ безпрестанно хохочетъ и другихъ смѣшитъ!... Именно такъ, вы угадали, умные люди...

Что касается до насъ, то, не считая себя въ правѣ говорить печатно о личномъ характерѣ живаго писателя, мы скажемъ только, что не въ шутку назвалъ Гоголь свой романъ «поэмою», и что не комическую поэму разумѣетъ онъ подъ нею. Это намъ сказалъ не авторъ, а его книга. Мы не видимъ въ ней ничего шуточного и смѣшнаго; ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія смѣшить читателя: все серьезно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ обѣщаетъ еще двѣ такія же большія книги, въ которыхъ мы снова встрѣтимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны... Нельзя ошибочнѣе смотрѣть на «Мертвыя Души» и грубѣе понимать ихъ, какъ видя въ нихъ сатиру. Но объ этомъ и о многомъ другомъ мы поговоримъ въ

своимъ мѣстѣ, поподробнѣе; а теперь пусть скажетъ что-нибудь самъ авторъ:

«...И опять по обѣимъ сторонамъ столбового пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрители, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ саковарами, бабами и бовкинь бородачъ хозяйномъ, бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ; вѣшеходъ въ протертыхъ лѣптахъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, выстроенные живьемъ, съ деревянными лавочками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой; рыбые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону и по другую; помѣщичьи рыдваны, солдаты верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: «такой-то артиллерійской батарее»; зеленыя, желтыя и свѣжо-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ; затянута вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны какъ мухи и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далѣка тебя вижу: бѣдна природа въ тебѣ, не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія ея дива, вѣчанныя дерзкими дивами искусства, города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя деревья и плющи, вросшіе въ дома, въ шумъ и вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на грозоздѣища безъ конца надъ нею и въ вышнѣ каменные глыбы; не блеснутъ сквозь выброшенные одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несметными милліонами дивныхъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя ливни сіяющихъ горъ, несущаяся въ серебряныхъ, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора! Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Чтѣ въ ней, въ этой пѣснѣ? Чтѣ зоветъ, и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? какая непостижимая связь таится между нами? Чтѣ глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, чтѣ ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?... И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу освѣсило грозное облако, тяжелое градущими дождями, и овѣвила мысль передъ твоимъ пространствомъ. Чтѣ пророчить себѣ необъятный просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпрѣдѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатшю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!... (424 — 427).

... И какой же Русскій не любить быстрой ѳзды? Его ли душа, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чортъ побори все!», его ли душа не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чуждое? Кажись, невѣдомая сила подхватива тебя на крыло къ себѣ — и самъ летишь, и все летишь: летать версты, летать навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летать съ обѣихъ сторонъ лѣсъ съ темными строими елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ, летать вся дорога низвѣтъ куда въ пропадающую даль — и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканьи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающій предметъ; только небо надъ головою, да легкія тучи, да продирающійся мѣсяцъ одни кажутся недвижны. Эхъ, тройка! птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать у бойкаго народа ты могла только родиться, въ той землѣ, что не любилъ шутить, а ровнемъ глядемъ разметнулася на полсвѣта, да и ступай считать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а на-скоро живьемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ снарядилъ и собралъ тебя ярославскій расторопный мужикъ. Не въ измеченныхъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ да замахнулся, да заханулъ пѣсню — вонн вхрежь, спицы въ колесахъ свѣшались въ одинъ гладкій хругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановившійся пѣшеходъ! И вонъ она понеслася, понеслася, понеслася!... И вотъ уже видно вдали какъ что-то пылать и сверлить воздухъ...

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая необгоняемая тройка несешься? Дымомъ дымитца подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ и остается назадъ. Остановился, пораженный Божьимъ чудомъ созерцатель: не можнія ли это, сбросенная съ неба? Что значитъ это наводнящее ужасъ движеніе? И что за невѣдомая сила заключена въ семъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони, что за кони! Вихрь ли сидятъ въ вашихъ гривахъ? чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню, дружно и разомъ направили шѣдами груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ одаѣ вытанутыя ливни, летящія по воздуху, — и мчатся вся вдохновенная Богомъ! . Русь, куда жь несешься ты, дай отвѣтъ? Не даешь отвѣта! Чуднымъ звономъ заливаются колокольчики, гремятъ и становятся вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на земли, и носясь, постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства. (473 — 475).

Грустно думать, что этотъ высокій лирическій паэосъ, эти гремящіе, поющіе двенрамы блаженствующаго въ себѣ національнаго самосознанія, достойные великаго русскаго поэта, будутъ далеко не для всѣхъ доступны, что добродушное невѣ-

жество отъ души станеть хохотать отъ того, отчего у другаго волосы встануть на головѣ при священномъ трепетѣ... А между тѣмъ, это такъ, и иначе быть не можетъ. Высокая, вдохновенная поэма пойдетъ для большинства за «преуморительную штуку». Найдутся также и патриоты, о которыхъ Гоголь говоритъ на 468-й стран. своей поэмы, и которые, съ свойственною имъ проницательностію, увидятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» злую сатиру, слѣдствіе холодности и нелюбви къ родному, къ отечественному, — они, которымъ такъ тепло въ нажитыхъ ими потихоньку домахъ и домикахъ, а можетъ-быть и деревенькахъ — плодовъ благонамѣренной и усердной службы... Пожалуй, еще закричатъ и о личностяхъ... Впрочемъ, это и хорошо съ одной стороны: это будетъ лучшей критическою оцѣнкою поэмы... Чтò касается до насъ, мы, напротивъ, упрекнули бы автора скорѣе въ излишествѣ непокореннаго спокойно-разумному созерцанію чувства, мѣстами слишкомъ юношески увлекающагося, нежели въ недостаткѣ любви и горячности къ родному и отечественному... Мы говоримъ о нѣкоторыхъ, — къ счастію немногихъ, хотя къ несчастью и рѣзкихъ — мѣстахъ, гдѣ авторъ слишкомъ легко судитъ о національности чуждыхъ племенъ, и не слишкомъ скромно предается мечтамъ о превосходствѣ славянскаго племени надъ ними (стр. 208 — 430). Мы думаемъ, что лучше оставлять всякому свое, и, сознавая собственное достоинство, умѣть уважать достоинство и въ другихъ... Объ этомъ много можно сказать, какъ и о многомъ другомъ, — чтò мы и сдѣлаемъ скоро въ свое время и въ своемъ мѣстѣ.

—

Всякая литература подвержена своимъ законамъ — это уже общее правило. Литературы заднихъ рядовъ, предводимыя гг. Кузничевыми и разными иными знаменитостями въ томъ же родѣ, также имѣютъ свои законы, свои условія; но эти

условія, кажется, въ томъ только и состоятъ, что въ нихъ заключается чистое отрицаніе самыхъ простыхъ законовъ, общихъ всѣмъ литературамъ, выражающимъ сколько-нибудь разумное содержаніе. Такъ хоть бы это условіе: есть въ году время, время жаровъ и зноя, когда едва ли не всякій нѣсколько сокращаетъ свою обыкновенную дѣятельность, когда даже умственные силы теряютъ много своей энергіи, и когда самыя требованія на произведенія высшей, умственной дѣятельности по необходимости должны быть умѣреннѣе, ограниченнѣе, въ эту пору и литература, не истощаясь совершенно, впрочемъ, также уменьшаетъ свою производительность и какъ бы отдыхаетъ, собирая силы для новыхъ трудовъ, для будущей дѣятельности: — это можетъ случиться не только въ нашей, но и во всякой другой, болѣе солидной литературѣ. Но попробуйте наблюдать — не только вооруженными, но и простыми глазами — надъ этими безвременными литературами, которыхъ достоинство измѣряется только вѣсомъ и количествомъ, и вы увидите совсѣмъ противное явленіе: онѣ какъ-будто существуютъ внѣ законовъ пространства и времени; условія климата и атмосферы для нихъ совершенно не имѣютъ значенія; въ то время, какъ для васъ наступаетъ пора отдыха, у нихъ начинается работа самая живая, самая дѣятельная: работаютъ головы, руки, перья, — больше всего перья, а отъ нихъ не отстаютъ и типографскіе станки. Тутъ не только печатается и издается изъ тьмы въ свѣтъ «новое», но перепечатывается, или ужъ по крайней мѣрѣ получаетъ новую обертку и все старое: такимъ образомъ, первое изданіе вдругъ, по волшебному манію, становится вторымъ, пѣсенникъ дѣлается собраніемъ пѣсень; большое изданіе — маленькимъ, карманнымъ, для удобнѣйшаго употребленія, и проч. и проч.; всѣхъ пріеменовъ и увертокъ этой литературы не перескажешь. И что это бываетъ за работа, особенно если ужъ «Макарьевская»-то

недалеко! По русской пословицѣ — тяпъ да ляпъ, и вышелъ корабль! Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Всѣ, мало-мальски сложные инструменты, въ такомъ случаѣ, чтобъ не мѣшали, отлагаются въ сторону: топоръ, обухъ и долото — вотъ всѣ орудія производителей макарьевской литературы. Имъ некогда, они спѣшатъ, — такъ до чистоты ли тутъ? Лишь было бы что продать къ великому дню, да выручить хоть свои-то: ужъ за большимъ не гонятся. Дадимъ имъ дорогу, этимъ скороспѣлымъ издѣліямъ книжкой мануфактуры: теперь именно то время, когда они кучами валяютъ на макарьевскую, спѣша захватить себѣ тамъ мѣстечко рядомъ съ желѣзомъ и кожей. Намъ не нужно долго задерживать ихъ и всматриваться въ ихъ физиономію: лица все знакомыя, да притомъ есть и вещи, и даже лица, которыя стѣбитъ только назвать по имени, чтобъ въ одномъ словѣ разказать вамъ ихъ прошедшую и будущую исторію. Итакъ, начнемъ-же нашъ осмотръ:

ДАГЕРОТИПЪ. *Тетрадь вторая Спб. 1842.*

Вторая тетрадь «Дагеротипа», подобно первой, начинается «Дагеротипомъ», котораго содержаніе такъ же мистически-таинственно и для не посвященныхъ недоступно, какъ и названіе. «Всѣ опыты въ началѣ бывають слабы, но никогда не заслуживають насмѣшки, потому что неизвѣстно, какой они пріймутъ оборотъ». Этимъ оракульскимъ изрѣченіемъ начинается первая статья во второй тетради «Дагеротипа», называющаяся «Дагеротипъ». Но нынче никого не запугаешь оракульскими изрѣченіями, и потому мы не обинуясь скажемъ, что оракулъ говоритъ рѣшительную неправду, утверждая, что надъ опытами какъ ни слабы они, никогда не должно смѣяться,

изъ уваженія къ неизвѣстности оборота, какой они примутъ. Мы думаемъ, напротивъ, что будущее можетъ приниматься въ расчетъ только на основаніи настоящаго, а если настоящее нехорошо, то можно и должно надъ нимъ смѣяться. Если начало дурно и ничего хорошаго не обѣщаетъ, почему же не смѣяться надъ нимъ? Если продолженіе, или конецъ, сверхъ чаянія, будутъ хороши, почему же не похвалить ихъ? Одно другому не мѣшаетъ. Если наприимѣръ, третья тетрадь «Дагеротипа» будетъ хороша, мы охотно похвалимъ ее; но какъ вторая плоха, подобно первой, мы пока будемъ продолжать смѣяться надъ «Дагеротипомъ».

За первую статейкою «Дагеротипа», наполненою какими-то таинственными намеками о мистическомъ значеніи «Дагеротипа», слѣдуетъ «Мудрецъ Платонъ и ученикъ его Ктезиппъ», легенда Гёте, переводъ г. Струговщикова. Въ этой легендѣ, Ктезиппъ изображенъ такимъ, какимъ Ктезиппъ какой-нибудь могъ быть въ самомъ дѣлѣ; но Платонъ рѣшительно не похожъ на себя, такъ же, какъ этотъ переводъ ни мало не похожъ на другіе переводы г. Струговщикова, и такъ же, какъ вся эта піеска похожа скорѣе на дѣтское сочиненіе г. Ф (Θ) едорова, чѣмъ на произведеніе сколько-нибудь даровитаго поэта.

«Семень Семеновичъ Огурчиковъ» — что-то въ родѣ повѣсти безъ завязки и развязки, безъ начала и конца, безъ цѣли и плана, наконецъ безъ всякаго содержанія, сочиненіе г. Полеваго. Ни истины, ни правдоподобія, ни занимательности — ничего этого нѣтъ и тѣни въ рассказѣ г. Полеваго. Это какая-то карриатура на дѣйствительность, что-то въ родѣ сатиры на русскій европеизмъ. Г. Полевой занимаетъ самое пріятное положеніе въ современной русской литературѣ: онъ все во всемъ, онъ вездѣ и нигдѣ, онъ редакторъ журнала, онъ драматургъ и, послѣ г. Кукольника, глава театральнаго и сценическаго искусства, онъ пишетъ въ свой журналъ начала

повѣстей, которымъ не суждено никогда кончиться, отрывки, изъ которыхъ никогда ничего дѣлаго не выдетъ. Умилительнѣе всего, что онъ пишетъ легко и скоро: это — благодѣтельные плоды долговременнаго упражненія въ россійской словесности, счастливые результаты навыка, похвальнымъ трудолюбиемъ приобрѣтеннаго! Велѣдствіе всего этого, г. Полевой сталъ почетнымъ лицомъ въ современной русской литературѣ; новый журналъ — и тамъ долженъ быть его «отрывокъ», или по крайней мѣрѣ его общаніе что-нибудь написать, о чемъ-нибудь разсудить, какой-нибудь вопросъ рѣшить; новый альманахъ: безъ него какъ-то неловко — имя громкое; бенефициантъ нуждается въ піесѣ: все къ нему же, все къ г. Полевому, который, по выраженію одного изъ друзей его, «пишетъ полосами»; нужна исторія — Петра, Колумба, Чингис-Хана, Россіи, Испаніи, Дауріи: одно слово, и паровая машина записала или вступленіе, или отрывокъ, или одинъ конецъ... Правда, все это отзывается скоростью, все это ни хорошо, ни худо, все это постоянно носить на себѣ отпечатокъ посредственности; но все это тѣмъ лучше гармонируетъ съ характеромъ современной русской литературы, и все это тѣмъ завиднѣе и блестящѣе дѣлаетъ литературное положеніе г. Полеваго... Имя его извѣстно публикѣ, а такъ какъ очарованіе именъ у насъ еще не исчезло, то статью прочтутъ и зная впередъ, что она ни то ни сѣ; прочитавъ, будутъ говорить, что плоха, но объ изданіи всегда отзовутся какъ о чемъ-то заслуживающемъ вниманія: тамъ-де статья г. Полеваго... Однимъ словомъ, г. Полевой драгоценный человекъ для современной русской литературы: въ этомъ, вѣрно, съ нами согласенъ и «Дагеротипъ»...

За «Огурчиковымъ» слѣдуютъ двѣ музыкальныя статьи, одна въ двѣ съ половиною, другая въ полторы странички; подъ обѣими красуется имя г. Ноткина, и въ обѣихъ ровно

ничего нѣтъ, кромѣ буквъ, словъ и знаковъ препинанія. Но вотъ и «Астраханскія Письма», которыя, ужасно отзываются Астраханью, и которыя писаны, вѣроятно, для астраханскихъ Татаръ, которымъ мы охотно и предоставляемъ восхищаться ими и судить о нихъ.

Вотъ и все. Чтò такое это все, къ чему оно, зачѣмъ, для чего, — эта тайна, который мы не возьмемъ рѣшить. Кто это читаетъ, кому это нужно — Богъ вѣсть!

ПАРИЖСКАЯ КРАСАВИЦА. *Романъ Поль-де-Кока.*
Спб. 1842. Четыре части.

Несмотря на ожесточенные вопли идеальныхъ критиковъ и моральныхъ людей, которые вслухъ громко бранятъ Поль-де-Кока, а про себя прилежно читаютъ его, — добрый, милый и талантливый Поль-де-Кокъ не перестаетъ писать, а переводчики не перестаютъ взапуски переводить его на все языки Европы. И Поль де-Кокъ вполне достоинъ этой чести. Онъ не берется за идеалы, которые ему не посяламъ; а въ томъ, чтò не выходитъ изъ круга его созерцанія и его способностей, онъ несравненъ и превосходенъ. Знаніе людей и общества, добродушіе, веселость, вѣрность истинѣ, мѣстами душа и чувство, шаловливость легкой французской фантазіи въ подробностяхъ, и нравственное чувство въ цѣломъ, умѣнье хорошо конспектировать и ровно выдерживать характеры, завязать и развязать просто, естественно и безъ натяжекъ узелъ возможнаго, взятаго изъ современнаго общества, каково бы оно ни было, узелъ разсказа, — изложить его легко, увлекательно, живо, насмѣшить до слезъ, а иногда и тронуть, — вотъ неотъемлемыя достоинства Поль-де-Кока и неотъемлемыя права

его на скромную и тихую славу. Въ «Парижской Красавицѣ» онъ остался вѣренъ себѣ, и этотъ романъ читается скоро, легко. Характеръ героини и ея судьба возбуждаютъ живое участіе своимъ благородствомъ и женскимъ достоинствомъ; прекрасно очерченъ характеръ Елены де Бреванъ, кокетки, испорченной богатствомъ и пансіонскимъ воспитаніемъ; прочія лица морять со смѣху своею оригинальнію. Особенно хорошо обрисованы соблазнительныя парижскія гризетки.

Мы не разъ уже говорили, что Поль де-Кока можно читать только по-французски. Этому двѣ причины: первая та, что Поль де-Кокъ по преимуществу французскій писатель; живость и оригинальность его разсказа неразрывно связана съ духомъ разговорнаго французскаго языка; вторая та, что наши російскіе перелагатели нещадно уродуютъ Поль де-Кока. Стирая съ его разсказа колоритъ добродушія и граціозности, они заставляютъ русскихъ читателей видѣть въ немъ однѣ сальности и плоскія, грубыя картины цинизма. Переводчикъ «Парижской Красавицы» не отсталъ въ этомъ похвальномъ обыкновеніи отъ своихъ многочисленныхъ товарищей по ремеслу, и варварски опозилъ, огрубилъ и обезсмыслилъ «La jolie Fille du Faubourg». Съ этимъ обстоятельствомъ, относящимся ко вкусу, соединяется еще и грубое незнаніе отечественнаго языка.

СЕЛЬСКІЯ БЕСѢДЫ. *Спб. 1842.*

Книга, изданная для простонародья и касающаяся своимъ содержаніемъ быта земледѣльцевъ. Доброе дѣло! Жаль только, что изложеніе не довольно увлекательно и не довольно доступно для православныхъ бородъ и остриженныхъ въ кру-

жокъ головъ. Жаль еще, что вписка оканчивается «Русскою сказкою о бѣлой царицѣ русь-дѣвицѣ, и о чудѣ богатырѣ славномъ царевичѣ»: поддѣлки подъ тонъ и манеры народныхъ сказокъ всегда болѣе или менѣе приторны; сверхъ того, у мужиковъ много и своихъ сказакъ, которыя ничѣмъ не умнѣе, даже глуше той, которою подчуютъ ихъ «Сельскія Бесѣды». «Русскій мужикъ сѣрь, а умъ-то у него не чортъ съѣлъ», говоритъ пословица: у русскаго мужичка много природнаго ума, много разумнаго чутья, которое заставляетъ его смотрѣть на сказки, какъ на пустяки, и уважать только то, что, будучи доступно его разумѣнію, въ то же время можетъ сдѣлать его умнѣе и поставить выше понятій его сословія и быта, а не то, что только держитъ его въ кругѣ его же ограниченной жизни, или еще толкаетъ ниже этого круга. Жаль также, что и цѣна этой книжки, незначительная для горожанъ (25 к. сер.), высока для мужиковъ.

РУССКАЯ БЕСѢДА. *Собраніе сочиненій русскихъ литераторовъ. Въ пользу А. Ф. Смирдина. Томъ III. Спб. 1842.*

Знаменитое предпріятіе, долженствовавшее поправить разстроенныя дѣла г. Смирдина и прославить таланты и великодушіе русскихъ литераторовъ, кончилось: передъ нами лежитъ третій и послѣдній тонъ «Русской Бесѣды». Мы бесѣдовали съ этимъ третьимъ томомъ, и сладка была намъ эта безмолвная бесѣда въ часъ дремоты... Точнѣе сказать: бесѣда была довольно тяжелевка, но заключеніе ея было и легко и приятно... Не шутя, что это такое: шутка или дѣйствительно плодъ усердія — чѣмъ богаты, тѣмъ и рады, по русской пословицѣ? . Нашъ вопросъ относится не къ г. Смирдину, который

могъ быть издателемъ, но отнюдь не критикомъ добровольныхъ приношеній со стороны великодушныхъ литераторовъ; притомъ же, какъ человекъ, знающій общежитіе, а можетъ быть и до робости деликатный въ обращеніи съ пишущимъ людомъ, г. Смирдинъ, хотъ и со слезами (ужь конечно не признательности), долженъ былъ принимать всякій хламъ, который вручали ему съ такою добродушною готовностію... Нѣтъ, мы хотимъ сказать, какъ достало у иныхъ гг. сочинителей столько храбрости, чтобъ напечатать свои произведенія, да еще и выставить подъ ними имена свои?... Но мы опять обмолвились: дивиться тутъ нечему, а было бы чему подивиться, еслибъ многіе сочинители не воспользовались такимъ прекраснымъ случаемъ втереться въ печать, подъ предлогомъ великодушія, о которомъ никто не просилъ ихъ... Въ первыхъ двухъ томахъ были два прекрасныя, хотя и не равныя по достоинству, беллетрическія произведенія: «Аптекарьша» графа Соллогуба и «Барыня» г. Панаева: за эти двѣ піесы очень можно простить двумъ первымъ томамъ «Бесѣды» всѣ прочія повѣсти, которыми они были начинены. Но въ третьемъ томѣ, какъ-будто по тщательному выбору, помѣщено, по части повѣстей — такое, хуже чего ни написать, ни выдумать нельзя. Вотъ, нѣкто г. Смирновъ, пухло, водяно, дрябло, растянута, съ дикими претензіями на глубокомысліе, знаніе жизни (приобрѣтенное, вѣроятно, на ученической скамейкѣ), съ претензіями на юморъ, остроуміе, оригинальность и прочія достоинства, въ которыхъ природа положительно и безжалостно отказала ему, рассказываетъ длинныя, и скучныя, какъ кавказская дорога по благословенной плоскости Земли Войска Донскаго, походенія какого-то Омы Федоровича, и еще какого-то Мефистофеля изъ семинаристовъ, съ «рафинированно-дьявольскою» улыбкой. Остроумныя выходы (которыхъ острота, впрочемъ, ощутительна только для сочинителя) называетъ онъ «витцами»,

пичкаетъ свой вялый разсказъ полонизмами, барбаризмами, безсмыслицами, и московскими любезностями. Мѣстами, кстати и не кстати, сочинитель любитъ щегольнуть намекомъ на свое знаніе того или другаго автора, того или другаго сочиненія, изъ чего ясно видно, что сочинитель еще очень молодой человѣкъ и не успѣлъ еще отвыкнуть отъ школьныхъ замашекъ. Но, не желая только хулить, съ удовольствіемъ выпишемъ лучшее мѣсто изъ его длинныхъ разглагольствій:

«Къ чему корчить изъ себя то, къ чему Богъ не создалъ, и подниматься на какую-бы то ни было дыбу? Если въ самомъ дѣлѣ есть люди, призванные въ жизнь для того, чтобъ изучать движеніе чужихъ жизней внутреннею, глазою силою постиженія, то вѣдь они не маскируются и не натягиваются, не громоздятся на пьедесталы и не драпируются тамъ лохмотьями жалкаго эфеента, а мѣшаются съ толпою сѣло и дружно, не боясь потеряться тамъ, но научаясь тамъ вызнавать людей, съ которыми живутъ и дѣйствуютъ. Они просты, потому что естественны» (стр. 58)

Какъ жаль, что эту истину г. Смирновъ понялъ только теоретически! Иначе, онъ никакъ не написалъ бы «Жизнь и Смерть Ожы Оедоровича»...

Вотъ, авторъ «Семейства Холмскихъ» на сорока одной страницѣ разсказываетъ о «Послѣдствіяхъ услуги, оказанной ксатти». Разсказъ его дышетъ чистѣйшею нравственностію, напоминая блаженное время романовъ г жъ Жанлисъ, Коттенъ, дѣвицы Марьи Извъковой, гг. Августа Лафонтена, Клаурена, и пр. и пр.

Вотъ, какой-то г. М. П., ни съ того ни съ сего, какъ говорится, ни къ селу, ни къ городу, повѣствуетъ о «Сраженіи при Коссовѣ, происходившемъ 27-го августа 1389-го года, между Османами, подъ начальствомъ султана Мурада 1-го, и христіанскими союзниками, подъ главнымъ предводительствомъ короля Сербіи Лазаря». Повѣствованіе его улеглось на 20-ти страницахъ, и явилось, вѣроятно, вслѣдствіе желанія что-нибудь напечатать.

Вотъ, какой-то г. Кузничъ (тоже изъ новыхъ сочинителей) въ повѣсти «Монастырская Гора» представилъ, или, какъ выражается С. Н. Глинка, предъявилъ неудачный опытъ пародіи на Гоголя въ изображеніи нравовъ малороссійскаго престопадаря, и, въ то же время, довольно удачное подражаніе Марлинскому—въ изображеніи глубокихъ чувствъ, могучихъ страстей, невыразимыхъ бѣдствій и несбыточныхъ приключеній. Повѣсть длинная, странная, но за то усыпительная въ юмористическихъ мѣстахъ и забавная въ патетическихъ сценахъ.

Вотъ, нѣкто г. Войтъ огромляетъ (по выраженію того же С. Н. Глинки) россійскій бытъ разсказомъ «Маякъ Утѣ (,) или Эпизодъ изъ Жизни». Самое примѣчательное въ этомъ «огромленіи россійскаго быта» — то, что Маякъ Утѣ не играетъ въ повѣсти никакой дѣйствующей роли, но скромно и безмолвно остается въ качествѣ слушателя. Не менѣе замѣчательно было бы въ этомъ разсказѣ и невѣроятное обиліе морскихъ терминовъ, равно какъ и дикіе до безсмысленности фразы à la Marlinky, еслибъ все это не было уже старо, пошло, истерто и истаскано. Герой разсказа — одинъ изъ тѣхъ Звонскихъ, Линскихъ, Лидиныхъ, Гремныхъ и всякихъ ловкихъ военныхъ людей, о которыхъ упоминаетъ Гоголь на 319 и 320 страницахъ «Мертвыхъ Душъ». Будучи столь же любезенъ, какъ и они, онъ не уступаетъ имъ и въ бурномъ краснорѣчій адскихъ страстей: «То была ужасная ночь» — говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ: «во мнѣ скопилось столько пламени и крови; я боялся, чтобъ отъ жара не распался мой черепъ, и я сдерживалъ его въ своихъ рукахъ. Когда я дотрогивался до головы, то волосы ключьями повисали между пальцевъ; я чувствовалъ, что они подгорали въ корняхъ. Эти волосы я покашывалъ, утѣшаясь, что и я сгорю страстями, какъ и они» (стр. 32)... Страшно, читатели, страшно! и потому не старайтесь, узнавать, чтó еще, кромѣ этого, содержится въ «Маякѣ

Уга», иначе, и вы сгорите страстнее, какъ волосы г. Тюва, который такъ бѣшено изображалъ влохотаніе своихъ растрепанныхъ чувствъ, или какъ уши г. Лаянтина, который слушалъ это повѣствованіе, впрочемъ не подозрѣвая въ немъ натянутой галиматіи и, съ своей стороны, отвѣчая на нее такую же высокопарною дичью...

Вотъ, кто-то г. Струковъ (еще новый сочинитель!) рассказываетъ о такомъ приключеніи, будто бы случившемся на Петровскомъ-острову, какого и во снѣ не увидишь: такъ оно длинно, невѣроятно, безцвѣтно, вало, скучно, дѣтски безсвязно, и старчески бессильно!... За нимъ, г. Гречъ (старый и «заслуженный» сочинитель) изъ разныхъ Guides и подобныхъ компиляцій сшилъ довольно пустынькую и безцвѣтную статейку объ «Окрестностяхъ Неаполя»: больше нечего сказать объ этой кучѣ общихъ мѣстъ, старыхъ новостей и ничего не заключающихъ въ себя описаній.

Неужели, въ самомъ дѣлѣ, обо всемъ этомъ говорить подробно, излагать содержаніе, разбирать съ отчетливостью? — Пусть дѣлаютъ это другіе: съ насъ довольно и того подвига, что мы все это прочли, и что, повтому, намъ будетъ за что долго помнить третій томъ «Русской Бесѣды», составленный изъ «сочиненій лучшихъ литераторовъ»...

Мы сказали нѣсколько словъ о статейкѣ г. Греча, и читатели навѣрное ждутъ, что мы сейчасъ заговоримъ о статейкѣ г. Булгарина?

Читатели правы. На этотъ разъ, правописательное и нравственно-сатирическое перо г. Булгарина, съ свойственнымъ ему юморомъ и вѣрностію дѣйствительности, описало, на 18-ти страницахъ, «Чинovníка». Извѣстно всѣмъ, что этотъ интересный классъ русскаго и петербургскаго общества не разъ былъ воспроизводимъ творческимъ перомъ Гоголя; тѣмъ не менѣе г. Булгаринъ покусился на подобный

же подвигъ — и хорошо сдѣлалъ: можемъ утвердительно сказать, что г-ну Булгарину не суждено самою судьбою ни въ чемъ сталкиваться съ Гоголемъ, и потому онъ остался самимъ собою, сохранивъ свою неподражаемую оригинальность, вслѣдствіе которой въ его «Чинovníкъ» можете найти все, что вамъ угодно, кромѣ одного — именно, чиновника. Оно и лучше: никто не обвинитъ скромнаго сочинителя въ личностяхяхъ, которыя русскіе читатели любятъ видѣть въ всякомъ литературномъ произведеніи, гдѣ нѣтъ Лидивыхъ, Гремивыхъ, Звонскихъ, Линскихъ, Ланитиныхъ и другихъ исполненныхъ свѣтскости и пламенныхъ страстей героевъ. За то, изъ статейки г. Булгарина читатели могутъ узнать, во первыхъ, что скромные чиновники превосходно переплетаютъ книги, дѣлаютъ лучшіе картонажи для кандитерскихъ и отличныя игрушки съ механизмомъ — и все это самоучкою; во вторыхъ, что рядомъ съ книжною лавкою Заикина, есть игрушечная лавка честнаго купца Мухина, а въ ней продаются лучшія дѣтскія игрушки, — что де хорошо извѣстно г-ну Булгарину (стр. 12—13); въ третьихъ, что г. Булгаринъ бываетъ на крестинахъ у чиновниковъ и тамъ говоритъ свысока съ дамами и «коренно по-русски» съ мужчинами, но вина не пьетъ, хотя и любитъ выпить рюмку хорошаго вина за столомъ, а это-де потому, что г. Булгаринъ знакомъ съ сосѣднимъ погребщикомъ (стр. 17)!... Особеннаго вниманія заслуживаютъ заключительныя строки статейки г. Булгарина. Надо сказать, что, вмѣстѣ съ статейкою, умеръ и герой ея; эта, повидимому, весьма естественная развязка подала поводъ сочинителю разчувствоваться такъ: «Вѣчная память и миръ праху твоему, добрый человекъ! Много истребилъ ты бумаги въ жизни, много искрошилъ перьевъ, пролилъ рѣки чернилъ, растопилъ горы сургуча; но ты не писалъ ни пасквилей, ни доносовъ, ни глупыхъ и злобныхъ критикъ, не заставилъ никого проливать слезы, не рѣзалъ

языкомъ чужой репутаціи и не прижегъ ни чьего сердца клеветою». Имѣющій уши да слышитъ!

Не менѣе, если еще не болѣе, послѣ статейки г. Булгарина, заслуживаетъ вниманія статья г. Погодина. Извѣстно всѣмъ, что г. Погодинъ вотъ уже другой годъ рассказываетъ о своемъ путешествіи по обратному буйствомъ знанія Западу, и рассказываетъ съ истинно достойною всякаго удивленія оригинальностью. На сей разъ, мы узнаемъ, что и какъ дѣлалъ г. Погодинъ въ Лондонѣ. Завидѣвъ Лондонъ г. Погодинъ восклицаетъ: «Вотъ онъ всемірный базаръ, вотъ столица народа купующаго и продающаго, съ похотью очей и гордостью житейской!» Если читатели спросятъ насъ, почему же народа «купующаго», а не покупающаго, и неужели только Лондонъ покупаетъ и продаетъ «съ похотью очей и гордостью житейской», а Парижъ, Амстердамъ, Брюссель, Лейпцигъ, Гамбургъ, Лиссабонъ, Петербургъ, Москва и пр. покупаютъ и продаютъ безъ похоти очей и безъ гордости житейской, — мы отвѣтимъ имъ, что не знаемъ, и посоветуемъ имъ обратиться съ этимъ вопросомъ къ самому г. сочинителю.

Въ таможенѣ, чемоданы г. Погодина, въ отличіе отъ прочихъ путешественниковъ, были осматриваемы «дверемъ затвореннымъ».

«Перехвативъ кое-что», г. Погодинъ отправился въ театръ, прямо въ раекъ (стр. 6); за мѣсто въ райкѣ онъ заплатилъ очень недорого — всего одинъ рубль. «Надо было (говоритъ онъ) много храбрости для этого рѣшенія: во первыхъ, какъ найти дорогу, купить билетъ, дойти до мѣста, а потомъ какъ воротиться, въ полночь домой, среди мошенниковъ, которые, говорятъ, попадаютъ здѣсь на каждомъ шагу, и, главное дѣло, не умѣя объясняться по-англійски» (стр. 6). Дѣйствительно, нельзя не подивиться удивительному присутствію духа г. Погодина, который не только рѣшился дойти до театра, взять билетъ

въ раёвъ, но и рисковалъ, возвращаясь въ полночь домой, по-встрѣчаться съ англійскими мошенниками, которые не умѣютъ объясняться по-англійски!... Но не пугайтесь, читатели, за храброго путешественника: онъ пошелъ. Хозяинъ наговорилъ ему о дорогѣ въ раекъ столько страшнаго, что онъ было оробѣлъ, несмотря на свою примѣрную и столь блестящимъ образомъ доказанную храбрость. «Какъ вдругъ (говорить г. Погодинъ) мелькнула счастливая мысль, выпросить у него (у хозяина) проводника, который бы отвелъ меня и послѣ пришелъ за мною, въ раекъ; такъ и сдѣлалось. Однакожь страхъ не кончился. Сидя на мѣстѣ, я все боялся, ну если мальчикъ не придетъ за мною, или я не найду его, и проч. и проч.» (стр. 6 — 7). Мимоходомъ, между прочимъ, доказавши ясно, какъ дважды два — четыре, что должность разнощика аффишъ возмущаетъ его душу, г. Погодинъ зашелъ въ лотерею, — и читатель поражается слѣдующими строками: «За всякимъ прилавкомъ сидитъ по разряженной красавицѣ для выставки и приманки. Препротивное впечатлѣніе! Одна получаетъ деньги, другая выдаетъ билетъ, третья вертитъ колесомъ, четвертая читаетъ вышавшій номеръ, пятая отдаетъ выигранную вещь. Ахъ, какъ мнѣ было гадко обойти ихъ кругомъ!»

Да не подумаютъ читатели, что тутъ есть какое-нибудь недоразумѣніе. Такъ какъ за границею нѣтъ дѣтяевъ, тунедцевъ, Петрушекъ и Селифановъ, такъ какъ тамъ время есть тотъ же капиталъ, а трудъ человѣка тѣмъ болѣе капиталъ; такъ какъ тамъ одинъ успѣваетъ дѣлать то, чего у насъ не успѣваетъ дѣлать цѣлая дворня дармоѣдовъ, — то мужчины тамъ взяли на себя труды серьезныя, которые не подъ силу женщинѣ, а женщины отправляютъ всѣ легкія и требующія порядка и чистоты обязанности. Поэтому, за границею, женщины служатъ и въ гостинницахъ и въ трактирахъ, и сидятъ за прилавками магазиновъ, лотерей и т. п. Это и расчетливо

и изящно, ибо видъ хорошенькой, со вкусомъ и опрятно одѣтой женщины, особенно гармонически дѣйствуетъ на всякую душу.

Описаніе парламента у г. Погодина — верхъ оригинальности! Но вотъ г. Погодинъ опять былъ въ райкѣ. Лишь только онъ оттуда, какъ вдругъ... Но нѣтъ, пусть самъ г. Погодинъ скажетъ, что съ нимъ случилось по выходѣ изъ райка, а мы такъ перепугались за ужасныя слѣдствія, которыя могли бы выйти изъ этого случая, что не можемъ слова сказать... «Вдругъ кинулась почти на меня какая то вакланка, и я едва убѣжалъ отъ нея въ своей Leister-street!.—Страшно!...

По поводу англійскаго банка, г. Погодинъ выводитъ утѣшительное для Россіи слѣдствіе, что никогда наша торговля не сравнится съ англійскою, потому-де, что нашъ купецъ чуть наживетъ капиталъ, да и на бокъ, на печь, словно въ раекъ, и что мы Русскіе можемъ быть счастливы только дома, у себя въ своей избѣ (?!...), и что такъ-де было вездѣ у Славянъ... Помилуйте! да изъ чего же хлопоталъ Петръ Великій, какъ не изъ того, чтобъ сдѣлать насъ изъ славянъ людьми образованными, а избы наши замѣнить дожами и зданіями?... Впрочемъ, нашъ путешественникъ, кажется, и самъ увидѣлъ, что немного заговорился, почему и поспѣшилъ пренаивно воскликнуть: «Вотъ объ чемъ пришлось мнѣ подумать на дорогѣ въ ТOVERЬ!» Правду сказать, было о чемъ и думать!...

Въ Тoverь, съ г. Погодинымъ случилось слѣдующее достопамятное происшествіе, о которомъ пусть онъ самъ расскажетъ: «Хоть я мирный человекъ и терпѣть не могу ничего огнестрѣльнаго, а почти охрабрился, глядя на сверкающія груди, и даже взмахнулъ рукою, но опустилъ ее скорѣе, и вонъ изъ великолѣпной галлерей, которая такъ торжественно свидѣтельствуетъ о звѣрствѣ нашего просвѣщеннаго человечества» (стр. 16),

Когда проходившіе по Темзѣ пароходы приближались къ мостамъ высокими мачтами или трубами, по словамъ г. Погодина, у него замирало сердце, а по тѣлу пробѣгала дрожь: ну какъ-де забудутъ опустить трубу и пароходъ расшибется!... Но, къ крайнему удивленію путешественника, такого несчастія не случилось. «Мы Москвичи (говоритъ онъ далѣе) не привыкли къ дѣйствіямъ машинъ, и къ этой точности заведенныхъ часовъ, которая здѣсь перешла во всеобщее вѣрованіе, для насъ неизвѣстное» (стр. 22). Въ звѣринцѣ, говоритъ г. Погодинъ, всѣ звѣри живутъ какъ баря .. Описаніе Виндсорскаго замка у г. Погодина — прелесть! Словомъ, кто хочетъ вполне насладиться путевыми записками г. Погодина и вполне оцѣнить ихъ, тотъ читай ихъ самъ «дверемъ затвореннымъ»... увѣряемъ, что удовольствіе будетъ полное и совершенное...

Есть въ третьемъ томѣ «Русской Бесѣды» и стихи; но о стихахъ вообще мы рѣшились говорить только въ крайнихъ случаяхъ.

Впрочемъ, третій томъ «Русской Бесѣды» набить не одними вздорами; есть въ немъ двѣ очень дѣльные статьи. Первая — «Федоръ Ивановичъ Соймоновъ» принадлежитъ г. Бантышъ-Каменскому, и, по своему содержанію, весьма интересна и любопытна. Вторая — «Прокофій Ляпуновъ» принадлежитъ къ тѣмъ немногимъ произведеніямъ г. Полеваго, которые доказываютъ, что этотъ литераторъ и теперь еще могъ бы заниматься чѣмъ-нибудь лучшимъ, нежели изданіе плохого журнала, составленіе плохихъ неоконченныхъ повѣстей и конкуренція съ разными водевилями и другими господами, съ успѣхомъ и славою подвизающимися въ «Репертуарѣ» г. Песоцкаго и на сценѣ Александринскаго театра. Цѣль статьи г. Полеваго — доказать, что Ляпуновъ былъ только человѣкъ съ сильнымъ характеромъ, но отнюдь не патриотъ, а напротивъ

безнравственный человекъ, игравшій присягами и клятвами, измѣнявшій всѣмъ партіямъ. Мысль справедливая, хорошо изложенная и достаточно подтвержденная фактами. Но авторъ слишкомъ далеко ею увлекся и не могъ остановиться на той срединѣ истины, которая и должна быть искоюю истинною, какъ примиреніе двухъ крайностей. Справедливо нападая на Карамзина, который первый сдѣлалъ изъ Ляпунова героя въ древнемъ духѣ, г. Полевой совѣтъ несправедливо осуждаетъ какихъ-то «поэтовъ», будто бы, по слѣдамъ Карамзина, представляющихъ Ляпунова въ апоэозѣ гражданскаго и патриотическаго героизма. Если какой-нибудь посредственный талантъ эффектировалъ Ляпуновымъ въ посредственной драмѣ, а вслѣдъ за нимъ какой-нибудь бездарный писакъ вновь поставилъ Ляпунова на героическія ходули героизма, да еще въ какомъ-нибудь плохомъ романѣ Ляпуновъ выведенъ съ той же дѣтской точки зрѣнія, — изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ русская поэзія ошибочно увлеклась Ляпуновымъ: ибо русская поэзія не хочетъ имѣть ничего общаго съ посредственными дарованіями и плохими рифмачами и писакъми. Напротивъ, скорѣе можно удивляться, какъ никто изъ истинныхъ поэтовъ не воспользовался такимъ характеромъ. Если изобразить Ляпунова, какимъ онъ явился въ исторіи, то это истинный кладъ для поэзіи. Дѣло въ томъ, что Ляпуновъ, несмотря на свою совершенную безнравственность, все-таки лицо, одаренное душою сильною, человекъ, властвовавшій надъ нестройною толпою единственно силою своего характера. Словомъ, это одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ природа создаетъ такъ же на великое добро, какъ и на великое зло, смотря по тому, какое даетъ имъ направленіе воспитаніе и общество. Мы скажемъ, не обинуясь, что Ляпуновъ, злодѣй и предатель, какимъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ, лицо болѣе поэтическое, нежели всѣ его современники, за исключеніемъ Скопина Шуйскаго, который, въ свою очередь,

лицо тоже довольно загадочное. Ляпуновъ былъ тѣмъ, чѣмъ не могъ не быть: его пороки суть пороки общества того времени, а его могучій духъ принадлежитъ одному ему.

Итакъ, вотъ и весь третій томъ «Русской Бесѣды». Въ одномъ московскомъ журналѣ, по выходѣ перваго тома этого изданія было сказано, что если кто можетъ поддержать г. Смирдина, такъ конечно не петербургскіе литераторы. Вслѣдствіе этого, во II-мъ томѣ «Русской Бесѣды» явились стихи «На смерть Поэта», и въ III-мъ томѣ — дорожныя записки... Кстати: статей гг. Сенковского и барона Брамбеуса, нѣтъ въ «Русской Бесѣдѣ»! O tempora! o mores!

ФИЗИОЛОГІЯ ВЛЮБЛЕННАГО. *Передълана съ французскаго Н. Г. Р. Спб. 1842.*

Хитеръ русскій человекъ! Не хочетъ онъ ни въ чемъ уступить Нѣмцу! Посмотритъ на хитрую нѣмецкую работу, почесать въ затылкѣ, возьметъ топоръ — тяпъ да ляпъ, да и крѣско. Прежде, онъ тягался такимъ образомъ съ Нѣмцемъ только въ ремеслахъ: теперь онъ не хочетъ ему уступать ни въ литературѣ, ни въ изящныхъ искусствахъ. Угодно ли доказательствъ? Въ Парижѣ вышли каррикатуры на литературныя знаменитости Франціи: въ Москвѣ, Логиновъ перелитографировалъ ихъ и издалъ съ стихами, имъ самимъ переведенными съ французскаго. Литографіи вышли плохи, стихи, переведенные Логиновымъ, еще хуже; но ему и дѣла нѣтъ до того: онъ не въ накладѣ, и изъ подтишка посмѣивается и надъ Французами и надъ Русскими. Въ Парижѣ вышло изданіе «La Physiologie des Amoureux»: въ Петербургѣ, книгопродавецъ Поляковъ вырѣзалъ такіе же политичажи, перевелъ прозу, подбавилъ своихъ

собственныхъ и Пушкина стиховъ, прирѣзалъ, ради народности нѣсколько полтишажей съ русскими мужичками и бабами, и издалъ книжонку, которая также похожа на свой парижскій оригиналъ, какъ орангутангъ на человѣка. Но ему-то, Полякову, что до того? онъ показалъ свои таланты въ качествахъ переводчика, поэта, рисовальщика и, особенно, ловкаго издателя, хорошо знающаго «физиологію русскаго читающаго люда», да и знать ничего не хочетъ. Поляковъ истинный философъ; онъ знаетъ, что слава — дымъ, то же, что статья «Сѣверной Пчелы», — знаетъ это, и сибѣ издаетъ «Физиологію Влюбленнаго», гдѣ живая, игривая французская болтовня превратилась въ тяжелую бесѣду чиновническаго круга, а граціозная вольность въ довольно неопытную грубость; гдѣ картинки напоминаютъ собою искусство суздальскихъ гравѣровъ, оттиски блѣдны, бумага сквозитъ, русскіе мужички и бабы не кстатн мѣшаются съ парижскими франтами, дамами и гризетками, русскія пѣсни и стихи Пушкина безъ толку попали во французское сочиненіе...

НѢКОЛЬКО СЛОВЪ О ПОЭМѢ ГОГОЛЯ: ПОХОЖДЕНІЯ ЧИЧИКОВА ИЛИ МЕРТВЫЯ ДУШИ. *Москва. 1842.*

Мы ничего не хотѣли было говорить объ этой странной брошюрѣ; но насъ побудили къ этому слѣдующія въ ней строки:

«Мы знаемъ, многимъ покажутся странными слова наши; но мы просимъ въ нихъ выкинуть. Что касается до мнѣнія петербургскихъ журналовъ, очень извѣстно, что они подумаютъ (впрочемъ исключая можетъ-быть Отечественныхъ Записокъ, которыя хвалятъ Гоголя); но не о петербургскихъ журналистахъ говоримъ мы; напротивъ, мы о нихъ и не говоримъ; развѣ въ Петербургѣ можетъ существовать кругъ ихъ дѣятельности!...»

Хоть мы и не имѣемъ никакихъ причинъ особенно гордиться за всѣ петербургскіе журналы; но все-таки долгъ справедливости требуетъ замѣтить автору брошюры, что кругъ дѣятельности нѣкоторыхъ петербургскихъ журналовъ простирается не только на Петербургъ, но и на Москву и на всѣ провинціи Россіи, куда выписываются они тысячами, и что, наоборотъ, кругъ дѣятельности нѣкоторыхъ московскихъ журналовъ не простирается даже и на Москву, ибо ни найти ихъ тамъ, ни услышать о нихъ тамъ что-нибудь рѣшительно невозможно. Это фактъ, противъ котораго не устоятъ никакое умозрѣніе— ни нѣмецкое, ни московское.

Но и не это обстоятельство заставило насъ говорить о томъ, о чемъ легко можно было бы умолчать, а синхродительное выключеніе «Отечественныхъ Записокъ» изъ оналы, подъ которую подпали у строгаго автора петербургскіе журналы. Пожалуй — чего добраго! — найдутся люди, которые заключатъ изъ этого, что «Отечественныя Записки» раздѣляютъ мнѣніе автора брошюры о Гоголѣ и о «Мертвыхъ Душахъ»: вотъ это-то мы никакъ не хотѣли бы, и желаніе отклонить отъ себя незаслуженную честь участвовать въ ультра-умозрительныхъ московскихъ воззрѣніяхъ на просто-понимаемое нами дѣло, побудило насъ взяться за перо. Мысли автора брошюры о Гоголѣ и его твореніяхъ такъ оригинальны, такъ отважны, что едва ли кто-нибудь осмѣлился бы раздѣлить съ нимъ славу ихъ изобрѣтенія. Итакъ спѣшимъ объясниться.

«Предъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является оправданіе цѣлой сферы поэзіи, сферы, давно унижаемой; древній эпосъ возстаетъ передъ нами».

Вотъ что прежде всего видитъ авторъ брошюры въ «Мертвыхъ Душахъ!» Дѣло, видите ли — такого рода: перенесенный изъ Греціи на Западъ, древній эпосъ мелѣлъ постепенно, и наконецъ со всѣмъ высохъ, низойдя до романовъ и

наконецъ, до крайней степени своего униженія—до французской повѣсти... Но Гоголь спасъ древній эпосъ — и миръ имѣетъ теперь новую «Иліаду», т. е. «Мертвыя Души», и новаго Гомера, т. е. Гоголя!... Бѣдный Гоголь!

Не поздравится отъ такихъ похвалъ!...

Итакъ, эпосъ древній не есть исключительное выраженіе древняго міросозерданія въ древней формѣ: напротивъ, онъ что-то вѣчное, неподвижно стоящее, независимо отъ исторіи; онъ можетъ быть и у насъ, и мы его имѣемъ—въ «Мертвыхъ Душахъ»!... Итакъ, эпосъ не развился исторически въ романъ, а снизошелъ до романа!... Поздравляемъ философское умозрѣніе, плохо знающее фактическую исторію!... Итакъ, романъ есть не эпосъ нашего времени, въ которомъ выразилось созерцаніе жизни современнаго человѣчества и отразилась сама современная жизнь: нѣтъ, романъ есть искаженіе древняго эпоса?... Ужъ и современное-то человѣчество не есть ли — искаженная Греція?... Именно такъ!..

Но увы! какъ ни ясны умозрительные доводы автора брошюры, а мы, прозаическіе Петербургцы, все-таки остаемся при своихъ историческихъ убѣжденіяхъ, и думаемъ, что Гоголь такъ же похожъ на Гомера, а «Мертвыя Души» на «Иліаду», какъ сѣрое петербургское небо и сосновыя рощи петербургскихъ окрестностей на свѣтлое небо и лавровыя рощи Эллады. Далѣе, мы думаемъ, что Гоголь вышелъ совсѣмъ не изъ Гомера и не состоитъ съ нимъ ни въ близкомъ, ни въ дальнемъ родствѣ, — думаемъ, что онъ вышелъ изъ Вальтеръ Скотта, изъ того Вальтеръ Скотта, который могъ явиться самъ собою, независимо отъ Гоголя, но безъ котораго Гоголь никакъ не могъ бы явиться. Во французской повѣсти, мы видимъ не крайнее униженіе древняго эпоса, а просто — французскую повѣсть, выраженіе, зеркало французской жизни. Мы даже не видимъ ничего особенно позорнаго и въ нѣмец-

ких повѣстяхъ, часто отражающихъ въ себѣ не сееру дѣйствительной жизни, а химеры фантазій, испорченной пивомъ, инастеромъ и филистерствомъ. Что выражаетъ собою духъ всемірно-исторической націи, то не можетъ быть вздоромъ, и та философія, которая называетъ вздоромъ подобныя вещи, сама—вздоръ, хотя бъ она была и абсолютная...

Правда, авторъ брошюры, кажется, и самъ смекнулъ, что онъ уже слишкомъ занесся, и поспѣшилъ замѣтить, что «Мертвыя Души» не одно и то же съ «Иліадою», ибо-де «само содержаніе кладетъ здѣсь разницу»; но тутъ же, въ выноскѣ, замѣчаетъ: «Кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ» (стр. 5). На это мы можемъ отвѣчать утвердительно, что какъ бы ни раскрылось оно, какой бы величавый, лирической ходъ ни приняло оно, вмѣсто юмористическаго, — все таки «Иліада» будетъ сама по себѣ, а «Мертвыя Души» будутъ сами по себѣ. «Иліада» выразила собою содержаніе положительное, дѣйствительное, общее, мировое и всемірно-историческое, слѣдовательно, вѣчное и неумирающее; «Мертвыя Души», равно какъ и всякая другая русская поэма, пока еще не могутъ выразить подобнаго содержанія, потому что еще негдѣ его взять, а на «нѣтъ» и суда нѣтъ. Авторъ брошюры видитъ у Гоголя «эпическое созерцаніе, древнее, истинное, то же, какое у Гомера»: это показываетъ, что онъ совершенно не понялъ пагоса «Мертвыхъ Душъ» и, обольстившись умозрѣніями собственнаго изобрѣтенія, навязалъ поэму Гоголя значеніе, котораго въ ней вовсе нѣтъ. Напрасно онъ не винкнулъ въ эти глубоко-знаменательныя слова Гоголя: «И долго еще опредѣлено мнѣ чудной властью ладти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣлъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы» (Мертвыя души, стр. 258). Въ этихъ немногихъ словахъ высказано все зна-

ченіе, все содержаніе поэмы, и намекнуто, почему она названа «поэмою». Въ смыслѣ поэмы, «Мертвыя Души» діаметрально противоположны «Иліадѣ». Въ «Иліадѣ», жизнь возведена на апогею: въ «Мертвыхъ Душахъ» она разлагается и отрицается: паеосъ «Иліады» есть блаженное упоеніе, притекающее отъ созерцанія дивно-божественнаго зрѣлища: паеосъ «Мертвыхъ Душъ» есть юморъ, созерцающій жизнь сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы. Чтѣ же касается до эпического спокойствія, — оно совсѣмъ не исключительное качество поэмы Гоголя; это — общее родовое качество эпоса. Романы Вальтеръ Скотта и Купера, поэтому, также отличаются эпическимъ спокойствіемъ.

Нельзя безъ улыбки читать 9-й страницы брошюры, гдѣ авторъ заставляетъ Ахилла новой «Иліады», плутоватаго Чичикова, сливаться съ субстанціальною стихіею русской жизни въ чемъ бы вы думали? — въ любви къ скорой ѣздѣ! . . . Итакъ, любовь къ скорой почтовой ѣздѣ — вотъ субстанція русскаго народа! . . . Если такъ, то конечно почему жъ бы Чичикову и не быть Ахилломъ русской «Иліады», Собакевичу — Аяксомъ неистовымъ (особенно во время обѣда), Манилову — Александромъ Парисомъ, Плюшкину — Несторомъ, Селифану — Автомедономъ, полиціймейстеру, отцу и благодѣтелю города — Агамемнономъ, а квартальному съ пріятнымъ румянцемъ и въ лакированныхъ ботфортахъ — Гермесомъ? . . .

Въ сравненіяхъ, разсѣянныхъ по повѣ Гоголя, авторъ брошюры особенно видитъ сродство его съ Гомеромъ. Но это сродство существуетъ такъ же и между Пушкинымъ и Гомеромъ, — чтѣ можно фактически доказать ссылками на «Евгенія Онегина» и другія поэмы Пушкина. . . Думаемъ, что съ этой стороны у Гомера довольно наберется родни.

Говоря о полнотѣ жизни, въ которой изображаетъ Гоголь свои лица, и которая дѣйствительно удивительна, авторъ бро-

шюры не точно выразился, сказавъ, будто «Гоголь не лишаетъ лицо, отмѣченное мелкостью, низостью, ни одного человѣческаго движенія»: паде было сказать — иногда не лишаетъ ка-кихъ-нибудь человѣческихъ движеній, или что-нибудь подобное. А те, чего добраго! окажется, что и дура Коробочка, и буй-воль Собакевичъ не лишены ни одного человѣческаго чувства и, потому, ни чѣмъ не хуже любаго великаго человѣка. На-врасне также авторъ брошюры вздумалъ смотрѣть съ участіемъ на глупую и сентиментальную размазю Манилова, когда тотъ идиотски мечтаетъ о томъ, какъ онъ съ Чичиковымъ пьетъ чай на бельведерѣ, съ котораго видна Москва, какъ они съ нимъ прѣзжаютъ въ какое-то общество въ хорошихъ каретахъ, обворожаютъ всѣхъ пріятностію обращенія, и какъ само высшее начальство, узнавши о такой ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами. . . Признаемся, мы читали это со смѣхомъ и безъ всякаго участія къ личности Манилова, можетъ-быть, потому именно, что не имѣемъ въ себѣ ничего родственнаго съ такого рода «мечтательными» личностями.

Далѣе, авторъ брошюры доказываетъ, что такой полноты созданія, какова у Гоголя, не встрѣтити ни у кого; кро-мѣ какъ у Гомера и Шекспира, «Да», говоритъ онъ «толь-ко Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ этою тайною искусства». — А Пушкинъ? . . . Да куда ужъ тутъ Пушкину, когда Гоголь заставилъ (впрочемъ безъ всякаго съ своей сто-роны желанія — мы за это ручаемся) автора брошюры забыть даже о существованіи Сервантеса, Данта, Гёте, Шиллера, Байрона, Вальтеръ Скотта, Купера, Беранжэ, Жоржъ-Занда! Всѣ они — пасъ передъ Гоголемъ! . . . Куда имъ до него! Го-меръ, Шекспиръ и Гоголь — больше никого мы не хотимъ знать, чтò ни говори себѣ «неблагодѣтельные» люди! . . . Од-накожь, авторъ брошюры позволяетъ Гомеру и Шекспиру стоять подлѣ Гоголя только по «акту созданія», а по содержа-

нiю, онъ ставитъ ихъ выше его. «Въ отношенiи къ акту творчества, въ отношенiи къ полнотѣ самаго созданiя — Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира, ставимъ мы рядомъ съ Гоголемъ». Какiе счастливыцы эти Гомеръ и Шекспиръ! И какъ жаль, что Богъ не далъ имъ дожить до такого счастья!... «Мы», говоритъ авторъ брошюры: «далеки отъ того, чтобы унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но, въ отношенiи къ акту творчества, они ниже Гоголя» (стр. 15). Но говоря далѣе, авторъ брошюры жестоко проговаривается, самъ того не замѣчая, и даетъ намъ прекрасное средство его же орудиемъ судить построенные имъ карточные домики фантазерскихъ умозрѣнiй:

«Равнѣ не можетъ быть такъ, напримѣръ (продолжаетъ авторъ брошюры), поэтъ, обладающiй полнотою творчества, можетъ создать, положить, цвѣтокъ, но во всемъ его совершенствѣ, во всей свободѣ его жизни; другой создастъ великаго человѣка, взявши большее содержанiе, но только помѣнитъ его общими чертами; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношенiи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающiй тайною творчества» (стр. 15)

Во первыхъ, рассуждая о дѣлѣ творчества, нечего и говорить о поэтахъ не обладающихъ тайною творчества и заставлять ихъ замѣчать общими чертами идеалы великихъ людей; надо великаго поэта противопоставлять великому же поэту. Въ такомъ случаѣ, мы не обвинимъ скажемъ, что слегка намѣченный идеалъ великаго человѣка будетъ болѣе великимъ созданiемъ, нежели во всей полнотѣ и во всей свободѣ жизни воспроизведенный цвѣтокъ. Двѣ стороны составляютъ великаго поэта: естественный талантъ и духъ, или содержанiе. Это-то содержанiе и должно быть мѣриломъ при сравненiи одного поэта съ другимъ. Только содержанiе дѣлаетъ поэта мировымъ: — высшая точка, зенитъ поэтической славы. Прежде, смотря на поэта больше со стороны естественнаго таланта и желая выразить однимъ словомъ высшее его явленiе, мы

думали воспользоваться для этого эпитетомъ «мировой»; но скоро, увидѣвъ, что черезъ это вмѣшиваются два различныя представленія, мы оставили безразличное употребленіе этого слова. Мировой поэтъ не можетъ не быть великимъ поэтомъ; но великій поэтъ еще можетъ быть и не мировымъ поэтомъ. Здѣсь не мѣсто распространяться объ этомъ предметѣ; но если вы хотите знать, что такое «мировой» поэтъ, возьмите Байрона хоть въ прозаическомъ французскомъ переводѣ, и прочтите изъ него что вамъ прежде попадется на глаза. Если вы не падете въ трепетъ предъ колоссальностію идей этого страшнаго ученика Руссо, этого глубокаго субъективнаго духа, этого потомка мнѣческихъ титановъ, громоздившихъ горы на горы и осаждавшихъ Зевеса на его неприступномъ Олимпѣ, — тогда не понять вамъ, что такое «мировой» поэтъ. Прочтите «Фауста» и «Прометей» Гёте, прочтите трепещущія пафосомъ любви ко всему человѣческому созданію Шиллера, — и вы уступите, что этихъ колоссовъ, идущихъ въ главѣ всемірно-историческаго движенія цѣлаго человѣчества, поставили вы ниже великаго русскаго поэта... Что же касается до вашего сравненія художественно созданнаго цвѣтка съ легко наброшеннымъ идеаломъ великаго человѣка, мы укажемъ вамъ на примѣръ не изъ столь великой сферы. «Бояринъ Орша» Лермонтова — произведеніе не только слегка начертанное, но даже дѣтское, гдѣ большею частію ложины и нравы и костюмы; но просимъ васъ указать намъ на что-нибудь и побольше цвѣтка, что могло бы сравниться съ этимъ гениальнымъ очеркомъ. Отчего это? — оттого, что въ дѣтскомъ созданіи Лермонтова вѣетъ духъ, передъ которымъ потускнѣетъ не одно художественное произведеніе — цвѣтокъ ли то, или цѣлый цвѣтникъ...

Итакъ (продолжаетъ авторъ брошюры), этия сравненія (хотя вообще сравненія объяснить неможно, но чтобы не пачать длинной статьи) надѣмся

мы послать наши слова: съ ономошамъ къ акту творчества. Но Боже насъ сохрани, чтобы миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданій Гоголя: мы хотимъ только сказать, что онъ обладаетъ тою же тайною, какою обладали Шекспиръ и Гомеръ, и только оми... «Итакъ, повторимъ наши слова, какъ бы они странно ни казались: только у Гомера и Шекспира можетъ мы встрѣтить такую полноту созданій, какъ у Гоголя; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ великою, одною и тою же тайною искусства» (стр. 15—16).

Положимъ даже, что все это и такъ, но вотъ вопросъ: что же во всемъ этомъ и чему именно тутъ радоваться?... Во первыхъ, еще совсѣмъ не доказанная истина, совсѣмъ не аксіома, что Гоголь, по акту творчества, выше, хоть, напри- мѣръ, Пушкина и позволяетъ стоять подлѣ себя только Го- меру и Шекспиру, — и мы очень жалѣемъ, что авторъ бро- шюры не взялъ на себя труда доказать это, а ограничился нѣсколькими фразами, въ родѣ оракульскихъ. Во вторыхъ, акта творчества еще мало для поэта, чтобъ имя его стало на ряду съ именами Гомера и Шекспира... Все это ужасно сви- вается на риторику и фразы, все это такъ похоже на игру въ эстетическіе каламбуры. Занятіе, конечно, невинное, но и ни къ чему не ведущее, кромѣ профанаціи именно того, что составляетъ предметъ дѣтскаго удивленія. Гдѣ, укажите намъ, гдѣ въеть, въ созданіяхъ Гоголя, этотъ всемірно историче- скій духъ, это равно общее для всѣхъ народовъ и вѣковъ со- держаніе? Скажите намъ, что бы случилось съ любимъ созда- ніемъ Гоголя, еслибъ оно было переведено на французскій, нѣмецкій, или англійскій языкъ? Что интереснаго (не говоря уже о великомъ) было бы въ немъ для Француза, Нѣмца, или Англичанина? Гдѣ же права Гоголя стоять на ряду съ Гоме- ромъ и Шекспиромъ? — Знаете ли, что мы сказали бы на- ушко всѣмъ умозрителямъ: когда развернешь Гомера, Шек- спира, Байрона, Гёте, или Шиллера, такъ дѣлается какъ-то нелезко при воспоминаніи о нашихъ Гомерахъ, Шекспирахъ,

Байронахъ, и проч. Вальтеромъ Скоттомъ тоже шутить нечего: этотъ человѣкъ далъ историческое и соціальное направленіе новѣйшему европейскому искусству.

И, однакожь, мы сами считаемъ Гоголя великимъ поэтомъ, а его «Мертвыя Души» — великимъ произведеніемъ. Но въ первомъ случаѣ, мы разумѣемъ естественный талантъ, по которому Гоголь, какъ и Пушкинъ, дѣйствительно напоминаютъ собою величайшія имена всѣхъ литературъ. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не дивиться его умѣнію оживлять все, къ чему ни прикоснется въ поэтическіе образы, — его ордному взгляду, которымъ онъ проникаетъ въ глубину тѣхъ тонкихъ и для простаго взгляда недоступныхъ отношеній и причинъ, гдѣ только слѣпая ограниченность видитъ мелочи и пустяки, не подозревая, что на этихъ мелочахъ и пустякахъ вертится, увы! — цѣлая сфера жизни. Но Гоголь великій русскій поэтъ, не болѣе; «Мертвыя Души» его — тоже только для Россіи и въ Россіи могутъ китѣть безконечно великое значеніе. Такова, пона, судьба всѣхъ русскихъ поэтовъ; такова судьба и Пушкина. Никто не можетъ быть выше вѣка и страны; никакой поэтъ не усвоитъ себѣ содержанія, неприготовленнаго и невыработаннаго исторією. Немногое, слишкомъ немногое изъ произведеній Пушкина можетъ быть передано на иностранныя языки, не утративъ съ формою своего субстанціального достоинства; но изъ Гоголя — едва ли что-нибудь можетъ быть передано. И, однакожь, мы въ Гоголѣ видимъ болѣе важное значеніе для русскаго общества, чѣмъ въ Пушкинѣ: ибо Гоголь болѣе поэтъ соціальный, слѣдовательно, болѣе поэтъ въ духѣ времени; онъ также менѣе теряется въ разнообразіи создаваемыхъ имъ объектовъ и болѣе даетъ чувствовать присутствіе своего субъективнаго духа, который долженъ быть солнцемъ, освѣщающимъ созданія поэта нашего времени. Повторяемъ: чѣмъ выше достоинство Гоголя, какъ поэта, тѣмъ

важнѣе его значеніе для русскаго общества, и тѣмъ менѣе можетъ онъ имѣть какое либо значеніе внѣ Россіи. Но это-то самое и составляетъ его важность, его глубокое значеніе и его — скажемъ смѣло — колоссальное величіе для насъ, Русскихъ. Тутъ нечего и упоминать о Гомерѣ и Шекспирѣ, нечего и путать чужихъ въ свои семейныя тайны. «Мертвыя Души» стоять «Иліады», но только для Россіи: для всѣхъ же другихъ странъ, ихъ значеніе мертво и непонятно.

Было время, когда на Русси никто не хотѣлъ вѣрить, чтобы русскій умъ, русскій языкъ могли на что-нибудь годиться; всякая иностранная дрянь легко шла за геніяльность на святой Руси, а свое русское, хотя бы и отличное высокою даровитостію, презиралось за то только, что оно русское. Время это, слава Богу, прошло, и теперь настало другое, когда намъ уже нипочемъ и Гомеры, и Шекспиры, и Байроны, потому что мы успѣли уже позавестись своими, — мы чужихъ ставимъ въ шеренги, словно солдатъ, заставляемъ ихъ маршировать и справа и слѣва, и взадъ и впередъ, благо бѣдняжки молчатъ и повинуются нашему гусиному перу и тряпичной бумагѣ. Но пора кончиться и этому времени, пера бросить эти ребяческія фразы...

Юность не хочетъ и знать этого. Чуть взбредетъ ей въ голову какая-нибудь недоконченная мечта — тотчасъ ее на бумагу, съ тѣмъ навнымъ убѣжденіемъ, что эта мечта — аксіома, что міру открыта великая истина, которой не хотятъ признать только невѣжды и завистники... А тамъ, что? — Кому суждено возмужать, тотъ потихоньку забудетъ о томъ, о чемъ такъ громко говорилъ прежде, или будетъ самъ смѣяться надъ этимъ, какъ надъ грѣхомъ юности... Но есть люди, которые или навѣкъ остаются дѣтьми, или навѣкъ остаются юношами: ихъ убѣжденіе не слабѣетъ; они продолжаютъ высказывать его съ прежнимъ престоудіемъ, и новыя фантазіи,

подобныя прежнихъ, тянутся у нихъ до гроба длиною веревницею, какъ мечты у Манилова, по отъѣздѣ Чичикова...

ДАГЕРОТИПЪ. *Тетради 3, 4, 5 и 6. Спб. 1842.*

Въ 6-й тетради этого страннаго изданія, о которомъ мы уже извѣщали нашихъ читателей, сказано, что съ выходомъ ея прекращается отдѣльная продажа тетрадей, а согласно съ «постановленными правилами» (не для журналовъ ли?) принимается подписка на все изданіе, которое къ сентябрю мѣсяцу будетъ вполне окончено. «Дагеротипъ» обезпечилъ себя разными союзами, вслѣдствіе которыхъ будучи разбраненъ въ 142 № «Сѣверной Пчелы», онъ теперь расхваленъ въ 163 № той же самой газеты. Тамъ прямо и искренно объявлено, что «Дагеротипъ» во сто разъ выше «Отечественныхъ Записокъ». Вотъ какъ! Изъ этого ясно видно, что «почтеннѣйшіе» объяснились и поняли другъ друга. Дай имъ Богъ совѣтъ и любовь: они стоятъ другъ друга... Есть и еще газета, которой мы не назовемъ: въ ней тоже «Дагеротипъ» сперва принятъ былъ очень круто, но потомъ расхваленъ въ пухъ. Ужъ нечего и говорить, какъ со стороны пріятно видѣть, что люди, вполне достойные другъ друга, живутъ и дѣйствуютъ ладно. Да зачѣмъ имъ и не ладить? Гоголевъ Селифанъ правду сказалъ: «Съ человѣкомъ хорошимъ мы всегда свои друзья, тонкіе пріятели: выпить ли чаю, или закусить — съ охотою, коли хорошій человѣкъ... Закуска не обидное дѣло; съ хорошимъ человѣкомъ можно закусить». . А между тѣмъ, все это хорошо и для литературы: черезъ это партіи яснѣе обозначаются, и публика знаетъ съ кѣмъ имѣетъ дѣло...

Мы ни слова не сказали бы и объ этихъ четырехъ тетрадкахъ «Дагеротипа», еслибъ въ нихъ не было драмы г. Лажечникова

«Христіерія II и Густавъ Ваза». Эта драма навела насъ на многія мысли, грустныя и поучительныя, изъ которыхъ выдѣлились съ читателями только двумя: именно, намъ пришло на мысль, что всякая муза, если она уважаетъ сама себя и хочетъ, чтобъ ее уважали другіе, должна вести себя съ крайнею осторожностію и не заходить всюду, куда зовутъ ее; иначе, она рискуетъ лишиться соею репутаціи, которая для женщины всего дороже. Еще пришло намъ на мысль, что когда имя извѣстнаго автора начинаетъ появляться въ разныхъ аффишахъ, наполняемыхъ литературною бранью и сплетнями, если его находятъ подъ статьями, исполненными мелкой полемики и запальчивыхъ фразъ, и все это изъ дѣла, которое само по себѣ не стоить и двухъ словъ, то невольно возникаетъ опасеніе, чтобъ въ этихъ дрызгахъ не погибла извѣстность, не затмилось имя автора, нѣкогда замѣчательное...

Все это, разумѣется, не имѣетъ прямого отношенія ни къ г. Лажечникову, ни къ его драмѣ, о которой должны мы сказать свое мнѣніе... Но что сказать о ней? Г. Лажечниковъ не можетъ написать ничего дурнаго: такъ и въ драмѣ его много хорошаго; но, несмотря на то, наша литература ровно ничего не приобретаетъ въ ней. Драма требуетъ характеровъ, дѣйствія, движенія драматическаго и, сверхъ всего этого, — мысли, мысли и мысли...

Все остальное въ «Дагеротипѣ» по прежнему поразительно отсутствіемъ цѣли, намѣренія, таланта и, даже, здраваго смысла. Каждая статья — шарада, послѣ которой изумленный читатель восклицаетъ: «да что же это такое?» Вотъ стихи какого-то таинственнаго г. Ч., которые называются «Начало и Конецъ», и въ которыхъ ровно ничего нельзя понять; — вотъ что-то въ родѣ разсказа, «Встрѣча» (г. Чужбинскаго), въ которомъ ничего не разсказано, кромѣ фразъ à la Марлинскій; — вотъ коротенькая статейка «Дача», въ которой тяжело и туго

еялится пробиться искусственный юморъ; — вотъ «Надпись», стихотвореніе г. Кукальника, которое должно быть хорошо, какъ все что выходитъ изъ-подъ многошнущаго пера этого неутомимаго сочинителя, но которое, подобно всему прочему, имъ написанному, читается тяжело и трудно, — вотъ плохое стихотвореніе г. Соколовскаго; — вотъ «Московскіе цыгане», стихотвореніе г. Бенедиктова:

Хоръ готовъ. *Вожатый лрый*
 Вышелъ; *волю далъ плечу:*
 Заигралъ; *вспыхнулъ, старый!*
 Сталь, моргнулъ, качнулъ гитарой,
 Топнулъ, брянулъ, — *тише! чу!*

Груша поетъ: голосомъ упительный
 Тонкой серебряной нитью дрожить,
 Бакъ замираетъ онъ въ нѣгѣ мучительной!...
 Чу! — Громъ! — Взорвъ! — Бура шумить
 Грянулъ хоръ: *сверкнули брызги*
Отъ каскада голосовъ:
Пламя молній! Вѣтра взвизги!

Ужасъ! мочи нѣтъ! въ ухахъ трещить! Вотъ истинный диэдрамбъ въ цыганскомъ вкусѣ и тонѣ! Далѣе, въ этомъ диэдрамбѣ идутъ такіе страхи, что силъ нѣтъ и пересказать: «изъ глазъ картечи», хоръ «разъекаетъ раскаленную гортань», полную «бѣшенныхъ» созвучій: Матрена колотитъ, колотитъ, колотитъ, кипитъ и дробитъ, кипитъ и молотитъ, дробитъ и молотитъ... Ну, что бы положить этотъ цыганскій диэдрамбъ на музыку: онъ особенно выразителенъ долженъ быть съ аккомпаньешаномъ балалайки, у воротъ барскаго дома, въ вечерніе сумерки...

По прежнему, въ каждой тетрадкѣ «Дагеротина» есть «Астраханскія Письма» — сборъ какихъ то сплетенъ, непонятныхъ намековъ и еще Богъ вѣдаетъ чего. Въ одномъ письмѣ, сочинитель говоритъ, что у него пропала книга, что онъ прочелъ «Мертвыя Души», да еще комедію, которой названіе забылъ,

но которая плоха, и что отецъ автора комедіи разсердился на сочинителя «Астраханскихъ Писемъ» за то, что онъ не похвалялъ комедіи. Спрашивается: какое дѣло до всего этого вадера, до всѣхъ этихъ сплетенъ читающей публикѣ, и неужели это должна она читать?... Въ другомъ письмѣ, сочинитель изъясняетъ свое невѣріе въ историческую необходимость, говоря, что онъ ея не понимаетъ. Да мало ли чего не понимаетъ сочинитель: публикѣ-то какое до всего этого дѣло?... Право, мы того и ждемъ, что сочинитель «Астраханскихъ Писемъ» увѣдомитъ публику, что у него пропали сапоги и что человекъ былъ пьянъ, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Удивительная фамильярность съ публикою! Вообще, эти «Астраханскія Письма» писаны явно подъ влияніемъ какого-то употельнаго вдохновенія, и потому ихъ нелѣпость часто доходитъ до какого-то лирическаго восторга, — и если хоръ московскихъ цыганъ подалъ поводъ г. Бенедиктову, обладающему такимъ превосходнымъ талантомъ, написать такой дивный дионрамбъ, то какой дионрамбъ отхваталъ бы онъ, еслибъ вздумалъ вдохновиться изъ употельнаго источника «Астраханскихъ Писемъ»?...

ДЕННИЦА НОВО-БОЛГАРСКАГО ОБРАЗОВАНІЯ. Соч. Василія Априлова. Часть первая. Одесса. 1841.

Цѣль этой книжки — познакомить Русскихъ съ возникающимъ просвѣщеніемъ родственнаго намъ болгарскаго племени. Цѣль похвальная и выполненная отчасти недурно. Въ книжкѣ есть интересные факты. Просвѣщеніе Болгаръ пока еще не отличается слишкомъ большимъ свѣтомъ; но другъ человечества не можетъ не порадоваться и одному началу благаго дѣла.

Въ этомъ случаѣ, вопросъ не о Болгарахъ и не о Славянахъ, а о людяхъ. Всѣ люди должны быть братьями людьми. Изъ-за большихъ не слѣдуетъ не любить меньшихъ. Если эти меньшіе уже слишкомъ малы, такъ что едва лепечуть кое-что, можно ихъ не слушать; но зачѣмъ же не порадоваться, что они начинаютъ лепетать и тѣмъ даютъ надежду, что, можетъ-быть, будутъ когда нибудь и говорить? Вотъ, напримѣръ, стихи — дѣло другое: если они плохи, имъ нечего радоваться. Если же они внушены какимъ-нибудь благороднымъ чувствомъ, какъ напримѣръ, признательностію, — воздадимъ должную похвалу чувству, а стихи все-таки назовемъ дурными. Одно другому не мешаетъ. Намъ рѣшительно не нравится «Рыданіе на смерть Ю. И. Венедина». Вотъ для примѣра отрывокъ:

Плачьте, рыдайте,
 Всѣ болгарски чада,
 Изгубиме вѣчно
 Юрю Венедина,
 Нашъ премудрый братъ...
 Но на вѣчный споменъ
 Въ нашихъ сердцахъ
 Нѣготово имѣ
 Ше бы бессмертно
 Ано и урелъ.

Впрочемъ, и то сказать: можетъ-быть, эти стихи и хороши для людей, знакомыхъ съ болгарскимъ языкомъ и болгарскимъ вкусомъ въ поэзіи, — не споримъ. — Учитесь, учитесь, добрые, почтенные Болгары! До того же времени, постарайтесь внушить своимъ поклонникамъ и вообще всѣмъ славянофиламъ побольше вѣжливости и человѣчности. Кто болѣе интересуется литературою Франціи, Германіи и Англій, нежели болгарскими буквами, на тѣхъ они смотрятъ, какъ на злодѣевъ и изверговъ, какъ Испанды смотрѣли на лютеранъ, которыхъ, въ своемъ невѣжественномъ фанатизмѣ, называли еретиками.

Наши Испанцы, т. е. ваши ревнители, хоть сейчас готовы были бы учредить инквизицію для истребленія духа европолюбія и для распространенія духа азіелюбія и обскурантизма, т. е. праколюбія. Одинъ изъ нихъ (мы забыли его неизвѣстное и темное въ литературѣ имя) недавно напечаталъ на насъ, въ московскомъ журналѣ, и именно по поводу книжки г-на Априлова, ужасную филиппику, обвиняя насъ въ равнодушіи къ ученымъ государствамъ, находящимся подъ владычествомъ Турціи, и въ любви къ нѣмецкимъ гелертамъ. Прочитавъ это «предъявленіе», мы воздали хвалу Богу, что живемъ въ XIX-мъ вѣкѣ, а то сгорѣть бы намъ на кострѣ. Въ самомъ дѣлѣ, добрые Болгары, насъ уличили въ страшномъ преступленіи: мы, видите, какъ-то сказали, что Турки — народъ, образующій собою государство, а Болгаре — только племя, не образующее собою никакого политическаго общества, и что въ этомъ-то и заключается причина турецкаго владычества надъ вами, какъ историческаго права, которое есть сила. Досталась же за это и намъ, и нѣмецкимъ гелертамъ! Вспомнить страшно! Если у всѣхъ славянскихъ гелертовъ такой крутой нравъ и такая инквизиціонная манера раздѣлываться съ русскими литераторами, которые не хвалятъ ихъ сочиненій, то русскимъ литераторамъ придется также избѣгать всякаго съ ними столкновенія, какъ вы избѣгаете его съ турецкими кадіями... Да! просвѣщайтесь, добрые Болгары! дай вамъ Богъ успѣховъ! Даже пишите стихи, если ужъ не можете безъ нихъ обходиться; только, Бога ради, берегитесь защитниковъ, которые роняютъ васъ своимъ заступничествомъ и вредятъ вамъ больше Турковъ.

ОСЕННИЕ ЦВѢТЫ. Стихотворенія М. Демидова. Въ двухъ отдѣленіяхъ. Спб. 1842 Съ эпиграфомъ: «Военный и партикулярный портной изъ Парижа Федоръ Прехоровъ». Вышла въ одномъ губернскаго города.

ВЕЧЕРНИЕ ДОСУГИ. Стихотворенія Демидова. Въ двухъ отдѣленіяхъ. Спб. 1842. Съ эпиграфомъ: « $0 \times 0 = 0$ ». Таблица умноженія.

ЗАВѢТНЫЯ ДУМЫ. Стихотворенія М. Демидова. Въ двухъ отдѣленіяхъ. Спб. 1842. Съ эпиграфомъ: «Полю впередъ, дирекція на середину, рысью, марш!» Командныя слова.

Какое огромное богатство поэтическаго запаса! «Осенніе Цвѣты» и «Вечерніе досуги» и «Завѣтныя Думы», и все это для большаго эффекта, въ двухъ отдѣленіяхъ, и притомъ, съ изящныи, глубокознаменательными эпиграфами. Русская поэзія снова оживаетъ въ лицѣ г. Демидова, — и если нельзя сказать, чтобъ въ г. Демидовѣ Россія приобрѣла новаго Пушкина, или новаго Лермонтова, то съ достовѣрностію и утвердительно можно сказать, что Россія приобрѣла въ немъ новаго — г. Тимофеева... «Какого же это г. Тимофеева?» — спрашиваютъ насъ изумленные читатели: «мы не помнимъ никакого г. Тимофеева»... Какъ не помните? (отвѣчаемъ мы). Да того самаго, что печаталъ въ «Библіотекѣ» и пѣсни, и элегіи, и поэмы, и мистеріи... «А! мистеріи! мистеріи! теперь вспоминаемъ! эти мистеріи такъ забавляли насъ...» — хоромъ говорятъ намъ обрадовавшіеся читатели. Чтобъ еще болѣе усилить нѣкую радость, напомнимъ имъ, что этотъ г. Тимофеевъ былъ провозглашенъ «Библіотекою» прямымъ наследникомъ таланта Пушкина, и что этотъ г. Тимофеевъ издалъ свои пѣсни, элегіи, поэмы и мистеріи въ четырехъ томахъ, съ своимъ портретомъ. Гдѣ теперь этотъ г. Тимофеевъ, или гдѣ теперь эти четыре тома съ пѣснями, элегіями, поэмами, мистеріями и портретомъ г. Тимофеева, — мы такъ же не знаемъ, какъ не знаетъ и пу-

бляка. Это горестное обстоятельство повергло бы насъ въ унылыя размышленія о суетѣ поэтической славы въ семь трехъ-волненномъ мірѣ, о непречности патентовъ на бессмертіе, выдаваемыхъ инымъ поэтамъ пріятельскими журналами, и о многомъ другомъ; мы готовы были даже предаться отчаянію, которое было такъ сильно, такъ сокрушительно, что чуть было не заставило насъ пуститься отыскивать четыре безъ вѣсти пропавшіе тома съ пѣснями, элегіями, поэмами, мистеріями и портретомъ г. Тимосеева, или, въ случаѣ неудачи, отыскать по крайней мѣрѣ тѣ книжки «Библіотеки», въ которыхъ г. Тимосеевъ провозглашенъ былъ прямымъ наслѣдникомъ таланта Пушкина... какъ вдругъ — о радость! — мы вспомнили о лежащихъ передъ нами трехъ тоненькихъ книжкахъ стихотвореній г. Демидова, изъ которыхъ каждая такъ удобно раздѣлена на два отдѣленія, снабжена такими затѣйливыми, остроумными и глубокомысленными эпитафиями... Мы поскорѣ разрѣзали ихъ, начали перелистывать, заглянули туда сюда, (сердце наше говорило намъ, что насъ ожидаетъ что-то радостное) — хорошо, прекрасно, превосходно! Но, Боже великій — это что въ «Осеннихъ Цвѣтахъ»? — цѣлая поэма! Названіе ея — «Любопытный Мальчикъ»; она посвящается поэтомъ «его мальчишкѣ-друзьямъ, Васи(ь)кѣ и Сережѣ»; въ ней съ мальчикомъ разговариваютъ, русскими стихами съ рифмами, Соловей, Стрекоза, Волна въ рѣкѣ, Цвѣтокъ... Такъ! это не поэма! предчувствіе не обмануло насъ: это — мистерія!... Но дайте — «Комета»! Слушайте:

Возсталъ съ ножомъ на брата братъ,
 Вездѣ господствуетъ развратъ,
 Порокъ, предательство, грабѣвъ,
 И въ людяхъ правды нѣтъ—все ложь.

Затѣмъ «Хоръ нечистыхъ духовъ» поетъ какой-то романсъ о томъ, что золото горитъ, блеститъ, и что для сердець оно —

магнитъ. Потомъ является обсерваторія, а на ней астрологъ съ телескопомъ въ рукахъ. За обсерваторіей является бѣдная крестьянская изба, мальчикъ, дѣвочка и старикъ; за ними — нечистая, мрачная и холодная комната, съ скупцомъ; далѣе — площадь, сидѣлецъ изъ одной лавочки, сидѣлецъ изъ другой лавочки, господинъ А и господинъ Б; паяцъ изъ балагана, — все это заключается «хорошъ небесныхъ силъ». Рѣшительная мистерія! Но не ею окончивается все: есть еще мистерія подъ названіемъ «Талисманъ», и еще мистерія — «Картина», съ художникомъ, — все какъ у г. Тимофеева.

Одно только странно показалось намъ въ стихотвореніяхъ г. Демидова. Всякая поэзія есть плодъ душевныхъ силъ поэта, а душевныя силы заключаются въ движеніи, жизни, вѣрованіяхъ и убѣжденіяхъ. Господинъ же Демидовъ, кажется, давно уже изжилъ всю свою жизнь и лишился всѣхъ своихъ душевныхъ силъ, какъ это ясно видно изъ стиховъ, разсѣянныхъ въ разныхъ его стихотвореніяхъ. Но, несмотря на это, въ его стихотвореніяхъ встрѣчаются красоты вѣчныя и неумирающія. Вотъ образчикъ:

Что ния? — звукъ, *пороховой буракъ*,
Волна средь волнъ, *песчанна въ масѣ міра*,
Мусатова *курительный табакъ*,
Или Гамлетъ великаго Шекспира!

Непонятно — и высоко: непонятно потому что высоко, и высоко потому что непонятно!...

Но лучше всего намъ понравились двѣ вещи во всѣхъ трехъ книжкахъ стихотвореній г. Демидова: во-первыхъ, эпиграфъ къ «Вечернимъ Досугамъ» — $0 \times 0 = 0$, что, вѣроятно, значитъ: «нуль, помноженный на нуль, даетъ въ произведеніи нуль»: во вторыхъ, вотъ эти стихи:

Нѣтъ, нѣтъ! сегодня вдохновенью
Не озаряетъ хладный умъ;

И пѣть въ мою стихотвореніи
 Ни сильныхъ чувствъ, ни новыхъ думъ!
 Иди жь въ огонь, ты, трудъ несчастный,
 Дня горбатое мое,
 Да не увидитъ свѣтъ безстрастный
 Въ тебѣ убожество твое!
 Какъ скучно!

Эти стихи до того намъ понравились, что мы невольно повторяли ихъ по прочтеніи каждаго изъ стихотвореній г. Демидова... Рѣшительно, если «Библіотека для Чтенія» права, что г. Тимоеевъ былъ прямымъ наслѣдникомъ таланта Пушкина, то мы еще правѣе, утверждая, что г. М. Демидовъ прямой наслѣдникъ и таланта и славы г. Тимоеева.

РУКОВОДСТВО КЪ ИЗУЧЕНІЮ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
содержащее въ себѣ основныя начала изящныхъ искусствъ, теорію краснорѣчія, піитику и краткую исторію литературы, составленное профессоромъ Императорскаго Царскосельскаго Лицея и Императорскаго Училища Правовѣденія Петромъ Георгіевскимъ. Въ четырехъ частяхъ. Изданіе второе, исправленное. Спб. 1842.

Въ мірѣ умственномъ такъ же есть свои аномаліи, какъ и въ физическомъ. Особенно богата ими русская учебная литература. У насъ есть удивительная «Всеобщая Исторія», надъ которою образованные люди улыбаются вотъ уже, кажется, около двадцати, если не болѣе, лѣтъ, и которая все-таки продолжаетъ себѣ втихомолку расплываться новыми изданіями. Но особенно посчастливилось на аномаліи русской учебной литературы по части теорій и исторій искусствъ и литературы. Это уже даже и не аномаліи: это просто чудовища и чудища, въ сравненіи съ которыми всякое безобразіе есть красота. Какъ бы ни дурна

была всеобщая исторія, все же она говорить о фактахъ, дѣйствительно бывшихъ, все же изъ нея можно узнать хоть нѣскольконенъ историческихкихъ, все же въ ней нельзя Александра Македонскаго назвать китайскимъ императоромъ, а Перикла турецкимъ пашою. Теорія изящнаго, напротивъ, даетъ каждому возможность говорить, что на умъ взбредеть, называть свѣчу собакою, а луву пирогомъ — полная свобода! благо за подобныя вещи пошлинъ не берутъ, а иногда еще и деньги даютъ. Наши учебники по части теоріи и исторіи изящнаго тѣмъ уродливѣе и нецѣпѣе, что по большой части пишутся людьми добраго стараго времени, когда толковали только о трехъ единствахъ, о подражаніи украшенной природѣ, а въ примѣръ высокаго приводили «c'est moi» и «qu'il mouût». Но еслибъ эти господа остались вѣрны своему времени, они были бы меньше смѣшны, тѣмъ болѣе, что въ такомъ случаѣ ихъ совѣтъ не читали бы, и о нихъ совѣтъ не было бы слышно. Но вотъ горе: застигнутые врасплохъ новыми временемъ, пережившіе уже и великою войну классицизма съ романтизмомъ, — они увидѣли себя въ горькой и тяжелой необходимости смѣшать свои старыя понятія съ новыми, признать авторитеты. Изъ этого вышла такая дикая смѣсь книгъ, что трудно и характеризовать ее; она напоминаетъ собою дикарей Океаніи, которые, вслѣдствіе вліянія на нихъ англійской цивилизаціи, стали ходить, въ европейской одеждѣ, прицѣпляя сабли къ юбкамъ, надѣвая военный мундиръ безъ нижняго платья, или сапоги безъ всякой другой одежды.

Все сказанное отнюдь не должно относиться къ неподобному «Руководству» г. Георгіевскаго. Оно по истинѣ безподобно, ибо нѣтъ ничего подобнаго ему въ цѣломъ мірѣ. Въ немъ нѣтъ ни классицизма, ни романтизма, ни старыхъ, ни новыхъ понятій. Оно составлено особеннымъ образомъ и по особенному, неслышанному въ мірѣ источнику — по рецензіи 230 и

№ 1 № «Сиверной Пчелы» 1836 года, — какъ добродушно признается, въ предисловіи, самъ г. сочинитель этого безподобнаго руководства!... Рассмотритъ же это безподобное «Руководство къ Изученію Русской Словесности».

Рассмотритъ прежде всего заглавіе книги: оно такъ же безподобно, какъ и вся книга.

«Руководство къ изученію русской словесности, содержащее въ себѣ основныя начала изящныхъ искусствъ, теорію краснорѣчія и краткую исторію литературы (какой?)». Какими образомъ «основныя начала изящныхъ искусствъ и теорія краснорѣчія» сдѣлались «русскою словесностью»? Они должны составлять предметъ эстетики, а не русской словесности, предметъ которой, какъ самое названіе ея показываетъ, есть русское слово, русскій языкъ. Сочинитель толкуетъ въ своемъ «Руководствѣ» о живописи, зодчествѣ, и даже садоводствѣ; но теорія первыхъ двухъ искусствъ есть предметъ эстетики, а теорія садоводства есть полезное знаніе для садовниковъ, но не для учениковъ класса русской словесности.

Теперь не угодно ли взглянуть на «основныя начала изящныхъ искусствъ»? На первой страницѣ, въ выноскѣ, есть мысль, поражающая своею глубокостію и новостію. Она состоитъ ни болѣе ни менѣе, какъ въ томъ, что «подъ художникомъ должно разумѣть собственно такъ называемаго художника, артиста и поэта». Хорошія мысли и другіячъ неволью заставляютъ выдумывать хорошія мысли: это мы испытали на себѣ, и по примѣру г. Георгіевскаго рѣшительно утверждаемъ, что «подъ сапожникомъ должно разумѣть собственно такъ называемаго, сапожника, чеботаря и иногда башмачника». Послѣ этого интересно знать, какъ г. Георгіевскій опредѣляетъ «искусство». Слушайте! слушайте! «Подъ искусствомъ разумѣть способность, или навыкъ (!) посредствомъ упражненія (!) производить какой-либо предметъ, по известнымъ правиламъ,

съ извѣстною цѣлю». Не правда ли, подъ это опредѣленіе удивительно хорошо подходитъ искусство точать сапоги?..

«Живопись есть искусство, представляющее предметы на гладкой поверхности посредствомъ рисовки и красокъ». Какъ хорошо это опредѣленіе схватило идею живописи! Жаль только, что оно забыло о свѣтло-тѣни...

«Подъ музыкою нынѣ разумѣютъ искусство производить и соединять звуки пріятнымъ для слуха образомъ». Если это опредѣленіе г. Георгіевскаго вѣрно, то пѣтухъ никогда не будетъ хорошимъ музыкантомъ, а соловей и канарейка — отличные музыканты.

«Говоря о природѣ, которой подражаютъ изящныя искусства, объясниъ это слово. Природа артистовъ и *стихотворцевъ* весьма обширна; она заключаетъ въ себя четыре міра: міръ *дѣйствительный*, т. е. физическій, нравственный и гражданскій, котораго мы сами составляемъ часть; потомъ міръ *историческій* населенный великими тѣнями и великими провществіями; далѣе міръ *баснословный*, мифологическій, въ которомъ обитаютъ боги и герои; наконецъ міръ *идеальный*, или возможный, въ которомъ нѣтъ ни людей, ни дѣйствій, но есть время, мѣсто, шпаша и обстоятельства для тѣхъ и другихъ (?!?!....). — Аристофанъ осмѣивалъ Сократа при другихъ — это міръ дѣйствительный; трагедія: *Дмитрій Донской* взята изъ исторіи; трагедія: *Медея* взята изъ баснословія; *Кій*, *Синавъ* и *Труворъ* взяты изъ нашихъ героическихъ, или баснословныхъ временъ; *Скупой Платъ* и *Тартюфъ* Мольера взяты изъ міра возможнаго, или идеальнаго — Вотъ то, что вообще называется для художника *природою*.»

Именно то самое! Поняли ль вы тутъ хоть что-нибудь, читатели? — Мы, признаемся, ровно ничего не поняли. По нашему искреннему мнѣнію, это даже не то что называется пустословіемъ — мы не видимъ тутъ даже желанія прикрыть фразами отсутствіе мысли; это — извините за откровенность — просто сумбуръ! Какимъ образомъ подобныя пошлости Сумарокова, какъ «Кій, Синавъ и Труворъ», могли попасть въ книгу, систематически рассуждающую о началахъ изящнаго? Откуда это раздѣленіе природы на четыре міра? Развѣ міръ историче-

свѣи не есть міръ дѣйствительный, а міръ воображаемый? И неужели комедіи Аристофана потому взяты изъ дѣйствительнаго міра, что онъ при другихъ, а не наединѣ съ собою осмѣивалъ Сократа?... Но намъ совѣстно говорить о такихъ пустякахъ и унизительно опровергать ихъ... А между тѣмъ вся эта толстая книга, состоящая изъ 548 страницъ въ 8-ю долю листа, биткомъ набита подобными дивами. Желая угодить всѣмъ и никого не обидѣть, сочинитель всѣхъ равно пожаловалъ въ гешн: онъ съ равнымъ уваженіемъ и равною любовію упоминаетъ о Херасковѣ и о Пушкинѣ, о Сумароковѣ и Грибоѣдовѣ, о Шекспирѣ и о г. Хитльницкомъ, о Вальтерѣ Скоттѣ и баронѣ Брамбеусѣ. Съ такимъ же безпристрастіемъ повторяетъ онъ, невникая въ смыслъ мнѣнія и Нѣмцевъ, и «Вѣстника Европы», и «Московского Телеграфа», и гг. Толмачева, и Кошанскаго, и Платона съ Аристотелемъ. И все это произошло не изъ эклектическаго желанія помирить различныя ученія а изъ того, что сочинителю всѣ мнѣнія равны, ибо онъ не взялъ себѣ въ толкъ ни одного изъ нихъ. Исполать!

СОЧИНЕНІЕ ПЛАТОНА. *Переведенныя съ греческаго и объясненныя профессоромъ Санктпетербургской Духовной Академіи Карповымъ. Часть II я. Спб. 1842.*

Во второй части «Сочиненій Платона» также еще нѣтъ самаго Платона, какъ не было и въ первой: герой той и другой части—великій учитель Платона, Сократъ. Но въ этой части, Сократъ является уже съ другой, болѣе интересной для всѣхъ, нежели для немногихъ, стороны своей. Въ первыхъ трехъ разговорахъ мы видѣли только діалектика Сократа, который обозоруживалъ хитросплетенную ложь софистовъ ихъ же соб-

ствоннымъ оружіемъ — діалектикою, но который не высказывалъ своихъ убѣжденій и идей, довольствуясь тѣмъ, что изобличалъ пустоту и ничтожество софистическаго леконудрования. Въ слѣдующихъ же пяти разговорахъ — «Хармида», «Эвтифронъ», «Менонъ», «Апологиіи Сократа» и «Крутонъ», въ которыхъ состоитъ эта вторая часть, мы видимъ мыслителя и мудреца Сократа, знакомимся съ его высокою мудростью, исполненною глубочайшаго нравственнаго и жизненнаго содержанія. Эта мудрость всѣмъ доступна и всякому понятна, кто только жаждетъ мудрости: ибо Сократъ, какъ истинный Грекъ, есть мудрецъ, а не философъ. Между этими двумя словами большая разница. Мудрецовъ могла производить только древность, гдѣ всѣ стихіи жизни были слиты въ органическое цѣлое и единое, гдѣ жрецъ, ученый, художникъ, купецъ, воинъ, прежде всего былъ человѣкомъ и гражданиномъ; гдѣ гуманическое начало развивалось въ человѣкѣ прежде всего; гдѣ воспитаніе было столько же развитіемъ тѣла, сколько и духа, на томъ основаніи, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать и здоровая душа; гдѣ мыслить значило вѣровать, и вѣровать значило мыслить; гдѣ имѣть нравственное убѣжденіе значило быть всегда готовымъ умереть за него; гдѣ наука и искусство не отдѣлялись отъ жизни, и образъ мыслей отъ образа жизни; гдѣ гражданинъ былъ участникомъ и въ правленіи и въ жречествѣ; гдѣ воинъ, въ мирное время, учился мудрости и наслаждался искусствомъ, а ученый, артистъ и ораторъ, во время войны, сражались за отечество и умирали за него; гдѣ правдивки были столько же религіозными, сколько эстетическими, общественными, государственными и національными... Греція въ особенностяхъ была такою страной въ древности, и только она могла произвести такого мудреца, какъ Сократъ, который поучалъ мудрости бесѣдуя съ народомъ на площадяхъ, въ собраніяхъ, въ торжествахъ, въ темницѣ, — вездѣ, гдѣ могъ сойд-

тись и встрѣтятся съ человѣкомъ... Наше время— время немудрецовъ, а философовъ, не людей, а книжниковъ, ученыхъ... Это потому, что многосторонніе и безконечно разнообразныя, въ сравненіи съ древностію, элементы новой жизни до сихъ поръ еще въ броженіи, до сихъ поръ еще не примирлись и не сдѣлались въ единое и цѣлое. Въ наше время, всѣ — или штатскіе, или военные, или мѣщане, купцы, художники, ученые, земледѣльцы, все, что угодно — только не «люди»; титло «человѣка» священно и велико только на словахъ да въ книгахъ, а въ жизни о немъ никто не заботится, никто не спрашиваетъ... Въ юности мы учимся всѣмъ наукамъ, исключая той, которая научаетъ каждаго быть человѣкомъ. Званіе такое-то можетъ въ наше время избавлять отъ обязанности знать что-нибудь внѣ его сферы; званіе ученаго, напримѣръ, позволяетъ быть трусомъ, блѣднѣть и прятаться при звукѣ оружія. Но всего грустнѣе, что не только званіе, но даже всемірная слава философа, у насъ не только избавляетъ отъ обязанности считать себя въ какихъ бы то ни было кровныхъ связяхъ съ обществомъ и народомъ, но еще какъ-бы поставляетъ въ обязанность считать для себя за честь быть выше общества и современности... Оттого-то въ наше время иной философъ, пока на кафедрѣ — Промееей, рѣшительный Промееей; слушаешь и дивишься, какъ одинъ человѣкъ можетъ вмѣстѣ въ себя столько мудрости, столько знанія!.. Но придите въ домъ къ этому Промееею: Боже мой, какое превращеніе! Филдистеръ, мѣщанинъ, человѣкъ, котораго вся поэзія жизни ограничена какою-нибудь кухаркою-женою, трубкою кнастера и кружкою пива... На кафедрѣ — ему, кажется, только и бесѣдовать бы что съ богами; а въ жизни, это одинъ изъ почтеннѣйшихъ членовъ бюргеръ-клуба... На кафедрѣ, это герой истины, готовый защищать ее, логическими построеніями, противъ всей вселенной; а въ жизни — это человѣкъ, хорошо вы-

твердившій правило «свое дѣло сторона», и живущій въ ладу со всякою дѣйствительностію, равно счастливый при всякихъ обстоятельствахъ. Удивительно ли, что философія въ наше время производитъ только школьныя партіи, и что жизнь такъ же не хочетъ ее знать, какъ и она не хочетъ знать жизнь?... А художникъ нашего времени?... Онъ живетъ въ прошедшемъ, поетъ, какъ птица, и подобно птицѣ перепархиваетъ съ вѣтки на вѣтку, ища мѣстечка, гдѣ бы ему было получше... Не такова была древность — эта великая школа людей и мужей, гдѣ самыя женщины были героинями своихъ обязанностей, и, будучи женами и матерями, умѣли быть и гражданками; гдѣ художники и ученые были не птицами и не педантами, а тайниками, хранителями Прометеева огня національной жизни... Тамъ слово было дѣломъ, и дѣло было словомъ, мысль — фактомъ, и фактъ — мыслию. За то, въ Греціи, напримѣръ, Гомера знали не одни ученые, а цѣлый народъ; Пиндару и Кориннѣ рукоплескала вся Эллада на олимпійскихъ играхъ; Геродотъ, на тѣхъ же олимпійскихъ играхъ (а не въ собраніи общества любителей словесности), читалъ Эллинамъ исторію славной борьбы ихъ съ Азією, а юноша-Θυκιδидъ плакалъ, слушая вѣщаго старца... Софоклъ, обвиненный неблагодарными дѣтьми въ помѣшательствѣ ума, передъ лицомъ всего народа выигрываетъ процессъ, прочтя судіи-народу отрывокъ изъ своего «Эдипа»... А между тѣмъ, Греки не знали великаго искусства книгопечатанія, которымъ мы столько гордимся, забывая, что у насъ большая часть и знающихъ-то грамотѣ читаютъ только преісь-куранты да объявленія о продажахъ и подрядахъ...

Вѣрять и не знать — это еще значить что-нибудь для чело-вѣка; но знать и не вѣрять — это ровно ничего не значить. Сознательная вѣра и религіозное знаніе — вотъ источникъ живой дѣятельности, безъ котораго жизнь хуже смерти. А между

тѣмъ, сколько людей въ наше время безъ памяти рады, что они — скептики, и что они вѣрятъ только въ то, что тѣмъ больше въ карманѣ денегъ, тѣмъ веселѣе быть скептикомъ!... Только въ такое несчастное время могутъ существовать люди, которыхъ ремесло состоитъ въ томъ, чтобы тѣшить праздную толпу, кумыкаясь передъ нею на канатѣ, въ нарядѣ паяца, въ колпакѣ съ бубенчиками, и которые готовы доказывать, для ея потѣхи, что Сократъ былъ умный плутъ, который морочилъ Афинявъ своимъ демономъ, внутренно смѣяся надъ ними, какъ будто бы Сократъ былъ забавникъ-журналистъ, или шутъ... Эти «скептики», по себѣ самимъ судящіе о великихъ людяхъ, эти потѣшники толпы, — съ свойственнымъ имъ безстыдствомъ, готовы доказывать, что Сократъ и чашу-то съ цикутою выпилъ изъ желанія плутовать и тѣшиться... Для низкихъ натуръ ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ мстить за свое ничтожество, бросая грязью своихъ возрѣній въ святое и великое жизни... А бессмысленная толпа, дикая, невѣжественная чернь, за то-то и удивляется этимъ гаерамъ, принимая ихъ наглость и дерзость за знаніе и умъ...

Кстати о Сократѣ и о чашѣ съ цикутою, которая прекратила дни мудреца и праведника: въ разговорѣ «Критонъ» Платонъ представляетъ Сократа бесѣдующимъ въ темницѣ съ ученикомъ его, Критономъ. Критонъ уговариваетъ Сократа бѣжать; Сократъ доказываетъ ему, что не можетъ этого сдѣлать, не отрекшись отъ своего собственного ученія, и не запятнавъ безчестіемъ всей своей жизни. Такъ мыслилъ и чувствовалъ Сократъ — этотъ тонкій плутъ, этотъ ловкій «надувало», тѣшившійся надъ легковѣріемъ Афинявъ!... И какъ его мышленіе было его вѣрою, — онъ мученическою смертію утвердилъ справедливость своего религіознаго сознанія. Изучать доктрину Сократа, изложенную въ бесѣдахъ, преніяхъ, какъ самъ онъ излагалъ ее, — значитъ не только просвѣщать свой разумъ свѣтомъ

истины, но и укреплять свой дух въ вѣрѣ въ истину, приобрести божественную способность дѣлаться жрецомъ истины, готовымъ все приносить въ жертву ей и вреде всего — самого себя.

Вотъ почему, нисколько не увлекаясь и не преувеличивая дѣла, но видя его совершенно такимъ, каково оно есть дѣйствительно, — мы смѣло можемъ сказать, что г. Карповъ, если онъ кончитъ изданіе своего перевода, совершитъ подвигъ столько же гражданскій, сколько и ученый. Это великая заслуга передъ обществомъ, это безцѣнный подарокъ его настоящему и будущему. Изученіе классической древности въ новѣйшей Европѣ положено краеугольнымъ камнемъ публичнаго воспитанія юношества, — и въ этомъ видна глубокая мудрость. Есть люди, которые кричатъ: «зачѣмъ намъ нѣтъ спасенія безъ Грековъ и Римлянъ? зачѣмъ непременно изучать греческій и латинскій, а не санскритскій, или не арабскій языкъ, если ужъ безъ древнихъ языковъ нельзя обойтись?» — Затѣмъ, милостивые государи, что связь новѣйшей Европы съ Индіею и Аравіею гораздо отдаленнѣе, нежели съ Греціею и Римомъ. То родство въ двадцатомъ колѣнѣ, а это родство — близкое, кровное. Изученіе классической древности преобразовало Европу, свергло тысячелѣтнія оковы съ ума человѣческаго, способствовало освобожденію отъ инквизиціи и тому подобныхъ челоѣколюбивыхъ и кроткихъ мѣръ къ спасенію душъ. Законодательство римское замѣнило, въ новѣйшей Европѣ, феодальную тиранію правомъ, на разумъ основанномъ. Древняя Греція и Римъ — страны духа, впервые освободившагося отъ деспотическаго владычества природы, представитель котораго Азія. Тамъ, на этой классической почвѣ, развились сѣмена гуманности, гражданской доблести, мышленія и творчества; тамъ начало всякой разумной общественности, тамъ всѣ ея первообразы и идеалы. Правда, тамъ общество, освободивъ челоѣка

отъ природы, слишкомъ и покорило его себѣ. За то, среднѣе вѣка ужь слишкомъ освободили его отъ общества, и впали въ другую крайность. Теперь настаетъ время примиренія этихъ двухъ крайностей, во имя среднихъ вѣковъ в древняго міра; следовательно, Греція и Римъ и теперь еще живутъ и дѣйствуютъ въ насъ, къ нашему благу и нашему преуспѣянію въ осуществленіи на дѣлѣ идеальной истины, которая одна только истина, ибо всякая эмпирическая истина — ложь.

Переводъ г. Карпова именно такой, какого только нужно желать въ наше время: вѣрный и точный до буквальности, несаящій на себѣ отпечатокъ того языка, съ котораго онъ сдѣланъ; но отъ того русскій языкъ въ немъ ни сколько не изнасилованъ и не лишенъ своей естественности. Переводъ изящный болѣе обогатилъ бы нашу литературу, чѣмъ познакомилъ бы насъ съ Платономъ. Такой переводъ можетъ быть важенъ для насъ только послѣ перевода г. Карпова; но и тогда мы читали бы его *texte en regard* съ переводомъ г. Карпова, имѣя послѣдній подъ рукою, такъ сказать, для повѣрки перваго. Честь и слава человѣку, скромно, въ тиши кабинета, наединѣ, совершающему свой трудъ, который былъ бы истиннымъ подвигомъ для цѣлаго ученаго общества! Неужели этотъ трудъ не поддержится публикою?—Страшно и подумать объ этомъ...

НАНИ, списанные съ натуры Русскими. Выпускъ двѣнадцатый, Наня. Соч. *** вой. Спб. 1842.

Статья «Наня» служитъ новымъ доказательствомъ, что русскія дамы могутъ писать — по крайней мѣрѣ не хуже русскіхъ мужчинъ... Русская наня изображена тутъ вѣрно и живописно. Какъ и слѣдуетъ, она является въ статьѣ англомъ-

хранителем дитяти, любить его бессознательно, страдает его страданіями, радуется-его радостями. Впрочемъ, это только одна сторона русской няни, любящей до самоотверженія, но и необразованной, и грубой, и нереполненной всевозможными предрасудками черни. Жаль, что даровитая писательница только слегка коснулась другой стороны няни, едва намекнувъ, какъ няня балуетъ дѣтей глупымъ потворствомъ и грубымъ заступничествомъ передъ гувернантами, на которыхъ, за ихъ справедливую строгость къ дѣтямъ, уже вышедшимъ изъ-подъ ея надзора, ворчить и злится за глаза и въ глаза. Тутъ можно было бы нарисовать широкую картину, какъ няня, всегда балуя младшихъ на счетъ старшихъ, озлобляетъ послѣднихъ чувствомъ несправедливости, и изъ тѣхъ и другихъ ангело-подобныхъ существъ подготавливаетъ исподоволь существа совѣмъ не похожія на ангеловъ... А впрочемъ, она ихъ любитъ страстно и нѣжно, только бессознательно, какъ любятъ животныя и люди невѣжественныя. какъ любятъ коровы телятъ, а куры цыплятъ, какъ любятъ русскія няни порученныхъ ихъ заботливости чужихъ дѣтей... Потомъ не мѣшало бы замѣтить, какъ эти няни портятъ воображеніе дѣтей страшными рассказами о привидѣніяхъ и тому подобныхъ вздорахъ, которые сильно впечатлѣваются въ юномъ мозгу и, вслѣдствіе этого, часто одолеваятъ разумъ взрослыхъ людей... Еще замѣтимъ, что никакъ нельзя согласиться съ мыслию сочинительницы статьи, будто бы нянею, въ смыслѣ ангела-хранителя дѣтей, обязаны мы только крѣпостному сословію. Причина любви старухъ къ дѣтямъ лежитъ въ натурѣ человѣка: старость вездѣ и всегда другъ дѣтства, а дѣтство другъ старости. Дѣтя любятъ свою «бабу» (т. е. мать отца или матери) едва ли не болѣе, чѣмъ мать свою, ибо первая — такъ какъ для нея вѣтъ уже въ жизни никакихъ другихъ интересовъ — занимается имъ съ какою то неизъяснимою преданностью.

Изложение и вообще языкъ статьи «Няня» — просто прелесть; всё подробности такъ вѣрно схвачены съ натуры, такъ мастерки перенесены на бумагу, что, читая, будто видишь все на самомъ дѣлѣ. Право, для спасенія чести современной русской литературы, безвременно погибающей отъ нравственно-сатирическихъ шмелей и другихъ дрянныхъ и докучныхъ настькомыхъ, одно только средство — просвьть дажь, чтобъ онѣ побольше писали по русски...

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕВОДЫ Н. А. ПОЛЕВАГО. *Спб. 1842. Двѣ части.*

Г. Полевой сдѣлался драматистомъ совершенно нечаянно. Еслибъ въ то время, когда издавалъ онъ свой «Московский Телеграфъ», въ которомъ съ такою энергіею и такимъ одушевленіемъ преслѣдовалъ и уничтожалъ бездарность и посредственность, еслибъ, говоримъ мы, въ то время кто-нибудь сказалъ ему, что нѣкогда онъ будетъ писать «драматическія представленія», — то, думаю, такое предсказаніе почелъ бы онъ за обыкновенную выходку оскорбленной и самолюбивой посредственности, которая не хочетъ, да еслибъ и хотѣла — не можетъ вѣрить въ другихъ продолжительности и неизмѣнности возвышенныхъ убѣжденій. Другими словами: онъ принялъ бы этихъ предсказателей за тѣхъ людей, которые, съ лукавою усмѣшкою, всегда говорятъ пылкому юношѣ, презирающему пошлыми житейскими продѣлками и порывающемуся къ осуществленію высшаго идеала жизни: «а вотъ погоди, упрыгаешься — не то запоешь; мы сами не хуже тебя горячились въ свое время, да вотъ угомонились же и взяли за умъ!» Пылкая юность обыкновенно презираетъ такими предсказаніями, но тайнѣ они

сердять се и обдають холодомъ, заставляющимъ содрогаться. Увы! на зло пылкой юности, слова этихъ предсказателей не совѣтъ вздоръ и ложь, лая, лучше сказать, рѣдко, очень рѣдко вздоръ и ложь... Нѣчто въ родѣ этой горькой мысли такъ ловко и занимательно было развито самимъ г. Полевымъ въ его безъ всякихъ претензій написанной статейкѣ: «Три Дня въ Двадцати Годохъ» (сцены изъ обыкновенной человѣческой жизни въ разговорахъ представленныя; см. «Новый Живописецъ Общества и Литературы, составленный Николаемъ Полевымъ», Москва. 1832, часть III, стр. 119); вотъ содержаніе этой пріятельской статейки. Нѣсколько задушевныхъ друзей, за бутылкою вина, мирно бесѣдуютъ о высокой цѣли жизни, о высокомъ смыслѣ ихъ дружбы. «Мы», говоритъ одинъ изъ нихъ: «осмѣливаемся причислить себя къ людямъ, отличеннымъ Зевеса любовію; намъ должно прожить не только не дѣлая зла: это участь толпы! — нѣтъ, для насъ впереди завидная судьба: дѣйствовать и быть полезными другимъ, тѣмъ, что дала намъ мать-природа и общая дружба наша, освященная заветомъ на прекрасное и великое; всѣ мы въ одно время вступили въ свѣтъ: дадимъ же руку и поклянемся жить для ближнихъ!» На эту восторженную рѣчь восклицаютъ всѣ другіе: «клянемся!» Ораторъ продолжаетъ: «И да будетъ тотъ наказанъ общимиъ всѣхъ насъ презрѣніемъ, кто измѣнитъ клятву! Не я измѣню ей прейде...» — И не я, и не я! повторяютъ всѣ другіе. Пріятельская бесѣда эта происходитъ наканунѣ разъѣзда друзей по разнымъ дорогамъ жизни. Одинъ изъ нихъ поэтъ и литераторъ: онъ читаетъ отрывки изъ своихъ стихотвореній, говоритъ объ успѣхѣ своихъ статей, о Лагарповомъ разборѣ «Запры», о нелѣпности англійской драмы и о преимуществѣ «Россиады» передъ «Генриадою». Другаго изъ нихъ итѣять друзья въ великіе полководцы, третій самъ смотритъ великимъ дипломатомъ. Вотъ, черезъ десять лѣтъ послѣ этого вечера, друзья опять

собираются; но это уже не тѣ пылкіе молодые люди, съ которыми мы познакомились въ первый вечеръ, назадъ тому десять лѣтъ... Одинъ изъ нихъ мизантропъ и влечетъ себя, какъ за слабость, за остатокъ любви къ людямъ; другой не бережетъ своего здоровья, говоря, что «не для чего»; всѣ чувствуютъ, что отстали отъ вѣка, выжили изъ таланта: действительность поколотила мечты юности ихъ, и они недовольны жизнью, недовольны другъ другомъ, пересуживаютъ, упрекаютъ одинъ другаго въ слабостяхъ, недостаткахъ и ошибкахъ. Еще черезъ десять лѣтъ, одинъ изъ нихъ уже сдѣлался «его превосходительствомъ», двое другихъ подличаютъ въ его передней, а третій безуспѣшно хлопочетъ у своего превосходительнаго друга по дѣлу сироты, сына одного изъ ихъ друзей, котораго хотять ограбить друзья же отца его, — и о мѣстечкѣ съ пустымъ жалованьемъ для другаго сироты, сына умершаго въ домѣ умалишенныхъ лучшаго друга изъ этого кружка друзей.

Это рѣшительно лучшее изъ всѣхъ «драматическихъ представлений» г-на Полеваго, ибо въ немъ отразилось человѣческое чувство, навѣянное душою о жизни; а между тѣмъ г. Полевой написалъ его безъ всякихъ претензій, какъ бездѣлку, которая не стоила ему труда, и которую прочтутъ — хорошо, не прочтутъ — такъ и быть! Какая же мысль этого «драматическаго представленія»? Она ясна и безъ поясненій; но у насъ есть своя мысль на этотъ предметъ, — мысль, по нашему мнѣнію, достойная того, чтобъ какой-нибудь поэтъ взялъ ее въ основаніе цѣлой драмы, или цѣлаго романа: «Юность есть огонь и свѣтъ жизни; каждый человѣкъ, по своему, бываетъ разъ въ жизни юнъ; но одинъ сохраняетъ юность до двадцати лѣтъ, другой до тридцати, третій до сорока, и такъ далѣе; немногіе избранныки провидѣнія совѣтъ не знаютъ старости и пѣтутъ юностию подъ сѣгомъ волосъ дряхлой старости». Гордое презрѣніе къ посредственности — одно изъ свойствъ юно-

ств; оно происходитъ изъ любви къ высокому и истинному, изъ внутренняго ясновидѣнія идеала высшей жизни. Довольство тѣмъ, что есть, безъ требованія того, чего еще нѣтъ, но безъ чего не для чего жить, примиреніе съ окружающею дѣйствительностію, терпимость, посредственности — вотъ первые страшные предшественники наступающей старости. Кто окунется въ омутъ жизни, кто привыкнетъ къ житейскому, прозаическому, мелочному и посредственному — до того, что съ убѣжденіемъ и самодовольствомъ возьметъ въ немъ свою роль и, какъ успѣху, радъ будетъ ей: тотъ уже старикъ, лилей старикъ. Тускнѣютъ его дряхлыя очи и, сквозь покрывшую ихъ мутную влагу, не могутъ рассмотретьъ ничего юнаго и великаго: оно возбуждаетъ въ нихъ только кропотливое ворчаніе, которымъ начинается порицанье всего новаго и похвала всему старому! Отнимается у нихъ даже свѣтлое воспоминаніе о ихъ невозвратно-погнѣвшей юности, и они называютъ безумствомъ гордые помыслы и благородные порывы своихъ юныхъ лѣтъ; они помнятъ въ нихъ только сильный аппетитъ да крѣпкій сонъ; они хвалятъ свое время не за то, что было въ немъ безусловно прекраснаго, а за то только, что оно было ихъ время... «Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество, забирайте съ собою все человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ — не поднимите потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдастъ назадъ она! Могила милосердіе ея, на могилѣ напишется: здѣсь погребенъ человѣкъ! но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости!» (Мертвыя Души, стр. 244).

Но мы, заговорясь о постороннихъ предметахъ, отделились отъ предмета нашей статьи — «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» г. Полеваго. Читателямъ должно быть извѣстно наше о нихъ мнѣніе. Г. Полевой, въ своемъ «Послѣсловіи»,

приложенномъ къ концу второй части «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» говорить между прочимъ:

«За немногими исключениями, которыя приëмлю съ глубокою признательностью» все, что можно сказать объ Александрѣ Ананьевичѣ Орловыхъ и «подобныхъ ему» писателяхъ, было обо мнѣ сказано критиками. Они находили, что даже самый родъ драматическихъ пьесъ ложный; что онѣ *коцебятима* (извините: выраженіе критиковъ!); что онѣ доказываютъ безвкусіе, безграмотность; что я обобразъ въ моихъ драматическихъ сочиненіяхъ Шекспира, Гёте, Шиллера, Мольера, Вольтера, Дюма, В. Гюго, В. Скотта, Озерова, Кукольника, и—право, не помню кого-то еще!»

Непринадлежа къ числу критиковъ, на которыхъ такъ горько жалуется г. Полевой, мы смѣло можемъ сказать, что въ ихъ обвиненіяхъ нѣтъ ни правды, ни толка, и что, въ то же время, и самъ г. Полевой не совсѣмъ правъ въ томъ, что говорить въ выписанныхъ нами словахъ своего «Послѣсловія». Во первыхъ: зачѣмъ ему принимать съ глубокою признательностію немногія исключенія по части критическихъ отзывовъ въ пользу его «драматическихъ представленій»? Если ихъ хвалили, то, надо полагать, за то, что находили ихъ достойными похвалы: какой же авторъ обязанъ благодарностію (да еще и глубокою!) критику, который, находя его сочиненія хорошими, не называетъ ихъ дурными? По нашему мнѣнію, авторы благодарятъ критиковъ только за пристрастныя похвалы, или за снисхожденіе, которое для гордой юности позорнѣе всякой браня. Потомъ: критики, которые равняли г. Полеваго съ Александромъ Ананьевичемъ Орловымъ и находили въ его драмахъ безвкусіе, безграмотность и бессмысліе — «наѣлись грязи», какъ выражается одинъ татарскій критикъ. Мы, напротивъ, думаемъ, что г. Полевой, въ своихъ драмахъ, несравненно выше, чѣмъ А. А. Орловъ въ своихъ романахъ, и что въ драмахъ г. Полеваго есть немножко и вкуса, много грамотности, и смыслъ вездѣ на лицо. Но вотъ въ томъ-то и бѣда наша, что мы не любимъ посредственности; она для насъ хуже бездарности!

Притомъ же, мы такъ уважаемъ въ лицѣ г. Полеваго, бывшаго журналиста, что намъ непріятно видѣть его чѣмъ-то среднимъ между г. Кукольника и г. Ободовскимъ (много ниже перваго и мало выше втораго) и главою разныхъ драматистовъ, съ успѣхомъ подвизающихся на сценѣ Александринскаго театра. По тому же самому намъ непріятно, что его въ томъ же театрѣ вызываетъ та же публика, которая вызываетъ и г. Зотова, и г. Коровкина, и многихъ другихъ того же разбора сочинителей. По нашему мнѣнію, не должно дорожить такими рукоплесканиями, такими вызовами, такою славой... Далѣе: не правы критики, называя родъ «драматическихъ представленій» г. Полеваго ложнымъ: ибо, прежде всего, это совсѣмъ не родъ, а такъ, Богъ знаетъ что такое... Еще: не правъ г. Полевой, почему-то почитая слово «коцебатина» неприличнымъ и извиняясь въ немъ передъ публикою. Коцебатина — то же, что у Французовъ, напр., *tragicaudage*: первое означаетъ родъ и характеръ драматическихъ піесъ Коцебу, второе — комедій Мариво. Наконецъ, не правы критики, утверждая, что г. Полевой обиралъ, въ своихъ «драматическихъ представленіяхъ», Шекспира, Гёте, Шиллера, Мольера, Вольтера, Дюма, В. Гюго, Озерова и г. Кукольника. Правда, въ любви Нино и Вероники (въ «Уголино»), г. Полевой сдѣлалъ пародію на «Ромео и Юлію» Шекспира; въ своей «Еленѣ Глинской», г. Полевой перепародировалъ «Макбета» Шекспира, и частію «Кенильвортъ» В. Скотта: но писать пародіи на великія созданія великихъ поэтовъ и обирать ихъ — это совсѣмъ не одно и то же; критики рѣшительно неправы въ этомъ случаѣ! Что касается до Мольера, г. Полевой передѣлалъ (и то съ кѣмъ-то вдвоемъ) «*Ma'ade imaginaire*», и не думалъ скрывать этого; но передѣлка дѣло законное и ничего общаго съ литературнымъ обирательствомъ не имѣетъ! Что же касается до Гёте, Шиллера, Вольтера, Дюмо, Гюго, Озерова и г. Кукольника. — то

едвали критики обвиняли г. Полевого въ похищеніяхъ у этихъ писателей. Правда, г. Полевой иногда сталкивался съ г. Кукольниковъ въ нѣкоторыхъ театральныхъ эффектахъ, но это потому, что *les beaux esprits se rencontrent*..

Описавъ злонамѣренность критиковъ, г. Полевой говоритъ, что онъ «въ теченіи пяти лѣтъ, имѣлъ честь удостоиться за пятнадцать шість драгоцѣннаго ему одобренія зрителей петербургскихъ и московскихъ». Противъ этого мы не споримъ: здѣсь публика нашла по себѣ сочинителя, а сочинитель нашелъ по себѣ публику; обѣ стороны одна другою довольны, обѣ поняли одна другую — зрѣлище пріятное и умилительное! Двѣ только пьесы заслужили осужденіе публики, «справедливое во всѣхъ отношеніяхъ», прибавляетъ г. Полевой съ рѣдкою въ нашъ развратный вѣкъ скромностію и безпристрастіемъ къ самому себѣ.

«Такъ поступила со мною критика. Такъ поступила со мною публика. Чѣмъ рѣшить такое противорѣчіе?» Вопросъ глубокомысленный! Есть надъ чѣмъ поломать голову даже Парижской Академіи Наукъ! Чтò же касается до насъ, — не смѣемъ и думать, чтобъ нашихъ силъ стало на рѣшеніе вопроса такой важности.

Далѣе г. Полевой говоритъ, что собираетъ свои пьесы вмѣстѣ въ ожиданіи окончательнаго приговора. «Критикамъ (прибавляетъ онъ) доставится средство осудить повально то, чтò они осуждали въ разбой». Каламбуръ! И еще какой — его стало бы на цѣлый водевиаль!

Странно, однакожъ, какъ все измѣняется въ семъ тревоженномъ мірѣ: г. Полевой, нѣкогда критикъ строгій, рѣзкій и для многихъ страшный, теперь такъ же скромно протестуетъ противъ неугомонности критиковъ, какъ нѣкогда, когда онъ самъ былъ критикомъ, множество сочинителей протестовало (и такъ же тщетно) противъ него. И неужели драматическіе труды

князя Шаховскаго, каковы бы ни были они, ужь до такой степени ниже «драматическихъ представленій» г. Полеваго?... А вѣдь едва ли кто о самомъ А. А. Орловѣ, или объ извѣстномъ знаменитомъ его соперникѣ, говорилъ такія вещи, какія въ старину говаривалъ г. Полевой о князѣ Шаховскомъ, по поводу его драматическихъ піесъ...

Интересно, какъ высказываетъ г. Полевой свое мнѣніе о собственныхъ «драматическихъ представленіяхъ»: это драгоценныя черты для будущаго біографа г. Полеваго! «Матъ семейства (говоритъ онъ) смѣло можетъ причислить мои драматическія сочиненія къ бібліотекѣ своего семейнаго чтенія, и наградою моею будутъ ея слезы и ея улыбка» (стр. 17). Да правда, тысячу разъ правда! Тутъ и сама зависть къ славѣ г. Полеваго охотно согласится, что эта награда столько же принадлежитъ ему, какъ и Б. М. Ф(Ѳ)едорову.

Матъ дочери велеть его читать!

Лестная награда для великаго писателя!... Увы, этой награды не удостоились, изъ чужихъ: ни Гомеръ, ни Дантъ, ни Сервантесъ, ни Шекспиръ, ни Байронъ, ни многіе другіе, а изъ нашихъ: ни Пушкинъ, ни Гоголь, ни Лермонтовъ!...

Трудно было бы слѣдить за критическою оцѣнкою г. Полеваго собственныхъ его піесъ: замѣтимъ только, что «Параша» его любимая піеса, что день ея представленія былъ счастливейшимъ днемъ его жизни, что успѣхъ ея былъ необыкновенный, и что она послужила темою оперѣ г. Струйскаго, также заслужившей вниманіе знатоковъ...

Выписываемъ вполнѣ замѣтку г. Полеваго о «Солдатскомъ Сердцѣ» — она въ высшей степени замѣчательна:

«Солдатское сердце. Основаніе взято изъ событія въ жизни извѣстнаго литератора, Ѳ. В. Булгарина. Находясь въ военной службѣ и бывши въ Финляндіи, въ юности своей онъ спасъ несчастнаго, ложно обвиненнаго въ предательствѣ, и черезъ много лѣтъ потомъ имѣлъ наслажденіе слышать благо-

дарию сина за сохраненіе жизни отца. По особеннымъ обстоятельствамъ, піеса моя была принята довольно холодно; но я печатаю ее, потому что никакія частныя отношенія не сильны побѣдить мое убѣжденіе тамъ, гдѣ я по совѣсти считаю себя правымъ, если воздаю достойному достойное.

Итакъ, піеса г. Полеваго «Солдатское Сердце» трикратно замѣчательна: во первыхъ, тѣмъ, что сюжетъ ея сообщенъ сочинителю г. Булгарнымъ и г. Полевой написалъ ее по расказу г. Булгарина; во вторыхъ, тѣмъ, что по особеннымъ обстоятельствамъ, она была довольно холодно принята; въ третьихъ, потому что никакія частныя отношенія не помѣшаютъ г. Полевому воздавать достойному достойное. Александръ Македонскій завидовалъ Ахиллу, что этотъ герой имѣлъ такого пѣвца своихъ подвиговъ, какъ Гомеръ: сколько же героев позавидуютъ теперь г. Булгарину!... А какая черта великодушія со стороны г. Полеваго это «Солдатское Сердце»! Никакія отношенія... слышите ли: никакія отношенія? т. е. ни «писатели съ огороднымъ прозваніемъ», ни «квасники, самоучкою выучившіеся грамотѣ»!)!... Подлинно, когда два достойные сочинителя поймутъ другъ друга, то изъ гусака судиться не будутъ, какъ Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, въ повѣсти Гоголя!..

Комедию «Мнимый Больной», водевилъ «Черезполосныя Владѣнія» и «Онъ за все платитъ», и комедию «Ужасный Незнакомецъ» г. Полевой печатать не хочетъ, и даже кается въ нихъ, какъ въ литературныхъ грѣхахъ. Онъ самъ говоритъ, что «Ужасный Незнакомецъ» ужасно хлопнулся при первомъ представленіи, и что «не все то годится на сцену, что нравится въ чтеніи». Изъ этого видно, что г. Полевому «Ужасный Незнакомецъ» нравился въ чтеніи.

1) См. ниже—«Литер. в Журналыя Завѣтки: Русская Журналистика и Капустныя Кочерыжки».

«Передавшая его для сцены (продолжает г. Полевой), я полагаю что пьеска будет забавна, но увидѣлъ, что ничего безсвязнаго и нелюбопытнаго не можетъ быть. Сидя въ углу ложа, обшуканный вторъ, философически разрыпалъ я (подлинно истинный философъ — всездѣ и во всякомъ случаѣ вѣренъ своему призванію!) задачу объ условіяхъ и требованіяхъ сцены, когда занавѣсъ опускался при общемъ весьма гармоническомъ шиканѣ зрительей.— Послѣ того, мѣсяца черезъ два, написалъ я *Парашу Сибирячку*».

Геніальная черта — не смущаться паденіемъ и возставать послѣ него такъ высоко, что ужъ и спрыгнуть внизъ страшно!...

А жаль, очень жаль, что г. Полевой не хочетъ печатать «Черезполосныхъ Владѣній», «Онъ за все платитъ» и «Ужаснаго Незнакомца». Этакъ — чего добраго! — онъ пожалуй не напечатаетъ и «Комедіи о Войнѣ Федосьи Сидоровны съ Китайцами». Мы вообще противъ неполныхъ изданій великихъ писателей, особенно противъ пропусковъ тѣхъ изъ ихъ сочиненій, которыя сами они, по авторской скромности, считали бездѣлками: ибо если въ бездѣлкахъ часто заговаривается писатель, то проговаривается человѣкъ... Говоря о «Трехъ Дняхъ въ Двадцати Годѣхъ», мы сказали, что составляло нѣкогда пагосъ (страсть духа) г. Полеваго: такъ любопытно же будетъ потомству знать, въ чемъ потомъ заключался пагосъ сочиненій г. Полеваго, чтобъ тѣмъ легче могло оно сравнить, чѣмъ онъ былъ прежде и чѣмъ сталъ послѣ... Въ бездѣлкахъ писатель искреннѣе, больше на распахку, больше человѣкъ, тогда какъ въ сочиненіяхъ, которыя онъ считаетъ важными, онъ словно въ мундирѣ, весь — осторожность... Впрочемъ, «Комедія о войнѣ Федосьи Сидоровны съ Китайцами» совсѣмъ не бездѣлка: это рѣшительно самое поэтическое, самое національное и самое патріотическое произведеніе г. Полеваго. Напечатайте его, г. Полевой, непременно напечатайте — а мы ужъ приложимъ стараніе — разберемъ...

ЛЮБОВЬ МУЗЫКАНТА. Романа Андрея Ярославцова.
Спб. 1842. В трех частях.

Съ недавняго времени, въ русской литературѣ образовался особенный родъ романовъ, имѣющій свои внѣшнія и внутреннія отличія. Это обыкновенно романы отъ одной до трехъ частей, тощенькихъ, въ двѣнадцатую долю листа, рѣдко въ цвѣтной оберткѣ, но большею частію въ бѣлой — символъ ихъ невинности и чистоты; печатаются они въ типографіяхъ средней руки, ни въ слишкомъ хорошихъ, ни въ слишкомъ дурныхъ; вообще издаются скромно, довольно опрятно и никогда красиво или роскошно. А внутреннія отличія ихъ—слѣдующія. Герой всегда человекъ необыкновенный, бѣдный, талантливый, возвышенный духомъ, обуреваемый страстями и непонимаемый презрѣнною толпою, потому именно непонимаемый, что говоритъ всегда такъ вычурно, кудряво, высоко, что толпа, по своему невѣжеству, всегда слушаетъ его, какъ помѣшаннаго, дивясь, въ простотѣ своей, почему онъ не въ домѣ сумасшедшихъ — этомъ благотѣльномъ заведеніи для всѣхъ романтическихъ героевъ... Героиня всегда или дочь бѣдныхъ, но благородныхъ родителей, или дочь богатыхъ, но жестокосердыхъ родителей; любить читать книжки, пѣть новые романсы, мечтать при лунѣ и выражать свои чувства, страсти и мысли такимъ языкомъ, какого, кромѣ этого рода романовъ, да развѣ еще вышепомянутаго благотѣльнаго заведенія, нигдѣ не услышишь. У героя обыкновенно есть другъ, которому онъ повѣряетъ бурю страстей своихъ и завѣтныя думы сердца; обыкновенно бываетъ такъ, что герой серьезенъ, а другъ его легкаго и веселаго характера, надъ всѣмъ шутитъ и отличается тѣмъ шмыгъ, игривымъ остроуміемъ, которое составляетъ неотъемлемую собственность юныхъ чиновниковъ. Фамиліи дѣйствующихъ лицъ всегда самыя романческія: Славны, Гренины, Альмскіе,

Лирны, Звонскіе, Свѣтны, Лидны и т. д. Это, впрочемъ, ихъ парадныя имена; но въ романѣ, и авторъ и они сами называютъ себя просто по-пріятельски: Ипполитъ, Платонъ, Валеріанъ, Александръ, Владиміръ и проч. Героини всегда называются не по фамиліямъ, а по именамъ, какъ у иностранцевъ: Марія, Александрина, Лидія, Елизавета, и проч. Такъ называютъ ихъ и сочинители романовъ и представляемые въ этихъ романахъ интересные молодые люди, даже на балахъ, даже не будучи съ ними хорошо знакомы. А эти господа, т. е. сочинители такихъ романовъ, и сами знаютъ, что такое обращеніе совѣмъ не въ нравахъ русскаго общества; что у насъ дамъ называютъ или по фамиліи, — съ прибавленіемъ французскаго *madame* и *mademoiselle*, или, и это большею частію, — по имени и по отчеству; что у насъ нѣтъ именъ Марія и Александрина, а есть Марья и Александра, разумѣется, Ивановна, Петровна, или иначе какъ-нибудь; но этого уже требуетъ характеръ романческаго слога, такъ же, какъ вмѣсто щекъ, лба, глазъ, всегда писать ланиты, чело и очи. Вообще, эти господа убѣждены, что чѣмъ меньше романъ будетъ выражать дѣйствительную жизнь, тѣмъ больше онъ — романъ, и надо сказать правду, что эти господа владѣютъ необыкновеннымъ талантомъ представлять въ своихъ сочиненіяхъ такую жизнь, такое общество и такихъ людей, которыхъ тщетно вы стали бы искать въ сѣмъ подлунномъ мірѣ. Особенно сильны эти господа въ изображеніи высшаго общества и большаго свѣта: ихъ графы, князья, графини, княгини, баронессы, словомъ знатные господа и знатныя дамы отличаются такою тонкостію обращенія, такимъ остроуміемъ, о какихъ, можно сказать рѣшительно, и понятія не имѣютъ люди того большаго свѣта, который существуетъ не въ романахъ, а въ дѣйствительности. Ко всему этому надо прибавить, что романы, о которыхъ мы говоримъ, любятъ щегольнуть французскою фразою, ловко ввертывая въ разговоръ слова

mon chér, mon ami, ma chère, quelle heure est-il и т. п. Это обыкновенно дѣлается для показанія самой отчаянной свѣтскости, и не всегда съ соблюденіемъ орфографіи.

«Любовь Музыканта» отличается отъ всѣхъ другихъ романовъ этой категоріи тѣмъ, что его дѣйствіе происходитъ въ Петербургѣ на Васильевскомъ-острову, и что онъ написанъ тоже на Васильевскомъ острову. Это ясно значитъ въ посвященіи... Къ немалому отличію принадлежитъ еще и то, что почти всѣ его герои и героини — Нѣмцы Васильевского-острова. Это придаетъ роману особенный интересъ: извѣстно, что Нѣмцы, особенно живущіе на Васильевскомъ острову, народъ пламенный, идеальный, хотя съ виду и весьма тихій, и даже холодный.

СТИХОТВОРЕНІЯ ВЛАДИМИРА БЕНЕДИКТОВА. Первая книга Спб. 1842.

Это второе изданіе первой части стихотвореній г. Бенедиктова. Первое появилось въ 1835 году; въ 1838 году, г. Бенедиктовъ издалъ вторую часть своихъ стихотвореній, и такъ какъ первая тогда же разошлась, а вторая и до сихъ поръ не разошлась, то г. Бенедиктовъ издалъ теперь первую часть вновь, прировнявъ форматъ, печать, бумагу и обертку къ формату, бумагѣ и оберткѣ второй части.

О достоинствѣ и значеніи поэзии г. Бенедиктова споръ уже конченъ; самые почитатели его согласятся, что онъ то же самое въ стихахъ, что Марлинскій въ прозѣ. Подражать тому и другому невозможно: оба они, и г. Бенедиктовъ и Марлинскій, оригинальны и самобытны даже въ самыхъ недостаткахъ своихъ. Точно такъ же, какъ гениальные, великіе поэты выражаютъ своими твореніями крайность какой-нибудь дѣйствитель-

ной стороны искусства, или жизни, — такъ они гениально выразили, одинъ въ стихахъ, другой въ прозѣ, крайность внѣшняго блеска и кажущейся силы искусства, чуждой дѣйствительнаго содержанія, а слѣдовательно и дѣйствительной жизненности. Отсюда простекаютъ эти блестящія, пестрые, узорчныя миражи образовъ, столь обольстительныя для неопытныхъ глазъ, поражающихся одною внѣшностію; отсюда же простекаетъ и эта кажущаяся сила страстей и чувствъ, эта кажущаяся оригинальность и яркость идей, и эта дѣйствительная изысканность выраженія, доходящая иногда до уродливости и чудовищности. На Руси есть нѣсколько поэтовъ, въ произведеніяхъ которыхъ больше чувства, души и изящества, чѣмъ въ произведеніяхъ г. Бенедиктова; но эти поэты не произвели и никогда не произведутъ на публику и въ половину такого впечатлѣнія, какое произвелъ г. Бенедиктовъ. И публика, въ этомъ случаѣ, совершенно права: тѣ поэты незначительны въ той сферѣ искусства, къ которой они принадлежатъ: они заслоняются въ ней высшими поэтами той же сферы; а г. Бенедиктовъ самъ великъ въ той сферѣ искусства, къ которой принадлежитъ, и потому, никому не подражая, имѣетъ толпу подражателей. Объяснимъ это сравненіемъ. Китайская живопись, какъ все китайское, уродлива и ложна; но картина гениальнаго китайскаго живописца (если только могутъ быть гениальные китайскіе живописцы) сильнѣе поразитъ вниманіе зрителей, чѣмъ европейская картина обыкновеннаго таланта. Вообще, должно замѣтить, что поэты подобныя Марлинскому и гг. Бенедиктову, Языкову, Хомякову, очень полезны для эстетическаго развитія общества. Эстетическое чувство развивается чрезъ сравненіе и требуетъ образцовъ даже уклоненія искусства отъ настоящаго пути, образцовъ ложнаго вкуса и, разумѣется, образцовъ отличныхъ. Поэты, которымъ суждено выражать эту сторону искусства, тщетно стали бы пытаться

въ другой какой-нибудь сторонѣ искусства; особенно, для нихъ недостижима цѣломудренная и возвышенная простота. Вотъ почему они держатся однажды принятаго направленія. И хорошо дѣлають: будучи вѣрны ему, они всегда будутъ блестять, всегда будутъ имѣть свою толпу почитателей, и какъ теорія, такъ и исторія искусства, всегда будутъ, въ нужныхъ случаяхъ, ссылаться на нихъ, какъ на авторитеты въ извѣстныхъ вопросахъ науки изящнаго, — тогда какъ ни та, ни другая и знать не хотятъ обыкновенныхъ талантовъ въ сферѣ истиннаго искусства.

Стихотворенія г. Бенедиктова имѣли особенный успѣхъ въ Петербургѣ, успѣхъ, можно сказать, народный, — такой же, какой Пушкинъ имѣлъ въ Россіи: разница только въ продолжительности, но не въ силѣ. И это очень легко объясняется тѣмъ, что поэзія г. Бенедиктова не поэзія природы, или исторіи, или народа, — а поэзія среднихъ кружковъ бюрократическаго народонаселенія Петербурга. Она вполне выразила ихъ, съ ихъ любовью и любезностію, съ ихъ балами и свѣтскостію, съ ихъ чувствами и понятіями, — словомъ, со всѣми ихъ особенностями, и выразила простодушно восторженно, безъ всякой ироніи, безъ всякой скрытой мысли. Сколько юныхъ чиновниковъ и теперь еще помнитъ наизусть, напримѣръ, это стихотвореніе «Напомяніе»:

Нина, помнишь ли мгновенья,
 Какъ пѣвецъ усердный твой,
 Весь исполненный волненья,
 Очарованный тобой,
 Въ шумной залѣ и въ гостиной
 Взоръ твой дѣйствио-невинной
 Взорѣшь огненнымъ ловилъ. —
 Иль мечтательно къ олову
 Прислонясь, летушко-ножку
 Тайною душою слѣдилъ,
 Иль влекою мечтою сладкой,

Въ шумъ общества, урядной,
 Въ слѣдъ за Ниной своей
 Отъ людей бѣжалъ къ безлюдью
 Съ переполненною грудью,
 Съ острыми пламенами рѣчей;
 Какъ вносили я въ смаръ круженья
 Предъ зависливой толпой
 Стана твоей, полный оболщенья,
 На ладони огневой,
 И рука моя лѣнливо
 Отдѣлялась отъ огня
 Безконечно прихотливой
 Дынной талы твоей;
 И когда ты утомялась
 И садилась отдохнуть,
 Окваномъ мнѣ леллась
 Нытой выbleмая грудь,—
 И на этомъ океанѣ,
 Въ тѣнь млечной бѣлизны,
 Черезъ дымку, какъ въ туманѣ,
 Рисовались дѣтъ волны?—
 То угрюжъ, то бурно весель,
 Я стоялъ у пышныхъ кресель,
 Гдѣ покоилась ты,
 И прерывистою рѣчью,
 Въ твою склонясь заплечью,
 Промегалъ мнѣ мечты:
 Ты внимала мнѣ прѣвѣтно,
 А шалунъ глазъ твоей—
 Русый локонъ незамѣтно
 По щекѣ скользилъ моей...
 Нина, помнишь тѣ мгновенья,—
 Или времени потовъ
 Въ море гладнаго забвенья
 Все замѣтное увлечь?

Врядъ ли кто не согласится, что это Нина совершенно безцвѣтное лицо, настоящая чиновница, и что во всемъ этомъ воспоминаніи поэта нѣтъ ничего вѣющаго музыкой души и чувства... Но эта безсердечность, этотъ холодный блескъ, при

изысканности и неточности выраженія, кажется истинною поэзіею «львамъ» «львицамъ» средней руки...

Какъ человекъ съ дарованіемъ, г. Бенедиктовъ не лишень ни вдохновенія, ни чувства, ни фантазіи; но его вдохновеніе, чувство и фантазія лишены дѣйствительной почвы, которая давала бы имъ жизненное питаніе; оттого, они натянуты, неестественны и приводятъ читателей въ какое-то напряженное состояніе, какъ при тяжелой работѣ. Впрочемъ, мѣстами, хотя и рѣдко, у г. Бенедиктова проблескиваютъ истинно-поэтическіе образы, проглядываетъ чувство искреннее и задумчивое, какъ, напримѣръ, въ этихъ прекрасныхъ стихахъ;

Я помню приволье широкихъ дубравъ;
Я помню край дикій. Тамъ, въ годы забавъ,
Невинной безопасности полный,
Я видѣлъ — сплѣлась, шумѣла вода,
Далеко, далеко, не знаю куда,
Катились все волны, да волны.
Я откопѣю часто на брегѣ стоялъ,
Безъ мысли, но съ чувствомъ на влагу взвралъ,
И всплески мнѣ ноги лобзали
Въ дали безконечной видѣлись гѣса, —
Туда мнѣ хотѣлось: у нихъ небеса
На самыхъ вершинахъ лежали...

ТАИСТВЕННЫЙ МОНАХЪ (,) или *нѣкоторыя черты изъ жизни Петра I. Историческій романъ. Въ трехъ частяхъ (Второе изданіе) Спб. 1842.*

Всѣ существующія въ свѣтѣ «нѣкоторыя черты» принадлежать неутомимому петербургскому сочинителю, г. Р. Зотову: г. Р.Зотовъ не напишетъ ни одного романа безъ «нѣкоторыхъ чертъ». Въ «нѣкоторыхъ чертахъ» онъ изобразилъ даже Напо-

леона: его чудотворной кисти подъ силу всякая историческая личность, какъ бы ни была она громадна; а чудотворная кисть его пишетъ проворно, ярко, не жалѣетъ ни бакана, ни сурика, ни яри венеціанской, ни елняки; отого у него изображенія выходятъ чудесныя. Нашъ живописецъ не любитъ тѣной: онъ отводитъ глаза и носы у своихъ фигуръ черными полосками, какъ дѣлаютъ китайскіе живописцы. Къ недостаткамъ его живописи можно отнести то, что головы, руки и ноги у фигуръ его какъ-будто были отбиты, а потому вновь приставлены съ помощію гвоздей и клея; но это то и нравится той публикѣ, для которой изготовляются такіа картины. Приотливая не менѣе всякой другой, эта публика тоже непремѣнно хочетъ исторической живописи: хоть на лубкѣ, хоть помеломъ, а нарисуй ей Наполеона! Таковъ духъ нашего историческаго вѣка! Г. Р. Зотовъ удивительно вѣрно понялъ этотъ духъ: всѣ романы этого плодовитаго сочинителя — историческіе, съ «нѣкоторыми чертами». Его публика довольна имъ какъ нельзя больше. Не будемъ разбирать его романа: вѣдь онъ пишетъ не для насъ и не для нашей публики, а для себя и для своей публики. Зачѣмъ поселять недовѣрчивость въ этой публикѣ къ таланту ея любимаго сочинителя! Пусть онъ пишетъ, а она читаетъ: занятія невинныя и даже полезныя для публики — въ отношеніи образованія ума и сердца, и особенно знанія «нѣкоторыхъ чертъ», которыхъ она, добрая публика, не имѣла случая узнать даже изъ исторіи г. Кайданова...

III.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧНА.

ПЕДАНТЪ.

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТИПЪ).

Всѣмъ ученымъ и образованнымъ людямъ вѣдомо, что словесность, т. е. литература, должна имѣть цѣлю — поучать, услаждая. Покойный Мерзляковъ, великій знатокъ и учитель по части изящнаго, даже перевелъ (и прекрасно), кажется, изъ Тасса, чудесные стихи на этотъ счетъ:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ флягъ, сладкими уштанъ по краямъ:
Счастливецъ оболщенъ, пьетъ горькое цѣленье,
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Другими словами: литература есть искусство «золотить пилу». Мораль — дѣло хорошее, спору нѣтъ, но и скучное, горькое — противъ чего опять никто спорить не будетъ; следовательно, надо же ее подслащать, разсычать, чтобъ она достигала своей цѣли, т. е. исправляла нравы, дѣлала дурака умнымъ, пьяницу трезвымъ, взяточника и казнокрада — безкорыстнымъ, бездарнаго писака отучала отъ пера, ябедника и клеветника отъ ложныхъ доносовъ...

Далѣе, всей просвѣщенной Европѣ извѣстно, что «идеаль» есть не что иное, какъ собраніе въ одну фигуру разныхъ чертъ, разбросанныхъ въ природѣ и дѣйствительности — а отиудъ не сама дѣйствительность въ возможности. Творчества тутъ не нужно: хотите изобразить красавицу — приглядывайтесь ко

всѣмъ красавицамъ, которыхъ имѣете случай видѣть; у одной срисуйте носъ, у другой глаза, у третьей губы и т. д. — такимъ образомъ вы нарисуете красавицу, лучше которой уже нельзя и вообразить.

Я нахожу оба эти опредѣленія — «литературы» и «идеала» — чрезвычайно основательными и вѣрю имъ безусловно. Особенно хороши они тѣмъ, что, во первыхъ, избавляютъ автора отъ необходимости имѣть талантъ и фантазію, а во вторыхъ, уничтожаютъ возможность писать такія изображенія, въ которыхъ всякій, ктобъ ни былъ, могъ узнать себя и вслѣдствіе этого, жаловаться на личности...

Само собою разумѣется, что этотъ взглядъ на «литературу» и «идеалы» особенно удобенъ для «типовъ» въ родѣ тѣхъ, которые теперь извѣстны подъ именемъ «Нашихъ». Гоголь сказалъ великую правду, что «у насъ если скажешь объ одномъ коллежскомъ ассесорѣ, то всѣ коллежскіе ассесоры, отъ Риги до Камчатки, непременно пріймутъ на свой счетъ». Поэтому, я нахожу гораздо приличнѣе и удобнѣе изображать такіе типы, которыхъ совсѣмъ нѣтъ въ дѣйствительности, но которые были бы очень смѣшны: чрезъ это авторъ достигнетъ двухъ цѣлей разомъ — доставить удовольствіе своимъ читателямъ и никого не обидитъ.

Вотъ причины, которыя заставили меня взяться за перо, которое давно уже было мною забыто, и попытаться сдѣлать очеркъ одного изъ такихъ педантовъ, которыхъ нѣтъ и быть не можетъ, но которые могутъ существовать въ праздномъ воображеніи человѣка, подобно мнѣ имѣющаго свободное время для бумагомаранія. Если мой педантъ не разсѣмшитъ васъ и не доставитъ вамъ удовольствія — это обнаружить только мое неумѣнье и мою безталантность. Я нарочно взялъ предметъ для типа изъ такой сферы, которая у насъ не представляетъ собою ни сословія, ни касты. Всѣ эти мои оговорки происте-

знать из рокового предчувствія, что мой тишь, вмѣсто улыбки, возбудитъ въ васъ зѣвоту, вмѣсто того, чтобъ разсѣяться, усыпить васъ; ибо — признаюсь вамъ, я не слишкомъ-то полагаюсь на свой талантъ по части типовъ... «Такъ за чѣмъ же беретесь?» скажете вы. Во первыхъ, хочется попробовать — «авось либо» — великое слово для русскаго человѣка, который многое дѣлаетъ на «авось»; потомъ, неотвѣчивыя просьбы пріятелей: «вы-де знаете педантовъ и можете ихъ изобразить; теперь-де типы въ модѣ, «наши» въ ходу; да кто вамъ сказалъ, что вы не можете? вы человѣкъ съ дарованіемъ»... Что будешь дѣлать! Вы не знаете, что это за народъ — мои пріятели! Какъ пристануть — непременно уговорять; станутъ вамъ доказывать, что вы человѣкъ съ дарованіемъ — право, сочините романъ, хотя бы всю жизнь занимались математикою, или сельскимъ хозяйствомъ... Ну, что ни будетъ — начинаю и, для успокоенія крѣпко бьющагося сердца, прошу васъ еще замѣтить, что это не типъ собственно, а скорѣе очеркъ, или проектъ для типа...

Не воображайте себѣ моего педанта человѣкомъ старымъ, сѣдымъ, беззубымъ, добрымъ и глупымъ, обожателемъ Хераскова, поклонникомъ Сумарокова, послѣдователемъ философіи Баумейстера, пѣнника Аполлоса и риторики г. Толмачева: то педантъ добраго стараго времени, педантъ покойникъ, — миръ праху его! Нѣтъ, я хочу вырѣзать вамъ силуэтъ педанта новѣйшихъ временъ, педанта романтика, который такъ молодъ, что еще и не родился на свѣтъ; такъ вамъ знакомъ, что вы не поверите мнѣ, чтобъ его можно было найти и на лунѣ, не только на землѣ. Но если ужъ болтать, то надо болтать обстоятельно, дѣлая видъ, что говоришь правду: въ темъ-то и все снѣжное моего типа... Мой педантъ — сынъ бѣдныхъ, но благородныхъ родителей. Не претендуя на богатство, онъ претендуетъ на знатность рода. Зовутъ моего педанта: Лидоръ

Ипполитовичъ Картофельнѣ. Росту онъ весьма небольшого, въ молодости былъ сухощавъ и тщедушенъ, а теперь довольно осанистъ и имѣетъ брюшко, нѣсколько четырехугольное и положее на фоліантъ. Еслибъ не досада на успѣхи другихъ и на свои собственные неудачи увѣрить свѣтъ въ своей гонимости, мой педантъ былъ бы такъ толстъ, что, при малости роста походилъ бы на огромное in-quarto. Глаза у него сѣрые, а волосы средніе между русыми и рыжеватыми; на правой щекѣ бородавка съ довольно длинною косичкою. Не помню, когда онъ родился; знаю, что въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія, когда всѣ журналы наши превратились въ толки о классицизмѣ и романтизмѣ. Картофельнѣ воспитывался въ единственномъ пансіонѣ губернскаго города, въ которомъ родился. Пансіонъ содержался обрусѣвшимъ Нѣмцемъ — назовемъ его хоть Гофратомъ (я слышала, что всѣ Нѣмцы — гофраты). Картофельнѣ обнаруживалъ блестящія способности, и былъ первымъ ученикомъ по всѣмъ предметамъ, особенно по части россійской словесности. Прилежаніе его было примѣрно; поведеніе соответствовало прилежанію. На торжественныхъ актахъ онъ всегда говорилъ передъ публикою рѣчи и стихи, въ низшихъ классахъ — сочиненія своихъ учителей, а въ высшихъ — собственнаго издѣлія. Онъ первый подбилъ товарищей издавать журналъ, разумѣется, писанный, и каждую недѣлю по рукамъ мальчиковъ ходила чисто и аккуратно переписанная рукою Картофельна тетрадка, подъ названіемъ «Сѣверная Флора, № такой то». Тетрадка почти вся состояла изъ сочиненій Картофельна, или Безбрежна, какъ онъ называлъ себя на романтическомъ языкѣ: тутъ были стихи, повѣсти, критика и смѣсь. Стихи и критика всегда были сочиненія Людора Безбрежна: онъ объявилъ себя монополистомъ этихъ двухъ отдѣленій. Г. Гофратъ чуть не плакалъ отъ умиленія при видѣ успѣховъ и всеобъемлющей дѣятельности свѣ-

тла своего пансіона: послѣ каждаго новаго романтическаго стихотворенія, онъ бралъ Картофелина за уши, слегка приподнималъ и нѣжно цѣловалъ въ голову. Всѣ ученики смотрѣли на него, какъ на генія; а учитель словесности, учившійся нѣкогда по Бургію и, слѣдовательно, классикъ по неволѣ, даже побаввался его. Обремененный лаврами, мой Картофелинъ, сей внукъ (увы, не послѣдній!) Василя Кирилловича Тредіаковскаго, пріѣхалъ въ одну изъ столицъ нашихъ, — положимъ въ Москву. Не помню, что онъ дѣлалъ нѣсколько лѣтъ; но вотъ онъ является учителемъ «россійской словесности»... Да, я непремѣнно хочу сдѣлать моего педанта учителемъ словесности: знаменитый дѣдъ всѣхъ педантовъ, Василій Кирилловичъ Тредіаковскій, былъ «профессоромъ злоквенціи, а паче всего хитростей пинтическихъ»: одной этой причины уже слишкомъ достаточно, чтобы я сдѣлалъ моего педанта учителемъ «россійской словесности»; сверхъ того, я убѣжденъ отъ всей души, что никакое званіе такъ не идетъ къ педанту, какъ званіе учителя «россійской словесности». Да, эта «россійская словесность» преимущественно сподручна для шарлатановъ и педантовъ: въ нее можно класть что угодно, и оттуда можно вынимать какія угодно теоріи, безъ опасенія заплатить пошлину за болтовню. Я не хочу этимъ сказать, чтобы всякій учитель словесности былъ педантъ — смѣшно и странно было бы питать такую исключительную и ложную мысль! Хорошіе и достойные люди есть вездѣ. Я хочу только сказать, что педантъ непремѣнно долженъ быть учителемъ россійской словесности.

Но мой педантъ не ограничился однимъ учительствомъ: онъ, какъ и слѣдовало ожидать, пустился въ литературу. Всѣ альманахи и журналы были наполнены его стихами. Стихи были гладки, но тяжелы; полны мыслей, — но эти мысли отзывались чѣмъ-то напряженнымъ, изысканнымъ и дикимъ, такъ что

снутри походили на совершенную бессмыслицу — не только бессмыслицу, а снаружи казались чрезвычайно глубокими и возвышенными. Хотя толпа болѣе видитъ снаружи, чѣмъ снутри, однако она не читала стиховъ Картофелина, и осталась при одномъ уваженіи къ нимъ. Въ то время, одинъ ловкій промышленникъ основалъ журналъ, который, по его плану, долженъ былъ отличаться добросовѣстностью, ученостію и безкорыстіемъ. Последняя статья касалась исключительно однихъ со-трудниковъ; издатель же имѣлъ о ней свое понятіе, которое не почиталъ нужнымъ объяснять во всеуслышаніе. Хитрый антрепренёръ тотчасъ смекнулъ, что за птица Картофелинъ. Онъ понялъ, что этотъ чернильный витязь готовъ трудиться до кроваго поту изъ одной «славы», изъ одного удовольствія каждый день пересчитывать сколько новыхъ строкъ прибавилось у него къ числу уже написанныхъ: чистое и благородное удовольствіе всѣхъ педантовъ! О, педантъ похожъ въ этомъ отношеніи на скрягу, который, отходя ко сну, пересчитываетъ, сколько рублей и копеекъ прибыло у него съ утра... Журналистъ не ошибся; Картофелинъ оказался для него золотымъ человѣкомъ: онъ взвалилъ на себя всю работу, а разживу предоставилъ хозяину, который, впрочемъ, почелъ нужнымъ, изъ приличія, увѣрить его, что небольшія выгоды отъ журнала онъ употребляетъ на изданіе полезныхъ книгъ и вспомошествованіе бѣднымъ людямъ, а самъ питается безкорыстною любовію къ наукѣ и высокими мыслями. Добродушный педантъ повѣрилъ: онъ былъ столько же безкорыстенъ, честенъ и довѣрчивъ, сколько и опрометчивъ... И это несколько не удивительно: ограниченность такъ часто соединяется съ добродушною честностью — по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока не раздражать, умысленно, или неумысленно, ея мелкаго самолюбія...

Но вотъ что многимъ можетъ показаться невѣроятнымъ: прозаическими статьями своими Картофелинъ обратилъ на себя

общее вниманіе, какъ человѣкъ со вкусомъ, умомъ и дарованіемъ, — и я долженъ сознаться что такое мнѣніе о Картофелинѣ было только преувеличено, но въ основаніи не совсѣмъ несправедливо. Мой педантъ — извольте видѣть — дѣйствительно не безъ ума и не безъ способностей; онъ только ограниченъ, но не глушь, только мелочно-самолюбивъ, но не бездаренъ; послѣднія достоинства онъ, въ качествѣ педанта, долженъ приобрести въ послѣдствіи, когда мелкое самолюбіе его, въ союзѣ съ лѣтами, задавить въ немъ то не многое, что дала ему природа. Притомъ же, обстоятельства времени много способствовали Картофелину прослыть даже геніемъ — по крайней мѣрѣ, въ кругу своихъ пріятелей и товарищей по пансіону — сотрудниковъ рукописной «Сѣверной Флоры»: педанты прежнихъ временъ тащились по избитой колесѣ Баттѣ и Лагарповъ, а мой Картофелинъ принялся за нѣмечину. Малой онъ былъ работающій, прилежный; память у него была здоровая; нѣмецкому языку онъ былъ выученъ еще въ дѣтствѣ. Я увѣренъ, что — по инстинкту, онъ выбралъ бы своими героями Клопштока и Николаи, но слава Гёте и Шиллера тогда была уже во всемъ своемъ колоссальномъ величій, а Шлегелей тогда еще считали великими дюдями: — такъ ему, знаете, при готовыхъ понятіяхъ, чужимъ умомъ и при фразистомъ языкѣ не трудно было показаться не тѣмъ, что онъ есть... Притомъ же, въ молодости, всякій человѣкъ живѣе, а слѣдственно, и умнѣе, чѣмъ въ старости, и по инстинкту отстаиваетъ новое противъ стараго... Впрочемъ, и тогда уже многіе замѣчали въ слогѣ Картофелина что-то пухлое, дряблое, какую то искусственную простоту и натянутую оригинальность, что-то отзывающееся солодовымъ корнемъ и сытою... И эти люди не ошиблись, какъ увидимъ ниже.

Вотъ поѣхалъ мой педантъ за границу — вы думаете, въ Германію? — Я самъ то же думалъ сперва, но моя фантазія

велитъ мнѣ послать его въ страну филологовъ и комментаторовъ, гдѣ на каждый стихъ великаго поэта написано по'сту тысячъ томовъ объясненій и примѣчаній. Не знаю, что онъ тамъ дѣлалъ цѣлыя семь лѣтъ, но знаю, что присылалъ оттуда предикія стихотворенія.

Наконецъ, мой Картофельнъ возвращается въ любезное отечество... Боже мой, какъ онъ переѣхался! Поѣхалъ молодымъ литераторомъ, котораго настоящую цѣну немногіе понимали, а воротился педантомъ, котораго значеніе уже веѣмъ ясно... Съ мена принесли плоды, и натура сказалась... Начнемъ съ того, что онъ пріѣхалъ съ брюшкомъ—доказательство, что онъ страдалъ о судьбѣ человечества въ своихъ стиховкахъ... Натянутая важность лица, при сжѣщенной фигурѣ и кругломъ брюскѣ, сдѣлала его похожимъ на лягушку, которая, въ баснѣ Эзопа, хочеть раздуться въ вола. Самолюбіе его дѣйствительно раздулось, какъ прыщъ: страшно и гадко прикоснуться къ нему. Общество педантъ сталъ принимать за свое училище, салонъ за аудиторію, свѣтскихъ людей — за школьничковъ: говоритъ все свысока, словно лекцію читаетъ, и если кто не слушаетъ его съ благоговѣніемъ, на тѣхъ смотритъ онъ презрительно, и если кто заговоритъ, хотя бы на противоположномъ концѣ залы, онъ посмотритъ на того, какъ Юпитеръ олимпійскій — съ гнѣвомъ и помаваніемъ бровей... Любимый разсказъ его о томъ, какъ онъ ходилъ, въ Парижѣ, на поклоненіе къ великому романисту. Въ Германіи педантъ былъ проѣздомъ: она ему не понравилась. «Нѣмцы — говорилъ онъ—раздружились, въ своей отвлеченности, съ жизнію; они презираютъ величайшую изъ наукъ — филологію; они предпочитаютъ ей философію, это буйное обожествленіе разума... Я былъ въ Берлинѣ, — и мой бѣдный черепъ трещалъ отъ мудреныхъ вещей, которыя слышалъ я въ тамошнемъ университетѣ... Нѣмцы забыли великаго Бахмана и предпочитаютъ ему сухаго, отвлеченнаго,

схоластического Гегеля, этого Андрамегеа новейшей философии... Педантъ мой говоритъ голосомъ важнымъ, протяжнымъ и тихимъ, нѣсколько переходящимъ въ фистулу, какъ-будто отъ изнурительной полноты ощущеній въ пустой груди, какъ-будто бы отъ изнеможенія вслѣдствіе частой декламации ex-officio. Въ школу онъ приноситъ съ собою графинъ сахарной воды, которою запиваетъ почти каждую свою фразу... И вотъ, въ порывѣ своего «типичческаго» вдохновенія, мнѣ кажется, что я вижу его на учительскомъ стулѣ, возсѣдающаго съ приличной важностію, слышу его чахоточный голосъ, безпрестанно прерывающійся отъ полноты педантическаго самодовольствія и хлебковъ сахарной воды: «Милостивые государи! я былъ тамъ и тамъ, а вы не были; но это ничего: послѣ того, что я расскажу вамъ о тѣхъ странахъ — вамъ покажется, что вы сами тамъ были... Нѣмцы вдували мирить философію съ жизнью — они воображаютъ, что можно эту цвѣтущую жизнь сдѣлать содержаніемъ бездушныхъ логическихъ формулъ... Нѣмцы не любятъ буквы... а я, госнода, я — признаюсь — люблю букву... Вотъ я было вдумалъ прочесть эстетику Гегеля, но принужденъ былъ бросить ее подъ столъ: помилуйте, госнода, вѣдь книги пишутся для удовольствія, а не для ломанія головы... Литературы педантъ, конечно, не оставилъ; но его дѣятельность уже измѣнилась: о Нѣмцахъ и нѣмецкомъ онъ уже — ни слова... Слогъ его сталъ дикъ до послѣдней степени. Желая поднять до седьмага неба повѣсти своего пріятеля, онъ говоритъ, что его пріятель выдвинулъ всѣ ящики въ много-сложномъ бюро человѣческаго сердца... Начиная восхищаться родиною, онъ дѣлаетъ вопросы, въ родѣ слѣдующихъ: «что, еслибы наша Волга, забравъ съ собою Оку и Каму, да соединившись съ Леною, Енисеемъ, Обью и Дитпрромъ, влѣзла на Альпы, да оттуда — ууууу! на всѣ концы Европы; куда бы дѣвались всѣ эти Французинки, Нѣмчура?... Не правда

ли, подобные вопросы приличны только или педанту, или крестьянскому мальчику, который говорит: «а что, тятя, колыбъ нашъ чалый меринъ-то сдѣлался бурою коровою — вѣдь мама молочка еще бы дала мнѣ?... Вы смѣетесь, читатели? моя выходка вамъ кажется фарсомъ, плоскою шуткою? Смѣйтесь, а я стою на томъ, что педантъ еще и не то въ состояніи написать. Вѣдь я васъ предупредилъ, что пишу выдумку, игру моею досужей фантазіи, а не списываю рабски съ дѣйствительности: такъ не мѣшайте же мнѣ выдумывать. Итакъ, я увѣренъ, что мой педантъ слова не скажетъ въ простотѣ — все съ ужимкой: наприимѣръ, вмѣсто того, чтобъ сказать, что Петербургъ построенъ на ровномъ мѣстѣ, онъ скажетъ, что ровная гладь подкатилась подъ огромные дома града Петрова... и пр. и пр.

Воротившись изъ-за границы, мой педантъ перемѣнился и въ другомъ отношеніи: бывало, онъ вздыхалъ въ стишонкахъ о лунѣ и дѣвѣ, горевалъ о какой-то разрозненной съ нимъ волнѣ; а теперь очень прозаически, но за то выгодно и тепло пристроился и зажилъ филистеромъ. Ужь не знаю, отъ этого ли, или отъ долговременнаго пребыванія за границею, только мой педантъ, воротившись, сдѣлался ужаснымъ витяземъ желтыхъ перчатокъ и прекраснаго пода: въ каждой статьѣ своей онъ твердилъ посту разъ, что онъ даже дома ходитъ въ желтыхъ перчаткахъ; при выходѣ всякой плохой книжки, но лишь бы написанной женскою рукою, онъ, бывало, такъ и кричитъ: *place aux dames!* Съ особенною равностію писалъ онъ статьи о балахъ и маскарадахъ; въ этихъ статьяхъ видно было утомленіе отъ танцевъ, ибо за каждою фразею слѣдовало, по крайней мѣрѣ, три точки... Это такъ поврамялось педанту, что онъ безъ точекъ послѣ каждой своей фразы ужь ничего не могъ писать.

Много прешло времени, многое измѣнилось съ тѣхъ поръ, а мой педантъ не долженъ измѣняться: любовь его къ буквѣ долж-

на все больше и больше увеличиваться; ненависть и отвращеніе ко всему живому и разумному — также. Слова «идея» онъ на долженъ слышать безъ ужаса и безъ точекъ... По моему мнѣнію, онъ даже долженъ сдѣлаться ядромъ моралистовъ и ханжю, потому что, всегда думая давать тонъ и направленіе времени, онъ всегда былъ и всегда долженъ быть рабомъ времени и выдавать за новость то, что уже давно сказано другими, болѣе его смѣтливими людьми. И такъ, мой педантъ принимаетъ подъ свое критическое покровительство все бездарное и ложно-моральное, и на повалъ бранить все, въ чемъ есть жизнь, душа, талантъ... Онъ безпристрастенъ и, зажмуривъ глаза, колотитъ направо и налѣво, и чужихъ и своихъ, если послѣдніе, будучи ему чужими по таланту, бываютъ своими по отношеніямъ... Да, онъ вѣренъ своему правилу...

Несмотря на то, что мой педантъ долженъ быть отъ природы довольно добрымъ и честнымъ человѣкомъ, — нѣтъ существа болѣе его способнаго быть злымъ и нивкимъ. Дѣло въ томъ, что онъ не что иное, какъ раздутое самолюбіе: хвалите его маранье, дорожите его критическими отысками, — онъ добръ, веселъ, любезенъ по своему, онъ готовъ сдѣлать вамъ все хорошее, что только въ его возможности; но бѣда ваша, если вы не съумѣете, или не захотите скрыть отъ него, что вы и умѣе и талантливѣе его, что у него самолюбіе съѣло небольшую долю ума, вкуса и способности, данныхъ ему природою... О, тогда онъ готовъ на все злое и глупое — берегитесь его!... Рецензія его тогда превращается въ площадную брань, критика становится похожа на позывъ къ отвѣту за дѣланіе фальшивой монеты... Тогда вы у него — кондотьери, бандиты... Да, педантъ все проститъ вамъ, кромѣ невыносимой для него обиды — быть умѣе и талантливѣе его... Но во всякомъ случаѣ, это существо болѣе смѣшное и забавное, чѣмъ опасное: ибо противъ его «позывовъ» есть правосудіе, а про-

типъ тупыхъ зубовъ его есть литературные дантисты, которые, шутя, выдергиваютъ ихъ...

И несмотря на все это, еще многое бы можно было поразсказать о педантѣ; но не все же вдругъ, надо что-нибудь поберечь и на будущее время. Притомъ же; я еще не знаю, понравится ли вамъ, читатели, и то, что я написалъ. Если же понравится, то ждите отъ меня типъ литературнаго циника: это человѣкъ, который, вѣкъ свой живя въ бочкѣ, нажилъ себѣ дома и деревни; человѣкъ, который, вѣкъ свой занимаясь исключительно перекупою и перепродажею мусора, битой посуды, стараго желѣза и кирпича, успѣлъ увѣрить всѣхъ, что онъ — и ученый и литераторъ; человѣкъ, который, вѣкъ свой будучи спекулянтомъ, увѣрилъ всѣхъ, что онъ — идеалъ честности, безкорыстія и добросовѣстности; человѣкъ, который самъ ничего не сдѣлалъ, кромѣ неопытныхъ изданій, дурныхъ переводовъ, а всѣмъ твердитъ съ циническою короткостію: «надо дѣлать, надо удовлетворить текущей потребности»; человѣкъ, который, если и издалъ нѣсколько плохихъ книгъ, то чужими руками сострипанныхъ, а прославился дѣятельнымъ; человѣкъ, который одолжитъ васъ при нуждѣ бездѣлкою, да заставитъ васъ перевести книгу, выгоду отъ которой честно раздѣлитъ съ вами такъ: вамъ словесную благодарность, а себѣ деньги... Да мало ли еще можно написать такихъ типовъ? А газетѣры, журналисты, фельетонисты, романисты, нувеллисты, водевилисты и другіе «исты»?... Вотъ гдѣ заключаются неизчерпаемая сокровища для «Нашихъ»...

Петръ Бульдоговъ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВѢСТІЕ.

Всѣ литературные интересы, всѣ журнальныя вопросы сосредоточены теперь на Гоголѣ. Можно сказать безъ преувеличенія, что «Мертвыя Души» оживили погруженную въ апатію современную русскую литературу. Бóльшая часть журналовъ, по весьма понятнымъ причинамъ соревнованія (ибо ихъ издатели сами романисты и нувеллисты, словомъ — «сочинители»), бóльшая часть журналовъ, справедливо и основательно испугавшаяся успѣховъ поэмы Гоголя, употребляетъ всѣ сродныя ей средства къ униженію перваго поэтического таланта въ современной русской литературѣ. Остальная часть журналовъ — или просто отдаетъ должную дань достоинству новаго творенія Гоголя, или, сверхъ того, принимаетъ на себя обязанность выводить на свѣжую воду нападателей. У насъ такъ не много журналовъ, что не нужно объяснять читателямъ, какой журналъ именно играетъ ту или другую роль въ отношеніи къ Гоголю, который, между тѣмъ, не читая русскихъ журналовъ, спокойно живетъ себѣ въ Римѣ, гдѣ была написана имъ первая часть «Мертвыхъ Душъ» и гдѣ, вѣроятно, будетъ написано имъ еще не одно твореніе, долженствующее привести многихъ сочинителей въ совершенное отчаяніе, ранѣе возбуждающее самыя живыя опасенія за ихъ умственное здоровье. Мы уже говорили объ одной восторженной московской брошюрѣ, явившейся по поводу «Мертвыхъ Душъ» (стр. 433): кто знаетъ, не явится ли и еще нѣсколько брошюръ pro и contra? Таково свойство всего великаго, далеко выдающагося изъ-подъ уровня обыкновенности: оно производитъ движеніе, возбуждая и обожаніе и ненависть, восторжен-

ныя рукоплесканія и ожесточенный крикъ, преувеличенныя похвалы и брань. И если что нибудь можетъ вредить такому великому явленію въ литературѣ, такъ ужь конечно исполненное дѣтскаго энтузіазма и и дѣтской добродушной искренности удивленіе, видящее въ твореніи не то великое, которое въ немъ есть дѣйствительно, а то великое, котораго въ немъ совѣтъ нѣтъ. Что же касается до ожесточенной брани, — чѣмъ неосновательнѣе она, тѣмъ болѣе служитъ въ пользу и прославленіе творенія, которое силится она унижить и загрязнить собою. «Герой Нашего Времени» Лермонтова имѣлъ замѣчательный успѣхъ, какъ все, что ни появляется въ Россіи ознаменованнаго печатью высшаго таланта: но успѣхъ этого превосходнаго творенія былъ бы, безъ сомнѣнія, еще блестяще и прочнѣе, еслибъ не имѣлъ несчастія нигдѣ не встрѣтить себѣ ожесточенныхъ нападковъ, и еслибъ не имѣлъ несчастія встрѣтить написанную слогомъ афиншъ похвалу въ одномъ захолустьѣ газетной литературы, откуда бы должны были раздаться хулительныя вопли оскорбленной самолюбивой посредственности. «Мертвыя Души» избѣжали подобнаго несчастія, и зато успѣхъ ихъ напоминаетъ собою успѣхъ первыхъ произведеній Пушкина. Мы здѣсь разумѣемъ не матеріальный успѣхъ, хотя и достовѣрно знаемъ, что «Мертвыхъ Душъ» скоро нельзя будетъ достать ни въ одной книжной лавкѣ, несмотря на то, что онѣ печатались въ большомъ числѣ экземпляровъ, — но успѣхъ нравственный, состоящій въ томъ, что «Мертвыя Души» со дня на день болѣе и болѣе раскрываются передъ глазами публики, во всей безконечности и глубокости ихъ идеальнаго значенія, со дня на день болѣе и болѣе пріобрѣтаютъ себѣ почитателей и приверженцевъ даже между людьми, немогшими оцѣнить ихъ сразу, при первомъ чтеніи, и со дня на день болѣе и болѣе становятся живою новостію минуты, вмѣсто того, чтобъ постепенно поступать въ архивъ рѣшенныхъ дѣлъ и старыхъ,

потерявших свой интересъ новостей... Трудитесь же, почтенные сочинители, пишите новыя брани на «Мертвыя Души» и ихъ знаменитаго творца, чтобъ выше и выше еще становились они, и безъ васъ уже высоко ставшіе!...

Между тѣмъ, какъ «сочинители» бранятъ «Мертвыя Души» и Гоголя, а литераторы хвалятъ ихъ и спорятъ о нихъ, — что же дѣлаетъ русская читающая публика? — То же самое, что и всегда дѣлала она съ сочиненіями Гоголя. Несмотря на незрѣлость образованія нашего общества, допускающую его иногда обольщаться и увлекаться мишурными явленіями, въ немъ есть какое-то чутье, которое замѣняетъ ему недостатокъ развитія, и которое заставляетъ его окончательно остановиться на сторонѣ только истинно прекраснаго и великаго. «Вечеръ на Хуторѣ» разошлось два изданія; «Арабесокъ» и «Миргорода» уже нигдѣ нельзя достать; передъ выходомъ, весною нынѣшняго года, втораго изданія «Ревизора», за экземпляръ перваго желавшіе имѣть его платили по 25-ти рублей ассигнаціями. И теперь, чтобъ собрать все сочиненія Гоголя, даже еслибъ можно было купить ихъ по объявленнымъ цѣнамъ, нужно заплатить сорокъ три рубля асс. («Вечера на Хуторѣ», «Арабески» и «Миргородъ» — каждое сочиненіе по 12-ти рублей, и новое изданіе «Ревизора» 7 рублей). Но и тутъ еще будете имѣть не все, если не приобрѣли того года «Современника», въ которомъ напечатаны повѣсти «Носъ» и «Коляска», и драматическая сцена «Утро Дѣловаго Человѣка», да «Москвитянина» за нынѣшній годъ, гдѣ напечатанъ «Римъ». — Итакъ, спѣшимъ извѣстить русскую читающую публику, что это неудобство на счетъ приобретенія сочиненій ея любимаго писателя скоро будетъ устранено. Къ декабрю мѣсяцу текущаго года выйдетъ собраніе сочиненій Гоголя въ четырехъ томахъ, красиво и изящно изданныхъ. Въ первый томъ войдутъ «Вечера на Хуторѣ» въ двухъ частяхъ, съ предисловіемъ къ

каждой, какъ было при второмъ ихъ изданіи. Второй томъ будетъ состоять изъ «Миргорода», въ которомъ повѣсти «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» напечатаны безъ всякихъ поправокъ и измѣненій; повѣсть «Вій» съ исправленіями, а «Тарасъ Бульба» совершенно передѣланный, чуть не вдвое обширнѣе прежняго, ибо авторъ развилъ въ немъ многія подробности, о которыхъ въ первомъ изданіи только слегка было намекнуто, какъ на примѣръ, любовь Андрія и прекрасной Польки, и проч. Въ третій томъ, кромѣ повѣстей, помѣщенныхъ въ «Арабескахъ»; — «Невскій Проспектъ», «Записки Сумасшедшаго» и «Портретъ» (последняя совершенно передѣлана), — войдутъ помѣщенные въ «Современникъ» 1836 года повѣсти «Носъ» и «Коляска», напечатанный въ «Москвитинѣ» эпизодическій рассказъ «Римъ» и новая, еще нигдѣ не напечатанная повѣсть «Шинель» — одно изъ глубочайшихъ созданій Гоголя. Въ четвертомъ томѣ помѣстятся: «Ревизоръ», комедія въ пяти актахъ, съ новыми противъ втораго изданія поправками автора и съ письмомъ его о первомъ представленіи этой пьесы; «Женитьба», новая комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, нигдѣ не напечатанная; драматическія сцены: «Утро Дѣловаго Чоловѣка» (напечатанная въ «Современникѣ»), «Тяжба», «Лакейская Сцена», «Разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи», «Свѣтскія Сцены», «Игроки» (последнія шесть еще нигдѣ не были напечатаны).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОРЪ, ПОДСЛУШАННЫЙ ВЪ КНИЖНОЙ ЛАВКЪ.

Книжь и вымыслия дружить,
 Чтѣмъ мужу бую умудряться:
 Не можно вѣкъ носить личинъ,
 И истина должна открыться!

Державинъ.

«А! это вы? насилу-то мы съ вами встрѣтились! Ну, что, какъ! Здоровы ли? что новаго?»... Такъ одинъ молодой человекъ, давно уже сидѣвшій въ книжной лавкѣ, съ книжкою «Библіотеки для Чтенія» въ рукахъ, привѣтствовалъ другаго, только что вошедшаго въ лавку, съ живостію бросившись къ нему на встрѣчу и съ жаромъ пожимая ему руку. Этотъ молодой человекъ давно уже поглядывалъ на меня, съ явнымъ желаніемъ заговорить со мною, — должно быть о статьѣ, которую читалъ. Эта статья, казалась, живо занимала его, потому что онъ и улыбался, и смѣялся; по временамъ съ устъ его слетали неопредѣленные восклицанія. Онъ даже заговаривалъ со мною о погодѣ; но я, не любя заводить знакомствъ (ибо у насъ на Руси разитѣяться съ незнакомымъ человекомъ двумя-тремя фразами погодѣ, значитъ иногда нажить пріятеля и «моншера»), отдѣлался отъ него неопредѣленнымъ «да» и т. п. Тѣмъ живѣе была радость молодаго человека, при видѣ знакомаго, съ которымъ онъ давно не видался, и которому могъ излить ощущенія, возбужденныя въ немъ статьюю. У нихъ сейчасъ же завязался живой разговоръ, который показался мнѣ столь интереснымъ, что я почелъ не лишнимъ довести его до свѣдѣнія публики. Описаніе наружности и характера обоихъ персонажей этой маленькой сцены нисколько не послужило бы къ ея уясненію, и потому замѣтимъ только слегка, что моло-

дой человѣкъ, встрѣтившій съ такою живостию своего знакомаго, былъ нѣсколько вертлявъ, говорилъ скоро и громко, какъ-бы у себя дома, а лицо его казалось совершеннымъ выраженіемъ легкости и добродушія; знакомый же его отличался отъ него какою-то холодною важностию въ рѣчи и въ манерахъ. Чтобъ лучше слѣдить за ихъ разговоромъ, назовемъ перваго господинъ А., а другаго господиномъ Б.

А. Что новаго? — Да вѣдь вы знаете, что я всегда запасся ниѣ отъ васъ же. Вы кажется, что-то читали въ Библиотекѣ для Чтенія?

Б. Ахъ, да! — статью о «Мертвыхъ Душахъ». Чудо, прелесть! Въ иныхъ мѣстахъ хотя и вадоръ, но за то, какое во всемъ остроуміе! Такой статьи давно не бывало! Вотъ ужъ можно сказать: писано желчью...

А. Да, правда...

Б. Жанень! Рѣшительный Жанень!

А. Ну, ужъ вотъ этого-то я и не скажу. Жанень — болтунъ; чрезвычайный успѣхъ его основанъ на легкости и на отсутствіи всякихъ твердыхъ и глубокихъ нравственныхъ началъ въ обществѣ, для котораго онъ болтаетъ нынче совсѣмъ не то, что болталъ вчера, а завтра будетъ болтать совершенно противное тому, что болталъ нынче; но Жанень все-таки болтунъ остроумный, и, при другомъ обществѣ, онъ могъ бы сдѣлать изъ своего таланта лучшее, благороднѣйшее употребленіе. Но каковъ бы ни былъ Жанень и теперь, его болтовня всегда блещетъ умомъ и остроуміемъ, хоть и совершенно виѣшними, и отличается тономъ порядочныхъ людей. Остроуміе Жанена заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобъ, выисавъ изъ разбираемаго романа нѣсколько фразъ, плоскихъ потому именно, что онѣ вложены авторомъ въ уста изображаемаго имъ человѣка дурнаго тона, приписать эти фразы самому автору и воскликнуть: «Такіе періоды настоящіе свитусы!»

Истинное остроуміе, хотя бы и легкое и мелкое, не искажает умышленно предмета, чтобъ возбудить во чтобы то ни стало грубый смѣхъ площадной толпы: оно находитъ смѣшное въ своей манерѣ видѣть предметы, не уродуя ихъ.

Б. Это, пожалуй, и такъ; да вѣдь дѣло-то въ уснѣхъ, и *Bien riga dui riga le dernier!* Осуждать такое остроуміе могутъ многіе съ большою основательностію; а острить такъ сами едва ли могли бы, еслибъ и хотѣли.

А. По крайней мѣрѣ, нужна для этого большая рѣшительность. Попробуйте выдумать на кого угодно смѣшную нелѣпцу— всѣ расхохочутся, и никто не захочетъ наводить справки, правдѣ вы сказали, или ложь. Повторяйте такія выдумки чаще и насчетъ всѣхъ и каждаго: васъ будутъ презирать, а слушать и смѣяться не перестанутъ. Но всему есть мѣра и границы. Одно и то же надоѣдаетъ, а выдумывать цѣлую жизнь разнообразныя литературныя лжи невозможно, и какъ скоро замѣтятъ, что вы повторяете самого себя, то перестанутъ и смѣяться, начнутъ зѣвать. Это я говорю не по отношенію къ журналу, а какъ общую истину, которая удобно прилагается ко многимъ житейскимъ дѣламъ.

Б. Такъ вы совершенно отказываете въ остроуміи рецензіямъ «Библіотеки для Чтенія»?

А. Нисколько. Когда она не увлекается пристрастіемъ, а главное, острить надъ тѣмъ, что дѣйствительно ей подъ силу, и о чемъ серьезно не стоить сказать и двухъ словъ, — ея рецензіи бывають очень забавны. Такъ, напримѣръ, нельзя было не улыбнуться, читая въ «Библіотекѣ для Чтенія» разборъ, или лучше сказать, надгробную рѣчь надъ прахомъ умершихъ прежде своего рожденія стихотвореній какого-то г. Бечарова. Но когда такое же остроуміе прилагается ею къ предметамъ высшаго значенія, которое почему-то всегда не по сердцу этому журналу, тогда оно по необходимости становится

плоскимъ и скучнымъ. Важное само по себѣ нельзя сдѣлать смѣшнымъ.

Б. Но что ни говорите, а въ статьѣ о «Мертвыхъ душахъ» много ѣдкости...

А. Прибавьте — бессмыслию, для предмета, слишкомъ высоко въ отношеніи къ ней стоящаго. Я не вижу ровно ничего остроумнаго ни въ сближеніи плохихъ стихотвореній площаднаго писака съ поэмою Гоголя, ни въ томъ, что рецензентъ называетъ «поэмами» разныя медицинскія сочиненія. Все это мнѣ кажется очень плоскимъ. Разберите-ка этотъ разборъ съ начала до конца, по порядку. Что это такое? — Послушайте: «Вы видите меня въ такомъ восторгѣ, въ какомъ еще не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю отъ восхищенія...» Пока довольно; остановимся на «пыхтѣніи» рецензента. «Пыхчу» есть настоящее время глагола «пыхтѣть», который значитъ то же, что «тяжело дышать». Но послѣднее выраженіе употребляется въ отношеніи къ людямъ, а первое въ отношеніи къ лошадямъ и коровамъ. Видите ли: явное незнаніе русскаго языка?... Если же слово «пыхтѣть» и употребляется въ отношеніи къ людямъ, то, не иначе какъ въ унизительно-комическомъ тонѣ, для выраженія волненія крови и желчи, производимаго страстями, какъ-то: пристрастіемъ, и т. п. . . Итакъ, что же хорошаго въ рецензій, которая почти началась словомъ «пыхчу»? — Но будемъ слѣдить далѣе за «пыхтѣніемъ» аристарха. Ему не понравилось, что Гоголь назвалъ свое сочиненіе «поэмою», — и вотъ онъ заставляетъ своихъ читателей, «свидѣтелей его бѣшеннаго восторгу», спрашивать у него, пыхтящаго рецензенту, какимъ разбѣромъ писана поэма, давая тѣмъ знать, что онъ, въ своемъ эстетическомъ пыхтѣніи, написанной прозою поэмы не признаетъ «поэмою». Все это, действительно, очень забавно и возбуждаетъ смѣхъ, но только совсѣмъ не надъ авторомъ поэмы, а развѣ надъ пыхтящею рецен-

зією. И мнѣ кажется, что я уже слышу громкій хохотъ свидѣтелей ея бѣшеннаго восторгу, оттого, что въ поэмѣ нѣтъ никакого размѣру, а можетъ, и отъ смѣшной претензіи пыхтящаго рецензенту преобразовать правописаніе языка, который чуждъ ему, и котораго духу онъ совсѣмъ не знаетъ. Выписка первой страницы поэмы исполнена пустыхъ приди-рокъ къ слогу, изъ которыхъ главная состоитъ въ томъ, что Гоголь лучше его пыхтящаго рецензенту, знаетъ употребле-ніе родительнаго падежу и не хочетъ слѣдовать его нечѣпой орфографіи. «Поэтъ (воскликаетъ или «пыхтитъ» рецензентъ) поэтъ — существо всемірное; онъ выше временъ, прост-ранствъ и грамматикъ!». Можетъ-быть, это восклицаніе, или это «пыхтѣніе» и очень остроумно, а главное, очень ново и оригинально; но только оно подтверждаетъ мое убѣжденіе въ волненіи «Библиотеки для Чтенія»: не она ли, вотъ уже ровно девятый годъ, ежемѣсячно сибѣтся надъ грамматикой и дока-зываетъ, что эта наука изобрѣтена педантами и дураками? А теперь ей пригодилась, видно, и грамматика: она теперь глу-боко уважаетъ эту науку, такъ кстати подвернувшуюся ей подъ руку, чтобы было чѣмъ швырнуть въ страшнаго для нея писате-ля, какъ нѣкогда, съ гораздо большимъ успѣхомъ, швырлялъ ея г. Гречъ въ распорядителя «Библиотеки для Чтенія». И вотъ, для доказательства своей силы въ русской грамматикѣ, рецен-зентъ смѣшитъ употребить слово «запаховъ», какъ онъ упот-ребляетъ слово «нозги», «сметть» и т. п. Въ выраженіи Го-голя: «покажѣтъ слуги управлялись и возились», онъ подчер-киваетъ слово «возились», давая тѣмъ знать, что оно, почему-то, будто бы, не хорошо, а почему именно, это пока секретъ рецензенту, который онъ, вѣроятно, когда-нибудь откроетъ «сви-дѣтелямъ его бѣшеннаго восторгу». Впрочемъ всѣхъ его подчер-киваній не перечтешь; они многочисленны и разнообразны. Но вотъ слѣдуетъ самое бѣдительное доказательство, какъ

слезень нашъ рецензентъ въ русскомъ языкѣ — послушайте: Во всѣхъ словенскихъ языкахъ, какія я знаю, носъ имѣетъ въ родительномъ падежѣ носа, а шумъ, вѣтеръ и дымъ имѣютъ шуму, вѣтру, дыму». Скажите, Бога ради: что это такое: шутка, мистификація, или просто — «пыхтѣнье»? Я не знаю, да и знать не хочу, какъ въ польскомъ или другомъ словацкомъ языкѣ, склоняются въ родительномъ падежѣ слова: носъ, шумъ, вѣтеръ и дымъ; но какъ природный Русскій знаю достоверно, что слова эти въ русскомъ языкѣ принимаютъ въ родительномъ падежѣ окончаніе равно и *а ну*, а когда которое именно, на это нѣтъ постоянного правила, но это слышитъ ухо природнаго Русскаго, слышитъ — и никогда не обманывается. Всякій Русскій скажетъ, какъ у Гоголя: «Волось, вылѣзшій изъ носу», и ни одинъ Русскій не скажетъ: «Волось вылѣзшій изъ носа». Точно также, должно говорить порывы вѣтра, а не порывы вѣтру. Итакъ, знаніе другихъ языковъ не послужило рецензенту облегченіемъ въ знаніи языка русскаго, и онъ, съ горя, вздумалъ перекиривать русскій языкъ на свой ладъ, и, не зная его, принялся учить ему Русскихъ!...

Б. Однакожь, согласитесь, что языкъ у Гоголя часто грѣшитъ противъ грамматики.

А. Соглашаюсь; а вы, за это, согласитесь, что не рецензенту же «Библиотеки для Чтенія» упрекать его въ этомъ. Я далекъ отъ того, чтобъ ставить Гоголю въ заслугу неправильность языка, которая тѣмъ досаднѣе, что у него она явно происходитъ не отъ незнанія, а отъ небрежности, отъ нерасположенія потрудиться лишнюю четверть часа надъ написанной страницей. Но у Гоголя есть нѣчто такое, что заставляеть не замѣчать небрежности его языка, — есть слогъ. Гоголь не пишетъ, а рисуетъ; его изображенія дышатъ живыми красками дѣйствительности. Видишь и слышишь ихъ. Каждое слово, каждая фраза рѣзко, опредѣленно, рельефно выражаетъ у него мысль,

и тщетно бы хотѣли вы придумать другое слово, или другую фразу для выраженія этой мысли. Это значитъ имѣть слогъ, который имѣютъ только великіе писатели, и о которомъ разсуждать такъ же не дѣло. «Библіотека для Чтенія», какъ и разсуждать о русскомъ языкѣ, котораго она не знаетъ, что можно доказать изъ каждой ея страницы, наполненной всяческихъ обидовокъ противъ духа языка, ошибокъ противъ его грамматики, барбаризмовъ, соленизмовъ и, въ особенности, полонизмовъ.

Б. Это совершенная правда: г. Гречъ давно это доказалъ въ своей брошюрѣ — помните?... Я вѣдь и самъ вижу, что грамматическія то обвиненія всѣ выдуманы: но рецензентъ такъ смѣло колетъ ими и такъ смѣшно умѣетъ ихъ выставлять, что тѣмъ болѣе дивнись его неподражаемому остроумію... Впрочемъ, если грамматическія нападки рецензента для васъ и ложны, и пусты, и скучны, перестанемъ говорить о нихъ, перейдемъ къ другимъ пунктамъ обвиненій, которые, надѣюсь, будутъ посущественнѣе. Мнѣ любопытно узнать, что-то вы на нихъ скажете.

А. Да что же и говорить мнѣ, если вся рецензія устремлена противъ слогу?...

Б. Нѣтъ, не противъ одного слога, но и противъ дурнаго тона сочиненія, такъ некстати названнаго «поэмою»; противъ странной претензіи автора видѣть представителей и героевъ русской жизни въ людяхъ низкихъ и глухыхъ; противъ высокаго мнѣнія о самомъ себѣ со стороны автора, который, по таланту, не можетъ стать на ряду даже съ Поль-де-Коккомъ... Что касается до меня, я со всѣмъ этимъ соглашаюсь только въ половину, потому что, какъ хочетъ «Библіотека для Чтенія», а по моему мнѣнію, и Гоголь чего нибудь да стоить. И потому, повторяю: я держусь середины...

А. Что рецензентъ насмѣхается надъ словомъ «поэма» въ

приложеніи къ «Мертвымъ Душамъ», это происходитъ отъ того, что онъ не понимаетъ значенія слова «поэма». Какъ видно изъ его намековъ, поэма непремѣнно должна воспѣть народъ въ лицѣ ея героевъ. Можетъ-быть, «Мертвыя Души» и названы поэмою въ этомъ значеніи; но произнести какой нибудь судъ надъ ними, въ этомъ отношеніи, можно только тогда, когда выйдутъ двѣ остальные части поэмы.

Б. Рецензентъ самъ говоритъ объ этомъ въ концѣ рецензій.

А. Да, но сперва разругавъ за это поэму, въ началѣ и серединѣ рецензій... Что касается до меня лично, я пока готовъ принять слово «поэма», въ отношеніи къ «Мертвымъ Душамъ», за равнозначительное слову «твореніе». Въ этомъ значеніи, всякое произведеніе поэзіи есть поэма — и ода, и пѣсня, и трагедія, и комедія. Но не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что, опираясь на словѣ «поэма», стоящемъ въ заглавіи сочиненія Гоголя, рецензентъ очень наивно силится бросить на автора не совсѣмъ прохладную тѣнь неуваженія, будто-бы, къ русскому обществу, котораго репутація такъ дорога сердцу рецензенту, незнающаго русскаго языка и русской грамматики... Иначе, какъ же вы поймете «тонкіе» намеки рецензенту на то, что авторъ «Мертвыхъ Душъ» будто-бы «при каждомъ неблаговидномъ случаѣ наводитъ рѣчь на Русскихъ». Какой же этотъ «неблаговидный случай»? — Авторъ проситъ у читателей извиненія за то, что знакомитъ ихъ съ Петрушкою и Селифаномъ, людьми Чичикова, «зная по опыту, какъ не охотно они знакомятся съ низкими сословіями». Но чтобъ уяснить это съ умысломъ затемненное рецензентомъ дѣло, — вотъ «Мертвыя Души» — я прочту вамъ изъ нихъ все это мѣсто, изъ котораго рецензентъ взялъ только то, что нужно было ему для его цѣли. Выслушайте:

«Таковъ уже русскій человекъ: страсть сильная зазнаться съ тѣмъ, который бы хотя однимъ чиномъ былъ его повыше, и шапочное знакомство съ графомъ

или княземъ для него лучше всякихъ тысячъ дружескихъ отношеній. Авторъ даже опасается за своего героя, который только коллежскій совѣтникъ. Надворные совѣтники, можетъ быть, и познакомятся съ нимъ, но тѣ, которые подобрались уже къ чинамъ генеральскимъ, тѣ, Богъ вѣсть, можетъ-быть, даже бросать одинъ изъ тѣхъ презрительныхъ взглядовъ, которые бросаются гордо человѣкомъ на все, что ни присмыкается у ногъ его, или, что еще хуже, можетъ-быть, пройдутъ убійственнымъ для автора невниманіемъ.

Итакъ, очевидно, что авторъ, съ свойственнымъ ему юморомъ, и притомъ очень деликатно, кольнулъ слабость нашего общества къ знакомству съ чинами и отличіями, а не людьми. Во первыхъ, это правда; во вторыхъ, это особенно не унижаетъ Русскихъ передъ другими народами, особенно, напр., передъ Нѣмцами, которые отчаянно больны чинованіемъ, хотя и далеко обогнали насъ въ цивилизаціи и просвѣщеніи; въ третьихъ, Петрушка и Селифанъ послужили для автора только предлогомъ къ нападеніямъ на чинованію, и онъ совѣтъ не думалъ упрекать русское общество за то, что оно не хочетъ знаться съ кучерами и лакеями. Судите же, послѣ этого, изъ какого свѣтлаго источника вытекло негодованіе незнающаго по-русски рецензента, негодованіе, которымъ такъ преисполнены эти его строки:

«Помилуйте! восклицаетъ *почтеннѣйшій* (гостинодворскій эпитетъ!) читатель не отинивъ пальцевъ отъ своего *почтеннѣйшаго* носа (острота!), который онъ имѣетъ обманованіе зажимать отъ такихъ *воздуховъ* (острота и грамматическая ошибка): что вы это, съ вашими поэтомъ, *при каждомъ неблагоприятномъ случаѣ, наводите рѣчь на Русскихъ!* Въ чемъ и за что вы *беспрерывно ихъ обнимаете?* Да они очень хорошо дѣлаютъ, что не хотятъ знакомиться съ вашими нечестыми героями, отъ которыхъ я самъ принужденъ поминутно *закрывать носъ и глаза* рукою. Если порядочные Русскіе не охотно сближаются съ людьми невкаго сословія, причиною этого долженъ быть распространеннѣйшій между ними благородный вкусъ къ изяществу, опрятности, образованнѣйшій ощущеніемъ, а не мнимый *народный порокъ*, не всеобщая спѣсь, не безразсудная гордость. *Надѣ чьимъ вы тутъ насмѣхаетесь? Куда каровите свои эпиграммы!* (не по-русски!) Страсть зазнаваться... *Да чтобы по случаю Петрушки, упрекать цѣлый народъ въ страсти зазнаваться* (у Гоголя: зазнаваться съ тѣмъ, кто хотя

однимъ чиномъ выше — это рецензентомъ включено, а глаголь «звнать-ся» поворотенъ на глаголь «звнаться»!!..), *надо предположить, буд-то весь народъ мичмъ не лучше этого грубаго и грязнаго человека и только понапрасну, изъ гордости, не узнаетъ въ немъ себя равнаго!* Но это не правда. *Вы систематически унижаете русскихъ людей.* Я (сл..) этого не люблю, и не хочу слушать. Я самъ обожаю чистоту. Ваши *словонныя картины* поселяютъ во мнѣ отвращеніе...

Итакъ, скажите же: гдѣ у Гоголя все это есть, и о томъ ли, то ли говорятъ онъ, на что возсталъ рецензентъ? Нѣтъ, это уже не «пытьбнѣ»: это что-то въ родѣ придирокъ извѣстнаго рода.

Б. Ово такъ; я не скажу, чтобъ это было хорошо; но за то какъ зло, какъ ловко, мастерски!...

А. Да, видно, что мастеръ своего дѣла. Но объ этомъ довольно: по одному судите и о обо всемъ, тѣмъ болѣе, что нашъ рецензентъ умѣетъ быть вѣренъ себѣ.

Б. Ну, а насчетъ дурнаго тона, сальныхъ картинъ, грязныхъ изображеній — что вы скажете насчетъ всего этого? Право, «Мертвыя души» какъ-будто писаны для судѣльцевъ въ мучныхъ лавкахъ...

А. И однакожъ ихъ читаетъ и ими восхищается высшій свѣтъ и не находятъ въ нихъ дурнаго тона, плоскостей и сальности. Авторитетъ большаго свѣта, въ этомъ случаѣ, безусловно неоспоримъ. Въ нападкѣ рецензента на дурной тонъ «Мертвыхъ Душъ», я узнаю того же опытнаго мастера отбнять не-пріятныя ему литературныя репутаціи. Правда, къ этому орудію противъ Гоголя не разъ прибѣгали уже и другіе обожатели и знатоки хорошаго тона, еще задолго до появленія бонтоно-«ныхтающей» рецензіи. И хотя эти другіе ратовали съ тою же цѣлію и вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, однако они были искреннѣе въ своихъ нападкахъ на дурной тонъ, потому что, въ простотѣ ищанской свѣтскости, они не шутиа считаютъ неприличнымъ то, что въ большомъ свѣтѣ нисколько не считается

непреличнымъ. Но нашъ рецензентъ очень хорошо понимаетъ, что и для чего онъ дѣлаетъ. Хорошо зная невинную слабость среднихъ круговъ русскаго общества слишкомъ заботиться о приличіяхъ невѣдомаго и недоступнаго имъ большаго свѣта, онъ не пропуститъ случая попробовать ухватиться за эту чувствительную струну.

Б. Я вижу, что даже и поклонники Гоголя не чужды замашки нападать на цѣлое общество...

А. Нисколько. Франція, въ отношеніи къ свѣтской обществу, безъ всякаго сомнѣнія, первое государство въ мірѣ. Однакожъ, и тамъ центръ свѣткости и высшаго тона находится въ Парижѣ, и именно, въ двухъ пунктахъ: въ послѣднемъ убѣжищѣ легитимизма Сенъ-Жерменскомъ Предместіи и въ новой мѣщанской аристократіи, при дворѣ. Всѣ прочіе слои общества суть только болѣе или менѣе вѣрныя отраженія этихъ первообразовъ свѣтской обществу. Смѣшно и нелѣпо было бы видѣть униженіе всего общества въ весьма обыкновенной и правдивой фразѣ, что истинный хорошій тонъ царствуетъ въ высшемъ петербургскомъ кругу, и что средніе круги общества часто добровольно дѣлаются смѣшными, считая и себя «большимъ свѣтомъ» и стараясь копировать съ образца, который они видятъ издали, нагуляньяхъ и въ каретахъ, проѣздомъ по улицѣ. Нѣтъ никакого униженія, когда вамъ скажутъ (если вы этого не знаете сами), что нигдѣ нѣтъ столько пустыхъ претензій, изысканности, чопорности, а слѣдовательно, и дурнаго тона, какъ въ этихъ среднихъ кругахъ, почему-то считающихъ себя въ какихъ-то отношеніяхъ съ «большимъ свѣтомъ», который для нихъ есть истинная terra incognita. Такъ какъ въ нихъ нѣтъ ничего своего, то все чужое, которымъ дышатъ они, переходить у нихъ въ карикатуру: развязность и свобода высшаго общества—въ наглость, приличіе — въ чопорность, вѣжливость — въ церемонность,

любезность — въ гостинодворскій тонъ. Я именно говорю о средних кругахъ. Если вы знаете хорошо нашихъ помѣщиковъ, согласитесь со мною, что между ними нерѣдко встрѣчаются прекрасныя исключенія: въ ихъ домахъ вы не найдете того, что называется «высшимъ свѣтомъ», но найдете благородный тонъ, благородную простоту обращенія, истинную образованность, которая такъ рѣдка и въ «высшемъ свѣтѣ». Въ нихъ есть свое, оттого они и не пародируютъ другихъ; они берутъ отъ большаго свѣта свое, не принимая отъ него чуждаго имъ, или несоотвѣтствующаго ихъ средствамъ и положенію. Наше общество еще такъ молодо, такъ еще не установилось и не приняло общаго характера, что такія прекрасныя исключенія представляются только въ семействахъ, въ отдѣльныхъ домахъ, а не въ цѣломъ сословіи, пестромъ и разнохарактерномъ. И причина такихъ прекрасныхъ исключеній состоитъ именно въ томъ, что дома, о которыхъ я говорю, имѣютъ свое собственное значеніе и не принадлежатъ къ тому, что называется «средними кругами»: это аристократія нашихъ провинцій. Подъ среднимъ кругомъ должно разумѣть преимущественно чиновничество столицъ и губернскихъ городовъ — это плодородное поле, съ котораго даже и низшіе таланты, чѣмъ талантъ Гоголя, собираютъ такую обильную жатву. Вотъ ихъ-то и имѣла въ виду рецензія. Но что же плоскаго и грязнаго находятъ рецензентъ у Гоголя? — Портреты Петрушки и Селюфанка, запахи (говоря его не русскимъ языкомъ), описаніе двора Коробочки, въ которомъ свинья съ семействомъ, рывшаяся въ кучѣ сора и миноходомъ заѣвшая цыпленка, особенно-непріятно подѣйствовала на его свѣтскую разборчивость. Что же бы сказалъ онъ, прочитавъ известную басню Крылова, гдѣ свинья играетъ главную роль... «Грязь на грязи!» восклицаетъ «почтеннѣйшій», чистоплотный рецензентъ...

Б. Однакожь, вы вѣрно не находите изящными подобныя картины?

А. Напротивъ, именно нахожу изящною эту грязь, «возведенную въ перлъ созданія», нахожу ее въ милліонъ разъ изящнѣе сусальной позолоты поэтовъ средняго общества, поэтовъ чиновническихъ и губернскихъ. Картина быта, дома и двора Коробочки — въ высшей степени художественная картина, гдѣ каждая черта свидѣтельствуетъ о гениальномъ взмахѣ творческой кисти, потому что каждая черта запечатлѣна типическою вѣрностію дѣйствительности и живо, осязательно воспроизводитъ цѣлую сферу, цѣлый міръ жизни, во всей его полнотѣ.

Б. Хорошъ же этотъ міръ! Поздравляю съ такою жизнію!

А. Не взыщите — чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности. Она не выдумываетъ ничего такого, чего бы не было въ дѣйствительности; она только идеализируетъ явленія дѣйствительности, возводя ихъ къ общему значенію, что и значить «возводить въ перлъ созданія». Всякая другая поэзія — пустое фантазбрство, вздоръ и пустяки, способные забавлять людей ограниченныхъ и необразованныхъ. И потому мѣрка достоинства поэтическаго произведенія есть вѣрность его дѣйствительности.

Б. Но неужели же въ русской дѣйствительности нѣтъ ничего лучше и благороднѣе Петрушки, Селифана, Коробочки, Собакевича, Чичикова, и тому подобныхъ героевъ и героинь?

А. Безъ всякаго сомнѣнія, есть; и авторъ совѣтъ не думалъ своими «Мертвыми Душами» утверждать противное. Онъ только взялъ себѣ извѣстную сферу жизни, дѣйствительно существующую — вотъ и все. Упрекать его за это — все равно, что упрекать Лафонтена и Крылова, зачѣмъ они писали басни, а не оды, упрекать Мольера и Фонъ Визина, зачѣмъ они писали комедіи, а не трагедіи. Стекла (по-прекрасному выраженію Гоголя), озирающія небесныя свѣтила и насѣкомыхъ

равно велики. А какое же вы имёте право упрекать естествоиспытателя, что онъ изучаетъ ииѳузорій, какъ-будто въ природѣ нѣтъ твореній, болѣе благородныхъ? Сверхъ того, надо еще сказать, что, находя лица, изображенныя Гоголемъ, особенно безразличными и глухими, довольно ребячески преувеличиваютъ дѣло и грубо его понимаютъ. Эти лица дуры по воспитанію, по невѣжественности, а не по натурѣ, и не ихъ вина, что со дня смерти Петра Великаго прошло только 116, а не 300 лѣтъ. Неужели въ иностранныхъ романахъ и повѣстяхъ вы встрѣчаете все героевъ добродѣтели и мудрости? Ничего не бывало! Тѣ же Чичиковы, только въ другомъ платьѣ: во Франціи и въ Англіи, они не скупаютъ мертвыхъ душъ, а подкупаютъ живыя души на свободныхъ парламентскихъ выборахъ! Вся разница въ цивилизаціи, а не въ сущности. Парламентскій мерзавецъ образованнѣе какого-нибудь мерзавца нижняго земскаго суда; но въ сущности оба они не лучше другъ друга. Люди съ божественною искрою въ душѣ вездѣ рѣдки, — и я первый пламенно желаю, чтобъ Гоголь иногда дарилъ насъ изображеніями такихъ личностей, тѣмъ болѣе желаю, что теперь только одинъ онъ и можетъ изображать ихъ. Но я не считаю себя въ правѣ требовать, чтобъ онъ изображалъ то, а не это, или ставить ему въ вину, что онъ изображаетъ то, а не другое.

Б. Но воля ваша, а такія слова, какъ: «свинтусь, скотоводъ, подлець, оетюкъ, чортъ знаетъ, нагадитъ» и тому подобныя — такія слова видѣть въ печати какъ-то странно.

А. А слышать, или самому говорить каждый день не странно?... Но авторъ «Мертвыхъ Душъ» нигдѣ не говоритъ самъ, онъ только заставляетъ говорить своихъ героевъ сообразно съ ихъ характерами. Чувствительный Маниловъ у него выражается языкомъ образованнаго въ иѣщанскомъ вкусѣ человѣка; а Поздравъ — языкомъ «историческаго» человѣка, героя ар-

марокъ, трактировъ, покоекъ, дракъ и картежныхъ продѣлокъ. Не заставить же ихъ было говорить языкомъ людей высшаго общества! Что же касается до слова «подлецъ», авторъ употребляетъ его и отъ своего лица, какъ люди порядочнаго тона употребляютъ, кромѣ этого слова, слова: воръ, разбойникъ, плутъ, взяточникъ, казнокрадъ, завистникъ, лжецъ, клеветникъ, и т. п. И я, право, не понимаю, что неприличнаго въ словѣ подлецъ, и чѣмъ оно непристойнѣе, напримѣръ, словъ: предатель, низкопоклонникъ, и проч. Дѣло не въ словѣ, а въ тонѣ, въ какомъ это слово произносится. Иной любезникъ чиновническаго или гостинодворскаго кружка говоритъ все въжливости, едва другой тоньше и деликатнѣе, а все кажется, будто онъ отпускаетъ такія выраженія, за которыя выводятъ подъ руки изъ собраній; а порядочный человѣкъ выражается рѣзко, называетъ вещи ихъ настоящими словами—вонь вонью подлеса подлесомъ, и между тѣмъ разговоръ его все-таки исполненъ благородства и достоинства, приличія и хорошаго тона. Правда, Гоголь иногда касается такихъ сторонъ общественной, которыя подъ перомъ иныхъ писателей были бы просто невыносимы и для обонянія, и для слуха, и для взора; но какъ Гоголь не копируетъ дѣйствительности, а «возводитъ ее въ перлъ созданія», какъ его юморъ спокоенъ, мягокъ и благороденъ, несмотря на свою силу, цѣпкость и глубину, то въ его созданіяхъ никогда и ничего не бываетъ низкаго и тривіальнаго. Онъ владѣетъ тайною великаго таланта обращать въ чистое золото все, къ чему ни прикоснется. Скажите по совѣсти, встрѣчали ли вы въ его сочиненіяхъ хотя одну картину грубой чувственности, написанную съ желаніемъ самому надлюбоваться ею и, возбужденіемъ нечистаго восторга, приобрести себѣ большее число читателей? Гдѣ, укажите, рисуетъ онъ грязь для грязи, по страсти къ цинизму — замашка, довольно любимая, впрочемъ, добрыми и талантливыми Поль-

де Кокомъ, съ которыми, такъ не въ попадъ, такъ натянуто, вздумала равнять Гоголя рецензія? Гоголь и Поль-де-Кока — это имена, между которыми столько же общаго, какъ между именами Вольтера и какогонибудь барона Брамбеуса. Кстати: я знаю одного писателя, хоть и плохо по-русски пишущаго, но во многихъ походящаго на Поль-де-Кока, по крайней мѣрѣ, со стороны цинизма, если не со стороны знанія языка, таланта, сердечной теплоты. Это ~~баронъ~~ баронъ Брамбеусъ... Вотъ его такъ можно обвинять въ дурномъ глѣзѣ, въ плоскостяхъ, въ сальностяхъ, въ явномъ незнаніи русскаго языка и русскои грамматики, при талантѣ, котораго силу составляетъ смѣлость, да иногда блѣстки вѣшняго, поверхностнаго ума. И подобное обвиненіе можно подкрѣпить фактами, противъ которыхъ нечего будетъ сказать ни вамъ, ни всякому другому, ни даже барону Брамбеусу. Если вы забыли его несчастныя «Фантастическія Путешествія», какъ забыла ихъ русская публика, бросившаяся было на нихъ сначала слишкомъ горячо, по опрометчивости, столь свойственной всему молодому, — то вамъ стоить только перелистовать ихъ, чтобъ передъ вами возникла цѣлая галерея картинъ, одна другой неумѣе, одна другой спиртуознѣе, до того, что передъ ними всякіе другіе «запахи» должны утратить свою рѣзкость. Да вотъ кстати — со мной одна изъ тетрадей литературныхъ матеріаловъ, которые я собираю для составленія исторіи русскои литературы. Я вѣдь и зашелъ сюда именно потому, что мнѣ нужно навести кое-какія справки на счетъ критики «Библиотеки для Чтенія». Я не буду вамъ разрывать всей этой кучи, чтобъ не заставить васъ зажимать, или, какъ выражается рецензія, «закрывать рукою» вашъ «почтеннѣйшій» носъ; я только напомию вамъ бѣгло кой-что, в прежде всего то мѣсто, гдѣ баронъ проваливается черезъ Эту къ антиподамъ и попадаетъ прямо въ антрша танцовавшей губернаторши, которая жметъ его колѣнками, душитъ, а онъ, за

это, кусаетъ ее за мягкую тяжесть, наполнившую его ротъ ¹⁾. Что — хорошо?.. А его чистоплотные рассказы о «тихомъ, роскошномъ, пуховомъ тѣлцѣ дѣвушекъ, въ коротенькихъ розовыхъ юбочкахъ» ²⁾; о «свѣтлой похотливой кожѣ, преданныхъ на жертву жаднымъ взорамъ, пухленькихъ грудей и плечь» ³⁾; о «постели двухъ юныхъ любовниковъ, только что оставленной ими по утру въ живописномъ безпорядкѣ, еще дышашей волканической теплотою ихъ сердець, среди холодныхъ уже слѣдовъ перваго взрыва ихъ любви ⁴⁾; о душѣ пустыника, «забирающей за пестрые прозрачные платочки его слушательницъ, чтобъ играть съ ихъ бѣленькою грудью и щеко- тать ихъ подѣ сердцемъ» ⁵⁾; о «бѣлой, жирной ножкѣ манда- ринши», на которой влюбленные насѣкомыя (т. е. блохи) уто- пакуютъ въ небесномъ блаженствѣ и которыхъ мандаринша дол- жна была «всякій вечеръ ловить у себя подѣ рубашкою» ⁶⁾. Какъ вы думаете: вѣдь право недурно?... Да то ли еще есть у «почтеннѣйшаго» барона! Вспомните-ка его «Большой выходъ Сатаны», гдѣ чортъ сидитъ на воронкѣ, обороченной вверхъ острымъ концомъ и роскошно повертывается на этомъ эсте- тическомъ сѣдалищѣ, вслѣдствіе оплеухи, данной ему сата- ною... А тонъ, выраженія г. барона? О, это верхъ свѣтско- сти! Напримѣръ: «Если есть счастье на свѣтѣ, то не индѣ, какъ въ шараварахъ» ⁷⁾; или: «синую бабу можно считать своею деревнею, которая приноситъ 150,000 годоваго дохода» ⁸⁾; или: «еслибъ людей дѣлали немножко иначе, не такъ поспѣш- но и съ должнымъ вниманіемъ, они были бы гораздо умнѣе» ⁹⁾; или: «Льстецы, видя только задъ души въ глазахъ смѣ-

¹⁾ «Фант. Пут. барона Брамбеуса» стр. 307—309 —²⁾ «Биб. для Чтенія» 1834 г., т. I, стр. 4—5. —³⁾ Ibid. стр. 61. —⁴⁾ «Фант. Пут.» стр. 199 —⁵⁾ «Новоселье», ч. II, стр. 217—218. —⁶⁾ Ibid. стр. 168. —⁷⁾ «Новоселье», ч. II, стр. 204. —⁸⁾ «Биб. для Чтенія», т. I, отд. I, стр. 97. —⁹⁾ «Новоселье», ч. II, стр. 146 —

ныхъ людей, не разбирають и лобызаютъ все, что имъ ни выставишь» ¹⁾... Помните ли его статью «Юная Словесность», гдѣ юная словесность лѣзетъ къ нашему барону въ домъ «шумитъ, безчинствуетъ, ломаетъ утварь, расхищаетъ всю собственность и принадлежность счастья» ²⁾? Баронъ объявляетъ читателямъ, что у него есть баронесса, «образующая вмѣстѣ съ нимъ широкую и плотную массу челоѣчества», которую онъ хочетъ спасти отъ нападений «юной словесности», для чего и «пробуетъ треснуть ей въ лобъ колодой картъ». Юная словесность «стрѣляетъ раскаленными ядрами по бастіону супружества; потомъ «бусурманка (т. е. юная словесность) изранила взаимное довѣріе супруговъ». Баронъ пыхтитъ и кричитъ: «Не поддадимся! о, коварная словесность! о, мерзкая словесность!... Ахъ, распутница!» Баронесса «срывается ночью съ постели»; «повалилась на землю, грызетъ въ бѣшенствѣ камень», а юная словесность «вся запачканная кровью, пыхтитъ и качается въ своей грязной лужѣ» и проч. Право, хорошо! Что жъ не свѣтуете, не хохочете, или, по крайней мѣрѣ, не пыхтите отъ восторгу?... Что жъ вы не восклицаете: «какіе свинтусы, какіе скотоводы эти нечистоплотные періоды, эти зловонныя картины?... Что такое исторія, какъ наука? — «Жеманная и придирная баба» ³⁾... Что такое историческій романъ? — «Плодъ соблазнительнаго прелюбодѣнія исторіи съ воображеніемъ» ⁴⁾... Что такое сочинитель «Мазепы» (плохаго романа, теперь забытаго)? — «Наѣздникъ, который въ полночь лѣзетъ къ критику въ разбитое окно, вооруженный острымъ гусинымъ кинжаломъ» ⁵⁾... Теперь, не угодно ли полюбоваться философическими афоризмами столько же глубокомысленнаго, сколько и эстетическаго барона? —

¹⁾ Ibid стр. 148. — ²⁾ «Баб. для Чтенія», т III, отд. I, стр. 54—59. —

³⁾ Ibid. Т. II, отд. V, стр. 42. — ⁴⁾ Ibid. стр. 14. — ⁵⁾ Ibid. стр. 44. —

«Воздухъ есть сухая вода» ¹⁾; «камень, гранитъ — тоже жидкость, но которой мы уже не можемъ укусить нашими зубами» ²⁾; «Земная планета — атомъ приведеннаго въ броженіе теплотворомъ яичнаго желтка около перваго зародыша цыпленка» ³⁾... «Что такое я самъ?» спрашиваетъ баронъ, и тотчасъ весьма удовлетворительно рѣшаетъ этотъ любопытный вопросъ: «Я тоже жидкость, маленькая мѣра жидкости, сгущенной до извѣстной степени, вылитой по особенному образцу, зазженной внутри искрою небеснаго огня» ⁴⁾... Не хотите ли образчика баронскаго *слова*? — «Эта бѣдная Зенеида... Она просто жертва неопредѣленности нашего бытія! Живая утопленница зыбкихъ его формъ, окруженная неизбежною гибелью, еще борющаяся съ волнами страшнаго хаоса и въ лицѣ погибели (?) хватающаяся за подмытые утесы, которые обрушаются и дробятся въ ея рукахъ! Уже наша образованность обманула ее призракомъ сунружескаго счастія; уже смолола ея существованіе въ своей пасти, и бросила его (?) безъ всякой доски въ омутъ домашняго насилія» ⁵⁾... Хороши!... Но довольно! Я боюсь васъ утомить чтеніемъ этихъ отрывковъ изъ моей тетрадки, которая, увѣряю васъ, очень любопытна, и если не пыхтитъ сама, то заставитъ порядкомъ поухитѣть многихъ романистовъ, критиковъ и рецензентовъ... Посудите сами о богатствѣ собранныхъ мною фактовъ: все, что я успѣлъ прочесть вамъ, ограничивается «Фантастическими Путешествіями», «Новосельемъ» и тремя первыми томами «Библиотеки для Чтенія» за 1834 годъ... Слышите ли: только! Сколько же еще богатыхъ источниковъ! О, я надѣюсь написать прелюбопытную исторію русской литературы!...

Б. Вотъ эта книга по мнѣ! Страхъ люблю коллежнику! Даетъ

¹⁾ «Биб. для Чтенія», т. II, отд. I, стр. 145. — ²⁾ Ibid. стр. 146 —

³⁾ Ibid. — ⁴⁾ Ibid. стр. 146. — ⁵⁾ Ibid. стр. 161. —

нишу для споровъ и средство взглянуть на предметъ съ разныхъ сторонъ.

А. Это будетъ не полемика, а исторія... Но мы отклонились отъ предмета нашего разговора — пыхтящей рецензіи. Она очень ошиблась — не въ томъ, что задумала равнять Гоголя съ Поль-де-Коккомъ, и даже унижать перваго передъ послѣднимъ, но въ томъ, что могла думать, будто не найдется человѣка, который растолковалъ бы ей, что у нея подъ рукою есть писатель, совершенно подходящій подъ ея обвиненія и болѣе годный для параллели съ Поль-де-Коккомъ... Хорошо понимая, что успѣха «Мертвыхъ Душъ» не остановить ей, пыхтящая рецензія приписываетъ необычайный успѣхъ этого превосходнаго художественнаго произведенія грязности и сальности, смѣло и храбро навязаннымъ ею. Жалкія усилія, безсильные извороты! Этакъ можно объяснять развѣ только успѣхъ какаго-нибудь барона Брамбеуса и какой-нибудь «Библіотеки для чтенія», которыхъ судьба вначалѣ была такъ блестяща, а теперь такъ печальна! Баронъ давно уже забытъ и тщетно пытался напомнить о себѣ публикѣ длиннымъ разглагольствованіемъ о «Дѣвѣ Чудной» (публика отъ «Дѣвы» заснула, а о баронѣ не вспомнила); а «Библіотека» быстро подвигается, засыпая сама и усыпляя своихъ читателей, къ берегамъ темной Леты... Передъ смертью жизнь вспыхиваетъ ярче, какъ огонь, готовый погаснуть въ лампѣ: и вотъ вамъ причина энергіи пыхтящей рецензіи... Въ самомъ дѣлѣ, баронъ трудился, пыхтѣлъ, написалъ новый романъ, попытался, напечатать его половину, разманить имъ вниманіе публики, но, увы! — публика уже не та! Съ тѣхъ поръ, какъ «Библіотека для Чтенія» успѣла ей наскутить эту мудрость, которая по плечу толпѣ, этимъ скептицизмомъ, который удивляетъ и озадачиваетъ только слабоумныхъ и невѣждъ, этимъ остроуміемъ, которое поддерживается искаженіемъ истины и повторять себя

одѣши и тѣми же шуточками, — съ тѣхъ поръ публика прочла «Капитанскую Дочку» и посмертныя произведенія Пушкина, познакомилась въ театрѣ съ «Ревизоромъ», заучила наизусть Лермонтова, и много разъ перечла его «Героя Нашего Времени»... Какой шагъ впередъ! Удивительно ли, что эта публика даже не дочла до конца «Дѣвы Чудной» и назвала ее «дѣвою скучною»?... Чтò дѣлать барону? — Тщетно «Библиотека для Чтенія» громко провозгласила г. Кукольника гениемъ, великимъ поэтомъ, какъ провозглашала она нѣкогда г. Тимофеева и многія другія посредственности, не страшныя, не опасныя ни ей, ни барону Брамбеусу: ничто не помогло! Публика даже не стала читать ни «Эвелины де Вальероль», ни «Двухъ Призраковъ», ни «Альфа и Альдоны»; а на расхвалъ раскупила «Мертвыя Души» — произведеніе писателя, о которомъ если «Библиотека для Чтенія» упоминала, то всегда съ презрѣніемъ и насмѣшками... Такъ нѣкогда публика забыла «Большой Выходъ Сатаны» и не прочла «Похожденій Одной Ревижской Души», потому что сильно заинтересовалась какою-то повѣстью о ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ... Постой же, мы его!... И вотъ является пыхтящая рецензія, гдѣ превосходное художественное произведеніе названо «нечистоплотнымъ твореніемъ», глубочайшій и могущественнѣйшій юморъ — плоскостью, благородное сознаніе поэта въ чувствѣ собственнаго значенія въ родной ему русской литературѣ — бредомъ напыщеннаго тщеславія, и гдѣ, къ довершенію всего, содержаніе, ходъ дѣйствія, словомъ, все представлено въ ложномъ, изнوشенномъ видѣ, умышленно перетолковано въ дурную сторону. подвержено мелкимъ придиркамъ мелочной критики, подбирающей мелкими обмолвками противъ языка и грамматики... Посмотримъ, поможетъ ли горю это salto mortale критической добросовѣстности и отчаянной отваги... Посмотримъ, чтѣмъ кончится споръ, если онъ уже и не кончился... Гоголь, ра-

звѣстается, и не узнаеть объ этихъ, отчаянныхъ вылазкахъ на его поэтическую славу (онъ, кажется, человекъ совсѣмъ любопытный до многого, что дѣлается въ русской литературѣ); поэтому, естественно, онъ будетъ отвѣчать только новыми своими произведеніями, отъ которыхъ иные романисты-рецензенты запыхтятся на смерть...

Б. Я впрочемъ радъ этому разговору. Я люблю видѣть вещи со всѣхъ сторонъ. Сегодня же пойду къ С*** и къ Л***, и буду съ ними спорить противъ «Библиотеки для Чтенія» за Гоголя. Это ихъ удивить, а мнѣ доставить много удовольствія. Впрочемъ, вы все-таки не убѣдили меня. Разговоръ не то, что статья. Говорить можно все, а вотъ еслибъ вы напечатали статью, гдѣ бы такъ же съѣло опровергали рецензію «Библиотеки для Чтенія», какъ смѣло и рѣшительно она отдѣлала «Мертвыя Души» и Гоголя: тогда другое дѣло! Однакожъ я теперь не совсѣмъ согласенъ и съ «Библиотекою». Мнѣ кажется, что надо держаться середины...

А. Именно такъ. Середина всего выгоднѣе, по крайней мѣрѣ, для успѣха такихъ литературныхъ произведеній и такихъ журналовъ, которые судьбою поставлены на середину. Побольше такихъ умѣренныхъ людей, какъ вы, — и они всегда будутъ процвѣтать, смѣняя другъ друга, умирая индивидуально, но не переводясь какъ роды и виды... Но, пора объѣдать. Прощайте.

ОБЪЯСНЕНИЕ НА ОБЪЯСНЕНИЕ ПО ПОВОДУ ПОЭМЫ ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЯ ДУШИ».

Изъ множества статей, написанныхъ въ последнее время о «Мертвыхъ Душахъ», или по поводу «Мертвыхъ Душъ», особенно замѣчательны четыре. Ихъ нельзя не раздѣлить на двѣ половины, по-парно. Каждая изъ двухъ статей въ парѣ составляетъ рѣзкій контрастъ; на каждую можно смотрѣть, какъ на крайнюю противоположность другой парѣ. О первой изъ нихъ мы упоминали въ предыдущей книгѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ о единственной хорошей статьѣ изъ всѣхъ, написанныхъ по поводу поэмы Гоголя. Она напечатана въ третьей книгѣ «Современника». Это статья умная и дѣльная сама по себѣ, безотносительно; но кто-то, вѣроятно, безъ всякаго умысла, а просто и невинно, сдѣлалъ рѣзче ея достоинство и выше ея цѣну, написавъ къ ней нѣчто въ родѣ антипода и назвавъ свое послѣднее писаніе критикою на «Мертвыя Души». Смыслъ этой «критики» находится въ обратномъ отношеніи къ смыслу статьи «Современника». Боже мой, сколько курьезнаго въ этой «критикѣ»! Довольно сказать, что въ ней Салифанъ названъ представителемъ неиспорченной русской природы, Ахилломъ новой «Илиады», на томъ основаніи, что онъ а) пріятельски разговариваетъ съ лошадьми, и б) напивается мертвецки совсякимиъ хорошииъ, т. е. всегда готовиъ мертвецки напиться, человекъ... По этому, можно судить и о прочемъ, чѣмъ такъ необыкновенно замѣчательна «критика», о которой мы говоримъ.

Другую пару рѣзкихъ противоположностей составляютъ: статья въ «Библіотекѣ для Чтенія» и московская брошюрка «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: Потожденіа Чичикова или Мерт-

выя Души» — Статья «Библиотеки для Чтенія» была неудачнымъ усиленіемъ втоптать въ грязь великое произведеніе натянутыми и умышленно-фальшивыми нападками на его, будто бы, безграмотность, грязность и эстетическое ничтожество. Всѣмъ извѣстно, что эта статья добилась совсѣмъ не тѣхъ результатовъ, о которыхъ хлопотала.

Брошюрка — антиподъ этой статьи — пошла отъ противоположной крайности: въ ней «Мертвыя Души» являются вторымъ твореніемъ послѣ «Иліады», а подлѣ Гоголя позволяется становиться только Гомеру и Шекспиру...

Но «Мертвыя Души» и безъ всякихъ претензій становятся на ряду съ «Иліадою» имѣютъ великое достоинство: отого-то онѣ устояли не только противъ статьи «Библиотеки для Чтенія», но — что было гораздо труднѣе — и противъ московской брошюры... Къ поэзіи Гоголя, стало бытъ нельзя примѣнить этихъ стиховъ Пушкина:

Враговъ нѣтъ въ мірѣ всякъ:
Но отъ друзей спаси насъ, Боже!
Ужъ эти мнѣ друзья, друзья!
Объ нихъ не даромъ вспомнилъ я.

Мы раздѣлили эти четыре статьи на двѣ пары, основываясь на противоположности ихъ достоинствъ и исходныхъ пунктовъ: теперь раздѣлимъ ихъ по тождеству достоинства и взглядовъ ихъ. По последнему раздѣленію, останутся только двѣ статьи, ибо статья «Современника», въ такомъ случаѣ, будетъ безъ пары, какъ статья умная и дѣльная; статья «Библиотеки для Чтенія» тоже будетъ безъ пары, какъ протестація противъ огромнаго успѣха явнаго таланта. Итакъ, остаются только двѣ статьи: та, въ которой Селюфанъ торжественно признанъ представителемъ «неспорочной русской природы», и московская брошюрка; объ онѣ много имѣютъ между собою общаго и родственнаго. Но объ этомъ послѣ, а сперва замѣтимъ, мимоходомъ, что

намъ много даютъ работы и бранныя и хвалебныя статьи о «Мертвыхъ Душахъ». Такъ какъ эти хвалебныя статьи больше оскорбляютъ людей безпристрастныхъ и благомыслящихъ, то нѣтъ-то мы и поставляемъ себѣ за обязанность преслѣдовать преимущественно передъ бранными. Вслѣдствіе этого, въ 8-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» была высказана, прямо и опредѣлительно, горькая истина московской брошюры «Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: Походженія Чичикова или Мертвыя Души» (Стр. 433 этой части). Это крайне не понравилось автору ея, г. Константину Аксакову, — и вотъ онъ въ 9-мъ № «Москвитянина», напечаталъ противъ насъ возраженіе, въ которомъ силится доказать, что будто бы мы умышленно исказили смыслъ его брошюры и приписали ему такія мнѣнія, которыхъ онъ не можетъ признать своими. Стоять только перечестъ или нашу рецензію, или брошюру г. Константина Аксакова, чтобъ убѣдиться, что мы нисколько не переначивали дѣла, но представили его такимъ, какъ оно есть, и что оттого именно оно и приняло нѣсколько комическій характеръ. Возраженіе автора брошюры также можетъ служить нашимъ оправданіемъ, ибо въ немъ-то и переначено дѣло: авторъ брошюры, замѣтивъ неловкость своего положенія, прибѣгнувъ къ обыкновенной, но неловкой литературной уверткѣ, — отперся отъ части своихъ мыслей и много наговорилъ о томъ, что, по его мнѣнію, могло служить ему оправданіемъ, умолчавъ о немногомъ, составляющемъ сущность его брошюры и придавшемъ ей такой комическій характеръ. Объясняемъ, не ради г. Константина Аксакова, котораго ни брошюра, ни возраженія не стоятъ большихъ хлопотъ; но ради важности предмета, подавшаго поводъ къ тому и другому. Впрочемъ, если наше объясненіе будетъ полезно и для г. Константина Аксакова, мы будемъ этому очень рады, ибо не имѣемъ никакихъ причинъ не желать добра ни ему, ни кому другому.

Г. Константинъ Аксаковъ начинаетъ свое «Объясненіе» тѣмъ, что брошюра (лирикѣ) принадлежитъ ему, и что въ концѣ ея выставлено его имя, которое, неизвѣстно почему, не упомянуто «Отеч. Запискамъ». Признавъ справедливость претензіи г. Константина Аксакова, и чтобъ заглавить нашу вину передъ нимъ, касательно умолчанія его имени, будемъ, въ этой статьѣ, какъ можно чаще употреблять его. Впрочемъ, не желая оставлять г. Константина Аксакова въ неизвѣстности о причинѣ умолчанія его имени въ рецензіи, спѣшимъ объяснить, что мы не упомянули этого имени по чувству гуманной деликатности, будучи увѣрены, что имя человѣка и неудачная статья—не одно и то же, ибо и умный; порядочный человѣкъ можетъ написать (и даже напечатать) плохую брошюру. По тому же самому чувству гуманной деликатности, мы не хотѣли (хотя бы и слѣдовало это сдѣлать по требованію истины) замѣтить, въ нашей рецензіи, что брошюра г. Константина Аксакова вся состоитъ изъ сухихъ; абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственнаго созерцанія, и что, по этому, въ ней нѣтъ ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми ознаменовываются первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и что, по тому же, въ ея изложеніи видна какая-то вялость, разпылчивость, апатія, неопредѣленность и сбивчивость.

Главное обвиненіе г. Константина Аксакова противъ насъ состоитъ въ томъ, что будто бы мы заставили его называть «Мертвыя Души» Иліадою, а Гоголя — Гомеромъ. Чтобъ отстранить отъ себя нашу улику, онъ ссылается на свою брошюру и дѣлаетъ изъ нея выписки; но все это нисколько не поможетъ горю. Г. Константинъ Аксаковъ дѣйствительно не называлъ «Мертвыхъ Душъ» Иліадою, а Гоголя — Гомеромъ: такихъ словъ нѣтъ въ его брошюрѣ; но онъ поставилъ «Мерт-

выя Души на одну доску съ «Илиадою» а Гоголя на одну доску съ Гомеромъ: вотъ что правда, то правда! Ибо какъ же иначе, если не въ такомъ смыслѣ, можно понимать эти слова брошюры (о которыхъ г. Константинъ Аксаковъ какъ-будто и забылъ, и надо согласиться, что въ этомъ случаѣ, память очень встаетъ измѣнила ему).

• Такъ, глубоко значеніе, являющееся намъ въ «Мертвыхъ Душахъ» «Гоголя! Передъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, летѣется оправданіе цѣлой сферы поэзіи, сѣверы давно умикаемой; древній эпосъ возстаетъ предъ нами».

Это значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что давно умикаемый эпосъ Гомера вновь воскрешенъ Гоголемъ, и что «Мертвыя Души», слѣдовательно, вторая «Иліада»!!!

Еще разъ спрашиваемъ: можно ли иначе понять эти слова г. Константина Аксакова? Онъ жалуется, что мы, по обыкновенію журналистовъ, имѣющихъ въ виду уронить непріятное имъ произведеніе, вырывали мѣстами по нѣсколько строкъ изъ его брошюры, прибавляя къ нимъ собственные замѣчанія. Но неужели же мы должны были выписывать все? это значило бы украсить нашъ журналъ брошюрою г. Константина Аксакова, на чтѣ мы не имѣли ни права, ни охоты. Итакъ, мы выписали изъ брошюры только тѣ строки, въ которыхъ заключались ея основныя положенія. Такъ сдѣлаемъ мы и теперь. Послѣ выписанныхъ строкъ, намъ надо было бы перепечатать теперь нѣсколько страницъ; но это было бы скучно и для насъ и для читателей, и потому мы только перескажемъ содержаніе этихъ нѣсколькихъ страницъ, непосредственно слѣдующихъ за выписанными нами строками. Сперва авторъ брошюры характеризуетъ древній эпосъ тѣмъ, что этотъ эпосъ «основанъ былъ на глубокомъ простомъ созерцаніи и обнималъ собою цѣлый опредѣленный міръ во всей неразрывной связи его явленій», что въ немъ все на своемъ мѣстѣ, всякій предметъ

переносится въ него съ его правами, съ тайною его жизни, и т. п. Все это и не ново, и во всемъ этомъ нѣтъ никакой опредѣленности. . Потомъ, авторъ брошюры говоритъ, что этотъ эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, мелѣлъ, «снизошелъ до романовъ и, наконецъ, до крайней степени своего униженія, до французской повѣсти» (стр. 3). — И вдругъ, среди этого времени, возникаетъ древнѣй эпосъ съ своею глубиною и простымъ величьемъ — является поэма Гоголя. Тотъ же глубокопроникающій и все видящій эпическій взоръ, то же всеобъемлющее эпическое созерцаніе — «Въ поэму Гоголя является намъ тотъ древнѣй, гомеровскій эпосъ; въ ней возникаетъ вновь его важный характеръ, его достоинство и широко-объемлющій размахъ» (стр. 4).

Теперь дѣло ясно: эпосъ есть что-то великое; онъ вполне выразился въ созданіяхъ Гомера («Иліадѣ» и «Одиссеѣ»); но со времени Гомера до Гоголя (до 1842-го года по Р. Х.) все мелѣло и искажался: Гоголь же вновь воскресилъ его во всей его первобытной красотѣ и свѣжести...

Неужели и теперь г. Константинъ Аксаковъ отопрется отъ своихъ словъ, явно написанныхъ имъ сгоряча и необдуманно (ибо въ спокойномъ состояніи духа такихъ вещей не говорятъ) и будетъ стараться дать имъ другое значеніе? Нѣтъ, улыбка на лицо, и тутъ не помогутъ никакія увертки...

Правда, древне-эллинскій эпосъ, перенесенный на Западъ, точно мелѣлъ и искажался; но въ чемъ? — въ такъ называемыхъ эпическихъ поэмахъ — въ «Энеидѣ», «Освобожденномъ Іерусалимѣ», «Потерянномъ Раѣ», «Мессіадѣ» и проч. ¹⁾. Всѣ эти поэмы имѣютъ свои неотъемлемыя достоинства, но какъ частности и отдѣльныя мѣста, а не въ цѣломъ; ибо онѣ не

¹⁾ Изъ этихъ поэмъ должно исключить *Divina Comedia* Данте, какъ твореніе самобытное, совершенно въ духѣ католической Европы среднихъ вѣковъ.

самобытныя созанія, ktoromy бы современное содержаніе дало и современную форму, а подражанія, явившіяся вслѣдствіе школьно-эстетическаго преданія объ «Иліадѣ», преданія, гдѣ «Иліада» была сифшана и отождествена съ родомъ поэзіи, къ которому она принадлежитъ. И этотъ древне-эллинискій эпосъ, перенесенный на Западъ, дошелъ до крайняго своего униженія въ «Генріадахъ», «Россіадахъ», «Петріадахъ», «Александродахъ», и другихъ «идахъ», «адахъ» и «ядахъ»; сюда же должно отнести и такіа уродливыя произведенія, какъ «Телемакъ» Фенелона, «Гонзальвъ Кордуанскій» Флоріана, «Кадмъ и Гармонія» и «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» Хераскова и проч. Еслибъ г. Константинъ Аксаковъ это разумѣлъ подъ искаженіемъ на Западѣ древняго эпоса, — мы совершенно съ нимъ согласились бы, потому что это фактъ, историческій фактъ, противъ котораго нечего сказать. Но въ такомъ случаѣ, онъ долженъ бы былъ принять за основаніе, что древне-эллинискій эпосъ и не могъ не исказиться, будучи перенесенъ на Западъ, особенно въ новѣйшіа времена. Древне-эллинискій эпосъ могъ существовать только для древнихъ Эллиновъ, какъ выраженіе жизни, нѣ содержанія въ ихъ формѣ. Для міра же новаго, его нечего было и воскрешать, ибо у міра новаго есть своя жизнь, свое содержаніе и своя форма, слѣдовательно, и свой эпосъ. И эпосъ новаго міра явился преимущественно въ романѣ, котораго главное отличіе отъ древне-эллинскаго эпоса, кромѣ христіанскихъ и другихъ элементовъ новѣйшаго міра, составляетъ еще и проза жизни, вошедшая въ его содержаніе и чуждая древне-эллинскому эпосу. И потому, романъ отнюдь не есть искаженіе древняго эпоса, но есть эпосъ новѣйшаго міра, исторически возникнувшій и развившійся изъ самой жизни и сдѣлавшійся ея зеркаломъ, какъ «Иліада» и «Одиссея» были зеркаломъ древней жизни. Г. Константинъ Аксаковъ умолчалъ о романѣ, сказавъ только, и то

дѣ выноскѣ, что конечно и романъ и повѣсть имѣютъ де свое значеніе и свое мѣсто въ исторіи искусства (поэзіи, но что предѣлы статьи его не позволяютъ ему распространиться о нихъ (стр. 3). Во первыхъ, эта выноска явно противорѣчитъ съ текстомъ, гдѣ опредѣлительно сказано, что древній эпосъ, перенесенный на Западъ, все мелѣлъ, искажался, снзшомелъ до романовъ и, наконецъ до крайней степени своего униженія, до французской повѣсти: слѣдовательно, какое же свое значеніе, кромѣ искаженія древняго эпоса, могутъ имѣть романъ и повѣсть въ глазахъ г. Константина Аксакова? И притомъ, если говорить (особенно такіа диковинки и такъ смѣло), то ужъ надо говорить все и притомъ опредѣленно, чтобъ не дать себя поймать на недоговорахъ; или ничего не говорить; или говоря, не противорѣчить себѣ ни въ текстѣ, ни въ выноскахъ или, наконецъ, проговорившись, умѣть смолчать. Въ противномъ случаѣ, это все равно, какъ еслибъ кто-нибудь, сказавъ такъ: «Байронъ плохой поэтъ», а въ выноскѣ замѣтивъ: «впрочемъ и Байронъ имѣетъ свое значеніе, но мнѣ теперь некогда о немъ распространяться», считалъ бы себя правымъ и подумалъ бы, что онъ все сказалъ, и сказалъ дѣло, а не пустяки. Г. Константинъ Аксаковъ ни однимъ словомъ не упомянулъ въ своей брошюрѣ ни о Сервантесѣ, ни о Вальтерѣ Скоттѣ, ни о Куперѣ, — чѣмъ и далъ право думать, что онъ и въ нихъ видитъ искажителей эпоса, возстановленнаго Гоголемъ!!!... Въ нашей рецензіи, мы это замѣтили г. Константину Аксакову, сказавъ при этомъ, что Вальтеръ Скоттъ есть истинный представитель современнаго эпоса, т. е. историческаго романа, что Вальтеръ Скоттъ могъ явиться (и явился) безъ Гоголя, но что Гоголя не было бы безъ Вальтеръ Скотта; и, наконецъ, если Гоголя можно сближать съ кѣмъ-нибудь, такъ ужъ конечно съ Вальтерѣ Скоттомъ, которому онъ, какъ и всѣ современные романисты, такъ много обязанъ, а не съ

Гомеромъ, съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Но г. Константинъ Аксаковъ въ своемъ «Объясненіи» промолчалъ объ этомъ:—изворотъ очень полезный, для него, разумеется, но по отношенію къ намъ не совсѣмъ добросовѣстный... И это-то самое заставляетъ насъ повторить, что г. Константинъ Аксаковъ считаетъ романъ униженіемъ эпоса (ибо у него эпосъ исходитъ до романа), а Вальтеръ Скотта просто ни за что не считаетъ (ибо не удостоиваетъ его и упоминаніемъ — вѣроятно, изъ опасенія унизить Гоголя какимъ бы то ни было сближеніемъ съ такимъ незначущимъ писателемъ, какъ Вальтеръ Скоттъ). Какъ называются такія умозрѣнія — представляемъ рѣшить читателямъ...

Итакъ, романъ совершенно уничтоженъ г. Константиномъ Аксаковымъ; но современный эпосъ проявился не въ одномъ романѣ исключительно: въ новѣйшей поэзіи есть особый родъ эпоса, который не допускаетъ прозы жизни, который схватываетъ только поэтическіе, идеальные моменты жизни, и содержаніе котораго составляютъ глубочайшія міросозерцанія и нравственные вопросы современнаго человѣчества. Этотъ родъ эпоса одинъ удержалъ за собою имя «поэмы». Таковы всѣ поэмы Байрона, нѣкоторыя поэмы Пушкина (въ особенности «Цыганы» и «Галубъ»), также Лермонтова «Демонъ», «Мцыри» и «Бояринъ Орша». Если для г. Константина Аксакова поэмы Пушкина и Лермонтова не составляютъ факта, то какъ же не упомянулъ онъ ни слова о Байронѣ? Положимъ, что Байронъ, въ сравненіи съ Гоголемъ — ничто, а Чичиковы, Маниловы и Селифаны имѣютъ болѣе всемірно-историческое значеніе, чѣмъ титаническія, колоссальныя личности британскаго поэта; но, ничтожный въ сравненіи съ Гоголемъ, Байронъ все таки долженъ же имѣть хоть какое-нибудь свое значеніе и свое мѣсто въ исторіи новѣйшаго искусства?... Почему же г. Константинъ Аксаковъ не удостоилъ упомянуть о Байронѣ, ну, хоть однимъ

презрительнымъ словомъ, хотъ для того, чтобъ уничтожить его во имя «Мертвыхъ Душъ»? Неужели же, спросятъ насъ, г. Константинъ Аксаковъ не шутилъ и въ Байронѣ видитъ искаженіе эпоса? — Должно быть, такъ: ибо настоящій, истинный эпосъ, послѣ Гомера, явился только въ «Мертвыхъ Душахъ» — отвѣчаемъ мы.. Да это (опять скажутъ намъ), это просто... нелѣпость, галиматья!... Поищите, какъ это можно (отвѣчаемъ мы): это умозрѣнія, спекулятивныя построенія, гегелевская философія — на замоскворѣцкій ладъ...

Что между Гоголемъ и Гомеромъ есть сходство — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но какое сходство? — такое, что тотъ и другой — поэтъ; другаго нѣтъ и быть не можетъ. Однакожъ, такое сходство не только между Гомеромъ и французскимъ пѣсенникомъ Беранже, но и между Шекспиромъ и русскимъ баснописцемъ Крыловымъ; всѣхъ ихъ дѣлаетъ сходными — творчество. Но думать, что въ наше время возможенъ древній эпосъ — это такъ же нелѣпо, какъ и думать, чтобъ въ наше время человѣчество могло вновь сдѣлаться изъ взрослога человѣка ребенкомъ, а думать такъ — значитъ быть чуждымъ всякаго историческаго созерцанія, и пустыя фантазіи празднаго воображенія выдавать за философскія истины...

Итакъ, повторяемъ: г. Константинъ Аксаковъ не называлъ Гоголя Гомеромъ, а «Мертвыя Души» — «Иліадою»; онъ только сказалъ, что, во первыхъ, «древній эпосъ былъ унижаемъ на Западѣ», а мы прибавили (и имѣли на это право) отъ себя: — Сервантесомъ, Вальтеръ Скоттомъ, Куперомъ, Байрономъ; — и что во вторыхъ, «въ Мертвыхъ Душахъ древній эпосъ возстаетъ передъ нами»; а мы прибавили отъ себя (и имѣли на это право): — ерго «Мертвыя Души» то же самое въ новомъ мірѣ, что «Иліада» въ древнемъ, а Гоголь то же самое въ исторіи новѣйшаго искусства, что Гомеръ въ исторіи древняго искусства.

Спрашиваемъ всѣхъ и каждого: была ли какая-нибудь возможность вывести другое заключеніе изъ положеній г. Константина Аксакова? или: была ли какая-нибудь возможность не вывести изъ положеній г. Константина Аксакова того заключенія, какое мы вывели?—И мы ли виноваты, что заключеніе это насмѣшило весь читающій по-русски міръ?

Правда, г. Константинъ Аксаковъ далѣе въ своей брошюрѣ замѣчаетъ, что «саме содержаніе кладетъ разницу между «Илиадою» и «Мертвыми Душами»; однакожь, эта оговорка у него не только не поясняетъ дѣла, а еще болѣе затемняетъ его, какъ противорѣчіе. Г. Константину Аксакову явно хотѣлось сказать что-то новое, неслыханное міромъ; и какъ у него не было ни силъ, ни признанія сказать новой великой истины, то онъ и расудилъ сказать великій... какъ бы это выразить? — ну, хоть парадоксъ... Удивительно ли, что, развивая и доказывая этотъ парадоксъ, онъ наговорилъ много такого, въ чемъ онъ самъ запутался и надъ чѣмъ другіе только добродушно посмѣялись?... Въ своемъ «Объясненіи», онъ особенно намекаетъ на то, что «эпическое созерцаніе Гоголя — древнее, истинное, то же, какое и у Гомера» и что «только у одного Гоголя видимъ мы этъ созерцаніе». Хорошо; да гдѣ же доказательства этого? Да нигдѣ — доказательства никакихъ, кромѣ увѣреній г. Константина Аксакова: — бѣдное и ненадежное ручательство! Поэма Гоголя (говоритъ онъ) представляетъ вамъ цѣлую форму жизни, цѣлый міръ, гдѣ, опять, какъ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ воды, восходитъ солнце, красуется вся природа и живетъ человѣкъ, — міръ, являющій намъ глубокое цѣлое, глубокое, внутри лежащее содержаніе общей жизни, связующій единымъ духомъ всѣ свои явленія» (стр. 4). Вотъ всѣ доказательства близкой родственности Гомеровскаго эпоса съ Гоголевскимъ; но во первыхъ, это столько же характеристика Гоголевскаго эпоса, сколько и эпоса

Вальтеръ Скотта, съ тою только разницею, что эпосъ Вальтеръ Скотта именно заключаетъ въ себѣ «содержаніе общей жизни, тогда какъ у Гоголя эта «общая жизнь» является только какъ намекъ, какъ задняя мысль, вызываемая совершеннымъ отсутствіемъ общечеловѣческаго въ изображаемой имъ жизни. Противъ этого нечего возразить: это ясно. Помилуйте: какаѣ общая жизнь въ Чичиковыхъ, Селифанахъ, Маниловыхъ, Плюшкиныхъ, Собакевичахъ и во всеиъ честномъ компанствѣ, занимающемъ свою пошлостію вниманіе читателя въ «Мертвыхъ Душахъ»? Гдѣ тутъ Гомеръ? Какой тутъ Гомеръ? Тутъ просто Гоголь — и больше никого.

Говоря, что у Гоголя эпическое созерпаніе чисто-древнее, истинное, Гомеровское, и что Гоголь все таки совсѣмъ не Гомеръ, а «Мертвыя Души» нисколько не Илиада», ибо-де само содержаніе уже кладетъ здѣсь разницу, — г. Константинъ Аксаковъ тотчасъ же прибавляетъ: «Кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе Мертвыхъ Душъ?» — Именно такъ: «кто знаетъ это?» повторяемъ и мы. Глубоко уважая великій талантъ Гоголя, страстно любя его гениальныя созданія, мы въ то же время отвѣчаемъ и ругаемся только за то, что уже написано имъ; а насчетъ того, что онъ еще напишетъ, мы можемъ сказать только: кто знаетъ, впрочемъ, какъ, и пр. Особенно часто повторяемъ мы про себя: кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе Мертвыхъ Душъ? И на повтореніе этого вопроса наводятъ насъ слѣдующія слова въ повѣсти Гоголя: «Можетъ быть, въ сей же самой повѣсти почувуются иныя, еще доселѣ небранныя струны, предстанетъ неслетное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божественными доблестями, или русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всею дивною красотой женской души, вся въ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди

другихъ племенъ, какъ жертва книга предъ живымъ словомъ (стр. 430). Да, эти слова творца «Мертвыхъ Душъ» заставили насъ часто и часто повторять, въ тревожномъ раздумьи: «кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»?... Именно, кто знаетъ?... Много, слишкомъ много обѣщано, такъ много, что негдѣ и взять того, чѣмъ выполнить обѣщаніе, потому что того и нѣтъ еще на свѣтѣ; намъ какъ-то страшно, чтобъ первая часть, въ которой все комическое, не осталась истинною трагедіею, а остальные двѣ, гдѣ должны проступить трагическіе элементы, не сдѣлались комическими—по крайней мѣрѣ, въ патетическихъ мѣстахъ... Впрочемъ, опять-таки—кто знаетъ... Но кто бы ни зналъ, вопросъ этотъ, заданный г. Константиномъ Аксаковымъ, явно показываетъ, что если онъ, г. Константинъ Аксаковъ, и видитъ въ первой части «Мертвыхъ Душъ» разницу съ «Иліадою», полагаемъ уже самымъ содержаніемъ,—то все-таки крѣпко надѣется, что въ двухъ послѣднихъ частяхъ «Мертвыхъ Душъ» и эта разница сама собою уничтожится, и что, ergo, «Мертвыя Души» — «Иліада», а Гоголь — Гомеръ. Последняго онъ не сказалъ, но мы въ правѣ опять вывести это комическое заключеніе...

Главное доказательство мнимой родственности Гоголевскаго эпоса съ Гомеровскимъ состоитъ у г. Константина Аксакова въ любви къ сравненіямъ, въ обиліи и сходствѣ этихъ сравненій у Гомера и у Гоголя. Странное и забавное доказательство! Объ этомъ сходствѣ упоминаетъ и еще другая критика — та самая, въ которой мы видимъ гораздо-больше родственности и тождества съ брошюркою г. Константина Аксакова, нежели сколько между Гомеромъ и Гоголемъ; но въ той критикѣ находятъ сходство Гоголя, по отношенію къ сравненіямъ, не съ однимъ Гомеромъ, но и съ Данте; а мы, съ своей стороны беремъ найти его съ добрымъ десяткомъ новѣйшихъ поэтовъ. Изъ одного Пушкина можно выписать тысячу срав-

неній, такъ же напоминающихъ собою сравненія Гомера, какъ напоминаютъ ихъ сравненія Гоголя. Но вотъ одно, которое побольше всѣхъ Гоголевскихъ сравненій напоминаетъ собою Гомеровскія:

Ни на челѣ высококъ, ни во взорѣ
 Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;
 Все тотъ же видъ, смиренный, величавый.
Такъ точно дыкъ, въ приказѣ послѣдній,
Спокойно зреть на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу смилая равнодушно,
Не вѣдал ни жалости, ни гнева.

Здѣсь даже не одно внѣшнее (какъ у Гоголя), но внутреннее сходство съ Гомеромъ, заключающееся въ наивной простотѣ, соединенной съ возвышенностію; однако изъ этого еще не выходитъ никакого тождества между Гомеромъ и Пушкинымъ. Правда, «Борисъ Годуновъ» въ тысячу разъ болѣе, чѣмъ «Мертвыя Души» напоминаетъ собою Гомера, тономъ многихъ своихъ страницъ, тономъ наивно-простымъ и вмѣстѣ возвышеннымъ; но на это сходство Пушкинъ наведенъ былъ не особенностью его поэтической природы, или ея родственностью съ Гомеромъ, а сущностью избранной имъ для своей трагедіи эпохи, гдѣ самые высокіе умы и сильные характеры мысляли и говорили простодушно, или простодушно и возвышенно вмѣстѣ. Тутъ есть еще и другая причина: несмотря на свою драматическую форму, «Борисъ Годуновъ» Пушкина есть, въ сущности, эпическое произведеніе, а эпосъ съ эпосомъ всегда имѣетъ бѣльшее или меньшее, ближайшее или отдаленнѣйшее сходство, какъ одинъ и тотъ же родъ поэзіи. Но это сходство уничтожается въ «Мертвыхъ Душахъ» уже тѣмъ, что онѣ проникнуты насквозь юморомъ. Если Гомеръ сравниваетъ тѣснимаго въ битвѣ Троянами Аякса съ осломъ — онъ сравниваетъ его простодушно, безъ всякаго юмора, какъ сравнилъ бы его со львомъ. Для Гомера, какъ и для всѣхъ Грековъ его вре-

мени, оселъ былъ животное почтенное и не возбуждалъ, какъ въ насъ, смѣха однимъ своимъ появленіемъ, или однимъ своимъ именемъ. У Гоголя же, напротивъ, сравненіе, напр , франтовъ, увидающихся около красавицъ, съ мухами, летящими на сахаръ, все насквозь проникнуто юморомъ. Следовательно, все сходство чисто внѣшнее, т. е. то, что и у Гомера есть сравненія, и у Гоголя есть сравненія; но этакъ между Гомеромъ и Гоголемъ и еще можно найти большое сходство, именно то, что Гомеръ слагалъ свои возвышенно наивныя созданія на греческомъ языкѣ, а Гоголь пишетъ по-русски: извѣстно же всѣмъ, что греческій и русскій языкъ происходятъ отъ одного корня, кромѣ уже того, что всѣ языки въ мирѣ, несмотря на ихъ различіе, основаны на однихъ и тѣхъ же началахъ разума человѣческаго...

Не зная, какъ, впрочемъ, раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ» въ двухъ послѣднихъ частяхъ, мы еще не понимаемъ ясно, почему Гоголь назвалъ «поэмою» свое произведеніе; и пока видимъ въ этомъ названіи тотъ же юморъ, какимъ растворено и проникнуто назквозь это произведеніе. Если же самъ поэтъ почитаетъ свое произведеніе «поэмою», содержаніе и герой которой есть субстанція русскаго народа, — то мы не обинуясь скажемъ, что поэтъ сдѣлалъ великую ошибку: ибо, хотя эта «субстанція» глубока, и сильна, и громадна (что уже ярко проблескиваетъ и въ комическомъ опредѣленіи обществнности, въ которомъ она пока проявляется и которое Гоголь такъ гениально схватываетъ и воспроизводитъ въ «Мертвыхъ Душахъ»), однако субстанція народа можетъ быть предметомъ поэмы только въ своемъ разумномъ опредѣленіи, когда она есть нѣчто положительное и дѣйствительное, а не гадательное и предположительное, когда оно есть уже прошедшее и настоящее, и не будущее только... Въ творествѣ великая для художника задача — выбрать предметъ и содержаніе для

произведения; этотъ предметъ и это содержаніе всегда должны быть осязательно опредѣленны; иначе, художественное произведеніе будетъ неполно, несовершенно, то, что Французы называютъ *manqué*. И потому, великая ошибка для художника писать поэму, которая можетъ быть возможна въ будущемъ.

Итакъ, чѣмъ болѣе рассматриваемъ дѣло г. Константина Аксакова, тѣмъ болѣе сходство между Гомеромъ и Гоголемъ становится... какъ бы сказать? — забавите и смѣшите.... Смыслъ, содержаніе и форма «Мертвыхъ Душъ» есть — «озерцаніе данной сѣеры жизни сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы». Въ этомъ и заключается трагическое значеніе комическаго произведенія Гоголя; это и выводитъ его изъ ряда обыкновенныхъ сатирическихъ сочиненій, и этого-то не могутъ понять ограниченные люди, которые видятъ въ «Мертвыхъ Душахъ» много смѣшнаго, уморительнаго, говоря ихъ простонароднымъ жаргономъ, но ужъ иѣстами черзчуръ переутрированнаго. Всякое выстраданное произведеніе великаго таланта имѣетъ глубокое значеніе, — и мы первые признаемъ «Мертвыя Души» Гоголя великимъ по самому себѣ произведеніемъ въ мірѣ искусства, для иностранцевъ лишеннымъ всякаго общаго содержанія, но для насъ тѣмъ болѣе важнымъ и драгоцѣннымъ. Еще не было доселѣ болѣе важнаго для русской общественности произведенія, — и только одинъ Гоголь можетъ дать намъ другое, болѣе важное произведеніе, а дастъ ли въ самомъ дѣлѣ — «кто, впрочемъ, знаетъ», судя по нѣкоторымъ основнымъ началамъ возрѣнія, которыя довольно непріятно промелькиваютъ въ «Мертвыхъ Душахъ» и относятся къ нимъ, какъ крапинки и пятнышки къ картинамъ великаго мастера, — о чемъ мы поговоримъ въ свое время и подробнѣе и отчетливѣе . . .

Такимъ образомъ, если г. Константинъ Аксаковъ хочетъ оправдаться, а не отдѣлаться только отъ неосторожно выска-

занных имъ странностей, — онъ долженъ сказать и доказать:

1) Почему древній эпосъ снизошелъ (слѣдовательно уни-
зился) до романовъ, и считаетъ ли онъ Сервантеса, Вальтеръ
Скотта, Купера, Байрона искажителями эпоса, возстановленна-
го и спасеннаго Гоголемъ? Последняя недомолвка очень подо-
зрительна; изъ нея видно, что г. Константинъ Аксаковъ самъ
испугался своихъ смѣлыхъ положеній. — 2) Почему мы сол-
гали на него, говоря, что изъ его положеній прямо выводится
то слѣдствіе, что «Мертвыя Души» — «Иліада», а Гоголь —
Гомеръ нашего времени? — 3) Почему во французской повѣсти
эпосъ дошелъ до своего крайняго униженія?

Но г. Константинъ Аксаковъ рѣшился ничего больше не го-
ворить объ этомъ, послѣ своего, ничего необъяснившаго «Объ-
ясненія»: и хорошо сдѣлалъ — больше ему ничего и не остае-
тся; онъ высказалъ уже всю свою мудрость. За то, намъ еще
много осталось кое-чего сказать

Какъ, кромѣ частныхъ исторій отдѣльныхъ народовъ, есть
еще исторія человѣчества, — точно такъ, кромѣ частныхъ ис-
торій отдѣльныхъ литературъ (греческой, латинской, француз-
ской и пр.), есть еще исторія всемірной литературы, пред-
метъ которой — развитіе человѣчества въ сферѣ искусства и
литературы. Само собою разумѣется, что въ этой исторіи дол-
жна быть живая, внутренняя связь, что она должна предыду-
щими объяснять послѣдующее, ибо иначе она будетъ лѣто-
писью или перечнемъ фактовъ, а не исторіею. И потому, на-
примѣръ, романы Шотландца XIX вѣка, Вальтеръ Скотта,
непремѣнно должны быть въ какой-нибудь связи съ поэмами
Гомера. Эта связь именно состоитъ въ томъ, что романы В.
Скота суть необходимый моментъ дальнѣйшаго развитія эпо-
са, котораго первымъ моментомъ развитія могутъ быть поэмы
индійскія, а послѣдующимъ моментомъ — поэмы Гомера. Въ
исторіи нѣтъ скачковъ. Слѣдовательно, греческій эпосъ не

низшелъ до романовъ, какъ мудрствуетъ г. Константинъ Аксаковъ, а развился въ романъ: ибо нелѣпо было бы предполагать, въ продолженіи трехъ тысячъ лѣтъ, пробѣлъ въ исторіи всемірной литературы, и отъ Гомера прыгнувъ прямо къ Гоголю, который, еще въ добавокъ, и нисколько не принадлежитъ ко всемірно-историческимъ поэтамъ... Вотъ почему, мы основательно, а не наобумъ, исторически, а не фантазмагорически думаемъ и убѣждены, что, напримѣръ, какой-нибудь Данте, въ дѣлѣ эпоса, побольше значить Гоголя, что тутъ виѣтъ свое значеніе и Аріостъ, и что не только Сервантесъ, Вальтеръ Скоттъ, Куперъ, какъ художники по преимуществу, но и Свифтъ, Стернъ, Вольтеръ (философскіе романы и повѣсти), Руссо («Новая Элоиза») виѣютъ несравненно и неизмѣримо высшее значеніе во всемірно-исторической литературѣ, чѣмъ Гоголь, ибо въ нихъ совершилось развитіе эпоса и со стороны содержанія, и со стороны искусства, и со стороны содержанія и искусства виѣтъ. Говорить же, что Гоголь прямо вышелъ изъ Гомера, или продолжалъ собою Гомера мимо всѣхъ прочихъ, и старинныхъ и современныхъ поэтовъ Европы, значить, виѣсто похвалы, оскорблять его, значить исключать его изъ историческаго развитія, выставять человѣкомъ, чуждымъ современности, чуждымъ знанія всего, что было до него.. Чтò же касается до мысли о какой-то родственности Гоголевскаго эпоса съ Гомеровскимъ, — мы уже доказали, что эта мысль больше, чѣмъ неосновательна. Притомъ же, еслибъ и такъ было, надобно бъ было, объяснить, въ чемъ тутъ заслуга со стороны Гоголя, тѣмъ болѣе, что авторъ брошюры говоритъ объ этомъ такимъ торжествующимъ тономъ, какъ будто ставитъ это въ величайшую заслугу Гоголю.

Теперь о крайнемъ искаженіи эпоса во французской повѣсти: это еще чтò за исторія? Г. Константинъ Аксаковъ видѣтъ во французской повѣсти-- простой анекдотъ, родъ шар-

ды, гдѣ все дѣло въ сюжетѣ, т. е. въ сплетеніи и расплетеніи событія (fab'le): да вольно же ему видѣть это, когда этого нѣтъ во французской повѣсти ¹⁾, а есть совсѣмъ другое, именно: характеры, дивное, однимъ только Французамъ сродное искусство разсказа, соціальные и нравственные вопросы, вопли и страданія современности?... Если кто нибудь зажмурить глаза и станетъ доказывать, что нѣтъ на свѣтѣ солнца и свѣта, — что ему на это скажутъ? — конечно не другое что, какъ «открой глаза»; но если онъ слѣпъ отъ природы, — тогда что ему скажутъ? — вотъ что: «ты правъ, для тебя точно нѣтъ на свѣтѣ ни солнца, ни свѣта»... А что, можетъ-быть, г. Константинъ Аксаковъ, не любитъ французскихъ повѣстей — его воля, да только публикѣ-то что за дѣло, что любить и чего не любить г. Константинъ Аксаковъ? Французскія повѣсти читаются всѣмъ просвѣщеннымъ и образованнымъ міромъ во всѣхъ пяти частяхъ земнаго шара; французская повѣсть есть плодъ французской литературы, а французская литература имѣетъ всемірно-историческое значеніе. Въ одномъ мѣстѣ своего «Объясненія», г. Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ, въ скобкахъ, мимоходомъ, что въ рядъ великихъ писателей Жоржъ Зандъ не входитъ ни безусловно, ни условно, — и думаетъ, что этими словами онъ рѣшилъ дѣло и все сказалъ; тогда какъ онъ этимъ сказалъ только, что онъ или совсѣмъ не читалъ Жоржъ Занда, или читалъ, да не понялъ. Здѣсь не мѣсто распространяться о Жоржъ Зандѣ; скажемъ только, что Жоржъ Зандъ имѣетъ большое значеніе и во всемірно исторической литературѣ, не въ одной французской, тогда какъ Гоголь при всей неотъемлемой великости его таланта, не имѣетъ рѣшительно никакого значенія во всемірно исторической литера-

¹⁾ Исключая, разумеется, плохихъ повѣстей, которыя есть у всѣхъ народовъ, а иногда бывають и у великихъ поэтовъ ..

турѣ и великъ только въ одной русской, что, слѣдовательно, имя Жоржъ Занда безусловно можетъ входить въ реестръ именъ европейскихъ поэтовъ, тогда какъ помѣщеніе рядомъ именъ Гоголя, Гомера и Шекспира, оскорбляетъ и приличіе и здравый смыслъ... Въ послѣднемъ, кромя г. Константина Аксакова, никто въ мірѣ не усомнится, а насчетъ перваго можно представить сильныя доказательства...

Въ добавокъ къ вопросу о повѣсти, какъ крайнемъ униженіи эпоса, скажемъ, что если ужъ видѣть это униженіе въ повѣсти, то конечно, скорѣе въ нѣмецкой, чѣмъ во французской. Нѣмецкая повѣсть возникла и выросла на почвѣ отвлеченія, аскетизма, анти-общественности; она изображаетъ не общество, а отдѣльныя личности, которыхъ вся жизнь и вся повѣсть жизни состоитъ въ переливахъ внутреннихъ ощущеній, фантастическихъ и фантазерскихъ грѣзъ, и которыхъ все блаженство заключается не въ стремленіи къ идеалу дѣйствительной жизни и достиженіи его, а въ томъ, чтобъ любоваться собственной внутреннею глубокостію и пустою праздною жизнью ощущенія, вмѣсто дѣйствія. Но и нѣмецкая повѣсть, какъ мы это замѣтили уже и въ рецензій, даже какъ и уклоненіе отъ нормы, имѣетъ свое всемірно историческое значеніе, объясняемое изъ національнаго духа Нѣмцевъ.

Теперь о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Г. Константинъ Аксаковъ говоритъ, будто мы взвели на него небывлицу, приписывая ему изобрѣтеніе равенства Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ. Онъ не отрицается отъ изобрѣтенія этого удивительнаго равенства, но ставитъ намъ въ вину, что мы не замѣтили въ какомъ отношеніи разумѣтъ онъ это равенство; а разумѣтъ онъ его, изволите видѣть, въ отношеніи къ акту творчества. Подлинно, есть за что обвинять насъ: понимать г. Константина Аксакова такъ трудно, тѣмъ болѣе, что онъ, кажется, самъ себя не совсѣмъ понимаетъ. Брошюра

его — это такая смѣсь несвязанныхъ между собою... не мыслей, а скорѣе недомысловъ, что трудно разобрать, что онъ разумѣетъ тутъ, и какъ его понимать! Онъ говоритъ, что Гоголь равенъ Гомеру и Шекспиру по акту творчества, и что въ отношеніи къ акту творчества, только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь — величайшіе поэты; и въ тоже время, онъ съ какою-то наивностію, увѣряетъ, что этимъ онъ нисколько не унижаетъ великихъ европейскіхъ поэтовъ, думая, вѣроятно, что для Данте, Сервантеса, Вальтера, Скотта, Купера, Байрона, Шиллера, Гёте — большая честь стоять въ почтительномъ отдаленіи отъ Гоголя, пріятельски обнявшагося съ Гомеромъ и Шекспиромъ! Да, милостивый государь, съ чего вы взяли, что Гоголь, и по акту творчества родной братъ Гомеру и Шекспиру, и выше всѣхъ другихъ великихъ европейскихкихъ поэтовъ? Съ чего вы взяли, что вамъ стѣяло только выговорить эту, положимъ изъ вѣжливости — мысль, чтобъ ее всѣ, подобно вамъ, нашли непреложною и истинною? Гдѣ на это доказательства, гдѣ ваши доводы? Ваше убѣжденіе? — да публикѣ-то какое дѣло до вашихъ убѣжденій?... Употребивъ оговорку — «по отношенію къ акту творчества, а не содержанію», г. Константинъ Аксаковъ думаетъ, — что онъ совершенно оправдался и сдѣлалъ насъ кругомъ виноватыми. Какая милая наивность, какая буколическая невинность!... Развивая свою мысль о равенствѣ Гоголя съ Гомеромъ и Шекспиромъ (по отношенію къ акту творчества), г. Константинъ Аксаковъ говоритъ: «Мы далеки оттого, чтобъ унижать колоссальность другихъ поэтовъ, но въ отношеніи къ акту созданія, они ниже Гоголя (sic!...). Развѣ не можетъ быть такъ, напримѣръ: поэтъ, обладающій полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ, другой создаетъ великаго человѣка; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, об-

задающій тайною творчества» (стр. 15). Хорошо; но зачѣмъ брать ложныя сравненія, если не за тѣмъ, чтобъ оправдать натяжками ложныя мысли? — Не лучше ли было бы сказать такъ, напримѣръ: «Поэтъ, обладающій полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣтокъ; другой, обладающій такою же полнотою, создастъ великаго человѣка: ничтожно будетъ дѣло перваго передъ дѣломъ втораго, какъ ничтоженъ, въ ряду явленій жизни, цвѣтокъ передъ великимъ человѣкомъ?» Какъ вы думаете объ этомъ г. Константинъ Аксаковъ? Это не совсѣмъ выгодно для вашего идолопоклонства, за то ближе къ истинѣ — повѣрьте намъ, въ этомъ случаѣ, на-слово, или спросите у здраваго смысла — ояъ за насъ!... Но положимъ, что и такъ, положимъ, что вы ставите Гоголя выше колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ только по акту творчества, а не по содержанію; но зачѣмъ же вы прибавляете эти слова: «Но Боже насъ сохрани, чтобъ миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ созданій Гоголя!» Какой смыслъ этихъ словъ — не этотъ ли: по акту творчества, Гоголь выше всѣхъ колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ, кромѣ Гомера и Шекспира, съ которыми онъ равенъ, а по содержанію онъ не уступаетъ имъ, ergo съ Гомеромъ и Шекспиромъ онъ равенъ во всѣхъ отношеніяхъ, а съ другими европейскими поэтами онъ равенъ по содержанію и выше ихъ по акту творчества?... Какъ вамъ угодно, а выходитъ такъ! Нашъ выводъ изъ вашихъ словъ, или вашихъ противорѣчій — все равно, вѣренъ.. Гдѣ жь наши на васъ выдумки, лжи и клеветы?...

Актъ творчества дѣйствительно великая сила въ поэтѣ, какъ отвлеченная сообразительность въ математикѣ: противъ этого никто не споритъ и безъ ссылокъ на *über die aesthetische Erziehung* Шиллера, которое г. Константинъ Аксаковъ совѣтуетъ намъ прочесть хоть во французскомъ переводѣ, тонко

налекая этимъ, что онъ знаетъ по нѣмецки, какъ-будто бы для всякаго другаго это рѣшительная невозможность... Безъ акта творчества нѣтъ поэта — это аксіома; но въ наше время шриломъ величія поэтовъ принимается не актъ творчества, а идея, общее... Многія стихотворенія Гейне такъ хороши, что ихъ можно принять за Гётевскія, но Гейне, несмотря на то, все таки пигмей-чиредъ колоссальнымъ Гёте. Въ чемъ же ихъ разница? — въ идеѣ, въ содержаніи... «Иванъ Θεодоровичъ Шпонка и его Тетушка» по отношенію акта творчества, дѣйствительно не ниже Шекспировскаго «Гамлета»; но несмотря на то, въ сравненіи съ «Гамлетомъ» повесть Гоголя — абсолютное ничтожество, такъ, что даже есть что-то смѣшное въ какомъ бы то ни было сближеніи этихъ двухъ произведеній... Право такъ, г. Константинъ Аксаковъ!... Почти такъ же комически забавно и сближеніе «Мертвыхъ Душъ» съ «Иліадою»... Дѣйствительно, Гоголь обладаетъ удивительною полнотою въ актѣ творчества, и эта полнота дѣйствительно можетъ служить ручательствомъ, что Гоголь могъ бы произвести колоссальныя созданія и со стороны содержанія, и несмотря на то, все-таки могъ бы не сравняться ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни стать выше другихъ колоссальныхъ европейскихъ поэтовъ, еслибъ современная русская жизнь могла дать ему необходимое для такихъ созданій содержаніе... Мы именно въ томъ-то и видимъ великость и гениальность Гоголя, что онъ, своимъ артистическимъ инстинктомъ, вѣренъ дѣйствительности, и лучше хочетъ ограничиться, впрочемъ великою, задачею — объективировать современную дѣйствительность, внеся свѣтъ въ мракъ ея, чѣмъ воспѣвать на досугѣ то, до чего никому, кромѣ художниковъ и дилетантовъ, нѣтъ никакого дѣла, или изображать русскую дѣйствительность такую, какой она никогда не была. «Впрочемъ, кто знаетъ» какъ еще раскроется содержаніе «Мертвыхъ Душъ»...

Намъ общаются мужей и дѣвъ неслыханныхъ, какихъ еще не было въ мірѣ и въ сравненіи съ которыми великіе нѣмецкіе люди (т. е. западные Европейцы) окажутся пустѣйшими людьми... Да, кто знаетъ впрочемъ... можетъ-быть, судя по этимъ общаніямъ, г. Константины Аксаковъ и дождется скоро оправданія нѣкоторыхъ изъ своихъ фантазій... Тогда мы низко ему поклонимся и отъ души поздравимъ его... Но до тѣхъ поръ — повторяемъ: въ томъ, что художническая дѣятельность Гоголя вѣрна дѣйствительности, мы видимъ черту гениальности.

Да, велика творческая сила фантазій Гоголя — мы въ этомъ согласны съ г. Константиномъ Аксаковымъ. Но почему она выше творческой силы фантазій великихъ европейскихъ поэтовъ — этого мы не понимаемъ. Мы даже имѣемъ дерзость думать, что непосредственность творчества у Гоголя имѣетъ свои границы и что она иногда измѣняетъ ему, особенно тамъ, гдѣ въ немъ поэтъ сталкивается съ мыслителемъ, т. е. гдѣ дѣло преимущественно касается идей... Кстати: вѣдь эти идеи, кромѣ огромнаго таланта, или, пожалуй, и генія, кромѣ естественной силы непосредственнаго творчества, требуютъ эрудиціи, интеллектуальнаго развитія, основаннаго на неослабномъ преслѣдованіи быстро несущейся умственной жизни современнаго міра — именно того, чѣмъ такъ сильны и велики, наприм., Байронъ, Шиллеръ, Гёте, — эти идеи, заклятые враги безвыходно замкнутой внутри себя жизни, враги умственнаго аскетизма, который заставляетъ поэтовъ закрывать глаза на все въ мірѣ, кромѣ самихъ себя... Что непосредственность творчества нерѣдко измѣняетъ Гоголю, или что Гоголь нерѣдко измѣняетъ непосредственности творчества, это ясно доказывается его повѣстями (еще въ «Вечерахъ на Хуторѣ»), «Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала» и «Страшномъ Местью», изъ которыхъ ложное понятіе о народности въ не-

искусствѣ сдѣлало какія-то уродливыя произведенія, за исключеніемъ нѣсколькихъ превосходныхъ частныхъ, касающихся до проникнутаго юморомъ изображенія дѣйствительности. Но особенно это ясно изъ вполне неудачной повѣсти «Портретъ». Она была напечатана въ «Арабескахъ» еще въ 1835 году; но, должно быть, чувствуя ея недостатки, Гоголь недавно передѣлалъ ее совсѣмъ. И что же вышло изъ этой передѣлки? Первая часть повѣсти, за немногими исключеніями, стала несравненно лучше, именно тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ изображеніи дѣйствительности (одна сцена квартального, рассуждающаго о картинахъ Чарткова, сама по себѣ, отдѣльно взятая, есть уже гениальный эскизъ); но вся остальная половина повѣсти невыносимо дурна и со стороны главной мысли и со стороны подробностей. И что за мысль, на примѣръ: благонамѣренный, умный, и благородный вельможа, жаркій патріотъ, дѣятельный покровитель искусствъ и наукъ въ отечествѣ, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, дѣлается обскурантомъ, злодѣемъ, гонителемъ просвѣщенія, — отъ чего же? Оттого, что взялъ денегъ взаймы у страшнаго ростовщика, у таинственнаго Грека!... Дѣло какъ-будто бы въ томъ, что займи этотъ вельможа у другаго кого-нибудь, только бы не у этого Грека, онъ остался бы прежнимъ благороднымъ человѣкомъ... Итакъ, вотъ отъ какого фатализма зависитъ нравственность человѣка!... Да помилюйте, такія дѣтскія фантазмагоріи могли плѣнять и ужасать людей только въ невѣжественные средніе вѣка, а для насъ онѣ не занимательны и не страшны, просто — смѣшны и скучны... И потому, что за подробности: на аукціонѣ художникъ Б. нашелъ мѣсто и время рассказывать исторію страшнаго портрета, и его всѣ заслушались, а портретъ между тѣмъ пропалъ... Нѣтъ, такое исполненіе повѣсти не сдѣлало бы особенной чести самому незначительному дарованію. А мысль повѣсти была бы прекрас-

на, еслибъ поэтъ понялъ ее въ современномъ духѣ: въ Чартковѣ онъ хотѣлъ изобразить даровитаго художника, погубившаго свой талантъ, а слѣдовательно и самого себя, жадностію къ деньгамъ и обаяніемъ мелкой извѣстности. И выполненіе этой мысли должно было быть просто, безъ фантастическихъ затѣй, на почвѣ ежедневной дѣйствительности; тогда Гоголь, съ своимъ талантомъ, создалъ бы нѣчто великое. Ненужно было бы прилетать тутъ и страшнаго портрета съ страшносмотрящими живыми глазами (въ которомъ поэтъ, кажется, хотѣлъ выразить гибельныя слѣдствія копированія съ природы, вмѣсто творческаго воспроизведенія природы, и выразилъ черзурь затѣйливо, холодно и сухо-аллегорически); ненужно было бы ни ростовщика, ни аукціона, ни многоаго, что поэтъ почелъ столь нужнымъ, именно оттого, что отдалился отъ современнаго взгляда на жизнь и искусство. Это же доказываетъ и недавно напечатанная въ «Москвитинѣ» статья «Римъ», въ которой есть удивительно яркія и вѣрныя картины дѣйствительности, но въ которой есть и косые взгляды на Парижъ и близорукіе взгляды на Римъ, и — что всего непостижимѣе въ Гоголѣ — есть фразы, напоминающія своею вычурною изысканностію языкъ Марлинскаго. Отчего это? — Думаемъ, оттого, что при богатствѣ современнаго содержанія и обыкновенный талантъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше крѣпнеть, а при одномъ актѣ творчества и гениіи наконецъ начинаетъ постепенно испускаться... Въ «Мертвыхъ Душахъ», гдѣ Гоголь снова очутился на русской, а не на европейской почвѣ, и въ дѣйствительной, а не въ фантастической сферѣ, въ «Мертвыхъ Душахъ» также есть, по крайней мѣрѣ, обмолвки противъ непосредственности творчествъ, и весьма важныя, хотя и весьма немногочисленныя: на стр. 261 — 266, поэтъ весьма неосновательно заставляетъ Чичикова разфантазироваться о бытѣ простаго русскаго народа, при разсматриваніи реестра

скупленныхъ имъ мертвыхъ душъ. Правда, это «фантазированіе» есть одно изъ лучшихъ мѣстъ поэмы: оно исполнено глубины мысли и силы чувства, безконечной поэзии и вмѣстѣ поразительной дѣйствительности; но тѣмъ менѣе идетъ оно къ Чичикову, человѣку гениальному въ смыслѣ плута пріобрѣтателя, но совершенно пустому и ничтожному во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Здѣсь поэтъ явно отдалъ ему свои собственныя благороднѣйшія и чистѣйшія слезы, незримыя и невѣдомыя міру, свой глубокій, исполненный грустною любовію юморъ, и заставилъ его высказать то, что долженъ былъ выговорить отъ своего лица. Равнымъ образомъ, также мало идетъ къ Чичикову и его размышленія о Собакевичѣ, когда тотъ писалъ расписку (стр. 201—202): эти размышленія слишкомъ умны, благородны и гуманны: ихъ слѣдовало бы автору сказать отъ своего лица... Характеристика Британца съ его сердцеви́дѣніемъ и мудростію, Француза съ его недолговѣчнымъ словомъ, и Нѣмца съ его умно-худощавымъ словомъ (стр. 208), также показываетъ только то, что авторъ не совсѣмъ хорошо знаетъ ни Британцевъ, ни Французовъ, ни Нѣмцевъ, и что незнанію не поможетъ никакой актъ творчества ¹⁾). И между тѣмъ, Гоголь все-таки обладаетъ удивительною силою непо-

¹⁾ Все сказанное о нѣкоторыхъ повѣстяхъ Гоголя и недостаткахъ въ его «Мертвыхъ Душахъ», будетъ подробно развито въ особой статьѣ по поводу выхода четырехъ томовъ сочиненій Гоголя, которыхъ уже печатается третій томъ, и которыя выйдутъ въ Петербургѣ въ декабрь мѣсяцу текущаго года. Мы еще въ долгу у публики и подробнымъ разборомъ Пушкина, давно уже нами обещаннымъ. Общанія своего мы не забыли, но все ждали предполагаемаго издателямъ трехъ послѣднихъ томовъ сочиненій Пушкина—«Дополненія» къ изданнымъ уже одиннадцати томамъ его сочиненій. Это дополненіе выдетъ скоро, и, вѣроятно, во второй книжкѣ «Отеч. Записокъ» будущаго 1843 года читатели наши найдутъ или исполненіе, или начало исполненія нашего обещанія касательно разбора сочиненій Пушкина. Непосредственно за этимъ разборомъ послѣдуетъ разборъ всѣхъ сочиненій Гоголя, отъ «Вечеровъ на Хуторѣ» до «Мертвыхъ Душъ»

средственного творчества (въ смыслѣ способности воспроизводить каждый предметъ во всей полнотѣ его жизни, со всѣми его тончайшими особенностями); только эта сила у него имѣетъ свои границы и иногда измѣняетъ ему (чего такимъ образомъ, какъ у Гоголя, не случалось ни съ Гомеромъ, ни съ Шекспиромъ, ни съ Байрономъ, ни съ Шиллеромъ, ни даже съ Пушкинымъ, и что очень часто, и еще хуже случалось съ Гёте вслѣдствіе аскетическаго и анти-общественнаго духа этого поэта, съ которымъ все-таки нельзя смѣть равнять Гоголя). Но эта удивительная сила непосредственнаго творчества, которая составляетъ пока еще главную силу, высочайшее достоинство Гоголя, и посредствомъ которой, подобно волшебнику—властелину царства духовъ, вызывающему послушными на голосъ его заклинанія безплотныя тѣни,—онъ — неограниченный властелинъ царства призрачной дѣйствительности—самовластно вызываетъ передъ себя ея представителей, заставляя ихъ обнажать передъ нимъ такіе сокровенные изгибы ихъ натуръ, въ которыхъ они не сознались бы самими себѣ подъ страхомъ смертной казни,—эта-то, говоримъ мы, удивительная сила непосредственнаго творчества, въ свою очередь, много вредитъ Гоголю. Она, такъ сказать, отводитъ ему глаза отъ идей и нравственныхъ вопросовъ, которыми кипитъ современность, и заставляетъ его и преимущественно устремлять вниманіе на факты и довольствоваться объективнымъ ихъ изображеніемъ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» уже было

исключительно А за этимъ разборомъ послѣдуетъ разборъ всѣхъ сочиненій Лермонтова, котораго полное собраніе стихотвореній скоро должно выйти въ свѣтъ. Сколько составить статей эти три разбора — три ли статьи только, или больше, пока не можемъ сказать; но всѣ эти три разбора будутъ написаны въ органической связи между собою, и составятъ какъ-бы одно критическое сочиненіе. Историческая и социальная точка зрѣнія будетъ положена въ основу этихъ статей. Поговорить будетъ о чемъ!

замѣчено, что къ числу особенныхъ достоинствъ «Мертвыхъ Душъ» принадлежитъ болѣе ошутительное, чѣмъ въ прежнихъ сочиненіяхъ Гоголя, присутствіе субъективнаго начала, а слѣдовательно, и рефлексіи. Надо желать, чтобъ это преобладаніе рефлексіи постепенно въ немъ усиливалось, хотя бы насчетъ акта творчества, изъ котораго такъ хлопочетъ г. Константинъ Аксаковъ. Гегель, съ своей эстетикѣ, въ особенную заслугу поставляетъ Шиллеру преобладаніе, въ его пронаведеніяхъ, рефлектирующаго элемента, называя это преобладаніе выраженіемъ духа новѣйшаго времени. Советуемъ г. Константину Аксакову прочесть это мѣсто въ подлинникѣ (мы вѣримъ его знанію нѣмецкаго языка) и поразмыслить о немъ. Безъ способности къ непосредственному творчеству, нѣтъ и быть не можетъ поэта — кто жъ этого не знаетъ? но когда человѣка называютъ поэтомъ, то уже необходимо предполагаютъ въ немъ эту способность, даже не говоря о ней, и обращая вниманіе на идею, на содержаніе. Если же эта способность въ поэтѣ слишкомъ сильна, то о ней тогда только толкуютъ и кричатъ, когда не видятъ въ немъ глубокаго содержанія. Говоря о Шекспирѣ, было бы странно восторгаться его умѣньемъ все представлять съ поразительною вѣрностью и истинною, вмѣсто того, чтобъ удивляться значенію и смыслу, которые его творческій разумъ даетъ образамъ его фантазій. Въ живописцѣ, конечно, великое достоинство — умѣнье свободно владѣть кистью и повелѣвать красками, но это умѣнье еще не составляетъ великаго живописца. Идея, содержаніе, творческій разумъ — вотъ мѣрило для великихъ художниковъ.

Г. Константинъ Аксаковъ ставитъ въ великую заслугу Гоголю, что у него юморъ, выставя субъектъ, не уничтожаетъ дѣйствительности: да что же бы это былъ за юморъ, еслибъ онъ уничтожалъ дѣйствительность? стѣло ли бы тогда и говорить о немъ? Константинъ Аксаковъ говоритъ

еще, что такого юмора онъ не нашелъ ни у кого, кромѣ Гоголя: вольно же было не искать — авось либо и можно было найти. Не говоря уже о Шекспирѣ, напримѣръ, въ романѣ Сервантеса донъ Кихоть и Санчо Пансо несколько не искажены: это лица живыя, дѣйствительныя; но, Боже мой! сколько юмору, и веселаго, и грустнаго, и спокойнаго, и ѣдкаго, въ изображеніи этихъ лицъ! Такихъ примѣровъ можно найти довольно. Что у Гоголя свой юморъ, и что этотъ юморъ составляетъ главную стихію его таланта, — это другое дѣло; противъ этого нельзя спорить.

Г. Константинъ Аксаковъ нашелъ, въ своей брошюрѣ, что Чичиковъ сливается съ субстанціей русскаго народа въ любви къ скорой ѣздѣ: мы надъ этимъ посмѣялись въ нашей рецензій, и вотъ онъ опять упрекаетъ насъ въ искаженіи словъ его: онъ, видите, разумѣлъ не просто «скорую ѣзду», но ѣзду на телегѣ и на тройкѣ лошадей. Виноваты — просмотрѣли, въ чемъ дѣло; но все-таки субстанціи русскаго народа не видимъ ни въ тройкѣ, ни въ телегѣ. Коляску четвернею всѣ образованные Русскіе лучше любятъ, чѣмъ трясую телегу, на которой заставляетъ ѣздить только необходимость. Но желѣзную дорогу даже и необразованные Русскіе, т. е. мужички православные, теперь рѣшительно предпочитаютъ завѣтной телегѣ и тройкѣ: доказательство можно каждый день видѣть на царкосельской дорогѣ. Иначе и быть не можетъ: свѣтъ побѣдитъ тьму, просвѣщеніе побѣдитъ невѣжество, образованность побѣдитъ дикость, а желѣзными дорогами будутъ побѣждены телеги и тройки. Пожалуй, иной субстанцію русскаго народа запрячетъ въ горшокъ со щами и кашею, или, вмѣсто бѣлушины, заечетъ ее въ кулебякѣ... Можно любить тяжелую, грубую, хотя и вкусную русскую кухню, — и однакожь не въ ней ощущать себя въ лонѣ русской національности... Г. Константинъ Аксаковъ отсылаетъ насъ къ стра-

нидамъ «Мертвыхъ Душъ», гдѣ дѣйствительно съ энтузіазмомъ описана тройка съ телегомъ: странницы эти мы читали не разъ; но онѣ намъ ничего не доказали, кромѣ ухорской, забубенной удали и какой-то беззаботности простаго русскаго народа въ дѣлѣ улучшеній... Ссылка на «Мертвыя Души» еще не доказательство; мы сами глубоко уважаемъ, горячо любимъ великій талантъ Гоголя, но идолопоклонничать ни передъ кѣмъ не хотимъ; въ наше время идолопоклонство есть ребячество, г. Константинъ Аксаковъ!

Мы съ вами не ребята:

Зачѣмъ же мнѣнія чужія только сваты!

Г. Константинъ Аксаковъ опять доказываетъ, что въ Маниловѣ есть своя сторона жизни: да кто жъ въ этомъ сомнѣвался, равно какъ и въ томъ, что и въ свиньѣ, которая, роясь въ навозѣ на дворѣ Коробочки, съѣла мимоходомъ цыпленка (стр. 88), есть своя сторона жизни? Она ѣсть и пьетъ — стало быть живетъ: такъ можно ли думать, что не живетъ Маниловъ, который не только ѣсть и пьетъ, но еще и куритъ табакъ, и не только куритъ табакъ, но еще и фантазируетъ...

Вообще, видно, что, сбившись съ прямого пути названіемъ «поэмы», которое Гоголь далъ своему произведенію, г. Константинъ Аксаковъ готовъ находить прекрасными людьми всѣхъ изображенныхъ въ ней героевъ... Это, по его мнѣнію, значитъ понимать юморъ Гоголя... Чтѣ бы онъ ни говорилъ, но изъ тону и изъ всего въ его брошюрѣ видно, что онъ въ «Мертвыхъ Душахъ» видитъ русскую «Иліаду». Это значитъ понять поэму Гоголя совершенно наизуворотъ. Всѣ эти Маниловы и подобные имъ забавны только въ книгѣ; въ дѣйствительности же избави Боже съ ними встрѣчаться, — а не встрѣчаться съ ними нельзя, потому что ихъ такъ довольно въ дѣйствительности, слѣдовательно, они представители нѣкоторой ея части. Хороша же

«Иліада», героємъ которой дѣйствительность, ннѣющая такихъ представителей!... «Иліаду» можетъ напомнить собою только такая поэма, содержаніемъ которой служитъ субстанціальная стихія національной жизни, со всѣмъ богатствомъ ея внутренняго содержанія, въ которой эта жизнь полагается, а не отрицается... Истинная критика «Мертвыхъ Душъ» должна состоять не въ восторженныхъ крикахъ о Гомерѣ и Шекспирѣ, объ актѣ творчества, о достоинствахъ Манилова, о неспорченной русской натурѣ Селифана, о тройкѣ и телегѣ: нѣтъ, истинная критика должна раскрыть паеосъ поэмы, который состоитъ въ противорѣчїи общественныхъ формъ русской жизни съ ея глубокимъ субстанціальнымъ началомъ, доселѣ еще таинственнымъ, доселѣ еще не открывшемся собственному сознанію и неуловимомъ ни для какого опредѣленія. Потому критика должна войти въ основы и причины этихъ формъ, должна рѣшить множество повидимому простыхъ, но въ сущности очень важныхъ вопросовъ, въ родѣ слѣдующихъ: Отчего прекрасную блондинку разобрали до слезъ, когда она даже не понимала, за что ее бранятъ? Отчего весь губернский городъ N оказался и хорошо населеннымъ и люднымъ, когда сплетни насчетъ Чичикова получили свое начало отъ живаго участія «пріятной во всѣхъ отношеніяхъ дамы» и «просто пріятной дамы»? Отчего наружность Чичикова оказалась «благонамѣренною» губернатору и всѣмъ сановникамъ города N? Что значить слово «благонамѣренный» на чиновническомъ нарѣчїи? Отчего авторъ поэмы необходимою принадлежностію длинной и скучной дороги почитаетъ не только холода (которые бываютъ на всякихъ дорогахъ), но и слякоть, грязь, починки, перебранки кузнецовъ и всякихъ дорожныхъ подлецовъ? Отчего Собакевичъ приписалъ Елизавету Воробья? Отчего прокурорскій кучеръ былъ малый опытный, потому что правилъ одною рукою, а другую засунувъ назадъ,

придерживалъ ею барина? Отчего сольвычегодскіе угостили на шире (а не въ лѣсу, при дорогѣ) устьсысольскихъ на смерть, а сами отъ нихъ понесли крѣпкую ссадку на бока; подъ шикитки, и все это назвали «пожалеть немного»?... Много такихъ вопросовъ можно выставить. Знаемъ, что большинство почтетъ ихъ мелочными. Тѣмъ-то и велико созданіе «Мертвыя Души», что въ немъ вскрыта и разанатомирована жизнь до мелочей, и мелочамъ этимъ придано общее значеніе. Конечно, какой нибудь Иванъ Антоновичъ, кувшинное рыло, очень смѣшонъ въ книгѣ Гоголя и очень мелкое явленіе въ жизни; но если у васъ случится до него дѣло, такъ вы и смѣяться надъ нимъ потеряете охоту, да и мелкимъ его не найдете... Почему онъ такъ можетъ показаться важнымъ для васъ въ жизни — вотъ вопросъ!... Гоголь гениально (пустяками и мелочами) пояснилъ тайну, отчего изъ Чичикова вышелъ такого рода «приобрѣтатель»; это-то и составляетъ его поэтическое величіе, а не мнимое сходство съ Гомерами и Шекспирами...

Г. Константинъ Аксаковъ ставитъ намъ въ вину, что мы вовсе пропустили слѣдующія строки въ его брошюрѣ: «Такіе тѣсные предѣлы не позволяютъ намъ сказать о многомъ, развить многое, и дать заранѣе полныя объясненія на недоумѣнія и вопросы, могущіе возникнуть при чтеніи нашей статьи. Но надѣмся, что они разрѣшатся сами собою». Выписавъ эти строки, г. Константинъ Аксаковъ замѣчаетъ; «Но у рецензента не было ни недоумѣній, ни вопросовъ; онъ сейчасъ рѣшительно не понялъ, въ чемъ дѣло». Не правда, рѣшительная неправда г. Константинъ Аксаковъ: брошюра ваша возбудила въ рецензентѣ сильное недоумѣніе касательно того, что въ ней говорится, возбудила вопросъ, какъ въ наше время могутъ являться въ свѣтъ подобныя фантазмагорія празднаго воображенія и пустаго философствованія; но онъ, рецензентъ, если не тотчасъ же, то очень скоро понялъ въ чемъ дѣло, т. е. понялъ, что

оно заключается только въ сильномъ желаніи отличиться чѣмъ-нибудь необыкновеннымъ въ литературѣ... Итакъ, надежда г. Константина Аксакова совершенно сбывлась: дѣло его брошюры объяснилось само собою... А что тѣсныя предѣлы статьи его не позволили ему многое развить и заранѣе отвѣтить на вопросы (которые, видно, чуяло его сердце), — это уже не наша, а его вина: вольно же ему было набирать тѣсныя предѣлы, вмѣсто обширныхъ...

Остальные пункты «Объясненія» г. Константина Аксакова состоятъ въ слѣдующемъ:

1. Г. Константинъ Аксаковъ могъ бы доказать ясно, что «Отечественныя Записки» жестоко ошибаются, думая, что пока еще русскій поэтъ не можетъ быть мировымъ поэтомъ; но что онъ объ этомъ, конечно, съ петербургскими журналами говорить не будетъ; и что объ этомъ могутъ быть написаны цѣлыя сочиненія, книги, но тоже, конечно, ужь не для петербургскихъ журналовъ..

2. Возраженіе его, г. Константина Аксакова, не полно, однако пространство, чѣмъ онъ хотѣлъ; кто же хочетъ узнать дѣло лучше, тотъ можетъ снова прочесть брошюру, которую онъ, г. Константинъ Аксаковъ, готовъ (храбрая готовность!...) вновь повторить слово отъ слова. Зачѣмъ онъ оставляетъ всѣ дальнѣйшія объясненія, не предполагаетъ, чтобъ «Отечественныя Записки» стали ему возражать (увы, не сбывшееся предположеніе!), и во всякомъ случаѣ отвѣчать болѣе не будетъ...

3 «Отечественныя Записки» несмотря на ихъ несогласія во мнѣніяхъ съ другими петербургскими журналами, въ сущности одно и то же съ ними...

Бѣдные петербургскіе журналы! погибли вы, погибли безвозвратно! Г. Константинъ Аксаковъ такъ глубоко презираетъ васъ, что и говорить съ вами не хочетъ... Великій Боже! за

что же такая страшная кара на петербургскіе журналы?... Развѣ нельзя было опредѣлить менѣе тяжкаго наказанія!... Но, позвольте: кто жъ онъ самъ, этотъ страшный, неумолимый г. Константинъ Аксаковъ, однимъ словомъ «да» и «нѣтъ» рѣшающій все вопросы, на все и всему изрекающій приговоры? Неужели это тотъ самый г. Константинъ Аксаковъ, который, въ разныхъ журналахъ, а въ числѣ ихъ и въ «Отечественныхъ Запискахъ», напечаталъ нѣсколько переводовъ нѣмецкихъ стихотвореній, переводовъ частію довольно порядочныхъ, частію весьма посредственныхъ, а частію и весьма плохихъ?... Если такъ, то невольно спросишь: изъ какой же тучи этотъ громъ? да полно, изъ тучи ли еще онъ?...

Что же до нежеланія г. Константина Аксакова возражать далѣе, оно очень понятно: что ему теперь было бы и трудно, да и негдѣ (развѣ въ брошюрахъ): ибо какой же московскій журналъ захочетъ далѣе принимать, какъ говорить русская пословица, въ чужомъ пиру похмѣлье?...

Что же, наконецъ, до торжества «Отечественныхъ Записокъ» съ другими петербургскими журналами: г. Константинъ Аксаковъ воленъ находить его. Можетъ-быть, онъ это утверждаетъ и не съ досады, а по убѣжденію... Мы тоже, по глубокому убѣжденію, видимъ тождество между его брошюркою и знаменитою «критикою» по поводу «Мертвыхъ Душъ», въ которой Селванъ сдѣланъ представителемъ неспорченной русской натуры...

ЖУРНАЛЬНЫЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМѢТКИ.

Зная не только, что и какъ — пишется въ нашихъ журналахъ но и догадываясь напередъ, что и какъ будетъ въ каждомъ изъ нихъ писаться, мы не принадлежимъ къ числу ревностныхъ ихъ читателей. Если же и заглядываемъ въ нихъ, такъ больше для своего личнаго удовольствія, изъ желанія прочесть иногда что-нибудь забавное, — нежели по обязанности. А между тѣмъ, ища удовольствія, встрѣчаемъ иногда и пользу: время отъ времени попадаютъ въ журналахъ вещи курьёзно-поучительныя, по поводу которыхъ иногда невольно раздумываешься о томъ и о сѣмъ. Такъ какъ теперь большая часть нашихъ журналовъ, за исключеніемъ «Отечественныхъ Записокъ», «Библіотеки для Чтенія» и «Сѣверной Пчелы», извѣстна публикѣ только развѣ по именамъ, и то изъ поминутыхъ извѣстныхъ ей изданій, — то мы и приняли благое намѣреніе, если не сохранить для потомства, то хоть сдѣлать извѣстнымъ для современниковъ рѣдкости и драгоцѣнности, которыя, какъ оазисы въ пустынѣ, попадаютъ въ мало-извѣстныхъ періодическихъ изданіяхъ. Равнымъ образомъ, можетъ попадаться много интереснаго въ томъ или другомъ отношеніи и при перелистываніи старыхъ журналовъ, старыхъ и новыхъ книгъ. Все такое мы намѣрены или пересказывать, или просто выписывать, съ собственными замѣтками, когда дѣло требуетъ поясненія, или и безъ замѣтокъ, когда дѣло краснорѣчиво говоритъ само за себя. Будучи увѣрены въ занимательности подобныхъ замѣтокъ для читателей,

мы намѣрены сдѣлать изъ нихъ родъ постоянной статьи, время отъ времени помѣщаемой въ отдѣлѣ Сибѣи «Отечественныхъ Записокъ». Такъ какъ наши замѣтки не имѣютъ ничего общаго ни съ осами, ни съ шмелями, ни съ трутнями, ни съ комарами, ни съ другими животными, то мы ихъ и называемъ просто «журнальными и литературными замѣтками».

Съ нѣкотораго времени въ русскую поэзію закралась странная и непримичная изысканность въ мысли и выраженіи. Многіе критики справедливо и строго вооружились противъ нея. Мы думали было, что она и кончилась, какъ вдругъ открыли, къ изумленію своему, слѣдующее извѣстіе о ней въ «Русскомъ Вѣстникѣ»:

«Изъ 12-ти піесъ въ стихахъ, находящихся во второмъ томѣ *Бесѣды* замѣчательнѣе всѣхъ стихотвореніе г. Шевырева. Но развѣ г. Шевыревъ все еще пишетъ стихи? Да, пишетъ прекрасные, какъ проза, чистые какъ вода, правдоучительные, какъ изрѣченія Антонія Мурета отрокама. Видите: какой-то поэтъ умеръ. Г. Шевыревъ такъ разсердился за смерть его, что не совѣтуетъ юношамъ призывать вдохновеніе *на высь чела*, вѣнчаннаго *звездой* (?). Не заводите пѣснопѣній предъ суетной толпой!

Коль грудь твою озонъ небесъ объмлетъ,

то берегись, говоритъ г. Шевыревъ, берегись: въ рѣшю—*рокъ не драмлетъ!* И разсуждаетъ онъ далѣе, что *нашъ вѣкъ горькой, прекраснаго не любитъ, бессмысленно сосудъ прекраснаго губить*, и все равно ему, хоть *грова смла роскошнаго (?) мотылька*, хоть *уелла роза въ пламенномъ разцвѣтъ*, хоть *застылъ въ горахъ зачавшійся потокъ*, или хоть *поэтъ палъ, зажавши рану груди*. Стихи очень хороши, но мысль имъ кажется намъ не совсѣмъ вѣрною. Не всѣ, чью *грудь озонъ небесъ объмлетъ*, не всѣ, *призывающіе вдохновеніе на высь чела, вѣнчаннаго звездой*, умираютъ *зажавши рану груди*. Есть поэты, которые пишутъ стихи и стихица, а между тѣмъ живутъ себѣ спокойно. Такіе поэты есть на бѣломъ свѣтѣ, и слѣдственно, мысль почтеннаго г. Шевырева не вполне вѣрна. Чтѣ, если русскіе поэты испугаются, послушаютъ совѣта г. Шевырева, перестанутъ писать стихи вовсе? Въ такомъ случаѣ, мы принуждены при

нятся за стихи самого г. Шевырева, потому что злорадая другикъ, самъ онъ кропать стихи не перестанетъ. Дѣлать нечего—будемъ мы ихъ тогда читать и восклицать: «О, суетная толпа! О, безумный вѣкъ! О корыстный вѣкъ! вотъ до чего мы дожили!

О горькій вѣкъ! мы видно заслужили
И по грѣхамъ намъ видно суждено

читать стихи въ родѣ перевода Валленштейнова Лагера, или Освобожденнаго Іерусалима, какими подарилъ насъ нѣкогда г. Шевыревъ, или стиховъ: *На смерть поэта*, коими украсилъ онъ 2-й томъ Бесѣды! Впрочемъ, въ какомъ прекрасномъ саду не растутъ полынь и крапива? .

Впрочемъ, мы, кажется ошиблись: изъ выписки явствуетъ, что тутъ дѣло идетъ совсѣмъ не объ изысканности и вычурности въ выраженіяхъ и мысли: напротивъ, критикъ отдаетъ полную справедливость художественнымъ красотамъ стиховъ поэта, и не согласенъ съ нимъ только въ мысли. Но въ послѣднемъ отношеніи, вѣрно многіе возьмутъ сторону поэта противъ критика: еслибы всѣ другіе русскіе поэты, послушавъ совѣта г. Шевырева, замолчали, многіе охотно стали бы проявляться превосходными стихами г. Шевырева, какъ восхищаются его несравненными критическими статьями. Г. Шевыревъ стяжалъ себѣ двойной вѣнокъ—какъ поэтъ и какъ критикъ: это доказываютъ всѣ труды его по той и другой части — и переводъ отрывка изъ «Освобожденнаго Іерусалима», гдѣ онъ такъ удачно усыновилъ русской версификаціи итальянскую октаву, и его критическія статьи о стихотвореніяхъ г. Бенедиктова, гдѣ онъ такъ ясно доказалъ, что г. Бенедиктовъ шагнулъ дальше Жуковского и Пушкина, и о стихотвореніяхъ Лермонтова, гдѣ съ такою тонкостію замѣтилъ онъ, что Лермонтовъ подражалъ, въ своихъ стихахъ, то Жуковскому, то Пушкину, то г. Бенедиктову. Подобныя заслуги со стороны г. Шевырева русской поэзіи и русской критикѣ, кажется, достаточны для извиненія его въ стихотвореніи, подобномъ «На смерть Поэта», еслибъ его выраженіе было и вычурно, а мысль отзывалась

старчествомъ или дѣтскостію, — чего, однакожь, мы вовсе не видимъ.

Кто не помнитъ такого времени въ нашей литературѣ, когда эпиграммы были въ такомъ ходу, что каждый поэтъ, эпическій, драматическій или лирический, непременно долженъ былъ написать хоть нѣсколько эпиграммъ? Самъ Пушкинъ заплатилъ полную дань этому направлению, и только Лермонтовъ — поэтъ совершенно новой эпохи — не написалъ ни одной эпиграммы. Но теперь этотъ пріятный родъ сочиненій, кажется, опять входитъ въ моду, преимущественно тщаніемъ и усердіемъ извѣстнаго стихотворца стараго времени, г. Михайла Дмитріева. Вотъ одна изъ его эпиграммъ, живо напоминающая старое доброе время владычества французскаго классицизма въ нашей литературѣ.

Мой шестистопный амбъ тяжелымъ ты напелъ!
Да, другъ! онъ для тебя не въ первый разъ тяжелъ!

Должно быть, что дѣло идетъ о какомъ-нибудь усердномъ читателѣ или слушателѣ стиховъ автора эпиграммы. Въ такомъ случаѣ, нельзя не сознаться, что эпиграмма остра и ядовита, хотя и написана въ невинномъ классическомъ духѣ. Но вотъ двѣ эпиграммы въ романтическомъ родѣ:

.....У.

Ага! узналъ и тотчасъ ты заштилъ
Мои стихи — признайся — почему?
Не правда ли, ты съ жадностью ихъ встрѣтилъ,
Какъ песь лозу, знакомую ему?
Бусай — прошу: что, горьки или сладки?
Но чтобъ впередъ не дать тебѣ повадки,
Тупымъ зубамъ напомню я стихомъ,
Что онъ живеть, что много силъ въ немъ
Дебеть твои послѣдніе остатки.

С. Ш.

Къ N. N.

Какъ не узнать тебя, писливаго Фрерона,
 Тебя, наѣздника на налочки верхомъ,
 Ферульной критики лихаго Дорнидона!
 Ты дохлишься индѣйскимъ пѣтухомъ
 И мнѣ грезилъ беззубыми стихами —
 Молчи, пискунъ! Ну, гдѣ ты находишь,
 Чтобъ льва могучаго, съ зубами и когтами,
 Когда-нибудь оселъ коштомъ билъ?

Первая изъ этихъ эпиграммъ напечатана въ московскомъ, а вторая въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ. Безъ сомнѣнія, обѣ онѣ прекрасны, но петербургская, кажется, лучше.

Наконецъ «Сѣверная Пчела» разразилась грозною статью противъ «Мертвыхъ Душъ», о появленіи которой она позаботилась объявить, назадъ тому уже съ мѣсяць. Судя по времени, въ продолженіи котораго эта знаменитая статья писалась, мы ожидали, что она превзойдетъ даже знаменитыя статьи той же газеты о седьмой главѣ «Онѣгина» Пушкина, о «Юріи Милославскомъ» г. Загоскина и «Басурманѣ» Лажечникова, три знаменитыя статьи, въ которыхъ помянутыя произведенія были, что называется, втоптаны въ грязь. Но ожиданіе наше не сбылось: статья вышла предобрая и пренаивная. Особенно понравилось намъ, что она напоминаетъ собою критики блаженной памяти «Вѣстника Европы» и журналовъ, издававшихся въ Россіи еще прежде «Вѣстника»: тотъ же взглядъ, та же манера, тѣ же понятія и тотъ же образъ выраженія! Главная нападка, разумѣется, на то, что дѣйствующія лица въ романѣ Гоголя все дураки и негодяи. Нападка столь же несправедливая, сколь и не новая! Во первыхъ: дѣйствующія лица въ «Иванѣ Выжигинѣ» тоже все дураки или негодяи, а между тѣмъ романъ г. Булгарина былъ превознесенъ «Сѣвровою Пчелою». Да что «Иванъ Выжигинъ»? Вспомните, что сказано въ извѣ-

стной статьѣ остроумнаго Косичкина о дѣйствующихъ лицахъ и прочихъ романовъ г. Булгарина...

Во вторыхъ: какъ же рецензентъ «Пчелы» не замѣтилъ двухъ мѣстъ въ повѣстѣ Гоголя, изъ которыхъ первое намъ объясняетъ, почему добродѣтельный человѣкъ не взятъ въ герои:

«Потому что пора наконецъ дать отдыхъ бѣдному добродѣтельному человѣку; потому что праздно на устахъ вращается слово «добродѣтельный человѣкъ»; потому что обратили въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, и нѣтъ писателя, который бы не ѣздилъ на немъ, понукая и кнутомъ и всѣмъ, что ни пошло; потому что изморили добродѣтельнаго человѣка до того, что теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, а остались только ребра да кожа вмѣсто тѣла; потому что лицемерно призываютъ добродѣтельнаго человѣка; потому что не уважаютъ добродѣтельнаго человѣка» (стр. 431).

Въ другомъ мѣстѣ, авторъ ясно говоритъ, что его герой не подлець:

«Теперь у насъ подлецовъ не бываетъ; есть люди благонамѣренные, приличные, а такихъ, которые бы на всеобщій позоръ выставили бы свою оживленную подъ публичную ослезу, отыщется какихъ-нибудь два, три человѣка, да и тѣ уже говорятъ теперь о добродѣтели» (стр. 465).

Вторая нападка рецензента состоитъ въ томъ, что въ повѣстѣ Гоголя нѣтъ — видите — содержания!!... Вотъ ужъ тутъ мы не знаемъ, чтò и сказать, — т. е. хоть и знаемъ, да боимся понапрасну потратить слова: мы учились эстетикѣ по новымъ книгамъ, а рецензентъ, какъ замѣтно по тону и смыслу его статьи, человѣкъ прошлаго вѣка, и «содержаніе» смѣшиваетъ съ «сюжетомъ», идеалъ же романа видитъ въ бабьихъ смелностяхъ и роказнахъ о разной небывальщинѣ, составляющей сюжетъ какой нибудь «Черной Женщины».

Третья нападка грозной рецензіи направлена на обиліе неприличныхъ и неупотребляемыхъ въ высшемъ обществѣ словъ, каковы: подлець, свинья, свинтусъ, бестія, каналья, бабѣшка, ракалія, оетюкъ, скалдырникъ, мошенникъ, напакостить и т. п., которыя употребляются дѣйствующими лицами въ романѣ

Гоголя. Особенное неблаговоленіе благовоспитаннаго рецензента навлекло на себя слово *сетюкъ*, употребленное Подрывишъ, и при немъ, въ выноскѣ, объясненіе автора, что «сетюкъ, слово обидное для мужчины, происходитъ отъ буквы *Ѡ*, почитаемой нѣкоторыми неприличною». Что сказать на это? Такъ какъ мы не принадлежимъ къ тому высшему обществу, которое столь знакомо рецензенту «Сѣверной Пчелы», то и ограничимся на этотъ разъ небольшою выпискою изъ статьи князя Вяземскаго, которому настоящее высшее общество извѣстно по крайней мѣрѣ не менѣе кого другаго. Вотъ что говоритъ князь Вяземскій, по поводу «Ревизора», о нападкахъ слововодовъ на неприличныя слова, встрѣчающіяся въ этой комедіи:

«У котораго-то изъ нихъ уши покрасѣли отъ выраженій: *сулъ сомлеть, чай сомлеть рыбою*. Онъ увѣрять, что теперь и порядочный лакей того не скажетъ. Да мало ли того, что скажетъ и чего не скажетъ лакей? Неужели писателю ходить въ лакейскія справляться, какія слова такъ въ чести и какія не въ употребленіи. Такъ, — если онъ описываетъ лакейскую сцену; но иначе къ чему же? Напримеръ, *Осимъ* въ «Ревизорѣ» говоритъ чисто-лакейскимъ языкомъ, лакея въ немъ слышимъ деревенскаго, который прожил нѣсколько времени въ столицѣ; это дѣло другое. Впрочемъ, вѣрнѣе, можетъ быть, и правъ; въ этомъ случаѣ мы спорить съ нимъ не будемъ. *Порядочный лакей*, то есть что называется un laquais endimanché, точно, можетъ-быть постыдится сказать: *сомлеть*, но *порядочный человѣкъ*, то-есть благовоспитанный, смѣло скажетъ это слово и въ гостиной и передъ дамами. Извѣстно, что люди высшаго общества гораздо свободнѣе другихъ въ употребленіи *собственныхъ словъ*: жеманство, чопорность, щепетность, оговорки, отличительные признаки людей — не живущихъ въ хорошемъ обществѣ, но желающихъ корчить хорошее общество. *Человѣкъ*, въ сѣрѣ гостиной рожденный, въ гостиной — у себя, дома: садится ли онъ въ кресла? онъ садится какъ въ свои кресла; заговорить ли? онъ не боится проговориться. Посмотрите на провинціала, на выскочку: онъ не смѣетъ присѣсть иначе, какъ на кончикъ стула: шевелить краемъ губъ, кобенясь, извиняется вычурными фразами нашихъ правоучительныхъ романовъ, не скажетъ слова безъ прилагательнаго, безъ оговорки. Вотъ отчего многіе вѣрники наши, добровольно подвизаясь на защиту хорошаго общества и ненарушимости законовъ его, попадаютъ въ такіе смѣшныя промахи, когда говорятъ, что такое-то слово неприлично, такое-то выраженіе неизвѣстно. Охота имъ мѣшаться не въ свои дѣла! Пустьши

говорить они о томъ, что знаютъ; рѣдко будетъ имъ случай говорить, — это правда, но за то могутъ говорить дѣльное. Можно быть очень добрымъ и разсудительнымъ человѣкомъ и не имѣть доступа въ высшее общество. Слѣзливо хвастаться тѣмъ, что судьба, что рожденіе приписали вамъ къ этой области; но не мешайте слѣзливо, если не слѣзливѣе, не уроженцу, или не получившему права гражданства въ ней, толковать о правахъ, обычаяхъ и условіяхъ ея. Что вамъ за нее рыцарствовать? Эта область сама умѣетъ стоять за себя, сама умѣетъ приводить въ дѣйствіе законы своего покровительства и острацизма. Все это не журналиное дѣло. У васъ уши вунуть отъ языка «Ревизора»: а лучшее общество сидитъ въ ложахъ и креслахъ, когда его играютъ; брошюра «Ревизора» лежитъ на модныхъ столикахъ работы Гамбса. Не слѣзливо ли, не жалко ли съ желудкомъ натошакъ гнѣваться на повара, который позволилъ себѣ поставить не довольно утонченное кушанье на столъ, за конемъ имѣть намъ прибора? .. («Современникъ» 1839 г. т. II, стр. 295—196).

Наконецъ, четвертая и главная нападка рецензента устремлена на промахи противъ грамматикъ г. Греча. Здѣсь рецензентъ говоритъ съ особенною важностью и убѣдительною, какъ человѣкъ, вошедшій въ свою стихію, гдѣ ему и привольно и безопасно. Дѣйствительно, языкъ у Гоголя не отличается мертвою правильностью, и на него легко нападать грамотѣямъ и корректорамъ, которые считаютъ языкъ и слогъ за одно и то же, не подозрѣвая, что между языкомъ и слогомъ такое же незимѣрное разстояніе, какъ и между мертвою, механическою правильностью рисунка бездарнаго маляра-академика и живымъ оригинальнымъ стилемъ гениальнаго живописца. Но посмотрите, какія ошибки отыскалъ рецензентъ въ поэмѣ Гоголя противъ языка: «молодой человѣкъ оборотился назадъ» (ошибка?!); «скромно темнѣла сѣрая краска» (по мнѣнію рецензента должно: темнѣлась!!...); «при (?) нихъ стоялъ учитель, поклонившійся вѣжливо и съ улыбкою» (нѣтъ, восклицаетъ рецензентъ, стоявшій при нихъ учитель поклонился) и т. п. ... Не довольно ли? Вѣдь ужъ видно, о какомъ дарованномъ возстаніи Гоголя и противъ какой грамматикъ и логики говорить онъ — противъ грамматикъ г. Греча и логики г. Рождествен-

скаго... Изъ всѣхъ указанныхъ имъ приѣровъ «самаго неправильнаго и варварскаго языка и слога» у Гоголя, справедливо осуждено развѣ одно слово «узрѣтъ» вмѣсто «узрѣтъ»: дѣйствительно, великая ошибка со стороны Гоголя, и мы охотно вѣримъ, что строгій рецензентъ никогда бы не сдѣлалъ подобной, такъ же, какъ никогда бы не написалъ «Мертвыхъ Душъ».

Впрочемъ, рецензентъ не все хулить, кое-что онъ и хвалитъ, исполняя такимъ образомъ обязанность истинной критики, какъ ее понимали назадъ тому лѣтъ за сорокъ: сказавъ вообще, что романъ плохъ, онъ замѣтилъ неприличныя выраженія, потомъ грамматическія неправильности, за тѣмъ слегка кое-что похвалилъ, а въ заключеніе выписалъ нѣсколько хорошихъ мѣстъ, тщательно имъ выбранныхъ, чтобъ тѣмъ лучше удружить автору. Понятія о содержаніи, идеѣ, о творчествѣ и т. п. — предметы самые старосвѣтскіе, и новому времени принадлежать только выраженія, въ родѣ слѣдующихъ, которыхъ не терпѣло старинное приличіе, — напр., что все хорошее въ романѣ Гоголя «утопаетъ въ какой-то смѣси вздору, помлостей и пустяковъ», «удивляемся безвкусію и дурному тону, господствующимъ въ этомъ романѣ», «языкъ и слогъ самые неправильные и варварскіе» и т. п.

Поздравляемъ Россію съ новымъ поэтическимъ гениомъ, У насъ были и Гомеры и Шекспиры, и Байроны, и Вальтеръ Скотты, и Гёте, и Шиллеры: не доставало только Беранжѣ. Теперь и этотъ недостатокъ восполненъ. Гдѣ жъ нашелся этотъ русскій Беранжѣ? Мы давно его знали, только не знали, что онъ Беранжѣ. Мы все думали, что онъ просто — русскій куплетистъ, и русскій водевиллистъ, лицо, само собою разумѣется, весьма скромное, едва замѣтное въ нашей литературѣ. Но мы ошибались: честь и глава «Сѣверной Пчелы»! Сквозь свои критическія стекла открыла она новаго, невѣдомаго

миру Русскаго' гонія. Этотъ гоній, этотъ русскій Баранжé — кто бы вы думали? г. Ленскій!... Не изумляйтесь. Вотъ извѣстіе слово отъ слова заимствуемое нами изъ 143 № «Сѣверной Пчелы»:

«Въ Петербургъ пріѣхалъ на дняхъ отличный нашъ водевилецъ и артистъ московскаго театра, Д. Т. Ленскій. Кромѣ Пушкина, никто не превосходить г. Ленскаго въ легкой поэзіи. По несчастію, онъ мало пишетъ, а еще меньше печатаетъ. Переводы г. Ленскаго пѣсень и лирическихъ стихотвореній удивительно хороши и нисколько не уступаютъ подлиннику. Дружескія посланія, застольныя пѣсни и куплеты кетати въ случаю (à propos) г. Ленскаго имѣютъ высокое достоинство. Г. Ленскій — нашъ Баранжé, нашъ Дезюлье! Какъ было бы хорошо, еслибъ кто-нибудь издумалъ издать его легкія стихотворенія и переводы въ особой книжечкѣ, и украсилъ ихъ полнотипажками! Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это изданіе имѣло бы чудесный успѣхъ! Г. Ленскій также любезенъ въ обществѣ, какъ и прототипъ его Баранжé».

Всѣ согласны, что русская литература довольно небогата, такъ что охотникамъ до русскихъ книгъ просто нечего читать, если они хотятъ читать только одно хорошее. Въ 1840 году вышелъ «Герой Нашего Времени», а въ 1842 году вышли «Мертвыя Души». Если включить сюда пять-шесть повѣстей въ журналахъ и альманахахъ—вотъ и все по части прозы... Кто будетъ спорить, что для прочтенія всего этого немного нужно времени? Въ 1840 году вышли стихотворенія Лермонтова, а въ 1841—42 году, отъ дня смерти поэта почти до настоящей минуты, напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ», кромѣ небольшихъ пѣсень, отрывки изъ «Демона» и поэма «Бояринъ Орша»; если включить сюда вышедшія въ нынѣшнемъ году стихотворенія г. Майкова, да еще пять-шесть стихотворныхъ пѣсень, разсыянныхъ по журналамъ и альманахамъ, вотъ и все,—что явилось примѣчательнаго по части стиховъ въ послѣдніе два года!.. Опять никто не будетъ спорить, что для прочтенія всего этого нужно слишкомъ мало времени... Ре:

нертуаръ русской сцены—эта арена гг. Кукольника, Полеваго, Ободовскаго, Коревкина, Соколова и многихъ другихъ, — репертуаръ русской сцены представляетъ собою то засохшее поле, на которомъ ни былинки, то, послѣ долгихъ проливныхъ дождей, покрытую грибами и дождевиками поляну... Вообще, наша драматическая литература хуже всякой другой нашей литературы; о ней не стоило бы даже говорить. Но все это дѣло весьма поправимое, и притомъ легко поправимое. Удивляемся, какъ никому не пришло въ голову этого простаго средства, и только одна «Сѣверная Пчела» могла придумать его. Въ 42 № этой газеты напечатано, между прочимъ, слѣдующее:

«Хладнокровіе въ русской литературѣ и русскіихъ художествахъ, грѣхъ противу русской народности, слѣдовательно противу патриотизма. Вы скажете намъ: да виноваты ли мы, что за границею пишутъ лучше (чѣмъ—здесь?), что водевили Скриба лучше нашихъ, что драмы Дюма и Виктора Гюго занимательнѣе (чѣмъ?), что романы Евгенія Сю, Балзака и Жюль Вернъ превосходнѣе (чѣмъ?), что Les Français peints par eux-mêmes лучше Нашимъ?... Быть можетъ, не споримъ. Но если въ годовыхъ своихъ расходахъ вы полагаете тысячу рублей на вить и тысячу рублей на непредвидѣнны мелкія издержки, опредѣлите, пожалуйста, хотя пятьсотъ рублей на русскія книги! Не читайте сами, если онѣ вамъ не нравятся, но отсылайте каждую зиму въ деревню, въ вашу деревенскую библиотечку. Пусть онѣ лежатъ тамъ спокойно. Придетъ время, и вашъ потомокъ воздастъ вамъ за это честь и хвалу!—Вамъ оучко въ русскомъ театрѣ—нѣтъ нужды! поделайтесь тамъ въ представленіи каждой новой русской пьесы, особенно оригинальной — это принесетъ большую пользу искусству! Пьесы пишутся по публикѣ, и когда люди высшаго вкуса и образованія станутъ появляться въ русскомъ театрѣ, пьесы будутъ вѣнчаны».

Какъ жалко, что подъ этою прекрасною статью не подписано имени ея сочинителя, которое, такимъ образомъ, не перейдетъ въ потомство и не пріобрѣтетъ заслуженнаго имъ безсмертія! Какой провѣтъ, Боже мой, какой провѣтъ! Какъ онъ простъ и удобоисполнимъ! А между тѣмъ какіе великіе результаты должны изъ него выйдти! Литература процвѣтетъ,

т. е. поэтими прочтутъ книги, которыя не стоѣли вниманія современниковъ, и будутъ обязаны живѣйшею благодарностію собирателямъ этихъ драгоценныхъ библиотекъ... Увидя, что и высшее общество вѣдѣть вѣвать и спать на представленія новыхъ русскихъ, особенно оригинальныхъ, піесъ, — наши драматурги вдругъ приобретутъ и талантъ, и вкусъ, и умъ, и чувство приличія, и знаніе жизни, словомъ, все, чего они съ такою истинно достойною удивленія рѣшимостію до сихъ поръ не хотѣли приобретать... Помыслите, да такой проектъ больше всякой книги заслуживаетъ Демидовскую премію!... Честь и слава газетѣ, гдѣ печатаются такіе дивные проекты!...

Что такое патриотизмъ и патриоты — всякій знаетъ; но не всякій знаетъ, что патриоты раздѣляются на два разряда. Одни получаютъ нѣмъ патриотовъ, за свои заслуги отъ общества и отъ исторіи, какъ получили его Мининъ, Пожарскій, Сусанинъ; другіе, не дожидаясь приговора общества, которое часто бываетъ завистливо, и исторіи, которая всегда бываетъ медленна, — другіе сами себя провозглашаютъ патриотами, потому что громче другихъ говорятъ о любви и ревности къ всему отечественному. У насъ въ литературѣ теперь особенно много развилось патриотовъ втораго разряда. Между ними даже есть люди, неунымающіе безъ ошибки противъ языка написать двухъ строкъ по-русски, но тѣмъ не менѣе, въ своей патриотической ревности затѣвающіе преобразование русскаго слога. Другіе, прижавшись за какого-нибудь опытнаго корректора, кое-какъ понаострались писать русскій складомъ, за что даже стяжали себѣ славу «сочинителей» на всѣхъ толкучихъ рынкахъ, гдѣ, между прочимъ хламомъ, продаются, и порознь и нѣтъ-каки, книги, которыя не пошли въ ходъ изъ книжныхъ лавокъ, или которыя прежде «бойко шли», не потому, какъ говорится, вдругъ оборвались. Третьи, чтобы сдѣлать для всѣхъ ясное

свой патриотизмъ, пишутъ языкомъ временъ Кошкина, при-
 мѣромъ русскихъ мужиковъ и бабъ уличаютъ Богъ знаетъ въ
 чемъ Гоголя и французскихъ романистовъ, которые, разу-
 мѣется, ничего объ этомъ не знаютъ, а потому и не могутъ
 исправиться. Вообще, эти третьи всѣхъ интереснѣе. Россія
 не сходитъ съ ихъ пера, и, читая ихъ писанія, не знаешь,
 чему больше дивиться: тому ли, что они, подобно мухѣ Кры-
 лова, хлопочутъ о томъ, чтѣ и безъ нихъ хлопотъ хорошо идетъ;
 тому ли, что они пишутъ для такого класса людей, который,
 по незнанію грамоты, не можетъ читать ихъ, или, наконецъ,
 той наивной скромности, съ которою они даютъ знать, какъ
 крѣпко залегла у нихъ на сердцѣ мысль о благосостояніи
 всего отечественнаго... Одинъ изъ этихъ господъ не-
 давно далъ совѣтъ русскимъ образованнымъ классамъ, что-
 бы они послали своихъ дѣтей учиться русскому языку
 въ крестьянскія избы!!... Впрочемъ, дѣло рѣшенное, что тяже-
 лые труды, часто не вполне вознаграждаемые современни-
 ками, составляютъ принадлежность только патриотовъ перваго
 разряда; патриоты же втораго разряда всегда и вездѣ благо-
 денствовали, и должно быть, на нихъ метилъ Крыловъ этими
 чудесными стихами:

А смотришъ: по малеву

То доникъ выстроить, то мушкетъ деревенску...

Исторія о ножичкѣ (*фактъ для будущаго историка
 русской литературы*). — Въ 63 № «Сѣверной Пчелы» нынѣш-
 наго года помѣщено, между прочимъ, письмо гг. Анифьева,
 Страхова и Вагина, мастеровъ села Павлова, къ какому-то Ивану
 Ильичу. Письмо это напечатано подъ названіемъ «Защита доб-
 рыхъ русскихъ мастеровъ» и заключаетъ въ себѣ возраженіе на
 статью о селѣ Павловѣ, напечатанную въ «Живописномъ Обо-

зрѣніи». Оно оканчивается слѣдующими, равно любопытными и для современниковъ и для потомства, строками:

... Милостивый государь Иванъ Ильичъ, мы и рѣшились васъ покорнѣе попросить этихъ писемъ, взять на себя трудъ увидѣться съ его высокоблагородіемъ Ѳаддеемъ Вендиктовичемъ Булгаринимъ, какъ ревностнымъ защитникомъ и любителемъ всего отечественнаго, и попросить его, не повѣстать ли онъ хотя небольшой статейки, въ защиту нашихъ издѣлій противъ Живоснаго Обезрѣя, въ Сѣверной Пчелѣ, всегда стреной и безпристрастной вѣстницы о всѣхъ произведеніяхъ отечественныхъ, которую мы около десяти лѣтъ постоянно читаемъ и перечитываемъ, а въ особенности статьи г. Булгарина, всегда съ особымъ удовольствіемъ.

При семъ г. Булгаринъ «предъявляетъ» въ выноскѣ слѣдующее:

«Литературное мои противники могутъ обвинить меня въ тщеславіи, самелюбіи и въ чемъ угодно (*sic!*) за то, что я не вычеркнулъ изъ письма лестныхъ для меня выраженій. Подвергаюсь охотно всѣмъ упрекамъ и насмѣшкамъ журналовъ, но эта похвала русскихъ грамотныхъ мастеровыхъ такъ для меня лестна, такъ радуется меня и утѣшаетъ, что я не противлю ея на цѣлыя печатныя листы журнальной похвалы, и на самыя мудрыя французскіе или рускіе комплименты (*разумѣется, еслибы таковыя имѣлись!*) Боже всего дорожу я мнѣніемъ русскихъ людей, смотрящихъ на вещи и дѣла безпристрастно! Наши судьи дми, а не литературныя партіи!... Справьтесь, любезныя мои противники, есть ли одинъ русскій грамотный человѣкъ, заглядывающій въ печатное, который бы не звалъ: *Ѳ. Б.?*»

Выписавъ выноску, или «предъявленіе» г. Булгарина, вышлепъ и конецъ письма грамотныхъ и безпристрастныхъ цѣнителей г. Булгарина, мастеровыхъ села Павлова:

«Мы препровождаемъ при семъ карманный исчинокъ ¹⁾, сдѣланный на имя г. Булгарина однимъ изъ малозвѣстныхъ еще мастеровъ нашихъ, Иваномъ Хотянинимъ; онъ теперь человѣкъ молодой, но общается въ себѣ, въ послѣдствіи, по издѣлію, многое. Этотъ ножинокъ и теперь, какъ по частотѣ отдѣлки, такъ и по прочности въ закалѣ сталъ, можетъ стать въ соперни-

¹⁾ «Ножинокъ этотъ получалъ я съ благодарностію, и берегу какъ вещь драгоценную, потому что онъ подаренъ мнѣ цѣлымъ міромъ села Павлова! Отказать я даже не смѣлъ, и сознаюсь, что этотъ пяти-рублевый подарокъ дороже мнѣ весьма многого драгоценнаго! *Ѳ. Б.*»

чество съ лучшими иностранными издѣліями этого рода, и въ четыре или дешевле. Мы просимъ покорнѣе господина Фаддея Венедиктовича, принять его какъ доказательство, что у насъ въ Павловѣ, фабрикація такихъ издѣліи не только не уменьшается, но по времени болѣе и болѣе совершенствуется и распространяется. Въ издѣліи на насъ, нѣтъ чести быть, и проч.

Изъ этого любопытнаго факта для будущаго историка русской литературы мы выводимъ много утѣнительныхъ и отрадныхъ слѣдствій. Изчислимъ нѣкоторые изъ нихъ:

I. Самые лучшіе и безпристрастные цѣнители литературныхъ заслугъ суть грамотные мастеровые; они же и самые ревностные читатели «Сѣверной Пчелы», а въ особенности статьи г. Булгарина всегда съ особеннымъ удовольствіемъ они читаютъ и пересчитываютъ.

II. Вниманіемъ грамотныхъ мастеровыхъ г. Булгаринъ дорожить больше, чѣмъ литературными отзывами (вѣроятно потому что отъ послѣднихъ ему уже нечего ожидать, тогда какъ отъ первыхъ, по новости для нихъ этого дѣла, онъ можетъ еще кое-чего надѣяться).

III. Всѣ грамотные люди, заглядывающіе въ печатное, знаютъ, что такое Ф. Б.

IV. Ножичекъ подаренъ г. Булгарину не тремя, или четырьмя мастеровыми села Павлова, какъ значится изъ письма, а цѣлымъ міромъ села Павлова, какъ увѣряютъ г. Булгаринъ своихъ читателей и цѣнителей (т. е. грамотныхъ мастеровыхъ), и что, поэтому, онъ, г. Булгаринъ, будетъ хранить этотъ ножичекъ, какъ вещь драгоцѣнную, хотъ онъ и стоитъ всего какихъ-нибудь пять рублей.

V. Мы увѣрены, что черезъ какихъ-нибудь много много его лѣтъ «драгоцѣнный ножичекъ» будетъ продаваться дороже пера, которымъ Наполеонъ подписалъ въ Фонтенбло свое отреченіе отъ престола.

ИСТОРИЯ ОНИТРОФАНУШКИ ВЪ ЛУНЬ. (*Виде матеріале для будущей историка русской литературы*).— Въ 73 № «Северной Пчелы» напечатана, между прочимъ, слѣдующія литературная статья:

«Позволивъ книгопродавцу Н. Т. Лисенкову перепечатать въ трехъ частяхъ сочиненія мои въ разныхъ журналахъ, я обѣщала ему въ четвертой части написать разсказъ, подъ заглавіемъ: *Митрофанушка въ Лунь*, но до сихъ поръ этого новаго сочиненія г. Лисенкову не доставилъ, а потому и прошу всѣхъ подписавшихся у него на четвертую часть моихъ сочиненій извинить его, Лисенкова, отъ всякой ответственности. Я же принимаю на себя публично священную обязанность выстаетить четвертый томъ къ вышнему лѣту, въ удовлетвореніе гг. подписавшихся. При семъ долгомъ считаю объясниться на счетъ этого замедленія, въ которомъ я безъ вины виновата. Рукопись не только была написана, но даже процанширована, и не несчастному случаю утрачена. Что тутъ дѣлать? Писать вновь то, что уже было написано однажды, припоминала прежде? Кто знакомъ, хотя вѣсколько, съ трудомъ воображенія, тотъ знаетъ, какъ это тяжело! Мучительнѣйшей пытки нельзя изобрѣсть для головы литератора, какъ повтореніе однажды уже конченной работы!—Между тѣмъ, г. Лисенковъ завелъ со мною процессъ, какъ это было видно изъ Полицейскихъ Вѣдомостей, дѣло остановилось. Теперь прошу всѣхъ и каждого подождать спокойно шесть недѣль, и четвертая часть будетъ готова. Смихъ отвѣчаю на всѣ вопросы, запросы и требованія! Нельзя же истолочь мозги литератора въ котли, и слечь впрогъ. Дѣло ума—дѣло невольное. Неидетъ съ голому мысль, такъ и пухачнымъ лдромъ не егонимъ ее. Ө. Булгаринъ».

Изъ этого «предъявленія» мы не выводимъ никакихъ слѣствій: дѣло ясно само по себѣ. Можно замѣтить развѣ, что это обѣщаніе съ шестинедѣльнымъ срокомъ напечатано 2 августа, теперь сентябрь, — а «Митрофанушки» все еще нѣтъ!

Свѣтскость рѣшительно сдѣлалась манією нѣкоторыхъ сочинителей. Не то, чтобъ они были люди свѣтскіе, или находились въ какомъ нибудь соприкосновеніи, прямомъ или косвенномъ, съ тѣмъ, что называется «большимъ свѣтомъ»: нѣтъ, совсѣмъ не то! Ихъ уваженіе къ свѣтскости гораздо

выше и безкорыстѣе: это что-то въ родѣ рыцарскаго обожанія красоты, которой никто изъ нихъ и не видалъ, но за честь которой каждый изъ нихъ готовъ переломить конь со всѣмъ, осмѣливающимся сомнѣваться, что ихъ Дульцинея не первая красавица въ мирѣ. Впрочемъ, они стараются извлекать изъ своего безкорыстнаго обожанія кое-какія выгоды. Когда является твореніе поэта, на смерть убивающее произведенія этихъ «свѣтскихъ сочинителей», — они, эти «свѣтскіе сочинители», сейчасъ поднимаютъ совѣсть не свѣтскій крикъ и смятятся художественную вѣрность дѣйствительности въ великомъ твореніи выставить грязными картинами, вѣрность натурѣ и характерамъ изображаемыхъ лицъ — площадными словами, которыя будто бы поэтъ употребляетъ отъ самого себя, по страсти своей къ цинизму. Нельзя, однакожъ, во всѣхъ этихъ нападкахъ видѣть умышенное искаженіе истины, неблагонамѣренную цѣль: напротивъ, многіе изъ нихъ удивляются своею искренностію. Дѣло въ томъ, что наши «свѣтскіе сочинители» смѣшиваютъ свой собственный кругъ общества съ большимъ свѣтомъ, котораго имъ и во снѣ не случалось видѣть. Къ какому же кругу общества принадлежатъ эти «свѣтскіе сочинители»? — Къ тому самому, который такъ превосходно выведенъ Гоголемъ въ IX-й главѣ «Мертвыхъ Душъ», гдѣ такъ гениально изображены «пріятная во всѣхъ отношеніяхъ дама» и «просто пріятная дама». Впрочемъ, въ IX-й главѣ это общество представлено въ дѣйствіи, а общая характеристика его находится въ VIII-й главѣ, изъ которой, кстати, выпишемъ здѣсь нѣсколько строкъ: «Дамы города N отличались, подобно многимъ дамамъ петербургскимъ, необыкновенною осторожностью и приличіемъ въ словахъ и выраженіяхъ. Никогда не говорили онѣ: я высморкалась, я вспотѣла, я плюнула, а говорили: я облегчила себѣ носъ, я обоглась посредствомъ платка. Ни въ какомъ случаѣ нельзя было сказать:

этотъ стаканъ, или эта тарелка вонзаетъ. И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобъ подало намёкъ на это, и говорили вмѣсто того: этотъ стаканъ не хорошо ведетъ себя, или что-нибудь въ родѣ этого» (306 стр.). Трудно было бы и вообразить, чтó говорятъ дамы города № о «Мертвыхъ Душахъ» Гоголя, но нѣкоторые «свѣтскіе сочинители» своими рецензіями удачно и удовлетворительно рѣшили эту задачу. Въ то время, какъ высшій свѣтъ, почти нечитающій русскихъ книгъ (попричинамъ, которыхъ по совѣсти нельзя не одобрить), читаетъ «Мертвыя Души» и восхищается ими, не находя въ нихъ ни одного слова, котораго бы нельзя было прочесть громко въ обществѣ, — они, бѣдняжки, т. е. наши «свѣтскіе сочинители» такъ и рвутся отъ негодованія на произведеніе Гоголя за грязность его картинъ и выраженій. Вотъ чтó недавно прочли мы, по поводу этого:

«Мы слышали, будто въ здѣшней столицѣ учредилось дамское общество въ которомъ запрещается говорить по-французски, и возлагается обязанность изъясняться непременно по-русски, разумѣется, съ Русскими. За каждое французское слово должно платять штрафъ, въ пользу бѣдныхъ по пятаку, а за неправильную русскую фразу по гривеннику. Если вѣсть эта справедлива, поздравляемъ русское общество съ этимъ благороднымъ предположеніемъ! Господа писатели держите ухо (е)остро! Что вы представите нашимъ дамамъ? Въ одной здѣшней газетѣ, новый романъ г. Гоголя называютъ образцовымъ твореніемъ, не знаемъ въ шутку, или сері(о)с(ѣ)зно, а сколько при чтеніи этого романа придется заплатить гривенниковъ штрафа!!! А за нѣжныя картины его, чтó платить? Повторяемъ: гг. писатели, помните, что у насъ есть дамы!» (Сѣв. Пчела, 1842, № 143).

По тону статейки, можно заключить съ достовѣрностію, что ея свѣтскій сочинитель, говоря о дамахъ, явно намекаетъ на «пріятную во всѣхъ отношеніяхъ даму» и «просто пріятную даму». Это еще болѣе подтверждается слѣдующими строками въ той же газетѣ, которая отличается истинно изысканнымъ тономъ; призывая русскую публику, изъ патріотизма, покупать плохія книги, свѣтскій сочинитель восклицаетъ: «Что значить

человѣчество безъ просвѣщенія? Извините, господа, что разболтался! Чѣмъ полна душа, того не удержишь! Лишь тронулъ — льется черезъ край! О любезный мой языкъ русскій, дѣдушка славянскихъ нарѣчій! О, милая русская литература! какъ мнѣ не вспоминать объ васъ, когда у васъ такъ немного истинныхъ друзей!...» Боже ты мой! что за свѣтеность!

Одинъ сочинитель вздумалъ изчислить, сколько разъ былъ онъ браненъ въ другихъ журналахъ, и началъ — 720 разъ!... Кстати, онъ утверждаетъ, будто «Отечественныя Записки» составили противъ него вооруженный союзъ... Слѣзная и забавная выходка! Желая очистить русскую литературу отъ подобныхъ жалкихъ явленій, «Отечественныя Записки» не утомимо преслѣдуютъ ихъ, но не бранью, а правдою, и больше выписками собственныхъ словъ такихъ сочинителей, чѣмъ возраженіями на нихъ. 720 разъ разбраненный сочинитель держался до сихъ поръ тѣмъ, что его выводили на свѣжую воду только московскіе журналы, мало имѣвшіе хода въ Петербургѣ; именно оттого, что теперь за нимъ смотрятъ въ петербургскомъ журналѣ, онъ и потерялъ послѣдній кредитъ между сколько нибудь образованными людьми, и радъ бѣдняжка, что его хоть мастеровые-то еще читаютъ и хвалятъ... Это подаетъ надежду, что «Отечественныя Записки» скоро совсѣмъ перестанутъ обращать на него свое вниманіе, которое, впрочемъ, и теперь обращаютъ онѣ рѣдко, именно, только по случаю его выдумокъ на нихъ. Между тѣмъ, онъ самъ, о чемъ бы ни заговорилъ, всегда привяжется къ «Отечественнымъ Запискамъ». Боясь ихъ вліянія на публику, онъ при изданіи всякаго новаго своего дачканья, проситъ «Отечественныя Записки» разбранить его... Что это значить? — А вотъ что: по его мнѣнію, весьма основательному, сказать о его сочиненіи правду, значитъ разбранить его; зная же впередъ, что къ «Отечественнымъ

Запискамъ» нельзя зайти ни съ которой стороны, и что онъ непременно скажутъ всю правду, нашъ сочинитель показываетъ видъ, что похвала «Отечественныхъ Записокъ» опаснѣе для его книги или статьи, чѣмъ порицаніе... Принявъ такую политику, онъ каждый разъ, какъ готовится нанечатать гдѣ-нибудь свои новыя погудки на старыи ладъ, проситъ «Отечественныя Записки» бранить его; а «Отеч. Записки» каждый разъ снисходительно выполняютъ его униженныя просьбы.

Въ 158 № «Сѣверной Пчелы», какъ образчикъ безсмыслицы выставляютъ слѣдующее мѣсто изъ статьи «Отечественныхъ Записокъ» о «Мертвыхъ Душахъ»:

«Величайшимъ успѣхомъ и шагомъ впередъ считаемъ мы со стороны автора то, что въ «Мертвыхъ Душахъ» вездѣ ощущаемо и, такъ сказать, осязаемо проступаетъ его субъективность. Здѣсь мы разумеетъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣйствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человека съ горячимъ сердцемъ, симпатическою душою и духовно-личною самостію,—ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, ниъ рисуемому, не заставляетъ его проходить черезъ свою *думу осиеу* явленія внѣшняго міра, а чрезъ и въ нихъ вдыхать *думу осиеу*... Это преобладаніе субъективности, проникновенное одушевленіе собою всю поэму Гоголя, доходятъ до высокаго лирическаго напоя и освѣжительными волнами охватываетъ душу читателя даже въ отступленіяхъ, какъ на прим., тамъ, гдѣ онъ говоритъ о завидной долѣ писателя, «который изъ великаго смута ежедневно-вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія; который не возмѣнилъ ни разу возвышеннаго строя своей мысли, не выпускался съ вершинъ своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратіямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутыя отъ нея и возвышенныя образы»; или тамъ, гдѣ говоритъ онъ о грустной судьбѣ писателя, дерзнушаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами, и чего не зрять равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опузавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кипитъ наша земная, подъ часъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца дерзнушаго выставить ихъ вынулло и ярко на всенародныя очи»; или тамъ еще, гдѣ онъ, по случаю встрѣчи

Чичикова съ пѣвшимъ его блондинкомъ, говорить, что «вездѣ, гдѣ бы ни было въ жизни, среди ли черствыхъ, шароховато-бѣдныхъ, наоборотно-избѣгающихъ, неизменныхъ радостей ея, или среди однообразно-гладкихъ и скучно-оправныхъ сословій вышнихъ, вездѣ, хоть разъ, встрѣтится на пути человѣку явленіе, не похожее на все то, что случилось ему видѣть дотогдѣ, которое хоть разъ пробудитъ въ немъ чувство, непохожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь: вездѣ, поперегъ вакниъ бы то ни было печалитъ, изъ которыхъ плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экипажъ съ золотомъ упряжью, картинными конями и сверкающимъ блестящѣмъ стекломъ, вдругъ неожиданно прочитается мимо какой-нибудь заглохнувшей бѣдной деревушки, издававшей ничего, кромя сельской телеги—и долго мужики стоятъ, зѣвая съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хотя давно уже унесся и пропалъ изъ виду дивный экипажъ»... Такихъ мѣстъ въ поэзіи много—всѣхъ не выписать. Но этотъ поевостъ субъективности поэта проявляется не въ однихъ такихъ высоко-лирическихъ отступленіяхъ: онъ проявляется безпрестанно, даже и среди разсказа о самыхъ прозаическихъ предметахъ, какъ, на прим., объ известной дорожкѣ, проторенной забубеннымъ русскимъ народомъ.. Его же музыку чувствуетъ внимательный слухъ читателя и въ восклицаніяхъ, подобныхъ слѣдующему: «Эхъ русскій народецъ! не любить умирать своею смертью!»..

Все это въ «Сѣверной Пчелѣ» выписано безъ отличенія выраженій нашихъ отъ выраженій Гоголя, отличенныхъ въ нашей статьѣ обыкновенными знаками. Затѣмъ слѣдуетъ къ намъ просьба растолковать, что значитъ: «осознаемо протѣпаетъ его субъективность», какава эта субъективность, которая искажаетъ объективную дѣйствительность, что значитъ «человѣкъ съ горячимъ сердцемъ и духовно-личною самостію». На всѣ эти вопросы мы не можемъ дать отвѣта «Сѣверной Пчелѣ» по слѣдующей причинѣ: для людей чему-нибудь учившихся, всѣ эти выраженія должны быть очень ясны; тѣмъ же, кому учиться и образовываться трудно или невозможно, нечего и толковать того, что безъ ученія и образованія понимаемо быть не можетъ. Что значитъ (продолжаетъ «Пчела») «великій омутъ ежедневно вращающихся образовъ», (ужь подлинно попалъ въ омуты!— остроумное восклицаніе «Пчелы»), что значитъ: «потрясающая тина мелочей» (ну, право, тина!—еще остроумное восклица-

ніе «Пчелы»). Вотъ на этотъ вопросъ мы можемъ дать «Пчелѣ» удовлетворительный отвѣтъ, который понять ей будетъ легче, чѣмъ кому-нибудь другому. «Великимъ омутомъ ежедневно вращающихся образовъ» и «потрясающею тиною мелочей» поэтъ называетъ ту сторону жизни, которая прежде всякой другой охватываетъ человѣка, и изъ-подъ обаянія которой освобождаются только немногіе избранники провидѣнія. Эта омутовая и тинная сторона жизни преобладаетъ вездѣ — въ журналистикѣ также. Представимъ себѣ, для примѣра, такое изданіе, гдѣ бы писалось только о мелочахъ жизни — о табачныхъ лавочкахъ, кондитерскихъ, водочистительныхъ машинахъ, печатались бы похвалы дурнымъ книгамъ и бездарнымъ сочинителямъ, унижалось бы всякое дарованіе, всякій заслуженный успѣхъ; гдѣ какой-нибудь рецензентъ, еще вчера, напримѣръ, падавшій до ногъ передъ Пушкинымъ, завтра разругалъ бы лучшее его созданіе, провозгласялъ бы ему совершенное паденіе; вчера расхвалилъ до небесъ плохую драму своего пріятеля, возвеличивъ его именемъ Шиллера, завтра завопилъ бы передъ публикою: «піеса дрянъ, а что я ее хвалилъ — виновать: сапагадегіе, пріязнъ, теа супра, теа тахіта супра... Вотъ въ такомъ бы изданіи выразилось то, чтò Гоголь называетъ «великимъ омутомъ ежедневно вращающихся образовъ» и «потрясающею тиною мелочей»... Но «Пчела» еще спрашиваетъ: чтò значитъ у Гоголя: «чорствые, шероховато-бѣдные, неопратно плѣснѣющіе, низменные ряды жизни» и «однообразно-хладныя и скучно-опратныя высшія сословія». Неужели и это надо толковать «Пчелѣ»? Смѣшно было бы толковать то, чтò и безъ толкованія ясно какъ дважды два — четыре. А если кому пріятно играть роль помѣщицы Коробочки, которую Чичиковъ назвалъ дубинноголовою, то у насъ, просто, нѣтъ никакой охоты толковать такіишъ «Коробочкамъ», что такое «Мертвыя Души»...

Въ №№ 177 и 178 «Сѣверной Пчелы» помѣщена юмористическая статейка г. Ѳ. Булгарина въ родѣ Овидіевыхъ превращеній. Г. Булгаринъ обращается, въ статейкѣ, въ синицу, рябчика, или въ стрижа, и попадаетъ въ желудокъ осла, гдѣ, съ свойственнымъ ему юморомъ, открываетъ множество алыхъ соковъ, и проч. Въ заключеніе, онъ говоритъ, будто бы въ Петербургѣ «Отечественныя Записки» переводятся съ языка для него-непонятнаго, на языкъ понятный, и, если слухъ не лживъ, проситъ своего корреспондента прислать къ нему переводъ «Отечественныхъ Записокъ». Изъ этого ясно видно, какъ сильно г. Булгаринъ интересуется «Отечественными Записками», какъ сильно хочется ему ихъ читать, и какъ ему больно, что онъ не въ состояніи ихъ понимать. Мы, съ своей стороны, желая г. Булгарину пользы и удовольствія, очень рады извѣстію о переводѣ «Отечественныхъ Записокъ» на языкъ, болѣе ему понятный, который онъ называетъ языкомъ русскимъ; только боимся одного, чтобъ онѣ не были переведены по грамматикѣ г. Греча, на какое-нибудь мазурское, или литовско-бѣлорусское нарѣчіе... Тогда мы торжественно отречемся отъ переведенныхъ такимъ образомъ «Отечественныхъ Записокъ».

Въ «Москвитяинѣ» и «Русскомъ Вѣстникѣ» напечатанъ «Гороскопъ Петра Великаго». Редакторъ послѣдняго журнала упрекаетъ въ небрежности, съ которою «Москвитяинѣ» перевелъ съ латинскаго этотъ будто бы драгоценный памятникъ старины. Мало того: онъ обвиняетъ въ неуваженіи къ этой «рѣдкости» почтеннаго московскаго профессора и астронома, Д. М. Перевощикова, который сказалъ о гороскопѣ, что «нельзя дѣлать примѣчаній на бредъ, заслуживающій одно только презрѣніе», и что «всякое разсужденіе о гороскопахъ унижаетъ тѣхъ людей, которые занимаются такимъ вздоромъ». Редакторъ «Русскаго Вѣстника» говоритъ, по этому случаю: «Такъ

можетъ думать астрономъ и математикъ, но отнюдь не поэтъ, не историкъ и не философъ». Мы, съ своей стороны, долгомъ считаемъ вступить за честь поэзіи, исторіи и философіи, къ области которыхъ напрасно относятъ такія нелѣпости, какъ гаданье на свѣткахъ и всякое колдовство и гороскопы. Правда, поэзія прежде, съ юношескою мечтательностію, любила эти заблужденія младенчествующаго человѣческаго ума; съ тѣхъ поръ, какъ она подросла и возмужала, она почитаетъ себя за честь быть органомъ разума, а не слабоумія, не невѣжества. Исторія тоже смотрѣла съ уваженіемъ, какъ на что-то таинственное, на все, въ чемъ не было смысла; но это было давно, когда еще исторія походила на легенду и на сказку. О философіи вѣчно и говорить: заставлять ее интересоваться плодами невѣжества и дикости, вмѣсто того, чтобъ уничтожать ихъ, значить не имѣть ни малѣйшаго понятія о содержаніи и цѣли философіи. Скажутъ, что, можетъ-быть, у «Русскаго Вѣстника» своя философія: а! въ такомъ случаѣ, нѣтъ и спору — всякому свое; только зачѣмъ же было не оговориться, что-де нашей поэзіи, нашей исторіи и нашей философіи? Противъ вашихъ — мы ни слова...

РУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА И КАПУСТНЫЯ КОЧЕРЫЖКИ.
(*Матеріалъ длябудущаго историка русской литературы*). — Нынѣшній годъ ознаменованъ въ русской журналистикѣ великимъ событіемъ — войною, произшедшею изъ гибельнаго раздора между друзьями. Что передъ нею вражда Агамемнона съ Ахилломъ? Тамъ дѣло завязалось изъ пльщицы Бризенды, здѣсь — изъ кочерыжекъ!

Прологъ къ знаменитой войнѣ изъ-за кочерыжекъ была небольшая стычка изъ-за плохой «Исторіи Петра Великаго» г. Ламбина. Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» была напечатана статья, гдѣ было сказано, что текстъ «Исторіи Петра Великаго» плохъ

до-нельзя, а картинки къ ней еще хуже. Статья была написана хорошо, основанія ея были дѣльны и доказательны; съ нею согласились все читавшіе и не читавшіе ее, потому что мнѣніе о внутреннемъ и вѣншемъ безобразіи коммуніаціи г. Ламбина и спекуляціи г. Эльснера установилось тотчасъ же по выходѣ первыхъ тетрадей этого чудовищнаго изданія. Кажется, тѣмъ бы дѣлу и надобно кончиться: но не тутъ то было! Изданіе успѣло пріобрѣсти себѣ жаркаго защитника въ г. Българинѣ. И вотъ, въ фѣльтонѣ «Сѣверной Пчелы» начался выходки противъ статьи «Русскаго Вѣстника», но не противъ, однакожъ, самого «Русскаго Вѣстника»: о немъ прямо сказано, что это едва ли не-лучшій изъ современныхъ русскихъ журналовъ (хороши же должны быть прочіе русскіе журналы!), что и злѣйшій врагъ г. Полевого не упрекнетъ его въ корыстныхъ видахъ, но что г. Полевой не правъ, судя по одному введенію о цѣлой исторіи, хотя и правъ, называя картинки рѣшительно дурными, и что ему, г. Българяну, гораздо больше нравятся «Параша Сибирячка» и «Уголино», чѣмъ «Елена Глинская». Не знаемъ, до какой степени помогла эта защита предпріятію г. Эльснера; но дѣло тѣмъ, то есть ровно ничѣмъ и кончилось. Должно думать, что обѣ стороны остались довольны, а извѣстно, что нужно большое искусство, чтобъ угодить и нашимъ и вашимъ... Но вотъ въ 75 № «Сѣверной Пчелы» является фѣльтонная статья, гдѣ, между прочимъ, г. О. Б. взглянулъ на русскіе журналы и газеты съ политико-экономической точки, доказывая, что нашу журналистику губитъ будто-бы совѣстничество. Изъ этого видно, что г. О. Б. держится системы запретительной и принадлежитъ къ приверженцамъ монополій (единоторжіи, по переводу г. Шишкова). Затѣмъ слѣдуютъ жалобы на то, что какъ прежніе журналы передразнивали, «формою и содержаніемъ», «Московскій Телеграфъ», такъ нынѣшніе передразнива-

ютъ, въ этомъ отношеніи, «Библіотеку для Чтенія». Разумѣется, при сей вѣрной оказіи всѣхъ болѣе достается «Отечественнымъ Запискамъ», въ которыхъ г. О. Б. видитъ поддѣлку подъ «Библіотеку для Чтенія»... «Но», говоритъ онъ: «то да не то! Ѳедотъ да не тотъ!» И мы, вслѣдъ за нимъ, повторимъ съ гордстію: «то да не то! Ѳедотъ да не тотъ!»... Впрочемъ, снисходительный г. О. Б. прощаетъ «Отечествен. Запискамъ» ихъ подражаніе «Библіотекъ»: «откуда же имъ выдумать что-нибудь свое?» восклицаетъ онъ въ полнотѣ своего критическаго одушевленія. «Но (продолжаетъ онъ), право, непростительно Н. А. Полевому»... Теперь—слушайте, слушайте! Дѣло въ томъ, будто «Русскій Вѣстникъ» такъ же передразниваетъ «Эконома», какъ «Отеч. Записки» «Библіотеку». «Ну, какъ же не измѣнить программы (говоритъ г. О. Б. о «Русскомъ Вѣстникѣ»), когда и смиренный Экономъ имѣетъ успѣхъ!... Семь-ка пойдемъ тѣмъ же путемъ, авось найдемъ! И вотъ въ 3 № Русскаго Вѣстника на сей 1842 годъ, читатели этого журнала получаютъ то, что имъ не было обѣщано въ программѣ, а именно хозяйственныя замѣтки!» А! вотъ въ чемъ дѣло! вотъ къ чему клонились тонкіе намеки г. О. Б. на вредъ журнальнаго совѣстничества, на выгоды единоторжія, и всѣ эти толки (съ иностранныхъ и русскихъ журналахъ и газетахъ!... Понимаемъ! Въ хозяйственной замѣткѣ «Русскаго Вѣстника» говорилось о новомъ средствѣ замѣнять дрова тамъ, гдѣ они, по безлѣсію, слишкомъ дороги, «сушеными кочерыжками и стволами земляныхъ грушъ». Еслибы эта мысль была и неосновательна, можно было бы это замѣтить въ нѣсколькихъ строкахъ «Эконома», или, пожалуй, и «Сѣверной Пчелы»; но писать особую статью, заводить дѣло издаека, начавъ его если не съ яиць Леды, то съ иностранныхъ журналовъ и газетъ, потомъ перейти ко вреду совѣстничества и къ пользѣ единоторжія, и наконецъ представлять изъ себя обиженнаго,

оскорбленнаго, и чѣмъ же?—хозяйственной замѣткою, помещенною въ сѣбѣ журнала, гдѣ обыкновенно помѣщается всякая всячина:—воля ваша, а это могло произойти только изъ слишкомъ глубокаго проникновенія философскимъ убѣжденіемъ о вредѣ совмѣстничества и пользѣ единоторжія!... Г. Θ. Б. до того огорчился хозяйственной замѣткою «Русскаго Вѣстника», что заключилъ свою декларацію слѣдующею вдохновенною выходкою: «Допускаю одинъ, много два энциклопедическіе журналы, но всѣ журналы на одну статью, по одному плану, перебивающіе одинъ другому дорогу—это, воля ваша невыносимо! Публика подтвердила мое мнѣніе, и на нынѣшній годъ подписка на всѣ журналы жестоко понизилась! Tu l'as voulu, George (s) Dandin! Θ. Б.» Не можемъ знать, до какой степени вѣрно это статистическое извѣстіе о пониженіи подписки на всѣ журналы нынѣшняго года,—не знаемъ, потому что не имѣли ни возможности, ни охоты повѣрять хозяйственные счета другихъ редакцій, а въ счетахъ своей собственной видимъ нынѣшній годъ значительное противъ прошлаго приращеніе числа подписавшихся; но удивляемся промаху, который далъ г. Θ. Б. утвержденіемъ о пониженіи подписки на всѣ журналы, тогда какъ нѣсколько строкъ выше онъ говоритъ о благоклонномъ принятіи публикою «Репертуара» соединеннаго съ «Пантеономъ», и «Эконома»—трехъ журналовъ, издаваемыхъ имъ же самимъ, Θ. Б.!

Въ IV № «Русскаго Вѣстника» воспослѣдовалъ отвѣтъ «Сѣверной Пчелѣ». Въ немъ было очень ловко, и даже не безъ силы, замѣчено:

1) Что слово *souscription* лучше перевести словомъ соревнованіе, чѣмъ словомъ совмѣстничество, и что только одно соревнованіе можетъ поднять наши журналы, вмѣсто того, чтобъ уронить ихъ, какъ думаетъ г. Θ. Б.

2) Что «Библиотека для Чтенія» не имѣетъ ничего общаго,

по своему плану, съ англійскими reviews, но скопирована съ одного московскаго журнала (извѣстнаго, по словамъ автора статьи, но не поименованнаго имъ;—можно, впрочемъ, догадываться, что онъ разумѣетъ «Телеграфъ»), что г. Сенковский ни сколько не содѣйствовалъ успѣху «Библіотеки», а напротивъ, «вскорѣ заставилъ отказаться отъ участія въ ней всѣхъ литераторовъ», что монополія «Библіотеки» была вредна русской литературѣ, и что теперь «Библіотека для Чтенія» самый плохой изъ всѣхъ русскихъ журналовъ.

3) Что «Русскій Вѣстникъ» никогда и не думалъ измѣнить своей программы, никогда не завидовалъ успѣху «Эконома», и всегда ему радовался: «въ коммерческомъ отношеніи,—славно и деть: смѣются, а покупаютъ!»

Затѣмъ слѣдуютъ мнѣнія хозяйственной статьи «Русскаго Вѣстника»; но какъ это для насъ не интересно, мы и пропускаемъ это, а лучше вполнѣ выпишемъ слѣдующія нотации статьи «Русскаго Вѣстника» г-ну *Θ. Б.*:

1) Безспорно, что Репертуаръ и Экономъ журналы хорошіе, потому что самъ издатель ихъ хвалитъ, но по единогласнымъ отзывамъ *Репертуаръ* въ нынѣшнемъ году далеко однакожъ отсталъ отъ прошлагодняго. Спросите у него угодно. Говорятъ, что выборъ шпесъ въ немъ очень плохъ, что переводы въ немъ весьма небрежны; что онъ вовсе не выполняетъ своего обещанія: быть зеркаломъ всенарной драматургіи, наполняться лучшими шпесами и улучшаться въ литературномъ и художественномъ отношеніи. Мнѣніе не наше. Мы въ восторгѣ отъ Репертуара, но—вѣдь другимъ рта не заважешь.

2) Мы также въ восхищеніи отъ *Эконома*, но опять другіе говорятъ—вѣдь мало ли дерзкихъ тавихъ судей—говорятъ, что Экономъ также далеко не исполняетъ своей программы; что будто-бы самая интересная его часть та, гдѣ говорится о кухлѣ; мононическая собственно—восьма-десять клоха, а технологическая такъ уже и очень плоха. Мы не смѣемъ сами судить, но повторяемъ слова другихъ. Мы слышали, наприимѣръ, какъ одинъ агрономъ сѣялся надъ аксіомами, которыя выставлены за основанія сельскаго хозяйства на стр. 26-й *Эконома* (листъ 56); какъ одинъ фабрикантъ тоже подсѣивался надъ красеніемъ шелка, шерсти и бумаги берлинскою лазурью, и наконецъ, какъ одинъ гастрономъ хототалъ, рассказывая о способѣ домашнихъ порослятъ сдѣлать дикими и поросльчелму мясу при-

дать вкус кабаньяго. Повторяетъ, что имъ сами судить не смѣютъ, по сказанное нами, и еще много другихъ замѣчаній слышали отъ вяткоговъ.

Прежде, чѣмъ скажемъ, что и какъ возразилъ г. *Θ. Б.* на эту статью, мы должны замѣтить, что IV № «Русскаго Вѣстника» необыкновенно счастливо задался г-ну *Θ. Б.* — Въ отдѣлѣ «Новыя Русскія Книжки», въ разборѣ «Комаровъ» г. Булгарина, мы встрѣчаемъ сіи поразительныя безпристрастіемъ и истинною строки:

Намъ не понравилось въ «Комаровъ» одно: перепалки *Θ. В.* съ литературною братією и безпрестанное толкованіе его о томъ, что на него нападаютъ; что всѣ на него нападающіе не правы; что большая часть изъ нихъ очень глупы; что нападенія ихъ служатъ ему въ пользу; что онъ ихъ не боится. Не пора ли перестать? Все исчисленное нами повторяетъ *Θ. В.* безпрестанно, и какая же пѣсня не припоется, если безпрестанно дѣть ее? Дѣло очень простое: на *Θ. В.* нападають—правда, а онъ развѣ никого не трогаетъ? Какъ же требовать, чтобъ задѣтые молчали, если еще не было пригѣра, чтобъ *Θ. В.* оставилъ когда-нибудь безъ отвѣта самое невѣрное и кроткое замѣчаніе? Кто погрозитъ ему нголкой—онъ рубить того мечетъ, а кто броситъ въ него хлопнушку—онъ отвѣчаетъ изъ шума, когда при томъ изъ десяти перепалокъ девять всегда начинается *Θ. В.* Вопросъ о томъ, всѣ ли противники *Θ. В.* не правы; думать, и самъ онъ по совѣсти рѣшить отрицательно. Совершенство не дано въ удѣлъ человѣку, а ошибки неизбѣжныи удѣлъ его. Задачу о томъ, всѣ ли соперники *Θ. В.* дураки, невѣжды и негодяи литературные, опять почитаемъ-мы безспорно отрицательною. Если же нападки на *Θ. В.* ему не вредны, а полезны, изъ чего же заводятъ споры и шумъ? А что *Θ. В.* не боится нападокъ, пора публикѣ увѣриться и безъ непереставныхъ о томъ напоминаній съ его стороны. Скажемъ откровенно: замолчи *Θ. В.* и никто не затронетъ его. Не угодно ли ему не заводитъ споры хоть полгода, хоть для опыта, для удостовѣренія въ словахъ нашихъ? Посмотрите, какъ все будетъ тихо и смирно».

Не правда ли, что теперь очень любопытно знать содержаніе той огромной, сильной, доказательной и остроумной статьи, которою г. *Θ. Б.* возразилъ на статьи противъ него въ № IV «Русскаго Вѣстника»? Вотъ она, эта огромная, сильная, доказательная и остроумная статья, вся, отъ слова до слова, со всею ея огромностію, силою, доказательностію и остроуміемъ:

«Помните ли, что въ Русскомъ Вѣстникѣ напечатанъ былъ собитъ топить печи въ зимнѣ дровъ кочержками и стеблями земляныхъ грушъ? Въ Сѣверной Пчелѣ было скромно замѣчено, что это — *небылицы*. И вотъ Русскій Вѣстникъ, издаваемый подъ главнымъ надзоромъ *есеснающаго*. Н. А. Полеваго, *сильми* разгнѣвался и выстрѣлилъ изъ всѣхъ овиныхъ батарей въ одного изъ издателей Сѣверной пчелы, Ѳ. Булгарина, принявъ за военный кликъ: *Riga, qui riga le dernier!* — Мы также принимаемъ этотъ девизъ, и будемъ нѣтъ чести отвѣчать Русскому Вѣстнику въ отдѣльной литературной статьѣ. Мало почтеному Н. А. Полевою литературной славы: онъ соблазнился словомъ изобрѣтателя карболена, и избрѣлъ кочержное *топливо*, отъ котораго насъ морозъ по кожѣ забираетъ! (*Видите ли — что значитъ страсть едикоторжия!*)—И такъ, до свиданія, милый Русскій Вѣстникъ!» (Сѣверной Пчелы № 119).

И только? Да тутъ ничего нѣтъ, кромѣ того, что называется *chûte complète*? восклицаетъ читатель. — Да чего же вы и хотите? отвѣчаемъ мы. — Противъ правды, хорошо высказанной, нечего сказать... Тутъ по неволѣ придется отдѣляться словами: вельми, милый Вѣстникъ и т. п. А отдѣльная литературная статья? — Разумѣется, ея не было, потому что не могло быть. — Но, вмѣсто ея, было вотъ что: Въ № 130 «Сѣверной Пчелы» извѣщается, въ фельетонѣ, о представленіи въ Москвѣ «Елены Глинской», драмы г. Полеваго.

«Дирекція (по словамъ фельетона) сдѣлала все отъ нея зависящее, но не могла придать драмѣ *закимательности*... Парашу Сибирячку, Парашу дайте намъ, почтенный Н. А. Полевой! На что намъ *шекспиричься* — Параша, Иголкинъ намъ по сердцу: *мы не спрашиваемъ, откуда и какъ вы почерпаете сюжеты для вашихъ драмъ, и какъ ихъ кроите ишиваете. Было бы хорошо, а мы все прощаемъ!*... Пусть васъ другіе упрощаютъ, будто вы, почтенный Н. А. Полевой, извлекаете много изъ чужихъ сочиненій; мы никогда не станемъ упрекать васъ въ этомъ, когда піеса ваша понравится публикѣ. Намъ до этого нѣтъ дѣла. *Когда пироги хороши, мы не спрашиваемъ, изъ чьей муки они спечены, и благодаримъ того, кто насъ накормитъ.* Извините это сравненіе *экономское* и хотя вы такъ жестоко разгнѣвались на Эконома (*когда же это?*), а онъ готовъ праздновать ваше торжество на сценѣ. *Мы люди не злопамятные*, правду скажемъ, а лгать, выдумывать и унижать никого не станемъ. Сельскаго хозяина изъ васъ никогда не будетъ, почтенный Н. А. Полевой; *въ критикахъ вашихъ, особенно въ антикритикахъ, всегда больше страсти, нежели правды.* Но для сцены вы человекъ золотой, и мы вамъ нивко кланяемся».

Вотъ истинное безпристрастіе! Г. Ө. Б. за одно нападетъ на г. Полеваго, а за другое хвалитъ его: нападетъ за критику его на Ө. Б., а хвалитъ за драматическія сочиненія!.. Это напоминаетъ басню Крылова «Левъ и Барсъ», которая оканчивается этимъ стихомъ:

Кого намъ хвалить врагъ, въ томъ вѣрно проку нѣтъ.

Въ № 142 «С. Пчелы», при разборѣ «Датеротипа», г. Полевому досталось порядочно за его рассказъ «Семень Семеновичъ Огурчиковъ». Тамъ, между прочимъ, сказано: «Мы съ благоговѣніемъ читали нѣкогда разборъ Н. А. Полеваго Китайской грамматики отца Іакимова, удивляемся великимъ познаніямъ Н. А. Полеваго по всѣмъ возможнымъ отраслямъ человеческихъ свѣдѣній, и только ждемъ осени, чтобъ употребить въ дѣло новое его изобрѣтеніе, и вмѣсто карболовна топить печи капустными кочерыжками и стеблями земляныхъ грушъ, какъ почтенный Н. А. Полевой совѣтуетъ въ 4-й книжкѣ Русскаго Вѣстника на сей 1842 годъ» — Затѣмъ слѣдуютъ доказательства, что г. Полевой написалъ своего «Огурчикова» по грамматическимъ формамъ печенежскаго языка. Это, изволите видѣть — маленькое, невинное мщеніе за намеки г. Полеваго (подкрѣпленные нѣкоторыми словами и выраженіями г. Ө. Б. выписанными курсивомъ), изъ которыхъ ясно значится что Ө. В. держится, въ своихъ русскихъ писаніяхъ, литовско-бѣлорусской конструкціи. «А вы (восклицаетъ фельетонистъ), почтенный Н. А. Полевой (что за гостинодворская вѣжливость: все «почтенный», да «почтеннѣйшій», да по имени и по отечеству!...) подмѣчаете наши описки въ ежедневномъ листкѣ, выставляете ихъ наружу, а г. Ламбину уже не даете и уголка на поприщѣ литературы!» — Намъ весьма прискорбно, что почтенный Н. А. Полевой пишетъ и печатаетъ такія статьи, какъ «Семень Семеновичъ Огурчиковъ»! Длинно, широко и тяжело... Вообще замѣчаютъ, что

съ нѣкотораго времени... Но довольно объ этомъ!—Дѣйстви-
тельно, «Огурчиковъ» г. Полеваго, скажемъ и мы, плохъ нѣз
рукъ вонъ, но все же ничѣмъ не хуже ни «Иголкина», ни «Пара-
ши», а г. О. Б. нашель его плохинъ явно за статью № IV
«Русскаго Вѣстника». Можно сказать, по этому случаю, что не
ему бы, г. Полевому, это слышать, и не ему бы, г-ну О. Б.
это говорить... Тѣмъ въ фѣльетонѣ № 142 «Пчелы» и кон-
чается о г. Полевомъ; но есть много интереснаго о «Даге-
ротипѣ»; на пр.:

«Издатель Дагеротипа вовсе не виноватъ! Онъ думалъ что нашель кладъ,
когда приобрѣлъ широкоформатное писаніе съ озорнымъ названіемъ пи-
сателя, который одинъ изъ всѣхъ славалъ печатно: «Я знаю Русъ и Русъ
меня знаетъ. Семенъ Семеновичъ Огурчиковъ говорить не то».

За тѣмъ слѣдуетъ опроверженіе извѣстія, помѣщеннаго въ
«Дагеротипѣ»:

«Авторъ писемъ говорить объ актерѣ Громовѣ, о піесѣ Елена Глинская,
утверждая, что *теперь стало тише!* т. е. вѣра, что будто прежде былъ
шумъ, гамъ и суматоха! имъ этого вовсе не завітили. Было всегда очень ти-
хо, а теперь и совсѣмъ заглохло».

Но лучше всего, въ фѣльетонѣ № 142 «Пчелы», слѣдую-
щій афоризмъ:

«Нѣтъ спора, что для гениальныхъ писателей все равно, что имъ говорятъ
объ нихъ въ какомъ-нибудь захоустьѣ, и напримѣръ Евгений Сю, Дюма, Гю-
го, не упадутъ оттого, если какой-нибудь кваканикъ, смущенный гра-
мотою самоучкою, станетъ напрягать свои силы, чтобъ доказывать ихъ
ошибки».

Глубоко вошла стрѣла хозяйственной замѣтки «Русскаго
Вѣстника» въ чувствительное сердце редактора «Эконома»!
О чемъ бы ни говорилъ онъ, непременно обратится, хоть
вскользь къ тому же предмету. Для этого «Пчела» даже пусти-
лась, въ № 157, въ критику, въ которую пускается она толь-
ко въ крайнихъ случаяхъ, и размахнулась разборомъ книжки

г. жи Авдѣевой «Заниски о старомъ и новомъ русскомъ бытѣ». Вотъ два примѣчательнѣйшія мѣста въ рецензіи г. Ө. Б.:

«Быть можетъ, есть на свѣтѣ и такіе люди, которые зная, какъ *пестра-седлицо* поступилъ съ нами Н. А. Полевой (упомявая въ Русскомъ Вѣстникѣ о нашемъ сиротномъ *Экономѣ* и о *Репертуарѣ* и *Пантеонѣ*, надъ которыми мы имѣемъ надзоръ, въ отсутствіе издателя), подумала, что мы пользуемся случаемъ и отплатимъ *содьмерицею*, или зубъ за зубъ, око за око... Жалѣемъ, если есть такіе люди, которые могутъ думать, что личныя отношенія въ состояніи совратить съ истиннаго пути стариннаго литератора, любящаго душою словесность и почитающаго справедливость и любовь къ истинѣ высшимъ начествомъ въ критикѣ.»

По языку и слогу своему эта выходка г. Ө. Б., особенно послѣ «писателя съ огороднымъ прозваніемъ и квасника, самоучкою выучившагося грамотѣ», напоминаетъ слова Чичикова, при торгѣ мертвыхъ душъ у Манилова: «Я привыкъ ни въ чемъ не отступать отъ гражданскихъ законовъ; хотя за это и потерпѣлъ на службѣ, но ужъ извините: обязанность для меня дѣло священное — я имѣю передъ закономъ» (Мертвыя Души, стр. 62.)

«Нѣтъ! намъ дѣла нѣтъ, кто писалъ книгу, а мы должны отдавать отчетъ какова книга, и потому, прочитавъ съ удовольствіемъ записки К. А. Авдѣевой, желаемъ всѣмъ любящимъ Русь наследовать этимъ чтеніемъ. Книга написана легко, разсказъ живой, и если Н. А. Полевой могъ поправить какую-нибудь кавычку въ книгѣ своей сестры, то не могъ сообщить ей слога.»

Рѣдкое безпристрастіе! Оно тѣмъ болѣе бросается въ глаза, что сочинитель такъ и подноситъ его къ глазамъ читателя... А манера выражаться — все-таки Чичиковская; но она тѣмъ лучше, что г. Ө. Б., браня «Мертвыя Души», подражаетъ ихъ героямъ въ способѣ выражаться...

За симъ — конецъ! Вся эта повѣсть, которую мы разсказали, какъ фактъ и матеріалъ для будущаго историка русской литературы, кажется, намъ, по ея содержанію, забавною и поучительною не меньше «Повѣсти о томъ, какъ поссорился

Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. Это поразительное сходство между истиннымъ событіемъ, сейчасъ сказаннымъ нами, и вымышленною повѣстью можетъ служить тысячью-первымъ доказательствомъ, какъ глубоко воспринимать Гоголь, въ своихъ созданіяхъ, дѣйствительную жизнь: чѣмъ больше понимаешь ее, тѣмъ больше имѣешь случаевъ, на каждомъ шагу, припоминать то ту, то эту повѣсть Гоголя, или то это, то другое мѣсто изъ повѣстей Гоголя. Тамъ два друга, вполне достойные одинъ другаго, поссорились, разорвали долготѣтную пріязнь — изъ чего же? изъ того, что одинъ не согласился уступить свое ни къ чему негодное ружье за большую здоровую свинью... Здѣсь двое литераторовъ, соединенныхъ издавна пріязнью, ссорятся — изъ чего же? — изъ кочерыжекъ!... Правда эта пріязнь разрывалась уже не разъ, и разрывъ всегда былъ или изъ ничего, или изъ правды, сказанной однимъ изъ нихъ насчетъ плохихъ картъ къ плохой исторіи другаго; но все-таки пріятно, умилительно было видѣть для нашего враждующаго литературнаго міра, какъ они всегда адресовались одинъ къ другому съ полнымъ уваженіемъ, съ титуломъ «почтеннаго» и «почтеннѣйшаго», называя другъ друга по имени и по отчеству, или въ торжественныхъ случаяхъ, даже не только по имени и отчеству, но притомъ и съ присовокупленіемъ фамиліи... Какъ образованные литераторы, они даже и въ спорѣ, и въ ссорѣ, не оставили этихъ изящныхъ формъ свѣтскаго обхожденія; но теперь это уже не искренно... Намъ скажутъ, что въ ссорѣ виноватъ одинъ, и что другой велъ себя въ ней и твердо, и умно, отвѣчалъ ловко и остро, и что, слѣдовательно, все сѣйшее остается на сторонѣ только перваго. Согласны, вполне согласны; но мы думаемъ и убѣждены, что во всякомъ случаѣ литературная ссора съ пріятелемъ ставитъ cadaго въ комическое положеніе, для избѣжанія котораго только одно средство — избѣгать пріязни съ сочини-

теляни, съ которыми можно завязаться въ кочерыжечную перепалку, или, уже, уважая себя, терпѣть отъ нихъ все... Впрочемъ, у всякаго свой образъ мыслей...

Исторія о «Мертвыхъ Душахъ» все еще продолжается: о нихъ толкуютъ и спорятъ въ публикѣ, о нихъ разсуждаютъ въ журналахъ. Прислушиваясь къ толкамъ и приглядываясь къ печатнымъ сужденіямъ, невольно видишь матеріалы для новой поэмы въ томъ же родѣ. Многія печатныя сужденія такъ и смотрятъ — кто Ноздревымъ, кто Размазнёю-Маниловымъ, уязвимымъ сентиментальнымъ мечтателемъ, кто Селифаномъ, резонерствующимъ съ лошадьми... Изъ хвалителей, каждый находитъ героя по себѣ, говоря, вотъ одно лицо благородное и умное. Одинъ изъ критиковъ не шутя провозгласилъ, что всѣ лица гадки (по отношенію къ нимъ самимъ, а не къ искусству), кромѣ... кого бы вы думали?... не отгадаете!... кромѣ Селифана! Критикъ видитъ въ немъ неспорченную русскую натуру... Въ чемъ же состоитъ эта неспорченная натура? — Въ томъ, что она напивается пьяною не по грубой животности, а потому что съ хорошимъ человѣкомъ пріятно выпить... Право такъ! Впрочемъ, есть и другія доказательства неспорченной натуры Селифана; это его готовность быть высѣченнымъ, сердечность, съ которою онъ говоритъ о милѣй ему конюшнѣ и знакомой ему припаркѣ... Хороша неспорченная натура!... Впрочемъ, и этииъ еще не кончились доказательства въ пользу неспорченной натуры Селифана: ко всему этому критикъ прибавляетъ его пріятельское обращеніе съ лошадьми... Теперь понимаете ли что такое неспорченная натура, по мнѣнію критика?... Теперь понимаете ли, что если кто не пьетъ сивухи, не напивается на смерть съ первымъ встрѣчнымъ и поперечнымъ, считая его за хорошаго человѣка, кто не разговариваетъ съ лошадьми, и не позволяетъ взыскать

себя извѣстной милостію, по спитъ, — горе тому: онъ испорченная натура! онъ покорился обаянію лукаваго Запада, погубилъ и душу и тѣло свое на вѣки!...

—

Когда вышелъ «Ревизоръ» одинъ извѣстный критикъ отказался писать о немъ, видя въ немъ грязное произведеніе; одинъ журналъ отказался напечатать у себя повѣсть Гоголя «Носъ», находя ее также грязною; недавно одинъ критикъ поставилъ Гоголя, въ ряду русскихъ поэтовъ, ниже г Павлова (писателя даровитаго, но совѣсть не Гоголя). Жаль, что некогда спрашивать, а то бы можно было много найти фактовъ, доказывающихъ, что иные критики съ нѣкотораго времени совѣсть иначе заговорили о Гоголѣ, нежели какъ говорили о немъ прежде и еще очень недавно. А между тѣмъ, посмотрите, какъ они сердятся, что другіе поняли Гоголя такъ сказать со дня его вступленія на литературное поприще, и что осмѣлились намекнуть на это, какъ на свою собственную заслугу, изъ опасенія, чтобъ ихъ не счѣтывали съ повторителями чужихъ мыслей и даже словъ, за немѣннимъ своихъ!... Кто постоянно слѣдитъ за нашею литературою, тотъ знаетъ, гдѣ въ первый разъ Гоголь былъ оцѣненъ. Можетъ быть, многіе знаютъ, и безъ указаній, гдѣ и кто говорилъ, и послѣ того, о Гоголѣ въ томъ же духѣ, и томъ же тонѣ... Почему жъ бы и не замѣтить того, что принадлежитъ вамъ по праву?... Но люди неблагодарны, вы же ихъ научите, вы же кое-какъ наконецъ вдолбите имъ что нибудь въ ихъ крѣпкіе черепа. — и они же, за это, пошлютъ васъ на толкучій рынокъ, услужливо снабдятъ васъ своимъ же мѣднымъ лбомъ, обвинять въ самохвальствѣ, и объявятъ вашу фигуру тощею, какъ-будто это страшный недостатокъ и какъ-будто неадантическая фигура съ брюшкомъ лучше тощей фигуры... Но, что всего забавнѣе, они назовутъ ваши похвалы автору непрошенными, какъ-бы намекая

тѣмъ, что у нихъ этотъ авторъ выпрашивалъ нѣтъ заповѣданія, съ чужаго голоса взятая похвала... Что касается до насъ, — объявляемъ во всеуслышаніе, что тѣ писатели, которыхъ мы хвалимъ, никогда не просили нашихъ похвалъ, и что мы хвалимъ даромъ...

Одинъ критикъ видитъ въ Гоголѣ существо двойное или раздвоеншееся: одна половина, видите ли, смѣется, а другая плачетъ... Оригинальная мысль! Есть люди, которые никакъ не могутъ понять смѣха въ слезахъ, особенно же слезъ въ смѣхѣ, и хотѣть все дѣлать и различать механически, чтобъ иное великое явленіе какъ-нибудь сдѣлать доступнымъ своей ограниченности.

Вѣроятно, многимъ случалось видѣть людей, которые, побывавъ въ Парижѣ и возвратясь въ Россію, говорятъ при всякомъ случаѣ: «у насъ въ Парижѣ»? Такъ нѣкоторые критики, о чемъ бы ни говорили, никакъ не могутъ обойтись безъ Италіи. Одинъ изъ таковыхъ дѣлаетъ Гоголя ученикомъ Гомера, Данта и Шекспира. Признаемся, мы не видимъ въ «Мертвыхъ Душахъ» слѣдовъ изученія этихъ великихъ образцовъ. Что авторъ «Мертвыхъ Душъ» можетъ совпадать съ ними — противъ этого не споримъ; но причина этого не изученіе, а то, что поэзія не можетъ не совпадать съ поэзіею. Между всѣми ими есть одно общее, — именно то, что всѣ они поэты...

Нѣкто, толкуя вкось и вкривъ, по крайнему своему разумѣнію, о Селифанѣ, о дядѣ Митяѣ и дядѣ Миняѣ, обвиняетъ Гоголя въ односторонности: въ томъ, что онъ показываетъ Русскихъ только съ одной ихъ стороны. Критику очень не правится, что пьяный Селифанъ опрокинулъ брычку и вывалилъ изъ нея своего барина, и что дядя Миняя и дядя Митяя своимъ

вѣнательствомъ. только больше занутили дѣло. Критикъ твердитъ одно: Русскій человекъ за полевъ затанетъ Нѣнца; русскіе мужички въ дорогѣ очень безкорыстны. Последнюю истину очень хорошо знаютъ всѣ, у кого въ дорогѣ ломалась ось экипажа, или экипажу случалось завязнуть въ грязи, или зажорѣ... Критикъ еще утверждаетъ, что русскій мужикъ, хоть и прихвастнетъ и опрокинетъ съ-нѣяну, за то и «выѣдетъ на авосѣ по соломенному мосту». Правда! но правда и то, что много людей пропадаетъ въ оврагахъ, рѣкахъ, на мостахъ и пр., благодаря а в о с ю...

Но изъ этихъ забавныхъ мѣній, высказанныхъ по случаю «Мертвыхъ Душъ», самое забавное, безъ сомнѣнія, то, что фантазія Гоголя «хлѣбосольная»... Гоголь — видите — не потому такъ отчетливо рисуетъ главные характеры, и такъ ярко, одною или нѣсколькими чертами, какъ бы всколъзь и мимоходомъ, изображаетъ множество второстепенныхъ и какъ-будто случайно подвернувшихся характеровъ, не потому что онъ вѣренъ дѣйствительности, а потому что его фантазія русская, стало-быть, хлѣбосольная, и держится пословицы: что есть въ печи, все на столѣ мечи... Милая критическая наивность! Черта изъ золотого вѣка!... Но вотъ еще такая же буколическая черта: одинъ изъ критиковъ, желая похвалить Гоголя, такъ выражается о его слогѣ: «Рѣчь его рассыпчата, какъ сдобное тѣсто, на которое не пожалѣли масла; она льется черезъ край, какъ переполненный стаканъ, налитой рукою чиваго хозяина, у котораго вино и скатерть ни по чемъ; отъ того-то и періодъ его бываетъ слишкомъ грузно начиненъ, какъ пирогъ у затѣйливаго гастронома, который купилъ безъ расчета припасовъ и не щадилъ никакой начинки»... Воля ваша, а эта кухонная похвала, должно быть, не прошенная...

Литература и ея успѣхи тѣсно связаны съ книжною торговлею и ея успѣхами. Иногда литература можетъ находиться въ состояніи бездѣйствія и апатіи именно потому, что литераторамъ негдѣ помѣщать свои произведенія и нѣтъ средствъ издавать ихъ отдѣльно. Чтобы посвятить всего себя литературѣ, необходимо въ своей же литературной дѣятельности найти и средства къ своему существованію. Исключеніе остается только за людьми богатыми, которыхъ богатство не зависить ни отъ службы, ни отъ торговли, ни отъ другаго постоянного занятія, отнимающаго время и силы, необходимыя для работъ литературныхъ. Въ наше время, эта мысль — аксіома; слѣдственно, нѣтъ никакой нужды ни развивать, ни доказывать ее. Торговля не унижаетъ и не можетъ унижать таланта, потому что въ обществѣ все торговля, т. е. обитіе труда на деньги, представляющія собою цѣнность вещей. Назадъ тому лѣтъ десять съ небольшимъ, понятіе о платѣ за литературный трудъ заключало въ себѣ что-то соблазнительное, неприличное и унижительное, такъ что, когда основалась «Библиотека для Чтенія», одинъ литераторъ написалъ статью «Литература и Торговля», или что-то въ этомъ родѣ. А въ старыя добрыя времена нашей литературы (до самаго Пушкина), журналы наши издавались даромъ, и все расходы издателей ограничивались только платой за типографскую работу и бумагу. Писатели были народъ бѣдный, а книгопродавцы наживались. Это происходило отъ дурно-понятаго барства, которое боится труда, какъ униженія, а платы за трудъ, какъ позора. Литераторы занимались литературою, какъ благороднымъ, пріятнымъ и даже полезнымъ развлеченіемъ, и въ этомъ выразилась совершенно дѣтское понятіе о литературѣ. Наше время называютъ, въ похвальное отличіе отъ этого добраго стараго времени, торговымъ: думаемъ, что его слѣдовало бы въ этомъ отношеніи, называть умнымъ. Бывало, какой-нибудь сметли-

выи книгопродавецъ наберотъ томовъ пять, или, пожалуй, и десятокъ, чужихъ сочиненій, хорошихъ и дурныхъ, да и вы дастъ ихъ подъ громкимъ и заманчивымъ титуломъ «образцовыхъ сочиненій». Чтѣ же? Тѣ, чьи сочиненія попали въ сборникъ, не могли нарадоваться чести, которой ихъ удостоили; а тѣ, которые не попали въ образцовые, считали себя обиженными. Въ журналистикѣ было то же самое: только печатая журналистъ, а статей и переводныхъ и оригинальныхъ наносятъ ему множество! И все это «изъ славы», ибо не только подъ всякою стихотворною дребеденью (шарадой, мадригаломъ, рондо, и т. п.) подписывалось имя, но и подъ всякимъ переводкомъ, хотя бы въ страничку величиною, чѣтко и ясно печаталось: «перевелъ такой-то». Видѣть свое имя въ печати — Боже мой! это такая радость, такая честь, такая слава, что о трудѣ и потерянномъ времени хлопотать не стѣтъ! Да и много ли тогда нужно было труда и времени: переведите съ французскаго статейку, скропайте мадригалъ или рондо, — вотъ и извѣстность и слава по крайней мѣрѣ на десять лѣтъ, потому что и статейку и рондо забывали, а литераторомъ, писателемъ, да еще образцовымъ и первокласснымъ величать не переставали. Теперь не то: теперь только развѣ школьники, безбородые отроки готовы забыть и ученье, и службу, и все на свѣтѣ, ради чести видѣть въ печати свое имя; да и тѣ уже, гоняясь за славой, стороною все-таки заводятъ рѣчь о томъ, «по скольку съ лѣта». Кто же успѣлъ раза два пройдтись бритвою по своему юному подбородку, тотъ ужъ о славѣ и не упоминаетъ, а прямо начинаетъ — съ денегъ. Онъ знаетъ, что теперь зашибить славу довольно трудненько, и что для рѣдкихъ она является благоухающимъ опіумомъ, для большей части бываетъ дымомъ, который выѣдаетъ глаза и производитъ тошноту, особенно въ пустомъ желудкѣ. Что въ наше время много людей, которые ищутъ для однихъ денегъ, безъ

возможен, безъ таланта, безъ призванія, — это правда; но что жъ до этого? Если тутъ и зло, то зло необходимое. Развѣ можно требовать уничтоженія вина, потому что на свѣтѣ много пьяницъ?... Истинный талантъ и въ наше время не станетъ писать для денегъ и не захочетъ отдавать своего труда другимъ. Истинный талантъ не скажетъ себѣ: «денегъ нѣтъ, дай-ка чтонибудь напишу»; нѣтъ, онъ продастъ уже сдѣланное, написанное не для денегъ. Нужда въ деньгахъ можетъ заставить его только не терять времени на написаніе того, что свободно возникло и развилось въ фантазіи, или умѣ его, и что осталось ему только положить на бумагу. Да и тутъ желаніе сдѣлать получше часто бываетъ причиною продолженія стѣсненнаго положенія...

Никто не сомнѣвается, что цвѣтущее состояніе книжной торговли, какъ средство обезпеченія трудовъ писателей, много значить и для цвѣтущаго состоянія литературы; но едва ли кто, кромѣ «Сѣверной Пчелы» рѣшится утверждать, что капиталистъ-книгопродавецъ можетъ создать литературу своими деньгами! Если цвѣтущее состояніе книжной торговли помогаетъ процвѣтанію литературы, то и цвѣтущее состояніе литературы помогаетъ процвѣтанію книжной торговли: это круговая порука, тутъ все дѣло во взаимодѣйствіи. Деньги поддерживаютъ литературу, но не создаютъ ея: иначе, литература была бы слишкомъ пошлымъ явленіемъ въ жизни. Источникъ литературы — духъ, геній, разумъ, историческое положеніе общества...

Всему Петербургу извѣстно теперь, что новый книгопродавецъ г. Ольхинъ открываетъ большой книжный магазинъ на Невскомъ Проспектѣ. Владѣя значительнымъ капиталомъ и находясь въ связяхъ со всеми петербургскими книгопродавцами, онъ дѣйствительно можетъ много сдѣлать, и отъ него многого можно надѣяться — въ отношеніи къ поддержанію уна-

давшаго кредита публики къ книгопродавцамъ, но отнюдь не относительно оживленія мертвой русской литературы, какъ увѣряетъ «Сѣверная Пчела». Г. Ольхинъ можетъ довершить тотъ спасительный переворотъ, который началъ въ недавнее время г-мъ Ивановымъ. Всею русской читающей публикѣ извѣстно, какъ г. Ивановъ началъ свое книгопродавческое поприще: — скромно, почти безъ всякихъ средствъ, кромѣ собственной дѣятельности, расторопности, усердія и честности, — началъ съ управленія Конторою «Отечественныхъ Записокъ», и вотъ теперь онъ уже едва ли не лучший русскій книгопродавецъ. Онъ комисіонеръ почти всѣхъ провинцій Россіи, и его оборотъ уже весьма значителенъ. А спросите его, какъ достигъ онъ этого? Очень просто: надобно было только поступать честно съ своими корреспондентами. Напр., житель провинціи высылалъ къ нему деньги на покупку книгъ: онъ денегъ этихъ не бралъ себѣ, не бросалъ письма въ корзину съ ненужными бумагами и не оставлялъ корреспондента своего безъ денегъ, безъ книгъ и безъ отвѣта на многократно повторяемыя письма; онъ по первой же почтѣ отсылалъ требуемыя книги по настоящей ихъ цѣнѣ, а вмѣстѣ съ ними и счетъ, и отчетъ, и расчетъ. Естественно, появленіе такого человѣка не могло не обрадовать многородныхъ покупателей книгъ: ибо, кромѣ того, что никому не пріятно мучиться пустымъ ожиданіемъ и, въ добавокъ, потерять свои деньги, — всякому хотѣлось бы, особенно живя въ глуши, во время получить ожидаемую литературную новость. Г. Ивановъ понялъ, какъ много значитъ удовлетвореніе подобной потребности, началъ дѣйствовать сообразно съ этимъ, — и здѣсь-то причина его успѣховъ. Очень хорошо было бы, еслибъ на Руси развелось по брѣге такихъ книгопродавцевъ, какъ г. Ивановъ. Вотъ почему нельзя не радоваться, слыша о появленіи новаго книгопродавца, на котораго можно полагать прочныя надежды. Если г. Ольхинъ опра-

вдаться эти надежды, — въ чемъ мы и не имѣемъ никакихъ причинъ сомнѣваться, — тогда честь нашей книжной торговли можетъ возстановиться вполне. Ею коммерческая оборотливость, подкрѣпляемая значительными денежными средствами, при честности, расчетливости и аккуратности, можетъ дать новое движеніе дѣлу. А отъ этого не можетъ не быть своей пользы (до известной степени) и бѣдствующей во всѣхъ отношеніяхъ русской литературѣ. Но съ этой-то стороны и должно г. Ольхину показать себя; это будетъ пробнымъ камнемъ его книгопродавческаго умѣнья. Если онъ, по примѣру иныхъ, сдѣлается исключительнымъ поборникомъ какой-нибудь литературной партіи, будетъ скупать у нея разный хламъ, бесполезно тратясь на его изданіе, то въ этомъ не будетъ пользы ни для литературы, ни для книжной торговли, ни, слѣдственно, для него самого. Ничто такъ не вредитъ авторитету и выгодамъ книгопродавца, какъ изданіе лежалаго хлама выписавшихся сочинителей. Этимъ гарниемъ то и на руку; но тутъ-то книгопродавецъ и долженъ держать, что называется, ухо остро. Поставщики книжнаго товара, повторявшіе уже кредитъ въ публикѣ, которую когда-то удавалось имъ поддѣвать, тотчасъ провѣдаютъ о деньгахъ новаго книгопродавца и явятся къ нему съ предложеніемъ своихъ услугъ, станутъ навязывать ему свои продукты, плѣснѣющіе въ кладовыхъ, или отрекомендуютъ новыя, задуманныя ими спекуляціи на довѣренность публики, будутъ обѣщать хвалить его въ подручныхъ имъ газетахъ и журналахъ, если онъ прійметъ ихъ предложенія, или ругать и преслѣдовать въ случаѣ отказа. Не пусть г. Ольхинъ не смущается ни этими угрозами, ни лестными обѣщаніями: они ровно ничего не значатъ! Исправность и честность въ исполненіи принятыхъ обязанностей — вотъ одно, что можетъ доставить ему кредитъ въ публикѣ; продажныя похвалы никто поддержать не могутъ, равно какъ и брань обманутаго въ раз-

счетахъ своихъ корыстолюбія не уронить честнаго и исправнаго книгопродавца. Передъ глазами много прихвровъ, какъ гибли книгопродавцы, убаюканные похвалами и общаніями своихъ покровителей, которые, высосавъ изъ нихъ все, что можно было высосать, послѣ сами же сѣялись надъ ними. Первѣйшая обязанность книгопродавца — не приставать ни къ какой партіи, быть книгопродавцемъ, а не полемистомъ... Желземъ отъ души, чтобъ г. Ольхинъ принялъ къ свѣденію эти совѣты наши, подаваемые ему съ самымъ чистымъ побужденіемъ.

«Сѣверная Пчела» извѣщаетъ еще, что г. Ольхинъ, по прихвру г. Смирдина, соединитъ въ одномъ толстомъ ежемѣсячномъ журналѣ труды всѣхъ русскихъ литераторовъ. Не знаемъ, до какой степени было бы полезно русской литературѣ соединеніе трудовъ всѣхъ нашихъ литераторовъ; но знаемъ достоверно, что это соединеніе — дѣло рѣшительно невозможное, особенно въ настоящее время. «Сѣверная Пчела» фактически ошибается, утверждая, будто подобное соединеніе существовало когда-то въ «Библиотекѣ для Чтенія». Самое сильное соединеніе въ этомъ родѣ было въ первомъ (1834) году изданія «Библиотеки для Чтенія»; но и тогда оно было соединеніемъ трудовъ далеко не всѣхъ русскихъ литераторовъ; въ ней со-всѣмъ не участвовали гг. Гоголь, Лажечниковъ, Н. Ф. Павловъ, М. Г. Павловъ, Вельтманъ, Даль, Плетневъ, Н. Полевой, Надеждинъ, Андреевъ и многіе другіе. Мало того, что еще въ томъ же 1834 году издавались «Телеграфъ» и «Телеокопъ», имѣвшіе своихъ постоянныхъ сотрудниковъ, которые не очень интересовались честию красоваться на страницахъ «Библиотеки для Чтенія», — въ 1835 году основался еще новый журналъ «Московскій Наблюдатель», и основался именно для того, чтобъ цѣлой части русскихъ литераторовъ было гдѣ печатать свои статьи. Не теперь мысль о подобномъ соединеніи

еще несбыточные: теперь дается въ Россіи нѣсколько журналовъ, соединяющихъ въ себѣ труды одинаково мыслящихъ литераторовъ, которые и сами не захотятъ участвовать въ журналѣ, чуждомъ ихъ убѣжденію; да еслибъ и захотѣли, то для журнала отъ этого мало было бы прибыли, ибо изъ ихъ соединенныхъ трудовъ вышелъ бы прѣстранный дивертисманъ. Но этого не можетъ быть, во первыхъ, потому что не всѣ же русскіе литераторы готовы съ аукціона продавать свою дѣятельность, или для денегъ дробить и растягивать ее на нѣсколько журналовъ; а во вторыхъ, не всѣ же изъ существующихъ журналовъ издаются даромъ: между ними навѣрное найдется хоть одинъ, который платитъ за статьи... Сверхъ того, если бъ и возможно было соединить въ одномъ періодическомъ изданіи труды всѣхъ русскихъ литераторовъ, — изъ этого изданія вышелъ бы еще только сборникъ, а не журналъ. Журналъ составляетъ мнѣніе, а не сборъ случайно набранныхъ статей. За мнѣніе журнала можетъ ручаться только имя редактора, а мы знаемъ наперечетъ имена всѣхъ русскихъ литераторовъ... Кто же будетъ редакторомъ журнала г. Ольхина? Это вопросъ, безъ рѣшенія котораго нечего и говорить о журналѣ. Пожалуй, найдется и редакторъ, и журналъ будетъ съ мнѣніемъ, — но съ какимъ? — вотъ еще вопросъ!... Если мнѣніе новаго журнала будетъ состоять въ томъ, что Сократъ былъ плутъ, что умъ человѣческій — надувало, что Греки раскрашивали свои мраморныя изваянія, что историческій романъ есть незаконный плодъ прелюбодѣянія исторіи съ поэзіей, что «Мертвыя Души» Гоголя — плоское и бездарное произведеніе, а «Сердце Женщины» г. Воскресенскаго — превосходный романъ, такъ какъ нѣкогда «Ледяной Домъ» г. Лажечникова очутился плохимъ романомъ, а «Постоялый Дворъ» г. Стенянова — колоссальнымъ созданіемъ; если... но эти «если» не было бы конца. Скажемъ коротко, если таково будетъ мнѣніе новаго журна-

ла — то прошла уже безвозвратно пора такимъ мѣтніямъ и такимъ журналамъ. Публика уже не та, и ее нельзя, какъ прежде, увѣрить криками и вѣдьями въ пріятельскомъ фѣльетонѣ. Вѣдь «Сѣверная Пчела» увѣряла же, что «Русскій Вѣстникъ» (остановившійся въ нынѣшнемъ году на четвертой книжкѣ, тогда какъ другіе журналы издали свои одинадцатые книжки), — лучший изъ всѣхъ современныхъ журналовъ, и что хуже «Отечественныхъ Записокъ» не было и нѣтъ на Руси журнала; публика рассудила же иначе!...

Въ № 133 той же «Сѣверной Пчелы» прочли мы фѣльетонъ, исполненный удивительными вещами. Рѣчь идетъ, между прочимъ, о г. Полевомъ. О немъ сказано тутъ весьма много новаго и поучительнаго, — напримѣръ что, «Комедія о войнѣ Фодосы Сидоровны съ Китайцами» — фарсъ, который основанъ на нелѣпости (*ad absurdo*), но который позволяли себѣ первѣйшіе драматурги, — какіе именно, не сказано, почему мы и думаемъ, что это тонкій намекъ на «Шкуну Нюкарлеби» соч. г. Булгарина... Въ этомъ фарсѣ, фѣльетонистъ нашелъ — что бы вы думали? — идею, да еще презабавную!!!... Потомъ, мы узнаемъ изъ фѣльетона, что никто такъ не понялъ смысла народной русской драмы и современной потребности (въ чемъ — не известно!), какъ Н. А. Полевой; далѣе, что онъ отличается въ «женскихъ роляхъ», потому, что г. Краевскій не имѣетъ права судить о драмахъ г. Полеваго, ибо самъ не написалъ ни одной драмы!!!... Это, должно быть, ужъ насмѣшка надъ читателями «Сѣверной Пчелы». Бѣдныя! въ нихъ не предполагается и столько здраваго смысла, чтобы понять, что право критика дается способностію къ критикѣ, а не способностію или охотою дѣлать то же, что дѣлали критикуемые авторы. Иначе, кто же бы сталъ критиковать Шекспира? — неужели г. Полевой, сочинитель «Параша», «Елены Глинской», «Коме-

дін о войнѣ Федосѣя Сидоровымъ съ Бѣтѣйцами- и подобныхъ «драматическихкихъ представленій»?... Или не господи́нъ ли Булгаринъ, сочинитель «Шкуны Ньюкарлеби»? И притомъ, неужели, чтобы оцѣнить критически дюжину плохихъ сценическихкихъ фарсовъ, надо самому написать дюжину такихъ же фарсовъ? Помилуйте! это-то бы и значило лишить себя всякаго права заниматься критикою... Но — извините, мы заговорились, забыли что подобныя истины новы и неслыханны только для «Сѣверной Пчелы», и развѣ еще для тѣхъ, кто добродушно вѣрять ей мнѣніямъ... За этими «мнѣніями» о драматическихкихъ заслугахъ г. Полеваго, слѣдуетъ оригинальное, по искренности и нецеремонности, мнѣніе о его личномъ характерѣ. Вотъ оно:

«Г. Полевой большой охотникъ спорить, и ничего не пропустить, чтобы не кельнуть своимъ критическимъ перомъ. Это не отъ сердца, а такъ отъ привычки! У меня былъ пріятель Нѣмецъ (теперь покойникъ), котораго я въ шутку назвалъ Нетт Абер, то есть господи́нъ Но. О чемъ бывало ли заговорить, онъ во всякъ найдетъ абер!—Какая прелестная погода—«Да, абер (но) въ вечеру можетъ переиѣниться».—Кушайте это блюдо, не правда ли, что оно вкусно.—Да, вкусно, абер (но) дорого и можетъ быть не здорово». Все это говорилъ мой покойный пріятель по привычкѣ. Такова была его манера. А воля ваша, Н. А. Полевой немножко смахиваетъ на моего пріятеля. Лишь только онъ за перо, ему тотчасъ является передъ глазами, какъ привидѣніе, огромное абер (но)».

Умно, мило, граціозно, по-пріятельски, халатно!... Именно такъ и должны писать другъ о другѣ русскіе сочинители — для отличія отъ русскіхъ литераторовъ...

Конецъ фѣльетона состоитъ въ похвалахъ повѣстиямъ графа Соллогуба... Фѣльетонисту самому показалось это странно, — и онъ увѣряетъ, что правда, одна только правда — болгше ничего, заставила его хвалить писателя, котораго недавно бранилъ... Однако, въ самомъ дѣлѣ, что бы это значило?... Уже не затѣваетъ ли нашъ фѣльетонистъ толстаго ожемячянаго

журнала, для соединенія въ немъ трудовъ всѣхъ русскихъ литераторовъ, со включеніемъ и себя самаго?... Приятное будетъ общество!...

Перевертывая старые журналы (мы ищемъ въ нихъ матеріаловъ для составленія полной исторіи русской литературы и русской журналистики), мы нашли въ одномъ изъ нихъ, что въ старину (недалеко какъ въ 1825 году!) былъ на Руси журналистъ, который утверждалъ, что Сахалинъ есть полуостровъ; когда же его учили въ невѣдѣніи географіи и доказали ему, что Сахалинъ — островъ, онъ отвѣчалъ: «да я тамъ не былъ, можетъ-быть и островъ». Тотъ же журналистъ... Но пока довольно; мы еще поговоримъ о подвигахъ этого журналиста. Прекуръёзаная исторія!

Въ десятой книжкѣ московскаго журнала «Москвитяинъ», кто-то г. Пельтъ (има, въ первый разъ слышимое въ русской литературѣ!), разбирая «Комаровъ» г. Булгарина, не совѣтъ кстати и совѣтъ несправедливо зацѣпилъ мимоходомъ «Отечественныя Записки». Г. Булгаринъ въ своихъ «Комарахъ» приписалъ себѣ всю честь необыкновеннаго успѣха «Героя Нашего Времени», который, по его словамъ, будто бы до тѣхъ поръ лежалъ въ книжныхъ лавкахъ, не трогаясь съ мѣста, пока «Сѣверная Пчела», сжалившись надъ нимъ, не похвалила его. Справедливо осуждая неумѣстную выходку г. Булгарина, г. Пельтъ замѣчаетъ въ выноскѣ:

«Замѣтимъ здѣсь кстати подобную же выходку Отечественныхъ Записокъ. Безименный рецензентъ (точно ли безименный, господа?... спросимъ мы въ скобкахъ...?), разбирая Мертвыя души, говоритъ, что Отечественныя Записки первыя открыли дарованіе Гоголя и указали на него всей читающей Руси, когда еще до нѣхъ рожденія, при каждомъ представленіи Ревизора, театры обнѣхъ столицъ были полны, а Миргородъ оцѣненъ былъ по достоинству во всѣхъ благомыслящихъ журналахъ. Но стоитъ ли все это опроверже-

лія? Хорошо' былъ бы талантъ, для открытія котораго потребно бы было существованіе Отечественныхъ Записокъ».

Мы съ этимъ совершенно согласны: что за талантъ, для открытія котораго потребно было бы существованіе какого бы то ни было журнала — не только «Отечественныхъ Записокъ» — но даже и «Москвитянина», того самаго «Москвитянина», который недавно открылъ, что Гоголь, по акту творчества, равенъ Гомеру и Шекспиру, и воскресилъ древній эпосъ, искаженный великими поэтами западной Европы¹⁾ Да, съ этимъ мы совершенно согласны, потому что это совершенная истина, противъ которой нечего сказать. Но мы несогласны съ критикомъ «Москвитянина» въ томъ, будто мы говорили о себѣ, что первые открыли талантъ Гоголя и указали на него всей читающей Руси, — несогласны потому, что это совершенная неправда... Во первыхъ, мы говорили не собственно объ «Отечественныхъ Запискахъ», а о прямой и уклончивой критикахъ, изъ которыхъ первая, не боясь быть смѣшною въ глазахъ толпы, смѣло низвергаетъ ложныя славы съ ихъ пьедесталовъ и указываетъ на истинныя славы, которыя должны занять ихъ мѣсто, а вторая, также понимая дѣло, въ угоду толпѣ, выражается осторожно, намеками, съ оговорками. Потомъ и во всемъ, что сказано нами за этимъ (Стр. 400 — 402 этой части) нѣтъ ничего похожаго на то, въ чемъ упрекають насъ «Москвитянинъ»? Онъ нашелъ въ нашихъ словахъ то же самое, что и въ выходкѣ г. Булгарина: г. Булгаринъ прямо объявилъ, что единственно онъ далъ ходъ Лермонтову; слѣдетвенно, по обвиненію «Москвитянина», и мы похвалились тѣмъ же, т. е. что дали ходъ Гоголю... Правда, «Москвитянинъ», или его безымянный критикъ, замѣчаетъ, что мы похвалились только тѣмъ, что указали публикѣ на Гоголя, но въ такомъ

(¹⁾ См. «Москвитянинъ» 1842, книжку IX, статью г. Аскакова «Объясненіе».

случаѣ, что же общаго между нашимъ «указаніемъ» и выходною г. Булгарина? Да сверхъ того, мы и не думали говорить, что «Отечественныя Записки» указали публикѣ на Гоголя: мы сказали, что изъ существующихъ теперь журналовъ, «Отечественныя Записки» первыя и однѣ сказали и постоянно, со дня своего появленія до сей минуты, говорить, что такое Гоголь въ русской литературѣ; къ этому мы прибавили еще, что за это насъ порицали почти все другіе журналы и нѣкоторые изъ читателей... Все это правда. Кто же изъ существующихъ теперь журналовъ называлъ Гоголя великимъ писателемъ? Ужь не тотъ ли московскій журналъ, который недавно поставилъ г. Павлова выше Гоголя, а Гоголя ниже г. Павлова?... Изъ существовавшихъ прежде журналовъ, первый оцѣнилъ Гоголя «Телескопъ», а совсѣмъ не тотъ, другой московскій журналъ, который отказался принять въ себя повесть Гоголя «Носъ», по причинѣ ея пошлости и тривіальности, и не тотъ именитый критикъ, который отказался писать о «Ревизорѣ», какъ опять о тривіальномъ и грязномъ произведеніи... Гоголю далъ ходъ его великій талантъ; публика оцѣнила Гоголя прежде всехъ журналовъ, но какъ оцѣнила — вотъ вопросъ! Сколько и теперь есть людей, которые не одинъ разъ прочли Гоголя, а все говорятъ, что куда ему до Марлинскаго!... Дѣло журнала оцѣнить писателя сознательно и распространить въ публикѣ эту сознательную оцѣнку, и мы считаемъ себя въ правѣ сказать, что «Отечественныя Записки» принимали едва ли не первое и не исключительное участіе въ дѣлѣ сознательной оцѣнки Гоголя, изъ всехъ существующихъ теперь журналовъ... Ими же первыми, изъ существующихъ теперь журналовъ, оцѣненъ по достоинству Марлинскій и ими однѣми оцѣненъ по достоинству Лермонтовъ. Да, ужь, конечно, Лермонтовъ оцѣненъ не тѣмъ критикомъ, который поставилъ Лермонтова ниже г. Хомякова, а г. Хо-

якова выше Лермонтова... Все это факты, противъ которыхъ нечего сказать, равно какъ и противъ того, что въ замѣчаніи «Москвитянина», или его критикѣ противъ «Отечественныхъ Записокъ» нѣтъ нисколько правды, а есть много неправды...

**НЕБОЛЬШОЙ РАЗГОВОРЪ МЕЖДУ ЛИТЕРАТОРОМЪ И НЕ
ЛИТЕРАТОРОМЪ О ДѢЛѢ, НЕ СОВСѢМЪ ЛИТЕРАТУРНОМЪ.**

N. (входя къ *M.*) Скажите, пожалуйста, это по вашей части: что такое означаетъ вотъ это стихотвореніе (*показывая книжку журнала*) къ «Безыменному Критику»?

M. Во первыхъ, это советъ не по моей части...

N. Какъ не по вашей? вы занимаетесь литературою, вы сами литераторъ...

M. Потому-то это стихотвореніе и не по моей части... Впрочемъ, такъ какъ теперь въ русскую литературу вошло много нелитературныхъ элементовъ, то иногда принужденъ бываю читать и такое, чего сохрани Богъ написать...

N. Не о томъ дѣло! Скажите, что это такое? къ какому безыменному критику?

M. Само собою разумѣется, въ критику, котораго никто не знаетъ...

N. Нѣтъ, развѣ къ такому, который не подписываетъ своего имени подъ своими критиками?...

M. И который, по этому, никому не извѣстенъ?...

N. Ну, Богъ знаетъ! Тутъ къ нему адресуются въ такомъ тонѣ, какъ-будто его имя можетъ сейчасъ же сказать каждый грамотный человѣкъ... Прочтите...

M. Я читалъ уже...

Н. Что за бѣда! Такъ слушайте:

Нѣтъ! твой подвигъ не безвалець!
 Онь Россія не пріяеть!
 Карамзинъ тобой уважень,
 Ломоносовъ—не поэтъ!

Кто это, кто?

М. То-есть, кто тотъ, который уважилъ Карамзина? — Не знаю.

Н. Разумѣется, не уважилъ, а писалъ противъ Карамзина?

М. О, очень многіе! Во первыхъ, славянофилы, доказывавшіе, что Карамзинъ испортилъ русскій языкъ, что онъ не знаетъ русскаго языка, что онъ пишетъ не по-русски, и прочее; потомъ, Каченовскій, написавшій, между незначительными прилирками, и нѣсколько дѣльных замѣчаній на «Исторію Государства Россійскаго»; потомъ г Арцыбашевъ, между нѣсколькими дѣльными замѣчаніями, написавшій и множество мелочныхъ замѣчаній на исторію Карамзина, помѣщенныхъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ», г. Погодина, и возбудившихъ негодованіе (не совѣтъ, впрочемъ, основательное и справедливое) во многихъ литераторахъ, особенное же въ г. Полевомъ, потомъ, г. Полевой, передъ выходомъ своей и до сихъ поръ еще не конченной «Исторіи Русскаго Народа», начавшій нападать на «Исторію Государства Россійскаго»...

Н. Ну, а Ломоносова-то кто называлъ не повтомъ?

М. Многіе и очень многіе; но изъ всѣхъ ихъ, конечно, всѣхъ замѣчательнѣе Пушкинъ. Вотъ слова его о Ломоносовѣ: «Ломоносовъ былъ великій человекъ. Между Петромъ I-мъ и Екатериною II-ю, онъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвѣщенія. Онъ создалъ первый университетъ; онъ лучше сказать, самъ былъ первымъ нашимъ университетомъ. Но въ семъ университетѣ профессоръ поэзіи и элоквенціи, не

что иное, как исправный чиновникъ, а не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій... Въ Ломоносовѣ нѣтъ ни чувства, ни воображенія. Оды его, писанныя по образцу тогдашнихъ нѣмецкихъ повтовъ, давно уже забытыхъ въ самой Германіи, утомительны и надуты. Его вліяніе на словесность было вредное, и до сихъ поръ въ ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращеніе отъ простоты и точности, отсутствіе всякой народности и оригинальности — вотъ слѣды, оставленные Ломоносовымъ (Соч. Пушкина, т. XI, стр. 21 — 22)... Вся статья Пушкина о Ломоносовѣ состоитъ въ доказательствахъ, что Ломоносовъ былъ великій человекъ и великій ученый, но не поэтъ и даже не ораторъ.

N. Ну, а вотъ дальше-то о комъ идетъ рѣчь?

Кто ни честенъ, кто ни славенъ,
Ни радъль странъ родной,
И Жуковский, и Державинъ
Дерзкой тронуты рукой!

M. Стихи плохи до того, что трудно понять ихъ смыслъ. Кажется, надо понимать такъ, что дерзкою рукою «безъименнаго критика» тронуты всѣ люди славные, оказавшіе услуги литературѣ?

N. Именно такъ! Кто же это?

M. Да никто. Очевидно, что это такъ — риторическое уграшеніе, невинная и благонамѣренная гипербола.

N. Но кто же оскорблялъ Жуковского и Державина?

M. Писали о нихъ многіе, но кто оскорблялъ — трудно сказать, потому что въ стихахъ не прописано: какъ, какимъ образомъ оскорблялъ. Въ стихотвореніяхъ, приближающихся къ роду юридическихъ сочиненій, надо быть какъ можно отчетливѣе; въ нихъ не мѣшаетъ даже прилагать *pièces justificatives*...

N. Но дальше, дальше!

Ты всю Русь лишилъ дѣлій,
 Какъ младенца до Петра,
 Обнажилъ бытописаній
 Славы, силы и добра!

Это на кого?

М. На Ломоносова и на многихъ старинныхъ нашихъ писателей, которые, и въ стихахъ и въ прозѣ, говорили, что Петръ былъ полубогомъ Россіи, что до Петра Русь была покрыта тьмою, но Петръ, явившись, сказалъ: «да будетъ свѣтъ! — и бытъ!»... Долго справляться, а фактовъ нашлось бы много. Впрочемъ, и теперь Русскіе раздѣляютъ этотъ восторгъ къ Петру нашихъ старинныхъ писателей. Что же касается до двухъ послѣднихъ стиховъ:

Обнажилъ бытописаній
 Славы, силы и добра, —

то, за отсутствіемъ смысла въ нихъ, я не могу дать отвѣта. Дальше читать нечего — ибо въ этихъ трехъ куплетахъ высказаны главные пункты дѣла; въ остальныхъ содержится пространство и поясненіе этихъ трехъ главныхъ пунктовъ и приговоръ за преступленіе. А преступленіе, надо сказать, было бы великое, еслибъ все стихотвореніе не было чистымъ поэтическимъ вымысломъ.

IV. Но какая же причина этого вымысла?

М. Самая простая: авторъ боленъ страстію къ стихоманіи, а талантомъ, какъ видно изъ этихъ же стиховъ, не богатъ: стало-быть, онъ похваля себѣ не слыхалъ, а горькой правды отъ именныхъ и безыменныхъ критиковъ слышался вдоволь. Поэтому, естественно, что ему не нравится все, что мыслить и разсуждаетъ. Видя что правду можно говорить и о знаменитыхъ писателяхъ, не только что о дрянныхъ писакахъ, онъ съ горя и закричалъ: «слово и дѣло!», давъ своему восклицанію такой оборотъ:

О!... когда народной славы
 И избранниковъ его (?)
 Насиваться каждый въ правѣ—
 Окрылитъ ли честь кого?...

Н. А и въ самомъ дѣлѣ: кто захочетъ трудиться, видя, что и труды великихъ иногда цѣнятся и вкось и вкривь?

М. Кто?—каждый, кто родится съ призваніемъ на великое. И какой великій дѣйствительный останавливался отъ мысли, что его не оцѣнятъ и оскорбятъ? Вспомните, что говорили и писали о Пушкинѣ, какими бранями встрѣчалось каждое его произведеніе! И однакожъ, это его не останавливало: онъ отвѣчалъ на ругательства новыми произведеніями. Это исторія каждого замѣчательнаго, не только великаго человека. Нѣтъ, не то, совсѣмъ не то было на умѣ у нашего шты: онъ хлопоталъ не о великихъ... Впрочемъ, Богъ знаетъ, о чемъ онъ хлопоталъ! Если спросить его, думаю, онъ самъ не найдетъ ничего сказать.

Въ 256-мъ № «Сѣверной Пчелы» напечатано объясненіе, почему публика охладѣла къ «Репертуару» соединенному съ «Пантеономъ»: виновать во всемъ — видите ли — фельетонистъ, или сотрудникъ этого журнала... А фельетонистъ, или сотрудникъ «Репертуара» упрекаетъ въ охлажденіи публики редакцію «Репертуара и Пантеона», неумѣющую, какъ видно, сдѣлать прочія части журнала занимательными. Кто правъ, кто виноватъ изъ нихъ?—Изъ вѣжливости, повѣримъ обоимъ, и не станемъ спорить ни съ однимъ...

Фельетонистъ той же газеты (№261) горько жалуется, что «не смѣетъ причислить себя къ числу умныхъ людей» (его собственные слова, выписанныя нами съ дипломатическою точностію), потому что, будто-бы, «Отечественныя Записки

и литературная Газета въ каждой книжкѣ (большая NB) и каждомъ листѣ (маленькая NB), а Москвитянинъ при всякой вѣрной оказіи (полтора NB) ясно, умно, остроумно и безпристрастно доказываютъ цѣлому міру, что «Фельетонистъ Сѣверной Пчелы—человѣкъ безъ малѣйшаго дарованія», и проч., и проч. Странно! читая эти строки, подумаешь, что «Отечественныя Записки» выходятъ ежедневно, а «Сѣверная Пчела» разъ въ мѣсяцъ? Или, что «Отечественныя Записки» только и толкуютъ, что о «Сѣверной Пчелѣ», а «Сѣверная Пчела» ни слова не говоритъ объ «Отечественныхъ Запискахъ!» Чтобъ утѣшиться въ горѣ, «Сѣверная Пчела» старается увѣрить публику, что «Отечественныя Записки» и «Литературная Газета»—одно изданіе, и г. на Кони называетъ критикомъ «Отечественныхъ Записокъ»!... Къ чему всѣ эти продѣлки? Публика знаетъ, что «Литературная Газета»—совершенно отдѣльное отъ «Отечественныхъ Записокъ» изданіе, нисколько не зависящее отъ нихъ, въ своемъ направленіи и образѣ мыслей и неимѣющее съ ними никакой связи; г. Кони никогда не былъ критикомъ «Отечественныхъ Записокъ» и даже никогда не участвовалъ въ этомъ журналѣ, какъ сотрудникъ... Кому это неизвѣстно, и кого, съ какою цѣлю хотять увѣрить въ противномъ?— Въ 250 номерѣ «Сѣверная Пчела» увѣряетъ, будто «Отечественныя Записки» сравниваютъ «Мертвыя Души» съ «Иліадою», «Одиссеею», а Гоголя— съ Гомеромъ!... После этого «Сѣверной Пчелѣ» остается увѣрить публику, что «Отечественныя Записки» называютъ г. Булгарина дароватымъ и отличнымъ писателемъ, а «Сѣверную Пчелу»—превосходною газетою... Чего добраго, пожалуй, и это станется отъ нея!...

—
 Редакція «Москвитянина», объявляя о продолженіи своего журнала въ будущемъ году, распространилась о томъ, что

будто всѣ литераторы раздѣлились на двѣ стороны—одна сторона въ пользу мысли о необходимости европейскаго развитія Руси, другая—въ пользу мысли о возможности самобытнаго развитія изъ самой себя ... Первый разрядъ литераторовъ «Москвитянинъ» раздѣлилъ на невѣждъ незнающихъ ни Запада, ни Руси, и на полуновѣждъ, знающихъ Западъ и незнающихъ Русь. Положимъ, все это и такъ; но вотъ въ чемъ дѣло и вотъ въ чемъ вопросъ: когда же «Москвитянинъ» рѣшитъ намъ задачу о самобытномъ (чуждомъ Западу) развитіи Руси? Вотъ уже два года, какъ издается онъ, кромѣ фразъ и безгласовъ ничего еще имъ не сказано... Правда, онъ ясно доказалъ свое незнаніе Запада; но когда же, когда докажетъ онъ намъ свое знаніе Руси и того, что ей нужно для самобытнаго (чуждаго Западу) развитія?... Вѣдь сборъ незначительныхъ историческихъ матеріаловъ, которые напечатаны въ «Москвитянинѣ» и которыми приличнѣе было бы войти въ составъ какого-нибудь спеціального историческаго сборника, — еще не представляютъ собою рѣшенія заданнаго имъ самому себѣ вопроса... Равнымъ образомъ, и письма Пушкина, писанныя съеѣмъ не для печати, и его шуточный, глубоко ироническій разборъ трагедіи «Марса Посадника» — также не рѣшаютъ вопроса? ... То-то же! На словахъ кого ни послушаешь — всѣ «мы сбили, мы рѣшили», а на дѣлѣ — глядя и выйдеть: «мы сбились сами».

IV
ТЕАТРЪ.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ.

1.

Театральная литература наконецъ надоѣла намъ до-нельзя! А между тѣмъ «Театральная Хроника» необходима въ журналѣ, какъ дополненіе къ «Библиографической Хроникѣ». Что тутъ дѣлать? — Мы рѣшились говорить только о пьесахъ, примѣчательныхъ по эффекту, произведенному ими на публику Александринскаго театра; о другихъ или умалчивать, или говорить коротко, безъ изложенія содержанія. Въ самомъ дѣлѣ, легкое дѣло — рассказывать содержаніе того, въ чемъ не только содержанія — смысла не бываетъ!...

Съ чего же начать? — Въ продолженіи трехъ послѣднихъ мѣсяцевъ надѣлали много шуму слѣдующія пьесы, о которыхъ мы не говорили, и изъ которыхъ едва дышутъ только послѣднія, а первая уже умерла:

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ, ИЛИ ОТЧИЗНА И ЛЮБОВЬ,
риминальная драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ соч. Н. Филимонова.

Эта драма — передѣлка извѣстной повѣсти Марлинскаго «Навзды». Передѣлывать повѣсть въ драму, или драму въ повѣсть — противно всѣмъ понятіямъ о законахъ творчества, и есть дѣло посредственности, которая своего выдумать ничего не умѣетъ, и потому хочетъ жить по неволѣ, чужимъ умомъ, чужимъ трудомъ и чужимъ талантомъ. Когда такого рода чер-

нильные витязи хватаются за хорошую повѣсть — оскорбительно видѣть, какъ они уродуютъ прекрасное произведеніе; когда они берутся за плохую повѣсть — досадно видѣть ихъ тщетныя усилія воскресить забытую нелѣпность. Повѣсть Марлинскаго «Наѣзды» въ свое время была хороша и стѣяла своего успѣха. Хотя герой ея, по своимъ чувствамъ, понятіямъ и поступкамъ, былъ Нѣмецъ съ русскимъ именемъ; хотя въ его русскихъ поговоркахъ высказывался нѣмецкій складъ ума; хотя всѣ событія повѣсти натянута и неестественны, страсти поставлены на ходули, характеры составлены по рецептамъ: однако бойкій, одушевленный рассказъ и хорошій языкъ автора всѣми были приняты за удивительное мастерство воскрешать «дѣла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой», живописать страсти и изображать характеры, да еще какіе — глубокіе, сильные, идеальные... Но теперь — иное дѣло! Съ тѣхъ поръ много утекло воды въ океанъ забвенія, а съ нею и вода повѣстей Марлинскаго... Съ тѣхъ поръ причитались, при-смотрѣлись и прислушались ко многому новому, и лучше поняли, что такое творчество, народность въ искусствѣ, созданные характеры, истинныя чувства и естественно-развивающееся дѣйствіе. Теперь читать «Наѣзды» — все равно, что перечитывать страшные романы г-жи Радклифъ, которые въ свое время производили фуроръ во всей просвѣщенной Европѣ. Видѣть же на сценѣ плохую передѣлку устарѣвшей повѣсти — хуже всего худого, что только можно придумать.

РОМЕО И ЮЛІЯ, Драма Шекспира, въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Переводъ М. Каткова.

Чего не дѣлаютъ у насъ съ бѣднымъ Шекспиромъ? Его передѣлываютъ и пародируютъ г. Полевой, его переводятъ какіе-то мальчишки, его сокращаютъ артисты, растягиваютъ плохіе переводчики; его, наконецъ, даютъ на русской сценѣ,

вмѣстѣ съ Серебрянскими, Березовскими, Гладіаторами, Парашами, Уголинами и прочими сценическими хламомъ!... Переводомъ «Ромео и Юлія» еще посчастливилось: переводъ г. Каткова изъ лучшихъ русскихъ переводовъ драмъ Шекспира; но давать его на сценѣ не слѣдовало: для роли Ромео нуженъ былъ артистъ не только пламенный, вдохновенный, но еще и молодой и прекрасный собою; для роли Юлія нужна такая артистка, какой еще на русской сценѣ не бывало; для прочихъ дѣйствующихъ лицъ также нужны актёры, какихъ у насъ или очень мало, или совсѣмъ нѣтъ. Бѣда Шекспиру: публика при представленіи его пьесъ спитъ, а онъ, вишь, виноватъ!...

ОТЕЦЪ И ДОЧЬ. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ. Передланная съ итальянскаго П. Г. Ободовскимъ.

Г. Ободовскій, вмѣстѣ съ г. Полевымъ — самые ревностные работники для сцены Александринскаго театра. Любо дорого смотрѣть на плодовитую и неутомимую дѣятельность! Одинъ все переводитъ и переводитъ, и притомъ именно все, т. е. всякую всячину въ чувствительномъ и трогательномъ родѣ, другой... не позволяте, сперва надо поговорить объ одномъ...

Чтобъ быть счастливѣйшимъ человекомъ въ мірѣ, дѣйствуя на литературномъ поприщѣ, прежде всего должно — не имѣть таланта... да, не имѣть таланта, однако же и не быть совершенно бездарнымъ писателемъ, а такъ-себѣ — знаете — серѣдка на половинѣ, ни то, ни сѣ: толпа любитъ посредственность... Потому, должно имѣть много дѣятельности, такъ, чтобъ, напримѣръ, ставить драму за драмою — словно блины печь: толпа не злопамятна, и требуетъ, чтобъ ей безпрестанно напоминали о себѣ, чтобъ нѣя пришедшагося ей по плечу господина сочинителя безпрестанно рябило въ ея глазахъ. Потому... но что слѣдуетъ потомъ, я расскажу вамъ послѣ, когда-нибудь, а теперь нѣ нужно поскорѣе рассказать вамъ содержаніе

«Отца и Дочери», а то, пожалуй, этакъ мы и не доберемся до «Елены Глинской»...

Агнеса Доберстонъ вышла замужъ за лорда Станлея, противъ воли своего отца; отъ сего рѣченный отецъ сошелъ съ ума и пошелъ въ домъ умалишенныхъ. Черезъ пять лѣтъ лорду Станлею надобно ворковать съ своею нѣжною голубкою; въ душѣ его пробудилось честолюбіе; цѣлый годъ живетъ онъ въ Лондонѣ, хлопочетъ по выборамъ, а жена тоскуетъ въ небольшомъ городкѣ близъ Дублина. Наконецъ, супруги увидѣлись, — и мужъ безъ дальнихъ околичностей предлагаетъ женѣ разводъ: ему надо жениться надочери какого-то маркиза, чтобъ открыть себѣ политическую карьеру. Жена въ обморокъ, пользуясь которымъ мужъ хочетъ отправить ее во Францію, подкупивъ капитана корабля. Очнувшись, Агнеса несетъ разную высокопарную дичь о проклятіи отца, о сбывшихся надъ нею его мрачныхъ предсказаніяхъ. Слуга Робертъ помогаетъ ей убѣжать съ пятнадцатилѣтнею ея дочерью, Кларою. Въ лѣсу встрѣчается она съ отцомъ, который съ оборванной цѣпью на ногѣ, вырвался изъ дома умалишенныхъ. Слѣдуетъ сцена столкновения виновной дочери съ сумасшедшимъ отцомъ, сцена, исполненная самыхъ пошлыхъ и приторныхъ эффектовъ, общихъ мѣстъ и пустыхъ восклицаній. Все это кажется толпѣ ужасно патетическимъ, отчаянно потрясающимъ: такъ видитъ ребенокъ страшное привидѣніе въ челоуѣкѣ, который, чтобъ испугать его, надѣлъ свою шубу шерстью вверхъ.... И въ самомъ дѣлѣ, Агнеса такъ испугалась, что понесла неизчерпаемую дичь, исполненную высокаго слога и незнанія грамматики:

*Сей горкій видъ страданій не снесу,
О, Господи! разрушь меня огнемъ небеснымъ,
Мой туснелый прахъ вели ты бурямъ разметать;
Я довела его до страшнаго безумья,
Для нѣжнаго отца я отравила, я!...*

Потомъ Агнеса приходитъ въ модный магазинъ Фанни, дочери своей кормилицы. Фанни даетъ ей убѣжище, черезъ что лишается всѣхъ своихъ покупицъ — дрянныхъ женщинъ, которыя такъ и бросаютъ въ Агнесу свои тартюфскія анафемы. Мало того: онѣ хотятъ лишить Фанни жениха, но Генрихъ, сей великодушный женихъ, еще болѣе влюбляется отъ этого въ свою невѣсту. Агнеса добивается въ домѣ сумасшедшихъ мѣста сидѣлки при своемъ отцѣ. Наконецъ, его чудеснымъ образомъ издѣляютъ музыкою; за тѣмъ слѣдуютъ объятія, охи, ахи вздохи... Все это крайне растянута, водяно, приторно, пошло, вздорно, фразисто; характеровъ нѣтъ, дѣйствія никакого. И не мудрено: плоская мелодрама эта передѣлана изъ опернаго либретто... Что въ либретто хорошо, какъ положеніе для музыки, то въ драмѣ, естественно, ужасно нехорошо...

РИМСКІЙ БОЕЦЪ (*Гладиаторъ*). *Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ*, соч. А. Сумѣ, *передѣланная съ французскаю В. К.*

Когда думаешь, говоришь, или пишешь о какихъ бы то ни было драматическихъ пьесахъ, о какомъ бы то ни было театрѣ, — всегда и невольно вспоминаешь нашъ Михайловскій театръ, его французскую труппу, его русскую публику. Чудный театръ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ — нельзя довольно нахвалиться имъ!... Вотъ, напр., какъ не поставить его въ образецъ всѣмъ театрамъ въ мірѣ за его репертуаръ: на Михайловскомъ театрѣ даются или веселые, живые, забавные и умные водевилы французскіе, прекрасно поставляемые, превосходно выполняемые; или комедіи, въ которыхъ отражается современная жизнь, въ концепціи и выполненіи которыхъ видѣнъ этотъ общественный тактъ, сценическое умѣнье, простота и истина свойственныя только французскимъ писателямъ нашего времени, — таковы комедіи *Camaraderie*, *Un bal masqué*, *Les premières armes du duc de Richelieu* и т. п.; или наконецъ такъ называемую

«драму» — эту единственно-истинную трагедию нашего времени — которая находятъ патетическое, потрясающее и высокое въ прозѣ повседневнаго быта, въ дѣйствительности современной жизни, таковы пьесы: *La famille Riquebourg, ou le mariage mal assorti, La Lectrice, Une Faute, Une Chaine* и т. п. Но на немъ не даютъ ни Шекспировскихъ трагедій, для которыхъ мала наша французская труппа, и которымъ не соответствуютъ ея первые таланты, ни новѣйшихъ издѣлій подъ громкимъ именемъ трагедій — этихъ жалкихъ и пошлыхъ поддѣлокъ подъ Шекспировскую и Шиллеровскую драму, которыя такъ же похожи на свои образцы, какъ трагедіи Корнеля и Расина на трагедіи Эсхила, Софокла и Эврипида... За то, въ Михайловскій театръ ходятъ наслаждаться изящнымъ искусствомъ, а не зѣвать и хлопать. Если даютъ водевилъ — вы смѣетесь отъ души; если даютъ комедію — вы, и смѣясь, мыслите и наслаждаетесь; если даютъ драму — потрясенная душа ваша надолго оовѣщается отъ удушья прозаической вседневности мощными и благородными впечатлѣніями... Если изрѣдка случается вамъ видѣть скучныя пьесы и на Михайловскомъ тетарѣ, — такъ это развѣ такъ называемую «высокую комедію» XVIII вѣка; но и тутъ васъ вознаграждаетъ превосходная, художественная игра артистовъ. Но если ужъ и зѣвать, такъ конечно лучше отъ плохой комедіи, чѣмъ отъ плохой, или и превосходной, но плохо выполняемой трагедіи: ибо въ послѣднемъ случаѣ требованія ваши выше и важнѣе...

«Гладиаторъ» есть именно одна изъ тѣхъ трагедій, въ которыхъ авторы становятъ надыбы свою фантазію, прищипориваютъ ее насильственнымъ экстазомъ, ищутъ содержанія въ народахъ, вѣкахъ и эпохахъ, извѣстныхъ имъ только по книгамъ, и то весьма мало; одна изъ тѣхъ трагедій, гдѣ что ни чувство, что ни мысль, что ни слово — то и ложь и фальшь; одна изъ тѣхъ трагедій, которыя насильно распяливаются на пять актовъ и

множество отдѣленій, картинъ, сценъ, выходовъ и т. п., для того только, чтобъ сравняться въ объѣмѣ съ драмами Шекспира; наконецъ, одна изъ тѣхъ трагедій, которыя пишутся для зѣвоты и рукоплесканій толпы, зѣвающей, а все хлопающей, чтобъ слышать себя же самое и чтобъ деньги недаромъ пропадали... Когда Французъ пишетъ драматическую піесу, не выходя изъ соціального элемента, твердо держась своего національнаго созерцанія интересовъ и сущности современной жизни, — ему нѣтъ соперниковъ; онъ простъ, истиненъ, ловокъ, живъ, остроуменъ, блестящъ, трогателенъ, глубокъ; но за то, когда онъ залетитъ въ прошедшіе вѣка и къ чужимъ народамъ, когда съ важнымъ видомъ берется создать что-нибудь великое, — не меньше пяти-актовой піесы, — онъ ложенъ, вычуренъ, фразѣръ, декламаторъ, эффектѣръ, поверхностенъ, пустъ, скученъ... Нѣмецъ тутъ съумѣетъ быть хоть вѣренъ исторіи и выказать свою громадную эрудицію; слѣдственно, въ его драмѣ хоть что-нибудь можно найти, а у Француза — ровно ничего не найдете, кромѣ скуки и трескотни надутыхъ фразъ и фейерверочныхъ эффектовъ... Содержаніе «Гладиатора» всего лучше подтвердитъ нашу мысль.

Мать кесаря Гордіана имѣетъ много тайнъ, которыя не могутъ принести чести такой важной особѣ ея пола; гладиаторъ — наперникъ и повѣренный этихъ страшныхъ и грязныхъ тайнъ. Когда императрица Фаустина готовилась сдѣлаться матерью, ее кто-то увѣрилъ, что для счастья новорожденнаго нуженъ составъ сдѣланный изъ свареннаго ребенка; и вотъ Фаустина замучила одну женщину, разрѣшающуюся въ пытку, преждевременно, дѣвочкою, которую въ ту же минуту вырываетъ изъ рукъ Фаустины въѣжавшій отецъ новорожденной; это самъ гладиаторъ. Онъ спасся съ дочерью въ Египетъ, но тамъ ее у него украли и съ тѣхъ поръ онъ потерялъ ее изъ виду, Флавіанъ, римскій аристократъ, — послѣдователь эпикурейской

школы, страстно любить свою невольницу — Неомедию, хочет на ней жениться. Фаустина, видя въ Неомедіи свою соперницу, велитъ гладіатору убить ее; но гладіаторъ, замѣтивъ въ жертвѣ сходство съ своею женой, разжалобился и поклялся отмстить Фаустинѣ за смерть жены. Но вотъ сцена языческаго брака: несмотря на то, что Неомедія — тайнѣ христіянка и ревностная ученица проповѣдника Орисеена, она рѣшается соединиться съ своимъ возлюбленнымъ по языческимъ обрядамъ и передъ лицомъ языческихъ божествъ. Въбѣгаетъ гладіаторъ, — ее вытаскиваютъ; потомъ народъ схватилъ Орисеена, поносившаго боговъ Рима, и жрецъ осуждаетъ его на смерть. Тогда въ порывѣ религіознаго увлеченія, Неомедія объявляетъ, что она — христіянка, и опрокидываетъ алтарь Юпитера. Ее осуждаютъ на смерть въ циркѣ, отъ рукъ гладіатора. Входитъ гладіаторъ въ циркъ, машетъ словно тросточкой огромной булавой — Римляне изъ всѣхъ силъ бьютъ въ ладоши, завидѣвъ такого молодца... Вотъ вводятъ Неомедию; гладіаторъ опять разжалобился — проситъ Римлянъ помиловать красавицу — тѣ кричатъ «смерть!» — дѣлать нечего: «Ну, душенька (говоритъ гладіаторъ) станьте на колѣни и нагните головку». — Извольте, сударь. — «Теперь снимите же покрывало съ вашихъ плечъ. — «Ахъ, какъ можно! стыдно-съ, привсѣхъ съ. — «Ничего-съ» — да я сдернулъ покрывало... Глядь: на шеѣ родимый знакъ — боги! это дочь его — ахъ, охъ, ой!... Родитель мой!... дочь моя!... Рукоплесканія... Фаустина принуждена спасать Неомедию: отъ нея, по изреченію оракула, зависитъ участь императора, ея сына... Но поздно: народъ окружилъ темницу и хочетъ растѣрзать Неомедию, гладіаторъ прошибъ стѣну, ворвался, зарѣзалъ дочь, и — напыщенной галиматѣй конецъ!... Характеровъ нѣтъ, естественности — ни на волосъ, смыслу — мало; за то, безсмысленныхъ эффектовъ бездна...

ЕЛЕНА ГЛИНСКАЯ, драматическое представленіе, въ пяти дѣйствіяхъ. Соч. Николая Полеваго.

Быть въсьмъ во всемъ, и быть во всемъ первымъ—кажется девизъ литературной дѣятельности г. Полеваго. Слава Кузена заставляла его быть философомъ (о существованіи Гегеля г. Полевой узналъ недавно и, слѣдственно поздно, когда уже не въ состояніи былъ соперничать съ нимъ); слава Гизо и Тьерри заставляли его написать шесть томовъ «Исторіи Русскаго народа» въ XVIII томахъ; опыты Баранта рассказывать исторію простодушнымъ языкомъ лѣтописи заставляли г. Полеваго написать «Клятву при Гробѣ Господнемъ»; слава Шлегелей, барона Экштейна и статьи французскаго журнала «Globe» сдѣлали г. Полеваго критикомъ и взбудили въ немъ любовь и удивленіе къ Шекспиру, превратившіяся теперь въ соревнованіе; слава Сая заставляла г. Полеваго сдѣлаться политико-экономомъ и произнести въ Московской Коммерческой Академіи превосходную рѣчь «О неведественномъ капиталѣ»; ну, словомъ статистика, политическая экономія, исторія, философія, критика, филологія, грамматика, этика, журналистика, лирическая поэзія, повѣсть, романъ,—все это поприще одного г. Полеваго, одного, безъ соперниковъ, безъ помощниковъ... Вольтеръ и Гёте нашего времени, г. Полевой принялся наконецъ за драматическую поэзію. Мелкія піесы ему ни по чемъ: онъ пишетъ не считая, печатаетъ, не гордись, ставитъ на сцену, не гоняясь за рукоплесканіями, хотя—изъ вѣжливости,—и выходитъ на вызовы публики Александринскаго театра... Чтò ему маленькія піесы! Онѣ такъ же не могутъ ничего ни убавить, ни прибавить къ его славѣ, какъ и листья калуфера или наты не могутъ украсить собою лавроваго вѣнца... Но и не въ патриотическихъ піесахъ поставляютъ г. Полевой свою заслугу: онъ хочетъ состязаться съ Шекспиромъ, и если не побѣдитъ его, то не уступать ему—знай-де нашихъ!... Для этого, онъ

снєрва поправилъ, т. е. передѣлалъ «Гамлета», и безъ всякаго рѣсчета и умысла, совершенно безсознательно достигъ прекрасной цѣли: представивъ это вѣковое, колоссальное произведеніе въ миньятюрныхъ размѣрахъ, онъ тѣмъ самымъ приблизилъ его къ смыслу толпы, и, при помощи дарованія актѣровъ, сдѣлалъ на Руси народнымъ это слабое подобіе Шекспирова созданія, отразившаго въ себѣ свой оригиналъ, какъ капля воды отражаетъ въ себѣ солнце. Вызовъ послѣ перваго представленія и вообще чрезвычайный успѣхъ передѣлки «Гамлета» открыли г. Полевому тайну его призванія и его генія—онъ сѣлъ да и написалъ — пародію на «Ромео и Юлію», которую назвалъ «Уголино». Намъ скажутъ, что въ содержаніи «Уголино» нѣтъ ничего общаго съ драмою Шекспира: да, въ ви́шнемъ содержаніи, т. е. въ «сюжетѣ» точно мало общаго, но мысль, но паѳосъ пьесы рождены рѣшительно драмою Шекспира. Въ наше время никто не будетъ такъ простъ, чтобъ подражать формѣ извѣстнаго произведенія; тѣмъ менѣе можно ожидать подобныхъ подражаній отъ того, кто первый на Руси возсталъ противъ пошлой подражательности псевдо классическихъ временъ. Вся постройка «Уголино» лежитъ на любви Нино къ Вероникѣ, и всѣ сцены любви того и другаго суть не что иное, какъ самая жалкая пародія на сцены любви въ «Ромео и Юлію». Чтѣ у Шекспира глубоко и мощно, будучи въ то же время и граціозно — то у нашего самороднаго драматурга — слабо, мелко, приторно, фразисто, сладенько, прятнично. Нино и Вероника — это аркадскіе пастушки, взятые изъ идилліи г-жи Дезульеръ; это разрушенныя герои Флоріановскихъ и Геснеровскихъ поэмъ. Но г. Полевому показалось, что послѣ «Уголино» ему остается только не останавливаться и продолжать идти. Слѣдствіемъ этого убѣжденія была новая пародія на Шекспира — «Елена Глинская». Въ «Уголино» онъ пародировалъ «Ромео и Юлію»; въ «Елена Глинской» онъ пародируетъ — легко

сказать! — «Макбета». Взглянемъ на содержаніе этой новой шародіи.

Теперь ввелось въ моду каждому дѣйствию драмы давать особое какое-нибудь эффектное и заманчивое названіе: этого требуетъ, вѣроятно, искусство сочиненія афишъ, отъ котораго часто зависитъ успѣхъ драмы. Г. Полевой — пламенный поборникъ этого прекраснаго нововведенія, бодро состязается въ немъ съ прочими корифеями современной драматической литературы — гг. Ободовскимъ, Марковымъ, Бахтуринимъ и прочими. Подобная поддержка умнаго нововведенія тѣмъ умилительнѣе со стороны г. Полеваго, что онъ давно уже не любитъ никакихъ нововведеній, даже въ орфографіи, и преслѣдуетъ ихъ всею важностію своего, — впрочемъ, уже нѣсколько запоздалаго, — авторитета. И потому, первое дѣйствіе его новой драмы называется «Боярскій Совѣтъ», второе — «Грановитая Палата», третье — «Литовскій дѣсъ», четвертое — «Кремлевскій Теремъ», пятое — вѣроятно, для бѣльшаго эффекта, какой всегда производитъ таинственность, никакъ не названо. Вся пьеса титулуется «драматическимъ представленіемъ», вѣроятно, для доказательства ея близкаго родства съ созданіями Шекспира. Итакъ, первое дѣйствіе — «Боярскій Совѣтъ». Дѣйствіе происходитъ въ залѣ кремлевскихъ теремовъ, но совѣта мы не видимъ; сперва являются дьякъ и окольникій, и первый сообщаетъ второму, что бояре — шумятъ. За тѣмъ слѣдуетъ длинная, скучная и ничего въ себѣ не заключающая сцена между двумя этими безличными лицами. Но вотъ явленіе второе: оно поживѣе. Бояре являются на лицо и «шумятъ», ругая Оболенскаго, заклинаясь не уступать ему. Хитрый интриганъ Василій Шуйскій подтруниваетъ надъ ними себѣ подъ носъ. Является Оболенскій, и велитъ имъ идти по домамъ, такъ какъ-де княгиня уже распустила совѣтъ. — Неидемъ! — А почему? — И пошла потѣха! Главная причина спора — осужденіе на смерть князя

Андрея, второго сына Иоанна III, произнесенное княгиней Еленою, матерью Грознаго. Отъ споровъ и брани дошло было и до рѣзни; но вотъ является новый герой—лицо, сдѣлавшееся необходимою принадлежностію всякаго русскаго романа и русскои драмы — шутъ, Пахомко. Его шутки образумиваютъ бояръ—они становятся тише, и уже только рычать другъ на друга, но не кусаются. Входитъ Елена: В. Шуйскій уже успѣлъ ей «донести». Она велитъ боярамъ просить прощенія у Оболенскаго, но тѣ рѣшительно отказываются, а Оболенскій говоритъ, что презираетъ равно и ихъ вражду и ихъ дружбу. Иванъ Бѣльскій умоляетъ княгиню отиѣнить приговоръ князю Андрею, а Пахомко трунить надъ В. Шуйскимъ, поетъ, ломается — приятная смѣсь высокаго съ комическимъ!... Наконецъ, Елена остается на сценѣ только съ Оболенскимъ, Пахомкою и Запольскою (наперсницею). Она говоритъ Оболенскому, что смиритъ буйство бояръ, осмѣливающихся не уважать его, опору престола и защитника царства. Оболенскій проситъ ее дать ему случай на полѣ брани доказать ей, что онъ готовъ нести ей жизнь на жертву.

Елена (*съ жаромъ*).

Нѣтъ, жизнь твою мнѣ дорога—щадь ее!

Оболенскій (*изумляясь*).

Княгиня!

(*Богомолье*)

Я иду готовить войско

На встрѣчу польскаго посла и Шехъ-Алея.

Чудная сцена! какъ ловко умѣлъ нашъ драматургъ приподнять для зрителей и читателей край завѣсы, скрывающей его драму. и одною фразою обнаружить любовь Елены къ Оболенскому!... Правда, это при Запольской и Пахомкѣ; но вѣдь сильныя чувства не замѣчаютъ свидѣтелей, а къ тому же, Запольская — наперсница Елены, Пахомко — шутъ, дуракъ — не пойметъ: такъ чего же ей было и церемониться?...

Во второмъ актѣ, Марія воркуетъ печально объ отсутствіи голубка ея — Оболенскаго, и жалуется на его охлажденіе. Входитъ Пахомко. Они, видно, знакомы; по крайней мѣрѣ, Пахомко называетъ себя слугою Маріи. Онъ проситъ ее спасти отъ смерти «важнаго человѣка». — Да какъ же это? — Попреси мужа. — А кто мой мужъ? — Будто ты не знаешь? — Изъ этого узнаемъ мы, что Оболенскій женатъ на Маріи инкогнито, — что было очень въ духѣ того времени. Она даже не знаетъ, кто ея родители. Слышенъ стукъ — Пахомко уходитъ, Оболенскій входитъ — слѣдуетъ нѣжная сцена, гдѣ Марія говоритъ, что она «состарѣлась сердцемъ». Онъ проситъ у нея чару романей, чтобъ развеселиться. Марія говоритъ просебя: «Не поцѣлуй Маріи, а чара романей развеселитъ его!... Какъ все это въ духѣ того времени! Конечно, теперь вѣдь не пьютъ романей!... Оболенскій одинъ; въ длинномъ монологѣ, онъ жалѣетъ Марію, рассказываетъ, что «мятежную судьбу свою и огненные страсти соединилъ съ ея невиннымъ сердцемъ» — «горе (продолжаетъ онъ), когда не чистая любовь, святая сердца связала, а корысть» (именно языкъ того времени!...). Далѣе, онъ вспоминаетъ время, когда думалъ только о мечѣ, смѣясь надъ боярскими смутами... «Будто огненные змѣи, теперь они облапили меня» заключаетъ онъ. Какое выразительное слово «облапили!» Однако, оно приводитъ меня въ невольное раздумье: если авторъ надѣялся здѣсь придать этому слову польское значеніе, то оно не имѣетъ тутъ никакого смысла; если же понимать въ настоящемъ, а не переносномъ значеніи, то надо придать змѣямъ лапы, которыхъ эти пресмыкающіяся такъ же лишены, какъ медвѣди жала. А все-таки же хорошо это «облапить» — и смѣло, и живописно, и ново!...

Слѣдствіемъ просьбы Маріи было то, что Оболенскій догадался о ея тайныхъ сношеніяхъ съ кѣмъ-то, разсвирѣпѣлъ, какъ огненный змѣй съ лапами, и хотѣлъ «облапить» — старую наиву

Марин, но раздумавъ отложить это интересное дѣло до другаго болѣе удобнаго времени, и ушелъ. Дѣйствіе переносится опять въ кремлевскія палаты. Елена принимаетъ посла крымскаго хана, который говоритъ заносчиво; Оболенскій ему не уступаетъ, — война объявлена. За тѣмъ представляется Шихъ-Алей. Далѣе польскій посолъ требуетъ въ оскорбительныхъ выраженіяхъ выдачи Глинскихъ, родственниковъ Елены; надѣясь на Оболенскаго, Елена и польскому послу объявляетъ войну..

Въ литовскомъ лѣсу совершаетъ свои чары колдунъ съ вайделотами. Онъ сзываетъ чертей и толкуетъ о Гедеминахъ и Ольгердахъ. Является Симоонъ Бѣльскій. Онъ передался на сторону Литовцевъ и въ битвѣ съ Оболенскимъ смертельно раненъ. Колдунъ осердился, и пуще прежняго сталъ звать чертей; но, испугавшись самъ какофоніи и бессмыслицы стиховъ, проваливается подъ полъ при ударѣ грома. Бѣгутъ Поляки, преслѣдуемые Русскими. Оболенскій вступаетъ, отъ нечего дѣлать, въ разговоры съ умирающимъ Бѣльскимъ, который отъ того только и не торопится умереть, что ему нужно побраниться съ Оболенскимъ. За этимъ онъ умираетъ. Оболенскій, опершись на мечъ, читаетъ надъ тѣломъ Бѣльскаго длинную речецу. Приходитъ колдунъ и вызывается открыть ему будущее, становится его въ кругъ и не велитъ призывать имени Божьяго. Оболенскій труситъ. Грешитъ громъ. Черти поютъ:

Свѣте громъ
Рѣшетоу!
Жарьте змѣй
Для людей!
Поспѣшите, поспѣшите,
Духи тьмы!

Оболенскій со страстей не замѣчаетъ, что черти его надуютъ, и что въ ихъ пѣсни нѣтъ смысла. Является котѣлъ съ тяжущимися (о чемъ тяжба — не сказано) привидѣніями. Чер-

ти опять затянули стихо-ворную дичь. Является женщина под покрываломъ, съ вѣнцомъ въ одной рукѣ, съ кинжаломъ въ другой. — Кто ты привидѣніе? — спрашиваетъ Оболенскій. — Я Елена. — А вѣнецъ чей? — Мономаховъ. — А кому его? — Тебѣ. — А сынъ Елены? — Привидѣніе грозитъ кинжаломъ... Оболенскій ругаетъ привидѣніе, выбѣгаетъ за черту, — и все исчезаетъ. Странно, читатели, не правда ли? Но не пугайтесь — вѣдь это только пародія, и притомъ очень не ловкая, на сцену вѣдьмъ въ «Макбетъ»... Можетъ быть, это насмѣшка надъ Шекспиромъ, допустившимъ участіе нечистой силы въ драму, полную во всемъ остальномъ истины и дѣйствительности?.. Но, г. Полевой, вѣдь «Макбетъ» не историческая драма, у ней нѣтъ ничего общаго съ драматическими хрониками Шекспира; слѣдовательно, Шекспиръ имѣлъ полное право на страшно-поэтическое олицетвореніе страстей Макбета въ образѣ вѣдьмъ, существованію которыхъ въ его время еще вѣрили; а ваше «драматическое представленіе» — вѣдь историческая эпоха, изображаемая имъ, относится не къ иионическому періоду русской исторіи, а къ самому историческому?...

Выбѣжавъ изъ круга, въ которомъ его морочили дрянными, бессмысленными виршами и пошлыми фокусъ-покусами, Оболенскій зацѣпляется за труппу Бѣльскаго: многозначительная случайность! Громко грозитъ онъ смѣчь колдуна, а тихонько спрашиваетъ его «Мой ли будетъ вѣнецъ, и не погибну ли я?» Колдунъ отвѣчаетъ плохими стихами:

Нѣтъ, долготѣль, славенъ,
Ты будешь, но страшись: настанетъ часъ твой.
Когда двѣ сядутъ сестри
Во кракъ, средь ночной поры,
При свѣтѣ мѣсяца *младаго!*
Кольца страшись *золотаго,*
И зелья берегись *лихаго!* (*Насмѣливо*).
Привѣтствую тебя, великій князь московскій!

За тѣмъ громъ; колдунъ опять проваливается подъ полъ, слышны трубы; бѣгутъ воеводы; одинъ кричитъ: «здравствуй, танъ Гламиса!» — нѣтъ, извините: «нашѣстникъ смоленскій!» — Другой кричитъ: «здравствуй, танъ Кавдора!» — опять нѣтъ: «нашѣстникъ казанскій!» — сейчасъ-де прискакалъ гонецъ отъ Елены!» Какова пародія, читатели? — Право, чтó передъ нею Энеида, вывороченная наизнанку!...

Скучно рассказывать содержаніе того, въ чемъ нѣтъ никакого содержанія, въ чемъ есть только — «слова, слова, слова», какъ говорятъ Гамлетъ; скучно развивать дѣйствіе драмы, въ которой нѣтъ никакого дѣйствія, есть только разговоры, — и потому сократимъ остальные два акта въ нѣсколько строкъ и скажемъ, во первыхъ, что самое смѣшное, плоско-эффектное мѣсто въ IV актѣ есть сцена Пахомки съ Труниллою, изъ-подъ надзора котораго шутъ уводитъ Марію, а въ V актѣ явленіе тѣни предка Глинскихъ въ длинномъ савантѣ; дажѣ то, что Марія сходится въ кельѣ съ сестрою своею, Соломонією, разведенною супругою Василія Іоанновича; что Елена даетъ кольцо Оболенскому; что В. Шуйскій, неся ядъ Еленѣ, хвалитъ Оболенскому, съ злобною улыбкою, доброе, заморское вино, изцѣляющее отъ всѣхъ недуговъ, а Оболенскій, какъ дуракъ, ничего не видитъ, ничего не понимаетъ, обнимается и воркуетъ съ Марією... Мелодрама заключается прятничною, сычною сценою:

В. Шуйскій.

Войны! Возмите Оболенскаго!

Марія (*схватываетъ его*).

Нѣтъ! я не отдамъ его — онъ мой (*падаетъ въ его объятія*).

Оболенскій.

Прочь, презрѣнные служивки! благоговѣйте передъ судьбою, постигнувшею преступное величіе — благоговѣйте передъ кончиною праведницы! (*становится передъ Марією на колѣни*).

Марія.

Мой милый! есть за гробомъ живишь! (*умираетъ*).

Оболенскій.

Жизнь за гробомъ! Да, я знаю, вѣрю, что есть она, и страшусь помыслить о ней!—Я вижу, кровожадные, вижу жребій мой въ злобныхъ взорахъ вашихъ!—Непостижннй жребій! куда ты довелъ меня? Казнь очиститъ преступленіе мое.. Она будетъ за меня молиться!

О, риторика! о, наборъ словъ, взятыхъ и сведенныхъ на удачу изъ словаря! О, герой безъ образа и лица, безъ характера и силы, безъ величія и смысла! О, драма, въ которой все говорятъ — говорятъ много, длинно, водяно, сантиментально, растянута, вяло, плохую рубленною прозою, и никто ничего не дѣлаетъ! О, драма, въ которой нѣтъ ни характеровъ, ни дѣйствія, ни народности, ни стиховъ, ни языка, ни правдоподобія; но въ которой много русскихъ словъ, ошибокъ противъ грамматики и языка, въ которой бездна скуки, скуки, скуки!... О, жалкая и оскорбляющая чувство пародія на великое созданіе великаго генія...

Помните ли вы, читатели, какой грозный разборъ написалъ, нѣкогда, издатель «Московского Телеграфа» на мелодраму князя Шаховскаго «Двумужница»? Этотъ разборъ г. Полевой перепечаталъ потомъ, слово въ слово, въ своихъ «Очеркахъ русской литературы», изданныхъ имъ въ Петербургѣ, въ 1839 году... Если вы совсѣмъ не знаете этой статьи, или забыли ее,—мы напомнимъ вамъ кое-что изъ нея. Статья эта написана въ формѣ разговора, будто бы подслушаннаго г. Полевымъ въ кофейной Петровскаго театра: одинъ изъ разговаривающихъ молодой человекъ, защищаетъ «Двумужницу», другой, старикъ, нападаетъ на нее.

Молодой человекъ. Если вамъ мало похвалы, которая начтена въ «Сѣверной Пчелѣ», такъ довольно ли будетъ того, что въ Петербургѣ зрители рыдали, не просто плакали отъ нея; даны были въ истерикѣ и обморокахъ; мужчины кричали, что у нихъ *русскій духъ въ очью пролетается*; что это сѣтлая звѣзда народности литературной, национальности драматической, пѣсь лебедя поэтическаго. А вы согласитесь, что Петербургъ всегда перещеголяетъ Москву вкусомъ.

Старикъ. Едва ли въ драматическомъ искусствѣ. Гдѣ доминѣ Филатиа пляшетъ въ митавскомъ маскаралѣ, гдѣ доминѣ уродливыя бенефежныя піесы безобразуютъ сцену, тамъ едва ли можно положиться на вкусъ публики. Вы видѣли «Двумужнипу» здѣсь?

М. Ч. Нѣтъ, не видалъ. Но это чудо, это прелесть...

Ст. А судя по прежнему—

М. Ч. Что же: по прежнему?

Ст. То, что А. А. Шаховской доминѣ испыталъ всѣ роды драматическихъ сочиненій; писалъ трагедіи, комедіи, оперы, водевилы, мелодрамы, въ стихахъ и прозѣ; бралъ предметы изъ библіи—вспомните «Доббору»—изъ исторіи, изъ сказокъ; переделывалъ въ драму романы В. Скотта, Ж. Н. Загоскина, поэмы Пушкина, обошелъ весь міръ ища, предметовъ для драмы, былъ и въ древней Греціи и въ новой Франціи—такое безпокойство показываетъ, безъ сомнѣнія, или многообразное величіе генія, или рѣшительную неудачу, которая встрѣчаетъ писателя на всѣхъ тропинкахъ Парнаса, такъ что ему не остается ничего дѣлать, какъ...

М. Ч. Ну что жъ—докончите.

Ст. Какъ перестать писать, или сознаться подобно Репетилову:

И я въ чины бы лѣзъ, да неудачи встрѣтилъ.

Не знаю, какъ вамъ, читатели, а мнѣ такъ кажется, что все это можно примѣнить къ г. Полевому, по поводу его «Елены Глинской»... Да, въ статьѣ «о Двумужницѣ» я вижу горькую насмѣшку судьбы, издѣвающейся надъ человѣческой личностію... Статья эта была рѣзка, но справедлива и основательна: между тѣмъ, все-таки «Двумужница» князя Шаховскаго въ тысячу разъ лучше и «Елены», и всѣхъ патріотическихъ, и народныхъ, и чужестранныхъ драматическихъ представленій г. Полеваго... Отчего же г. Полевой напалъ съ такою энергіею и такимъ жаромъ на піесу князя Шаховскаго?... Оттого, читатели, что въ жизни человѣка есть періодъ, когда всякое посредственное или фальшивое явленіе въ сферѣ искусства кажется святотатственнымъ оскорбленіемъ священнѣйшихъ вѣрованій души... Мы потому же самому напали и на «Елену Глинскую»... Не дивитесь, что г. Полевой иъкогда такъ хорошо понималъ достоинство драматическихъ произведе-

ній, на поприщі которыхъ теперь сѣмъ подвизается съ такимъ усердіемъ и такимъ успѣхомъ: тогда и теперь—между этими словами — увь! — много разницы...

2.

Вслѣдъ за литературными комарами знаменитаго «сочинителя» г. Булгарина, прилетѣли, почуввъ весну, и настоящіе комары, а за ними, по тому же закону родства, появились и бенефисные комары — множество драмъ, водевилей и прочаго вздору; шумять, жужжать, пищать; посѣтители Александринскаго театра хлопаютъ, вызываютъ; любители изящнаго, попавшіеся въ театръ по случаю, или по неволѣ, зѣваютъ, дремлютъ, проклинають досужую фантазію драматическихъ бумагошарателей, трутней сценическаго улья... Боже мой, сколько мелкихъ водевильныхъ страстей волнуется, сколько крошечныхъ авторскихъ самолюбій напряжено, надуто, раздуто — истинная буря въ стаканѣ воды!... Тутъ свой міръ, свои нравы и обычаи, свои извѣстности и славы... Подлинно, премудро устроенъ Божій міръ: естествоиспытатель, посредствомъ микроскопа, открываетъ цѣлую вселенную въ каплѣ болотной воды; театральнй рецензентъ, посредствомъ простой зрительной трубки, или лорнета, открываетъ въ каплѣ русской литературы отдѣльную литературу — литературу сценическую, или драматическую... И въ этой пародіи на драматическую поэзію, и въ этомъ крохотномъ, микроскопическомъ уголкѣ словеснаго міра есть свои авторитеты и авторитетки, свои гени и таланты, словомъ, свои аристократы и плебей... Чудотворная сила солища, живительнымъ лучомъ весеннимъ воззываетъ къ жизни мириады инфузорій въ каплѣ болотной воды, и десятки драмъ и водевилей въ бенефисной литературѣ русской!... Начнемъ же съ гениевъ и комичныхъ талантами.

ХРИСТИНА, КОРОЛЕВА ШВЕДСКАЯ. Драма въ трехъ дѣйствіяхъ, передѣланная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.

ЦАРЬ ВАСИЛІЙ ІОАННОВИЧЪ ШУЙСКІЙ, ИЛИ СЕМЕЙНАЯ НЕНАВИСТЬ. Драматическое представленіе въ пяти дѣйствіяхъ, съ прологомъ въ стихахъ, соч. П. Г. Ободовскаго.

Г. Ободовскій перевелъ, передѣлалъ и сочинилъ драмъ около сотни. Разумѣется, на это потребно было не мало времени; но г. Ободовскій и подвизается на этомъ поприщѣ уже не малое время, лѣтъ десятка полтора, по крайней мѣрѣ, сколько мы помнимъ. Несмотря на то, онъ началъ входить въ сильную извѣстность между бенефициантами, записною публикою Александринскаго театра и подписчиками «Репертуара» г. Песоцкаго, очень недавно, года два, не больше. Но это сдѣлалось не случайно. Чего добраго! можетъ быть, скоро г. Ободовскій попадетъ въ число корифеевъ русской драматической литературы... Помните ли вы въ «Горѣ отъ Ума» простодушный отвѣтъ Скалозуба Фамусову, на похвалу послѣдняго за его хорошую службу:

Довольно счастливъ я въ товарищѣхъ моихъ.

Ваняцинъ какъ разъ открыты:

То старшихъ выключать никакъ,

Другіе, смотришь, перебиты?

Раннія и неожиданныя горестныя утраты, которыя недавно понесла осиротѣлая русская литература въ лицѣ своихъ истинныхъ представителей; апатическое молчаніе, которое упорно хранятъ, или слишкомъ рѣдко, какъ бы не хотя, прерываютъ оставшіеся даровитые люди, — все это выдвинуло впередъ такихъ сочинителей, которымъ, безъ того, вѣкъ бы свой пришлось ограничиться извѣстностью только между своими пріятелями. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, даже плодовитый сочинитель, г. Булгаринъ, принужденъ ограничиться только комарь-

нимъ жужжаньемъ про свою прошлую «сочинительскую» славу; по толкиныхъ почтенныхъ и похвальныхъ трудахъ, онъ, нашъ Несторъ-романистъ, тщетно хватился было за драму: коварная «Шкуна» потопила его, — и, сидя за пянтюю своего «Эконома»,

Онъ пишетъ въ тишинѣ

Главою лавровою.....

Sic transit... и пр. Но утѣшимся: былъ бы прудъ, рыба будетъ... Теперь на первомъ планѣ рисуется всеобъемлющій г. Кукольникъ; за нимъ, на почтительной дистанціи, блистаютъ вѣтчо юный талантъ, г. Полевой; за нимъ, на третьемъ планѣ, съ приличною истинному таланту скромностью, разскалывается публикѣ за снисходительные вызовы, — прилежное и усердное дарованіе г. Ободовскаго. . Вообще, талантъ г. Ободовскаго удивительно приличенъ, удобенъ и соответственъ настоящему положенію русской литературы: онъ не можетъ оскорбить своимъ превосходствомъ ничего самолюбія, хотя и дѣйствительно превосходить многихъ драматистовъ нашихъ... Драмы г. Ободовскаго, и переводныя, и передѣланныя, и оригинальныя, отличаются тою общою имъ характеристическою чертою, что онѣ не то, чтобъ хороши, да и не то, чтобъ слишкомъ дурны (ибо на Александринскомъ театрѣ играютъ еще и худшія, а сочинители ихъ тѣмъ не менѣе награждаются вызовами), такъ себѣ — середка на половинѣ... Счастливый талантъ! Враговъ нѣтъ, а славы много, и славы безъ терній, безъ огорченій...

Хотя «Христина» и передѣланная, а «Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій» оригинальная драмы г. Ободовскаго; но обѣ онѣ носятъ на себѣ отпечатокъ кровной родственности, и обѣ кажутся оригинальными произведеніями одного и того же сочинителя... Посмотримъ на нихъ поближе, и начнемъ съ первой, т. е. съ «Христины». Дѣло давно уже извѣстное, что г. Ободовскій не совѣтъ счастливъ въ выборѣ иностранныхъ пьесъ

для своихъ переводовъ и передѣлокъ: и въ «Христинѣ» онъ не избѣжалъ этого несчастія, такъ давно и такъ постоянно его преслѣдующаго. Это пьеса вялая и сонная по дѣйствию, но тѣмъ усладительнѣйшая для нѣмецкихъ бюргеровъ, которыхъ жизнь прозябаетъ подъ девизомъ: «bete und arbeite», тѣмъ эффектнѣйшая для чувствительныхъ добрыхъ нѣмецкихъ филлистеровъ, которые и въ драмѣ любятъ созерцать безжизненность и вялость своего домашняго существованія. Видя эту драму на сценѣ, безъ помощи аффиши, даже и въ третьемъ актѣ не привыкнешь отличать одно лицо отъ другаго, — чему, кромѣ отчаянной безхарактерности и безличности героевъ, много способствуетъ магнетическое и сонливое дѣйствию, производимое драмою на зрителя.

Вотъ содержаніе новой передѣлки нашего неутомимаго передѣлывателя. Молодой графъ Штейнбергъ, Шведъ и племянникъ шведскаго патриота, воспитанный въ Германіи и влюбившійся тамъ въ молодую графиню Спарре, теперь наперсницу королевы Христины, возвращается на родину къ старому дядѣ; какимъ-то счастливымъ случаемъ, онъ спасаетъ отъ потопленія королеву, котормъ, узнавъ своего избавителя, жалуетъ его въ камеръ-юнкеры своего двора, и хочетъ пожаловать еще и въ свои любовники. Первое званіе молодой человекъ принялъ, другаго не принимаетъ ни подъ какимъ видомъ: онъ дескать, мечтаетъ о той, которой имя во дворцѣ и произнести не смѣетъ. Христина при каждомъ удобномъ случаѣ открыто вѣшается ему на шею, клянется погубить «милую воровку его покоя», и — о, Боже! — узнаетъ въ соперницѣ свою любимицу. Но давъ слово погубить, она хочетъ сдержать его и готова отослать чету голубковъ въ рудники. Между тѣмъ, у королевы былъ любовникъ, графъ де-ла-Гарди, былъ и другой, возвышенный первымъ и погубившій его клеветою, маркизъ Сантино, хитрецъ, клеветникъ и поэтъ, чѣмъ особенно и плѣнилъ

«покровительницу наукъ и искусствъ». Первый любовникъ свергнуть съ своего величія, второй также, потому что оказался обманщикомъ; молодой графъ не хочетъ быть даже мужемъ королевы, которая готова бы, пожалуй, и на это, — благо онъ, видите, происходитъ отъ старинной королевской крови. Что дѣлать? Христина вызываетъ цвейбрюккенскаго принца, за котораго хотѣла было выйти замужъ, да разочувствовалась о величіи своей роли въ Европѣ и Швеціи и объявила его просто наследникомъ. Чувствовать — такъ ужъ чувствовать! Любовники прощены и обняты королевою. Сентиментально-величественныя фразы въ бюргерскомъ вкусѣ — и драма кончается, не уступая въ заключеніи любой добродѣтельной драмѣ слезогонителя нѣмецкаго, Коцебу. Ни Христина драмы, ни Христина сцены, разумѣется, не носятъ и тѣни сходства съ историческою Христиною.

«Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій» есть явное подражаніе «Скопину Шуйскому» г. Кукольника. Подлинно, вещи познаются и оцѣняются по сравненію: «Скопикъ Шуйскій» самъ по себѣ есть не больше, какъ довольно сносное произведеніе человѣка не безъ дарованія; но въ сравненіи съ «Царемъ Васильемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ» это просто — Шекспировское произведеніе. За то, съ своей стороны, «Царь Василій Іоанновичъ Шуйскій» есть довольно несносное произведеніе человѣка работающаго; но въ сравненіи, напримѣръ, съ «Александромъ Македонскимъ» г. Маркова, — это великое, колоссальное произведеніе... Вездѣ безконечная лѣствица твореній — и въ русской литературѣ!... Пять дѣйствій и еще прологъ — страшно! Словно тяжелый сонъ послѣ сытнаго ужина, представляются намъ эти пять дѣйствій и одинъ прологъ, да еще два водевиля послѣ нихъ... И врагу лютому нельзя пожелать такого сна... Снилось намъ, будто какой-то молодой человѣкъ, въ военномъ костюмѣ древней Руси, говорилъ что-

то свысока, размахивалъ руками, а потомъ подписалъ сдачу Кексгольма. «Это прологъ кончился», сказали намъ, когда мы проснулись отъ рукоплесканій восторженной публики. И вотъ снова тяжелый сонъ смежилъ своими «свинцовыми перстами» усталыя наши вѣжды, и снилось намъ, что царемъ Василюмъ Иоанновичемъ Шуйскимъ овладѣлъ братъ его, Дмитрій, который владѣетъ жена его, Екатерина, урожденная Малыта Смуратова; что Василю Иоанновичъ изъ историческаго Шуйскаго, хитраго, пронырливаго интригана, превратился въ слабаго, добраго старичка, который все охаетъ, говоря, что людямъ вѣрять нельзя. Дмитрій дѣйствуетъ изъ-за жены, которая чуть не бьетъ его на сценѣ, при публикѣ Александринаскаго театра; однако онъ ловко, вопреки природной тупости, единственно изъ угожденія г. сочинителю, успѣшно поселяетъ недовѣрчивость къ Скопину въ душѣ безхарактернаго Василю. Скопинъ въ опалѣ. Василю съ горя идетъ бесѣдовать съ тѣнями предковъ на гробахъ; Скопинъ, по тому же побужденію, очутился тамъ прежде (то-то молодыя-то ноги!) и засталъ тамъ бояръ, которыхъ Прокопій Ляпуновъ уговариваетъ, свергнувъ Василю, объявить царемъ Скопина Шуйскаго... Скопинъ, слышалось намъ сквозь сонъ, понесъ такую заоблачную рацею, что Ляпуновъ, не зная, что и дѣлать, заткнулъ себѣ уши; вдругъ входитъ царь, обвиняетъ Скопина за вѣрность, страдать бояръ, но изъ презрѣнія къ нимъ не хочетъ ихъ ни казнить, ни вѣшать; а Ляпунова называетъ только горячею головою, которая изъ любви къ родинѣ, готова напроказить и Богъ знаетъ что... Какой добрый этотъ Василю Иоанновичъ Шуйскій! Какъ жаль, что онъ таковъ не въ исторіи, а только во снѣ... или въ драмѣ г. Ободовскаго!... Потомъ, или прежде этого, не помнимъ хорошенько, — снилось намъ, что за кулисами шумъ и крики, что Екатерина на сценѣ съ 14-ти лѣтнимъ сыномъ, своимъ Георгіемъ, который очень любилъ Скопина и

котораго Скопинъ тоже любитъ. Входитъ какой-то Нѣмецъ; Екатерина даетъ ему денегъ и велитъ метить въ «черное сердце»; Нѣмецъ выбѣжалъ; за кулисами выстрѣлъ; за тѣмъ вбѣгаетъ на сцену мужиковъ пять-шесть, съ длинными ножами и ружьями—хотятъ убить отродѣ Малюты Скуратова, Екатерину съ сыномъ, но не подходятъ къ ней близко: они знаютъ, что сейчасъ долженъ войти царь и спасти ихъ жертвы; вотъ они издалека и машутъ ножами и руками, а Екатерина кричитъ (прикинулась, что и правду боится); входитъ Василій, мужики попадали наземь; Екатерина съ сыномъ — къ ногамъ царя; занавѣсъ опускается, публика хлопаешь...

Потомъ случилось намъ, что у Дмитрія Пфуйскаго пиръ, на которомъ онъ напился до того, что еле на ногахъ держался. Входитъ Скопинъ; Екатерина подноситъ ему кубокъ вина съ ядомъ; «въ винѣ ядъ», говоритъ Скопинъ въ видѣ моральной сентенціи, а Екатерина испугалась, что онъ угадалъ ея злое намѣреніе: эффектъ! Скопинъ отливаетъ половину, а Екатерина уходитъ, какъ ни въ чемъ не бывало, не заглянувши въ кубокъ. Входитъ Георгій; Скопинъ проситъ его выпить за свое здоровье; Георгій пьетъ. Гости разошлись: эффектная сцена смерти Георгія, кривлянія и завыванія Екатерины; занавѣсъ опускается — мы опять проснулись отъ рукоплесканій...

Когда мы снова погрузились въ нашъ магнетическій сонъ, то думали увидѣть на сценѣ трупъ Скопина, выставленный для ващшаго эффекта, какъ вдругъ ничего не бывало — покойникъ идетъ себѣ здоровехонекъ на площадь, и на площади Василій и народъ, т. е. человѣкъ съ десятокъ мужиковъ и бабъ. Царь назначаетъ Скопина воеводою надъ войскомъ противъ Сигизмунда, и называетъ Скопина «Отцомъ Отечества». видно, это римское обыкновеніе было также и въ русскихъ нравахъ... Еще прежде этого случилось намъ, что одинъ бокъ

ринъ, укоряя другаго въ злоязычїи, сказалъ два извѣстныхъ стиха сатирика Милонова:

Для остраго слова
Готовъ онъ уязвить и матеръ и отца.

Не шутите Милоновымъ: хоть онъ родился въ 1792, а умеръ въ 1821 году, но эти стихи знали наизусть еще при царѣ Василии Іоановичѣ Шуйскомъ... Вотъ, когда царь и Скопинъ все переговаривали, послѣдній, видя, что больше уже нечего дѣлать, началъ кончатся. Для большаго эффекта вбѣжала Екатерина и въ риторическомъ бреду мелодраматическаго отчаянія разболтала тайну своего преступленія. Василий бросаетъ скипетръ и самъ упадаетъ на полъ... Когда мы проснулись отъ рукоплесканій и вызывовъ публики, восторженной сими изыщнымъ произведеніемъ, занавѣсъ былъ уже опущенъ...

СВЯТОСЛАВЪ. *Драматическое представленіе въ четырехъ картинахъ, въ стихахъ.*

Эта драма составляетъ переходъ отъ драмъ г. Ободовскаго къ «Александру Македонскому» г. Маркова: она значительно поуже первыхъ и значительно лучше послѣдней. Имени автора не выставлено, но видно, что это или очень молодой, или весьма старый человѣкъ, ибо только въ этихъ двухъ крайностяхъ человѣческаго возраста можно выбрать героемъ драмы такое полусторическое, а потому и не драматическое лицо. Подобныя драмы въ наше время то же самое, что некогда были эпическія поэмы и классическія трагедїи: о содержаніи не хлопотали, гнались только за «сюжетомъ», и смѣло навязывали каждому лицу одни и тѣ же чувства, страсти, слова и рѣчи, хотя бы это лицо было — хазарскій, печенежскій, калмыцкій князь, или византійскій императоръ, или рыцарь среднихъ вѣковъ. Да оно вѣдь и легче: не тре-

бусть ни знанія людей и жизни, ни историческаго изученія, ни таланта творчества. Всѣ посредственности нашего времени строго слѣдуютъ этому преданію псевдо-классической старины: это романтики только въ мужицкихъ поговоркахъ. Истинная драма нашего времени угадана только Французами: это драма современнаго общества, образчиками которой могутъ служить пьесы въ родѣ: «La famille de Riduebourg», «Une Faute», «La Lectrice», «Une Chaîne» и т. п. Драма историческая требуетъ огромнаго творческаго таланта, и должна быть достояніемъ только гениальныхъ поэтовъ. Къ тому же, она совсемъ не для сцены, ибо для такой драмы нѣтъ театровъ не только у насъ, даже въ Европѣ; чтобъ разыгрывать подобныя драмы, необходима труппа по крайней мѣрѣ изъ 500 человекъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ бы талантъ, развитый эстетически, знакомый съ исторіею. Въ числѣ этой огромной труппы должны быть и такіе артисты, изъ которыхъ каждый годится только для одной роли, и хотя бы ему случилось только разъ въ годъ сыграть, но онъ долженъ получать хорошій окладъ. Тогда можно бъ было ставить на сцену даже и Шекспировскія драмы, которыя только тогда и доставляли бы публикѣ глубочайшее и возвышеннѣйшее нравственное (не говоримъ: только эстетическое) наслажденіе; а до тѣхъ поръ, драмы Шекспира будутъ только усыплять насъ въ театрѣ и оскорблять наше чувство уродливимъ и бессмысленнымъ выполненіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, что за радость видѣть одну или двѣ роли не только порядочно и со смысломъ, но даже и превосходно исполненныя, а на всѣхъ остальныхъ дѣйствующихъ лицъ смотреть какъ на маріонетокъ, приводимыхъ въ движеніе нитками и пальцами?... Французская драма современнаго общества, о которой мы говорили выше, не требуетъ, по своей немногосложности, ни большихъ труппъ, ни особеннаго множества превосходныхъ талантовъ: напротивъ, есть два-три замѣча-

тельные таланта — и довольно; остальные артисты могут быть только люди способными, умными, привыкшими къ сценѣ. Каждому легче прикинуться на сценѣ баринномъ, купцомъ, чиновникомъ, артистомъ, крестьяниномъ, образцы которыхъ онъ безпрестанно видитъ вокругъ себя въ дѣйствительности, нежели Грекомъ, Римляниномъ, Вандаломъ, Германцемъ историческихъ временъ, идеалы которыхъ онъ долженъ самъ создавать своимъ воображеніемъ. Отчего же наши доморощенные драматурги все лѣзутъ въ Шекспировскую драму, а нехотятъ заняться драмою современнаго общества? Мы думаемъ, оттого, что ненужно для первой, какъ они ее понимаютъ, того, что нужно для второй — ума, знанія общества, людей, человѣческаго сердца, вдохновенія и таланта... Въдь такіе люди, какъ какой-нибудь Скрибъ, не десятками рождаются, а, что всего грустнѣе, рождаются только во Франціи — странѣ общественности и социальности, слѣдовательно, въ странѣ, уже по духу своему драматической.

«Святославъ» можетъ служить образчикомъ минно-романтическихъ и псевдо-классическихъ трагедій на ходуляхъ. Герой — риторъ и говорить, вопреки своему историческому характеру, многословно и напыщенно; ничего не дѣлаетъ и только говорить. Завязка — верхъ неглѣпости: Святослава любить печенежскія княжна, которая, переодѣвшись въ мужское платье, служитъ Святославу оруженосцемъ. Потомъ, въ Святослава влюбляется болгарская царевна, — и галиматья кончается тѣмъ, что печенежская княжна зарѣзываетъ и болгарскую царевну, и Святослава, и неглѣпую драму, о которой ничего нельзя сказать, но по поводу которой можно вспомнить эти два стиха старика Кантемира:

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!
Покойся, не понуждай къ веру мои руки!

ПОМЪШАННЫЙ, драма въ одномъ дѣйстви, въ вольныхъ стихахъ, соч. Тимона Бурмицкаго.

Не въ добрый для посѣтителей театра часъ заведись въ его репертуарѣ драмы съ художниками, которые все больше или меньше помъшаны отъ генія и отъ любви къ знатымъ дамамъ, все больше или меньше нагоняютъ зѣвоту своимъ геніемъ и любовью, все говорятъ больше или меньше громкія и избитыя фразы безъ содержанія, а иногда, по волѣ авторовъ, и безъ грамматики, вотъ они больше и больше плодятся, эти художники, и продолжаютъ надоедать собою зрителямъ. Новое драматическое дарованіе г. Тимона Бурмицкаго дебютируетъ такимъ же избитымъ, монотоннымъ и пошлымъ лицомъ. Впрочемъ, произведеніе новаго драматиста отнюдь не оригинальное, а заимствованное изъ либретто одной французской оперы, хотя нашъ сочинитель почему-то взялъ весь грѣхъ такого изобрѣтенія на себя...

НАСТИНЬКА. Провинціяльнныя сцены съ куплетами, въ трехъ картинахъ, соч. в. Коровкина.

Есть дарованія (нельзя же и ихъ не назвать дарованіями), которыя не только не могутъ сдѣлать что-нибудь свое, оригинальное, но даже и старымъ-то, готовымъ, могутъ воспользоваться не иначе, какъ когда оно опрощено и избито до пошлости. Эти-то дарованія собственно составляютъ литературную толпу, завидную золотую посредственность. Напримѣръ, послѣ Пушкина и другихъ мастеровъ, стало не почему писать бойкіе русскіе стихи, — и сколько появилось поговъ, увы, не читаемыхъ! Послѣ нѣсколькихъ удачныхъ изображеній провинціальной нашей жизни и нравовъ, появилась тьма-тьмушая книжекъ и книжонокъ, водевилей и водевильчиковъ на ту же тему. Самое искусство поставлять водевили для русской сцены

опростилось до чрезвычайности. Не говоря уже о водевиляхъ г. Каратыгина въ Петербургѣ и Ленскаго въ Москвѣ, ихъ пишутъ и г. Григорьевъ въ Петербургѣ и г. Соколовъ въ Москвѣ. Но есть еще имена въ литературѣ, особенно въ литературѣ сценической, какъ наиболѣе легкой и легкой для такихъ господъ, — это имена дарованьицъ-любителей, къ какииъ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ и г. Коровкинъ. Сочинители этого разряда пробиваются и щеголяютъ уже тѣми крѣпкими, которыя остаются отъ первыхъ потребителей. Еслибы вы захотѣли живѣе представить себѣ сказанное нами — посмотрите новое произведеніе г. Коровкина «Настиньку». Въ такихъ сценическихъ произведеніяхъ судьба артистовъ нашихъ (даровитыхъ, разумѣется,) трижды и четырежды горестна, какъ сказалъ бы Гомеръ. — Не будемъ надоедать вамъ изложеніемъ содержанія этого водевиля, въ которомъ главное по плану автора лицо идеально-мило, потому что сочинитель старается сдѣлать его «таковымъ», и идеально-пошло, какъ оказалось на дѣлѣ, вопреки стараніямъ господина сочинителя.

3.

Производительный геній нашихъ доморощенныхъ драматурговъ наконецъ совѣтъ истощился. Даже публика Александринскаго театра — эта самая довольная и невзыскательная изъ всѣхъ публикъ въ мірѣ — наконецъ начинаетъ понимать, что «на своихъ не далеко уѣдешь». Что жъ тутъ дѣлать, особенно бѣднымъ бенефициантамъ? — Съ горя, они рѣшились на поступокъ отчаянный: ставить на сцену старыя пьесы, снова тормошить ветхія кости покойника-классицизма. Публика Александринскаго театра, тоже съ горя, рѣшилась смотрѣть эти пьесы, которыя, впрочемъ, для нея совершенная новость, и

которыя скоро ей наскучать не хуже самодѣльныхъ и передѣльныхъ водевилей, какъ скоро она къ нимъ поприсмотрится... Боже мой! какъ быстро все идетъ на Руси! Давно ли, кажется, владычествовалъ въ нашей литературѣ и на нашей сценѣ французскій псевдо-классицизмъ! Давно ли кончились ожесточенные бои за романтизмъ противъ классицизма, и за классицизмъ противъ романтизма! И вотъ уже на пьесы Расина и Мольера смотрять въ театрѣ, какъ на пьесы новыя, о которыхъ только журналисты и литераторы знаютъ, что онѣ старыя. Впрочемъ, причиною этого не одинъ быстрый ходъ потока мнѣній, но и невинное незнаніе всего, что дѣлалось вчера и чего уже не дѣлается нынѣ. Публика Александринскаго театра — особая публика, подобной которой не найдти ни въ древнемъ, ни въ новомъ мѣрѣ. Это публика безъ преданій, безъ корня и почвы: она составляется или изъ того временно набѣгающаго на Петербургъ народонаселенія, которое сегодня здѣсь, а завтра Богъ знаетъ гдѣ, или изъ того дѣльнаго люда, который ходитъ въ театръ отдохнуть отъ протоколовъ и отношеній, и которому, послѣ канцелярскаго слога, лучше всего на свѣтѣ слогъ «Сѣверной Пчелы», юморъ «Библиотеки для Чтенія» и тонкая игра водевильнаго остроумія. Гдѣ жь всѣмъ этимъ людемъ помнить, что было назадъ тому лѣтъ двадцать? Итакъ, давайте имъ не только Расина и Мольера, но даже и «Волшебный Носъ» г. Писарева: пока для нашего дѣловаго люда это будетъ ново, онъ останется всѣмъ этимъ очень доволенъ, и будетъ съ важностію разсуждать, отчего «Июгенія въ Авлидѣ» такъ хороша, а между тѣмъ клонитъ ко сну...

Итакъ, пересмотримъ сперва старыя «возобновленные» пьесы, а отъ нихъ обратимся къ новой самодѣльщинѣ, передѣльщинѣ и переводамъ съ французскаго.

ИФИГЕНІЯ ВЪ АВЛИДѢ. *Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ, соч. Расина, переводъ М. Лобанова.*

Какая знаменитая трагедія — эта «Ифигенія»! Какое великое имя — этотъ Расинъ! Герои, цари, жрецы, полководцы, наперсники, наперсницы, вѣстники, александрійскіе стихи, важная выступка, пѣвучая декламація—все это чудо, прелесть, очарованіе! И если мы во всемъ этомъ не видимъ природы, смысла, толка, страстей, чувствъ, мысли, поэзіи — виновать не Расинъ, а нашъ современный вкусъ, развращенный, сбитый съ истиннаго пути поэтами новаго времени, которые увидѣли высочайшій идеалъ искусства въ пьяномъ дикарѣ Шекспирѣ. И Буало былъ правъ, говоря Расину: «ниши — я ручаюсь за потомство!» Почему же Буало могъ знать, что вкусъ потомства такъ исказится, сдѣлается до того нелѣпнымъ, что потребуетъ отъ поэзіи истины, вдохновенія, чувства, идеи, дѣйствительности? Почему же могъ знать Расинъ, что Буало ошибется, думая, что «потомство» вѣчно будетъ ходить въ пудренныхъ парикахъ, въ фижамахъ, въ штыхъ кафтанахъ, въ чулкахъ и башмакахъ съ пряжками! — Мы, съ своей стороны, тоже не виноваты, что вѣкъ маркизовъ-меценатовъ давно прошелъ, и что, не губя своей репутаціи честнаго человѣка, нельзя уже надѣть ничьей ливремъ, чтобы сподобиться блаженства сѣсть на нижнемъ концѣ стола знатнаго барина, и за это писать его женѣ мадригалы, а ему поздравительные стихи въ высокотожественный день именинъ его. — Итакъ, все правы — и Расинъ, который писалъ такіа прекрасныя трагедіи, и Буало, который такъ громко хвалилъ ихъ, и г. Лобановъ, который такъ мило переводилъ ихъ, и мы, которые такъ протяжно зѣваемъ отъ нихъ и такъ крѣпко спимъ послѣ нихъ.

Въ предыдущей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы, по поводу изданной г. Поляковымъ «Физиологіи Влюбленнаго»,

удивлялись похвальному самолюбію русскаго челоуѣка, который ни въ чемъ не хочетъ уступить ни Нѣмцу, ни Французу, и который сейчасъ же, съ топоромъ и скобелю, не только сдѣлаетъ тоже, что другіе дѣлаютъ посредствомъ машинъ, но еще и норовитъ выдать свое издѣліе за нѣмецкое или французское. Одинъ изъ бенефициантовъ Александринскаго театра, узнавъ (изъ «Репертуара» г. Песочкаго), что на французскомъ театрѣ Расинъ снова въ страшномъ ходу, не задумался нисколько воскресить на сценѣ Александринскаго театра изящные переводы г. Лобанова и поставилъ въ свой бенефисъ «Ифигенію въ Авлидѣ». Онъ даже пріискалъ для этого и свою, доморощенную *mademoiselle Rachel*, которая къ парижской относится такъ же, какъ переводные стихи г. Лобанова къ оригинальнымъ стихамъ Расина, стихамъ звучнымъ, плавнымъ, гармоническимъ, писаннымъ языкомъ свѣтскимъ, безъ усѣченій, безъ «штуческихъ вольностей», безъ «снхъ» и «онныхъ», безъ «токовъ слезныхъ», и безъ стиховъ, въ родѣ слѣдующихъ:

Куда, родитель мой, стремительно спѣшишь?
Ужель отраднхъ дочь объятій ты лишись?

Вообще, постановка или возстановка подобныхъ допотопныхъ рѣдкостей очень забавна, заставляя однихъ хвалить ихъ зѣвая, другихъ — принимать ихъ за водевили и за оперы, гдѣ все сплошь поютъ; но жаль, что она положительно вредна, даже губительна для молодыхъ сценическихъ артистовъ, ибо портитъ ихъ дикцію и жестикацію, пріучая ихъ и говорить и двигаться не по-человѣчески. Отъ классическихъ піесъ пострадало уже на Руси не одно замѣчательное дарованіе, и только немногіе могучіе таланты, воспитанные на классическихъ трагедіяхъ, могли освободиться, и то не безъ утраты силъ, отъ манерности и бездушности однообразности въ игрѣ. Впрочемъ, это нисколько не относится къ превосходному таланту Александринскаго театра — г. Толчену 1-му, который, въ роли Ага-

женнона, былъ, по своему обыкновенію, неподражаемо хорошъ. Будь у насъ такихъ талантовъ съ дюжину — и Расинъ, Корнель, Вольтеръ воскресли бы на Руси еще лучше, чѣмъ въ Парижѣ!

ШКОЛА ЖЕНЩИНЪ. *Комедія въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, соч. Мольера, переводъ П. И. Хмльницкаго.*

КРИТИКА НА „ШКОЛУ ЖЕНЩИНЪ“. *Комедія въ одномъ дѣйствіи соч. Мольера, переводъ съ французскаго Г. Н. П.*

Вотъ что касается до возобновленія Мольера на тощій сценѣ русскаго театра, — это другое дѣло! Ужъ конечно, смотрѣть комедію Мольера—болѣе умное и благородное занятіе, нежели отхлопывать себѣ руки и кричать безъ умолку при грубыхъ двусмысленностяхъ самодѣльныхъ, передѣльныхъ и переводныхъ водевилей, или при патетическихъ сценахъ топорной работы самодѣльныхъ и передѣльныхъ драмъ... Правда, Мольеръ, какъ сатирическій живописецъ нравовъ чуждаго намъ общества и далекой отъ насъ эпохи, можетъ существовать для насъ только какъ фактъ исторіи ново-европейской литературы, на сценѣ же не имѣетъ для насъ никакого значенія, никакого смысла; но, повторяемъ, лучше же что-нибудь дѣльное въ какомъ бы то ни было отношеніи, чѣмъ рѣшительно бездѣльное во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Мольеръ былъ человѣкъ съ огромнымъ талантомъ; но, при сужденіи о немъ, надо знать, въ чемъ заключался этотъ талантъ, въ чемъ его значеніе, и гдѣ его границы и мѣсто. Французы безъ дальнихъ околичностей говорятъ и пишутъ; «Шекспиръ и Мольеръ! Мольеръ и Шекспиръ!», какъ будто это два родные брата, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ ихъ родство самое дальнее. Мольеръ не былъ то, что называется «художникомъ»; его комедіи не произведенія строгаго искусства; въ нихъ нѣтъ никакихъ неумирающихъ, вѣчныхъ красотъ; но имя Мольера тѣмъ неменѣе велико и

почтению, а его комедіи любезны и дороги для патриотическаго чувства Французовъ. И если Французы не правы въ томъ, что не по достоинству превозносятъ Мольера и держаютъ, въ слѣпоту національной гордости и эстетической ограниченности, ставить его наравнѣ съ тѣми, кто такъ же не лижетъ себя равнаго между поэтами какъ нашъ Петръ между царями—съ Шекспиромъ, то все-таки Французы правы въ своей любви, въ своей признательной памяти къ Мольеру, неохлажденныхъ ни общественнымъ измѣненіемъ, ни успѣхами новой своей литературы. Да, они правы, забывъ Корнея и Расина, и помня Мольера, Мольеръ былъ воспитателемъ французскаго общества, въ самый интересный моментъ его развитія, когда оно, при Лудовикѣ XIV, окончателно разставшись съ грубыми формами среднихъ вѣковъ, начало новую жизнь—жизнь ума, анализа, критики. Комедіи Мольера—сатиры въ драматической формѣ, сатиры, въ которыхъ рѣзкое остроумное перо его предавало на публичный позоръ невѣжество, глупость и подлость. И потому, въ его комедіяхъ нечего искать творческой концепціи, глубоко-задуманныхъ характеровъ; потому, въ нихъ мало дѣйствія, ходъ неестественъ, а развязка похожа на обыкновенные *coups de théâtre*; потому же, въ нихъ являются такъ однообразно и благородные отцы и резонёры, и любовники, вездѣ и всегда, какъ двѣ капли воды похожіе одинъ на другаго. Дѣйствующія лица комедій Мольера—олицетворенные пороки и добродѣтели, а самыя комедіи—варьяціи на извѣстныхъ нравственныхъ темахъ. Но въ чемъ посредственность бываетъ просто отвратительна, въ томъ самомъ гениі часто находятъ для себя удобныя средства для выполненія благихъ цѣлей: комедіи Мольера, несмотря на недостатки, условливаемые самою сущностію ихъ, какъ драматическихъ сатиръ, не суть холодныя аллегоріи, но живыя бельетрическія произведенія, нерѣдко блестящія искрами поэтическаго вдохновенія. Онѣ имѣли сильное вліяніе на со-

временниковъ, слѣдовательно, имѣютъ историческое значеніе. Человѣкъ, который могъ страшно поразить, передъ лицомъ лицемѣрнаго общества, ядовитую гвару занжества—великій человѣкъ! Творецъ «Тартюфа» не можетъ быть забытъ! Прибавьте къ этому поэтическое богатство разговорнаго французскаго языка, которымъ преисполнены комедіи Мольера; вспомните, что многія выраженія и стихи изъ комедій Мольера обратились въ пословицы, — и вы поймете признательный энтузіазмъ Французовъ къ Мольеру. Присвокупите къ этому еще его поэтическую судьбу, его благородный характеръ. Но опять-таки, вѣчныхъ безотносительныхъ и безусловныхъ красотъ въ комедіяхъ Мольера нѣтъ. Его поэзія принадлежитъ не къ чисто-художественной сферѣ; онъ былъ поэтъ социальный въ духъ своего времени,—а его время, надо сказать, было крайне неблагопріятно для поэзіи, которая помня свое божественное происхожденіе, не любитъ ливреи. Комедіи Мольера если еще и могутъ даваться теперь, то не иначе, какъ для публики самой образованной, которая приходила бы въ театръ смотрѣть не просто комедію, но историческую комедію, приходила бы видѣть воскресшимъ передъ своими глазами давно умершее общество, съ его вѣрованіями, нравственными началами, съ его пороками и добродѣтелями, словомъ, со всѣми особенностями его существованія—отъ образа мыслей до костюма. Но у насъ, что прикажете у насъ дѣлать Мольеру? Развѣ смѣшить праздную толпу?...

Что мы сказали вообще о недостаткахъ рода комедій Мольера, то особенно выразилось въ «Школѣ Женщинъ». Вся завязка основана на томъ, что одинъ человѣкъ носитъ два имени, и потому невольно дѣлается повѣреннымъ юноши, который знаетъ его только подъ однимъ именемъ и который влюбленъ въ его невѣсту. Дѣйствіе происходитъ на улицѣ, и притомъ ночью. Развязка дѣлается чрезъ то, что называлось у древнихъ

deus ex machina. Гдѣ жь тутъ комедія, гдѣ тутъ характеры? И, несмотря на то, тутъ много комическаго, много вѣрнаго въ положеніяхъ дѣйствующихъ лицъ. Цѣль комедіи самая человѣческая—доказать, что сердца женщины нельзя привязать къ себѣ тиранствомъ, и что любовь — лучшій учитель женщины. Какое благородное вліяніе должны были имѣть на общество такіа комедіи, если ихъ писалъ такой человѣкъ, какъ Мольеръ!... О вы, обожаемые мною самородные и доморощенные русскіе драматурги! читая Мольера, потрудитесь отдѣлать въ немъ отъ всего прочаго его общее, идеальное значеніе, и, оставя безъ вниманія все, принадлежащее странѣ и времени, постарайтесь подражать ему въ томъ, что равно присуще всѣмъ странамъ и всякому времени!... Тогда, можетъ быть, вы перестанете ставить на сцену такіа пьесы, въ которыхъ нѣтъ никакой страны, никакого времени, никакой цѣли и никакого... смысла; въ которыхъ изображается не то, что есть, или что можетъ быть, но то, чего и нѣтъ, и не было и никогда быть не можетъ!...

Критика на «Школу Женщинъ» есть не что иное, какъ литературный споръ о «Школѣ Женщинъ», завязавшійся въ салонѣ. Это—пьеса, явно написанная на случай, пьеса, которая въ свое время могла имѣть важное значеніе, но теперь, кромѣ книжнаго и историческаго, никакого значенія имѣть не можетъ, особенно на сценѣ. Богъ знаетъ, для чего ее дали! Въ этомъ разговорѣ особенно замѣчательно, что за-живо задѣтое самолюбіе завистниковъ, глушцовъ, невѣждъ и негодаевъ особенно нападало на комедію Мольера за дурной тонъ и неприличные слова и выраженія... Люди всегда одни и тѣ же!...

ВОЛШЕВНЫЙ НОСЪ, ИЛИ ТАЛИСМАНЪ И ФИННИКИ. *Волшебная опера-водевиль въ пяти дѣйствіяхъ, передѣланная съ французскаго А. Н. Писаревымъ.*

Покойный Писаревъ принадлежалъ къ числу тѣхъ дарованій, которыя очень 'сильны въ мелочахъ, — обстоятельство, которое, вѣроятно, и причиною того, что онъ теперь забытъ. Несмотря на это, всѣ наши теперешніе водевилисты, вмѣстѣ взятые, не стодятъ одного Писарева. Вотъ какъ ненадежно на Руси безсмертіе водевилиста! Кстати замѣтить, что можно было бы возобновить изъ сочиненій Писарева что-нибудь лучше этого фарса забытаго назадъ тому лѣтъ пятнадцать, считая со дня его перваго появленія на московской сценѣ.

МАТЬ-ИСПАНКА. *Драматическое представленіе въ трехъ отдѣленіяхъ, соч. Н. А. Полеваго.*

Когда за дѣло берется мастеръ, дѣло выходитъ хорошо. Бенефисныя піесы обыкновенно пишутся для привлеченія большой толпы въ театръ—цѣль, для которой сочинители не щадятъ эффектовъ ни въ сюжетѣ, ни даже въ заглавіи піесъ. О сюжетѣ сейчасъ; но сперва полюбуйтесь названіемъ піесы «Мать-Испанка». Не правда ли, у васъ сейчасъ возникаютъ въ воображеніи кинжалы, яды, убійства, самоубійства? Ну, какъ не идти въ театръ! Но постоитъ—это еще не все. Піеса, или драматическое представленіе (Вильямъ Шекспиръ и г. Полевой никогда не называютъ своихъ драматическихъ опытовъ ни драмами, ни трагедіями, но всегда «драматическими представленіями» — привилегія гениевъ!) состоитъ изъ трехъ отдѣленій, изъ которыхъ каждое носитъ особенное названіе: 1-е—«Андалузская роза», 2-е—«Тайна матери», 3-е—«Судъ Совѣсти!» Бѣгите, скачите, спѣшите достать билетъ! Но постоитъ—еще слово: не все! не все! Слушайте: «г-жа Дюръ и

г. Смирновъ 2 й танцовать будутъ менузтъ! Эти слова читатель слышитъ уже на дорогѣ къ театру, пыль взвилась — и онъ уже не слышитъ насъ, летя стремглавъ... Подлинно, дѣло мастера бьется!...

Филиппъ IV, король испанскій, влюбляется въ дочь герцогини Медина Сидонія до того, что хочетъ на ней тайно обвѣнчаться, отнявъ ее у жениха. Герцогиня объявляетъ королю, что ея дочь — сестра его, плодъ любви ея съ отцемъ короля. Послѣ разныхъ колебаній между любовью и ревностью, король прощаетъ жениха своей возлюбленной, обнажившаго шпагу на королевскаго любимца, велитъ ему сейчасъ же обвѣнчаться съ дочерью герцогини и сейчасъ же ѣхать въ Индію, куда назначаетъ его вице-роємъ. Тогда герцогиня объявляетъ королю, что она солгала ему, для спасенія дочери отъ несчастія, а его, короля, отъ преступленія. Король прощаетъ ее, и дѣло оканчивается благополучно.

Все это очень хорошо; но худо одно—что эта мать-Испанка такъ же похожа на Испанку, какъ и на Шведку, и на Нѣмку, какъ на женщину всякой другой націи; вся пьеса проникнута чѣмъ-то въ родѣ... не то дѣтскости, не то старчества: все въ ней дѣлается по щучьему велѣнью, по моему прошенью... Короля пожираетъ знойная страсть, которую онъ побѣждаетъ, и этого самого короля водить за носъ негодай Оливарецъ, котораго сочинитель представилъ шутомъ и плутомъ: несообразность! Потомъ сочинитель заставляетъ двухъ шутовъ и дураковъ представлять, одного — камергера, другаго — французскаго посла, и по его волѣ, они должны вести между собою разговоры, нисколько неотносящіеся къ пьесѣ и до того исполненные дурнаго тона, что этихъ двухъ господъ скорѣе можно принять за истопниковъ, нежели за придворныхъ: еще несообразность! Испанскій дворъ напоминаетъ собою гостей Сквозника-Дмухановскаго, въ пятомъ актѣ «Ревизора»: третья не-

сообразность! Во всей пьесѣ испанскаго нѣтъ ничего, кромѣ именъ дѣйствующихъ лицъ. Характеры... никто же и требуетъ характеровъ отъ бенефисныхъ пьесъ, и притомъ уже извѣстныхъ сочинителей? Отсутствие характеровъ въ этомъ «драматическомъ представленіи» очень удачно вознаграждено менуэтомъ, а пьеса спасена отъ преждевременной смерти искусною игрою г. Каратыгина.

4.

Искусство нашихъ театралныхъ артистовъ пользоваться своими бенефисами доходитъ до нес plus ultra совершенства. Но всѣхъ бенефициантовъ, и прошедшихъ и будущихъ, перещеголялъ нѣкто г. Куликовъ. Для изьявленія нашего удивленія къ его генію, рѣшаемся нарушить принятый нами порядокъ Театральной Лѣтописи — перебирать пьесы по родамъ и тяжести, а не по бенефисамъ, и начнемъ нашу статью пьесами бенефиса г. Куликова:

ВЕЛИКІЙ АКТЕРЪ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ДЕБЮТАНТКИ. драма въ трехъ дѣйствіяхъ и пяти отдѣленіяхъ, П. П. Каменскаго. *Дѣйствіе первое. Отдѣленіе 1.* Театральный Ламповщикъ и Цветочница. *Дѣйствіе второе. Отдѣленіе 2.* Гамма страстей. *Дѣйствіе третье. Отдѣленіе 3.* Театральный Буфетъ. *Отдѣленіе 4.* Уборная Актрисы. *Отдѣленіе 5.* Представленіе Лира на Дрюриленскомъ Театрѣ.

ЖЕНЫ НАШИ ПРОПАЛИ! ИЛИ МАЙОРЪ ВОМ VIVANT, соч. П. Григорьева 1-го.

КОМЕДИЯ О ВОЙНѢ ФЕДОСЬИ СИДОРОВНЫ СЪ КИТАЙЦАМИ. Сибирская сказка, въ двухъ дѣйствіяхъ, съ клянеми и танцами, соч. А. Н. Полеваго. *Дѣйствіе первое:* Русская Удаль.

Танцовать будутъ: г. Пино и г-жа Левкеева по-казацки. Дѣйствиe второе; Китайская Храбрость. Танцовать будутъ: г. Шамбургскій, Свищевъ, Тимошеевъ, Волковъ и Николаевъ по-китайски. Въ 1 и 2-мъ дѣйствии хоръ пѣсennиковъ будетъ пѣть національныя пѣсни.

КОМИЧЕСКІЯ СЦЕНЫ ИЗЪ НОВОЙ ПОЭМЫ: ШЕРТВЫЯ ДУШИ. *Сочиненія Гоголя (автора Ревизора), составленныя Г***.*

Согласитесь, такая аѣшка стоитъ, чтобъ ее сохранить для потомства...

Въ дочери отставной цвѣточницы на Дрюриленскомъ театрѣ, Фанни, знаменитый Гаррикъ признаетъ (по ея голосу) талантъ трагической актрисы: будущую Оеелію, Дездемону и Корделію. Онъ приходитъ съ нею на бѣдную квартиру ея матери, въ ту самую минуту, какъ эту мать съ сыномъ Томомъ (ламповщикомъ при театрѣ) жестокая хозяйка выгоняетъ вонъ за долгъ. Гаррикъ платитъ хозяйкѣ деньги и нанимаетъ новую квартиру будущей дебютанткѣ, которая на урокахъ и репетиціяхъ, восхищаетъ его своими успѣхами. Эвва, жена Гаррика, ревнуетъ Фанни къ мужу. Тутъ зачѣмъ-то виѣшалась совершенно постороннее лицо критика Джонсона, которому Эвва повѣряетъ свою бѣшеную ревность, осыпая Фанни позорною бранью. Фанни случайно подслушала этотъ разговоръ, передъ тою минутою, какъ благодѣтель приводитъ двухъ актѣровъ, а виѣстѣ съ ними, приглашаетъ и жену свою и Джонсона быть свидѣтелями необыкновенныхъ успѣховъ его ученицы въ декламацин. Эвва уходитъ, Джонсонъ за нею; Фанни блѣдна и смущена: по просьбѣ Гаррика, Фанни начинаетъ импровизировать на собственную тему, и въ этой импровизацин высказываетъ свое ужасное положеніе. А Эвва между тѣмъ подслушиваетъ за дверьми то, что могла бы слышать и въ комнатѣ. Гар-

рикъ пускается въ разсужденія о сценическомъ искусствѣ и, надо согласиться, все, что онъ говоритъ, умно, справедливо, и даже кстати. Впрочемъ, последнее качество этимъ разсужденіемъ, можетъ быть, придала искусная игра актёра. Эввѣ становится стыдно своихъ подозрѣній, и Джонсонъ, ея тѣнь и прихвостень, даетъ ей благоразумные совѣты. Этимъ кончается второй актъ. До сихъ поръ, несмотря на подслушванія и ненужное лицо Джонсона, все шло хорошо; по крайней мѣрѣ, актёрамъ было что дѣлать. Но съ третьяго акта, началась путаница пустыхъ и, сверхъ того, нисколько не сценическихъ эффектовъ. Въ «Буфетѣ», за деревяннымъ столомъ, сидятъ человекъ пять-шесть музыкантовъ, пьютъ пиво и говорятъ о дебютанткѣ и Гаррикѣ, и говорятъ именно то, что зритель и безъ нихъ хорошо знаетъ. Словомъ, тутъ нѣтъ ни буфета, ни сцены. «Уборная актрисы» — пустая комната, нисколько не похожая ни на какую уборную. Вбѣгаетъ Фанни, въ костюмѣ Корделіи, и говоритъ о своей безнадежной и преступной страсти къ Гаррику; Эвва (съ неразлучнымъ Джонсономъ) подслушиваетъ ее; вбѣгаетъ Гаррикъ, въ костюмѣ Лира, и тащитъ Фанни на сцену — Эвва не пускаетъ; Томъ, братъ дебютантки, по приказанію Гаррика, схватываетъ Эвву и, при громкомъ хохотѣ райка, барахтается съ нею... Но вотъ послѣднее отдѣленіе: на сценѣ — сцена и зала Дрюриленскаго театра; Гаррикъ, въ роли Лира, плачетъ надъ трупомъ Корделіи; занавѣсъ опускается, публика вызываетъ дебютантку; Гаррикъ сбрасывая съ себя парикъ и вскакивая на ноги, подаетъ руки дебютанткѣ, поздравляя ее съ успѣхомъ дебюта. Но Фанни не встаетъ: глядятъ—она умерла! Томъ бросается на тѣло сестры, отъ него къ Эввѣ, осыпая ее упреками. Тѣмъ все и кончается. Все это не драматически и не сценически; все это не естественно и изысканно. Къ довершенію бѣды, роль Тома была сыграна плоско-комически, и трагедія была сопровождена

хохотомъ райка и улыбка ми партера. Разумѣется, не обошлось и безъ аплодисмановъ и вызывовъ: таковъ уже обычай у доброй публики Александринскаго театра...

Двое мужей, одинъ старый, другой молодой, оставляя дома женъ, рыщутъ гдѣ попало. Старый дядя хочетъ проучить ихъ. Для этого онъ отыскалъ какого-то майора, который волочитя за его племянницами и вездѣ съ ними ѣздитъ. Онъ долженъ разыграть съ ними комедію, объясняясь въ любви то съ тою, то съ другою при одномъ изъ подслушивающихъ мужей; но онъ просто за ними волочитя, и притомъ такъ, какъ посовѣстился бы волочитя даже за горничными самъ какой-нибудь Ноздревъ. Майора игралъ авторъ водевиля, и въ этой роли очень походилъ на полковаго писаря, который любезничаетъ въ одномъ изъ тѣхъ честныхъ компанствъ, которыя какъ-то странно видѣть на сценѣ. За тѣмъ, мужья мирятся съ жонами и исправляются. Это называется «Жены наши пропали, или Майоръ Bon vivant»... Намъ кажется, что къ этой пьесѣ, вмѣсто Майоръ bon vivant»... лучше бы шло такое названіе: «Выгнанный изъ службы, за пьянство и дебошъ, недоросль изъ дворянъ Ерыгинъ».

Вотъ пьеса г. Полеваго — совсѣмъ другое дѣло. Это пьеса чисто патріотическая и національная. Въ ней одна русская баба побиваетъ ухватомъ и кочергомъ 60, 000 Китайцевъ, которые всѣ представлены трусами, дураками и шутами. У нихъ генерала такой огромный животъ, что райкъ «животки надорвалъ» отъ хохота. Въ первомъ актѣ есть превосходное лирическое мѣсто о достоинствѣ русскаго кулака, которому много и вѣрнѣе рукоплескали восхищенные зрители. Прибавьте ко всему этому пѣсни, пляски и танцы, — и согласитесь, что несравненный драматическій талантъ г. Полеваго все ютитъ и ютитъ. Что касается до «Федосьи Сидоровны», то для распространенія образованія въ простомъ народѣ, ее слѣдовало бы давать на

всѣхъ лубочныхъ театрахъ по ярмаркамъ, установивъ цѣну не дешевле одной копейки серебромъ и не дороже трехъ за входъ. Тамъ она была бы ближе къ цѣли.

Какой то г. Г*** вырвалъ нѣсколько разговоровъ изъ «Мертвыхъ Душъ», переиждилъ и перебилъ ихъ, связавъ своими вставками, которыя хотя и состоятъ изъ нѣсколькихъ только фразъ, но отъ взятаго цѣликомъ у Гоголя отличаются, какъ глиняный носъ, рукою горшечника налѣпленный на лицо мраморной статуи древняго художника. Все это таинственный г. Г*** назвалъ «Комическими сценами изъ новой поэмы Мертвыхъ Душъ» и сѣло отдать свое литературное похищеніе, нецпо и пошло совершенное, г-ну Куликову, который и поставилъ на сцену Александринскаго театра эти куски, безъ начала, середины и конца, а потому и безъ значенія и смысла. Такого рода явленія возмущаютъ душу... Мы знаемъ навѣрное, что Гоголь никому, (а тѣмъ болѣе какому то г. Г***) не давалъ права на такое позорное искаженіе своей поэмы, писанной совсѣмъ не для театра, а потому и неизбующей на театрѣ никакого смысла.

ЛЮДМИЛА, драма въ трехъ отдѣленіяхъ, подражаніе нѣмецкому (Lenore), составленная изъ баллады В. А. Жуковскаго, съ сохраненіемъ нѣкоторыхъ его стиховъ.

Объ этой піесѣ намъ не слѣдовало бы и говорить — піеса старая; но отъ избытка чувствъ уста глаголятъ... Это, такая возмущающая душу нецпость, такая балаганная піеса, что не знаешь, чему дивиться — сѣлости ли нѣкоторыхъ бенефициантовъ, угощающихъ свою публику подобными пустяками или готовности этой бенефисной публики восхищаться всякимъ вздоромъ... Нѣкогда, въ оное блаженное старое время Германіи, когда еще имена Шиллера и Гёте были въ ней новы и юны, Бюргеръ прославился своею балладою «Ленора».

Баллада пренебрежная по содержанию, но не дурная по стихамъ; по поговоркѣ «не родись уменъ, а родись счастливъ» добрые Нѣмцы увидѣли въ ней колоссальное произведеніе. Шиллеръ первый сказалъ Бюргеру, что такіе пустяками не снискивается поэтическое безсмертіе. Съ тѣхъ поръ Лепоте скоропостижно скончалась, и теперь ее вспоминаютъ развѣ нѣмецкіе сапожники въ трактирахъ. А у насъ изъ нея сдѣлали драму.. Драма изъ баллады съ мертвецомъ и кладбищемъ!... Пришле-ли тутъ отечественную войну 1812 года, Смоленскъ, измѣну, заставили ломаться и кривляться какую-то невѣсту съ крѣпко намазаннымъ бѣлыми лицомъ, а жениха-мертвеца заставили, при свистѣ вѣтра, вызывать ее въ окно стихами баллады, которая когда-то тѣшила дѣтей. И все «возобновляется» въ 1842 году!... Жаль, у насъ не бываетъ о святкахъ и па-схѣ лубочныхъ театровъ: тамъ эта «трагедъ» вмѣстѣ съ «Ко-медією о войнѣ Фодосѣи Сидоровны съ Китайцами» восхитила бы свою публику...

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫВЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ ШЕСТУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.

1842 г. *Отечественныя Записки*; Кн. 1. Утренняя Заря, альманахъ на 1842 г., В. Владиславлева.—Русская бесѣда; собраніе сочиненій русскихъ литераторовъ въ пользу Смирдина Т. П.—Сказка за сказкой. Мертвыя головы, соч. Каменскаго.—Автоматъ, соч. Калашникова.—Повѣсть Ангелины, соч. Молчанова.—Кн. 2. Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ.—Альбомъ избранныхъ стихотвореній.—Кн. 3. Миромель, соч. Загоскина.—Русская грамматика, составл. А. Ивановымъ.—Кн. 4. Маранни, историческая повѣсть Филлисона.—Русскій патриотъ, отечественное гѣсопѣніе.—Гулакъ.—Сказка о мѣльничѣ, соч. Аллианова.—Петръ Великій, историческая ораторія П. Ободовскаго.—Кн. 5. Повѣсти въ стихахъ Елисаветы Шаховой.—Феофилъ, духовная повѣсть Аллианова.—Военныя пѣсни Аллианова.—Гайдамаки, поэма Т. Шевченко.—Кесари, соч. де Шампань.—Игра въ преферансъ.—

Кн. 6. Картины русской живописи.—Речь о критикѣ, профессора Никитенко.—Дагеротипъ. Изданіе литературы дагеротипныхъ произведеній.—Начатки, собраніе статей въ прозѣ А. Т.—Еще купцы третьей гильдіи, водовиль П. Григорьева.—Солнечный лучъ, романъ И. Штевена.—Сказка о трефовѣхъ породахъ Финчъ-санъ.—Созерцатель человѣческихъ знаній, соч. М. Павлова.—Кн. 7. Стихотворенія Н. Воронова.—Россійская грамматика Пешарскаго.—Очерки къ Борису Годунову.—Исторія государства Россійскаго, изд. 5.—Картины русской живописи В. 2.—Наши. В. 9, 10 и 11.—Финляндія и Финляндцы, соч. Дернау.—Кн. 8. Братья по оружію, романъ Джемса.—Малюрославецъ въ 1812 г., соч. Вл. Глинки.—Записки о старомъ и новомъ бытѣ русскомъ, соч. К. Андѣевой.—О чувственной любви, разсужденіе Остервальда ч. 1.—Кн. 9. Сѣмерки, соч. Баратынскаго.—Христіанъ II и Густавъ Ваза, соч. Лажечникова.—Наслѣдство комедіанта, соч. Поль-де-Кона.—Сказка объ Игнатѣ Рауваѣ.—Русскіе въ областяхъ своихъ.—Картины русской живописи Вып. 3.—Римскіе папы.—Кн. 10. Картинки русскихъ нравовъ Кн. 3 и 4.—Слетки.—Мать Испанка.—Послѣдній Хеакъ, поэма В. Зотова.—Кн. 11. Дочь купца Жолобова, романъ Калашикова.—Письмо на лугъ, и письмо на луну.—Общая риторика Кошанскаго.—Колосъ. В. М. Снопъ первый.—Кн. 12. Утренняя Заря, альманахъ на 1843, Вл. Владиславлева.—Наши, списанные съ натуры.—Сочиненія Ѳ. Булгарина.—Стихотворенія И. С.—Дагеротипъ. Тетр. 7—12.—Памятникъ искусствъ.—

КОНЕЦЪ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.

1842.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

1.

КРИТИКА.

	стр.
Русская литература въ 1841 году	5
Стихотворенія Аполлона Майкова	102
Кувшина Петровичъ Миршоевъ, соч. М. Н. Загоскина	134
Часы выздоровленія, соч. А. Полежаева. — Стихотворенія; его же, — Кальянъ; его же. — Арфа; его же	167
Рѣчь о критикѣ, А. Никитенко	193
Сумерки, соч. Баратынскаго. — Стихотворенія; его же	280

2.

БИБЛИОГРАФІЯ.

Жизнь и похождения Столбикова, соч. Основыненко	327
Цвѣты музы, соч. А. Градцева	329
Эвелина де Вальероль, соч. Н. Кукольника	334
Стихотворенія А. Майкова	338
Парижъ въ 1838 и 1839 годахъ, соч. В. Строева	340
Репертуаръ русскаго и Пантеонъ всѣхъ европейскіхъ театровъ на 1842 г. №№ 1, 2, 3 и 4	347
Два призрака. Соч. Фанъ-Дима	351
Альманахъ въ память двухсотлѣтняго юбилея Александровскаго универси- тета, изданный Я. Гротомъ	355
Комары. Всякая всащина. Ф. Булгарина. — Картинки русскіхъ нравовъ. — Сказка о мочуемъ богатырѣ Иванѣ Трофимовичѣ Лагушкинѣ	363
Альфонъ и Альдона. соч. Н. Кукольника	375
Тысяча и одна ночь, арабскія сказки	383
Опытъ библиографическаго обзоренія, Л. Бранта. — Нѣсколько словъ о периодическихъ изданіяхъ русскіхъ	385

	Стр.
Робинзонъ Крузе, соч. Кампе	392
Похожденія Чичикова, или Мертвыя Души, поэма Н. Гоголя	394
Дагеротипъ. Тетрадь 2	416
Парижская красавица, соч. Поль де-Кока	419
Сельскія бесѣды	420
Русская бесѣда. Собраніе сочиненій русскихъ литераторовъ, въ пользу А. Ф. Смирдина	421
Физиологія влюбленнаго.	432
Нѣсколько словъ о поэзіи Гоголя: Похожденія Чичикова или Мертвыя Души.	433
Дагеротипъ. Тетради 3, 4, 5 и 6	444
Девница Ново-Болгарскаго образованія, Соч. Априлова.	447
Осенніе цвѣты. Стихотворенія М. Демидова.—Вечерніе досуги.—Его же.— Завѣтными думи. Его же.	450
Руководство къ изученію Русской словесности. Соч. П. Георгіевскаго.	453
Сочиненія Платона. Перев. Карпова	457
Наши, списавшые съ натуръ Русскіи. Вып. 12. Няня	463
Драматическія сочиненія и переводы Н. Полеваго.	465
Любовь музыканта. Романъ А. Ярославцева.	475
Стихотворенія Влад. Бенедиктова.	477
Тайновѣнный монахъ, историческій романъ	481

3.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

Педантъ, литературный типъ.	485
Библиографическое извѣстіе.	497
Литературный разговоръ подслушанный въ книжной лавкѣ	501
Объясненіе на объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя Души»	523
Журнальными и литературными завітми	558

4.

ТЕАТРЪ.

Русскій театръ въ Петербургѣ	617
--	-----

—

Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей, не вошли
въ шестую часть этого собранія. 661

—

КНИГИ, ИЗДАННЫЯ
АЛЕКСАНДРОМЪ ИЛЬЧЕМЪ ГЛАЗУНОВЫМЪ.

Книжный магазинъ въ Москвѣ, на Кузнецкомъ мосту, въ домѣ Торлецкаго.

(Иногородные за пересылку ничего не платятъ)

Московская флора.

или описаніе явобратныхъ и высшихъ тайнобрачныхъ растений
Моск. Губ Соч. *Н. Н. Кауфмана*. Съ картою Моск. Губ. Въ 8 л.
л. М. 1866 г. Ц. 3 р.

Основныя начала Геологій.

(Principles of Geology). Соч. *Чарльса Лайелля*. Пер. съ англійскаго
А. Микъ. Съ рисунками и полтинами. Въ 8 л. л. Два большихъ
тома. М. 1866 г. Ц. 5 р.

Альпійскіе Ледники.

Сочин. *Джона Тиндалля*. Пер. съ англ. прое. Моск. Унив. *С. А. Рачинскій*. Съ рисунок. и полтип. М. 1866 г. въ 8 л. Ц. 2 р. 50 к.

Изысканія классической древности Штоля.

Перев. съ нѣм. *В. И. Покровский* и *П. А. Медведевъ*. Съ рисунками
и полтинами. Два тома. 8 л. л. М. 1865.—66 г. Ц. 4 р.
50 к. Отдѣльно за 1-й томъ 2 р. 50 к., за 2-й 2 р.

Очерки животной жизни.

Сочиненіе *Г. Г. Льюиса*, автора «Физиологій обидежной жизни». Пер.
съ англ. прое. Моск. Унив. *С. А. Рачинскій*. Съ полтинами.
М. 1865 г. Ц. 1 р.

Единство мірозданія.

Сочиненіе *Гартмана*. Пер. съ нѣм. Съ полтинами. 8 л. л. М.
1865 г. Ц. 2 р.

Ученіе Дарвина

«О происхожденіи видовъ», общепонятно изложенное *Фридрихомъ*
Ролле. Пер. съ нѣм. *С. А. Усовъ*. Съ полтинами. 8 л. л. М.
1865 г. Ц. 1 р. 50 к.

Европа.

Лекціи, читанныя въ берлинскомъ университетѣ *Карломъ Риттеромъ*
и изданныя *А. Даниелемъ*. Перев. съ нѣмец. *Я. Н. Вейнберга*.
въ 8 л. л. М. 1864. Ц. 2 р.

Общее землевѣдѣніе.

Лекціи, читанныя въ берлинскомъ университетѣ *Карломъ Риттеромъ*
и изданныя *А. Даниелемъ* (Allgemeine Erdkunde. Berlin.
1862 г.). Перев. съ нѣмец. *Я. Н. Вейнберга*. 8 л. л. М. 1864 г.
Ц. 1 р.

О происхожденіи видовъ,

путемъ естественнаго подбора, или о сохраненіи усовершенствованныхъ породъ въ борьбѣ за существованіе. Сочиненіе *Чарльса Дарвина*. Перев. съ англійскаго профес. моск. универс. *С. А. Рачинскій*. 8 д. л. Съ рисунками. Изд. 2-е, испр. М. 1865 г. Ц. 2 р. 50 к.

Чудеса подземнаго міра.

Сочиненіе *Гартмана*. Перев. съ нѣмецкаго *А. Корсака*. Съ иллюстраціями и картинками. 8 д. л. Изд. 2-е. М. 1866 г. Ц. 2 р. 50 к.

Природа и человекъ на крайнемъ сѣверѣ

(Полярныя страны) Соч. *Гартмана*, автора «Море и его жизнь и Тропическій міръ» Пер. съ нѣмецкаго *С. А. Усовъ*. 8 д. л. Изд. 2-е. М. 1866 г. Ц. 2 р.

Естественная исторія насѣкомыхъ,

содержащая въ себѣ подробное описаніе вредныхъ и полезныхъ насѣкомыхъ, описаніе ихъ превращеній, пищи, приемовъ служащихъ для ея добыванія, жилищъ и проч. Сочиненіе *Кэрби и Сметъ*. Перевелъ съ англійскаго седьмаго изданія *Андрей Минъ*. 8 д. л. М. 1863 г. Ц. 2 р. 50 к.

Картинны растительности земнаго шара.

Сочиненіе *Л. Рудольфа*. По нѣмецкому подлиннику составилъ *А. Н. Бекетовъ*. 8 д. л., съ картинками и политипажками. М. 1861 г. Ц. 2 р. 50 к.

Физиологія обдуманной жизни.

Соч. *Г. Г. Льюиса*. Съ политипажками. Перевели съ англійскаго *Я. А. Борзакковъ* и *С. А. Рачинскій*. Изданіе третье. М. 1864 г. 8 д. л. Ц. 3 р.

Оглавленіе. — Голодь и жажда. — Пища и питье. — Пищевареніе и его разстройство. — Строеніе и отправленіе нашей крови. — Кровообращеніе; его исторія, путь, совершаемый кровью, причинами кровообращенія. — Дыханіе и удрушеніе. — Откуда берется теплота нашего тѣла и чѣмъ она поддерживается. — Чувствованіе и мышленіе. — Мозгъ и умственная дѣятельность. — Наши чувства и ощущенія. — Сонъ и сны. — Свойства, переходящія отъ родителей къ дѣтямъ. — Жизнь и смерть. — Заключеніе.

Сочиненія Лермонтова.

Приведенныя въ порядокъ и дополнены *С. С. Дудышкинымъ*. 2 тома. Изданіе второе, свѣренное съ рукописями и дополненное. Съ портретомъ поэта, гравированнымъ на стали въ Лейпцигѣ и двумя снимками съ портрета Лермонтова. Спб. 1863 г. Ц. 3 р. 50 к.

Пѣсня про Царя Ивана Васильевича,

молодого опричника и удалаго купца Калашникова. *М. Ю. Лермонтова*. (1837). Съ 12 рисунками Шарлемана и съ новыми портретами Лермонтова гравиров. въ Лейпцигѣ. Спб. 1865г. Ц. 50 к.

Дворянское Гнѣздо.

Романъ *И. С. Тургенева*. М. 1859 г. Ц. 1 р.

Чтеніе для юношества.

А. В. Кольцовъ, его жизнь и сочиненія. Съ портретомъ. А. В. Кольцова. Изд. 2-е М. 1865 г. Ц. 50 к.

Руководство къ Зоологіи. Животныя безформенныя. Аморфоза.

Х. Г. Бронна, профессора зоологіи и прикладнаго естествознанія въ Гейдельбергскомъ университетѣ, члена Берлинской и Мюнхенской академіи наукъ, Лондонскаго геологическаго общества и проч. Переводъ и дополненія Анатолія Богданова. Съ XIX хромолитографированными таблицами и полиптижами. I томъ. Москва. 1861 г. Ц. 3 р.

— Тома 2-го выпускъ 1-й, съ полиптижами и литографированными таблицами Ц. 1 р. 50 к.

Общая Биологія, Изидора Жоофуа Сентъ-Илера,

члена академіи наукъ въ Парижѣ, профессора въ музеумѣ естественной исторіи въ Сорбонѣ, президента Парижскаго общества акклиматизаціи. Переводъ Анатолія Богданова. Томъ I-й, въ 2-хъ частяхъ. Съ фотографическимъ портретомъ Изидора Жоофуа Сентъ-Илера. М. 1860 г. Ц. за 2 книги 2 р. 75 к.

Руководство къ теоретическому и практическому пчеловодству,

составлено *В. Краузе*, испр. должн. младш. профессора при Грингорвикомъ земледѣльскомъ институтѣ. Со 154 полиптижами въ текстѣ. Изданіе удостоенное преміи отъ Ученаго Комитета Министерства Государственныхъ Имуществъ. 8 д. л. М. 1860 г. Ц. 2 р.

Учебная книга географіи.

Соч. *Даніеля*. Перевелъ съ 11-го нѣмецк. изд. *А. Корсакъ*. 8 д. л. М. 1863 г. Ц. 2 р. 50 к.

Физиологическія картины.

Соч. *Людвика Бюшнера*, автора «Kraft und Stoff». Перевелъ съ нѣм. *С. А. Усовъ*. 8 д. л. 2-е изд. М. 1866 г. Ц. 1 р. 25 к.

Тропическій міръ

въ очеркахъ животной и растительной жизни. Соч. *Гартвига*, автора «Море и его жизнь.» Перевелъ съ нѣмецкаго *С. А. Усовъ*. I томъ, въ 8 л. л., съ шестью хромолитографированными картинками. Изд. 2-е. М. 1865 г. Ц. 2 р. 50 к.

На берегу моря.

Зоологическіе этюды въ Ильеракомѣ, Тенби, на Сицилійскихъ островахъ и на Джерзи. Сочиненіе *Г. Г. Льюиса*, автора «Физиологіи обменной жизни». Перевелъ съ англійскаго втораго изданія *Андрей Миль*. Съ 7-ю литографированными рисунками, 8 д. л. М. 1862 г. Ц. 2 р.

Растеніе и его жизнь.

Популярныя чтенія профессора *Шлейдена*. Перевелъ съ 5-го послѣдняго нѣмец. изданія профессоръ московскаго университета *С. А. Рачинскій*. Къ этому переводу прибавлены: предисловіе,

написанное Шлейденомъ, и статья Рачинскаго «по поводу картини де-Геена». 8 д. л., съ превосходными хронолитографированными картинами, политипажами и таблицами, исполненными Бахманомъ. М. 1862 г. Ц. 3 р.

Содержаніе книги: Два предисловія Шлейдена, одно изъ нихъ къ русскому переводу.—По поводу картини де-Геена. Статья С. Рачинскаго.—Глазъ и микроскопъ.—О внутреннемъ строеніи растений.—О размноженіи растений.—Морфологія растений.—О погоды.—Вода и ея движеніе.—Море и его жители.—Чѣмъ живеть человекъ?—О молочномъ соку растений.—Нѣсколько словъ о кактусахъ.—Географія растений.—Исторія растительнаго царства.—Эстетика растительнаго царства.

ЭТЮДЫ (Studien).

Популярна чтенія профессора Шлейдена. Перевелъ со 2-го послѣдняго нѣмец. изданія ординарный профессоръ московскаго университета Я. Н. Калиновскій. 8 д. л., съ портретомъ Шлейдена, хронолитогр. картиню, картою и таблицами. М. 1862 г. Ц. 2 р. 50 к.

Содержаніе книги: Миражъ, вѣсто введенія.—Переселеніе въ органическомъ и неорганическомъ міра.—Франклинъ и экспедиція въ полярныя страны.—Природа звуковъ и звуки въ природѣ.—Душа растений.—Сведенборгъ и суевѣріе.—Валленштейнъ и астрологія.—Мечтанія естествоиспытателя при лунномъ свѣтѣ.—Волшебство и взра въ явленія духовъ.

Руководство

къ изученію садоводства и огородничества, сост. Э. Ф. Рего. Изд. 3-е, исправленное, съ рисунками въ текстѣ. 8 д. л. Сиб. 1866 г. Ц. 2 р. 50 к.

Огородничество.

Соч. Люкаса. Перевелъ съ послѣдняго нѣмец. издан. профессоръ московскаго университета Я. Н. Калиновскій. съ политипажами. М. 1862 г. Ц. 2 р.

Оглавленіе 1-й части. Введеніе.—Общая понятія объ огородничествѣ, степенъ его доходности и опредѣленіе приблм.—Распоряженіе и устройство огорода.—Орудія и прочая утварь, употребляемая въ огородничествѣ.—Обработка огородной земли.—Удобреніе огородовъ.—Поливка, посѣвъ, пересадка на мѣсто.—Перезимованіе овощей въ огородѣ.—Баленіе овощей.—Уборка и сбереженіе огородныхъ продуктовъ.—Уничтоженіе вредныхъ для огорода животныхъ и насекомыхъ.

Оглавленіе 2-й части. Однолѣтнія овощи.—Однолѣтнія салатныя растенія, однолѣтнія ароматныя и служащія для приправъ растенія. Десертныя овощи.—Двулѣтнія овощи.—Многолѣтнія овощи.—Многолѣтніе десертныя плоды.

Руководство къ химическому изслѣдованію

важнѣйшихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Соч. доктора Э. Вольфа, профессора въ королевской сельско-хозяйственной академіи въ Гогенгеймѣ. Перев. съ нѣмец. Исаакъ Похемиснез. М. 1860 г. Ц. 50 к.

